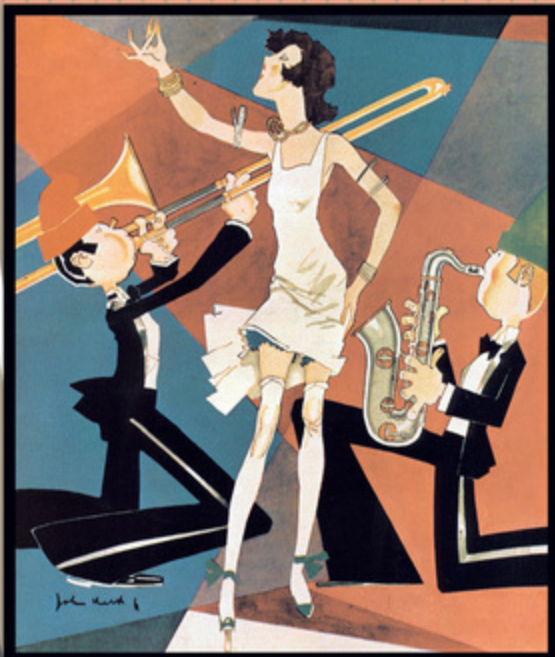
ФРЭНСИС СКОТТ КЕЙ ФИЦДЖЕРАЛЬД

СКАЗКИ ВЕКА ДЖАЗА



ВСЕ НОВЕЛЛЫ
ФРЭНСИСА СКОТТА КЕЯ
ФИЦДЖЕРАЛЬДА

РИПОЛ
КЛАССИК

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Сказки века джаза

А не устарел ли Фицджеральд?

Телеграф и телефон, запреты на выдачу «смелых» книжек из библиотек, личные автомобили, короткие женские стрижки, «электрические ледники» и джаз… Эти детали характеризуют время; спустя сто лет после своего появления они уже кажутся смешными и наивными, ведь наша реальность состоит из скандалов в Интернете, в мгновение ока разносящем новости по всему миру, километровых автомобильных пробок на дорогах, публичных дискуссий о том, стоит ли женщине добровольно лишать себя груди, если генетика говорит, что в будущем у нее возможен рак? Никого уже

не удивит холодильник, джаз давно стал предметом в музыкальной школе, а эти переводы впервые были опубликованы в Интернете. Скотт Фицджеральд был голосом давно ушедшего поколения двадцатых, и даже название этой эпохи американской истории – «эпоха джаза» – дал именно он (так был озаглавлен второй сборник его рассказов). И все же у Фицджеральда есть вполне живая группа «В контакте», за год выходит не меньше десятка новых изданий, и это говорит о том, что придуманные почти сто лет назад герои и истории по-прежнему нужны и интересны; Фицджеральд – явно не просто имя из нафталиновой «истории литературы».

Отношение к творчеству Фицджеральда в России и США различается лишь внешне: в России не могут вызвать особого интереса печати времени, характеризующие романы и рассказы писателя. Не было в России двадцатых ни «эпохи джаза», ни романтических миллионеров вроде Гэтсби; а были нэпманы, электрификация всей страны и бедность. У нас не было и «красных тридцатых», как не было и целой прослойки зажиточных коммунистов из среднего класса, не сталкивавшихся с воплощением этой теории на практике. Первые переводы Фицджеральда на русский появились лишь в 1960-х годах, хотя друг Фицджеральда, юморист Ринг Ларднер, еще в 1930-х удостоился в СССР отдельного сборника рассказов, а открытый Фицджеральдом талант – Эрнест Хемингуэй, в чьем багаже на тот момент самым весомым был героический роман, – в 1930-х годах фактически представлял в СССР всю современную американскую литературу. Впрочем, именно Хемингуэй стал косвенной причиной первого появления имени Фицджеральда в советской печати. Печально известное упоминание в рассказе «Снега Килиманджаро» было по неизвестным причинам сохранено в русском переводе рассказа, выполненном Г. Яррос и Н. Дарузес в 1937 году и опубликованном впервые в 9-м номере советского журнала «Знамя» за тот же год, – просто имя, без всяких комментариев. Видимо, уже в 1920-х годах в Советском Союзе популярный американский писатель был оценен по достоинству и сочтен «идеологически враждебным»: в его романах и рассказах не было ни слова сочувствия ни рабочему классу, ни его борьбе, а в «красных 1930-х» он уже не вписывался даже в общую американскую литературную тенденцию; в моде были глобальные стройки и немногословные герои, чувствовавшие себя как

дома лишь на марше. Единственной войной для Фицджеральда была Первая мировая, и советских американистов привлечь ему было нечем.

С появлением первых переводов Скотта Фицджеральда в «романтических» советских шестидесятых совпала публикация знаменитых мемуаров Хемингуэя («Праздник, который всегда с тобой»), и Фицджеральда в России стали воспринимать сквозь призму очередного злого выпада престарелого, находившегося на грани самоубийства писателя: «…Его талант был ярким, как крылья бабочки…» Но в реальности права на такое снисходительное и покровительственное отношение к Фицджеральду Хемингуэй не имел. Слог Фицджеральда действительно производит впечатление легкости и воздушности, однако это давалось ему совсем нелегко; его работоспособность просто поражала, – за свою короткую жизнь Фицджеральд написал более 160 рассказов. Но благодаря не совсем точным мемуарам Хемингуэя Скотт Фицджеральд в России и до сих пор воспринимается как трагическая и вызывающая жалость фигура, как писатель-неудачник, ярко начавший, но погибший в борьбе с алкоголем и нищетой. Последнее не совсем соответствует действительности. Алкоголь и связанная с ним беспорядочная жизнь действительно имели место, но также имели место и туберкулез, и громадная психологическая нагрузка, связанная с неизлечимой душевной болезнью жены Зельды; он написал однажды: «Зельда навсегда останется моим крестом…» – и это было именно так. А что касается нищеты, то состояния при жизни он действительно не нажил, но голливудские сценаристы, одним из которых он стал в последние три года своей жизни, и до сих пор зарабатывают столько, сколько писателям и не снилось. На дом, на содержание жены в самой лучшей клинике и обучение дочери в престижной женской школе «Вассар» ему вполне хватало. В реальности Скотт Фицджеральд умер от обширного инфаркта миокарда в разгар работы над романом, который впоследствии вышел под названием «Последний магнат»; эта книга могла бы стать его лучшим романом и даже в неоконченном виде считается сегодня одним из лучших романов о Голливуде.

Несмотря на огромный общий объем творческого наследия Фицджеральда, при оценке его творчества обычно рассматриваются лишь романы – четыре из них были переведены в СССР в 1960—1970-е годы, пятый был выпущен уже в России 1990-х. Рассказы

Фицджеральда, составляющие львиную долю его литературного наследия, русскому читателю остались практически неизвестны, не считая небольшой подборки в тощем третьем томе единственного советского «Избранного». Разумеется, романы и сам писатель считал вершиной своего творчества, но не уделять внимания его короткой прозе несправедливо. Именно в рассказах можно, например, увидеть, как рождались ставшие великими темы и нюансы его творчества, – существует условный блок рассказов, относящихся к «Великому Гэтсби», есть и блок, связанный с романом «Ночь нежна». Большое количество полноценных, пусть и написанных специально для глянцевых журналов, рассказов сам писатель в своем «Гроссбухе» отнес к категории «ободраны и навсегда забыты» – лишь потому, что отдельные пассажи из этих историй перекочевали в романы, а перерабатывать эти вещи для включения их в сборники по определенным и не всегда связанным с творчеством причинам писатель не стал. Тем не менее и среди этих «сырых» текстов встречаются настоящие шедевры. В соответствии с практикой американского книжного бизнеса 1920– 1930-х годов, сборники рассказов популярных авторов всегда выходили «прицепами» к романам спустя несколько месяцев после выпуска романа в свет; таким образом рассказы «подогревали» интерес и продажи романов. В такие сборники обычно включалось только лучшее – то, что было «достойно сохраниться под твердой обложкой». Проходных коммерческих рассказов в этих сборниках не было, – здесь лишь те вещи, которые автор желал сохранить «для будущих читателей и критиков».

При жизни Фицджеральда было издано четыре его романа; сборников рассказов, соответственно, было тоже четыре; в этих сборниках лишь примерно треть общего числа рассказов. Новеллистика Фицджеральда дает совершенно новое представление об эволюции творчества писателя – от излишнего многословия и детальности ранних текстов вплоть до лаконичности и яркости текстов тридцатых годов. При чтении романов эта стилевая динамика не так бросается в глаза, но в рассказах все выглядит предельно выпукло – и эта эволюция поражает!

Так чем же привлекают истории Скотта Фицджеральда сто лет спустя? Отчего голливудские звезды вроде Брэда Питта и Леонардо

ДиКаприо не отвергают предложений сыграть героев, которым уже почти что век? Почему меняется музыка, но история остается неизменной? Кажется, секрет в данном случае прост, – Скотт Фицджеральд умел находить тончайшие нюансы человеческих взаимоотношений, а его уникальный стиль полон красок, полутонов и едва уловимых оттенков воздушной легкости. И пусть меняется окружающий мир, люди и их чувства не изменятся никогда.

А. Б. Руднев

Вместо предисловия. Кто есть кто и как так вышло?

История моей жизни представляет собой историю борьбы между непреодолимым желанием писать и целым комплексом мешавших этому обстоятельств.

Когда мне было двенадцать лет, я жил в Сент-Поле, учился в школе и без остановки сочинял: я писал в учебнике географии, в учебнике латыни, на полях сочинений, в тетрадках по грамматике и математике. Через два года на семейном совете было решено, что необходимо заставить меня взяться за учебу всерьез, для чего есть одно-единственное средство – отправить меня в школу-пансион. Это было ошибкой. Я бросил писать! Я научился играть в футбол, курить, собрался поступать в университет и стал заниматься всякими бесполезными вещами, не имеющими отношения к делу, которое составляет саму суть настоящей жизни и заключается, разумеется, в поисках надлежащего сочетания описания и диалога в рассказе.

В пансионе у меня появилась новая цель. Я посмотрел музыкальную комедию под названием «Квакерша», и с того самого дня на моем столе громоздились стопки либретто постановок Гильберта и Салливана, а также дюжины блокнотов с набросками дюжин новых музыкальных комедий.

Незадолго до окончания школы мне случайно попались забытые кем-то на пианино ноты нового мюзикла. Он назывался «Его величество султан», а на титульном листе было указано, что пьеса ставилась клубом «Треугольник» из Принстонского университета.

Для меня этого оказалось достаточно. С того самого дня вопрос выбора университета был окончательно решен: мой путь лежал в Принстон.

Весь первый год в университете я провел, сочиняя оперетту для клуба «Треугольник». Ради этого я забросил алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию и физкультуру. Но мой мюзикл был принят клубом «Треугольник»; весь знойный август я посвятил индивидуальным занятиям с репетиторами, благодаря чему мне все же удалось перейти на второй курс и сыграть роль хористки в этой постановке. Далее следует пробел. Меня подвело здоровье, и в один из декабрьских дней я покинул университет, чтобы провести остаток учебного года, восстанавливая силы на западе страны. Одно из последних воспоминаний перед отъездом – лежу с температурой на больничной койке и пишу текст песни для постановки «Треугольника» в новом сезоне…

Следующий учебный год (1916–1917) я провел в университете, но на этот раз я решил, что единственная стоящая вещь на свете – это поэзия. В голове моей зазвучали ритмы Суинберна и сущности Руперта Брука, а весну я провел, строча ночи напролет сонеты, баллады и рондо. Я где-то вычитал, что все великие поэты складывают свои самые великие стихи до того, как им исполнится двадцать один. У меня оставался всего лишь год; кроме того, надвигалась война. Пока меня не поглотила эта пучина, я должен был опубликовать сборник изумительных стихов!

Осень застала меня на военной базе сухопутных войск в Форт-Ливенуорт. Поэзию я забросил; теперь у меня была новая цель: я принялся писать нетленный роман. Каждый вечер, пряча блокнот под «Частными задачами сухопутных войск», я записывал, параграф за

параграфом, слегка сжатую историю развития своей личности и своего воображения. Я подготовил наброски двадцати двух глав (из них четыре должны были быть в стихах), а две главы мне даже удалось завершить; затем меня застукали, и игра окончилась. Теперь я уже больше не мог сочинять в часы, отведенные для обучения.

Налицо было определенное затруднение. Жить мне оставалось три месяца – в те дни все офицеры сухопутных войск думали, что жить им осталось три месяца, – а я так и не оставил свой след в этом мире. Но столь всепоглощающему стремлению не могла помешать какая-то там война! Каждое воскресенье в час дня, по окончании очередной недели военной науки, я спешил в офицерский клуб – и там, в углу, среди клубов табачного дыма, болтовни и шуршания газет я за три месяца написал роман в сто двадцать тысяч слов. Я ничего не переписывал, для этого у меня не было времени. Как только я заканчивал очередную главу рукописи, я тут же отправлял ее в Принстон перепечатывать на машинке.

В то время я жил на исписанных карандашом страницах рукописи. Строевая подготовка, марш-броски и «Частные задачи сухопутных войск» представлялись мне зыбкими снами. Все мое существование сконцентрировалось в моей книге.

В часть я прибыл счастливым. Роман я написал, так что теперь можно было заняться и войной. Я позабыл о параграфах и пентаметрах, сравнениях и силлогизмах. У меня было звание первого лейтенанта, у меня был приказ отправляться за океан, и тут издатели написали мне, что они уже давно не получали столь оригинальной рукописи, как мой «Романтический эгоист», но издать ее они не смогут! Произведение было сырым, да еще и ничем не кончалось.

Через полгода после этого я прибыл в Нью-Йорк и обошел семь редакций городских газет, везде предлагая себя в качестве репортера. Мне только что исполнилось двадцать два, война окончилась, и днем я собирался выслеживать убийц, а по вечерам писать рассказы. Но газеты не нуждались в моих услугах! Ко мне отправляли мальчишек-посыльных с сообщением, что в моих услугах нет необходимости. Видимо, все принимали окончательное и бесповоротное решение о том, что я совершенно не гожусь на должность репортера, просто взглянув на мое имя на визитке.

Так что я устроился на должность копирайтера за девяносто долларов в месяц и принялся сочинять рекламные слоганы, помогавшие скоротать томительные часы в вагоне пригородного трамвая. А после работы я писал рассказы – с марта по июнь. Всего я написал девятнадцать штук; самый короткий был создан за полтора часа, самый длинный – за три дня. Редакции не хотели их покупать, никто не присылал мне даже отказов с критическим разбором. По всему периметру моей комнаты было пришпилено к стене сто двадцать два обезличенных отказа в приеме рукописей. Я писал сценарии фильмов, писал тексты песен. Я писал сложные планы рекламных компаний. Я писал стихи. Я писал юморески. В конце июня мне удалось пристроить один рассказ, и я получил за него тридцать долларов.

Четвертого июля, с чувством полнейшего отвращения к самому себе и всем редакторам на свете, я приехал в Сент-Пол и сообщил семье и друзьям, что уволился с работы и прибыл домой, чтобы писать роман. Все вежливо кивали, тут же переводили разговор на что-то другое и старались говорить со мной как можно более мягко. Но на этот раз я был уверен в том, что делаю. У меня в голове наконец-то был целый роман, и два жарких летних месяца подряд я сочинял, редактировал и сокращал. Пятнадцатого сентября я получил экспресс-почтой письмо о том, что роман «По эту сторону рая» принят издательством!

За следующие два месяца я написал восемь рассказов и продал в журналы девять. Девятый купил у меня тот самый журнал, который отверг его четыре месяца назад. Затем, в ноябре, я продал свой первый рассказ журналу «Сатердей ивнинг пост». К февралю они купили у меня уже полдюжины рассказов. Затем вышел в свет мой роман. Затем я женился. А теперь вот провожу время, раздумывая, как же это так все вышло.

Говоря словами бессмертного Юлия Цезаря: «Вот и все, и больше ничего».

Проба пера (1909-1917)

Тайна закладной Рэймонда

Джона Сайрела из «Ежедневных новостей Нью-Йорка» я впервые увидел у себя дома, – он стоял перед распахнутым окном и глазел на город. Было что-то около шести вечера, зажигались первые фонари. Вся 33-я улица выглядела сплошной линией ярко освещенных зданий. Он был невысок ростом, но благодаря прямоте осанки и гибкости движений его прекрасное сложение вполне можно было назвать атлетическим. При нашей первой встрече ему было двадцать три года, а он уже занимал должность репортера. В нем не было приторной красивости: лицо было чисто выбрито, а форма подбородка ясно указывала на сильный характер. Его глаза были карими.

Когда я вошел в комнату, он медленно повернулся и обратился ко мне, манерно растягивая слова:

– Мне кажется, я имею честь говорить с мистером Эганом, шефом полиции?

Я кивнул, и он продолжил:

– Мое имя Джон Сайрел, и – я буду говорить без обиняков – мне необходимо узнать все, что можно, об этом деле с закладной Рэймонда.

Я уже хотел было ему ответить, но он жестом попросил меня молчать.

– Несмотря на то что я работаю в штате «Ежедневных новостей», – продолжил он, – здесь я нахожусь не в качестве представителя газеты.

– Ну а я здесь нахожусь, – холодно перебил я, – не для того, чтобы рассказывать о внутренних делах полиции любому прохожему или репортеру. Джеймс, проводите джентльмена к выходу.

Сайрел молча развернулся, и вскоре я услышал его шаги в прихожей.

Но, как это будет видно из дальнейших событий, этой встрече не суждено было стать последней.

На следующее утро после того, как я познакомился с Джоном Сайрелом, я поехал к месту преступления, о котором шел наш разговор. В поезде я достал газету и прочитал отчет о преступлении и последовавшей за ним краже:

«СЕНСАЦИЯ!»

«Ужасное преступление в пригороде!»

«Что думает мэр по поводу разгула преступности?»

«Утром 1 июля в городском пригороде было совершено преступление и произошла серьезная кража. Убита мисс Рэймонд, а рядом с домом найдено тело слуги.

Мистер Рэймонд (проживающий на озере Сантука) в среду на рассвете был разбужен криком и двумя револьверными выстрелами, донесшимися из комнаты его жены. Он попытался открыть дверь, но она не открывалась. Он был практически уверен, что дверь была заперта изнутри, но неожиданно она распахнулась, и он увидел комнату, в которой все было перевернуто вверх дном. В центре комнаты на полу лежал револьвер, а на постели жены красовалось кровавое пятно, по форме напоминавшее отпечаток ладони. Жена исчезла, но при более внимательном осмотре комнаты под кроватью он обнаружил свою дочь, без признаков жизни. Окно было разбито в двух местах. На теле мисс Рэймонд была обнаружена пулевая рана, ее голова была страшно обезображена неким острым предметом.

У дома было найдено тело слуги с пулевым ранением в голову. Миссис Рэймонд до сих пор не обнаружена.

Все в комнате было перевернуто, а ящики бюро выдвинуты, словно убийца что-то разыскивал. Щеф полиции Эган в данный момент находится на месте преступления, и т. д.».

Когда я дошел до этого места, кондуктор объявил «Сантука!». Поезд остановился, я вышел из вагона и пошел к дому. На крыльце я встретил Грегсона, который считался у нас самым способным детективом. Он передал мне план дома и попросил на него взглянуть, не откладывая.

– Тело слуги нашли вот здесь, – показал он, – его звали Джон Стэндиш. Он служил здесь двенадцать лет и никогда ни в чем не был замечен. Недавно ему исполнилось тридцать два.

– Пулю, которой он был убит, не нашли? – спросил я.

– Нет, – ответил он, и продолжил: – Ну ладно, вы лучше идите и посмотрите сами. Кстати, тут ошивался один тип, который очень хотел взглянуть на тело. Когда я отказался разрешить ему войти в дом, он пошел туда, где застрелили слугу, и я видел, как он встал на колени и стал что-то искать в траве. Спустя несколько минут он встал и пошел к дереву. Затем подошел к дому и снова попросил показать ему тело. Я сказал, что он увидит его при условии, что тотчас же после этого отсюда уберется. Он согласился. Войдя в комнату, он снова встал на колени, заглянул под кровать и тщательно все осмотрел. Затем подошел к окну и внимательно исследовал разбитое стекло. Наконец сказал, что полностью удовлетворен, и удалился к гостинице.

Исследовав комнату вдоль и поперек, я обнаружил, что для разгадки тайны я мог бы с таким же успехом все это время смотреть на мельничный жернов. Завершив расследование, я пошел в лабораторию к Грегсону.

– Полагаю, вы уже слышали о закладной? – спросил он, спускаясь со мной рядом по лестнице.

Я ответил отрицательно, и он рассказал мне, что из комнаты, в которой была убита мисс Рэймонд, исчезла весьма ценная закладная. В ночь перед убийством мистер Рэймонд положил закладную в ящик, откуда она и пропала.

На обратном пути в город я опять встретил Сайрела, и он дружелюбно поклонился мне в знак приветствия. Мне стало немного стыдно за то, что я так бесцеремонно выставил его из дома. Войдя в вагон, я обнаружил, что единственное свободное место находилось рядом с ним. Я сел и попросил прощения за свою позавчерашнюю грубость. Он и не думал обижаться на меня, и, поскольку больше

говорить было не о чем, мы продолжили свой путь в молчании. Наконец я решил заговорить:

– Что вы думаете о деле?

– В данный момент я ничего о нем не думаю. У меня не было времени на обдумывание.

Нисколько не обескураженный, я попробовал снова:

– Узнали что-нибудь новое?

Сайрел засунул руку в карман и продемонстрировал пулю. Я изучил ее.

– Где вы это нашли? – спросил я.

– Во дворе, – коротко ответил он.

Я снова откинулся на сиденье. К городу мы подъехали уже ночью. Первый день моего расследования нельзя было назвать удачным.

Следующий день был нисколько не успешнее предыдущего. Моего приятеля Сайрела в доме не было. В комнату к мистеру Рэймонду вошла горничная и, нисколько не стесняясь меня, заявила, что желает отказаться от места.

– Мистер Рэймонд, – сказала она, – ночью за окном я слышала подозрительный шум. Я вовсе не хочу уходить, но это действует на нервы!

Больше в тот день ничего не произошло, и домой я вернулся совершенно разбитым. На утро следующего дня меня разбудила горничная, которая принесла телеграмму. Открыв ее, я обнаружил, что она от Грегсона. «Поторопитесь, – прочитал я, – изумительные новости». Я поспешно оделся и первым же поездом приехал в Сантуку. На перроне меня уже поджидал Грегсон. Не успел я усесться в его маленький автомобиль, как он сразу же принялся рассказывать, что произошло:

– Ночью кто-то проник в дом! Вы, наверное, знаете, что мистер Рэймонд попросил меня переночевать в доме? Ну так вот, около часа ночи мне захотелось пить. Я пошел в холл, чтобы налить воды, и, выходя из комнаты (а я лег в комнате мисс Рэймонд), я услышал, что в комнате миссис Рэймонд кто-то ходит! Удивившись, что мистер Рэймонд не спит в такое время суток, я прошел в гостиную, чтобы узнать, в чем дело. Я открыл дверь комнаты миссис Рэймонд… Тело мисс Рэймонд лежало на диване. Возле него на коленях стоял человек. Лица его я не видел, но по фигуре смог точно определить, что это не

мистер Рэймонд. Я продолжил наблюдение; он бесшумно встал, и я увидел, как он открыл бюро, что-то оттуда достал и сунул в карман. Развернувшись, он увидел меня, а я его: это был какой-то неизвестный мне молодой человек. Издав крик ярости, он бросился на меня, но я уклонился, поскольку у меня с собой не было оружия. Он схватил тяжелую индейскую дубинку и наотмашь ударил меня по голове. Я издал крик, который, должно быть, разбудил весь дом, – и больше я ничего не помню, вплоть до того момента, когда очнулся и увидел склонившегося надо мной мистера Рэймонда.

– Как выглядел этот человек? – спросил я. – Вы узнали бы его, если бы встретились с ним еще раз?

– Думаю, нет, – ответил он. – Я видел его только в профиль.

– Единственное объяснение, которое я могу дать, заключается в том, – сказал я, – что убийца находился в комнате мисс Рэймонд, и, когда она зашла в комнату, он напал на нее, нанеся ей глубокие раны. Затем он прошел в комнату миссис Рэймонд и похитил ее, не забыв сперва застрелить мисс Рэймонд, сделавшую попытку приподняться. На улице ему встретился Стэндиш, который попытался его остановить и был за это убит.

Грегсон улыбнулся.

– Это решение неправдоподобно, – сказал он.

Около дома я увидел Джона Сайрела, который кивком отозвал меня в сторону.

– Пойдемте со мной, – сказал он, – и вы узнаете нечто, что может оказаться для вас полезным.

Извинившись перед Грегсоном, я пошел вслед за Сайрелом. Он начал говорить, как только мы скрылись в аллее:

– Давайте предположим, что убийца – или убийцы – благополучно сбежали из дома. Куда же они направятся? Естественно, им нужно скрыться, и как можно дальше. И куда же они пойдут? Недалеко отсюда есть только две железнодорожные станции, Сантука и Лиджвилль. Я установил, что Сантукой они не воспользовались. То же самое установил и Грегсон. Далее я предположил, что они направились к Лиджвиллю. Грегсон этого не сделал – заметьте, вот в чем разница! Прямая линия – кратчайшее расстояние между двумя точками. Я прошел по прямой отсюда до Лиджвилля. Поначалу мне не попалось ничего интересного. Но мили через две, в болотистой

низине, я нашел следы. Там было всего три отпечатка, и я сделал слепки. Вот они. Как видите, этот след принадлежит женщине. Я сравнил его с ботинками миссис Рэймонде. Они совпадают. Остается еще пара. А вот они уже принадлежат мужчине.

Пулю, найденную мной на месте убийства Стэндиша, я сравнил с одним из оставшихся патронов в том револьвере, что был обнаружен в комнате миссис Рэймонд. Они идентичны. Из револьвера был сделан только один выстрел, и гильзу я нашел только одну, поэтому я сделал вывод, что стреляла из револьвера либо мисс, либо миссис Рэймонд. Я предпочитаю думать, что это была миссис Рэймонд, потому что именно она спаслась бегством.

Итак, подводя итоги и принимая во внимание, что у миссис Рэймонд должна была быть какая-то причина для того, чтобы попытаться убить Стэндиша, я прихожу к выводу, что ночью в пятницу Джон Стэндиш убил мисс Рэймонд через окно комнаты ее матери. Я также делаю вывод, что миссис Рэймонд, убедившись, что дочь мертва, выстрелила в Стэндиша через окно и убила его. Придя в ужас от содеянного, она спряталась за дверью, когда вошел мистер Рэймонд. А затем вышла из дома через черный ход. На улице она споткнулась о револьвер Стэндиша, подняла его и забрала с собой. Где-то по пути отсюда в Лиджвилль – либо случайно, либо по договоренности – она встретилась с тем, кто оставил эти следы, и пошла с ним на станцию, откуда они вместе и поехали на утреннем поезде в Чикаго. На станции мужчину не видели. Мне сказали, что билет покупала только женщина, из чего можно сделать вывод, что молодой человек с ней не поехал. А сейчас вы должны рассказать мне все, что поведал вам Грегсон!

– Как вы все это узнали? – в изумлении воскликнул я, а затем рассказал ему о ночном визите.

Он совсем не удивился и сказал:

– Я думаю, что юноша и есть наш приятель, оставивший следы. А теперь вам лучше взять револьвер и собрать все необходимое, если вы, конечно, хотите поехать со мной и отыскать этого молодого человека и миссис Рэймонд, которая, я думаю, сейчас находится с ним.

Ошеломленный от услышанного, я вернулся в город первым же поездом. Я купил пару новеньких «кольтов», потайной фонарь и две смены белья. Мы приехали в Лиджвилль и обнаружили, что молодой человек отбыл в Итаку на шестичасовом поезде. Добравшись до

Итаки, мы обнаружили, что он пересел на поезд, который в тот момент находился на пол пути в Принстон, что в штате Нью-Джерси. Было уже пять утра, но мы взяли билет на скорый, рассчитывая перехватить его где-нибудь между Итакой и Принстоном. Какова же была наша досада, когда, нагнав пассажирский поезд, мы узнали, что он сошел в Индианосе и сейчас, скорее всего, уже в полной безопасности. Упав духом, мы взяли билет до Индианоса. В кассе нам сказали, что молодой человек в светло-сером костюме сел на автобус до отеля Рузвельта. Выйдя на улицу, мы нашли тот самый автобус, на котором он ехал, расспросили водителя, и он признался, что действительно отвез пассажиров в отель Рузвельта.

– Но, – сказал старик, – когда я остановился у отеля, парнишка просто испарился, и я так и не получил с него плату за проезд!

Сайрел тяжело вздохнул, – было ясно, что юношу мы потеряли. Мы взяли билеты на поезд до Нью-Йорка и телеграфировали мистеру Рэймонду, что приедем в понедельник. Ночью в воскресенье меня позвали к телефону; по голосу я узнал Сайрела. Он потребовал, чтобы я сейчас же мчался по адресу улица Каштановая, 534. Я столкнулся с ним у двери.

– Что, какие-нибудь новости? – спросил я.

– В Индианосе у меня есть агент, – ответил он, – мальчишка-араб, которому я плачу десять центов в день. Я поручил ему выследить женщину, и сегодня он прислал мне телеграмму (на этот случай я оставил ему деньги), в которой он пишет: «Приезжайте немедленно». Так что поехали!

И мы сели на поезд. Шмиди, юный араб, встретил нас на станции:

– Сэр, вот какой вещь. Вы сказал: «Ищи парень с таким шляпа», и я сказал найду. Ночь парнишка вышел с дома на Сосновой улице и дать кэбмэн десять доллар сразу. Я с минуту ждать, он выходить с женщина, и они ходить недалеко дом чуть подальше по улица, я показать вам место!

Мы пошли по улице вслед за Шмиди, пока не достигли дома, стоявшего на перекрестке. На первом этаже расположилась табачная лавка, но второй этаж явно сдавался внаем. В окне мелькнуло чье-то лицо, но, заметив нас, человек поспешно удалился в глубь комнаты. Сайрел достал из кармана фотокарточку.

– Это она! – воскликнул он и, крикнув нам, чтобы мы следовали за ним, рванул на себя небольшую боковую дверь.

Сверху донеслись голоса, шарканье подошв и хлопок закрывающейся двери.

– Вверх по лестнице! – крикнул Сайрел, и мы побежали за ним, перескакивая сразу через несколько ступенек.

На верхней площадке лестницы нас встретил молодой человек.

– По какому праву вы врываетесь в этот дом? – спросил он.

– По праву закона! – ответил Сайрел.

– Я не делал этого! – вспыхнул юноша. – Вот как все было. Агнесс Рэймонд любила меня, она не любила Стэндиша, и он ее застрелил; но Господь не дал ее убийце уйти от мщения. Хорошо, что его убила миссис Рэймонд, потому что иначе его кровь была бы на моих руках. Я вернулся, чтобы еще раз увидеть Агнесс перед тем, как ее похоронят. Кто-то вошел в комнату. Я его ударил. Я только что узнал, что миссис Рэймонд его убила.

– А я забыл о миссис Рэймонд! – сказал Сайрел. – Где же она?

– Она уже не в вашей власти! – сказал молодой человек.

Сайрел скользнул мимо него, Шмиди и я – за ним. Он распахнул дверь в комнату на верхней площадке, и мы ворвались в помещение.

На полу лежала женщина, и, едва коснувшись ее груди, я понял, что ей уже ни один врач не поможет.

– Она приняла яд, – сказал я.

Сайрел оглянулся – молодой человек исчез. Охваченные ужасом, мы остались наедине со смертью.

Рид, на замену!

«Стоять! Стоять! Стоять!» – гремел над полем лозунг болельщиков; утомленные игроки в красном медленно выбежали на свои места. На этот раз атака синих шла прямо по центру и увенчалась проходом семи ярдов. «Второй даун, три!» – выкрикнул судья, и вновь атака по

центру. На этот раз они не выдержали натиска; огромный фулбек Хилтона опять прорвался сквозь линию красных и, раскидав всех таклов, шатаясь, направился к воротам Уоррентауна.

Крошечный квотербек Уоррентауна быстро выбежал вперед и, уклонившись от нападающих, бросился прямо под ноги фулбеку, повалив его на землю. Команды снова построились в линии, но Херст, правый такл красных, так и остался лежать на земле. Такла заменили, поставив вместо него правого хавбека, и капитан команды Берл убежал за боковую линию посоветоваться с тренерами.

– Кого поставим хавбеком, сэр? – спросил он главного тренера.

– Может, Рида? – ответил тренер, взглянув на одного из сидевших на куче соломы, служившей скамейкой запасных, и кивком подозвав его к себе. Светловолосый юноша, стягивая свитер, подбежал к тренеру.

– Слишком маленький, – сказал Берл, внимательно оглядев стоявшего перед ним.

– И все же больше некого, – ответил тренер.

Было заметно, что Рид волнуется; он переминался с ноги на ногу и теребил край своего свитера.

– Ладно, ничего не поделаешь, – сказал Берл. – Вперед, малыш! – И они выбежали на поле.

Команды быстро выстроились в линии, квотербек Хилтона дал сигнал разыгрывать «6-8-7-Джи». Игра велась между гардом и таклом, однако в этот момент из линии Уоррентауна выскочила грациозная фигура, так и не дав вступить в игру фулбеку, тяжело упавшему на землю. «Отлично сработал, Рид», – похвалил Берл. Рид побежал обратно на свое место, покраснев от похвалы, и присел в стойку в ожидании следующего дауна. Центр выполнил снеп квотербеку – тот, развернувшись, хотел дать пас хавбеку. Мяч выскользнул у него из рук, он почти поймал его, но было уже поздно. Рид проскользнул между тайт-эндом и таклом и выбил мяч. «Отлично, Рид», – крикнул Мрайдл, квотербек Уоррентауна, выбегая вперед и выкрикивая на бегу команду разыгрывать «48-10-Джи-37». Рядом с левым тайт-эндом стоял Рид, но пас был неточным, и квотербек не удержал мяч. Рид подобрал его на бегу и обежал левого тайт-энда. Игру остановили из-за фамбла, и вмешательство Рида оказалось напрасным, – ему пришлось снова вернуться на свое место; после того как он обошел тайт-энда, его

свалил тяжелый удар синего фулбека. Однако ярд он все-таки отыграл. «Все равно молодец, Рид, – сказал квотербек, – это моя ошибка!» И опять снеп, но пас вновь неточный, и лайнмен Хилтона упал на мяч.

А затем началось уверенное движение по полю к очковой зоне Уоррентауна. Раз за разом Рид проскальзывал через линию Хилтона и блокировал раннера, не давая ему вступить в игру. Но команда Хилтона все равно медленно продвигалась к воротам Уоррентауна. Когда синие были уже на последней десятиярдовой зоне красных, их квотербек совершил единственную за всю игру ошибку. Он дал сигнал пасовать вперед. Мяч полетел фулбеку, который развернулся, чтобы бросить его правому хавбеку. Но едва мяч оторвался от руки, как Рид подпрыгнул и перехватил его. Он споткнулся, но тут же восстановил равновесие и бросился к воротам Хилтона, оставив позади себя длинную цепь игроков в красном и синем. От ближайшего соперника его отделяло пять ярдов, но к тому моменту, когда он пересек свою линию сорока пяти ярдов, это расстояние сократилось до трех. Он повернул голову и огляделся. Его преследователь тяжело дышал, и Рид понял, что надо делать. Надо было попробовать увернуться. Как только соперник бросился на него всем телом, он резко отскочил, и соперник упал прямо за ним, промахнувшись всего лишь на какой-то фут.

Теперь добежать до линии ворот было уже несложно, – когда Рид бросил мяч на землю и, счастливый, упал рядом, он услышал новый лозунг болельщиков, отдававшийся эхом по всему стадиону: «Раз, два, три, четыре, пять – Рид, выходи опять!»

Долг чести

– Прэйл!

– Я.

– Мартен!

– Выбыл.

– Сандерсон!

– Я!

– Карлтон, сегодня в караул!

– Он в лазарете.

– Есть добровольцы в караул?

– Я, я! – громко выкрикнул Джек Сандерсон.

– Принято, – сказал капитан и продолжил перекличку по списку.

Ночь выдалась холодной. Джек и сам не понимал, как же так вышло. Накануне он получил легкое ранение в руку, и его китель украсился ярко-красным пятном в том месте, где его прошила шальная пуля. А шестой пост был далеко. Надо было пройти с холма, где стояла палатка генерала, вниз, к озеру. Он почувствовал, как на него накатывает слабость. Он очень устал, к тому же очень быстро стемнело.

Там его и нашли утром: он уснул после утомительного марша и последовавшей за ним битвы. Не считая легкой раны, с ним все было хорошо, а законы военного времени очень суровы. До конца своей жизни Джек помнил печальный голос своего капитана, объявившего страшный приказ.

Начальник лагеря Боулинг-Грин, 15 января 1863 года, Соединенные Штаты. За сон при исполнении обязанностей караульного на ответственном посту рядовой Джон Сандерсон настоящим приговаривается к расстрелу. Расстрелять на рассвете 16 января 1863 года. По приказу главнокомандующего Роберта И. Ли.

Джек никогда не забудет жуткую ночь и марш на рассвете. Ему завязали глаза платком и чуть отвели от стены, которая была выстроена на границе лагеря. Еще никогда жизнь не казалась столь желанной.

В своей палатке генерал Ли долго и тщательно обдумывал дело.

– Он же почти мальчишка, и из хорошей семьи. Но дисциплина есть дисциплина. С другой стороны, проступок наказанию не соответствует. Парень переутомился и к тому же ранен. Черт возьми, пусть его освободят, несмотря на мою репутацию! Сержант, передайте мой приказ: привести рядового Джона Сандерса.

– Слушаюсь, сэр! – отдав честь, ординарец покинул палатку.

Джека привели двое солдат, потому что он едва мог стоять на ногах, после того как чудом избежал смерти.

– Сэр, – сурово произнес генерал Ли, – благодарите вашу молодость за то, что вы отделаетесь выговором; но смотрите, если подобное повторится, на снисхождение не рассчитывайте.

– Генерал, – ответил Джек, заставив себя стать по стойке «смирно», – у Конфедеративных Штатов Америки никогда не будет повода сожалеть о том, что меня не расстреляли.

И Джека увели; он все еще дрожал, но был счастлив, вновь обретя жизнь.

Спустя шесть недель армия Ли стояла у Ченслорсвилля. Так далеко войска Конфедерации продвинулись благодаря успешной операции у Фредериксберга. Едва началась стрельба, к генералу Джексону подскакал курьер.

– Сэр, полковник Барроуз передает, что враг занял деревянный дом на опушке леса, откуда полностью просматриваются наши траншеи. Он просит вашего приказа взять его штурмом.

– Передайте полковнику Барроузу мою благодарность, а также передайте, что больше двадцати человек я выделить не смогу. Однако эти двадцать человек передаются в его полное распоряжение, – ответил генерал.

– Слушаю, сэр! – И ординарец, пришпорив лошадь, ускакал.

Через пять минут шеренга солдат Третьего Виргинского появилась из леса и пошла в атаку на дом. Войска Федерации открыли беспорядочный огонь со своих позиций, сразив множество храбрецов, включая и их командира, юного лейтенанта. Джек Сандерсон выбежал вперед и, размахивая пистолетом, повел уцелевших в атаку. На полпути между позициями войск Конфедерации и домом находился низкий холм – за ним солдаты и укрылись, чтобы получить хоть небольшую передышку.

Через минуту одинокая фигура бросилась вперед, к дому. Солдат пробежал уже половину простреливавшегося промежутка, когда войска северян его заметили и открыли бешеный огонь. Он на мгновение пошатнулся и приложил руку ко лбу. Затем опять побежал, добежал до дома, распахнул дверь и исчез внутри. Через минуту из окон дома полыхнул столб пламени, и практически тотчас же солдаты Федерации ударились в бегство. С позиций войск Конфедерации раздался ликующий крик, прозвучала команда «в атаку!», и солдаты

пошли вперед, сметая все на своем пути. В ту же ночь в полусгоревший дом проникли разведчики. Там, на полу, рядом с кучей тюфяков, которую он поджег, лежало его тело – тело, бывшее когда-то рядовым Джоном Сандерсом из Третьего Виргинского. Он отдал свой долг чести.

Комната за зелеными ставнями

I

И при свете дня он выглядел зловеще, – безрадостные коричневые стены, грязные окна… Сад – если только его можно было так назвать – давно скрылся под зарослями буйно разросшихся сорняков, камни подъездной дорожки разъехались, кирпич крошился от времени. Да и внутри было не лучше. Старые расшатанные кресла с тремя ножками, покрытые тем, что когда-то было плюшем, выглядели не слишком уютно. И все же этот дом был частью наследства, оставленного мне дедушкой. В завещании было условие: «Весь дом, со всем в нем находящимся имуществом, переходит в собственность моего внука, Роберта Калвина Рэймонда, по достижении им двадцати одного года. При этом я запрещаю ему открывать комнату на втором этаже в конце коридора до тех пор, пока не погибнет Карматль. Он имеет право отремонтировать и обставить три комнаты в доме по своему желанию на современный лад, однако все остальные помещения должны остаться в неприкосновенности. Мой наследник имеет право нанять не более одного слуги».

Для бедного юноши без жизненных перспектив и без денег, существовавшего на жалкие восемьсот долларов в год, это

свалившееся с неба наследство выглядело неслыханной удачей, особенно с прилагавшимися к нему двадцатью пятью тысячами долларов. Я решил отремонтировать свой новый дом и отправился на юг, в Джорджию, где в окрестностях Мэйсона он и находился. Весь вечер, трясясь в пульмановском вагоне, я думал об этом странном условии: «Я запрещаю ему открывать комнату на втором этаже в конце коридора до тех пор, пока не погибнет Карматль». Кто такой Карматль? И что это значило – «пока не погибнет Карматль»? Тщетно пытался я подойти к вопросу то так, то эдак; я никак не мог придумать ничего правдоподобного.

Добравшись наконец до дома, я зажег свечу из привезенной с собой коробки и по скрипящим ступеням поднялся наверх, на третий этаж. Впереди был длинный узкий коридор, покрытый паутиной, на полу валялись какие-то дохлые жуки. Коридор заканчивался массивной дубовой дверью, которая не позволила мне пройти дальше. В свете свечи я смог разглядеть нарисованные красной краской на двери инициалы «Д. У. Б.». Дверь была заперта снаружи толстым железным засовом, одинаково эффективно препятствовавшим как входу, так и выходу. Неожиданно моя свеча потухла, даже не вспыхнув напоследок, и я остался в полной темноте. Хотя на нервы мне жаловаться не приходится, вынужден признаться – я вздрогнул, потому что не почувствовал даже намека на ветер! Я вновь зажег свечу и пошел по коридору обратно в комнату с трехногими креслами. Было уже почти девять вечера, а весь день я провел в дороге; я устал и очень быстро уснул.

Не знаю, долго ли я спал. Но внезапно я проснулся и тут же сел в кровати, потому что из нижнего холла до меня донесся звук приближающихся шагов, а через секунду в щели двери показался отблеск свечи. Шаги были уже рядом – стараясь не шуметь, я вскочил на ноги. Снова послышались звуки, нежданный гость был совсем близко, и тогда я его увидел. Мерцающее пламя свечи падало на выразительное красивое лицо, на котором выделялись яркие карие глаза и решительный подбородок. Внушительная фигура была облачена в грязную серую униформу войск Конфедерации, а покрывавшие униформу кровавые пятна усиливали жуткое впечатление, которое произвел на меня неподвижный взгляд остекленевших глаз. Чисто выбритое лицо показалось мне смутно

знакомым; инстинкт подсказал, что человек этот как-то связан с запертой дверью в правом крыле дома.

Вздрогнув, я пришел в себя и присел, изготовившись к прыжку, но нечаянный шорох спугнул незнакомца – неожиданно потухла свеча, и в темноте я наткнулся на стул, набив шишку на ноге. Остаток ночи я провел в попытках связать условие в завещании деда с этим полуночным гулякой.

Когда наступило утро, все стало выглядеть иначе, и я решил выяснить, действительно ли ко мне в гости заглядывал офицер армии Конфедерации или же это был просто сон? Я вышел в холл и стал искать любые следы, которые могли бы помочь раскрыть тайну. Как и следовало ожидать, прямо за моей дверью обнаружилось сальное пятно от свечи. Через десять ярдов нашлось и второе, и я пошел по следу из пятен через холл наверх, в левое крыло дома. Футах в двадцати от двери запретной комнаты след обрывался; ничто не указывало на то, что кто-либо шел дальше. Я подошел к двери и подергал ее, чтобы убедиться, что никому не удалось бы ни войти, ни выйти. После этого я спустился вниз и не спеша прошел в восточное крыло, чтобы оглядеть окна запертой комнаты с улицы. В комнате было три окна, закрытых глухими зелеными ставнями и наглухо забранных железными решетками. Желая в этом удостовериться, я сходил в сарай – шаткое древнее строение, – где, лишь проявив недюжинную силу, мне удалось извлечь из кучи хлама лестницу. Я приставил ее к стене дома и, взобравшись наверх, проверил каждую решетку. Все было без обмана. Они крепко сидели в бетонных рамах.

Таким образом, оставалось единственное возможное объяснение: спрятавшийся внутри человек воспользовался каким-то третьим выходом, каким-нибудь тайным ходом. С этой мыслью я обшарил весь дом от подвала до чердака, но не нашел ничего, хоть отдаленно напоминавшего тайный ход. Затем я сел и стал думать.

Итак, имелся человек, спрятавшийся в комнате в восточном крыле. Не было никаких сомнений: у этого человека была привычка наносить полночные визиты в нижний холл. Кто такой Карматль? Имя необычное, и я почувствовал, что едва я найду его обладателя, как тайна будет разгадана.

Ага, вот оно! Карматль, губернатор Джорджии! Как же мне раньше в голову не пришло? Я решил, что сегодня же вечером отправлюсь в

Атланту и увижусь с ним.

II

– Мистер Карматль, не так ли?

– К вашим услугам.

– Губернатор, я пришел к вам по личному делу, однако я мог и ошибиться. Известно ли вам что-нибудь о «Д. У. Б.» или, быть может, вам знаком человек с подобными инициалами?

Губернатор побледнел.

– Молодой человек, прошу вас рассказать, где вы слышали об этих инициалах и почему вы решили прийти именно ко мне?

Стараясь быть как можно более кратким, я пересказал ему всю историю, начиная с завещания и заканчивая своими предположениями по этому поводу.

Когда я закончил, губернатор встал:

– Все понятно! Да, теперь все ясно. С вашего позволения, мне необходимо провести одну ночь в вашем доме вместе с вами и одним моим другом, который работает детективом. Если я не ошибаюсь, в этом доме прячется… – Он замолчал. – Впрочем, пока что лучше не называть имен, ведь все может оказаться всего лишь примечательным совпадением. Давайте встретимся на станции через полчаса; рекомендую захватить револьвер.

К шести часам мы – я, губернатор и детектив, которого он привез с собой, парень по имени Батлер, – уже были в доме и сразу же пошли туда, где находилась комната.

За полчаса энергичных поисков нам не удалось найти никаких следов хода – ни тайного, ни какого-либо иного. Я решил присесть отдохнуть и в этот момент случайно коснулся рукой незаметного выступа стены. Тотчас же часть стены исчезла, и перед нами открылся лаз высотой фута в три. Губернатор в тот же миг шмыгнул туда с

проворством кота и скрылся с наших глаз. Оценив ситуацию, мы последовали за ним. Я полз по грубым камням в абсолютной тьме. Раздался резкий звук выстрела, а затем еще один. И тут лаз кончился. Мы оказались в комнате, украшенной великолепными восточными драпировками, со стенами, увешанными средневековым оружием и древними мечами, щитами и боевыми топорами. Красная лампа на столе отбрасывала на все окружающее тусклые блики и бросала красные отблески на тело, лежавшее у подножия турецкого дивана. Это был офицер войск Конфедерации, убитый выстрелом в сердце – на серой униформе резко выделялось пятно алой крови. Рядом с телом, сжимая в руке еще дымящийся револьвер, стоял губернатор.

– Джентльмены, – произнес он, – позвольте вам представить Джона Уилкса Бута, убийцу Авраама Линкольна!

III

– Мистер Карматль, надеюсь, вы объясните нам…

– Естественно. – И, пододвинув к себе стул, губернатор стал рассказывать: – Во время Гражданской войны мы с моим сыном служили в разведке кавалерийского полка генерала Фореста и отбились от своих, так что об окружении Ли у Аппоматокса мы узнали лишь спустя три месяца. Пробираясь на юг вдоль Камберлендской дороги, мы повстречались с одним человеком. Как обычно в путешествиях, завязалось знакомство, мы решили вместе заночевать, а наутро человек исчез вместе со старой лошадью моего сына и его же старой формой, – правда, нам остались его свежая лошадь и новенький гражданский костюм. Мы не знали, что и думать, но нам даже в голову не пришло, кто это был! Мы с сыном разделились, и больше я его не видел. Он решил идти к тетке в Восточный Мэриленд, и его застрелили солдаты северян, застав врасплох на рассвете в каком-то амбаре, где он заночевал. Публике сообщили, что застрелили Бута, но

и я, и правительство знали, что по ошибке застрелили моего несчастного сына, а Джон Уилкс Бут – тот самый человек, что забрал его лошадь и форму, – сбежал! Четыре года я охотился за Бутом, но, пока я не услышал от вас инициалы «Д. У. Б.», мне никак не удавалось напасть на его след. Ну а когда я его обнаружил, он выстрелил первым. Думаю, что своим визитом в холл в форме солдата Конфедерации он хотел вас просто отпугнуть. Симпатия вашего деда южанам, вероятно, и хранила его в безопасности все эти годы. Итак, джентльмены, вот вам моя история. А теперь вам предстоит решить, останется ли все это известным лишь нам троим, а также правительству или же я буду обвинен в убийстве и осужден.

– Вы так же невинны, как виновен Бут, – ответил я. – Я никогда не раскрою рта!

И мы оба подались вперед пожать ему руку.

Санта-неудачник

Во всем, что произошло, виновата мисс Хармон. Если бы не ее глупая прихоть, Тальбот не выставил бы себя перед всеми дураком и… Но не будем забегать вперед.

Наступил сочельник. Об этом свидетельствовали многочисленные Санта-Клаусы из Армии спасения, выбивавшие свинцовыми ложечками дробь по расклеивавшимся бумажным каминам. Даже нагруженные свертками старые холостяки наконец забыли о том, сколько пар тапочек и халатов им придется принять в дар на следующий день, и поддались волнующей атмосфере праздника, заполнившей деловой Манхэттен.

В гостиной дома, расположенного на тускло освещенной улице жилого квартала где-то к востоку от Бродвея, сидела леди, из-за которой – как я уже сказал раньше – все и началось. Она была занята полуфривольным-полусентиментальным разговором с безупречно одетым молодым человеком, устроившимся рядом с ней на диване. Как

ни странно, беседа не выходила за рамки приличий и благопристойности, так как они были помолвлены и собирались пожениться в июне.

– Гарри Тальбот! – сказала Дороти Хармон, поднявшись и рассмеявшись в лицо сидевшему рядом с ней веселому молодому джентльмену. – Если ты не самый нелепый из моих поклонников, то я съем целиком ту кошмарную коробку свечей, которую ты подарил мне на прошлой неделе!

– Дороти, – ответил молодой человек, – подарки нужно ценить по их сути. За эту коробку я выложил деньги, которые достаются мне так тяжело.

– Как же, тяжело достаются! – презрительно рассмеялась Дороти. – Ты лучше всех знаешь, что за всю свою жизнь не заработал ни цента. Гольф и танцы – вот и все твои занятия. Да ведь ты не умеешь даже тратить деньги, чего уж говорить о заработке!

– Моя дорогая Дороти, в прошлом месяце я преуспел в опустошении нескольких тщательно сберегавшихся до того момента счетов, о чем ты сможешь узнать в подробностях от моего отца.

– Это не трата денег. Это мотовство! Не думаю, что у тебя получится правильно раздать хотя бы двадцать пять долларов, даже если от этого будет зависеть твоя жизнь.

– Но с какой стати, – возразил Гарри, – я должен расставаться с моими кровными двадцатью пятью долларами?

– Потому что, – объяснила Дороти, – это будет по-настоящему хороший поступок. То, что ты записываешь на счет своего папочки и присылаешь мне, не имеет никакой ценности по сравнению с помощью нуждающимся, которых ты вовсе не знаешь.

– Да ведь любой может раздать деньги! – не сдавался Гарри.

– Ну что ж, – ответила Дороти. – Давай проверим, можешь ли ты. Я не верю, что у тебя получится расстаться с двадцатью пятью долларами за вечер, даже если ты очень постараешься.

– Конечно, у меня получится!

– Возьми и попробуй! – И Дороти, бросившись в холл, схватила его пальто и шляпу и тут же всучила их ему. – Сейчас пятнадцать минут девятого. Приходи к десяти.

– Но… – Гарри от удивления разинул рот.

Дороти постепенно оттесняла его к двери.

– Сколько у тебя денег? – спросила она.

Гарри задумчиво засунул руку в карман и пересчитал добычу:

– Ровно двадцать пять долларов и пять центов.

– Замечательно! Теперь слушай условия. Ты выходишь на улицу и раздаешь эти деньги любым незнакомым тебе людям. Каждому можно дать не больше двух долларов. Возвращайся сюда к десяти часам, и чтобы в твоих карманах было не больше пяти центов!

– Но эти двадцать пять долларов нужны мне самому, – заявил Гарри, все еще сопротивляясь движению в сторону двери.

– Гарри! – мило нахмурилась Дороти. – Я удивлена!

И в тот же миг дверь со стуком захлопнулась прямо у него перед носом.

– Я думаю, – пробормотал Гарри, – что это весьма странный поступок!

Он спустился по ступенькам и нерешительно остановился.

«И что теперь? – подумал он. – Куда идти?»

На мгновение он замешкался и, приняв решение, направился в сторону Бродвея. К тому моменту, когда он увидел приближавшегося к нему человека в цилиндре, он прошел почти полквартала. Гарри остановился. Затем собрался с духом и, сделав шаг по направлению к мужчине, издал неопределенное бульканье, которое должно было сойти за любезный смешок, и громко заголосил:

– Счастливого Рождества, друг!

– И вам того же, – ответил владелец цилиндра и собрался было пойти дальше своей дорогой, но Гарри не мог позволить себя отвергнуть.

– Мой добрый друг! – Он откашлялся. – Не хочешь ли ты, чтобы я дал тебе немного денег?

– Чего? – пронзительно вскрикнул человек.

– Вы можете нуждаться в деньгах, знаете ли, чтобы… ну, купить детям… э-э… тряпичную куклу, – блестяще закончил он.

В следующий момент его шляпа отправилась в плавание по придорожной канаве; к тому моменту, когда он ее оттуда выловил, человек успел уйти довольно далеко.

– Пять минут потеряно, – пробормотал полный ярости в адрес Дороти Гарри, продолжая путь.

Со следующим встречным он решил применить другой метод. Он будет более вежлив и обходителен.

На горизонте показалась пара – молодая дама и ее спутник. Гарри неуверенно замер на дороге и, сняв шляпу, обратился к ним:

– Поскольку наступает, знаете ли, Рождество и все дарят – э-э… подарки, я…

– Дайте ему доллар, Билли, и пойдемте дальше, – сказала молодая дама.

Билли послушно сунул доллар в руку Гарри, и в этот момент девушка издала изумленный возглас.

– Вот это да, это же Гарри Тальбот! – воскликнула она. – Побирается!

Но Гарри уже ничего не слышал. Едва осознав, что они с девушкой знакомы, он развернулся и стрелой полетел по улице, проклиная собственное безрассудство, позволившее ему ввязаться в это дело.

Он достиг Бродвея и сбавил шаг. Прогуливаясь по ярко освещенной оживленной улице, он решил раздать деньги уличным оборванцам, которых однажды здесь видел. Вокруг царила предпраздничная суета.

Повсюду толпились люди, наслаждавшиеся аттракционом собственной щедрости. Гарри, бесцельно болтавшийся рядом с ними, чувствовал себя не на месте. Он привык находиться в центре внимания, привык к поклонам и приветствиям магазинных клерков, но здесь с ним никто не заговаривал, а один – или даже двое? – имели наглость ему улыбнуться и пожелать счастливого Рождества, как равному! Нервничая, он попытался заговорить с проходившим мимо мальчиком:

– Послушай, мальчик, я хочу дать тебе немного денег.

– Не надо, – поборол искушение мальчик, – не нужно мне ваших денег!

Сконфуженный Гарри пошел дальше. Он попытался подарить пятьдесят центов какому-то пьянчужке, но заметивший это полисмен похлопал его по плечу и посоветовал не останавливаться от греха подальше. Он приблизился к оборванному мужичонке и тихо прошептал:

– Тебе нужны деньги?

– Я готов, – сказал бродяга, – что за работа?

– Делать ничего не нужно, – разуверил его Гарри.

– Шутки вздумал надо мной шутить? – огрызнулся возмущенный бродяга. – Поищи кого-нибудь еще! – И растворился в толпе.

Затем Гарри попытался всунуть десять центов в руку проходившего мимо посыльного, но мальчик отвернул полу пальто и показал значок «Чаевых не беру!».

Крадучись, как вор, Гарри приблизился к чистильщику сапог и осторожно поместил в его руку десять центов. Отойдя на безопасное расстояние, он проследил, как мальчишка недоуменно сунул в карман монету, и поздравил себя с первой победой. Но ведь у него оставалось еще двадцать четыре доллара и девяносто центов! Воодушевляющий успех родил план. Гарри остановился у лотка газетчика и так, чтобы торговец это увидел, уронил двухдолларовую банкноту, тут же пустившись бежать. Через несколько минут довольно быстрого бега он, не обращая внимания на любопытные взгляды увешанных свертками прохожих, перешел на шаг и уже мысленно похлопывал себя по спине, когда услышал позади тяжелое дыхание и тот самый газетчик, от которого он только что убежал, сунул ему в руку два доллара и скрылся в мгновение ока.

На лбу у Гарри выступила испарина, он уныло поплелся дальше. Однако по пути ему все же удалось избавиться от двадцати пяти центов, которые он засунул в копилку пожертвований беспризорным детям. Он хотел засунуть туда пятидесятицентовик, но это копилка была слишком мала. Его первой значительной суммой стали два доллара, которые получили Санта-Клаусы из Армии спасения, и после этого он стал искать их взглядом в толпе, но было уже слишком поздно, и больше они ему не попадались.

Он пересек Юнион-сквер и после получаса кропотливой работы обнаружил, что у него осталось пятнадцать долларов. Падавший мокрый снег, едва коснувшись мостовой, превращался в жидкую грязь, и легкие лакированные туфли, в которые он был обут, насквозь пропитались влагой, – при каждом шаге он слышал, как хлюпает в них вода. Он дошел до Купер-сквер и повернул к Бовери. Количество людей на улицах стремительно уменьшалось, все магазины закрывались, а их обитатели спешили домой. Мальчишки-зеваки отпускали на его счет язвительные замечания, но он, подняв воротник, брел дальше. Ему казалось, что он слышит добродушно-насмешливое: «Счастливы дающие, а не берущие!»

Он свернул на Третью авеню и пересчитал оставшиеся деньги. Сумма составляла три доллара и семьдесят центов. Сквозь сгущавшийся снег он разглядел двоих впереди у фонарного столба. Это был шанс. Он мог разделить свои три доллара и семьдесят центов между ними. Он подошел и хлопнул одного из них по плечу. Тощий, отвратительно выглядевший субъект с подозрением повернулся к нему.

– Эй, не хочешь получить немного денег? – спросил Гарри надменно, так как уже исполнился ненавистью к человечеству в целом и к Дороти в частности.

Услышав вопрос, собеседник пришел в ярость.

– Ага, – ухмыльнулся он, – да ты, кажется, один из этих зануд-благотворителей, из-за которых нам приходится побираться! Давай, Джим, покажем ему, чего нам хочется!

И они ему показали. Они били его, пинали, свалили его на землю и попрыгали на нем, они расплющили его шляпу, разодрали его пальто. А Гарри, задыхаясь, растянулся в грязи, отбиваясь и пыхтя. Он думал о тех, кто в этот самый вечер желал ему веселого Рождества. Веселья было – хоть отбавляй!

Мисс Дороти Хармон с треском захлопнула книгу. Пробило одиннадцать, а Гарри до сих пор не было. Почему он опаздывает? Скорее всего, он сдался и давным-давно пошел домой. С такими мыслями она поднялась, чтобы потушить свет, но снаружи неожиданно послышался шум, как будто кто-то упал в снег.

Дороти бросилась к окну и раздвинула жалюзи. Действуя руками и коленями, по ступенькам ползло какое-то жалкое подобие человека. На нем не было ни шляпы, ни пальто, ни шарфа, ни галстука, он весь был покрыт снегом. Это был Гарри. Он отворил дверь и вошел в гостиную, оставляя за собой мокрые следы.

– Ну и? – вызывающе сказал он.

– Гарри, – разинув рот, сказала она, – не может быть! Это ты?

– Дороти, – мрачно сказал он, – это – я!

– Что… Что случилось?

– Ничего особенного. Я просто раздал двадцать пять долларов.

И Гарри присел на диван.

– Но, Гарри… – неуверенно начала она. – У тебя синяк под глазом!

– Под глазом? Дай припомнить. А, это был как раз двадцать первый доллар. У меня возникли трения с двумя джентльменами. Тем не менее в итоге мы подружились. Они принесли мне удачу. Я бросил два доллара в шляпу слепому нищему!

– Ты весь вечер раздавал деньги?

– Моя дорогая Дороти, именно так! Я весь вечер раздавал деньги. – Он поднялся и сбросил снег со своего плеча. – Сейчас я должен идти. Там, у крыльца, меня ждут двое… э-э… друзей.

Он пошел к двери.

– Двое друзей?

– Ну… э-э… Те самые джентльмены, с которыми у меня возникли трения. Я пригласил их к себе в гости, чтобы отметить Рождество. Очень хорошие ребята, хотя на первый взгляд могут показаться грубоватыми.

Дороти громко вздохнула. На мгновение воцарилась тишина. Затем он обнял ее.

– Милый, – прошептала она, – все это ты сделал ради меня… Через минуту он спустился по ступенькам и, взяв под руки своих новых друзей, удалился в темноту.

– Спокойной ночи, Дороти! – крикнул он. – И веселого Рождества!

Проповедник и боль

Уолтер Гамильтон Бартни переехал в Миддлтон потому, что местечко было тихое, и это давало возможность полностью погрузиться в изучение законодательства, чем ему надлежало заняться уже давным-давно. Он выбрал тихий домик недалеко от деревни, обосновав это для себя так: «Миддлтон – пригород, поэтому здесь на редкость тихо. В пригороде же пригорода уединение будет

абсолютным, а мне именно это и нужно». Поэтому Бартни нашел маленький домик в пригороде пригорода и поселился в нем. Слева был пустырь, а справа жил Скиггс, знаменитый проповедник церкви «Христианская наука». Именно из-за Скиггса и написан этот рассказ.

Бартни, будучи в высшей мере благовоспитанным молодым человеком, решил по-соседски нанести визит мистеру Скиггсу – не потому, что его так уж интересовала его персона, а потому, скорее, что он еще никогда не встречался с адептом «Христианской науки» и чувствовал, что жизнь его может пройти напрасно, если он его так никогда и не увидит.

Но время для визита он выбрал исключительно неудачное. Однажды вечером, часов около десяти – тьма была, хоть глаз выколи! – не находя себе места, он отправился заводить знакомство. Он вышел со своего участка и пошел по тропинке, гордо именовавшейся улицей, на ощупь прокладывая путь среди кустов и камней и ориентируясь по свету одинокого окна в доме мистера Скиггса.

– Главное, чтобы он не вспомнил про свет и не погасил его на ночь! – пробормотал он себе под нос. – Ведь я тогда просто заблужусь! Придется сидеть и ждать, пока не наступит утро.

Он подошел к дому, осторожно поставил ногу на то, что показалось ему на ощупь ступенькой, – и внезапно вскрикнул от боли, потому что на ногу ему вдруг скатился большой камень, пригвоздивший его к земле. Он крякнул, выругался и попробовал сдвинуть камень, но это оказалось невозможно, – камень был слишком велик и упал неудачно, и все его старания успехом так и не увенчались.

– Эй! – крикнул он. – Мистер Скиггс!

Ответа не было.

– Эй, кто-нибудь, на помощь! – крикнул он. – Помогите!

На втором этаже зажегся свет; из окна, как чертик из табакерки, высунулась голова в ночном колпаке.

– Кто там? – недовольно пропищал ночной колпак. – Кто там? Отвечай, а то стрелять буду!

– Не стреляйте! Это я – Бартни, ваш сосед. Я упал, вывихнул ногу и меня придавило камнем.

– Бартни? – переспросил ночной колпак, меланхолично кивнув. – Какой еще Бартни?

Бартни негромко выругался.

– Ваш сосед. Живу в соседнем доме. Камень очень тяжелый. Пожалуйста, спуститесь сюда…

– А откуда мне знать, что вы действительно Бартни, кто бы он там ни был? – спросил ночной колпак. – Может, вы хотите меня выманить из дома и избить?

– Ради бога! – взмолился Бартни. – Взгляните на меня. Возьмите фонарик и убедитесь, что я с места сдвинуться не могу!

– Фонарика у меня нет, – донесся голос сверху.

– Тогда просто поверьте! Не могу же я здесь лежать всю ночь!

– Да идите себе, пожалуйста, я же вас не держу, – решительно пискнул ночной колпак.

– Мистер Скиггс, – в отчаянии взмолился Бартни, – я близок к смерти, а вы…

– Вы не близки к смерти, – заявил мистер Скиггс.

– Что? Вы все еще думаете, что я пытаюсь выманить вас наружу и убить?

– Повторяю, вы не близки к смерти. Теперь я убежден, что вы действительно думаете, что ранены, но, уверяю вас, это вовсе не так.

«Да он сумасшедший!» – подумал Бартни.

– Я постараюсь доказать вам, что это не так, и это принесет вам гораздо большее облегчение, чем если бы я спустился к вам и поднял камень. Я довольствуюсь малым и возьму с вас всего лишь три доллара за каждый час врачевания…

– За час?! – в ярости крикнул Бартни. – Немедленно спуститесь и снимите с меня камень, а не то я с вас шкуру спущу!

– …даже вопреки вашей воле! – продолжал мистер Скиггс. – Исцелить вас велит мне зов свыше, а помощь страждущим – вернее, тем, кто возомнил себя страждущим, – является священной обязанностью каждого человека. Итак, освободите свой разум от всего чувственного, и начнем лечение.

– Иди сюда, мерзкий и глупый фанатик! – завопил Бартни, забыв о боли в припадке ярости. – Только спустись, и, клянусь, я выбью из тебя всю твою христианскую науку!

– Начнем с того, что нет никакой боли – вообще никакой, – раздался в ответ пронзительный фальцет из окна. – Вы ведь наверняка уже об этом задумывались, правда?

– Нет! – крикнул Бартни. – Ты, ты… – Его голос захлебнулся кашлем в бесполезной ярости.

– Так вот, существует лишь разум. Разум – это все. Материя – ничто, абсолютное ничто. С вами все хорошо. Вы думаете, что ранены, но на самом деле это не так.

– Ты лжешь! – взвизгнул Бартни.

Мистер Скиггс продолжал, не обращая внимания:

– Таким образом, если не существует боли, то и на разум она воздействовать не может. Ощущение физическим процессом не является. Если у вас нет мозга, никакой боли не будет, потому что то, что называется болью, может воздействовать только на мозг. Понятно?

– Ох-х! – воскликнул Бартни. – Если бы ты только знал, какую яму ты сам себе сейчас роешь, у тебя бы язык отнялся!

– Из этого следует, что, поскольку так называемая боль является функцией мозга, ваша нога не болит. Ваш мозг может воображать, что боль есть, однако все ощущения существуют лишь в нем самом. Глупо жаловаться, что вы ранены…

Терпение Бартни лопнуло. Он сделал глубокий вдох и заорал так, что его крик эхом разнесся в ночи. Он орал, не переставая, и через некоторое время на дороге послышались шаги.

– Эй, там! – послышался голос.

Бартни возблагодарил Господа.

– Идите сюда! Со мной несчастье, на помощь! – позвал он, и через минуту шоколадные руки ночного сторожа скатили с него камень и он смог, шатаясь, встать на ноги.

– Доброй ночи, – вежливо крикнул адепт «Христианской науки». – Надеюсь, я произвел на вас впечатление!

– Не сомневайтесь, – ответил Бартни и поковылял домой, опершись на плечо сторожа. – Век не забуду!

Два дня спустя Бартни, вытянув ногу на подушке, разбирал почту. Из пачки писем вывалился незнакомый конверт, он вскрыл его и прочитал следующее:

Уильяму Бартни: счет от доктора Гепеции Скиггса. Исцеление по методу «Христианской науки» – $3.00. Оплата чеком либо почтовым переводом.

Прошло несколько недель. Бартни поправился. У себя во дворе он разбил цветочную клумбу и прослыл на всю округу любителем цветов. Он ежедневно что-то сажал, а на следующий день никак не мог отыскать то, что посадил накануне. Не ахти что, конечно, но надо ведь было как-то отвлекаться от тонкостей законодательства.

Однажды в разгар дня он вышел из дому и направился к своей клумбе, где вчера от безысходности высадил какие-то «магазинные» анютины глазки. К своему удивлению, у клумбы он увидел длинную, тощую и скользкую на вид фигуру, выкапывавшую его новое приобретение. Он тихо подкрался поближе, а когда воришка обернулся, сурово спросил:

– Что это вы делаете, сэр?

– Я просто… э-э-э… рву цветочки…

Длинный, тощий, скользкий на вид тип умолк. И хотя Бартни было незнакомо это лицо, голос, писклявый и недовольный фальцет, навеки запечатлелся у него в памяти. Он медленно подошел поближе и плотоядно, как волк на добычу, поглядел на обладателя голоса:

– Ну, мистер Скиггс, как же это так вышло, что я вдруг застаю вас на моей земле?

Мистер Скиггс выглядел крайне смущенным и старательно отводил глаза.

– Повторяю, – сказал Бартни, – я застал вас на своей земле… И теперь вы в моей власти!

– Да, сэр, – с тревогой поежился мистер Скиггс.

Бартни ухватил его за воротник и принялся трясти, как терьер крысу.

– Ах ты, напыщенный выродок Христианской науки! Несчастный лицемер! Что? – яростно вопрошал он, едва Скиггс издал протестующий крик. – Ты визжишь? Да как ты смеешь? Ты что, не знаешь, что никакой боли нет? Ну же, давай расскажи мне про свою христианскую науку! Давай, «разум – это все!». Говори же!

Мистер Скиггс, не останавливаясь в своем движении вверх-вниз, повторил дрожащим голосом:

– Р-р-разум – эт-то в-в-се.

– Боль – ничто! – продолжал его беспощадный палач.

– Б-б-боль – н-н-ничто! – с готовностью повторил мистер Скиггс.

Встряска продолжалась.

– Помните, Скиггс, все это ради вашего же блага. Надеюсь, что мой урок проймет вас до самого сердца. Помните, такова жизнь, следовательно, жизнь такова. Понятно?

Он прекратил трясти Скиггса и стал таскать его из стороны в сторону, крепко держа за воротник, а проповедник при этом бешено сопротивлялся, пытаясь освободиться.

– А теперь, – сказал Бартни, – я хочу услышать от вас, что вы не чувствуете никакой боли. Давайте, говорите!

– Я не чув… О-о-ох… – воскликнул он, ударившись о большой камень, – н-н-никакой б-б-боли.

– Ну а теперь, – сказал Бартни, – вы дадите мне два доллара за час произведенного мною исцеления по методу христианской науки. И закончим на этом!

Скиггс колебался, но взгляд Бартни и его сильная хватка были крайне убедительны, – нехотя он протянул двухдолларовую банкноту. Бартни порвал ее на мелкие кусочки и пустил по ветру:

– Теперь можете идти.

Почувствовав, что за воротник его уже никто не держит, Скиггс вскочил на ноги, и вы даже представить себе не можете, как быстро он пересек границу участка.

– До свидания, мистер Скиггс! – вежливо крикнул Бартни. – Как только вам опять потребуется исцеление, обращайтесь! Цена та же. Вижу, кое-что вы уже и без меня знаете. Нет никакой боли, когда страдает кто-то другой.

По следам герцога

Июльский вечер выдался жарким. Сквозь жалюзи, окна и двери на свет, как гости на бал, слетались насекомые, треща крылышками, жужжа и стрекоча. С улицы в дома вползал знойный воздух позднего лета, густой и изнуряющий; он сталкивался

со стенами и, как громадное одеяло, обволакивал собой все человечество. Усталые продавцы в лавках, ворча, раздавали мороженое сотням жаждущих, но оно не приносило облегчения, даже если по углам в смехотворной попытке создать прохладу жужжали электрические вентиляторы. В апартаментах, тянувшихся вдоль улиц верхнего Нью-Йорка, пианино (покрытые, казалось, каплями черного пота) вымучивали рэгтайм прошлого сезона; то тут, то там слабые женские голоса колыхали воздух жарким сопрано. В районе доходных домов вдоль улиц ровными рядами, стопками от четырех до восьми – это зависело от высоты дома – мерцали похожие на маяки летние рубашки. Одним словом, это был обычный жаркий летний вечер в Нью-Йорке.

Юный Додсон Гарланд возлежал на диване в бильярдной собственного дома, стоявшего в начале Пятой авеню, поглощал океаны мятного джулепа и брюзжал по поводу турнира по поло, из-за которого он был вынужден остаться в городе; сигаретам и дворецкому тоже досталось, да и за соблюдением второй библейской заповеди он не гнался. Дворецкий несколько раз носился туда-сюда с новыми партиями джулепа и содовой, пока Гарланд наконец обратил внимание на его драматический выход, посмотрел на него и впервые за вечер вспомнил, что дворецкий тоже человек, а не просто живое приложение к подносу.

– Эй, Аллен, – произнес он, все еще изумленный своим открытием, – тебе тоже жарко?

Аллен выразительно вытер лоб платком, попытался улыбнуться, однако смог выдавить из себя лишь вымученную гримасу.

– Аллен, – в порыве вдохновения спросил Гарланд, – чем бы мне заняться сегодня вечером?

Аллен вновь попробовал улыбнуться, но попытка опять не удалась, и он погрузился в разгоряченное непочтительное молчание.

– Уходи! – недовольно воскликнул Гарланд. – И принеси мне еще один джулеп и колотого льда!

«Итак, – стал думать юноша, – чем бы мне заняться? Можно пойти расплавиться в театре. Можно сходить в ресторан на крыше и уморить себя пением будущей примадонны, или… Или сходить в гости!» В словаре Гарланда словосочетание «сходить в гости» означало лишь одно: увидеться с Мирабель. Мирабель Уолмси вот уже почти три

месяца была его невестой и находилась сейчас в городе, поскольку должна была принимать в качестве хозяйки то одного, то другого аристократа, наносившего визиты ее отцу. Счастливый юноша зевнул, перекатился на другой бок, опять зевнул и занял сидячее положение, после чего зевнул в третий раз и встал с дивана.

«Пожалуй, схожу к Мирабель. Прогулка мне не повредит». Приняв это решение, он пошел в комнату, где полчаса одевался, потел и опять одевался. В безукоризненном костюме он вышел из своей резиденции и направился по Пятой авеню к Бродвею. Весь город высыпал на улицу. На раскаленном до белизны асфальте тут и там стояли люди, облаченные в полотняные костюмы и легкие платья, смеявшиеся, болтавшие, курившие, улыбавшиеся; всем было жарко, никто не находил себе места.

Он дошел до дома Мирабель и неожиданно замер у крыльца.

«Господи, – подумал он, – как же я забыл! Ведь сегодня к отцу Мирабель должен был прибыть герцог Дансинлейн, Артрелейн или как его там… Ужас! Мы с Мирабель уже три дня не виделись». Он вздохнул, замешкался, но все-таки поднялся по ступенькам и позвонил в дверь. Едва он вошел, как видение из его грез выбежало в холл, в сильном волнении и смятении.

– О, Додди, – выпалила она, – какой кошмар! Герцог час назад покинул дом. Никто из горничных не заметил, как он ушел. Он просто отправился куда глаза глядят! Ты должен его отыскать! Ведь он заблудится и потеряется, его же никто здесь не знает. – В отчаянии Мирабель обворожительно всплеснула руками. – Я не выдержу, если он потеряется! Такая жара… У него наверняка будет солнечный удар… Или лунный! Иди и отыщи его. Мы позвонили в полицию, но я на них не надеюсь. Поспеши! Прошу тебя, Додди, я так волнуюсь!

Додди засунул руки в карманы, вздохнул, нахлобучил шляпу и вздохнул еще раз. Затем развернулся к двери. Мирабель, крайне обеспокоенная, последовала за ним.

– Веди его прямо сюда, если найдешь. Додди! Ты – мой спаситель!

Спаситель опять вздохнул и быстро вышел из дверей. На крыльце он остановился:

– Черт знает что! Выслеживать французского герцога в Нью-Йорке! Это уж слишком! И куда мне идти? Что делать-то? – Он постоял на крыльце, а затем вместе с толпой пошел к Бродвею. – Так,

посмотрим… Надо придумать какой-нибудь план. Нельзя же просто ходить и спрашивать каждого встречного, не герцог ли он… герцог… н-да, как же его зовут? Как он выглядит, я тоже не знаю. Скорее всего, по-английски он не говорит. Черт бы побрал эту аристократию!

Он шел куда глаза глядят, ему было жарко, а в голове царил сумбур. Как жаль, что он не спросил у Мирабель имени герцога и не попросил его описать – увы, поезд уже ушел. Нет, в такой ошибке он не признается никогда! Лишь когда он дошел до Бродвея, у него вдруг возник план.

– Надо пройтись по ресторанам! – И он направился к «Шерри».

Через полквартала его посетило вдохновение. Фотография, а также имя герцога наверняка были в вечерней газете!

Он купил газету и стал искать фотографию – тщетно! Но он не сдавался. В седьмой по счету газете он ее все-таки нашел: «Герцог Маттерлейн наносит визит американскому миллионеру».

С газетного листа на него грозно уставился герцог – в очках и с бакенбардами. Гарланд облегченно вздохнул, постарался запомнить лицо и сунул газету в карман.

– Итак, к делу, – пробормотал он, утерев пот со лба. – Герцог – или смерть!

Через пять минут он вошел в зал «Шелли», уселся и заказал имбирный эль. В ресторане, как всегда в летний вечер, было полно народу, все слегка вялые, покрасневшие и загорелые. Все пили шампанское со льдом, от чего в помещении казалось еще жарче; все было как всегда, и герцога там не было. Гарланд вздохнул, встал и ушел. Затем он посетил «Дельмонико» и «У Мартина», везде выпивая по стакану имбирного эля.

«С выпивкой придется завязать, – подумал он, – а то напьюсь, пока найду его утраченное величество».

На своем утомительном пути он миновал множество ресторанов и отелей, не прекращая поисков; иногда ему казалось – вот он, оазис, но в результате это оказывался очередной мираж. Он залил в себя столько имбирного эля, что уже покачивался на ходу, как моряк на палубе, но все же упорно брел дальше и дальше, ему становилось все жарче, чувствовал он себя все хуже, или, как сказала бы Алиса из Страны чудес, «все хужее и хужее». Перед его глазами неотступно маячило лицо герцога. Он шел от отеля к кафе, от кафе к ресторану, и везде ему

мерещились бакенбарды. Когда он отправился в путь, часы на мэрии пробили половину девятого. Сейчас была уже половина одиннадцатого; жара, зной и духота чувствовались, как никогда. Он посетил все возможные места отдохновения. Он заходил даже в лавки. Он был в четырех театрах, и за большую взятку ему удалось кое-что выяснить. Деньги кончались, надежда уменьшалась, но вдруг его сердце гулко и торжествующе забилось.

Потому что неожиданно прямо перед собой на аллее – как ему сказали, этот путь был короче – он увидел закуривавшего мужчину. Свет спички осветил бакенбарды. Гарланд встал столбом, не веря, что это герцог. Мужчина опять закурил. Точно, он! Без сомнения – те самые бакенбарды, очки и лицо!

Гарланд пошел к мужчине. Тот посмотрел на него и пошел в противоположном направлении. Гарланд пустился бежать; мужчина оглянулся и тоже пустился бежать. Гарланд перешел на шаг. Мужчина тоже зашагал. На Бродвей они вышли примерно с тем же разрывом, и мужчина направился к северу. Гарланд упорно шел в сорока футах позади, с непокрытой головой. Шляпу он потерял на аллее.

Так они прошли восемь кварталов, темп задавал преследователь. Затем герцог что-то тихо сказал полисмену, и, когда одержимого погоней Гарланда схватил за рукав страж порядка в голубом мундире, герцог пустился бежать. Гарланд, не помня себя, ударил полисмена, сбил его с ног и побежал сам. За три квартала он наверстал возникшее отставание. Еще пять кварталов герцог держал дистанцию, периодически оглядываясь через плечо. В начале шестого он остановился. Гарланд приблизился к нему уверенным шагом. Обладатель бакенбардов стоял под фонарем. Гарланд подошел и похлопал его по плечу:

– Ваша светлость!

– Чё надо? – в неповторимой манере Ист-сайда ответил герцог.

Гарланд оторопел.

– Я те покажу «светлость»! – агрессивно продолжил обладатель бакенбардов. – Я смотрю, какая цаца – давно бы тебя пощипал, жаль, сам тока вчера откинулся. Теперь слушай сюда. Даю две секунды, и чтоб тебя тут не стояло. Так что линяй отседова!

И Гарланд «слинял». Пав духом, с разбитым сердцем, направился он к Мирабель. По крайней мере он достойно завершит неудавшийся

поход! Через полчаса он позвонил в дверь; его насквозь мокрый костюм висел на нем, как банный халат.

Дверь открыла очаровательно невозмутимая Мирабель.

– О, Додди! – воскликнула она. – Я так тебе благодарна! Герци вернулся буквально через десять минут после того, как ты ушел. – Она погладила маленького белого пуделя, которого держала на руках. – Он, оказывается, просто побежал за почтальоном!

Гарланд сел прямо на ступеньку крыльца:

– А как же герцог Маттерлейн?

– Да, – ответила Мирабель, – он будет у нас завтра. Приходи, я вас познакомлю.

– К сожалению, не смогу, – сказал Гарланд, с трудом поднимаясь, – завтра я очень занят. – Он замолчал, вымученно улыбнулся и зашагал по залитому лунным светом горячему тротуару.

Венец из призрачного лавра

(*Сцена представляет собой интерьер винного погребка в Париже. Стены со всех сторон уставлены рядами бочонков, стоящих друг на друге. Потолок низкий и покрыт паутиной. Сквозь забранное решеткой окно в заднике сцены удрученно пробивается дневной солнечный свет. По бокам сцены двери; одна из них, тяжеловесная и мощная, ведет на улицу; вторая, слева, в соседнее помещение. Посередине комнаты стоит широкий стол, вдоль стен расставлены столики поменьше. Над большим столом висит корабельный фонарь.*

Поднимается занавес, и в дверь, ведущую на улицу, стучат снаружи – довольно энергично; из соседней комнаты тут же появляется виноторговец Пито и шаркающей походкой направляется к двери. Пито – старик с неопрятной бородой, в грязном вельветовом костюме.)

Пито. Иду, иду… Минуточку…

(*Стук смолкает. Пито отпирает замок, и дверь широко распахивается. Входит мужчина в цилиндре и плаще-накидке. Это Жак Щандель; ему примерно тридцать семь, он высокого роста, холеный. Взгляд ясный и проницательный, гладко выбритый подбородок резко очерчен и выглядит решительным. Его манеры говорят о том, что этот человек привык к успеху, но при необходимости всегда готов к упорному труду. По-французски он разговаривает со странным монотонным акцентом, – так обычно говорят те, кто знают язык с детства, но за много лет вдали от Франции отвыкли на нем говорить.*)

Пито. Добрый вечер, монсеньор!

Шандель (*с любопытством оглядываясь*). Монсеньор Пито – это вы?

Пито. Да, монсеньор.

Шандель. О да, мне говорили, что в этот час вас всегда можно здесь застать! (*Снимает пальто и аккуратно кладет его на стул.*) И еще мне сказали, что вы сможете мне помочь.

Пито (*в недоумении*). Я? Могу вам помочь?

Шандель (*с усталым видом усаживаясь на стоящий у стола деревянный стул*). Да, я ведь… я ведь приезжий… теперь. Я хотел бы узнать об одном человеке… Он умер много лет назад. Мне говорили, что вы здесь старожил. (*На его губах появляется улыбка.*)

Пито (*явно польщенный*). Возможно… и все же здесь есть люди и постарше меня. Да-да, постарше меня! (*Усаживается за стол напротив Щанделя.*)

Шандель. Вот я к вам и пришел. (*Энергично склоняется вперед, к Пито.*) Монсеньор Пито, я хочу узнать что-нибудь о своем отце!

Пито. Понимаю.

Шандель. Он умер в этом округе, лет двадцать тому назад.

Пито. Отец монсеньора был убит?

Шандель. О боже, нет! А почему вы так решили?

Пито. Я подумал, что двадцать лет назад, в этом округе, аристократ…

Шандель. Мой отец не был аристократом. Я знаю, что его последним местом работы было какое-то богом забытое кафе; он был официантом. (*Пито бросает взгляд на одежду Щанделя; его лицо приобретает озадаченное выражение.*) Позвольте, я объясню. Я покинул Францию двадцать восемь лет назад и уехал в Штаты вместе с дядюшкой. Мы отплыли на эмигрантской посудине; вы знаете, что это?

Пито. Да, знаю.

Шандель. Мои родители остались во Франции. Об отце я помню только, что он был небольшого роста, с черной бородой и ужасно ленивый… Из хорошего помню лишь одно: он научил меня читать и писать. Где он сам научился этому, я не знаю. Через пять лет после того, как мы приехали в Америку, мы познакомились с одним вновь прибывшим французом родом из этой части города; он рассказал нам, что мои родители скончались. Вскоре после этого скончался и дядюшка, так что я был слишком занят, чтобы думать о родителях, которых я к тому же почти не помнил. (*Пауза.*) Скажем кратко, я преуспел, и…

Пито (*с почтением*). Монсеньор богат… Странно это… Очень странно!

Шандель. Пито, возможно, вам показалось странным, что я вдруг, ни с того ни с сего, именно сейчас сваливаюсь к вам на голову и пытаюсь узнать что-нибудь об отце, навсегда исчезнувшем из моей жизни больше двадцати лет назад…

Пито. Н-да… Я правильно понял – вы сказали, что он умер?

Шандель. Да, он умер, но… (*Запинается.*) Пито, вы, быть может, поймете, если я расскажу вам, что привело меня сюда.

Пито. Да, может быть.

Шандель (*очень серьезно*). Монсеньор Пито, в Америке у всех моих знакомых, и у господ, и у дам, у всех есть отцы! Отцы, которых можно стыдиться, отцы, которыми можно гордиться, отцы, чьи портреты висят в позолоченных рамах, и отцы, память о которых спрятана в семейных шкафах; отцы, прославившиеся в Гражданскую, и отцы, чьей единственной заслугой было то, что они прибыли на остров Эллис. А кое у кого есть даже деды.

Пито. У меня был дед. Я его помню.

Шандель (*перебивая*). Я бы хотел увидеть людей, которые были с ним знакомы, которые с ним беседовали. Я хочу узнать, о чем он думал, как жил, что делал. (*Импульсивно.*) Я хочу его почувствовать… Я хочу его узнать…

Пито (*перебивая*). Как его звали?

Шандель. Шандель. Жан Шандель.

Пито (*тихо*). Я знал его.

Шандель. Вы его знали?

Пито. Он часто заходил сюда выпить… Это было давно, когда сюда ходила *чуть* не половина округа.

Шандель (*взволнованно*). Сюда? Он приходил сюда? В этот вот зал? Боже мой, да ведь даже дом, где он жил, десять лет уже как снесен! За два дня поисков вы – первый человек, который его помнит! Расскажите же мне о нем… Рассказывайте все, ничего не стесняйтесь!

Пито. За сорок лет здесь много кто появлялся и затем исчезал. (*Качает головой.*) Множество лиц, множество имен… Жан Шандель: да, конечно же, Жан Шандель. Да-да… Вашего отца я хорошо помню – он был…

Шандель. Да?

Пито. Ужасный пьяница!

Шандель. Пьяница… Да, я ждал чего-то подобного… (*Видно, что он слегка удручен, хотя и делает вялую попытку этого не показывать.*)

Пито (*пробираясь сквозь лес воспоминаний*). Помню, как однажды воскресным вечером, в июле… Жаркий вечер был, прямо пекло… Ваш отец… Так-так, сейчас припомню… Ваш отец хотел зарезать Пьера Кора за то, что тот выпил его кружку шерри.

Шандель. Ого!

Пито. А затем… Ах, да… (*Разволновавшись, встает.*) Я словно вновь все вижу своими глазами! Ваш отец играет в «двадцать одно», и ему говорят, что он мошенничает, а он бьет Клавиня стулом в челюсть, швыряет в кого-то бутылкой, а Лафуке всаживает ему прямо в легкое нож. И так он после этого и не оправился. Это было… Это было за два года до его смерти.

Шандель. Так значит, он мошенничал и был убит! Боже мой, стоило ли мне плыть через океан, чтобы об этом узнать!

Пито. Нет-нет… Я никогда не верил, что он мошенничал! Это была ловушка…

Шандель (*закрывая лицо руками*). Это все? (*У него дергаются плечи, он говорит слегка охрипшим голосом.*) Я не ждал, что он окажется святым, но… Что ж… Значит, он был мерзавцем.

Пито (*кладя руку на плечо Щанделя*). Ну-ну, монсеньор, я, видимо, сказал лишнего… Это были варварские времена. Ножи тогда шли в ход по любому поводу. Ваш отец… Но подождите-ка… Хотите познакомиться с его друзьями? С тремя его лучшими друзьями? Они расскажут вам гораздо больше, чем я!

Шандель. (*угрюмо*). Его друзья?

Пито (*вновь погружаясь в воспоминания*). Их было четверо. Трое до сих пор сюда ходят… Придут и сегодня… Четвертым был ваш отец. Они обычно сидели за этим столом, болтали и пили. Болтали всякую чепуху – все так говорили. Над ними все смеялись, их тут звали «потешные академики». Каждый вечер они тут сидели… Приходили часов в восемь, а в полночь, еле держась на ногах, уходили…

(*Открывается дверь, входят трое мужчин. Первый – Ламарк – высокий, худой, с редкой, торчащей во все стороны бородкой. Второй – Дестаж – низенький, толстенький, с седой бородой, лысый. Третий – Франсуа Меридье – стройный, волосы у него темные,* **с** *проседью, над губами небольшие усики. У него на лице написано, что он жалок и слаб; глаза маленькие, подбородок покатый. Выглядит он очень нервным. Все они с туповатым любопытством смотрят на Щанделя.*)

Пито (*показывая рукой на всех троих*). Вот они, монсеньор, они расскажут вам больше, чем я. (*Поворачиваясь к ним.*) Господа, этот джентльмен желает знать о…

Шандель (*торопливо вставая, перебивая Пито*). О друге моего отца! Пито рассказал мне, что вы были с ним знакомы. Кажется, его звали… Да, Шандель!

(*Вся троица вздрагивает, а Франсуа начинает нервно посмеиваться.*)

Ламарк (*после паузы*). Шандель?

Франсуа. Жан Шандель? Так у него были друзья помимо нас?

Дестаж. Прошу меня простить, монсеньор! Это имя… его уже двадцать два года никто, кроме нас, не вспоминает.

Ламарк (*пытаясь держаться с достоинством и выглядя при этом немного смешно*). И мы произносим его всегда с почтением и трепетом.

Дестаж. Ламарк, возможно, чуточку преувеличивает. (*Очень серьезно.*) Он был нам очень дорог. (*И вновь Франсуа нервно смеется.*)

Ламарк. Но что хотел бы узнать монсеньор? (*Щандель жестом приглашает их сесть. Они занимают места за большим столом, Дестаж достает трубку и принимается ее набивать.*)

Франсуа. Ого, да ведь нас опять четверо!

Ламарк. Идиот!

Шандель. Эй, Пито! Принеси всем вина. (*Пито кивает и шаркающей походкой удаляется.*) Итак, господа, расскажите мне о Шанделе. Расскажите мне, что это был за человек?

(*Ламарк бросает беспомощный взгляд на Дестажа.*)

Дестаж. Ну, он был… Он был привлекательный…

Ламарк. Но не для всех!

Дестаж. Для нас. Кое-кто считал его подлецом. (*Щандель моргает.*) Он был чудесным собеседником, – когда ему этого хотелось, он мог заставить весь зал его слушать. Но он предпочитал беседовать с нами. (*Входит Пито с бутылкой и стаканами. Он разливает вино и оставляет бутылку на столе. Затем уходит.*)

Ламарк. Он был образованным. Бог его знает, как это он ухитрился?

Франсуа (*осушив свой стакан и наливая себе еще вина*). Он знал все на свете, мог рассказать о чем угодно… Мне он читал стихи. О, что это были за стихи! Я слушал и грезил…

Дестаж. И еще он мог писать стихи и мог петь их под гитару.

Ламарк. И он рассказывал нам о героях и героинях прошлого: о Шарлотте Корде, о Фуке, о Мольере, Людовике Святом, и о Меймине-душителе, и о Карле Великом, и о мадам Дюбарри, о Макиавелли, о Джоне Ло и Франсуа Вийоне….

Дестаж. Вийон! (*С энтузиазмом.*) Он любил Вийона. Он мог говорить о нем часами.

Франсуа (*наливая еще вина*). А затем он пьянел и говорил: «Давайте драться», вскакивал на стол и обзывал всех, кто был в погребе, свиньями и сукиными детьми! Вот как! Хватал стул или столик, принимался богохульствовать… В такие вечера нам приходилось тяжко.

Ламарк. А потом он брал шляпу, гитару и шел петь на улицу. Он пел о луне.

Франсуа. И о розах, и о выбеленных солнцем вавилонских башнях, и о прекрасных дамах из королевской свиты, и о «безмолвных мелодиях, что текут от океана к луне».

Дестаж. Вот почему у него никогда не было денег. У него была светлая голова, он был умен; если он работал, то изо всех сил, отдавая всего себя, но он всегда был пьян – и днем и ночью.

Ламарк. Он часто питался одним лишь вином, иногда это длилось неделями.

Дестаж. Ближе к концу его нередко забирали в участок.

Шандель (*зовет*). Пито! Еще вина!

Франсуа (*возбужденно*). А я! Меня он любил больше всех. Он часто говорил, что я был для него как ребенок, ему хотелось всему меня научить. Но он умер, так и не успев начать. (*Входит Пито с еще одной бутылкой; Франсуа с жадностью хватает ее и наливает себе вина.*)

Дестаж. А потом этот проклятый Лафуке… Всадил в него нож!

Франсуа. Но с Лафуке я рассчитался. Он стоял, пьяный, на мосту через Сену…

Ламарк. Молчи, дурак…

Франсуа. Я толкнул его, и он пошел ко дну… И в ту ночь мне приснился Шандель; он меня поблагодарил…

Шандель (*содрогнувшись*). А как давно… Сколько уже лет вы сюда ходите?

Дестаж. Шесть или семь. (*Угрюмо.*) Пора бы уже перестать… пора перестать.

Шандель. И все о нем забыли. Он ничего не оставил после себя. И никто о нем никогда не вспомнит.

Дестаж. Вспомнит! Фу! Потомки – такие же мошенники, как и самые предубежденные театральные критики, когда-либо пытавшиеся подлизаться к актерам. (*Нервно крутит стакан.*) Боюсь, вы не поймете, что мы чувствуем по отношению к Жану Шанделю… Для меня, Франсуа и Ламарка он был даже больше, чем гений, которым надо восхищаться…

Франсуа (*хрипло*). Видите ли, он стоял за нас, словно за себя…

Ламарк (*встает от волнения и начинает ходить туда-сюда*). Вот были мы… четверо… Трое из нас – без всякого воображения… не знавшие искусства, практически неграмотные. (*Свирепо поворачивается к Щанделю и говорит почти с угрозой.*) Понимаете ли вы, что я не умею ни читать, ни писать? Видите ли, несмотря на блестящие фразочки, *внутри* Франсуа слабохарактерный и ограниченный, словно…

(*Франсуа в гневе встает.*)

Ламарк. Сядь. (*Франсуа садится, что-то бормоча себе под нос.*)

Франсуа (*после паузы*). Но, монсеньор, вы должны знать… У меня есть дар… (*Беспомощно.*) Я не знаю, как его назвать… дар восхищения… художественное, эстетическое *чутье*… Называйте, как хотите… Слабый… Что ж, почему бы и нет? Вот он я: судьба мне не улыбнулась, весь мир против меня. Я лгу… Я иногда ворую… Я пью. ..Я…

(*Дестаж наливает вина в стакан Франсуа.*)

Дестаж. Эй, ты! Давай пей и умолкни. Ты нагоняешь на джентльмена тоску. Это его слабая сторона… Бедное дитя…

(*Щандель, молча все это выслушавший, резко разворачивает свой стул к Дестажу.*)

Шандель. Но вы говорили, что мой отец был для вас больше, чем просто друг. Что вы имели в виду?

Ламарк. Разве вы не понимаете?

Франсуа. Я… Я… он помогал… (*Дестаж наливает еще вина и дает ему стакан.*)

Дестаж. Видите ли… Как же это сказать? Он выражал нас. Представьте себе мой ум: склонный к переживаниям, чувствительный, но неразвитый. Если бы вы только могли себе представить, каким бальзамом, каким лекарством были для меня беседы с ним, в которых находилось место всему! Они и были для меня всем! Я мог самым жалким образом тщетно строить фразу, чтобы выразить нечто смутно и страстно желанное, а он это облекал в одно-единственное слово!

Ламарк. Монсеньор еще не заскучал? (*Щандель качает головой, открывает портсигар, берет сигарету и закуривает.*)

Ламарк. Перед вами, сэр, три крысы, дети сточной канавы – самой природой нам предназначено жить и умереть в грязных ямах, где мы рождены. Но три крысы лишь в одном не подвластны сточной канаве, – у них есть глаза! Ничто не может удержать их от того, чтобы и дальше оставаться в канаве, кроме их глаз, и ничто не поможет им, если они выберутся из своей канавы, – лишь их глаза; и тут появился свет! Он появился и исчез, оставив нас все теми же самыми крысами, подлыми крысами… А когда исчезает свет, ты слепнешь.

Франсуа (*бормочет себе под нос*). —

Слепой! Слепой! Слепой!
И он бежит один, когда уходит свет;
И солнце закатилось, наступила тьма;
И крыса залегла в канаву – вот ее тюрьма.
Она ослепла!

(*На стакане, который Франсуа держит в руке, задержался случайно попавший в подвал луч закатного солнца. Вино искрится и переливается. Франсуа бросает на него взгляд, вздрагивает и роняет стакан. Вино разливается по столу.*)

Дестаж (*оживленно*). Пятнадцать… двадцать лет назад он сидел там, где сейчас сидите вы. Невысокий, с густой бородой, черноглазый… Всегда казалось, что ему хочется спать…

Франсуа (*закрыл глаза, его голос плывет*). Всегда сонный, сонный, сон…

Шандель (*мечтательно*). Он был поэтом непоющим, в венце из пепла. (*Его голос звенит нотками ликования.*)

Франсуа (*говорит во сне*). Ну что ж, Шандель, какой ты сегодня? Остроумный, грустный, отупевший или пьяный?

Шандель. Господа! Уже поздно. Мне пора. Прошу вас, пейте! Пейте все. (С *подъемом.*) Пейте до тех пор, пока уже не сможете говорить и видеть! (*Бросает на стол банкноту.*)

Дестаж. Юный монсеньор…

(*Щандель надевает пальто и шляпу. Входит Пито. Он принес еще вина, наполняет стаканы.*)

Ламарк. Выпейте с нами, монсеньор!

Франсуа (во *сне*). Тост, Шандель! Скажи тост.

Шандель (*берет стакан и высоко его поднимает*). Тост! (*Его лицо слегка покраснело, руки плохо его слушаются. Сейчас он выглядит настоящим галлом – совсем не так, как выглядел, когда вошел в винную лавку.*)

Шандель. Я хочу выпить за того, кто мог бы стать всем, но остался ничем. За того, кто мог бы петь, но кто лишь слушал. Кто мог бы смотреть на солнце, но смотрел на гаснущие угли… Кто пил лишь горечь и носил венец из призрачного лавра!

(*Все остальные встают, даже Франсуа, который при этом чуть не падает.*)

Франсуа. Жан, Жан, не уходи! Не уходи, прошу тебя! Это я, Франсуа! Разве можешь ты меня бросить? Я ведь останусь один, совсем один… (*Его голос звучит все громче и громче.*) Господи, разве ты не видишь? Этот человек не имеет права умереть! Ведь он – моя душа! (Он *еще некоторое время удерживается на ногах, а затем оседает, распластавшись на столе. Вдали в сумерках слышится жалобный напев скрипки. Последний луч солнца замирает на голове Франсуа. Щандель открывает дверь и уходит.*)

Дестаж. Уходят старые времена, проходит любовь, и уходит старый добрый дух. «Где ныне прошлогодний снег?» – вот как. (*Неуверенно умолкает, затем продолжает.*) Давно уже я без него…

Ламарк (*сонно*). Давно.

Дестаж. Твою руку, Жак! (*Они обмениваются рукопожатием.*)

Франсуа (*громко*). Эй! Я тоже… Вы ведь не оставите меня? (*Слабым голосом.*) Хочу… еще стаканчик вина… всего один…

(*Свет меркнет, наступает тьма.*)

(ЗАНАВЕС)

Испытание

Широкие просторы центрального Мэриленда находились под привычным обстрелом горячего послеполуденного солнца, которое поджаривало и обширные долины, и извилистые дороги в клубах мелкой пыли, и безобразную, покрытую шифером крышу монастыря. В четыре часа дня даже сады излучали жару, сухость и леность, рождавшие какое-то подобие тихого довольства – пусть без романтики, но все-таки радостного. Стены, деревья, посыпанные песком дорожки, казалось, излучали обратно в чистое безоблачное небо знойное тепло позднего лета, со счастливым смехом жарясь на солнце. Этот час принес какое-то странное чувство успокоения и фермеру с соседнего поля, утершему пот со лба и потрепавшему по холке изнывающую от жажды лошадку, и послушнику, что вскрывал жестяные консервные банки за монастырской кухней.

По насыпи над речкой ходил человек. Он шагал вверх-вниз уже полчаса. Когда он в очередной раз прошел мимо, бормоча молитвы, послушник в недоумении посмотрел на него. Час перед принятием обета всегда был тяжелым. Впереди восемнадцать лет, а мир оставляешь позади. Послушник многих видел в таком состоянии: некоторые бледнели и нервничали, некоторые мрачнели и исполнялись решимости, кое-кто впадал в отчаяние. Но, когда колокол возвещал звоном о наступлении пятого часа пополудни, произносился обет, и новички, как правило, приходили в себя. Как раз в этот час в сельской

глубинке мир кажется единственной реальностью, а монастырь – призрачным и немощным. Послушник сочувственно покачал головой и пошел своей дорогой.

Человек, не отрываясь, читал молитвослов. Он был совсем молод – не больше двадцати; пребывавшие в беспорядке темные волосы делали его похожим на мальчишку. На спокойном лице лежал румянец, губы непрестанно двигались. Он не нервничал. Ему даже казалось, что он всегда знал, что будет священником. Два года назад он почувствовал слабое волнение, трансцендентное ощущение десницы Божьей во всем, и воспринял это как добрый знак: приближалась весна его жизни. Он позволил себе сопротивляться изо всех сил. Проучился год в университете, провел четыре месяца за границей, но все это лишь укрепило его в мысли, что он познал свою настоящую судьбу. Он почти не колебался. Поначалу его страшил уход от мира, его охватывал безымянный ужас при мысли об этом. Он думал, что любит мир. Он панически сопротивлялся, но при этом все увереннее чувствовал, что последнее слово уже произнесено. У него было призвание свыше. И тогда, поскольку он не был трусом, он решился стать священником.

Весь долгий месяц послушничества его раздирали глубокая, полубезумная радость и неясный страх утраты своей любви к жизни вместе с осознанием приносимой жертвы. Любимый сын, он был взращен гордым и уверенным в себе, с верой в судьбу. Ему были открыты все пути: удовольствия, путешествия, политика, дипломатия. Когда три месяца назад он вошел в домашнюю библиотеку и объявил отцу о своем намерении стать иезуитом, разразился скандал. Друзья и родственники забросали его письмами. Ему говорили, что из-за сентиментального предрассудка самопожертвования, из-за какого-то детского каприза он губит юную многообещающую жизнь. Месяц он выслушивал горькие высокопарные банальности, ища утешения лишь в молитвах и твердо держась своего пути к спасению. В результате оказалось, что тяжелее всего было победить самого себя. Его опечалили разочарование отца и слезы матери, но он знал, что время их примирит.

И вот через полчаса он должен был произнести обет, который навеки посвятит его жизнь служению. Восемнадцать лет учения – восемнадцать лет ему будут диктовать все его мысли, все его идеи, а его индивидуальность и даже его физический облик будут

изглаживаться ради того, чтобы в результате он превратился в прочное и надежное орудие, которое будет работать, работать и работать. Как ни странно, сейчас он чувствовал себя спокойнее и счастливее, чем раньше. Яростное, пульсирующее солнечное тепло билось в унисон с его созревшим сердцем, крепким в своей решимости и готовым выполнять свою часть работы – великого труда. Он ликовал оттого, что был избран – он, один из многих достойных, неустанно призываемых. И он откликнулся на зов.

Слова молитв вливались потоком в его разум, устремляя ввысь, к спокойствию и миру; его глаза улыбались. Все было просто; он был уверен, что жизнь умещается в молитве. Он шагал вверх и вниз. Затем вдруг что-то случилось. Впоследствии он никогда не мог описать, что это было, – он говорил, что в молитвы вкралось нечто подспудное, нечто нежданное и чуждое. Он продолжал читать, и это нечто превратилось в мелодию. Он вздрогнул и оторвал глаза от книги, – далеко внизу по пыльной дороге, держась за руки, шли и пели негры, пели старую песню, которую он знал:

Надеюсь, встретимся с тобой на небесах
И никогда с тобой не разлучимся,
На небесах с тобой не разлучимся.
Господь помилуй нас, благослови,
Чтоб мы на небесах соединились.

Пронеслась какая-то мысль – что-то, о чем он раньше не думал. Он почти разозлился на тех, кто так не вовремя появился перед ним, – не потому, что они были простыми примитивными существами, а потому, что они каким-то образом смогли вторгнуться в его мысли. Эта песня появилась в его жизни уже давно. Ее всегда напевала нянька в туманную пору его детства. Он сам часто тихо наигрывал ее на банджо жаркими летними вечерами. Песня напомнила ему о многом: о нескольких месяцах на море, о жарком пляже, омываемом угрюмым океаном, где они с кузиной строили замки из песка; о летних вечерах на большой лужайке у дома, где он ловил светлячков, пока песню

доносило вечерним ветром из негритянских кварталов. Позже, уже с новыми словами, она стала серенадой, ну а теперь… Что ж, эта часть его жизни окончилась, но перед его мысленным взором вновь вставала девушка с добрыми глазами, постаревшая от горя, в ожидании, в тщетном ожидании… Ему казалось, что он слышит зовущие его голоса – детские голоса. А затем вокруг уже кишела городская толпа, раздавался гул разговоров; и семья, которой не будет никогда, манила его к себе.

Теперь в его голове подспудно зазвучала другая мелодия: дикая, нескладная музыка, обманчивая и плачущая, как визг сотен скрипок, но при этом отчетливая и ритмичная. Перед ним, как на панораме, проплывали друг за другом искусство, красота, любовь и жизнь, он ощущал экзотические ароматы мирских страстей. Он видел борьбу и войны, колыхание каких-то стягов, армию, приветствовавшую короля, но сквозь все это на него смотрели прекрасные и печальные глаза девушки, превратившейся в женщину.

И снова музыка изменилась; атмосфера стала давящей и печальной. Ему казалось, что перед ним бесновалась толпа, обвинявшая его. Снова дым окутал тело Джона Уиклифа, монах преклонил колени и рассмеялся оттого, что бедным не хватало хлеба, Александр VI опять вдавил отравленное кольцо в руку брата, закутанные в черные рясы инквизиторы нахмурились и зашептались. Трое великих произнесли, что Бога нет, и миллионы голосов возопили: «Почему? Почему мы должны в это верить?» А затем, будто в кристалле, он услышал голоса Гекели, Ницше, Золя и Канта, восклицавшие: «Не верю!» Он увидел Вольтера и Шоу, в холодной ярости. Голоса продолжали молить: «Почему?», а печальные девичьи глаза опять смотрели на него с бесконечной тоской.

Он находился в пустоте над миром – все и всё звали его теперь. Он был не в силах молиться. Снова и снова он повторял без чувства и смысла: «Помилуй меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Еще минуту, показавшуюся вечностью, он дрожал в пустоте – и вдруг все кончилось. Что-то во взгляде девушки изменилось, губы стали походить на холодный камень, а ее страсть показалась мертвой и преходящей.

Он стал молиться, и постепенно тучи рассеялись, образы потускнели и превратились в тени. Его сердце замерло на миг, а

затем… Он стоял на берегу, колокол пробил пять вечера. Его преподобие настоятель спускался к нему по ступеням:

– Час пробил, входите.

Человек сразу же повернулся:

– Иду, святой отец.

Послушники безмолвно входили в храм и преклоняли колени для молитвы. На алтаре среди горящих свечей стоял сияющий ковчег со Святыми Дарами. Воздух был густой и тяжелый от ладана. Человек преклонил колени вместе со всеми. Он вздрогнул от первого аккорда гимна Пресвятой Деве, пропетого спрятанным в вышине хором, и посмотрел вверх. Слева от него, сквозь оконный витраж с изображением святого Франциска Ксавье, светило вечернее солнце, рисуя красный узор на рясе стоявшего перед ним священника. Трое рукоположенных священников преклонили колена у алтаря. Над ними горела огромная свеча. Он рассеянно посмотрел на нее. Справа от него еще один послушник дрожащими пальцами перебирал четки. Человек осмотрел его. На вид – около двадцати шести, волосы светлые, а серо-зеленые глаза нервно обшаривают храм. Их взгляды встретились, и старший бросил быстрый взгляд на алтарную свечу, будто привлекая к ней внимание. Человек тоже посмотрел на нее, и от этого у него побежали мурашки и зазвенело в ушах. Его заполнил все тот же незваный страх, что впервые появился полчаса назад на берегу. Дыхание участилось. Как же жарко было в храме! Слишком жарко, да и со свечой что-то было не так… не так… Неожиданно все поплыло. Его подхватил сосед слева.

– Держись, – прошептал он, – а то отложат церемонию. Тебе уже лучше? Сможешь выдержать до конца?

Он чуть кивнул и повернулся к свече. Да, никаких сомнений. Там что-то было, что-то плясало в язычке пламени, обрамленном случайным венком дыма. В храме чувствовалось присутствие чего-то злого – прямо на священном алтаре. Он почувствовал, как его пробрал холод, хотя он знал, что в помещении было тепло. Казалось, что его душу парализовало, но он не отрывал взгляда от свечи. Он знал, что он должен смотреть на нее. Больше было некому. Он не должен отводить глаз. Весь ряд послушников встал, и он тоже автоматически встал вместе с ними.

«*Per omnia saecula, saeculorum.* Аминь».

И вдруг он почувствовал, как исчезло нечто материальное – его последняя земная опора. Он сразу понял, что случилось. Его сосед слева потерял сознание от переутомления и нервного потрясения. И затем началось. Что-то неведомое и раньше пыталось подточить корни его веры; пыталось противопоставить его любовь к миру и любовь к Богу и использовало все возможные, как он думал, силы для борьбы с ним; но сейчас все было иначе. Ничто не отрицалось, ничего не предлагалось. Самое точное описание – как будто огромная масса навалилась на его сокровенную душу, масса без сущности, не духовная и не физическая. Его поглотило бесплотное облако зла, зла во всех проявлениях сразу. Он не мог думать, не мог молиться. Будто сквозь сон до него доносились голоса рядом стоявших, они пели, но были далеко – и он никогда еще не чувствовал себя таким далеким. Он находился на плоскости, где не было ни молитвы, ни милости Божьей; он понимал лишь, что вокруг него собираются силы ада, и сущность зла заключена в одной-единственной свече. Он чувствовал, что должен в одиночку бороться с бесконечностью соблазна. Он никогда не испытывал такого и даже не слышал от других о чем-либо подобном. Он знал только, что один человек уже не устоял перед этой массой, а он должен устоять. Он должен смотреть на свечу, смотреть и смотреть – до тех пор, пока сила, заполнившая ее и затащившая его на эту плоскость, не исчезнет для него навсегда. Сейчас или никогда!

Ему казалось, что у него нет тела, и осталась лишь мысль о том, что его сокровенное «я» умерло. Это было глубже, чем он сам, что-то такое, чего он никогда раньше не чувствовал. Затем силы выстроились для последней атаки. Ему был открыт путь, уже избранный другим послушником. Он глубоко вздохнул, застыл в ожидании, и вот – удар! Вечность и бесконечность добра, казалось, были сокрушены и смыты вечностью и бесконечностью зла. Казалось, он беспомощно барахтается, уносимый потоком в черный бескрайний океан мрака, где волны становились все выше и выше, а тучи – все темнее и темнее. Волны мчали его к бездне, к водовороту вечного зла, а он машинально, незряче, отчаянно смотрел на свечу, смотрел на пламя, подобное единственной черной звезде на небосклоне отчаяния. И вдруг он почувствовал чье-то присутствие. Оно явилось слева и материализовалось в виде излучающего тепло красного узора на какой-то поверхности. И он узнал его! Это был оконный витраж

святого Франциска Ксавье. Он мысленно ухватился за него, вцепился и с болью в сердце тихо воззвал к Господу.

«*Tantum ergo Sacramentum, Veneremur cernui*».

Слова гимна набирали силу, как победная песнь, ладан вскружил ему голову, добрался до самой его души, где-то скрипнула дверь, *и свеча на алтаре погасла*!

«*Ego vos absolvo a peccatis tuts in nomine patris, filii, spiritus sancti.* Аминь».

Вереница послушников направилась к алтарю. Разноцветные лучи света из окон смешались с блеском свечей, и в золотом ореоле причастие показалась человеку таинственным и сладостным. Наступило спокойствие. Иподьякон протянул ему Библию. Он положил на нее правую руку.

«*Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа…*»

Так принято. Роберт Ви Беспардонный

Краткое содержание предыдущих глав

Джон Брабант, приемный сын нечистого на руку негоцианта из Южной Америки Жюля Брабанта, без гроша в кармане приезжает в Нью-Йорк. С собой у него шесть рекомендательных писем, одно из них не подписано, не запечатано и вообще не написано. Все пять писем, включая и шестое, он вручает Джону Брабанту. Джон Брабант, юноша из Южной Америки, влюблен в прекрасную Бабетту Лефлер, дочь Жюля Лефлера, негоцианта из Южной Америки. После того как Жюль вручил четыре из шести рекомендательных писем,

которые Бабетта Брабант написала Жюлю Лефлеру, Джон осознает, что Жюль, Джон и Бабетта заключили союз против Брабанта и Лефлера, преследуя какую-то зловещую цель. Вручая ненаписанное письмо, он понимает, что из пяти писем, которые Жюль или, возможно, Бабетта вручили Брабанту, единственной подсказкой для решения загадки Лефлера и его связи с Бабеттой является именно оно. В этом месте Жюль и Лефлер встречаются в Центральном парке, и Жюль, вручая шестое или пятое письмо, обнаруживает, что Бабетта передала Брабанту письмо, которое Жюль вручил Джону. Озадаченный этим обстоятельством и, по сути, не понимая важности третьего или четвертого письма, он приглашает Брабанта на чай к себе в кабинет. Брабант думает, что Бабетта неким зловещим образом связана с Лефлером, и поэтому приехала из Южной Америки, где Джон работал на подпольной фабрике Лефлера. Он садится на пароход, следующий в Южную Америку, и на борту замечает Брабанта, также направляющегося на юг с некой тайной миссией. Они решают объединить силы и уничтожить второе письмо. А в это время на том же корабле втайне от них находится замаскированный под стюарда Брабант, вместе с первым, третьим и частью пятого рекомендательного письма. Когда пароход вошел в Суэцкий канал, из Каира отплыла шлюпка и на борт корабля поднялся Брабант. Все четверо замечают его прибытие, но опасаются за сохранность четвертого и частично шестого писем. Поэтому все решают между собой не упоминать ни, в частности, подпольных фабрик, ни вообще Южную Америку. А между тем чувства все еще находящихся в Ньюпорте Бабетты и Лефлера крепнут с каждым часом. Об этом узнает Лефлер и, не желая, чтобы любовь связала Бабетту и этого человека, покидает свою подпольную фабрику, оставив вместо себя служащего по имени Брабант, и прибывает на север страны. Джордж встречает его в Такседо в качестве представителя фирмы Дюлонга и Петита, они садятся на поезд и мчатся в Такседо-парк, чтобы присоединиться к остальным и, если получится, перехватить шестое письмо, если только герцогиня его еще не написала. Прибыв в Нью-Йорк, они останавливаются в отеле «Ритц» и приступают к поискам Брабанта. Бабетта в своем будуаре перебирает полотенца, когда дверь неожиданно распахивается и входит Женевьева.

Глава XXXI

У Ван-Тайнов подавали чай. Гости группами по трое-четверо расположились на просторной лужайке, в тени грушевых деревьев. Бабетта и Лефлер заняли столик в укромном уголке. В солнечном свете полированное серебро чайного сервиза мерцало и отбрасывало зайчики, и она поведала ему всю историю. Когда она закончила, на минуту воцарилось молчание; он потянулся к висевшей у него на боку маленькой перламутровой сумочке с сигаретами.

Вытащил одну, зажег спичку.

Она потянулась к нему.

Сигарета тотчас же зажглась.

– Ну и? – улыбнулась она; захлопала своими длинными ресницами – о да, прошлым летом в Голландии этим взглядом восхищался сам Рембрандт!

– Ну, вот… – уклончиво отозвался он и сменил позу, положив ногу на ногу; о да, ту самую ногу, которая столь часто вела Гарвард к футбольным победам!

– Как видишь, я всего лишь игрушка, – вздохнула она, – а я всегда ради тебя хотела стать чем-то большим, – почти прошептала она.

– В ту ночь, – импульсивно воскликнул он, – ты ведь сделала это?

Она покраснела:

– Может быть.

– И тогда, в лимузине Ченеи Уиддекомбса, когда…

– Тсс! – выдохнула она. – У слуг есть уши. О! Как я устала от этой жизни! Что я ем на завтрак? Всегда грейпфрут! Прогулки в экипаже – и где? – всё там же! Да разве это жизнь? О нет!

– Бедная девочка! – посочувствовал он.

– Как страшно, – продолжала она, – не есть ничего, кроме пищи, не носить ничего, кроме одежды, и не жить нигде, только здесь или же в городе!

Грациозным жестом руки она указала в сторону города.

Воцарилось молчание. Со стола на лужайку скатился апельсин, а затем опять перекатился на стул, где и остался лежать, весь оранжевый и светлый в лучах солнца. Они смотрели на него, не произнося ни слова.

– Ну почему, почему мы не можем пожениться? – начал он.

Она перебила:

– Прошу тебя, не надо! Неужели ты думаешь, что мне на жизнь будет достаточно твоих доходов? Я… я живу у конюшни, с вонючими лошадями, с людьми, от которых пахнет лошадьми! О нет, ведь я такая эгоистка!

– Ты не эгоистка, дорогая! – перебил он.

– Да, эгоистка! – продолжала она. – Неужели ты думаешь, что я смогу вынести тайные насмешки тех, кто называет себя моими друзьями? О да, они будут насмехаться надо мной, когда увидят, как я еду в твоем «Саксоне». Нет, Гордон! Сегодня утром я выезжала в центр города по частям, в двух «Пирс-Эрроу»! Ведь мне это необходимо!

– Но, дорогая, – снова попытался вклиниться он, – я…

– Не надо извинений! Ты говоришь, что нам не нужна ложа в опере? Мы можем брать места в партере? Но я не могу спать нигде, кроме ложи! Я должна буду все время бодрствовать и выносить тайные насмешки тех, кто называет себя моими друзьями! О да, они будут надо мной смеяться!

Он на мгновение задумался; когда он клацнул губами, послышался знакомый резкий звук – он всегда так делал в детстве, когда они играли вместе в Центральном парке, тогда еще принадлежавшем его семье.

Он взял ее руку в свою – в ту самую руку, которая в те времена, когда его звали Красавчик Брабант и он был питчером, принесла Йелю множество бейсбольных побед. Ему вспомнились жаркие томные дни прошедшего лета, когда они читали друг другу вслух римскую историю Гиббона и трепетали над нежными пассажами о любви.

На лужайку, спотыкаясь, вышла миссис Ван-Тайн – она споткнулась о траву, а затем споткнулась о чайный столик.

– Милые мои, что вы тут делаете? – добродушно, но с подозрением, спросила она. – Все вас ждут! – Она повернулась к Жюлю: – Все подумали, что это вы в шутку спрятали мячи для поло, и все на вас в ярости!

Он устало улыбнулся. Какое ему дело до мячей для поло и всей остальной позолоченной мишуры этого мира, от которого он отказался навеки?

– Они на кухне, в ящике с мылом, – медленно произнес он и неторопливо побежал к аллее своей знаменитой рысцой, благодаря которой он стал капитаном раннеров в Принстоне.

Бабетта сердито повернулась к матери.

– Ты его обидела! – воскликнула она. – Ты холоднокровная и жестокая, корыстная и бессердечная, огромная и жирная! – И она толкнула мать на чайный столик.

Солнце медленно скрылось с глаз, и еще долго после того, как все остальные одевались и раздевались к ужину, Бабетта сидела и смотрела на апельсин, катившийся с лужайки на стол; она думала о том, что он, пусть и на свой нехитрый манер, все-таки разгадал тайну жизни.

Глава XXXII

Бабетта, за которой следовал почтительный дворецкий с ее чемоданами, вышла из дома, оглянулась и заметила в дверях силуэт графини Дженавры.

– Счастливого пути! – воскликнула графиня.

Лефлер ждал у ворот, мотор его «саксона» урчал от нетерпения. Она села на переднее сиденье. Закутанная в меховые полости, одеяла, шубы, старую мешковину и хлопковую парусину, она бросила последний взгляд на дом. Блистательный стиль внешнего убранства эпохи Седрика I подчеркивался бликами, присущими раннеанглийским окнам. В дверном проеме эпохи Елизаветы виднелась внушительная фигура матушки Бабетты.

Дворецкий почтительно подтолкнул авто, и они отправились в зигзагообразный путь по длинному пустынному шоссе. Деревья

клонились вниз, как бы стараясь им помешать, но тут же, как только они пролетали мимо, деревья выпрямлялись. Лефлер, держа ногу на сцеплении, чувствовал, как на него накатывает неудержимая радость, когда они, подпрыгивая вверх и вниз, вперед и назад, на безумной скорости подъезжали к городу.

– Джон, я знаю… – сказала она, затем умолкла и едва заметно вздохнула. – Что ты думаешь, – чуть слышно прошептала она и замолчала; слышно было, как скрипят ее зубы во рту.

– Ангхлт, – сказала она, когда они миновали Бриджпорт.

И не успели они доехать до Гринвича, как он ей ответил:

– Гслаппп!

Они проскочили город, показавшийся одним сплошным пятном. Он увеличил скорость. Откинувшись на его плечо, она почувствовала, как ее захлестывает волна глубокой и полной радости. Это была жизнь – и даже больше чем жизнь! Омывавший ее холодный воздух заставил напрячься и остыть все ее чувства. Внезапно, словно получив удар хлыстом, она почувствовала, как все – вся ее жизнь – резко выступает на фоне этой поездки. Она подумала, как было бы хорошо, если бы все на свете можно было решить с помощью жала холодной ночи и «тук-тук-тук» мотора!

До сих пор они шли на паре цилиндров. Теперь он запустил еще пару, и машина, на секунду накренившись на передний мост, вновь выправилась и помчалась с удвоенной скоростью. В суматохе переключения его правая рука освободилась и обвилась вокруг нее. Она не сопротивлялась.

Они мчались все быстрее и быстрее. Он еще сильнее нажал на рулевую передачу, и в ответ на его нажатие машина бросилась вперед, как послушный жеребец. Понимая, что они опаздывают, он запустил последнюю пару цилиндров. Машина, кажется, тоже поняла, что от нее требуется. Она остановилась, три раза пробуксовала на месте и понеслась вдвое быстрее прежнего.

Они ехали все дальше и дальше. Машина вдруг остановилась, и он инстинктивно, как опытный механик, понял: что-то случилось. Осмотрев машину, он увидел, что одна из шин проколота. Он стал смотреть, насколько серьезна поломка. Они наехали на булавку, и резина шины порвалась в клочья! Они принялись искать запасную шину. Искали на заднем сиденье, под машиной, в кустах у обочины.

Шины не было нигде! Похоже, нужно было чинить старую. Джон зажал губами дыру, надул камеру и заткнул отверстие носовым платком.

Они продолжили свой путь, но через несколько миль неровности дорожного полотна понемногу протерли платок, и машина опять встала. Они пробовали все: листья, камни, куски асфальта. Бабетта даже пожертвовала жевательную резинку, чтобы залепить зияющую дыру, но через несколько миль протерлась и она.

Оставалось лишь одно: снять шину, въехать в город на трех колесах и нанять человека, который бы бежал рядом с машиной и поддерживал бы ее вместо четвертого колеса. Не успела эта мысль прийти им в голову, как они стали действовать. Три свистка и вопль «Гречка!» в одно мгновение собрали толпу деревенских мужланов, из которых выбрали одного поумнее – ему и доверили трудное дело.

Он занял место у брызговика, и они вновь отправились в путь. Вскоре скорость увеличилась до сорока миль в час. Мужлан, до этого легко бежавший рядом, теперь запыхался и с трудом за ними поспевал.

Темнело. Ощущая рядом с собой пальто Джона с воротником из крысиного меха, Бабетта страстно захотела посмотреть ему в глаза и почувствовать, как его губы касаются ее щеки.

– Джон! – прошептала она.

Он повернулся к ней. Несмотря на грохот мотора и громкое плебейское дыхание крестьянина, она услышала, как вздымается его сердце от нахлынувших чувств.

– Бабетта! – сказал он.

Она вздрогнула, тихо всхлипнула, и звук ее голоса потонул в реве ремня привода вентилятора.

Он с достоинством, не торопясь, но неумолимо, заключил ее в свои объятия, и

Следующая часть захватывающей истории мистера Беспардонного будет напечатана в июльском номере.

Предосторожность – прежде всего!

Сцена представляет собой коробку с красками. Большие тюбики зеленой и желтой краски составляют задник; по бокам склонились тюбики с синей краской, везде в художественном беспорядке разбросаны маленькие тюбики с зеленой вперемешку с оранжевой. Когда поднимается занавес; звучит негромкая музыка, которую исполняют странно выглядящие грустные личности, сидящие на первом плане, они одеты в стиле графических рисунков пером. Все они грустно смотрят на сцену, которая к этому моменту заполняется людьми, одетыми в пурпур с розовато-лиловыми пятнами на бледно-фиолетовом фоне.

Слышится припев, призванный вызвать смутное воспоминание о том, что все припевы в начале мюзиклов пишутся на староанглийском языке.

О, двигаясь шумливо по навощенной сцене,
Мы станем бледны, словно булки, о!
Бун-ги-вау!
С чертополохом на плече под ветром. Чертов
вереск!

Пение сопровождается соответствующим танцем. Публика устало откидывается назад, ожидая, когда начнется действие.

(*Выходит футбольная команда, переодетая в хористов, а также члены комитета по организации ежегодного бала в розовых трико.*)

Реплика: «Пролистайте назад либретто; взгляните на Хэнка О’Дэя».

Песня.

Генри О’Дэй, Генри О’Дэй,
Ты был королем на третейской земле;
Цари, Каролинги и Хьюги Дженнинги —
Все были равны на судейском столе.
И ты кричал: «Гол!»
А это был страйк;
И слышали все:
«Я люблю тебя, Майк!»

и т. д.

(*Пауза*.)

(*Выходят два самых обычных юноши, без одежды, густо намазанные зеленой краской и украшенные гавайскими юбочками из соломы.*)

Песня.

Младшенький, сбривай усы, а то из-за тебя все
молоко прокисло!

(*На заднем плане по «Казино» туда-сюда бродят длинноволосые авторы, пробуя все на ощупь и чувствуя себя, словно Кайзер перед следующей атакой.*)

Первый автор. Ну, что вы думаете – как им представление?

Его точная копия. Отлично! Не далее как пару минут назад до меня донесся смех из восемнадцатого ряда. Моя шутка о…

Первый автор. Твоя шутка, ха-ха-ха! Ну рассмешил… А разве моя строчка о… и т. д.

Первый композитор (*в сторону*). Будто кто-то слушает диалоги…

Второй композитор. Как сильно выделяются мои песни!

Автор слов песен. Просто поразительно, как хороший текст может «вытянуть» бездарную мелодию! (*Прислушивается к молчащей публике и мысленно просит старшекурсника из первого ряда*

сдержать наконец одолевший его судорожный кашель хотя бы до тех пор, пока вновь не начнется диалог.)

(*За кулисами.*)

Коринна. Сногсшибательная девчонка в первом ряду!

Хлорина. Не дура…

Коринна. Ей понравились мои глазки!

Хлорина. Погоди, в следующем припеве она разглядит твои ножки!

Фторина (*примадонна*). Смотрите, не скомкайте мой выход!

Бромина. Первокурсники, хватаемся… Раз, два – потянули! (Так вас-растак! Взяли! Взяли!)

Йодина. Так, все – внимание! Внимание! Готовимся! Все быстро надели свои розовенькие шелковые плащики!

Все семейство галогенов (*одновременно*).

Долой жеребиный балет!
Ха-ха, жеребиный балет!
Где ваши изгибы?
Глаза, как у рыбы!
Обманщики, мы презираем вас всех!

Восторженный юный преподаватель. Как прогрессивно! Ах! В новейшем духе, как на Вашингтон-сквер!

Средний студент (*который не знает, чего он хочет, и начинает скандалить, когда получает именно это*). А где же сюжет?

Мораль представления: на всех и всегда не угодишь.

(ЗАНАВЕС)

Шпиль и горгулья

I

Опустился вечерний туман. Появился он откуда-то из-за луны, повис клоками на шпилях и башнях, а затем окутал все внизу; казалось, сонные вершины застыли в возвышенном стремлении к звездам. Кишевшие днем, словно муравьи, человеческие фигурки теперь походили на призраков, скользящих в ночи. Даже здания выглядели бесконечно более таинственно – внезапно возникали они прямо из тьмы, в виде контуров из сотен бледных квадратов желтого света. Где-то далеко колокол глухо пробил очередную четверть часа, и один квадрат света в лекционном зале восточной части студенческого городка на мгновение закрылся выходящей фигурой. Она замерла и приобрела очертания юноши, устало вытянувшего вперед руки и бросившегося ничком прямо в мокрую траву у солнечных часов. Роса омыла его глаза и смыла застрявший в них образ – образ, который за две только что окончившиеся напряженные экзаменационные недели неизгладимо запечатлелся в его памяти: помещение, в котором даже воздух, казалось, колыхался от нервного напряжения, где в абсолютной тишине двадцать человек отчаянно боролись со временем, обшаривая каждую клетку усталого мозга в поисках ускользающих слов и цифр. Распростершийся на траве юноша открыл глаза и оглянулся на три бледных пятна – окна зала, где шел экзамен. В его голове снова прозвучало: «До окончания экзамена осталось пятнадцать минут». Наступившая затем тишина прерывалась лишь щелчками контрольных часов и судорожным скрипом карандашей. Места освобождались одно за другим, все выше и выше росла стопка тетрадей на столе утомленного преподавателя. Юноша покинул помещение под скрип последних трех карандашей.

Вся его дальнейшая жизнь зависела от результатов этого экзамена. Если он его сдаст, то осенью станет второкурсником; если не сдаст, то

студенческая пора закончится для него вместе с роскошным июнем. Пятьдесят пропущенных за первый безумный семестр семинаров привели к необходимости записаться на дополнительный предмет, который он только что и сдавал. Зимние музы, не любившие наук и ограниченные перекрестком 49-й улицы и Бродвея, украли не один час из пасмурного промежутка времени с февраля по март. А затем настали ленивые апрельские вечера, когда время ускользало незаметно и в долгих весенних сумерках его уж точно было никак не поймать. Так что июнь застал его врасплох. Каждый вечер до его окна доносилось раздававшееся над студенческим городком пение старшекурсников, и разлитая в нем поэзия вторгалась в его мысли, и он, все еще веря в свои утраченные и переоцененные способности, вновь склонялся над мстительными книгами. Сквозь скорлупу легкомыслия, покрывавшую его студенческое сознание, пробивалась глубокая и почти благоговейная симпатия к этим серым стенам, готическим крышам и всему, что они столетиями символизировали.

За окном тянулась вверх башня, венчавшаяся устремленным вверх шпилем, острие которого едва виднелось в утренних небесах. Именно из-за контраста с этим шпилем он впервые задумался об изменчивости и незначительности перемещавшихся по студенческому городку фигур – конечно, если не думать о том, что они воплощали собой что-то вроде апостольской преемственности. Однажды на лекции – или в какой-то статье, или даже в разговоре – он услышал, что устремленная ввысь готическая архитектура больше всего подходит для университетов, и символизм этой мысли стал для него очень личным. Когда-то красота вечернего студенческого городка ассоциировалась у него с гуляющими по нему парадными и поющими толпами; но за последний месяц его воображение все чаще рисовало картины аккуратных газонов, тихих аудиторий и горящих допоздна перед сессией окон общежития, и видневшаяся в его окне башня стала символом его нового восприятия. Что-то недостижимо безупречное было в покатых линиях голого камня, что-то такое, что вело, направляло и звало за собой. Шпиль стал идеалом. Он вдруг стал прилагать отчаянные усилия, чтобы остаться в университете.

– Ну что ж, вот и все, – вслух прошептал он и провел мокрыми от росы руками по волосам. – Все кончено.

Он почувствовал громадное облегчение. Последний залог был надлежащим образом вписан в последнюю тетрадь, и отныне его судьба более не находилась в его руках, а всецело зависела от коротышки преподавателя, кем бы он ни был: юноша никогда его раньше не видел. Что это было за лицо! Он был похож на одну из горгулий, дюжинами гнездившихся в нишах корпусов. Очки, выражение лица или манера кривить рот придавали всей его фигуре какую-то гротескную скособоченность, словно клеймо, выдававшее его происхождение от горгулий или же родство с ними. Сейчас он, наверное, ставил оценки… Юноша задумался – может, получится ответить на дополнительные вопросы или договориться о переэкзаменовке, если он получит «неуд.»? Но когда в аудитории погас свет, на дорожке рядом с ним возникли три фигуры; четвертая направилась на юг, в сторону города, и он перестал мечтать. Юноша вскочил и, встряхнувшись, как мокрый спаниель, бросился за преподавателем. Тот резко повернулся к нему, когда юноша пробормотал «Добрый вечер!» и пошел рядом.

– Ну и дождь, – произнес юноша.

«Горгулья» лишь неопределенно хмыкнул в ответ.

– Черт возьми, какой же сложный экзамен! – И этот разговор, как и разговор о погоде, прекратился сразу же, не успев начаться, поэтому юноша решил перейти прямо к делу: – Сэр, оценки будете выставлять вы?

Преподаватель остановился и посмотрел ему прямо в глаза. Быть может, ему не хотелось вспоминать о предстоящей проверке работ, быть может, его всегда раздражали подобные разговоры, но, скорее всего, он просто устал, промок и хотел лишь поскорее очутиться дома.

– Зря вы думаете, что это вам поможет. Я знаю, что вы собираетесь мне сказать – что для вас это решающий экзамен и что вы просите меня еще раз проверить работу в вашем присутствии и так далее. Я это слышу уже сотый раз за последние две недели. И мой вам ответ: «Нет, нет и еще раз нет!» – слышите? Я вовсе не хочу знать, как вас зовут, и я не желаю, чтобы какой-то надоедливый мальчишка преследовал меня до самого дома!

Оба одновременно развернулись и быстро пошли в разные стороны, и юноша вдруг инстинктивно почувствовал, что этот экзамен он не сдал.

– Черт бы тебя побрал, «горгулья»! – пробормотал он.

Но он знал, что «горгулья» был здесь совсем ни при чем.

II

Каждые две недели он регулярно покидал Пятую авеню. Осенними вечерами, когда воздух так свеж, крыши блестящих автобусов выглядели особенно заманчиво. Увиденное с крыши проходившего мимо автобуса случайное лицо, встречный заинтересованный взгляд, румяная щечка приобретали масштаб настоящей интриги. Пять лет назад он был отчислен из университета; на досуге его занимали поездки на автобусах, походы в художественную галерею и несколько книг. Его особенно заинтересовала увиденная на первом курсе в руках пылкого молодого доцента книга Карлейля «Герои и почитание героев». Он практически ничего не читал. У него не было ни свободного времени, чтобы глубокомысленно раздумывать о многом, ни образования, чтобы досконально изучать что-то малое, поэтому вся его жизненная философия представляла собой сплав двух элементов: первым была скептическая конторская философия коллег, включавшая в себя подругу, должность с окладом в десять тысяч и – в конце пути – некую утопическую квартиру где-то вблизи Бронкса; вторым элементом являлись три-четыре глобальные идеи, почерпнутые им у ясно выражавшегося шотландца Карлейля. Но он интуитивно догадывался – да так оно и было! – как плачевно узок весь его кругозор. Он не чувствовал никакой склонности к чтению; вкус его мог развиваться под внешним воздействием, что доказывал случай «Героев и почитания героев», однако до тех пор он находился, а теперь навсегда останется в той фазе, когда для него любая работа и любой автор нуждались в представлении и интерпретации. «Sartor Resartus» для него ничего не значил и никогда ничего значить не будет.

Вот почему понемногу Пятая авеню и крыши автобусов стали многое ему заменять. Они означали освобождение от раскрашенных варварских толп, бродивших по Бродвею, от скученной атмосферы центра города, с обязательными костюмами из синего сержа и окнами в решетках, и от тусклого общества среднего класса, наводнявшего пансион, в котором он жил. На Пятой авеню чувствовалась определенная респектабельность, которую он когда-то презирал; люди на крышах автобусов выглядели сытыми, они всегда приятно улыбались. Оставаясь символистом и идеалистом независимо от того, кто был его героем – распутный, но все же обаятельный второкурсник или же Наполеон, по Карлейлю, – он всегда искал в своей обычной жизни что-нибудь, за что можно уцепиться, за что бороться – что угодно, за что обычно борются религии, брак и жизненные философии. У него было чувство гармонии, и оно ему подсказывало, что его устаревшее эпикурейство, казавшееся столь романтичным в юности, на первом курсе университета, будет выглядеть чуждым и даже внушать отвращение в обычной городской жизни. Здесь оно было чересчур простым; оно ничего не значило без искупления, олицетворением которого был утренний поезд до университета, неизбежно в пять утра поджидавший молодых кутил; оно ничего не значило без искупления в виде казавшихся вечными утренних лекций и бедных на события будней. Обладать репутацией – хотя бы и такой, как у всех в этой толпе, – казалось чем-то стоящим; но с нью-йоркской точки зрения разгул подобал лишь соплякам да богатым до отвращения евреям, поэтому вульгарная богема не привлекала его совсем.

Но в этот вечер у него было хорошее настроение. Возможно, потому, что автобус, на котором он ехал, сверкал новенькой зеленой краской и его леденцовый глянец сумел обрадовать его. Он закурил и уселся поудобнее, дожидаясь своей остановки. В музее он посещал только определенные залы. Он никогда не интересовался скульптурой; ему не нравились итальянские мадонны и голландские кавалеры с их вечными перчатками и книгами на переднем плане. Лишь иногда, на какой-нибудь старинной картине, висевшей в самом углу, его взгляд вдруг улавливал солнечный отблеск на снегу неприметного зимнего пейзажа или же яркие краски и множество фигур батальной сцены, и

тогда начиналось длительное, тщательное созерцание с частыми повторными посещениями.

Этим вечером он бесцельно шагал из зала в зал и вдруг перед какой-то фламандской жанровой сценой заметил листавшего каталог низенького человека в галошах, с огромными очками на носу. Он вздрогнул и несколько раз прошел мимо, силясь вспомнить. И вдруг он понял, что прямо перед ним стоит случайный инструмент его судьбы, «горгулья», коротышка преподаватель, который провалил его на решающем экзамене.

Как ни странно, воспоминание вызвало у него приятное чувство и желание вступить в беседу. Затем он почувствовал, что немного стесняется, но не ощутил никакой обиды. Он остановился и стал пристально смотреть на «горгулью» и тут в ответ на свой взгляд поймал недоуменный отблеск огромных очков.

– Прошу прощения, сэр, помните ли вы меня? – с надеждой спросил он.

Преподаватель лихорадочно моргнул:

– Простите, нет.

Он упомянул университет, и во взгляде его сверкнул оптимизм. В своих объяснениях он мудро решил на этом и остановиться. Преподаватель даже при всем желании не смог бы упомнить всех студентов, которые представали пред «Зеркалами Шалот», – так зачем тогда извлекать на свет Божий давно забытые неприятности?.. И кроме того, ему очень хотелось просто поболтать.

– Ах, да… Никаких сомнений! Мы с вами знакомы, вы уж простите мою сдержанность… Все-таки общественное место… – Он неодобрительно оглянулся вокруг. – Знаете ли, я ведь уволился из университета.

– Пошли на повышение? – Он тут же пожалел, что спросил, потому что коротышка поспешил пояснить:

– Я теперь преподаю в старших классах, школа в Бруклине. – Смутившись, молодой человек попытался сменить тему разговора, устремив взгляд на висевшую перед ними картину, но «горгулья» безжалостно продолжал: – У меня ведь… довольно большая семья… и, как мне ни жаль, пришлось вот бросить университет. К сожалению, вопрос жалованья тогда стоял на первом месте.

В последовавшей тишине оба, не отрываясь, разглядывали картину.

Затем «горгулья» спросил:

– Давно получили диплом?

– Так и не получил. Проучился всего немного. – Теперь он был уверен, что «горгулья» не имеет ни малейшего понятия, кто он такой; это его обрадовало, и он с удовлетворением отметил, что собеседник наверняка не имеет никаких причин сторониться его компании. – Вы уже все посмотрели?

«Горгулья» ответил утвердительно, и они вместе отправились в соседний ресторан, где за чашкой чая с молоком и тостом с джемом позволили себе погрузиться в воспоминания об университете. Когда в шесть вечера на улицах начался час пик, они с непритворным сожалением попрощались, и коротышка, выворачивая свои коротенькие ножки в разные стороны, помчался за бруклинским поездом. Да, выглядело это очень смешно! Они говорили об университетском духе, о надеждах, которые сокрыты поросшими плющом стенами, о тех пустяках, которые становятся тебе родными лишь после того, как покидаешь альма-матер. «Горгулья» немного рассказал о себе: чем он сейчас занимается, какие холодные и чопорные люди его теперь окружают. Он мечтал, что когда-нибудь вернется, ну а пока что надо кормить детей (собеседник тут же представил себе выводок разевающих пасти юных горгулий), и ясно, что придется потерпеть еще несколько лет. Но сквозь все его мечтательные разговоры просматривалась удручающая неизбежность: он будет учить бруклинских старшеклассников до тех пор, пока последний звонок не призовет его в последний класс. Да, иногда он там бывает. Его младший брат – доцент университета.

Вот так они и поговорили, разделив и тост, и изгнание. Вечером дряхлая старая дева, сидевшая за столом слева от него, спросила, какой, по его мнению, университет будет достоин вывести в мир ее подающего надежды племянника. И неожиданно для себя он разговорился. Он говорил о прочных связях, о студенческом братстве и, уходя из-за стола, мимоходом упомянул о том, что на следующей неделе сам собирается на денек съездить в альма-матер. Он не смог заснуть и размышлял до тех пор, пока рассвет не окрасил серым стулья и столбики кровати.

III

В вагоне было жарко и душно, в воздухе застыло множество запахов, обычных в стране иммигрантов. Вокруг красных плюшевых сидений сгустились пылевые облака. В курящем вагоне было еще ужаснее – грязный пол и спертый воздух. Так что мужчина уселся на скамейке у приоткрытого окна и вздрагивал, когда туда влетали клубы дыма. Мимо проносились огни, из-за демократической неразборчивости тумана одинаково дрожащие и рассеянные – что в городках, что на фермах. Каждая станция, которую объявлял кондуктор, отзывалась в сердце мужчины знакомым именем. В памяти кружились воспоминания одного года, он вспоминал и время, и обстоятельства, когда ему доводилось слышать эти названия. Одна из станций невдалеке от университета имела для него особое значение благодаря многим чувствам, которые он испытал близ нее в студенческую пору. Он вспомнил, как все это было. В сентябре, сразу после поступления, именно здесь он разволновался сильнее всего. Когда в ноябре он возвращался после проигранного футбольного матча, эта станция стала символом уныния в том приунывшем университете, куда он направлялся. В феврале она стала точкой, где необходимо было просыпаться и собирать себя по частям, а когда он проезжал ее в последний раз, в июне, у него вдруг екнуло сердце, ведь это был последний раз! Когда поезд тронулся и раздался стук колес, он выглянул в окно и стал думать, что же он чувствует. Как ни странно, к нему вернулось первое впечатление: он почувствовал тревогу и неуверенность.

Несколько минут назад он увидел, что впереди, в трех рядах от него, сидит коротышка преподаватель, но молодой человек не стал к нему подсаживаться и даже не окликнул его. Он не желал ни с кем делить впечатлений этой поездки.

Они остановились у платформы. Крепко сжимая саквояж, он спрыгнул с поезда и по привычке сразу же повернул к широкой лестнице, ведущей в студенческий городок. Но сразу же остановился

и, поставив саквояж на землю, огляделся вокруг. Погода была типичной для этих краев. Вечер походил на вечер его последнего экзамена, разве что не такой насыщенный и не такой горький. Неизбежность уже стала реальностью с оттенком привычного принуждения, против которого ничего не попишешь. Если раньше дух шпилей и башен вызывал у него трепет и превращал его в молчаливо покорное и всем довольное существо, то теперь он внушал ему благоговейный страх. Если раньше он осознавал лишь свою непоследовательность, то теперь видел собственное бессилие и бездарность. Впереди виднелись силуэты башен и зубчатые стены зданий. Поезд, с которого он только что сошел, запыхтел, свистнул и дал задний ход; отсоединили тормозной вагон; несколько скромных бледных городских парней исчезли в ночи, бесшумно покинув станцию. А перед ним, не смыкая глаз, дремал университет. Он почувствовал нервное возбуждение, которое, вполне возможно, было лишь размеренным стуком его сердца.

Неожиданно на него кто-то налетел, чуть не сбив с ног. Он обернулся и в дрожащем свете дугового фонаря его взгляд упал на коротышку преподавателя, трусливо косившегося на него из-под горгульих очков.

– Добрый вечер.

Его – без особого удовольствия – узнали.

– Ах, это вы… Приветствую. Какой туман! Надеюсь, я не сильно вас ушиб?

– Нет, пустяки. Я просто замечтался. Тут удивительно спокойно. – Он замолчал и подумал, что, наверное, смотрится сейчас слегка надменно.

– Почувствовали себя опять студентом?

– Просто решил прогуляться, осмотреться. Может, и с ночевкой. – Прозвучало это как-то натянуто. Хотелось бы ему знать, почувствовал ли это собеседник?

– Правда? И я тоже. У меня тут брат работает, он доцент – я вам рассказывал? У него и заночую.

Молодому человеку на мгновение отчаянно захотелось, чтобы и его тоже пригласили «на ночлег»:

– Нам не по пути?

– Увы, нет. – «Горгулья» неловко улыбнулся.

– Ну что ж, тогда доброй ночи.

Говорить было больше не о чем. Не мигая, он смотрел, как исчезает коротышка, забавно выворачивая свои смешные коленки.

Прошло несколько минут. Поезд не издавал ни звука. Неясные очертания на платформе станции теперь утратили контуры и окончательно смешались с фоном. Он остался один, лицом к лицу с духом, который должен был повелевать всей его жизнью, с матерью, которую он отверг. Это был поток, куда он когда-то бросил камень, слабый всплеск от которого давным-давно исчез. Отсюда он ничего не взял и ничего здесь не оставил – ничего? Его взгляд медленно пополз вверх, все выше и выше, пока не достиг точки, где начинался шпиль, а за взглядом последовала и душа. Но и взгляду, и душе мешал туман. Стремиться ввысь, как шпиль, он не мог.

По грязной тропинке прошлепал опоздавший первокурсник в громко шуршащем плаще. Чей-то голос произнес обязательную в ночь перед экзаменом формулу в адрес неизвестного окна. В его сознание неожиданно ворвались сотни слабых звуков скрытого туманом движения.

– Боже мой! – вдруг воскликнул он и вздрогнул от звука собственного голоса в тишине.

Он кричал от невыносимого чувства абсолютной неудачи. Он понял, что со всем этим у него нет ничего общего! Даже «горгулья» – бедный усталый маленький халтурщик – был вплетен в ткань этой системы гораздо прочнее, чем он сам, даже в своих мечтах. Горячие слезы беспомощного гнева застлали ему глаза. Не было никакой несправедливости – была лишь молчаливая и глубокая тоска. Единственные слова, которые могли бы очистить его душу, ждали его в глубине непознанного, прямо перед ним, – ждали его там, где он никогда их не услышит, куда он никогда не сможет попасть. Все так же лил дождь. Еще минуту он неподвижно стоял, свесив голову и сжав кулаки. Затем развернулся, подхватил саквояж и пошел к поезду. Паровоз запыхтел, дремавший в углу кондуктор сонно кивнул ему, единственному пассажиру опустевшего вагона. Он устало опустился на красное плюшевое сиденье и прижался горячим лбом к мокрому окну поезда.

Тарквиний из Чепсайда

Шум бегущих шагов: темп задают мягкие подошвы легких туфель из дорогой цейлонской кожи; за ними, на расстоянии сотни ярдов, следуют высокие ботинки на прочной толстой подошве, две пары, темно-синие, с позолотой, отражающей лунный свет резкими неясными отблесками. На одну мучительную секунду легкие туфли появились в лунном свете, а затем устремились в темный лабиринт аллей, оставив за собой во тьме лишь неясный шум. Неловко спотыкаясь, на бегу проклиная лондонские закоулки, появляются высокие ботинки; блестят обнаженные клинки. Легкие туфли подбегают к воротам и продираются сквозь живую изгородь. Высокие ботинки тоже подбегают к воротам и продираются сквозь живую изгородь. Вдруг впереди возникает ночной дозор: двое солдат с пиками, свирепые с виду, как и положено ветеранам битв в Кале и Испании. Но никто не зовет на помощь. Преследуемый, задыхаясь, не падает у их ног, судорожно хватаясь за кошель; преследователи тоже не поднимают шум – легкие туфли, как ветер, проносятся дальше. Стражники чертыхаются, останавливаются, оглядываются, а затем зловеще скрещивают пики над дорогой. В небе стремительно появляется туча, улочка окутывается тьмой.

И снова бледный свет луны касается карнизов и крыш; погоня продолжается, но один из тех, кто в высоких ботинках, теперь оставляет позади себя темный след, пока прямо на бегу, наспех, не перевязывает рану сорванным с шеи дорогим кружевом.

Стражникам сегодня не повезло. Это было дьявольское дело – кажется, тот, кто был еле виден впереди, тот, кто перескочил через забор у калитки, и был самим дьяволом. Больше того, беглец явно чувствовал себя как дома в этой части Лондона, созданной, казалось, нарочно для его низких целей: дорога становилась все уже, а дома – все ниже и ниже, создавая идеальные закоулки для драк, убийств и внезапных смертей. Так и бежали они по зловещим извилистым тропинкам, куда даже свет луны проникал лишь в виде малых пятен и отблесков. Преследуемый, в кромешной тьме уже потерявший свою

короткую кожаную куртку, истекая потом, стал осматриваться вокруг. И тотчас же замедлил бег, отбежал немного назад и нырнул в самую темную и узкую боковую аллею. Через пару сотен ярдов он остановился и втиснулся в нишу в стене, съежившись и затаив дыхание, превратившись в едва заметное в темноте гротескное изваяние.

Не добежав до него двадцати ярдов, преследователи остановились, и он услышал, как они зашептались:

– В тридцати ярдах от нас!

– Да, я все время слышал его; он остановился.

– Он спрятался!

– Будем держаться вместе, и, клянусь Пресвятой Девой, мы прикончим его!

Голоса смолкли, но обладатель легких туфель не стал ждать продолжения беседы. Услышав осторожные шаги в своем направлении, он в три прыжка пересек аллею, подпрыгнул, лишь на мгновение задержавшись на вершине стены, как огромная птица, – и исчез, будто голодная ночь мгновенно проглотила его.

Питер Кэкстер много читал – как он недавно понял, даже слишком много. Несмотря на юный возраст, зрение его становилось все хуже и хуже, а живот – все больше и больше. Его – высокого, плохо сложенного и ленивого от природы – Кембридж щедро наделил ясными стимулами к учению, а также амбициями, тонко распыленными по всем предметам Елизаветой, милостью Лютера королевой Англии. Питер совершил довольно неудачное путешествие по морю, сохранил в памяти для будущих внуков гору анекдотов елизаветинских времен и в настоящий момент не без труда перешел к забытым было книгам. Что за книга была перед ним в эту ночь! В дрожащем свете свечи перед ним лежала «Королева фей» Эдмунда Спенсера.

Легенда о Бритомарте, или О целомудрии

Мне не хватает слов, чтобы воспеть
Великую из многих добродетель,
Что «целомудрием» зовется в мире…

На лестнице послышался звук торопливых шагов, и в комнату ворвался судорожно дышавший, на грани обморока, человек.

– Питер, – выпалил он, – мне надо спрятаться! Я попал в переделку – меня ждет смерть, если те двое, которые сюда бегут, найдут меня!

Питер не удивился. Его гость не впервые испытывал разного рода затруднения, доверяя ему себя из них выпутывать. Кроме того, гость – когда дыхание его превратилось из судорожного в просто учащенное – почти успокоился и не выглядел виноватым. Случайный наблюдатель отметил бы, что недавнее деяние вызвало у него лишь прилив гордости.

– Два безмозглых дурака с большими клинками гоняли меня по всему Лондону, как кролика!

– Точнее, в забеге участвовали три дурака, – с иронией заметил Питер, вытащив из угла шест и открыв потолочный люк, ведший на небольшой чердак.

Он указал наверх. Гость присел, подпрыгнул, ухватился за край, с усилием подтянулся и исчез в темноте. Крышка люка встала на место, засуетились разбегавшиеся крысы, послышалось приглушенное проклятие – и наступила тишина. Питер взял «Легенду о Бритомарте, или О целомудрии», уселся и стал ждать.

Через пять минут на лестнице послышался шум, а затем раздался громкий стук в дверь. Питер вздохнул, положил книгу и встал, взяв свечу:

– Кто там?

– Открывай, или мы сломаем дверь!

Питер чуть приоткрыл дверь, высоко держа свечу, и произнес чужим, робким и ворчливым голосом:

– Неужели мирный житель Лондона не может даже ночью хоть часок спокойно отдохнуть от всякого хулиганья?

– Открывай, болтун, и побыстрее, или в эту щель сейчас войдет мой клинок!

На узких, залитых лунным светом ступенях покачивались огромные тени двух кавалеров; в свете свечи Питер быстро оглядел их. Это были джентльмены в богатом платье, явно одевавшиеся второпях. Одному было лет тридцать; от переживаний он, казалось, почти потерял голову. Другой, с раной на руке, был моложе и выглядел более спокойным и уравновешенным, хотя лицо его не сулило ничего хорошего. Питер позволил им войти.

– Здесь кто-нибудь прячется? – свирепо спросил старший.

– Нет.

– По лестнице кто-нибудь пробегал?

Питер ответил, что десять минут назад на площадке ниже действительно кто-то бегал и пытался попасть за дверь, но, кто бы это ни был, у него ничего не получилось, и он ушел. Не будут ли они так любезны объяснить, кого они ищут и зачем?

– Совершено насилие над женщиной! – медленно произнес младший. – Мне она сестра, а ему – жена. Кто мы, не имеет значения. Если ты укрываешь этого человека, это будет стоить тебе жизни.

– Вы знаете, кто он – этот человек? – быстро спросил Питер.

Старший сел на стул и обхватил голову руками:

– Господи… Мы не знаем даже этого!

Питер вздрогнул. К такому трагическому повороту он не был готов.

Младший обыскал обе комнаты Питера, тыкая мечом всюду, где могло быть хоть что-то подозрительное. Он заметил люк:

– Что там?

– Им никто не пользуется, – ответил Питер. – Там чердак, а люк заколочен.

Неожиданно он вспомнил о шесте и затаил дыхание, но человек отвернулся, закончив обыск.

– Чтобы залезть туда без лестницы, надо минут десять хотя бы, если он, конечно, не акробат.

– Акробат… – как эхо, повторил старший.

– Пошли.

Они тихо удалились, печальные и бессильные, а Питер закрыл за ними дверь и запер ее на засов. Выждав десять минут, он взял шест и сдвинул крышку люка. И когда гость вновь предстал перед ним, он начал:

– Ты всегда был коварен и жесток, как дьявол, – твою жизнь нельзя представить без выпивки, женщин и крови, – но услышать своими ушами хотя бы намек на то, что мне говорили эти двое…

Гость перебил его:

– Питер, тебе не понять. Ты не раз помогал мне. И должен помочь мне сейчас! Ты меня слышишь? Я не хочу с тобой спорить. Мне нужны перо, бумага и твоя спальня, Питер! – Он разозлился. – Питер, неужели ты пытаешься мне мешать? По какому праву? За то, что я совершил, я отвечу лишь перед самим собой!

Не сказав ни слова больше, он взял со стола перо, чернила и кипу бумаги и прошел в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. Питер вздохнул, пошел было за ним, но передумал – вернулся, взял «Королеву фей» и сел на стул.

В четыре утра на улице стало холодно и влажно, а в комнате – темнее. Питер же, низко склонившись над столом, напряженно следил за сюжетом «Королевы фей». Снаружи, с узкой улицы, слышалось громкое фырканье драконов, а когда в пять утра заспанный подмастерье оружейника приступил к работе, эхо превратило громкий звон наколенников и кольчуги в шум марширующей кавалькады.

С первым лучом солнца появился туман, и, когда в шесть утра Питер на цыпочках подошел к своей спальне и открыл дверь, комнату заливал серо-желтый свет. С покрасневшими невидящими глазами, бледный, как смерть, гость обернулся к нему. Он писал, не останавливаясь, и на молитвенной скамье, на которой он писал, громоздились кипы исписанной бумаги, а по полу были разбросаны клочки почти нетронутых страниц. Питер тихо закрыл дверь и вернулся к своим сиренам. Шум шагов на улице, брюзжащие голоса соседских старух и глухой утренний шум подействовали на него расслабляюще, и он тяжело опустился на стул, а его засыпающий разум продолжал переваривать заполнявшие его беспорядочные образы. Вот он оседлал облако, а путь к небесам лежал по стонущим телам, поверженным под палящим солнцем. Вот он содрогнулся и

двинулся вперед. А вот он очутился в лесу, где убил райскую птицу из-за ее перьев. Кто-то пытался обменять его душу на весь мир, и обмен состоялся! Он проснулся, вздрогнув от прикосновения горячей руки к плечу. В комнате висел густой туман, а гость, стоявший рядом с кипой бумаги в руке, казался серым призраком, сотканным из воздуха.

– Прочти это, Питер, а потом убери куда-нибудь и не буди меня до завтрашнего утра!

Питер с любопытством взял листы. Гость растянулся на кушетке, ровно задышал и мгновенно погрузился в глубокий сон, лишь уголки его бровей нервно подрагивали.

Питер устало зевнул и взглянул на небрежно исписанную первую страницу, а затем негромко начал читать вслух:

Поругание Лукреции

Из лагеря Ардеи осажденной
На черных крыльях похоти хмельной
В Коллодиум Тарквиний распаленный…

Чувства и мода на пудру

I

Эта история не обладает никакой ценностью с точки зрения морали. Она о человеке, который два года воевал, затем на два дня вернулся в Англию, а после этого опять отбыл в неизвестном направлении. К сожалению, это одна из тех историй, которые просто обязаны начинаться с начала, но до начала необходимо кое-что рассказать.

Два брата, сыновья лорда Блэнчфорда, приплыли в Европу в числе первой сотни тысяч добровольцев. Старший, лейтенант Ричард Харрингтон, был убит во время одного из первых, бесславных, маршей; младший, лейтенант Клэй Харрингтон Сайнфорс, и есть главный герой этого рассказа. К началу рассказа он уже капитан Семнадцатого Сассекского полка, и то безнравственное, о чем, собственно, и пойдет речь, произошло именно с ним. Читатель должен обязательно запомнить, что к тому моменту, когда отец встретил его на Паддингтонском вокзале и повез на машине в город, герой не был в Англии уже два года. А кроме того, на дворе стояла ранняя весна тысяча девятьсот семнадцатого. Причинами произошедшего стали самые разные обстоятельства – ранения, радость от повышения по службе, встреча с семьей в Париже и даже то, что в двадцать два года всегда хочется казаться всем вокруг сгустком неутомимой жизненной энергии. Кроме того, большинство его друзей и ровесников были убиты на фронтах войны, и он испытывал ужас, чувствуя, какие бреши остались после их ухода в его Англии… Ну что ж, теперь можно начинать.

За обедом он почувствовал себя слишком мрачным и молчаливым, что в данной ситуации не подобало. Его сестре пришлось развлекать веселой болтовней всех сидящих за столом: лорда и леди Блэнчфорд, его самого и двух чистеньких тетушек. Новая манера поведения сестры с непривычки показалась ему сомнительной. Чересчур громко и театрально – да и в таком количестве пудры красота сестры совершенно точно не нуждалась. Ей нельзя было дать больше восемнадцати, и косметика на ней смотрелась совершенно инородно. Он не был противником косметики вообще: он понимал, что, увидев, например, мать без пудры на лице, он был бы шокирован ничем не прикрытым видом ее морщин – однако молодость Клары не нуждалась в столь красочном подчеркивании. Кроме того, столь вызывающе неестественный грим он видел впервые, и поскольку в семье его было

принято общаться откровенно, он сразу же и во всеуслышание высказался по этому поводу.

– Тебя почти не видно за этой пудрой, – сказал он как бы между делом, стараясь не обидеть сестру; она вскочила и подбежала к зеркалу.

– Да нет, все в порядке, – сказала она, успокоившись и вернувшись к столу.

– Я всегда думал, – чуть рассердившись, продолжил он, – что мужчина не должен замечать, пудрилась ли дама вообще!

Сестра и мама обменялись взглядами и заговорили одновременно.

– Но знаешь ли, Клэй, в наши дни… – начала Клара.

– Действительно, Клэй, – вмешалась мать, – ты наверняка не знаешь, как изменились стандарты, поэтому лучше не критикуй. Сейчас все одержимы страстью пудриться чуть больше, чем раньше.

Клэйтон рассердился еще сильнее:

– И что, теперь все дамы на танцах у миссис Северанс раскрашены точно так же?

Глаза Клары грозно блеснули.

– Да!

– Ну, тогда, наверное, мне там делать нечего.

Клара уже была готова взорваться, но, поймав взгляд матери, сдержалась и притихла.

– Клэй, я хочу, чтобы ты туда пошел, – торопливо заговорила леди Блэнчфорд. – Все будут рады увидеть тебя – пусть даже и не вспомнят, как тебя зовут. И давайте сегодня больше не будем говорить о войне и о косметике!

В конце концов он решил пойти. В десять за сестрой заехал какой-то моряк, а полчаса спустя за ними последовал и Клэй. Еще через полчаса он понял, что на сегодня с него достаточно. Ему казалось, что все шло не так, как должно бы идти. Ему вспомнились балы миссис Северане – какими степенными, организованными по всем правилам событиями они были! Вместе приглашались только те, кого нельзя было пригласить по отдельности. Теперь же все общество уже не представляло собой единое целое – это была какая-то странная смесь. Его сестра никоим образом не преувеличивала: практически на каждой девушке, как на торте, толстыми слоями лежала пудра. И те жеманницы, которые, как он помнил, получали удовольствие от бесед

с юными викариями, с жаром обсуждая вопросы применения ладана в церковной практике и законности принуждения к добродетели, и те девицы, которые раньше выглядели ужасающе мужеподобными и говорили о танцах так, словно это развлечение для слабоумных, – все были здесь и выглядели так, будто только что, едва не утонув, вынырнули из-под воды! Как автомат, он танцевал с прелестницами, о которых мечтал всю свою юность, и в конце концов обнаружил, что это не доставляет ему никакого удовольствия. Он привык думать об Англии как о стране печали и аскетизма, но за вечер он не заметил ничего такого, и ему показалось, что ближе к концу градус атмосферы скорее упал до нарочитого веселья, нежели поднялся до сурового спокойствия. Даже в обильно украшенном позолоченной лепниной доме миссис Северанс царил дух танцплощадки, а не бала: гости приезжали и уезжали безо всякой пышности, и, что было совсем уж странным, ощущалась скорее нехватка приглашенных в возрасте, а не молодежи. Главной причиной его дискомфорта было нечто неуловимое – некое полувосторженное-полубеспокойное выражение на всех без исключения лицах.

В тот момент, когда он уже собрался уходить, в залу вошла Элеонора Марбрук. Он пристально посмотрел на нее и нашел, что она ни на йоту не изменилась. Ему показалось, что напудрена она была не так сильно, как все остальные, а когда он с ней заговорил, то почувствовал некое убежище в ее холодной красоте. Но ему все же показалось, что разница между ней и остальными была только в степени, а не в сути. Конечно же, он раздумал уходить, и около часа ночи они уже сидели рядом и смотрели друг на друга. Почти все гости разъехались, остались лишь офицеры и несколько девушек; сами хозяева совершенно не к месту громко беседовали с зажатой в угол молодой парой, выглядевшей так, словно им прямо сейчас нужно было срочно оказаться за несколько миль от этого места.

– Элеонора, – спросил он, – почему всё здесь выглядит как-то нарочито развязно, нарочито неряшливо?

– Это ужасно бросается в глаза, да? – согласилась она с ним, обведя залу взглядом.

– И кажется, никого не волнует! – продолжил он.

– Да, никого, – ответила она. – Но, дорогой мой, сидеть здесь и критиковать хозяев неприлично. А что насчет меня? Как я выгляжу?

Он критически ее осмотрел:

– В целом ты не слишком изменилась.

– Да, приятно слышать. – Ее брови укоризненно поднялись. – Ты говоришь так, словно я старая, всеми забытая тетушка, которая еще не оправилась после очередного семейного скандала.

Последовала пауза; затем он прямо спросил:

– Ты вспоминаешь Дика?

Ее лицо вдруг стало серьезным.

– Бедный Дик… Мы, кажется, были с ним помолвлены?

– Кажется? – изумленно переспросил он. – Ведь об этом знали все, и наши семьи тоже! Я помню, как лежал в постели и завидовал своему счастливому брату!

Она рассмеялась:

– Конечно, мы и сами думали, что помолвлены. Если бы не началась война, мы бы уже поженились; но, будь он жив, я сомневаюсь, что в такой обстановке мы бы даже заключили помолвку.

– Ты не любила его?

– Видишь ли, это здесь ни при чем. Возможно, он бы на мне не женился или я не вышла бы за него замуж.

Он приподнялся, и лишь ее упреждающее «Тссс!» заставило его сдержать крик изумления. К тому моменту, когда он смог взять себя в руки и вновь овладеть членораздельной речью, она уже танцевала с каким-то офицером. «Что она имела в виду? В момент высшего эмоционального возбуждения она… но хватит уже на сегодня думать об Элеоноре». Должно быть, он чего-то не понял – надо будет поговорить с ней еще. Конечно, так и есть, ведь если бы это было правдой, она бы не стала об этом говорить столь будничным тоном. Он взглянул на нее, чтобы узнать, на каком расстоянии от офицера она держится в танце. Ее светлые волосы практически лежали на плече партнера, а улыбающееся лицо находилось в каких-то дюймах от его лица. Все это лишь увеличивало раздражение Клэя. Когда он вновь оказался с ней в паре, она взяла его за руку, и прежде чем он сообразил зачем, они уже попрощались с Северансами и мчались куда-то в лимузине Элеоноры.

– Эта машина сделана в тысяча девятьсот тринадцатом году, – кто бы мог подумать до войны, что люди будут ездить в машинах четырехлетней давности!

– О, что за лишения! – иронично заметил он. – Элеонора, я хотел с тобой поговорить…

– И я с тобой. Поэтому я тебя и увела. Где ты живешь?

– Дома.

– Ну, тогда поехали на твою старую квартиру, на Грув-стрит. Ведь она все еще твоя?

Он не успел ничего ответить, а она уже приказала шоферу и, улыбнувшись, снова откинулась на сиденье машины.

– Элеонора, не можем же мы… Там невозможно разговаривать…

– Квартира не убрана? – перебила она его.

– Там убирают раз в месяц, по-моему…

– Ну, тогда все в порядке. Так даже лучше – не будет никакой разбросанной по диванам одежды, как это обычно бывает, когда мужчины живут одни. Дорогой мой, на вечеринке у лейтенанта Хотсана мы с Гертрудой Эвартс видели кучу грязного белья прямо посреди комнаты, – мы туда приехали первыми, и…

– Элеонора, – серьезно сказал Клэй, – на меня это вовсе не похоже.

– Я знаю, что не похоже, вот поэтому мы и едем в твою квартиру, чтобы там поговорить. Господи, неужели ты думаешь, что сегодня хоть кто-то придает хоть какое-нибудь значение месту, где происходит беседа, – если, конечно, это не телеграфный столб и не причал у моря?

Машина остановилась, и, прежде чем он смог подыскать подходящее возражение, Элеонора вышла на тротуар и взбежала по лестнице, где и объявила во всеуслышание, что будет стоять у двери до тех пор, пока он не соизволит выйти из автомобиля и впустить ее в дом. Ему пришлось подчиниться. Он пропустил ее вперед и, поднимаясь по лестнице, услышал в темноте ее негромкий смех. Толкнув дверь, он зажег свет, и в первый миг они оба замерли. На столе стояла фотография Дика. Он был снят в обычном костюме и выглядел таким же вселенски мудрым и утонченным, каким они видели его в последний раз. Первой зашевелилась Элеонора. Она прошла по комнате, подняв пыль подолом своего шелкового платья, и, опустив руки на стол, тихо сказала:

– Он был таким милым, а теперь его нет… – Она повернулась к Клэю. – Он никогда ни о чем серьезно не задумывался. И не беспокоился о том, что же будет там, дальше… Я сомневаюсь, что он когда-либо слышал слово «вечность». Он был так красив – рыжие

волосы, голубые глаза… – Она замолчала и опустилась на пуфик, стоявший перед печкой. – Разожги огонь, обними меня и давай поговорим.

Он послушно пошел искать дрова, а она сидела и говорила:

– Я не хочу ничего делать и даже не буду предлагать свою помощь, – я слишком устала. Уверена, что нам будет вполне уютно, если я просто буду сидеть и говорить, правда?

Стоя на коленях и держа в руках банку с керосином, он посмотрел на Элеонору и сказал вдруг охрипшим голосом:

– Расскажи мне немного об Англии… и немного о Шотландии. Расскажи мне, что тут происходило, какие-нибудь милые провинциальные дела и что-нибудь о женщинах… и о себе тоже… – Он вдруг замолчал.

Элеонора улыбнулась и присела на колени рядом с ним, зажгла спичку и поднесла ее к краю газеты, торчавшей из-под поленьев. Она повернула голову так, чтобы можно было прочесть написанное, пока еще не вся бумага почернела и превратилась в золу, и прочла вслух: «14 августа 1915-го. Налет цеппелинов», – и все, буквы исчезли в язычках пламени.

– Моя младшая сестра – помнишь ее – Кэтрин? Ну, Китти, с русыми волосами, она еще чуть шепелявила… Ее убило бомбой во время налета, ее и гувернантку, прошлым летом.

– Маленькая Китти, – печально произнес он, – много детей погибло, я слышал, очень много; не знал, что и она тоже. – Казалось, он был где-то далеко, в какой-то печальной стране.

Она торопливо сменила тему.

– Много, но сегодня мы не собирались говорить о смерти. Мы хотели притвориться счастливыми. Разве ты не видишь? – Она хлопнула его по колену. – Мы счастливы! Да! Почему ты только что был таким грустным? Ты расчувствовался, не так ли?

Его взгляд был все еще прикован к пламени, но, услышав это, он посмотрел на нее:

– Да, но лишь сегодня – впервые в жизни. А ты нет, Элеонора?

– Нет, я же романтик. Тут большая разница: чувствительный, сентиментальный человек уверен, что все когда-нибудь пройдет, а романтик надеется, что нет!

Он опять погрузился в себя, и она поняла, что он едва ли ее слушал.

– Пожалуйста, – придвинувшись, взмолилась она, – будь пай-мальчиком и обними меня!

Он робко протянул к ней руку, и она тихо рассмеялась, когда он нерешительно отвел руку назад и, склонившись, стал говорить в огонь:

– Скажешь ты мне наконец, во имя чего и зачем мы находимся здесь? Понимаешь ли ты, что это была настоящая холостяцкая квартира до тех пор, пока все холостяки не обвенчались со смертью там, за проливом? Одно это может тебя скомпрометировать!

Она взялась за портупею и притянула его к себе так, что серые глаза Клэя смотрели прямо ей в глаза.

– Клэй, Клэй, не пользуйся этими милыми обветшалыми словами! Скомпрометировать! Что это за слово в сравнении со словами Жизнь, Смерть, Родина или Любовь? Заметь – они все с большой буквы! Вот какие слова сейчас у всех на устах. Скомпрометировать! Клэй, я думаю, что сейчас этим словом пользуется одна лишь прислуга. – Она рассмеялась. – Клэй, ты и наш дворецкий – единственные люди в Англии, которые все еще пользуются глаголом «компрометировать». Свою горничную неделю назад я уже отучила! Как странно… Клэй, посмотри на меня.

Он посмотрел и наконец-то увидел то, что должен был давно заметить: ее порывистую красоту. Она улыбалась, чуть приоткрыв губы, прическа была в легком беспорядке.

– Чертовка! – пробормотал он. – Ты начиталась Толстого и поверила ему!

– Я?! – Ее взор был прикован к огню. – Да. Может быть.

Она вновь посмотрела на него и вернулась к реальности.

– Знаешь, Клэй, нужно перестать смотреть на огонь. Он заставляет нас думать о прошлом, а сегодня мы должны забыть и прошлое, и будущее, и само время, – мы должны помнить лишь о настоящем, лишь о том, что ты и я сейчас здесь и что больше всего на свете я устала от портупеи, которая впивается мне в щеку.

Но он все еще мысленно находился за десять лет до этого момента; перед его глазами стоял Дик, и он принялся высказывать свои мысли вслух:

– Ты часто рассказывала Дику о Толстом, и я всегда думал, что такой красивой девушке не идет быть столь умной.

– Но я на самом деле такой и не была, – призналась она, – я говорила это, чтобы произвести впечатление на Дика.

– Кроме того, я был потрясен, когда прочел книгу Толстого – кажется, про какую-то сонату…

– «Крейцерова соната»? – подсказала она.

– Да. Я решил, что юным девушкам Толстого читать не подобает, а уж тем более рассказывать о нем Дику. Он часто подкалывал меня этим. Мне было девятнадцать.

– Да, мы думали, что ты настоящий маленький ханжа. Мы считали себя гораздо более прогрессивными, чем ты!

– Но ведь тебе было всего двадцать, разве нет? – неожиданно спросил Клэй; она кивнула в знак согласия. – И ты больше не веришь Толстому? – с каким-то надрывом продолжил он.

Она покачала головой и с грустью посмотрела на него:

– Позволь, я совсем ненадолго облокочусь о твое плечо?

Он приобнял ее, ни на секунду не отводя от нее взгляда, и неожиданно почувствовал себя в ее власти. Клэй не был святым, но с женщинами всегда вел себя по-рыцарски. Возможно, именно поэтому он почувствовал себя сейчас таким беззащитным. Его обуревали самые простые чувства. Он знал, что поступает не так, как должно, и одновременно страстно желал эту женщину, это существо, сотканное из шелка и самой жизни, столь близко подкравшееся к нему. Он сознавал, почему не должен был желать ее, но неожиданно увидел, что любовь так же сильна, как и жизнь, и смерть, и она знала, что он это понял, и была этому рада. Молча, без единого движения они сидели и смотрели на огонь.

II

На следующий день в 14:20 Клэй пожал руку своему отцу и сел на поезд, отходивший в Дувр. В углу купе с каким-то романом уютно устроилась Элеонора; как только он вошел, она улыбнулась и захлопнула книгу.

– Да, – начала она, – я почувствовала себя настоящим шпионом, когда кралась сюда, закутанная в целые километры вуали, ускользая от воодушевляюще безгрешного взора твоего батюшки!

– Он бы все равно не обратил на тебя внимания, – ответил Клэй, усаживаясь на диванчик. – Он был очень взволнован, несмотря на внешнюю грубость. Ты же знаешь, что на самом деле он отличный парень. Жаль, что я нечасто с ним вижусь.

Поезд тронулся; униформы железнодорожников, стоявших на перроне, теперь казались темными, увядшими листьями, уносимыми сырым осенним ветром вдаль, к побережью холодного моря.

– Нам с тобой действительно по пути? – спросил Клэй.

– Да, до Рочестера. Полтора часа. Я безумно хотела увидеться с тобой, пока ты не уехал, – что, конечно, не совсем красиво. Но, видишь ли, я чувствую, что ты не очень понял, что вчера произошло, и смотришь на меня так… – она запнулась, – словно я какое-то исключение.

– Я был бы настоящим ослом, если бы хоть на миг позволил себе думать о тебе в таком духе.

– Нет-нет, – весело сказала она, – я иногда и романтик, и психолог в одном лице. Конечно, анализ убивает всю романтику, но к этому я готова, лишь бы оправдаться в твоих глазах.

– Но я ни в чем тебя не виню… – начал он.

– А я знаю, что ни в чем не виновата, – перебила она, – но все равно я это сделаю, и ты увидишь слабое место в своих рассуждениях. Нет, Золя я не верю!

– Я ничего о нем не знаю.

– Дорогой мой, Золя утверждал, что окружение – это самое главное, но он рассматривал семьи и расы, а здесь мы имеем дело с классами.

– Какими классами?

– Нашим классом.

– Мне давно уже хотелось об этом послушать, – сказал он.

Она села с ним рядом и, глядя на убегающий вдаль пейзаж за окном, принялась рассуждать:

– Перед войной говорили, что Англия – это единственная в мире страна, где женщины никак не защищены от мужчин своего класса.

– Ты имеешь в виду ни к чему не обязывающие интрижки? – вставил он.

– Да. Дорогой мой, это до сих пор актуально! Видишь ли, это не причина, а всего лишь следствие. Идея физического здоровья как основного достоинства стала господствовать в обществе как раз на излете Викторианской эпохи. В университетах перестали пить. И даже ты как-то сказал мне, что по-настоящему плохие люди никогда не бывают пьяницами, предпочитая сохранить себя в полном здравии для этических и интеллектуальных преступлений.

– Да, пьянство ушло вместе с веком Виктории, – согласился он. – Пили обычно те парни, которые собирались впоследствии стать викариями, сея разумное, доброе, вечное при помощи самого ортодоксального пьянства.

– Ну вот, – продолжала она, – должна была найтись какая-то отдушина – и она нашлась, и ты знаешь, в какой форме, раз уж сам заговорил о «ни к чему не обязывающих интрижках». А затем на арене появился мистер Марс. Видишь ли, пока существовало некое моральное давление, прогнившая часть общества была изолирована от здоровой. Нельзя сказать, что болезнь не распространялась, но этот процесс был замедленным, некоторые даже брали на себя труд о чем-то задуматься… А когда мужчины стали уходить и не возвращаться, когда женитьба стала вопросом, решаемым в течение получаса, и вдовы наводнили Лондон, а все обычаи оказались устаревшими – вот тогда все и стало потихоньку меняться.

– Как это началось?

– Началось с того, что все мужчины в одночасье ушли на войну – и у женщин пропала гордость. Мужчины не возвращались обратно, а женщины были предоставлены сами себе.

Он вздохнул:

– Так вот с чего все пошло! А я и не догадывался…

– О, сначала никто ничего не замечал! Этого не было видно при свете дня – оно росло во мраке. А впоследствии, видишь ли, уже пришлось ткать некую сентиментальную мантию, чтобы все прикрыть.

Раз уж все так вышло, нужно было какое-нибудь обоснование. Почти все девушки либо уже носили брюки и целыми днями водили автомобили, либо наводили боевую раскраску и уходили танцевать с офицерами ночи напролет.

– И какой же высокий принцип удостоился чести все это осенять? – саркастично поинтересовался он.

– Видишь ли, мы наткнулись на парадокс. Я могу продолжать говорить и дальше в том же духе, притворяясь, что это – всего лишь холодный анализ; могу даже иронизировать на эту тему. Но я сама при этом нахожусь под теми же чарами, что и любая невзрачная машинистка, которая проводит выходные в Брайтоне со своим кавалером, которому на следующий день предстоит отплыть с ротой таких же новобранцев.

– Жду не дождусь услышать, что же это за чары?

– Это – Самопожертвование, причем с прописной буквы. Мужчины уходят умирать ради нас. Мы могли бы быть их женами – но мы ими не стали, – поэтому мы ими будем, пока у нас хватит сил. Вот и вся история.

– Боже мой!

– Молодой офицер приезжает в отпуск, – продолжила она, – и мы должны сделать так, чтобы он хоть ненадолго забыл, откуда он приехал. Мы должны создать для него иллюзию, что люди здесь, в тылу, его братья, что он приехал домой и что здесь его ждут. Ты, конечно, понимаешь, что в низших классах вещи такого рода провоцируют демографический взрыв. И распространится ли этот закон на нас, зависит только от продолжительности войны.

– А как насчет старушки морали, образа женщины и тому подобного? – робко начал он.

– Все это поднялось на такую недостижимую высоту, мой дорогой, что все об этом давно забыли. С практических позиций можно говорить только о том, что для расы будет лучше, если офицеры будут оставаться в пределах собственного класса. Подумай о следующем поколении французов!

Клэй неожиданно почувствовал, что задыхается в этом купе. Казалось, пузыри традиционной этики вдруг полопались и застоявшийся воздух заполнил все пространство. Для спасения его сознанию нужно было срочно ухватиться за любые частицы старины,

все еще плававшие в моральном эфире. Голос Элеоноры представлялся ему серым рассветом нового материалистического мира, и контраст выглядел еще более резким из-за уже поколебавшейся чести, все еще остававшейся честью, и остатков сентиментальной религиозности, которые проскальзывали то тут, то там в ее речи.

– Итак, мой дорогой, мы видим сплавленные воедино практичность, героизм и чувства, говорящие сами за себя. И мы тем временем добрались до Рочестера, – с сожалением заметила она. – Как вижу, в старании оправдать себя я достигла лишь того, что теперь весь мой пол кажется тебе виноватым. – И со слезами на глазах они расцеловались.

На платформе они еще немного поболтали. Но все чувства куда-то исчезли. Она вновь попыталась анализировать, и ее гладкий лоб покрылся морщинами. Он прилагал все усилия для того, чтобы переварить сказанное ею, но в мыслях у него все еще царил беспорядок.

– Помнишь, – спросил он, – как ты днем говорила, что любовь раньше была словом с большой буквы, как Жизнь и Смерть?

– Это всего лишь слова… техника… правила игры… ловушка!

Поезд тронулся, и Клэй запрыгнул в отходящий вагон, а она, возвысив голос так, чтобы он ее услышал, крикнула вслед:

– Любовь – действительно с большой буквы, но я имела в виду не нас. Настоящая Любовь так же велика, как и Жизнь, и Смерть, но не эта любовь, не эта…

Звук ее голоса утонул в шуме поезда, и для Клэя она стала серым призраком, растворившимся в пространстве вместе с платформой.

III

Заряд разорвался прямо в пушке. Когда стих грохот и рассеялся дым, сержант О’Флоэрти, получивший осколок в левый бок, упал

рядом с Клэем, и они доползли до воронки, подобно измученным морякам с затонувшего судна, безмолвно плывущим из последних сил к берегу. Плечо и спина Клэя обильно кровоточили, он медленно и неуклюже потянулся за пакетом первой помощи.

– Скоро весь Семнадцатый Сассекский переформируют, – пророчески произнес О’Флоэрти. – Две недели в арьергарде и пару недель дома.

– Чертовски хороший полк это был, О’Флоэрти! – сказал Клэй.

Они вполне могли сойти за пару майоров-философов, обсуждающих положение дел вдали от передовой, если бы только Клэй не лежал на спине с искаженным от боли лицом, а ирландец не истекал бы кровью. Последний при этом пытался соорудить импровизированный жгут на своем бедре, сохраняя беззаботное выражение робкого просителя, отдающего свою шляпу в гардероб.

– Нет у меня никаких чувств к этому полку! – с отвращением прокомментировал он. – Это уже пятый, который я вижу разбитым вдребезги. Меня просто направили в этот Сассекский запасной, и мне нет надобности высказывать какие-либо чувства!

– Уверен, что ирландцы стоят друг за друга горой, сержант!

– Все ирландцы – друзья, капитан, хоть я и не подозревал об этом, покуда не покинул своих… ну, тех, что еще остались. Англичанин не может умереть, не разыграв перед этим целый спектакль. Кровь на англичанине всегда напоминала мне актерский грим. Они всегда играли. Ирландец же умирает чертовски серьезно.

Клэйтон, превозмогая боль, перевернулся и уставился в ночное небо; облака были едва видны из-за дыма. Они находились между дьяволом и бездной, и на сленге следующего поколения такие пятачки земли будут называть ничейными полосами. О’Флоэрти продолжал:

– Все вы думаете, что должны что-то сделать. У вас нет никакого Бога, достойного упоминания. Вы уходите из жизни во имя каких-то священных принципов и надеетесь на встречу в Вестминстере.

– Мы не мистики, О’Флоэрти, – пробормотал Клэй, – просто у нас серьезное отношение и к Богу, и к реальности.

– Прошу прощения, лейтенант, для меня мистик, – ответил ирландец, – это не ряса, а святой. Вы – самые легкомысленные существа в вопросах веры, вы всегда говорите о чистой вере так, словно это то же самое, что и облака в небе. На той неделе была

лекция, я сунул голову в дверь. «Ма-те-ри-а-лис-та-ми, – говорил лектор, – мы должны быть материалистами в вопросах религии, мы должны быть практичны». И пошел чесать по поводу христианского братства и благородной смерти, поэтому голову я высунул обратно. И множество ваших лучших людей умирают за это каждый день – пытаясь быть *ма-те-ри-а-ли-ста-ми*, умирающими потому, что их отец – герцог, или потому, что он не герцог. Но это совсем не то, о чем я должен сейчас думать. Черт бы с ним, давайте выкурим трубочку, пока не стемнело. А то чертовы немцы заметят спичку и начнут практиковаться в стрельбе. – Мгновенно появились трубки, столь же необходимые на войне, сколь и усиленный рацион, и сержант продолжил, осторожно выдохнув из легких по направлению к земле огромный клуб табачного дыма: – Я воюю потому, что люблю это дело, и Бог здесь ни при чем. Но раз вы говорите о смерти, я вам скажу, что, в отличие от вас, я понял одно: Пьер Дюпон встает перед французами и говорит: «Allon, mes enfants!», – и отец О’Брайен встает и говорит: «Собирайтесь, и пусть бегут германские черти!» – то, что надо! Но можете вы себе представить благоговейного Апдайка – Апдайка, только что из Оксфорда, – вопящего «Вперед, парни!» или «Сметем их к черту!»? Нет, капитан! Лучший командир из всех имеющихся – это верзила шести футов росту, который думает, что у Бога тоже есть местечко в палате общин. Все щеголи обязаны уйти из жизни с максимально возможной шумихой. Дайте англичанину хоть четыре дюйма земли перед любым знаменитым церковным алтарем – и он умрет счастливым, но для О’Флоэрти это – пшик!

А Клэй пребывал в полубреду, и ему мерещилась Элеонора. Целую неделю с момента их расставания в Рочестере он только о ней и думал. Новое знание открывалось ему все новыми и новыми сторонами. Он неожиданно понял все, что было между Диком и Элеонорой; еще он решил, что им надо любой ценой пожениться. Конечно же, из Парижа Клэй написал Элеоноре письмо, в котором просил ее выйти за него замуж, когда он вернется, а вчера получил очень короткий, дружеский и тем не менее окончательный отказ. И никак не мог этого понять.

К тому же он думал о своей сестре, а в его ушах звучал голос Элеоноры: «Они либо надевают брюки и целый день разъезжают в авто, словно шоферы, либо пудрятся и танцуют ночи напролет с офицерами». Он был совершенно уверен, что целомудрие Клары

нисколько не пострадало. Целомудрие – каким смешным выглядело это слово и как странно было употреблять его по отношению к собственной сестре! Клара всегда была болезненно хороша. В четырнадцать ее услали в Бостон за то, что над ее кроватью висела открытка с изображением Луизы Мэй Олкотт. Никто тогда не знал, что это он тайком повесил вместо нее вырезанную из журнала картинку с субреткой в обтягивающем белье и с вытаращенными глазами. Да уж, Клара, Элеонора, Дик и он сам – все они были одинаковыми, не важно, действительно ли были у них какие-либо вины или заслуги. Если он когда-нибудь вернется домой…

Ирландец, заметно ослабев, говорил все быстрее и быстрее:

– Закройте все вашими красивыми завесами – никого этим не обмануть. Если я пьян, то это всего лишь дьявол и моя плоть, если же пьяны вы – то это все от вашего фанатизма. Но вам не обмануть ни смерть, ни меня! Это чертовски серьезный случай. Я могу позволить убить себя ради флага, но умру я за себя. «Умираю за Англию!» – скажет он. «Улаживай свои дела с Богом, с Англией ты уже покончил!» – скажу я. – Он приподнялся на локте и потряс кулаком в направлении немецких траншей. – Во всем виноваты вы с вашим проклятым Лютером! – крикнул он. – Вы возражали и анализировали до тех пор, пока мое тело не стало гореть, а сам я – корчиться от боли; вы эволюционировали, как мистер Дарвин, и зашли так далеко, что вас пришлось гнать силой. В мире нет ничего, кроме вашего Бога, Чести, Фазерланда, Вестминстера, нет ничего, кроме Бога, – и точно, вы его нашли! Вы нашли его на флаге, и в конституции тоже. Теперь вы будете писать свои Библии, с Христом, который устраивает войны, чтобы казаться человечнее. Вы говорите, он на вашей стороне? Однажды у него была избранная нация, и они распяли его, и тело его было растерзано… – Его голос все слабел. – Приветствую тебя, Святая Дева Мария, и Тебя, Господь… – Он умолк; прошла предсмертная дрожь… Он умер.

Время шло. Клэй еще раз зажег трубку, нисколько не заботясь о том, заметят его или нет. Опустился густой мартовский туман, влажность отнимала у него силы. Вся левая сторона его тела была парализована, и он чувствовал, что потихоньку замерзает. Он начал говорить вслух:

– Проклятый туман… Проклятый счастливчик ирландец… Проклятие!

Он немного удивился тому, что вот сейчас встретит свою смерть, а думает, как всегда, об Англии, и три лица одно за другим проплыли перед его глазами: Клара, Дик, Элеонора. Все смешалось. Ему хотелось вернуться и закончить тот разговор. Они остановились в Рочестере – он прекратил существовать на платформе в Рочестере. Почему именно там? Рочестер ничего не значил. Может, это была какая-то пьеса, в которой герой родился на станции? Или на станции был какой-то саквояж и он ушел из жизни на?.. Что там говорил этот ирландец про завесы? Элеонора тоже говорила что-то про завесы. Да, но он не видит никаких завес и ничего такого не чувствует – ему просто холодно, вокруг темно, все в беспорядке. Он никогда не думал о Боге – Бог существовал для священников, – а затем был университет. Бог… Он всегда носил рубашки с короткими рукавами и оксфордские пиджаки, но это не имело никакого отношения к Богу, – это все было о человеке, кричавшем о Боге перед солдатами. И еще был Бог О’Флоэрти. Он чувствовал себя так, словно знал его всю жизнь, но только никогда не называл его Богом… Он был и яростью, и любовью – и никогда он не кичился тем, что боится Бога или что рассудительно любит его. Казалось, что в мире стало так много богов, а раньше он считал, что христиане веруют в единого Бога, и иметь разных богов казалось ему варварством…

Ну что ж, во всем этом запутанном деле он разобрался за три минуты – и мог бы сделать много хорошего для тех, кто до сих пор бродил в этом лабиринте…

Проклятая путаница – все было запутано, все были вне игры, и от судьи уже давно избавились, но все пытались создать у противника впечатление, что судья в поле на их стороне. Он должен был пойти и найти этого старого судью – найти его, – схватить его, ухватить покрепче, – уцепиться за него, – вцепиться в него, – спросить у него…

Кастальский ключ и последняя капля

В детстве дядя Джордж был для меня личностью почти легендарной. В семье о нем никогда не говорили – его имя произносили только в исключительных случаях и лишь вполголоса. А его печатные труды в ярких, привлекающих внимание обложках лежали на столе в библиотеке. Прикасаться к ним мне было запрещено – до тех пор, пока я не достигну возраста, в котором разврат уже не окажет на меня своего губительного воздействия. Любопытство было жгучим, и однажды в поисках более подробной информации о новых поступлениях в нашу библиотеку я нечаянно превратил в сотни блестящих осколков настольную лампу из оранжевого стекла. Тот вечер я провел в постели и еще несколько недель не мог играть под столом по причине материнского страха перед резаными ранами артерий на руках и коленках. Зато я смог впервые представить себе дядю Джорджа, – это был высокий, худой и угловатый мужчина с причудливо изогнутыми руками. Его облик я восстановил по почерку, которым он написал: «Тебе, мой брат, с наисердечнейшими из всех тщетных надежд, которыми ты насладишься, прочитав это. Джордж Ромберт». После столь неудачного начала мой интерес к предмету иссяк бы сам собой вместе со всеми моими представлениями об авторе, если бы только он не сделался предметом постоянных обсуждений в семье.

Когда мне исполнилось одиннадцать, я стал невольным участником одной из впервые доступных моему пониманию бесед о нем. Я ерзал на стуле, переживая варварское наказание, когда принесли письмо и отец, заметно посуровев, стал читать. Инстинктивно я понял, что дело касалось дяди Джорджа, – и оказался прав.

– В чем дело, Том? Кто-то заболел? – обеспокоенно спросила мама.

Вместо ответа отец поднялся и протянул ей письмо вместе с несколькими газетными вырезками, которые были к нему приложены. Прочитав все дважды (ее наивное любопытство никогда не могло обойтись без предварительного беглого просмотра), она бросила:

– Почему она пишет тебе, а не мне?

Отец устало присел на диван и картинно положил ногу на ногу:

– Это начинает надоедать, не правда ли? Он уже третий раз оказывается в истории!

Я вздрогнул, услышав, как он тихо добавил: «Проклятый дурак!»

– Это не просто надоело, – начала мать, – а вызывает отвращение: взрослый мужчина, с деньгами и талантом… У него ведь есть все, чтобы вести себя прилично… Жениться… (Она считала, что эти слова – синонимы.) А он, как глупый, самоуверенный студент, флиртует направо и налево с солидными женщинами. А ты все еще думаешь, что это игрушки!

Здесь я и вставил свое слово. Я решил, что мое присутствие могут счесть неуместным, что приведет к моему досрочному освобождению.

– Я здесь! – произнес я.

– Да уж вижу, – сказал отец тоном, который он обычно использовал для устрашения молодых адвокатов в конторе; вот так я и остался сидеть и вежливо слушать разговор, устремлявшийся все далее и далее, в некие чудовищные бездны.

– Для него это игра, – сказал отец. – Все точь-в-точь, как у него в книгах!

Мама вздохнула:

– Мистер Сэджвик сказал мне вчера, что его книги нанесли не поддающийся оценке вред общему отношению к понятию «любовь» в нашей стране.

– Мистер Сэджвик написал ему письмо, – довольно сухо заметил отец, – и Джордж послал ему в ответ Библию.

– Не шути так, Томас, – сказала мать, и глаза ее расширились. – Джордж коварен, он не в себе…

– И то же самое было бы со мной, если бы только ты со всей страстью не вырывала меня из его когтей. А твой сын, находящийся здесь, станет вторым Джорджем, если будет слушать такие разговоры в этом возрасте!

Вот так впервые на моего дядю Джорджа пала тень.

Бессвязная и обрывочная информация об этом все более увлекательном предмете складывалась в моем сознании на протяжении следующих пяти лет, как части какой-то головоломки. Вот законченный портрет, сложившийся у меня к семнадцати годам: дядя Джордж был настоящим Ромео и при этом ненавидел брак; он

представлял собой комбинацию из Байрона, Дон Жуана и Бернарда Шоу, плюс немного Хэвлока Эллиса. Ему было около тридцати, он был не единожды помолвлен и пил так много, что это должно бы было уже вызвать у него определенные проблемы со здоровьем. Личности его придавало пикантности его отношение к женщинам. В двух словах: идеалистом он не был. Он написал серию романов, один злее другого, в каждом из которых основными действующими лицами были женщины. Некоторые из них были плохими; ни одна не была хороша без изъяна. Он выбирал достаточно странных Лаур на роль муз своего эксцентричного Петрарки, ведь он умел писать и писал хорошо!

Он был из авторов, получающих от мелких коммивояжеров, пожилых мужчин и экзальтированных молодых женщин десятки писем о том, что он «проституирует искусство» и «проматывает свой волшебный талант». На самом деле он этого не делал. Было понятно, что он сможет писать лучше, если вырвется за пределы своей малоприятной литературной ниши, но то, что он писал, пользовалось большой популярностью, причем – что странно – не только в кругах обычных поклонников «продажного» искусства – восторженных продавщиц и сентиментальных продавцов, в угождении вкусам которых он обвинялся, – но и в высоких академических и литературных кругах. Его искусное обращение с природой (здесь, как обычно, имелось в виду «с чем угодно, кроме белой расы»), его прекрасно обрисованные персонажи, чрезвычайно циничное остроумие и самокритика привлекали к нему множество сторонников. Даже в самых солидных и строгих рецензиях его классифицировали как «подающего надежды». Оптимистичные критики предсказывали ему в скором будущем длинные психологические рассказы и готически таинственные романы. Одно время он считался «американским Томасом Харди», несколько раз его объявляли «Бальзаком нашего века». Его упрекали в том, что он носит в кармане великий американский роман и все пытается продать его издателю за издателем. Но почему-то ни содержание, ни стиль его произведений не менялись, и публика стала обвинять его в том, что он «поскучнел». Он жил вместе со своей незамужней сестрой, и именно ее рука сжимала телефонную трубку, из которой неслись неистовые женские голоса, которых не мог заглушить сжимаемый тайком в другой руке пузырек «Бромозельцера». Год за годом она все больше седела, ведь Джордж

Ромберт попадал в серьезную историю не реже раза в год. Он буквально заполнял собой колонки светских сплетен. Как ни странно, во всех его интрижках были замешаны дебютантки, и этот факт рассматривался мамашами-наседками в качестве наиболее возмутительного. Хотя он мог с самым серьезным видом нести очевидную ахинею, с экономической точки зрения он был одной из самых желанных партий, и многие отваживались на рискованное предприятие.

Когда я был ребенком, мы жили на Востоке, но в семье всегда подразумевалось, что «дом» означает благополучный город на Западе, который все еще поддерживал корни нашего фамильного древа. Когда мне исполнилось двадцать, я впервые «вернулся домой», и там же состоялась моя единственная встреча с дядей Джорджем.

Однажды за обедом моя тетка – всегда прекрасно одетая кроткая пожилая леди – сказала мне, как я понял, в качестве комплимента, что я очень похож на Джорджа. Мне были продемонстрированы его фотографии начиная с младенческого возраста: довольно странного вида Джордж в Андовере на заседании комитета Ассоциации молодых христиан; Джордж в Виллиамсе, в центре группового фото «Литературного журнала»; Джордж во главе студенческого братства… Затем она протянула мне альбом с вырезками, описывавшими его светские похождения и содержащими рецензии на его работы.

– Этому он не придает никакого значения, – объяснила она.

Я восторгался, расспрашивал ее и, помню, думал, выходя из квартиры на розыски дяди Джорджа, который находился в клубе, что совершенно запутался, если не сказать больше: один и тот же человек вдруг оценивался низко в моей семье и восторженно – моей же теткой! В клубе «Ирокез» меня направили в бар, и там, стоя в дверном проеме, я сразу же приметил одного человека, который – в этом я был совершенно уверен! – и был моим дядей. Вот как он тогда выглядел: высок, с пышной шапкой волос, в которых проглядывала седина, с юношески бледной кожей, что было замечательно для человека, живущего такой жизнью; мое описание его физического облика пусть завершат потупленный взор зеленых глаз и насмешливый рот. Скорее всего, он был пьян, так как торчал в клубе весь вечер с обеда, однако полностью контролировал себя, и опьянение выражалось лишь чрезмерно аккуратными движениями да перепадами голоса, который

периодически переходил в хриплый шепот. Он произносил речь, стоя перед столом, за которым сидели мужчины в разной степени опьянения. Он удерживал их внимание с помощью самой эксцентричной и завораживающей жестикуляции. Здесь я должен заметить, что его воздействие на людей базировалось не столько на его физической привлекательности, сколько на его доскональном знании людской психологии, оживленной жестикуляции, уникальной манере говорить, а также неожиданности и изяществе его замечаний.

Я внимательно его рассмотрел, пока официант шептал ему обо мне; потом он медленно и с достоинством подошел, мы обменялись рукопожатиями и он сел ко мне за маленький столик. Целый час мы говорили о семейных делах, о здоровье, о том, кто умер, кто родил. Я не мог отвести от него взгляда. Кровавые прожилки в белках его зеленых глаз напоминали мне странные цветовые комбинации в коробке детских красок. Минут через десять, когда разговор ему явно наскучил, а мне, как назло, больше ничего в голову тоже не приходило, он внезапно повел рукой так, словно смахнул с лица невидимую вуаль, и принялся меня расспрашивать.

– Твой чертов папаша все еще защищает меня от твоей матушки?

Я вздрогнул, но, как ни странно, не почувствовал ни малейшего негодования.

– Спрашиваю, – продолжил он, – потому что это единственное, что он для меня сделал за всю свою жизнь. Он ужасный ханжа. Думаю, он кого угодно с ума сведет.

– Отец очень хорошо к вам относится, сэр, – несколько чопорно ответил я.

– Нет, – возразил он. – Крепко держись принятой в твоей семье истины и не утруждай себя враньем мне. Я для тебя – неведомая тень, и я это прекрасно знаю. Я прав?

– Ну как сказать… Я о вас уже лет двадцать слышу.

– Да, мои двадцать лет ада, – сказал дядя Джордж. – Сама история длилась три года, а еще пятнадцать лет – послесловие к ней.

– Ну а ваши книги – и все прочее…

– Просто послесловие, ничего, кроме послесловия! Моя жизнь остановилась, когда мне был двадцать один год, в шестнадцать минут одиннадцатого, в один октябрьский вечер. Хочешь послушать?

Сначала я покажу тебе Тельца, а затем проведу наверх, и ты узришь Алтарь.

– Я… Вы… Не… – попытался возразить я, но вышло это неубедительно, так как на самом деле я горел желанием услышать его историю.

– О, не беспокойся. Я рассказывал об этом много раз и в книгах, и в жизни, и в других, самых неожиданных, местах. Никакой боли я уже не чувствую – все ощущения исчезли сразу же. Ты сейчас разговариваешь с Тельцом, уже практически превратившимся в пепел.

И он рассказал мне все.

– Все началось, когда я учился на втором курсе – точнее, на рождественских каникулах той зимой. До этого она всегда вращалась в компании молодежи – «мелких», как сейчас говорят.

Он сделал паузу, мысленно хватаясь за осязаемые образы, которые позволили бы высказать то, что ему хотелось.

– Ее манера танцевать и красота… И ничем не прикрытая беспринципность… Я никогда не сталкивался с подобным… Когда она хотела заполучить парня, не было никакой предварительной подготовки, никакого сбора информации у подружек, никаких разговоров, предназначенных специально для его ушей. Лишь открытая атака с использованием сразу всех имеющихся преимуществ и орудий. Любые средства были хороши: она просто вынуждала тебя осознать, что она – настоящая женщина. – Он неожиданно взглянул на меня и спросил: – Этого достаточно? Тебе нужно описание ее глаз, волос, голоса?

– Нет, – ответил я, – пропустим.

– Ну так вот, в университет я вернулся идеалистом и выстроил целую психологическую систему, в которой сквозь мое сознание дни и ночи напролет проплывали темноволосые леди с глубоким контральто и безграничными возможностями. Конечно же, мы вели оживленную и волнующую переписку, – оба писали смешные письма и слали смешные телеграммы, рассказывали абсолютно всем о нашей пылающей любви, и… ну, ты и сам был в университете. Все это банально, я понимаю. Но вот что было необычно. Идеализируя ее до крайней степени, я совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что она – просто верх несовершенства. Она была эгоистичной, самовлюбленной и неуправляемой особой, а поскольку у меня были те

же самые недостатки, я сознавал это вдвойне. Но мне никогда не хотелось ее изменить. Каждый недостаток был тесно связан с каким-то проявлением страсти, которое его превосходило. Ее эгоизм заставлял ее играть в игру серьезнее, ее неспособность сдерживать себя приводила меня в трепет, а ее самовлюбленность оттенялась столь роскошными периодами сострадания и самоосуждения, что стала почти… почти дорога мне! Это еще не смешно? Она очень сильно действовала на меня. Она заставила меня желать сделать что-нибудь для нее, достичь чего угодно, лишь бы только показать ей. Любые заслуги в университете интересовали меня лишь как достойный ее трофей.

Он кивком подозвал официанта, и я забеспокоился, потому что, хотя он и выглядел трезвее, чем когда я его впервые увидел, пить он не переставал и я понимал, что мое положение будет весьма затруднительным, если он опять захмелеет.

– И вот, – продолжал он между глотками, – мы стали время от времени видеться. Ссорились, мирились и ссорились снова. Мы были равны, никто из нас не был лидером. Она была заинтересована во мне ровно настолько, насколько я был ею очарован. Мы оба были ужасно ревнивы, но поводов это демонстрировать у нас было мало. У каждого из нас случались интрижки на стороне, но это были, скорее, просто передышки, когда другого слишком долго не было рядом. Незаметно для меня самого мой идеализм потихоньку испарялся – или перерастал в любовь, и в любовь довольно нежного рода.

У него на лбу появилась морщинка.

– Вечер нежных воспоминаний…

Я кивнул, и он продолжил:

– В конце концов расстались мы за пару часов – и это она меня бросила! В следующем году я приехал на бал в ее нью-йоркскую школу, и там был парень из другого университета, к которому я стал сильно ревновать, и не без причины. Мы с ней поговорили, и через полчаса я вышел на улицу уже в шляпе и пальто, бросив на прощание меланхоличное «все кончено». До тех пор все шло хорошо. Если бы я вернулся в университет первым же поездом, или если бы я пошел и напился, или совершил бы что угодно безумное и дикое, разрыв не произошел бы никогда – так она написала на следующий день. А я сделал вот что. Я пошел по Пятой авеню, позволив воображению

играть моим горем; я наслаждался им. Никогда еще она не была так прекрасна, как в тот вечер, никогда! И я еще никогда не был так влюблен. Я накрутил себя до высшей степени, мое настроение полностью мной завладело, я… о, проклятый дурак, которым я… Которым… Которым я навсегда останусь… Я повернул обратно! Я вернулся! Неужели я не знал или не видел – я знал и ее, и себя! – я же мог кому угодно, и себе в обычном состоянии тоже, нарисовать совершенно точный план того, что мне следовало сделать, но мое настроение заставило меня вернуться, лишив меня разума. Половина меня могла бы сейчас же отправиться в Виллиаме или в какой-нибудь манхэттенский бар. Но другая половина пересилила, и я повернул назад, к ней в школу. Когда я переступил порог, было шестнадцать минут одиннадцатого вечера. И в тот момент мое существование прекратилось.

Ты сам можешь представить, что случилось потом. Она была зла из-за того, что я покинул ее, у нее не было времени на печальные размышления, и, когда она увидела, что я вернулся, она решила меня наказать. Я проглотил и крючок, и наживку и на время потерял и уверенность, и самообладание, и выдержку, и даже последние граммы индивидуальности и привлекательности, которые еще оставались во мне. Я, как дикарь, бродил по танцевальному залу, пытаясь с ней заговорить, а когда мне это удалось, я довершил начатое. Я просил, оправдывался, чуть не плакал. С этой минуты я больше не был ей нужен. В два часа ночи я вышел из этой школы, потерпев крах.

Ну а потом начался долгий кошмар – письма, из которых исчезли все чувства, безумные, умоляющие письма; долгие перерывы в надежде, что еще не все потеряно; слухи о ее романах. Поначалу я впадал в тоску, когда люди по привычке связывали меня с ней и спрашивали меня о ней, но постепенно все узнали, что она меня бросила, и расспросы о ней прекратились. Теперь, наоборот, мне рассказывали о ней – объедки собаке! Я был даже не властен над собственной работой – потому что я всегда писал с нее, только с нее! Вот и вся история. – Он замолчал и встал, слегка шатаясь; в опустевшем баре его голос прозвучал неожиданно громко: – Даже мировая история открылась мне с другой точки зрения с тех пор, как я узнал о Клеопатре, Мессалине и мадам де Монтеспан.

Он направился к двери.

– Куда же вы? – в тревоге спросил я.

– Мы поднимемся наверх, чтобы познакомиться с дамой. С некоторых пор она вдова, поэтому тебе придется называть ее «миссис» – вот так вот: «миссис».

Мы пошли наверх. Я шел позади, приготовившись его ловить, если он вдруг вздумает падать. Я чувствовал, как крупно мне не повезло. Самый неуправляемый в мире человек – это тот, кто слишком трезв для того, чтобы быть неуверенным, и слишком пьян для того, чтобы позволить себя в чем-либо убедить; кроме того, как это ни странно, мне почему-то казалось, что мой дядя именно тот, за кем нужно беспрекословно следовать.

Мы вошли в большую комнату. Я не смог бы ее описать, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Дядя Джордж поклонился женщине, сидевшей за карточным столом, и поклоном же ее к нам пригласил. Она кивнула в ответ и, поднявшись из-за стола, медленно направилась к нам. Я вздрогнул – и это было вполне естественно.

Вот мое впечатление: женщина лет тридцати или чуть моложе, темноволосая, с ярко выраженным животным магнетизмом и чувственными губами, способными, как я вскоре обнаружил, выражать мельчайшие перепады настроения их обладательницы. Это были губы, которым должно было писать стихи: несмотря на то что никто бы не осмелился назвать их большими, в сонет они все же не поместились бы – признаюсь, я попробовал даже шекспировский сонет! Они выражали любые эмоции – драмы, трагедии, и – возьму на себя смелость – даже эпос! В моем понимании, это был рот богини. Заметил я и карие глаза, и легкую косметику; но – о, эти губы!

Я почувствовал себя героем викторианского романа. Небольшие оживленные группы людей в комнате, расположившиеся то тут, то там, казалось, превратились в огни рампы, освещавшие нас, разыгрывавших комедию на авансцене. Я полностью контролировал себя, но исключительно физически; я был всего лишь реквизитом и чувствовал смущение за своего дядю. Я страшился момента, когда он должен будет повысить свой голос, или перевернуть столик, или поцеловать миссис Фулхэм, которая театрально отклонится назад, и все вокруг вздрогнут и станут на нас смотреть. Все было крайне нереально. Я был неразборчиво представлен и тут же забыт.

– Снова пьян, – заметила миссис Фулхэм.

Мой дядя ничего не ответил.

– Ну что ж, сейчас у нас очень тяжелое положение в игре; к тому же мы проигрываем по очкам. Так что я смогу уделить вам время только в перерыве.

– Не правда ли, вы польщены? – Она повернулась ко мне. – Ваш дядя, наверное, рассказал вам о себе и обо мне? Он так плохо ведет себя в этом году! Это был такой возвышенный и невинный юноша – и вдруг он превращается в грозу дебютанток!

Мой дядя тут же ее напыщенно прервал:

– Думаю, Мойра, что это уже чересчур даже для тебя!

– Ты снова хочешь винить во всем меня? – в притворном возмущении спросила она. – Как будто это я…

– Нет, не надо, – сказал дядя; язык его еле ворочался. – Оставь в покое бедного дурака.

И тут я неожиданно заметил некий контраст. Характер моего дяди вдруг куда-то испарился, словно туман. Это была уже не романтическая фигура из бара, а неуверенная, непривлекательная, почти ничтожная особь. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы характер менялся так резко. Потому что обычно он либо есть, либо его нет. Интересно знать, имел ли я в виду характер, или же темперамент, или же то настроение, в котором брюнетки с глубоким контральто плавают на грани… По крайней мере мой дядя выглядел теперь, как непослушный мальчишка перед суровой теткой, почти как собака перед хозяином.

– Знаете ли, – сказала миссис Фулхэм, – ваш дядя – единственная заслуживающая внимания вещь в этом городе. Ведь он – настоящий дурак!

Дядя Джордж склонил голову и задумчиво уставился в пол. Он улыбался вежливо и невесело.

– Тебе так кажется?

– Он вымещает на мне всю свою злобу.

Мой дядя кивнул, партнеры миссис Фулхэм крикнули ей, что они снова проиграли и что игра расстраивается. Она начала злиться.

– Ты стоишь здесь, как дрессированный спаниель, и позволяешь мне говорить все, что вздумается, – холодно заметила она. – Ты знаешь, какой ты жалкий?

Мой дядя побагровел. Миссис Фулхэм опять повернулась ко мне:

– Я разговариваю с ним так уже десять лет – именно так, если вообще разговариваю. Он моя маленькая комнатная собачка. Эй, Джорджи, принеси мне чаю! Напиши обо мне книжку! Ты слишком важничаешь, Джорджи, но ты забавный!

Миссис Фулхэм поддалась действию драматического напряжения собственных слов, ее возбуждение подогревало молчание Джорджа. И она потеряла голову.

– Ты знаешь, – нервно сказала она, – моему мужу часто хотелось выпороть тебя плетью, но я упрашивала его этого не делать. Он был знатоком собак и всегда говорил, что справится с любой шавкой!

Что-то щелкнуло. Мой дядя поднялся, его глаза сверкали. Перенос ударения с нее на ее мужа сбросил груз с его плеч. Слова, копившиеся десять лет, выходили медленно и размеренно.

– Твой муж… Ты имеешь в виду того вороватого брокера, который содержал тебя пять лет? Выпороть меня?! Это была похвальба, которой он пользовался, сидя у камина, чтобы удержать тебя в своих грязных лапах. Клянусь Господом, я собственноручно высеку твоего следующего мужа!

Он говорил громко, и люди вокруг начали на него посматривать. Воцарилась тишина, его слова эхом летали по комнате.

– Он проклятый вор, отнявший у меня все в этом дьявольском мире!

Он уже кричал. Несколько мужчин подтянулись поближе. Женщины жались к стенам. Миссис Фулхэм стояла совершенно прямо. Она побледнела, но все еще открыто насмехалась над ним.

– Что это? – Он схватил ее за руку.

Она попробовала вырвать руку, но он усилил хватку и стащил с ее пальца обручальное кольцо, бросил его на пол и растоптал, превратив в бесформенный золотой комок.

Я тут же схватил его за руки. Она вскрикнула, показав всем свой сломанный палец. Вокруг собралась публика.

Через пять минут мы с дядей Джорджем мчались домой в такси. Мы оба молчали; он глядел прямо вперед, его зеленые глаза блестели в полумраке. Я уехал домой на следующее утро, после завтрака.

На этом рассказ лучше было бы закончить. Лучше было бы оставить моего дядю Джорджа в образе трагического полугения, разрушенного женщиной, как Марк Антоний или де Мюссе. Но, к сожалению, эта пьеса имеет продолжение в виде безвкусного шестого акта, где сюжет валится навзничь, как пьяный дядя Джордж, что совершенно не соответствует канонам драматической литературы. Месяц спустя дядя Джордж и миссис Фулхэм тайно бежали в самой что ни на есть романтической манере за день до назначенной свадьбы миссис Фулхэм и преподобного Говарда Биксби. Дядя Джордж больше никогда не касался ни пера, ни спиртного – он вообще больше ничего не делал, не считая редких партий в гольф и уютной скуки на пару со своей женой.

Мама все еще не верит и предсказывает ужасные беды жене такого человека; отец откровенно изумлен и с виду не очень-то рад. Сдается мне, что ему больше нравилось, когда в семье был писатель, пусть даже его книги на столе в библиотеке выглядели слегка по-декадентски. Время от времени я получаю от дяди Джорджа подписные листы и приглашения. Я храню их, чтобы потом использовать в своей новой книге, посвященной теории таланта. Видите ли, я считаю, что если бы Данте когда-либо достиг успеха… Но гипотетический шестой акт безыскусен так же, как реальность.

Интерлюдия

«А я не послушал этого совета!»

Ф. Скотт Фицджеральд, автор романа «Прекрасные и проклятые» и др

— Доброе утро, мистер Фицджеральд! – произнес человек в роговых очках. – Меня попросили зайти в отдел подготовки текстов и рассказать вам о писательстве. Я слышал, вы получили тридцать долларов за рассказ. Так вот, за последние десять лет в «Сатердей ивнинг пост» опубликовали пять моих рассказов, и я знаю это дело от и до. Все это – ничто! Конечно, можно иногда получить лишнюю копейку, но заработать этим на жизнь не получится. Это все мечты! Пройдет десять лет, прежде чем вы хотя бы начнете вашу карьеру… А до этого момента вы будете голодать. Послушайте моего

совета: бросайте это писательство и продолжайте работать здесь, у нас!

А я – не послушал!

Улыбочки

I

Приступы раздражительности случаются у всех.

Бывает, вы почти готовы высказать прямо в лицо живущей по соседству безобидной старушке все, что вы о ней думаете, а именно что с такой наружностью впору работать ночной сиделкой в приюте для слепых! Бывает, вам безумно хочется спросить опоздавшего на десять минут приятеля, а не перегрелся ли он, пытаясь догнать неспешного почтальона? А иногда так и хочется сказать официанту, что если бы за каждый градус, на который успел остыть ваш суп по дороге с кухни, можно было вычитать из счета по центу, то ресторан был бы вам должен уже центов этак пятьдесят! А бывает – и это всегда служит верным признаком настоящего раздражения, – что простая улыбка действует на вас, словно яркая сорочка нефтяного магната на горячего бычка.

Но приступ проходит. На вашей собаке, на вашем воротничке или на телефонной трубке остаются и шрамы, и следы, но душа ваша постепенно возвращается на свое обычное место – чуть ниже сердца, чуть повыше желудка, – и наступает мир.

Когда-то в ранней юности Сильвестра Стоктона бесенок, который включает душ раздражения, по всей видимости, так перестарался, поддавая жару, что с тех пор Сильвестр так и не осмелился выскочить из-под этого душа и выключить горячий поток; в результате с тридцатилетним Сильвестром в плане чувствительности и уязвимости

по отношению к любым явлениям повседневной жизни не смог бы сравниться ни один «первый старик» в любительских постановках викторианских комедий.

Обвиняющий взгляд из-за очков, почти негнущаяся шея – этих деталей достаточно для описания его внешности, поскольку этот рассказ – не о нем. Он всего лишь сюжетная деталь, множитель, соединяющий в одно целое три разные истории. Его реплики прозвучат в начале и в самом конце.

На исходе дня солнце весело блуждало вдоль Пятой авеню; выйдя из внушающей страх публичной библиотеки, где он читал какую-то мрачную книгу, Сильвестр сказал своему невыносимому шоферу (я стараюсь правдиво изобразить то, что видел он своими глазами сквозь собственные очки), что ему сегодня больше не понадобятся его бестолковые и непрофессиональные услуги. Помахивая тросточкой (которую он находил чересчур короткой) в левой руке (которую ему давно надлежало бы отсечь и бросить от себя, потому что она постоянно его соблазняла), он медленно пошел вдоль улицы.

Гуляя по вечерам, Сильвестр часто оглядывался и смотрел по сторонам – а вдруг кто-нибудь за ним следит? Это превратилось в постоянную привычку. И поэтому он не мог притвориться, что не заметил Бетти Тирл, сидевшую в своем автомобиле перед магазином «Тиффани».

Когда-то давно – когда ему только-только исполнилось двадцать – он был влюблен в Бетти Тирл. Но он нагонял на нее тоску. С ненавистью к человечеству он подвергал анализу каждое их свидание в ресторане, каждую автопрогулку и мюзикл, на котором они побывали вместе, а те несколько раз, когда она пыталась быть по отношению к нему особенно милой – ведь, с точки зрения мамы, он был довольно желанной партией, – он начинал подозревать какие-то тайные мотивы и впадал в еще более глубокую, чем обычно, меланхолию. Затем в один прекрасный день она сказала ему, что сойдет с ума, если он еще хоть раз припаркует свой пессимизм напротив ее залитого солнцем крылечка.

И с тех самых пор она, как ему казалось, не переставала улыбаться – безо всякой причины оскорбительно и очаровательно улыбаться!

– Привет, Сильви! – окликнула его она.

– А… Привет, Бетти.

Когда она наконец перестанет звать его «Сильви»? Это же звучало, словно… словно кличка какой-то чертовой мартышки!

– Как жизнь? – весело спросила она. – Думаю, так себе, да?

– О да, – холодно ответил он. – Справляюсь потихоньку.

– Вливаешься в веселую толпу?

– Именно так, бог им судья! – Он огляделся вокруг. – Бетти, чему они все так радуются? Чему они улыбаются? Что тут может вызывать у них улыбку, а?

Бетти бросила на него лучезарный изумленный взгляд:

– Сильви, женщины могут улыбаться просто потому, что у них красивые зубы!

– А ты улыбаешься, – тоном циника подхватил Сильвестр, – потому что удачно вышла замуж и родила двоих детей? Воображаешь, что счастлива, и считаешь, что все вокруг тоже счастливы?

Бетти кивнула:

– Может, ты и прав, Сильви… – Шофер оглянулся, и она кивнула: – Всего хорошего!

Сильви почувствовал укол зависти, внезапно превратившейся в раздражение, когда она обернулась и улыбнулась ему на прощание. Затем ее автомобиль затерялся среди других машин, а Сильвестр с глубоким вздохом вновь привел в движение свою тросточку и продолжил прогулку.

Дойдя до следующего перекрестка, он зашел в табачную лавку и там столкнулся с Уолдроном Кросби. В те дни, когда для светских дебютанток Сильвестр представлялся желанной добычей, он был ценным трофеем и для коммерческих агентов. Кросби, в ту пору начинавший как агент по продаже акций, дал ему множество мудрых советов, позволивших избежать ненужных рисков и сэкономить не один доллар. Сильвестр относился к Кросби с симпатией, насколько он вообще мог к кому-то относиться с симпатией. Кросби нравился большинству людей.

– Привет, старый добрый комок нервов! – добродушно воскликнул Кросби. – Заходи – у них есть толстые, разгоняющие тоску «Короны»!

Сильвестр с тревогой осмотрел сигарные коробки на прилавке. Он знал: то, что он сейчас купит, ему точно не понравится.

– Все еще в Ларчмонте, а, Уолдрон? – спросил он.

– Так точно!

– Как супруга?

– Лучше не бывает!

– Н-да, – с подозрением произнес Сильвестр, – и почему вы, брокеры, всегда выглядите так, словно смеетесь про себя над чем-то таким, своим? Веселая, должно быть, у вас профессия!

Кросби задумался.

– Ну, – ответил он, – все постоянно меняется – как луна, как цена на газировку… Но, конечно, есть и свои плюсы!

– Уолдрон, – с серьезным видом сказал Сильвестр, – мы ведь с тобой друзья? Пожалуйста, сделай мне одолжение – не улыбайся, когда я сейчас буду выходить. А то мне кажется, что ты надо мной смеешься.

По лицу Кросби расплылась широкая улыбка.

– Ну и сердитый же ты, сукин сын!

Но Сильвестр, гневно хмыкнув в ответ, развернулся и исчез.

Он пошел дальше. Солнце завершило свой променад и принялось сзывать домой последние случайные лучики, задержавшиеся на западных улицах. Черные пчелы витрин универмагов нагнали мрак на авеню; транспорта на мостовых прибавилось, машины сплетались в пробки; двухэтажные автобусы были набиты битком, платформами возвышаясь среди густой толпы; но Сильвестр, который считал ежедневное зрелище смены ритма города чем-то низменным и монотонным, просто шел дальше, изредка бросая вокруг быстрые насупленные взгляды из-за очков.

Он дошел до отеля; лифт доставил его в четырехкомнатный номер на двенадцатом этаже.

«Пойти поужинать вниз? – подумал он. – Оркестр наверняка станет играть „Улыбайся, улыбайся, улыбайся“ или „Ты улыбаешься, когда ты смотришь на меня“… Если пойти в клуб, то там точно встречу всех своих веселых знакомых; а если пойти куда-нибудь, где нет музыки, то там наверняка не найдется приличной еды».

Он решил поужинать в номере.

Через час, с пренебрежением съев бульон, сквоб и салат, он дал забиравшему из номера посуду официанту пятьдесят центов, задержав руку в предупредительном жесте.

– Вы меня крайне обяжете, если не станете улыбаться, говоря «спасибо»!

Но было поздно. Официант уже широко улыбался.

– Что ж, не будете ли вы так любезны и не поведаете ли мне, – сварливым тоном спросил Сильвестр, – что именно заставляет вас улыбаться?

Официант задумался. Он не читал журналов и поэтому не знал, как именно должен вести себя типичный официант, но предположил, что от него ждут именно чего-то такого, характерного.

– Ну, мистер… Я просто не в силах управлять своим лицом, когда вижу полдоллара! – ответил он, глядя в потолок и изо всех сил стараясь сохранять на своем узком и бледном лице наивное выражение.

Сильвестр махнул рукой, показывая, что официант свободен.

«Официанты счастливы, потому что никогда не видели другой жизни, – подумал он. – У них воображения не хватает, чтобы хотеть чего-то большего!».

В девять вечера, устав с тоски, он улегся в свою ничем не примечательную кровать.

II

Сильвестр покинул табачную лавку, а Уолдрон Кросби вышел вслед за ним; свернув с Пятой авеню, он пошел вдоль поперечной улицы и вошел в брокерскую контору. Пухлый человечек с беспокойно двигавшимися руками встал и поприветствовал его:

– Привет, Уолдрон!

– Привет, Поттер. Я заскочил, чтобы узнать, насколько все плохо?

Пухлый человечек нахмурился.

– Только что пришли новости, – сказал он.

– Ну и как? Опять падение?

– Семьдесят восемь при закрытии. Сожалею, старина.

– Ну и ну!

– Что, много потерял?

– Все!

Пухлый человечек покачал головой, словно говоря, что и для него жизнь – тяжкое бремя, и отвернулся.

Кросби какое-то время просидел неподвижно. Затем встал, прошел в кабинет Поттера и поднял трубку телефона:

– Вызовите Ларчмонт, номер 838.

Через секунду его соединили.

– Это дом миссис Кросби?

Ему ответил мужской голос:

– Да. Это вы, Кросби? Говорит доктор Шипмен.

– Доктор Шипмен? – В голосе Кросби внезапно послышалось беспокойство.

– Да… Я весь день пытался с вами связаться! Ситуация изменилась, и ребенок, скорее всего, появится сегодня ночью.

– Сегодня ночью?

– Да. Все в порядке. Но вам лучше было бы приехать прямо сейчас, не откладывая.

– Уже еду. До свидания!

Он повесил трубку и пошел к двери, но остановился – внезапно ему в голову пришла какая-то мысль. Он вернулся и попросил на этот раз соединить его с номером в Манхэттене.

– Донни, привет! Это Кросби.

– О, привет, старина! Ты едва не опоздал. Я как раз собрался уходить, мне надо…

– Послушай, Донни, мне нужна работа – чем скорее, тем лучше.

– Для кого?

– Для меня.

– Да что слу…

– Не важно. Потом расскажу. Есть у тебя что-нибудь?

– Уолдрон, у нас сейчас ни черта нету, разве что клерком… Быть может, на следующей…

– А сколько платят клеркам?

– Сорок… Ну, сорок пять в неделю.

– Ловлю на слове. Выхожу завтра.

– Ладно. Но, послушай, старина…

– Прости, Донни, мне надо бежать.

Помахав рукой и улыбнувшись Поттеру, Кросби торопливо вышел из брокерской конторы. На улице он вынул из кармана горсть мелочи, скептически на нее посмотрел и остановил такси.

– На Центральный вокзал, как можно быстрее! – сказал он шоферу.

III

В шесть вечера Бетти Тирл поставила на письме подпись, положила листок в конверт и написала сверху имя мужа. Она зашла к нему в комнату, подумав, положила на кровать черную подушку, а на нее – белый конверт: он не сможет не заметить его сразу же, как только войдет. Затем, окинув комнату быстрым взглядом, она вышла в холл и поднялась наверх, в детскую.

– Клара! – нежно позвала она.

– Ах, мамочка! – Клара тут же оторвалась от своего кукольного домика и засеменила к матери.

– Клара, а где Билли?

Билли тут же появился из-под кровати.

– Ты что-то мне принесла? – вежливо осведомился он.

Она рассмеялась, но ее смех внезапно оборвался; она прижала к себе обоих детей и страстно их расцеловала. В этот миг она заметила, что у нее по лицу катятся слезы, а раскрасневшиеся детские личики, прижавшиеся к ее внезапно горячим щекам, показались ей прохладными.

– Заботься о Кларе… Всегда… Билли, милый мой…

Билли ничего не понимал и немного испугался.

– Ты плачешь! – мрачно, словно обвиняя ее, сказал он.

– Да… Я знаю…

Клара несколько раз робко всхлипнула, замялась, а затем вцепилась в мать, заливаясь слезами:

– Мамочка, я плохо себя чувствую… Мне плохо!

Бетти тихо ее успокоила:

– Ну-ка, ну-ка, давай-ка перестанем плакать, Клара… И ты, и я!

Но когда она встала, собираясь уйти из комнаты, брошенный на Билли взгляд выражал молчаливую мольбу – пусть она и знала, что нечего было и надеяться, что этот взгляд запечатлеется в детском сознании.

Через полчаса, неся чемодан к стоявшему у дверей дома такси, она подняла руку к лицу, безмолвно признав тот факт, что вуаль уже не сможет скрыть ее от всего остального мира.

«Но я сделала свой выбор», – отрешенно подумала она.

Когда машина свернула за угол, она вновь заплакала, с трудом удержавшись от искушения сию же минуту сдаться и вернуться обратно.

– Боже мой! – прошептала она. – Что я делаю? Что же я делаю? Что же это я натворила?

IV

Покинув номер Сильвестра, бледный узколицый официант Джерри пошел к метрдотелю и отпросился с работы пораньше.

Он сел в вагон метро южной линии, сошел на Уильям-стрит, прошел пешком несколько кварталов и вошел в бильярдную.

Через час он вышел; в его вялых губах торчала сигарета. Он постоял на тротуаре, словно колеблясь, принимая какое-то решение, а затем отправился на восток.

Дойдя до известного ему перекрестка, он вдруг прибавил шагу, а затем так же внезапно пошел помедленнее. Казалось, он хочет пройти мимо, но какая-то неведомая магнетическая сила словно бы его притягивает – и он, сделав внезапный разворот кругом, вошел в двери дешевого ресторанчика. Это было то ли кабаре, то ли что-то китайское, где каждый вечер собиралась самая разношерстная публика.

Джерри прошел к столику в самом темном и незаметном углу. Усевшись и продемонстрировав презрение к окружавшей его обстановке – что говорило скорее о близком с ней знакомстве, нежели о его превосходстве, – он заказал стакан кларета.

Вечер начался. Толстуха за пианино выжимала последние капли веселья из избитого фокстрота, а тощий и унылый мужчина со скрипкой извлекал скудные и унылые звуки аккомпанемента. Внимание посетителей было направлено на танцовщицу в грязных чулках, густо нарумяненную, с обесцвеченными перекисью волосами; она вот-вот должна была выйти на небольшой помост, а пока что обменивалась любезностями с энергичным толстяком, сидевшим за ближайшим столиком и пытавшимся завладеть ее рукой.

Из своего угла Джерри наблюдал за этими двоими у помоста; он смотрел и смотрел, и вдруг ему показалось, что потолок исчез, стены превратились в высокие здания, а помост – в верхнюю площадку автобуса, следовавшего прохладным весенним вечером три года назад по Пятой авеню. Энергичный толстяк пропал, короткая юбка танцовщицы стала длинной, щеки ее лишились румян – и он вновь едет с ней рядом, и, как прежде, кружится голова, и высокие здания по-доброму подмигивают им огоньками с верхних этажей, а шум голосов уличной толпы баюкает их, словно колыбельная.

– Джерри, – сказала девушка с верхней площадки автобуса, – я ведь обещала, что, как только ты будешь получать семьдесят пять в неделю, я рискну и дам тебе шанс. Но, Джерри, не могу же я ждать вечно!

Прежде чем ответить, Джерри проводил взглядом несколько промелькнувших мимо табличек с названиями поперечных улиц.

– Я не понимаю, в чем дело, – сокрушенно сказал он, – мне никак не прибавляют жалованье! Мне бы только найти другую работу..

– Поторопись, Джерри, – сказала девушка. – Меня начинает тошнить от такой жизни. Если я не выйду замуж, тогда, пожалуй, пойду работать в кабаре, есть пара предложений… А может, получится и на сцену попасть…

– Держись от всего этого подальше! – торопливо произнес Джерри. – В этом не будет нужды, если ты подождешь еще месяц или два.

– Я не могу ждать вечно, Джерри, – повторила девушка. – Я устала от бедности и одиночества.

– Долго ждать не придется, – сказал Джерри, сжав кулак свободной руки. – Где-нибудь у меня обязательно получится, ты только подожди!

Но автобус стал растворяться в воздухе, вновь стал обретать очертания потолок, а шум апрельской улицы сменился пронзительным воем скрипки, ведь все это было три года тому назад, а теперь он сидел здесь.

Девушка бросила взгляд на помост, обменялась жесткой равнодушной улыбкой с унылым скрипачом, и Джерри забился подальше в свой угол, пристально глядя на нее горящими глазами.

– Теперь твои руки принадлежат всем, кто только их пожелает, – негромко и с горечью воскликнул он. – Мне не хватило силы, чтобы удержать тебя от этого… Э-э-эх, Богом клянусь, ну какой я после этого мужчина?

А девушка у двери продолжала играть с цепкими пальцами толстяка, ожидая, когда нужно будет выходить отрабатывать свой номер.

\

V

Сильвестр Стоктон беспокойно ворочался в своей постели. Комната, пусть и просторная, казалось, сдавливала ему грудь, а залетавший вместе с лунным светом в окно легкий ветерок, казалось, приносил с собой снаружи лишь груз забот этого мира, с которым ему завтра вновь предстоит столкнуться лицом к лицу.

«Ничего они не понимают, – подумал он. – Им не видно горя, на котором покоится вся эта проклятая жизнь, – только я его и вижу. Все они банальные легкомысленные оптимисты! И улыбаются они потому, что думают, будто всегда будут счастливы».

«Эх, ладно, – уже засыпая, подумал он. – Завтра поеду в Рай, и опять буду терпеть и улыбки, и жару… Вот она какая, эта жизнь – лишь улыбочки да жара, улыбочки да жара».

Плач (Пушкин, простите!)

Среди неведомых дорожек
малютка-бар в лесу стоял.
Никто не знал о нем, о, Боже!
Никто в нем пьяным не плясал.

Когда ненастными ночами,
Мир скрыт от нечестивых глаз,
Лишь окон свет его лучами
осветит путь прекрасных нас!

Тот избранный, кто знак особый
знал. Горячительный пил чай.
Теперь же – двери на засовы…
О, горе мне! Увы и ай!

Эмансипированные и глубокомысленные (1920)

Зельде

Прибрежный пират

I

Эта невероятная история начинается на сказочно синем море, ярком, словно голубой шелк чулка, под небом голубым, словно глаза ребенка. Солнце с запада пускало маленьких зайчиков по воде, и, если внимательно присмотреться, можно было заметить, как они прыгают с волны на волну, постепенно собираясь в широкое золотое монисто за полмили отсюда, понемногу превращаясь в ослепительно яркий закат. Где-то между этим золотым монисто и побережьем Флориды бросила якорь элегантная новенькая паровая яхта. На плетеном канапе, стоявшем на корме под навесом, полулежала

светловолосая девушка, читавшая «Восстание ангелов» Анатоля Франса.

Ей было девятнадцать, она была стройна и гибка, ее рот был чарующе капризен, а живые серые глаза светились умом. Ноги без чулок – зато украшенные беззаботно свисавшими с мысков голубыми сатиновыми шлепанцами – она закинула на подлокотник соседнего канапе. Читая, она периодически причащалась половинкой лимона, которую держала в руке. Другая половинка, совсем выжатая, валялась на палубе рядом с ее ногой, медленно перекатываясь с боку на бок под действием почти неощутимых волн.

Вторая половинка лимона почти уже лишилась мякоти, а золотое монисто значительно увеличилось в размерах к тому моменту, когда сонную тишину, окутавшую яхту, неожиданно нарушил громкий звук шагов и на трапе появился увенчанный аккуратной седой шевелюрой пожилой человек в белом фланелевом костюме. Он на мгновение остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к солнечному свету, а затем, разглядев девушку под навесом, что-то неодобрительно проворчал.

Если таким образом он хотел вызвать какую-либо реакцию, то был обречен на провал. Девушка спокойно перевернула пару страниц, затем перевернула одну страничку обратно, не глядя поднесла лимон ко рту и еле слышно, но совершенно отчетливо зевнула.

– Ардита! – сурово произнес седой человек.

Ардита издала краткий неопределенный звук.

– Ардита! – повторил он. – Ардита!

Ардита снова лениво поднесла лимон ко рту, откуда выскользнуло одно лишь слово перед тем, как лимон коснулся языка:

– Отстань.

– Ардита!

– Что?

– Ты будешь меня слушать – или я должен позвать слугу, чтобы он тебя держал, пока я буду говорить?

Лимон нарочито медленно опустился.

– Изложи все на бумаге.

– Хватит у тебя совести закрыть эту отвратительную книгу и отбросить этот проклятый лимон хотя бы на две минуты?

– А ты хоть на секунду можешь оставить меня в покое?

– Ардита, только что мне телефонировали с берега…

– Тут есть телефон? – Она впервые проявила слабый интерес.

– Да, так вот…

– Ты хочешь сказать, – изумленно перебила она, – что тебе позволили протянуть сюда кабель?

– Да, и только что…

– А другие лодки не натолкнутся на него?

– Нет, он проходит по дну. Пять мин…

– Вот это да! Будь я проклята! Черт побери! Золотые плоды прогресса, или как там это… Вот это да!

– Позволишь ты мне наконец досказать то, что я начал?

– Валяй!

– Ну так вот… Похоже… – Он сделал паузу и несколько раз в смятении сглотнул. – Да. Юная дева, мне кажется, что полковник Морлэнд позвонил только затем, чтобы напомнить о том, что сегодня мы оба обедаем у него. Его сын Тоби приехал из Нью-Йорка специально, чтобы с тобой познакомиться; кроме того, на обед приглашена и другая молодежь. Последний раз я спрашиваю…

– Нет, – коротко ответила Ардита. – Я не поеду. Я присоединилась к этому чертову круизу с единственной целью – попасть в Палм-Бич, и ты прекрасно это знаешь, и я наотрез отказываюсь знакомиться со всякими чертовыми старыми полковниками, с любыми чертовыми молодыми Тоби и со всей этой чертовой молодежью, и ноги моей не будет на этой чертовой земле этого идиотского штата. Поэтому ты либо везешь меня в Палм-Бич, либо закрываешь рот и проваливаешь отсюда!

– Очень хорошо. Мое терпение лопнуло. В своем страстном увлечении этим человеком – человеком, печально известном своими дебошами, человеком, которому твой отец не позволил бы даже произнести твое имя, – ты скорее походишь на даму полусвета, нежели на леди из тех кругов общества, в которых ты – предположительно – воспитывалась. Отныне…

– Я знаю, – иронично перебила его Ардита. – Отныне ты идешь своей дорогой, а я шагаю своей! Это я уже слышала. Ты знаешь, что мне ничего другого и не надо.

– Отныне, – высокопарно объявил он, – ты мне больше не племянница! Я…

– О-о-о!!! – Ардита издала крик, похожий на агонию грешной души. – Когда ты прекратишь мне надоедать! Когда же ты наконец пойдешь своей дорогой? Когда же ты прыгнешь за борт и утонешь? Ты хочешь, чтобы я запустила в тебя этой книгой?

– Если ты осмелишься сделать что-либо…

Шмяк! «Восстание ангелов» поднялось в воздух, лишь на дюйм отклонилось от цели и громко бухнулось на трап.

Седой мужчина инстинктивно сделал шаг назад и затем два осторожных шажка вперед. Ардита вскочила на ноги и дерзко уставилась на него; ее серые глаза горели бешенством.

– Не подходи!

– Да как ты могла! – воскликнул он.

– Да так и смогла!

– Ты стала невыносимой! Твой характер…

– Это ты заставил меня стать такой! Ни у одного ребенка никогда не было плохого характера с рождения, виноваты только воспитатели! Кем бы я ни стала, во всем виноват ты!

Пробормотав что-то неразборчивое, дядя развернулся и, войдя в рубку, крикнул, чтобы подавали обед. Затем он вернулся к навесу, под которым, снова всецело поглощенная лимоном, устроилась Ардита.

– Я собираюсь на берег, – медленно произнес он. – В девять вечера. Когда я вернусь, мы пойдем обратно в Нью-Йорк, где я верну тебя твоей тетке до конца твоей естественной – или, скорее, неестественной – жизни.

Он замолчал и взглянул на нее; ему сразу же бросилась в глаза ее неуловимая детскость, которая проколола его раздражение, как раздутую шину, и он почувствовал свою беспомощность, неуверенность и всю глупость ситуации.

– Ардита, – сказал он, уже забыв обиду. – Я не дурак. Я знаю жизнь. Я знаю людей. Дитя мое, люди с репутацией распутников не меняются до тех пор, пока не устанут от самих себя, а затем они уже не они – они всего лишь жалкое подобие самих себя. – Он взглянул на нее, ища одобрения, но не услышал в ответ ни звука и продолжил: – Возможно, этот человек тебя любит, может быть. Он любил многих женщин, и он будет любить еще многих. Месяца еще не прошло, Ардита, с тех пор, как он попал в печально известную историю с рыженькой Мими Мерил; посулил ей золотой браслет, который

русский царь якобы подарил его матери. Ты все знаешь – ты же читала газеты.

– Захватывающие сплетни в исполнении беспокойного дядюшки, – зевнула Ардита. – Снимем об этом кино. Злой гуляка строит глазки целомудренной девочке. Целомудренная девочка окончательно соблазняется его кошмарным прошлым. Планирует встретиться с ним в Палм-Бич. Их планы расстраивает беспокойный дядюшка.

– Ты хотя бы можешь сказать, какого черта ты решила выйти за него?

– Уверена, я не смогу этого объяснить, – кратко ответила Ардита. – Возможно, потому, что он – единственный мужчина, плохой или хороший, у которого достаточно воображения и смелости, чтобы жить по своим убеждениям. Может быть, для того, чтобы отгородиться от молодых кретинов, тратящих все свое время на преследование меня по всей стране. А что касается русского браслета, то по этому поводу ты уже можешь быть спокоен. В Палм-Бич он подарит его мне, если ты продемонстрируешь хоть капельку здравого смысла.

– А как насчет той, рыженькой?

– Он не встречался с ней уже полгода, – гневно возразила она. – Не думаешь ли ты, что у меня недостаточно гордости, чтобы следить за такими вещами? Неужели тебе еще не понятно, что я могу делать что угодно с кем угодно, лишь бы мне этого хотелось?

Она гордо, как статуя «Пробуждение Франции», задрала подбородок, но затем испортила всю картину, выставив вперед руку с лимоном.

– Тебя так пленил этот русский браслет?

– Нет, я всего лишь стараюсь предложить тебе аргумент, который может показаться тебе весомым. Я хочу, чтобы ты от меня отстал, – сказала она, и снова ее тон стал повышаться. – Ты знаешь, что я никогда не меняю своих решений. Ты пилишь меня уже три дня, и я начинаю сходить с ума. Я не поеду с тобой на берег! Не поеду! Слышишь? Не поеду!

– Очень хорошо, – сказал он, – но ты не поедешь и в Палм-Бич. Из всех себялюбивых, избалованных, неуправляемых, сварливых и невозможных девчонок, которых я когда-либо…

Плюх! Половинка лимона ударилась о его шею. Одновременно с другого борта раздался крик:

– Обед готов, мистер Фарнэм!

Неспособный от ярости говорить, мистер Фарнэм бросил единственный, совершенно уничтожающий взгляд на свою племянницу, отвернулся и быстро сбежал по трапу.

II

Пятый час скатился с солнца и бесшумно плюхнулся в море. Золотое монисто превратилось в сияющий остров; слабый бриз, игравший краями навеса и качавший единственный свисавший с ноги шлепанец, неожиданно принес с собой песню. Стройный хор мужских голосов пел под аккомпанемент двигавшихся в едином ритме, рассекавших морскую воду весел. Ардита подняла голову и прислушалась.

Горох и морковь,
Колено бобов,
Свинки и кровь.
Парень милый!

Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Со всей силы!

Брови Ардиты поднялись от изумления. Она тихо сидела и внимательно слушала начало второго куплета.

Лук-исполин,
Маршалл и Дин,
Голдберг и Грин
И Кастилло!

Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Со всей силы!

Она с восклицанием отбросила книгу, которая, раскрывшись, упала на палубу, и поспешила к борту. Совсем близко шла большая шлюпка, в которой было семь человек: шестеро гребли, а еще один стоял во весь рост на корме и дирижировал, размахивая палочкой.

Камни и соль,
Омар, алкоголь,
Взял си-бемоль
Я на вилах.

Дирижер заметил перегнувшуюся через борт и завороженную странностью текста Ардиту. Он быстро махнул палочкой, и пение в то же мгновение прекратилось. Она заметила, что все гребцы были неграми, а дирижер был единственным белым на лодке.

– Эй, на «Нарциссе»! – вежливо крикнул он.

– В чем соль этого диссонанса? – смеясь, спросила Ардита. – Вы из спортклуба окружной психушки?

В этот момент лодка коснулась борта яхты, и огромный неуклюжий негр в бабочке повернулся и схватил веревочный трап. Затем, прежде чем Ардита осознала, что происходит, дирижер покинул свое место на корме, взобрался на борт и, задыхаясь, встал перед ней.

– Женщин и детей не трогать! – живо закричал он. – Всех плакс утопить, мужчин сковать цепями!

Изумленная Ардита засунула руки в карманы платья и уставилась на него, лишившись дара речи.

Он был молод, у него на губах играла презрительная усмешка, а на чувственном загорелом лице сияли голубые глаза невинного ребенка. Вьющиеся от влажности волосы были черны как смоль – на дать ни взять волосы греческой статуи, выкрашенной в брюнета. Он был хорошо сложен, элегантно одет и грациозен, как спортсмен.

– Ну, провалиться мне на месте! – ошеломленно сказала она.

Они холодно посмотрели друг на друга.

– Вы сдаете корабль?

– Это приступ остроумия? – поинтересовалась Ардита. – Вы с детства идиот или еще только собираетесь в лечебницу?

– Я спрашиваю, сдаете ли вы корабль?

– Я думала, что в стране сухой закон и спиртное достать нельзя, – презрительно сказала Ардита. – Вы пили политуру? Лучше покиньте эту яхту!

– Да что вы говорите! – Голос молодого человека звучал скептически.

– Убирайтесь с яхты! Вы слышите меня?!

Мгновение он смотрел на нее, как будто осмысливая сказанное.

– Нет! – Его рот презрительно искривился. – Нет, я не сойду с яхты. С нее сойдете вы, если вам так хочется.

Подойдя к борту, он подал отрывистую команду, и в то же мгновение все гребцы вскарабкались по трапу и выстроились перед ним в шеренгу, угольно-черные и темно-коричневые с одного края и миниатюрный мулат ростом четыре фута с небольшим – с другого. Все они были одеты в одинаковые голубые костюмы, покрытые пылью, с пятнами высохшей тины, кое-где порванные. За плечом у каждого свисал маленький, выглядевший очень тяжелым белый мешок, а в руках все держали большие черные футляры, в которых, по всей вероятности, должны были находиться музыкальные инструменты.

– Внимание! – скомандовал молодой человек, звонко клацнув собственными каблуками. – Равняйсь! Смир-но! Бэйб, шаг вперед!

Самый маленький негр быстро шагнул из строя и отдал честь:

– Есть, сэр!

– Назначаешься старшим! Спуститься в трюм, захватить команду и всех связать – всех, кроме судового механика. Привести его ко мне…

Так… И сложить сумки здесь, у борта.

– Есть, сэр!

Бэйб снова отдал честь и, развернувшись, собрал вокруг себя оставшихся пятерых. Они шепотом посовещались и бесшумно гуськом пошли вниз по трапу.

– А теперь, – весело сказал молодой человек Ардите, ставшей немой свидетельницей последней сцены, – если вы поклянетесь своей эмансипированной честью – которая, скорее всего, недорого стоит, – что вы не откроете ваш капризный ротик в течение сорока восьми часов, то можете взять нашу шлюпку и грести на берег.

– А что в противном *случае*?

– В противном *случае* вам придется идти с нами в море на корабле.

С легким вздохом облегчения от того, что первое напряжение исчезло, молодой человек занял недавно освобожденное Ардитой канапе и медленно потянулся. Его губы изогнулись в понимающей ухмылке, когда он огляделся вокруг и заметил дорогой полосатый навес, полированную латунь и роскошную оснастку палубы. Его взгляд упал на книгу, а затем и на выжатый лимон.

– Хм, – сказал он, – оппозиционер Джексон заявлял, что лимонный сок проясняет голову. Ваша голова достаточно ясна?

Ардита не снизошла до ответа.

– Спрашиваю потому, что в течение ближайших пяти минут вам предстоит принять ясное решение: либо остаться, либо покинуть судно. – Он поднял книгу и с любопытством ее раскрыл: – «Восстание ангелов». Звучит заманчиво. Французская, вот как? – Он с новым интересом уставился на нее: – Вы француженка?

– Нет.

– Как вас зовут?

– Фарнэм.

– А имя?

– Ардита Фарнэм.

– Что ж, Ардита, нет никакого смысла вот так вот здесь стоять и морщить лобик. Вы должны расстаться с этой нервической привычкой, пока еще молоды. Лучше идите сюда и присядьте.

Ардита достала из кармана резной нефритовый портсигар, вытянула из него сигарету и закурила, стараясь казаться спокойной,

несмотря на то что руки ее слегка дрожали. Затем она грациозно прошла по палубе, уселась на другом канапе и выпустила дым изо рта.

– Вам не удастся выгнать меня с яхты, – уверенно произнесла она, – и вы напрасно думаете, что вы здесь надолго задержитесь. Мой дядя в половине седьмого вызовет сюда по радио весь флот.

– Ну-ну…

Она бросила на него быстрый взгляд и уловила беспокойство, на мгновение ясно проступившее в опустившихся уголках его рта.

– Мне все равно, – сказала она, пожав плечами. – Это не моя яхта. Я ничего не имею против небольшого часового круиза. Я даже подарю вам эту книгу, чтобы вам было чем заняться на пограничном катере, который доставит вас в Синг-Синг.

Он презрительно рассмеялся:

– Если это – ваш единственный аргумент, то можно было даже не трудиться об этом говорить. Это всего лишь часть плана, разработанного задолго до того, как я узнал, что на свете существует эта яхта. Если бы ее не было, то была бы какая-нибудь другая, их у этого побережья предостаточно.

– Кто вы такой? – неожиданно спросила Ардита. – И что вам нужно?

– Вы решили не плыть на берег?

– Я об этом и не думала.

– Нас обычно называют, – сказал он, – всех семерых, конечно, – «Картис Карлиль и шесть черных малышей», мы недавно выступали в «Уинтер-Гарден» и «Миднайт-Фролик».

– Вы музыканты?

– Да, были, до сегодняшнего дня. В данный момент, по милости вот этих вот белых сумок, которые вы видите перед собой, мы беглецы от закона, и если награда за нашу поимку еще не достигла двадцати тысяч долларов, то я сильно ошибаюсь.

– А что в сумках? – с любопытством спросила Ардита.

– Ну, – сказал он, – давайте назовем это песком… Пусть пока это будет обычный флоридский песок.

III

Спустя десять минут, после беседы Картиса Карлиля с испуганным судовым механиком, яхта «Нарцисс» уже на всех парах шла на юг сквозь нежные тропические сумерки. Миниатюрный мулат Бэйб, пользовавшийся, по-видимому, полным доверием Карлиля, взял командование на себя. Кок, а также камердинер мистера Фарнэма, единственные оказавшие сопротивление из всего экипажа (если не считать механика), теперь получили достаточно времени для пересмотра своего решения, оказавшись крепко привязанными к собственным койками в трюме. Тромбон Моуз, самый рослый негр, с помощью банки краски занялся удалением надписи «Нарцисс» с носа судна с тем, чтобы на ее месте засияло новое имя – «Хула-Хула», а все остальные собрались на корме и были заняты жаркой игрой в кости.

Распорядившись о том, чтобы еда была приготовлена и сервирована на палубе к семи тридцати, Карлиль снова присоединился к Ардите и, разлегшись на канапе, полузакрыл глаза и впал в состояние глубокой задумчивости.

Ардита критически осмотрела его и немедленно причислила к романтическим личностям. Его возвышенная самоуверенность покоилась на хрупком фундаменте: за всеми его действиями она разглядела нерешительность, которая противоречила высокомерному изгибу его рта.

«Он не похож на меня, – подумала она. – Есть какие-то отличия».

Будучи убежденной эгоисткой, Ардита всегда думала только о себе; она никогда не размышляла о своем эгоизме и вела себя совершенно естественно, так, что ее бесспорный шарм находился в полном согласии с этой чертой ее характера. Хотя ей было уже девятнадцать, она выглядела взрослым, не по годам развитым ребенком, и в отблесках ее юности и красоты все люди, которых она знала, были всего лишь щепками, колеблемыми рябью ее темперамента. Она встречала и других эгоистов – и выяснила на практике, что самоуверенные люди надоедают ей гораздо меньше, чем неуверенные

в себе, – но до сих пор не попадался ей такой человек, над которым рано или поздно она не взяла бы верх и которого не бросила бы к своим ногам.

Несмотря на то что она узнала эгоиста в сидевшем на соседнем канапе, она не услышала обычного безмолвного «Свистать всех наверх!», означавшего полную готовность к действию; напротив, ее инстинкт подсказал ей, что сам этот человек был крайне уязвим и практически беззащитен. Когда Ардита бросала вызов условностям – в последнее время это было ее основным развлечением, – она делала это из-за жгучего желания быть самой собой; этот же человек, наоборот, был озабочен своим собственным вызовом.

Он был интересен ей гораздо более создавшегося положения, взволновавшего ее так, как только может взволновать десятилетнего ребенка перспектива побывать в театре. Она была безоговорочно уверена в своей способности позаботиться о себе в любых обстоятельствах.

Темнело. Линия берега становилась все более тусклой, темные тучи, как листья, кружили на далеком горизонте, и бледная, неполная луна сквозь туман улыбалась морю. Лунная мгла неожиданно окутала яхту, а в кильватере появилась лунная дорожка. Время от времени, когда кто-нибудь закуривал, вспыхивала спичка, но – если не считать низкого рокочущего звука работающего двигателя и плеска волн – яхта шла безмолвно, как корабль сновидений, рассекающий небесные просторы. Вокруг царил запах ночного моря, который нес с собой безграничное спокойствие.

Наконец Карлиль решил нарушить тишину.

– Вы – счастливая девушка, – вздохнул он. – Мне всегда хотелось быть богатым, чтобы купить всю эту красоту.

Ардита зевнула.

– А я бы с удовольствием стала вами, – откровенно сказала она.

– Конечно – на день, не больше. Но для эмансипе вы, кажется, обладаете завидной смелостью.

– Прошу вас так меня не называть.

– Прошу прощения.

– Что касается смелости, – медленно продолжила она, – то это моя единственная положительная черта. Я не боюсь ничего ни на земле, ни на небе.

– Хм-м, да…

– Чтобы чего-то бояться, – сказала Ардита, – человек должен быть либо очень большим и сильным, либо просто трусом. Я – ни то ни другое. – Она замолчала на мгновение, затем в ее голосе послышалось напряжение. – Ноя хочу поговорить о вас. Что такого, черт возьми, вы сделали и как вам это удалось?

– Зачем вам знать? – хладнокровно ответил он. – Вы что, собираетесь писать обо мне книгу?

– Говорите, – настаивала она. – Лгите мне прямо здесь, под луной. Расскажите мне какую-нибудь потрясающую сказку!

Появился негр, который включил гирлянду маленьких лампочек под навесом и начал сервировать для ужина плетеный столик. Они ели холодную курицу, салат, артишоки и клубничный джем из богатых кладовых судна, и Карлиль начал говорить, поначалу смущенно, но по мере нарастания ее интереса его речь становилась все увереннее. Ардита едва притронулась к пище и все время смотрела на его смуглое юное лицо – красивое, ироничное, немного детское.

Он начал жизнь бедным ребенком в Теннесси, рассказывал он, по-настоящему бедным, так как его семья была единственной белой семьей на всей улице. Он никогда не видел белых детей, но за ним всегда ходила дюжина негритят, страстных его обожателей. Он привлекал их живостью своего воображения и ворохом неприятностей, в которые вечно их затаскивал и из которых вытаскивал. И кажется, именно эти детские впечатления направили выдающийся музыкальный талант в странное русло.

Жила там цветная женщина по имени Белль Поп Калун, игравшая на пианино на вечеринках у белых ребят – милых белых ребятишек, которые всегда проходили мимо Картиса Карлиля, презрительно фыркая. Но маленький «оборвыш» неизменно сидел в назначенный час около пианино и пытался подыгрывать на дудочке, какие обычно бывают у мальчишек. Ему еще не исполнилось и тринадцати, а он уже извлекал живые и дразнящие звуки рэгтайма из потрепанной виолончели в небольших кафе пригородов Нэшвилля. Через восемь лет вся страна от рэгтайма просто сошла с ума, и с собой в турне «Сиротки» он взял шестерых цветных ребят. С пятерыми из них он вместе вырос; шестым же был маленький мулат, Бэйб Дивайн, который работал в Нью-Йоркском порту, а до этого трудился на бермудской

плантации – до тех пор, пока не вонзил восьмидюймовое лезвие в спину хозяина. Не успел еще Карлиль осознать, что поймал удачу за хвост, как уже оказался на Бродвее, и предложения подписать контракт посыпались со всех сторон, а денег стало столько, сколько ему и не снилось.

Как раз в это время в его характере наметилась перемена, довольно любопытная и скорее горькая. Он понял, что тратит свои лучшие годы на сидение на сцене с целой кучей черных парней. Их номер был хорош в своем роде – три тромбона, три саксофона и флейта Карлиля, а также его особое чувство ритма, которое и отличало их от сотен других; но неожиданно он стал слишком чувствителен к своему успеху, начал ненавидеть саму мысль о выступлениях: с каждым днем они ужасали его все сильнее.

Они делали деньги, – каждый подписанный контракт приносил все больше и больше, но, когда он пошел к менеджерам и заявил о своем желании оставить секстет и продолжить выступления уже в качестве обычного пианиста, те просто подняли его на смех и сказали, что он сошел с ума – ведь это стало бы «профессиональным самоубийством»! Впоследствии выражение «профессиональное самоубийство» всегда вызывало у него смех. Они все так говорили.

Несколько раз они играли на частных балах, получая по три тысячи долларов за ночь, и, кажется, здесь и выкристаллизовалось все его отвращение к добыванию хлеба насущного таким образом. Они выступали в домах и клубах, куда его бы никогда не пустили при свете дня. Вдобавок он всего лишь играл роль вечного кривляки, что-то вроде возвышенной хористки. Его уже тошнило от одного только запаха театра, от пудры и помады, от болтовни в фойе, от покровительственных аплодисментов из лож. Он больше не мог вкладывать в это свое сердце. Мысль о медленном приближении к роскоши досуга сводила его с ума. Он, конечно, делал кое-какие шаги в этом направлении, но, как ребенок, он лизал свое мороженое так медленно, что не чувствовал никакого вкуса.

Ему хотелось иметь много денег и свободного времени, иметь возможность читать и играть и чтобы вокруг него были такие люди, которых рядом с ним никогда не было – из тех, что, если бы им вообще пришло в голову задуматься о нем, сочли бы его жалким ничтожеством, – в общем, ему хотелось всего того, что он уже начал

презирать под общим термином «аристократичность», той аристократичности, которую, как кажется, можно было купить за деньги – но только за деньги, сделанные не так, как делал их он. Тогда ему было двадцать пять, у него не было ни семьи, ни образования, ни каких-либо задатков для деловой карьеры. Он начал беспорядочно играть на бирже – и через три недели потерял все, до последнего цента.

Затем началась война. Он поехал в Платтсбург, но его преследовало его ремесло. Бригадный генерал вызвал его в штаб и объявил, что он сможет гораздо лучше послужить Родине, если возглавит ансамбль, – так он и провел всю войну, развлекая знаменитостей вдали от линии фронта вместе со штабным оркестром. Это было не так уж и плохо – если не считать того, что при виде пехоты, ковыляющей домой из окопов, он страстно желал быть одним из них. Их пот и грязь казались ему теми единственными священными знаками аристократичности, которые вечно от него ускользали.

– Все случилось на частном балу. Когда я вернулся с войны, все пошло по-прежнему. Мы получили приглашение от синдиката отелей во Флориде. И тогда осталось лишь выбрать время…

Он неожиданно умолк, Ардита выжидательно посмотрела на него, но он покачал головой.

– Нет, – сказал он, – я не собираюсь вам об этом рассказывать. Я получил громадное удовольствие, и теперь боюсь, что оно будет испорчено, если я им с кем-нибудь поделюсь. Я хочу оставить себе те несколько безмолвных, героических мгновений, когда я стоял перед ними и дал им почувствовать, что я – нечто большее, чем дурацкий пляшущий и гогочущий клоун.

С носа яхты неожиданно донеслось тихое пение. Негры собрались на палубе, и их голоса слились в гипнотизирующую мелодию, уплывавшую в резких гармониях вверх, к Луне.

Мама,
Мама,
Мама хочет отвести меня на Млечный Путь.
Папа,
Папа,
Папа говорит: «*Об этом позабудь*!»
Но мама говорит: «*Пойдем*!»
Мама говорит: «*Пойдем*!»

Карлиль вздохнул и замолчал, глядя вверх на сонм звезд, мерцавших в ясном небе, как электрические лампочки. Негритянская песня перешла в какой-то жалобный стон, и казалось, что мерцание звезд в абсолютной тишине усиливалось с каждой минутой до такой степени, что можно было расслышать, как русалки совершают свой полночный туалет, причесывая серебрящиеся мокрые локоны при свете луны и перешептываясь друг с другом о прекрасных затонувших кораблях, в которых они живут на переливающихся зеленых проспектах на дне.

– Смотри, – тихо сказал Карлиль, – вот красота, которой я хотел бы обладать. Красота должна быть поразительной, удивительной – она должна нахлынуть на тебя, как сон, как взгляд идеальной женщины…

Он повернулся к ней, но она молчала.

– Ты видишь, Анита… Я хотел сказать, Ардита?

Но она молчала. Она уснула.

IV

На следующий день, в разгар залитого солнцем полдня, неясное пятно в море прямо по курсу постепенно приобрело очертания серо-

зеленого островка суши. Огромный гранитный утес с северной стороны на протяжении мили косогором спускался к югу, и яркие заросли и трава медленно переходили в песок пляжа, исчезавший прямо в прибое. Когда Ардита, сидевшая на своем излюбленном месте, дошла до последней страницы «Восстания ангелов», захлопнула книгу и взглянула вперед, она увидела остров и негромко вскрикнула от удивления, привлекая внимание задумчиво стоявшего у борта Карлиля.

– Это он? Это то место, куда вы шли?

Карл иль вздрогнул от неожиданности:

– Вы меня напугали. – Он громко крикнул шкиперу, стоявшему за штурвалом: – Эй, Бэйб, это и есть твой остров?

Миниатюрная голова мулата появилась в окошке на верхней палубе.

– Да, сэр. Это точно он!

Карлиль подошел к Ардите:

– Выглядит неплохо, не правда ли?

– Да, – согласилась она, – но он не выглядит достаточно большим для того, чтобы на нем можно было бы искать убежища.

– Вы все еще надеетесь на те телеграммы, которыми ваш отец якобы собирался заполнить эфир?

– Нет, – откровенно сказала Ардита. – Я – за вас. Мне бы доставило большое удовольствие помочь вам скрыться.

Он рассмеялся:

– Вы наша Леди Удача. Думаю, что нам придется хранить вас, как талисман – по крайней мере в ближайшее время.

– Вы вряд ли уговорите меня плыть обратно, – холодно заметила она. – Но если у вас получится, то мне ничего больше не останется делать, кроме как начать писать бестселлеры на основе той бесконечной истории вашей жизни, которой вы так любезно поделились со мной вчера.

Он залился краской и слегка отстранился от нее:

– Сожалею, что нагнал на вас скуку.

– О, нет… ну, если не считать того момента, когда вы начали рассказывать, как вам было плохо от того, что вы не могли танцевать с дамами, для которых играли.

Он возмущенно поднялся:

– А у вас довольно злой язычок!

– Простите меня, – сказала она, рассмеявшись, – но я не привыкла к мужчинам, потчующим меня историями своих жизненных амбиций, особенно живущим такой сверхидеальной жизнью.

– Почему же? Чем же обычно услаждают ваш слух мужчины?

– Ну, они говорят обо мне. – Она зевнула. – Они говорят мне, что я – воплощение молодости и красоты.

– А что говорите им вы?

– А я молча соглашаюсь.

– И каждый мужчина говорит вам, что любит вас?

Ардита кивнула:

– А почему бы и нет? Вся жизнь вертится вокруг единственной фразы: «Я люблю тебя».

Карл иль рассмеялся и сел:

– Совершенно верно. Неплохо сказано. Вы придумали?

– Да, ну, точнее, я на это наткнулась. Это не важно. Просто это мудро.

– Это типичное выражение вашего класса, – серьезно произнес он.

– О нет, – быстро перебила она, – не начинайте снова лекцию об аристократичности! Я не люблю людей, которые говорят о чем-то серьезном по утрам. Это легкая форма безумия, что-то вроде послезавтрачных приступов. Утром нужно либо спать, либо плавать, либо вообще ничего не делать.

Через десять минут они широко развернулись, собираясь пристать к острову с севера.

– Что-то тут не так, – глубокомысленно заметила Ардита. – Вряд ли он хочет просто бросить якорь у этих скал.

Они шли прямо на скалу высотой футов сто с лишком, и только когда до камней оставалось не больше пятидесяти ярдов, Ардита увидела цель. И захлопала в ладоши от удовольствия. В скале была расщелина, совершенно скрытая нависавшим сверху каменным козырьком, и через эту щель яхта прошла в узкий канал, где мягко плескалась кристально чистая вода, окруженная высокими серыми стенами. А затем они бросили якорь в зелено-золотом мирке – залитой солнцем бухте, где вода казалась застывшим стеклом, а по берегам росли небольшие пальмы. Все вместе напоминало зеркальные озера и игрушечные деревья, которые дети ставят в песочницах.

– Чертовски неплохо! – возбужденно воскликнул Карлиль. – Видно, маленький пройдоха прекрасно знает этот уголок Атлантики!

Его чувства были заразительны, и Ардита тоже возликовала:

– Это самое что ни на есть лучшее убежище!

– О господи! Да это же остров из книжки!

На золотую гладь воды спустили шлюпку, и они пошли к берегу.

– Пойдемте осмотрим остров, – сказал Карлиль, когда шлюпка уткнулась носом в мокрый песок.

Бахрому прибрежных пальм окаймляли целые мили ровного песка. Они пошли в глубь острова, на юг, миновали кромку тропической растительности на жемчужно-сером нетронутом пляже, где Ардита сбросила свои коричневые спортивные туфли – как видно, она сознательно избегала носить чулки – и продолжили путь по берегу. Затем, не торопясь, они вернулись на яхту, где неутомимый Бэйб уже успел приготовить для них ланч. Он выставил часового на вершине утеса, чтобы присматривать за морем со всех сторон, хотя у него и были большие сомнения по поводу того, что вход в ущелье был хорошо известен, так как он никогда не видел карты, на которой этот остров был бы обозначен.

– Как называется этот остров? – спросила Ардита.

– Он никак не называется, – рассмеялся Бэйб, – это просто остров, и все.

Поздним вечером они сидели на верхушке скалы, опираясь на огромные валуны, и Карлиль рассказывал ей о своих дальнейших планах. Он был уверен, что погоня тем временем уже началась. По его оценке, общая сумма куша, который они урвали и о котором он все еще избегал с ней говорить, составляла около миллиона долларов. Он рассчитывал отсидеться здесь несколько недель, а затем направиться на юг, избегая оживленных судоходных маршрутов, обогнуть мыс Горн и направиться в Перу, на Калао. Детали вроде топлива и провизии были полностью за Бэйбом, который, кажется, проплыл эти моря во всех ипостасях, начиная с юнги на судне, груженном кофе, и заканчивая первым помощником на бразильской пиратской посудине, шкипер которой был давным-давно повешен.

– Будь он белым, он бы давно уже стал латиноамериканским королем, – категорически заявил Карлиль. – Что касается ума, то на его фоне Букер Вашингтон выглядел бы законченным болваном. В нем

собрана хитрость всех рас и национальностей, кровь которых течет в его венах, а их не меньше полудюжины, поверьте на слово! Он обожествил меня потому, что я единственный человек на свете, который играет рэгтайм лучше, чем он сам. Мы сидели с ним на пристани в Нью-Йорке, он – с фаготом, я – с гобоем, и играли африканские блюзы, которым уже сотни лет, и крысы выползали из-под свай и рассаживались вокруг, визжа и подвывая, как собаки перед граммофоном.

Ардита оглушительно расхохоталась:

– Да уж рассказывайте!

Карлиль широко улыбнулся:

– Клянусь вам, они…

– И что вы собираетесь делать, когда доберетесь до Калао? – перебила она.

– Сяду на корабль и поплыву в Индию. Я хочу стать раджой. Именно так! Я хочу как-нибудь добраться до Афганистана, купить дворец и репутацию, а затем, лет через пять, объявиться в Англии, с иностранным акцентом и загадочным прошлым. Но сначала – Индия. Ведь говорят, что все золото мира постепенно стекается обратно, в Индию. В этом для меня есть что-то завораживающее. И еще мне нужен досуг для чтения – причем в неограниченных количествах.

– А затем?

– А затем, – вызывающе ответил он, – придет черед аристократичности. Смейтесь, если вам так хочется, но по крайней мере вам следует признать, что я знаю, чего хочу, что вам, как я понимаю, вовсе не свойственно.

– Напротив, – возразила Ардита, ища в кармане портсигар, – в момент нашей встречи я как раз находилась в эпицентре взрыва эмоций всех моих знакомых и родственников; а взрыв этот был вызван тем, что я четко определила свою цель.

– И что это была за цель?

– Это был мужчина.

Он вздрогнул:

– Вы хотите сказать, что решились на помолвку?

– Что-то вроде. Если бы вы не взошли на борт, я бы совершенно точно ускользнула на берег вчера вечером – кажется, будто прошла уже целая вечность! – и встретилась бы с ним в Палм-Бич. Он ждет меня

там с браслетом, который когда-то принадлежал русской царице Екатерине. Аристократичность тут ни при чем, – быстро проговорила она, – он понравился мне только потому, что у него есть фантазия и необычная смелость убеждений.

– Но ваша семья его не одобрила, да?

– Какая там семья – всего лишь глупый дядюшка да глупая тетушка. Кажется, он был замешан в каком-то скандале с рыжей дамочкой по имени Мими или что-то вроде того, – из мухи сделали слона, как он сказал, а мне мужчины никогда не лгут… И вообще, меня совершенно не касается его прошлое; будущее – вот что меня интересует. Я и смотрела с этой точки. Когда мужчина влюблен в меня, ему больше ничего не нужно. Я сказала ему, и он отбросил ее, как горячий пирожок.

– Завидую, – сказал Карл иль и нахмурился, а затем рассмеялся: – Думаю, что я буду держать вас до тех пор, пока мы не прибудем к Калао. А потом я дам вам сумму, достаточную для того, чтобы вы смогли вернуться в Штаты. Ну а до этого у вас будет достаточно времени, чтобы еще раз взвесить все, что вам известно об этом джентльмене.

– Не говорите со мной таким тоном! – взорвалась Ардита. – Покровительственного тона я не терплю! Понятно?

Он было засмеялся, но тут же перестал, смутившись, так как ее холодная ярость, казалось, окутала его с головы до ног, и ему стало не по себе.

– Мне очень жаль, – неуверенно сказал он.

– О, не извиняйтесь! Не могу видеть мужчин, которые говорят «Мне очень жаль!» таким мужественным, спокойным голосом. Просто замолчите!

Последовала пауза, показавшаяся Карлилю весьма неловкой, но совершенно не замеченная Ардитой, – она сидела и наслаждалась своей сигаретой, глядя на сияющее море. Спустя минуту она переползла на скалу и улеглась там, опустив лицо за край и глядя вниз. Карл иль, наблюдая за ней, думал о том, что ее грация не зависит от позы.

– Скорее сюда! – крикнула она. – Там, внизу, целая куча, уступов. Они широкие, на разных высотах!

Он присоединился к ней, и они вместе стали смотреть вниз с головокружительной высоты.

– Мы пойдем купаться сегодня же! – возбужденно сказала она. – Под луной.

– Разве вам не хочется пойти на пляж с той стороны?

– Нет. Мне нравится нырять. Вы можете взять купальный костюм моего дядюшки – правда, он будет сидеть на вас мешком, ведь он довольно грузный человек. А у меня есть штучка, которая шокировала всех туземцев Атлантического побережья от Бидфорд-Пул до Сант-Августина.

– Так вы русалка?

– Да, я неплохо плаваю. И выгляжу тоже неплохо. Один скульптор прошлым летом сказал, что мои икры стоят пять сотен долларов.

На это ответить было нечего, и Карлиль промолчал, позволив себе только неопределенную улыбку.

V

Когда спустилась ночь и вокруг заиграли серебристо-голубые тени, их шлюпка прошла мерцающей протокой и они, привязав лодку к выступавшему из воды камню, вместе стали карабкаться на скалу. Первый уступ находился на высоте десяти футов, он был широк и представлял собой естественный трамплин для ныряния. В ярком лунном свете они сели на камень и стали смотреть на маленькие волны; вода была почти как зеркало, потому что начался отлив.

– Вам хорошо? – неожиданно спросил он.

Она кивнула в ответ:

– Всегда хорошо у моря. Вы знаете, – продолжила она, – весь день я думала о том, что мы с вами в чем-то похожи. Мы оба бунтари – правда, по разным причинам. Два года назад, когда мне было восемнадцать, а вам…

– Двадцать пять.

– Да, и вы, и я были обычными людьми, добившимися успеха. Я была совершенно потрясающей дебютанткой, а вы – процветающим музыкантом, только что из армии…

– Настоящий джентльмен, со слов Конгресса, – иронично вставил он.

– В общем, как ни крути, мы оба неплохо вписались в общество. Все наши острые углы были если не сточены, то по крайней мере сильно сглажены. Но где-то глубоко внутри нас было что-то, требовавшее для счастья большего. Я не знала, чего я хочу. Я порхала от мужчины к мужчине, без устали, в предвкушении, месяц за месяцем все более раздражаясь и ничего не находя. Я даже иногда сидела, кусая губы, и думала, что схожу с ума, – я так сильно чувствовала всю мимолетность жизни. Все, что я хотела, мне было нужно тотчас – прямо здесь и сейчас! Вот она я – прекрасная, – не правда ли?

– Да, – нерешительно согласился Карлиль.

Ардита неожиданно встала:

– Одну минуту. Я только попробую эту восхитительно выглядящую воду.

Она подошла к краю уступа и резко прыгнула в море – сделав двойное сальто, она выпрямилась в воздухе и вошла в воду прямо, как лезвие.

Через минуту до него донесся ее голос:

– Знаете, я раньше читала целыми днями и даже по ночам. Я начала презирать общество…

– Поднимайтесь наверх, – перебил он ее, – что вы там такое делаете?

– Просто плыву на спине. Я буду наверху через минуту. Я хочу вам сказать… Единственное, что доставляло мне удовольствие, – это шок других людей: я носила самые невозможные и удивительные платья на вечеринках, появлялась в обществе всем известных нью-йоркских плейбоев и принимала участие в самых адских из возможных скандалов.

Ее слова заглушались плеском воды; затем послышалось ее учащенное дыхание, когда она начала карабкаться сбоку на скалу.

– Давайте тоже! – крикнула она.

Он послушно поднялся и нырнул. Когда он, мокрый, взобрался на скалу, то обнаружил, что ее на уступе нет, но спустя долгую секунду послышался ее негромкий смех с другого уступа, находившегося выше футов на десять. Он присоединился к ней, и мгновение они сидели тихо, обхватив руками колени, восстанавливая дыхание после подъема.

– Вся семья была вне себя, – неожиданно сказала она. – Они попробовали выдать меня замуж и таким образом сбыть с рук. И когда я начала уже думать, что, в конце концов, жизнь едва ли стоит того, чтобы жить, я нашла кое-что… – она торжествующе взглянула в небо, – я нашла!

Карлиль ждал продолжения, и ее речь стала стремительной.

– Смелость – вот что! Смелость как норма жизни, то, за что всегда нужно держаться. Я начала воспитывать в себе великую веру в собственные силы. Я увидела, что все мои прошлые кумиры несли в себе какую-то крупицу смелости, и именно это меня бессознательно к ним влекло. Я стала отделять смелость от всех остальных вещей. Все проявления смелости: избитый, окровавленный боксер, встающий драться снова и снова, – я раньше заставляла мужчин брать меня с собой на матчи; деклассированная дама, находящаяся в гнезде сплетниц и смотрящая на них так, будто все эти богачки – грязь под ее ногами; нестеснение тем, что тебе всегда нравится; готовность не ставить ни во что мнение других людей – просто жить так, как нравится тебе, и умереть по-своему… Вы взяли с собой сигареты?

Он протянул ей одну и молча поднес спичку.

– Тем не менее, – продолжила Ардита, – за мной продолжали увиваться мужчины – старые и молодые, умственно и физически стоявшие на низшей ступени развития по сравнению со мной, но все же страстно желавшие обладать мной, обладать той притягательной и гордой жизнью, которую я построила для себя. Понимаете?

– Вроде да. Вам не приходилось быть битой, вы никогда не извинялись.

– Никогда!

Она бросилась к краю, на мгновение картинно замерла на фоне неба, широко расставив руки, а затем, описав крутую параболу, без единого всплеска ушла в воду прямо посередине между двумя барашками в двадцати фунтах внизу.

Ее голос снова донесся до него:

– И смелость для меня стала прорывом сквозь плотный серый туман, который опускается на жизнь, – и не только победой над людьми и над обстоятельствами, но и победой над бледностью существования. Чем-то вроде подтверждения ценности жизни и цены мимолетности вещей.

Она уже карабкалась наверх, и с последними словами ее голова с мокрыми светлыми волосами, закинутыми назад, появилась у края скалы.

– Ну хорошо, – возразил Карлиль, – вы можете звать это смелостью, но вся эта смелость в действительности покоится на вашем общественном положении. Вся эта непокорность была в вас воспитана. А в моей серой жизни даже смелость – всего лишь одна из многих безжизненных и серых вещей.

Она сидела у края, обняв свои колени и просто глядя на луну; он стоял поодаль, втиснутый в каменную нишу, подобный гротескному изваянию какого-то бога.

– Не хочу говорить, как Поллианна, – начала она. – Но тем не менее вы меня не поняли. Моя смелость – это вера, вера в свою бесконечную упругость, в то, что радость всегда возвращается, и надежда, и непосредственность тоже. И я думаю, что до тех пор, пока это так, я должна крепко сжимать свои губы и держать голову высоко, а глаза мои должны быть широко открыты, и нет необходимости во всяких глупых улыбочках. О, я достаточно часто проходила сквозь ад без единого звука, а женский ад будет пострашнее мужского.

– Но предположим, – сказал Карлиль, – что, прежде чем радость, надежда и прочее вернулись бы, туман, окутавший вас, привел бы вас к чему-то большему и лучшему?

Ардита встала, подошла к стене и не без труда вскарабкалась на следующий уступ, еще на десять – пятнадцать футов выше.

– Ну и что, – крикнула она оттуда, – все равно я победила!

Он подошел к краю так, чтобы видеть ее.

– Лучше не ныряйте оттуда! Вы разобьетесь! – крикнул он.

Она рассмеялась:

– Только не я!

Она медленно развела руки в стороны и, как лебедь, застыла, излучая гордость своим юным совершенством, отдававшимся в груди Карлиля чем-то теплым.

– Мы проходим сквозь ночь, широко раскинув руки, – крикнула она, – и наши ноги выпрямлены и подобны хвостам дельфинов, и мы думаем, что никогда не коснемся серебряной глади там, внизу, – до тех пор, пока все вокруг нас мгновенно не превращается в теплые и нежные волны!

И вот она взмыла в воздух, и Карлиль невольно задержал дыхание. До этого он не осознавал, что она прыгнула с сорока футов. Ему казалось, что до того мгновения, когда послышался короткий звук, означавший, что она вынырнула, прошла вечность.

Услышав ее негромкий смех где-то сбоку от утеса, он вздохнул с облегчением и осознал, что любит ее.

VI

Не преследовавшее никаких целей время сыпалось песком сквозь их пальцы на протяжении трех дней. Когда спустя час после рассвета солнце показывалось в иллюминаторе каюты Ардиты, она с радостью вставала, надевала купальный костюм и шла на палубу. Увидев ее, негры оставляли работу и толпились у борта, хихикая и тараторя, в то время как она плавала, подобно проворной рыбке, то исчезая, то возникая над поверхностью воды. Когда наступала вечерняя прохлада, она снова шла плавать и бездельничать вместе с Карлилем, покуривая на утесе, или же просто болтала с ним ни о чем, лежа на песке южного пляжа, а в основном занимаясь созерцанием того, как ярко и драматично день погружается в безграничную тишину тропического вечера.

Под действием долгих, заполненных солнцем часов Ардита перестала считать это происшествие нелепой случайностью, оно стало оазисом романтики в пустыне реальности. Она боялась, что скоро настанет момент, когда он отправится на юг; она стала страшиться всех непредвиденных обстоятельств, которые могли возникнуть на его

пути; мысли были неожиданно беспокойными, а все решения представлялись ненавистными. Если бы среди варварских ритуалов, открытых ее душе, нашлось бы место молитве, она просила бы только о том, чтобы на некоторое время все оставалось неизменным. Она и сама не заметила, что привыкла принимать как данное готовый поток наивной философии Карлиля, рожденной его мальчишеским воображением и расположением к мономании, которое, казалось, проходило главной артерией сквозь весь его характер и окрашивало каждое его действие.

Но этот рассказ вовсе не о двоих на острове; любовь, порождаемая изоляцией, не главное. Главное – это две личности, и идиллическое место действия среди пальм на пути Гольфстрима – всего лишь случайное обстоятельство. Большинство из нас вполне довольны одной только возможностью существовать, плодиться, а также бороться за право это делать, но доминирующая идея, подспудное желание управлять чужими судьбами, выпадает на долю лишь счастливым – или не очень? – немногим. Для меня самое интересное в Ардите – это смелость в столкновении с ее красотой и молодостью.

– Возьми меня с собой! – сказала она в один из вечеров, когда они лениво сидели на траве под одной из даривших днем тень пальм.

Негры привезли на берег свои музыкальные инструменты, и звуки диковинного рэгтайма медленно плыли окрест, смешиваясь с теплым дыханием ночи.

– Мне хотелось бы появиться здесь снова, через десять лет, в образе сказочно богатой и знатной индианки, – продолжила она.

Карл иль бросил на нее быстрый взгляд:

– Ты же знаешь, что ты можешь сделать это.

Она рассмеялась:

– Это предложение руки и сердца? Экстра-класс! Ардита Фарнэм становится невестой пирата! Девушка из общества похищена музыкантом – потрошителем банков!

– Это был не банк.

– А что это было? Почему ты не хочешь мне рассказать?

– Я не хочу разрушать твоих иллюзий.

– Мой дорогой, у меня насчет тебя нет никаких иллюзий.

– Я имел в виду твои иллюзии насчет себя самой.

Она удивленно посмотрела на него:

– Насчет меня? Да что я вообще могу иметь общего с бог знает каким криминалом, которым занимался ты?

– Поживем – увидим!

Она встала и погладила его по руке.

– Дорогой мистер Картис Карлиль, – тихо сказала она, – вы что, в меня влюбились?

– Как будто это что-то значит.

– Но это действительно значит – потому что я думаю, что я тебя люблю.

Он иронично посмотрел на нее.

– Таким образом, ваш счет в январе составит ровно полдюжины, – предположил он. – Думаете, я приму ваш блеф и попрошу поехать со мной в Индию?

– Уверена!

Он пожал плечами:

– Можно пожениться в Калао.

– Какую жизнь ты можешь мне предложить? Я не хочу тебя обидеть, я совершенно серьезно: что будет со мной, если те, кто очень хотят получить награду в двадцать тысяч, когда-нибудь достигнут своей цели?

– Я думал, что ты ничего не боишься.

– А я и не боюсь, просто не хочу потратить свою жизнь впустую ради того, чтобы это доказать.

– Как бы я хотел, чтобы ты была из бедных. Обычной бедной девочкой, мечтающей в тени забора где-нибудь в южной глубинке.

– Так было бы лучше?

– Я бы получал удовольствие от твоего изумления – просто наблюдая, как твои глаза широко раскрывались бы, глядя на вещи. Если бы они были тебе нужны! Понимаешь?

– Кажется. Как у девушек, рассматривающих витрины ювелирных магазинов?

– Да. Которым хочется иметь овальные часы из платины и чтобы по краям – изумруды. И как только ты решила бы, что они слишком дороги, и выбрала бы что-нибудь из белого золота за сотню долларов, я бы сказал: «Слишком дорогие? Ну нет!» И мы бы зашли в магазин, и очень скоро платина бы матово засияла на твоем запястье.

– Это звучит так мило и вульгарно – и смешно, не правда ли? – промурлыкала Ардита.

– Не правда ли? Да ты только представь себе, как мы путешествуем по миру, разбрасывая деньги направо и налево, боготворимые посыльными и официантами! О, блаженны простые богачи, ибо они наследуют землю!

– Я действительно хочу, чтобы так все и было.

– Я люблю тебя, Ардита, – нежно сказал он.

На мгновение детскость пропала с ее лица, – оно стало необычно серьезным.

– Мне нравится быть с тобой, – сказала она, – больше, чем с любым другим мужчиной из всех, каких я только встречала. И мне нравятся твои глаза, и твои темные волосы, и как ты перескакиваешь через борт, когда мы сходим на берег. Фактически, Картис Карлиль, мне нравится в тебе все, когда ты ведешь себя естественно. Я думаю, что у тебя сильная воля, и ты знаешь, как я это ценю. Иногда рядом с тобой меня одолевает искушение неожиданно поцеловать тебя и сказать тебе, что ты – просто мальчишка, голова которого набита идеалами и всяким вздором о классовых различиях. Если бы я была немного старше и немного более устала от жизни, я бы, вероятно, пошла с тобой. Но сейчас я хочу вернуться домой и выйти замуж – за другого.

На той стороне посеребренного залива в лунном свете извивались и корчились фигуры негров, – они не могли не повторять свои трюки от переизбытка нерастраченной энергии, как акробаты, которым пришлось провести много времени в бездействии. Они все, как один, маршировали, описывая концентрические окружности, то забросив головы назад, то нависая над своими инструментами, как пасторальные фавны. Тромбон и саксофон вторили друг другу, рождая мелодию, то буйно-веселую, то назойливо-жалостную, как пляска смерти в сердце Конго.

– Давай потанцуем! – крикнула Ардита. – Я не могу спокойно слушать такой шикарный джаз!

Взяв ее за руку, он привел ее на широкий участок твердого песчаника, который ярко сверкал под луной. Они порхали, как прекрасные мотыльки в ярком сумрачном свете, и фантастическая гармония, плачущая и ликующая, дрожащая и отчаянная, заставила

Ардиту потерять чувство реальности; она полностью отдалась исполненным грез ароматам тропических цветов и безграничным звездным пространствам над головой, чувствуя, что если она откроет глаза, то может оказаться, что она танцует с призраком на планете, созданной ее собственным воображением.

– Вот так я себе и представлял настоящий танец, – прошептал он.

– Я чувствую, что схожу с ума, и мне так здорово!

– Мы заколдованы. Тени бесчисленных поколений каннибалов наблюдают за нами с высоты того утеса.

– Бьюсь об заклад, каннибалки говорят, что мы танцуем слишком близко друг к другу и что я выгляжу совершенно непристойно без кольца в носу.

Они оба тихо рассмеялись – но смех утих, когда они услышали, что на той стороне озера звуки тромбонов замерли на полуноте, а саксофоны издали резкие стоны и тоже замолчали.

– Что случилось? – крикнул Карлиль.

Ответа не последовало, но через минуту они заметили человека, бежавшего по берегу серебрящегося в лунном свете озера. Когда он приблизился, они увидели, что это был необыкновенно возбужденный Бэйб. Он перешел на шаг и выпалил свои новости:

– В полумиле стоит корабль, сэр. Моуз, он на вахте, сказал, что они бросили якорь.

– Корабль… Что за корабль? – обеспокоенно спросил Карлиль.

В его голосе слышалось смятение, и сердце Ардиты забилось сильнее, когда она увидела, что лицо его осунулось.

– Он говорит, что не знает, сэр.

– Они спустили шлюпку?

– Нет, сэр.

– Поднимаемся наверх! – сказал Карлиль.

Они молча поднялись на холм, и рука Ардиты после танца все еще лежала в руке Карлиля. Она чувствовала, как нервно он сжимает ее время от времени, как будто не отдавая себе отчета, и, хотя ей было немного больно, она даже не пыталась освободиться. Казалось, прошел час, пока они взобрались на вершину, осторожно переползли освещенную площадку и оказались у края скалы. Бросив взгляд на море, Карлиль невольно вскрикнул. Это был пограничный катер с шестидюймовыми пушками на носу и на корме.

– Они знают! – сказал он, шумно вздохнув. – Они знают! Нас каким-то образом выследили.

– Ты уверен, что они знают про расщелину? Они могли просто бросить якорь, чтобы взглянуть на остров при солнечном свете. Оттуда, где они стоят, расщелина не видна.

– Видна, если посмотреть в бинокль, – безнадежно произнес он. Затем он взглянул на часы: – Сейчас почти два. Они ничего не предпримут до рассвета, в этом я уверен. Конечно, остается еще слабая надежда на то, что они просто ждут какой-то другой корабль – может, угольщик…

– Пожалуй, переночуем прямо здесь.

Спустя два часа они лежали все там же, бок о бок, уткнув подбородки в локти, как это часто делают дети во сне. Позади сидели негры, спокойные, молчаливые и покорные судьбе, время от времени извещавшие звонким храпом о том, что даже опасность не покорит непобедимую африканскую склонность ко сну.

Около пяти утра к Карлилю подошел Бэйб. Он сказал, что на борту «Нарцисса» есть полдюжины винтовок. Было ли принято решение не оказывать сопротивления? Хорошую драку можно было бы устроить, сказал он, если заранее разработать план.

Карлиль рассмеялся и покачал головой:

– Это не кучка шпиков, Бэйб. Это пограничный катер. Это все равно, что лук со стрелами выставить против пулемета. Если ты хочешь где-нибудь спрятать мешки, чтобы потом их забрать, давай, действуй. Но это вряд ли сработает, – они перекопают остров вдоль и поперек. Битва проиграна, Бэйб. – Бэйб молча поклонился и развернулся, а Карлиль повернулся к Ардите и хрипло сказал:

– Это мой самый лучший друг. Он с радостью отдал бы за меня жизнь, если бы я ему позволил.

– Вы сдаетесь?

– У меня нет выбора. Конечно, выход есть всегда – самый надежный выход, – но это подождет. Я ни за что не пропущу суд над собой – это будет интересное испытание славой, пусть и дурной. «Мисс Фарнэм свидетельствует, что пират все это время относился к ней как джентльмен».

– Не надо! – сказала она. – Мне ужасно жаль…

Когда небо поблекло и матово-синий цвет сменился свинцово-серым, на палубе корабля стало наблюдаться какое-то движение, а у борта появились офицеры в белых парусиновых костюмах. В их руках были бинокли, они внимательно изучали островок.

– Вот и все, – мрачно промолвил Карлиль.

– Черт возьми! – прошептала Ардита. Она почувствовала, что слезы подступают к глазам.

– Мы возвращаемся на яхту, – сказал он. – Я предпочитаю, чтобы меня взяли там, а не гнали по земле, как опоссума.

Оставив площадку, они спустились к подножию холма, дошли до озера и сели в шлюпку, в которой притихшие негры доставили их на яхту. Затем, бледные и измученные, они уселись на канапе и стали ждать.

Спустя полчаса в предрассветных сумерках из устья канала показался нос пограничного катера, который сразу же остановился, явно опасаясь, что бухта может оказаться для него слишком мелка. Но, увидев яхту, мирно качавшуюся на волнах, мужчину и девушку на канапе и негров, с праздным любопытством слонявшихся по палубе, на катере решили, что сопротивления не будет, и с обоих бортов небрежно спустили две шлюпки, в одной из которых находился офицер с шестью матросами, а в другой – четверо гребцов и двое седовласых мужчин в костюмах яхтсменов на корме. Ардита и Карлиль поднялись и, сами того не сознавая, прильнули друг к другу. Затем он неожиданно сунул руку в карман, извлек оттуда круглый, блестящий предмет и подал его ей.

– Что это? – удивилась она.

– Я не уверен, но, судя по русским буквам, которые можно разглядеть на внутренней стороне, думаю, что это обещанный вам браслет.

– Откуда… откуда вы….

– Он из этих сумок. Видите ли, «Картис Карлиль и шесть черных малышей» прямо во время своего выступления в холле отеля «Палм-Бич» неожиданно сменили инструменты на автоматы и ограбили зрителей. Я взял этот браслет у симпатичной, сильно напудренной рыжеволосой леди.

Ардита нахмурилась а затем улыбнулась:

– Так вот что вы сделали! Да, смелости вам не занимать.

Он поклонился.

– Свойственное всем буржуа качество, – сказал он.

А затем на палубу косо упал рассвет, расшвыривая по серым углам дрожащие тени. Утренняя роса превратилась в золотой туман, невесомый, как сон, окутавший их так, что они стали похожи на призрачные тени прошедшей ночи, бесконечно мимолетные и уже поблекшие. В это мгновение и море, и небо погрузились в тишину, будто рассвет своей розовой ладошкой прикрыл дыхание жизни, а затем из бухты донеслись жалобные стоны уключин и плеск весел.

На фоне золотого горнила, запылавшего с востока, их грациозные фигуры неожиданно слились в одну, и он поцеловал ее прямо в капризно изогнутые губы.

– Я как в раю, – пробормотал он через секунду.

Она улыбнулась ему:

– Счастлив, да?

И ее вздох стал благословением – экстатической уверенностью в том, что в этот момент она была, как никогда, юна и прекрасна. Еще мгновение жизнь была лучезарной, а время – призрачным, и их сила – бесконечной, а затем раздался глухой удар и царапающий звук шлюпки, вставшей у борта.

По трапу вскарабкались двое седовласых мужчин, офицер и пара матросов, державших в руках револьверы. Мистер Фарнэм раскрыл было руки для объятий, но остановился, глядя на племянницу.

– Н-да, – сказал он, медленно опустив голову.

Она со вздохом отстранилась от Карлиля, и ее взгляд, преображенный и отсутствующий, упал на поднявшихся на борт. Дядя заметил, как ее губы высокомерно искривились – ему была знакома эта гримаса.

– Итак, – с чувством произнес он, – вот как ты, оказывается, представляешь себе романтику. Убежать ото всех и завести роман с морским разбойником.

Ардита беззаботно посмотрела на него.

– Какой же ты старый и глупый, – негромко сказала она.

– Это все, что ты намерена сказать в свою защиту?

– Нет, – сказала она, как бы задумавшись. – Нет, есть кое-что еще. То самое хорошо тебе известное выражение, которым я заканчивала

большинство наших разговоров на протяжении последних нескольких лет, – «Отстань!».

И с этим она, бросив быстрый презрительный взгляд на двух стариков, офицера и обоих матросов, развернулась и гордо сошла по трапу вниз, в кают-компанию.

Но если бы она задержалась еще на миг, то смогла бы услышать нечто, что было совершенно несвойственно ее дядюшке в подобных ситуациях. Он весело, от всего сердца, рассмеялся, а через секунду к нему присоединился и второй старик.

Он проворно повернулся к Карлилю, который, как ни странно, наблюдал всю эту сцену, тоже еле сдерживая смех.

– Ну что, Тоби, – сказал он добродушно, – неизлечимый ты мой романтик и неосторожный мечтатель, ты действительно нашел то, что надо?

Карл иль утвердительно улыбнулся:

– Естественно. Я был совершенно в этом уверен уже тогда, когда впервые услышал ее бурную биографию. Вот почему вчера я поручил Бэйбу запустить ракету.

– Я рад за тебя, – серьезно произнес полковник Морлэнд. – Мы все время держались поближе к тебе на случай, если бы вдруг у тебя возникли какие-нибудь проблемы с этими шестью непонятными неграми. Мы так и думали, что застанем вас в каком-нибудь… положении вроде этого, – вздохнул он. – Н-да, рыбак рыбака видит издалека.

– Мы с твоим отцом не спали всю ночь, надеясь на лучшее… или, уж скорее, на худшее. Бог знает, почему она тебе так понравилась, мой мальчик. Я от нее чуть с ума не сошел. Ты подарил ей этот русский браслет, который детектив добыл у девицы Мими?

Карл иль кивнул.

– Тсс! – сказал он. – Она поднимается на палубу.

Ардита показалась на трапе и бросила непроизвольный взгляд на запястья Карлиля. На ее лице появилось озадаченное выражение. На корме негры затянули песню, и их низкие голоса эхом отдавались от поверхности чистой прохладной воды.

– Ардита, – неуверенно начал Карлиль.

Она сделала шаг по направлению к нему.

– Ардита, – повторил он, задержав дыхание, – я должен сказать тебе правду. Все это было выдумкой. Меня зовут не Карлиль. Я – Морлэнд, Тоби Морлэнд. Ардита, вся эта история родилась… Родилась из призрачного тумана Флориды.

Она уставилась на него, ничего не понимая, не веря, и краска гнева стала волнами подниматься на ее лицо. Трое мужчин затаили дыхание. Морлэнд-старший шагнул к ней; рот мистера Фарнэма приоткрылся в паническом ожидании краха всего плана.

Но ничего не случилось. Ардита просияла, улыбнулась, быстро подошла к Морлэнду-младшему и посмотрела на него. В ее серых глазах не было и намека на гнев.

– Ты можешь поклясться, – негромко сказала она, – что все это – продукт твоего собственного воображения?

– Клянусь, – пылко ответил Морлэнд.

Она опустила глаза и нежно его поцеловала.

– Какая фантазия! – тихо, с завистью в голосе сказала она. – Хочу, чтобы ты всю жизнь так же мило мне лгал!

Донеслись негромкие голоса негров, слившиеся в воздухе в песню, которую она уже слышала.

Время, ты – вор.
Радость и боль
Подобны листве,
Что желтеет…

– А что же было в сумках? – нежно спросила она.

– Флоридский песок, – ответил он. – Два раза я все же сказал тебе правду.

– И кажется, я догадываюсь, когда был второй раз, – сказала она; затем, встав на цыпочки, она нежно поцеловала… *журнальную иллюстрацию.*

Ледяной дворец

I

Солнечный свет стекал по дому, словно золотая краска по расписной вазе, а лежавшие то тут, то там пятна тени лишь усиливали ощущение неподвижности в солнечной ванне. Примыкавшие друг к другу дома Баттервортов и Ларкинов скрывались за высокими и густыми деревьями; от солнца не прятался лишь дом Хопперов, дни напролет с добродушным и бесконечным терпением глядевший на пыльную дорогу. В городе Тарлтон, на самом юге штата Джорджия, стоял сентябрьский день.

В окне спальни второго этажа Салли Кэррол Хоппер, опираясь своим девятнадцатилетним подбородком о пятидесятидвухлетний подоконник, наблюдала, как выворачивает из-за угла древний «форд» Кларка Дэрроу. Машина нагрелась: металлические детали собирали все поглощаемое из воздуха и выпускаемое изнутри тепло; на лице Кларка Дэрроу, сидевшего за рулем прямо, как стрела, замерло страдальческое утомленное выражение, словно он считал себя одной из этих деталей и собирался вот-вот выйти из строя. Кларк старательно перевалил через две пыльные дорожные колеи – колеса при этом негодующе взвизгнули, а затем с ошарашенным выражением в последний раз повернул руль, замерев вместе с автомобилем почти точно перед ступеньками крыльца Хопперов. Раздался жалобный высокий звук, похожий на предсмертный хрип, за ним последовала недолгая тишина; затем воздух разорвал резкий гудок.

Салли Кэрролл полусонно посмотрела вниз. Она хотела было зевнуть, но, поскольку это было невозможно сделать, не отрывая подбородка от подоконника, она передумала и продолжила молча смотреть на автомобиль, владелец которого все с тем же небрежным изяществом сидел по стойке «смирно», ожидая ответа на поданный

сигнал. Через некоторое время гудок клаксона вновь разорвал насыщенный пылью воздух.

– Доброе утро.

Кларк с трудом развернул свое длинное туловище и искоса посмотрел на окно:

– Уже не утро, Салли Кэрролл!

– Да неужели? Ты уверен?

– Что делаешь?

– Яблоко ем.

– Хочешь, поедем купаться?

– Пожалуй.

– Тогда поторопись!

– Конечно.

Салли Кэрролл издала долгий вздох и вяло поднялась с пола, на котором все это время лежала, занимая себя попеременно то уничтожением нарезанных долек зеленого яблока, то раскрашиванием бумажных конусов для младшей сестры. Она подошла к зеркалу, посмотрела на себя с самодовольной и приятной томностью, чуть подкрасила помадой губы и припудрила нос. Затем украсила свои коротко стриженные светлые волосы панамой с разбросанными по ней в беспорядке розочками. Случайно опрокинула баночку с водой, сказала: «Черт возьми!» – но поднимать не стала и вышла из комнаты.

– Ну как ты, Кларк? – спросила она через минуту, ловко вскочив в машину сбоку.

– Отлично, Салли Кэрролл!

– Куда поедем купаться?

– В бассейн Уолли. Я договорился с Мэрилин, что мы заедем за ней и Джо Эвингом.

Кларк был худой и темноволосый, а когда стоял, слегка сутулился. У него был несколько зловещий и нахальный взгляд – если только на лице не сияла его обычная изумительная улыбка. Кларк обладал «доходом»: его хватало, чтобы ничего не делать, но при этом оплачивать бензин для машины. Поэтому два года после окончания Технологического института штата Джорджия он провел, вальяжно разгуливая по ленивым улочкам родного городка и беседуя о том, как бы получше вложить свой капитал и побыстрее превратить его в состояние.

Слоняться без дела ему было отнюдь не тяжело; девчонки из его детства теперь подросли и превратились в красавиц, и первой среди них стала изумительная Салли Кэрролл; все они были в восторге, когда их приглашали поплавать, потанцевать или же просто погулять в летние вечера, наполненные ароматами цветов, и всем им очень нравился Кларк. Когда девичья компания приедалась, рядом всегда оказывалось с полдюжины парней, которые все поголовно тоже вот-вот собирались заняться каким-нибудь делом, ну а пока с неизменным энтузиазмом присоединялись к Кларку: то поиграть в гольф, то в бильярд, а то и просто распить кварту местного кукурузного виски. Время от времени кто-нибудь из этих сверстников совершал круг прощальных визитов перед отъездом в Нью-Йорк, в Филадельфию или в Питтсбург или же перед наймом на работу; но в основном все они так и продолжали слоняться по улицам среди медлительного шествия сонных небес, мерцания вечерних светлячков и шума негритянских голосов на уличных ярмарках – и особенно среди милых и нежноголосых девушек, в воспитание которых было вложено много воспоминаний, а не денег.

«Форд» завелся, выразив звуком все свое негодование от того, что его побеспокоили. Кларк и Салли Кэрролл с грохотом покатили вдоль по Уэлли-авеню к Джефферсон-стрит, где пыльный проселок переходил в мостовую; проехали по снотворному кварталу Миллисент-плейс, состоявшему из полудюжины богатых и солидных особняков; затем выехали в центр города. Здесь движение становилось опасным, потому что в этот час все спешили за покупками: беспечные горожане лениво бродили по улицам, перед безмятежным трамваем пастух гнал стадо негромко мычащих коров; даже лавки, казалось, зевали дверными проемами и моргали витринами на солнце, погружаясь в состояние абсолютной и окончательной комы.

– Салли Кэрролл, – вдруг произнес Кларк, – а правда, что ты помолвлена?

Она бросила на него быстрый взгляд:

– Это кто тебе сказал?

– Какая разница? Так ты помолвлена?

– Ну и вопрос!

– Одна девушка мне рассказала, что ты помолвлена с янки, с которым познакомилась в Ашвилле прошлым летом.

Салли Кэрролл вздохнула:

– Не город, а большая деревня!

– Не выходи за янки, Салли Кэрролл! Ты нужна нам здесь!

Салли Кэрролл на мгновение задумалась.

– Кларк, – вдруг сказала она, – а за кого же мне тогда выходить, а?

– Могу предложить свои услуги.

– Милый, ну и как ты собираешься содержать жену? – весело ответила она. – Кроме того, я тебя так хорошо знаю, что не могу в тебя влюбиться!

– Но это не значит, что ты должна выходить замуж за янки! – продолжал он.

– А если я его люблю?

Он покачал головой:

– Это невозможно. Они на нас совсем не похожи – ни капельки.

Он умолк, остановив машину перед просторным обветшалым домом. В дверях показались Мэрилин Уэйд и Джо Эвинг.

– Привет, Салли Кэрролл!

– Привет!

– Как дела?

– Салли Кэрролл, – спросила Мэрилин, едва они тронулись в путь, – ты помолвлена?

– Боже мой, да кто распустил эти слухи? Стоит мне лишь взглянуть на мужчину, как весь город тут же начинает судачить о моей помолвке!

Кларк смотрел прямо перед собой, с преувеличенным вниманием изучая болтик на громыхавшем ветровом стекле.

– Салли Кэрролл, – произнес он с необычным напряжением, – разве мы тебе не нравимся?

– Что?

– Мы, твои друзья, здесь?

– Кларк, ты же знаешь, что это не так! Я обожаю вас всех, всех здешних парней!

– Тогда почему ты согласилась на помолвку с янки?

– Кларк, я не знаю. Я не очень представляю, что меня ждет, но я хочу везде побывать, повидать людей. Я хочу развиваться. Хочу жить там, где происходят всякие важные вещи.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ох, Кларк… Я люблю тебя, и люблю Джо, и Бена Аррота тоже, и вообще всех вас люблю, но ведь вы… Вы все…

– Мы все неудачники?

– Да. Я говорю не только о деньгах, но и том, что вы все… не ищете ничего, ничего не хотите достичь, и это очень печально… Ну как мне тебе объяснить?

– И ты так считаешь потому, что мы все живем тут, в Тарлтоне?

– Да, Кларк. И еще потому, что вам здесь все нравится и вы не хотите ничего менять, ни о чем не думаете и никуда не двигаетесь.

Он кивнул, а она потянулась и сжала его руку.

– Кларк, – нежно сказала она, – я ни за что на свете не смогла бы тебя изменить. Ты и так очень милый. И все, что приведет тебя к неудаче, я всегда буду любить: и то, что ты живешь прошлым, и дни и вечера, наполненные ленью, и твою беспечность, и твою щедрость.

– Но все же ты хочешь уехать?

– Да. Потому что я никогда не выйду за тебя замуж. В моем сердце ты занимаешь то место, которое не сможет занять никто другой, но, если мне придется здесь остаться, я никогда не успокоюсь. Я всегда буду чувствовать, что трачу свои силы зря. Видишь ли, у моей души есть две стороны. Одна из них – сонная и медлительная, та, которую любишь ты; вторая – энергичная, которая толкает меня на всякие дикие поступки. И эта моя черта где-нибудь обязательно пригодится и останется со мной, когда исчезнет моя красота.

Салли Кэрролл умолкла с характерной внезапностью, вздохнув: «Ну, слава богу!» – ведь ее настроение уже изменилось.

Прикрыв глаза и откинув голову назад, на спинку сиденья, она отдалась во власть благоухающего ветерка, обдувавшего ее веки и взъерошивавшего мягкие завитки ее коротко стриженных волос. Они уже выехали из города; дорога петляла между спутанной порослью ярко-зеленого кустарника, травы и высоких деревьев, листва которых хранила приятную прохладу. То тут, то там мелькали убогие негритянские хижины, у дверей которых восседали седовласые старцы, покуривая трубочки из высушенных кукурузных початков, а в нестриженой траве неподалеку с полдюжины скудно одетых негритят играли с оборванными тряпичными куклами. Вдалеке виднелись ленивые хлопковые поля, на которых даже работники казались неосязаемыми тенями, которые солнце дарило земле, но не для тяжких

трудов, а лишь для того, чтобы поддержать вековую традицию золотых сентябрьских дней. И над всей этой усыпляющей живописностью, над деревьями, лачугами и илистыми водами рек, царило тепло – не враждебное, но приятное, словно огромное теплое материнское лоно матушки-земли.

– Салли Кэрролл, приехали!

– Бедная детка утомилась и уснула!

– Милая, так ты все-таки смогла умереть от лени?

– Вода, Салли Кэрролл! Прохладная водичка ждет тебя!

Она открыла сонные глаза.

– Привет! – пробормотала она, улыбаясь.

II

В ноябре с севера страны на четыре дня приехал Гарри Беллами – высокий, широкоплечий и энергичный. Он намеревался уладить дело, которое откладывалось с середины прошлого лета – с тех самых пор, как в Ашвилле, что в штате Северная Каролина, он познакомился с Салли Кэрролл.

Улаживание заняло всего лишь один тихий день и вечер перед горящим камином, поскольку Гарри Беллами обладал всем, что было нужно Салли Кэрролл; кроме того, она его любила. Его любила та часть ее души, которая предназначалась у нее специально для любви. Душа Салли Кэрролл обладала несколькими хорошо различимыми частями.

В последний день перед его отъездом они пошли гулять, и она обнаружила, что ноги сами несут ее к одному из любимых мест: к кладбищу. Когда в веселых лучах солнца показались серо-белые камни и зелено-золотистая ограда, она в нерешительности остановилась у железных ворот.

– Гарри, а ты легко поддаешься печали? – спросила она, чуть улыбнувшись.

– Печали? Ни в коем случае!

– Ну тогда пойдем. На некоторых это место нагоняет тоску, но мне здесь нравится.

Они прошли через ворота и пошли по дорожке, петлявшей среди долины могил: серых и старомодных – пятидесятых годов; причудливо изрезанных цветами и вазами – семидесятых; могилы девяностых были богато украшены навеки прикорнувшими на каменных подушках ужасными толстенькими херувимами из мрамора и огромными гирляндами безымянных гранитных цветов. Кое-где виднелись склоненные фигуры с букетами в руках, но большинство могил было окутано тишиной и укрыто опавшей листвой, издававшей аромат, пробуждающий у живых лишь призрачные воспоминания.

Они поднялись на вершину холма и остановились перед высоким округлым надгробием, усыпанным темными влажными пятнами и полускрытым опутавшими его вьющимися стеблями.

– Марджори Ли, – прочитала она вслух. – 1844–1873. Она была красавицей, наверное… Умерла в двадцать девять лет. Милая Марджори Ли! – нежно добавила она. – Можешь ее представить, Гарри?

– Да, Салли Кэрролл!

Он почувствовал, как узкая ладонь сжала его руку.

– Я думаю, у нее были светлые волосы, и она всегда вплетала в них ленту, и носила пышные небесно-голубые и лилово-розовые юбки с фижмами.

– Да!

– Ах, какая же она была милая, Гарри! Она была рождена для того, чтобы стоять на широком крыльце с колоннами и звать гостей в дом. Думаю, что много кавалеров ушло на войну, надеясь к ней вернуться; но, видно, вернуться так никому и не удалось.

Он наклонился поближе к камню, пытаясь найти хоть какую-нибудь запись о замужестве:

– Больше ничего не написано.

– Ну разумеется, ничего! Что может быть лучше, чем просто «Марджори Ли» и эти красноречивые даты?

Она придвинулась к нему поближе, и когда ее светлые волосы коснулись его щеки, у него к горлу неожиданно подкатил комок.

– Теперь ты и правда видишь ее, Гарри?

– Вижу, – тихо отозвался он. – Я вижу ее твоими чудесными глазами. Ты сейчас так красива, и я знаю, что и она была так же прекрасна!

Они молча стояли рядом, и он чувствовал, как ее плечи слегка подрагивают. Ленивый ветерок взлетел по склону холма и качнул широкие поля ее шляпы.

– Пойдем туда!

Она показала на ровный участок с другой стороны холма, где по зеленому дерну вдаль уходили бесконечные правильные ряды из тысячи серовато-белых крестов, словно сложенные в козлы винтовки батальонов.

– Это могилы конфедератов, – просто сказала Салли Кэрролл.

Они пошли вдоль рядов, читая надписи: почти везде были лишь имена и даты, кое-где уже почти неразличимые.

– Последний ряд самый печальный – вон там, смотри. На каждом кресте только дата и слово: «Неизвестный». – Она посмотрела на него, и в глазах у нее застыли слезы. – Я не смогу тебе объяснить, почему я так живо все это представляю, милый, попробуй понять так…

– Что ты о них думаешь – это прекрасно!

– Нет-нет, дело вовсе не во мне – дело в них; я просто стараюсь воскресить в себе старые времена. Это ведь были просто люди, и вовсе не важные, иначе там не написали бы «неизвестный». Они отдали свои жизни за самое прекрасное, что только есть в мире: за угасший Юг! Видишь ли, – продолжала она, и ее голос стал хриплым, а в глазах опять блеснули слезы, – людям свойственно овеществлять мечты, и с этой мечтой я родилась и выросла. Это было просто, потому что все это было мертвым и не могло грозить мне разочарованиями. Я пыталась жить по этим ушедшим стандартам – знаешь, как в поговорке: «положение обязывает». Здесь у нас ведь кое-что осталось, словно увядающие кусты роз в старом заросшем саду: учтивость и рыцарство у некоторых из наших парней, рассказы одного старого солдата из армии конфедератов, жившего по соседству, и старые негры, еще помнящие те времена… Ах, Гарри, какая же здесь была

жизнь, что за жизнь! Я никогда не смогу тебе объяснить, но здесь было что-то особенное!

– Я понимаю, – вполголоса ответил он.

Салли Кэрролл улыбнулась и вытерла слезы краешком платка, торчавшего из кармана у него на груди:

– Ты не загрустил, любимый мой? Даже если я плачу, мне здесь очень хорошо; здесь я черпаю какую-то силу.

Взявшись за руки, они развернулись и медленно пошли обратно. Увидев мягкую траву, она потянула его за руку и усадила рядом с собой, у остатков низкой полуосыпавшейся стены.

– Скорее бы эти три старушки ушли, – сказал он. – Я хочу поцеловать тебя, Салли Кэрролл!

– Я тоже хочу.

Они в нетерпении ждали, пока удалятся три согбенные фигуры, а затем она целовала его, пока небо не растворилось в сумерках и экстаз бесконечных секунд не затмил все ее улыбки и слезы.

Потом они медленно шли обратно, а по углам сумерки разыгрывали усыпляющую партию в черно-белые шашки с остатками дня.

– Приезжай в середине января, – сказал он. – Погостишь у нас месяц или больше. Будет здорово! Будет зимний карнавал, и если ты никогда не видела настоящего снега, то тебе покажется, что ты попала в сказку. Будем кататься на коньках, на лыжах, на санках с горок, на больших санях, будут факельные шествия и парады на снегоступах. Такой праздник не устраивали уже много лет, так что будет потрясающе!

– А я не замерзну, Гарри? – неожиданно спросила она.

– Конечно нет! Разве что нос замерзнет, но до костей не проберет. Климат у нас суровый, но сухой.

– Я ведь дитя лета… Мне никогда не нравился холод.

Она умолкла; они оба некоторое время молчали.

– Салли Кэрролл, – медленно произнес он, – что ты скажешь: может быть, в марте?

– Скажу, что я люблю тебя!

– Значит, в марте?

– Да, в марте, Гарри.

III

Всю ночь в пульмановском вагоне было очень холодно. Она вызвала проводника, попросила еще одно одеяло, но одеял больше не было, и, вжавшись поглубже в мягкую вагонную койку и сложив вдвое свое единственное одеяло, она тщетно попыталась уснуть хоть на пару часов. С утра необходимо было выглядеть как можно лучше.

Проснувшись в шесть и натянув на себя отдававшую холодом одежду, она, спотыкаясь, пошла в вагон-ресторан выпить чашку кофе. Снег просочился в тамбуры и покрыл пол скользкой коркой льда. Этот холод завораживал – он проникал везде! Выдох превращался в осязаемое и видимое облако, и, глядя на него, она испытывала наивное удовольствие. Сев за столик в вагоне-ресторане, она стала смотреть в окно на белые холмы, долины и разбросанные по ним сосны, каждый сук которых представлял собой зеленое блюдо для изобильной порции холодного снега. Иногда мимо пролетали уединенные домики, безобразные, унылые и одинокие посреди белой пустыни; видя их, она всякий раз чувствовала укол пронзительного сострадания к душам, запертым внутри в ожидании весны.

Покинув вагон-ресторан, она, покачиваясь, пошла обратно в свой вагон – и почувствовала внезапный прилив энергии; наверное, это была та самая бодрость, о которой говорил Гарри, подумала она. Ведь она была на Севере – и этот Север теперь станет ее домом!

«Дуй, ветер, дуй – хей-хо! Мы едем далеко!» – с ликованием пропела она себе под нос.

– Что-что, простите? – вежливо переспросил проводник.

– Я попросила почистить пальто – будьте так любезны!

Количество длинных проводов на телеграфных столбах удвоилось; бежавшие рядом с поездом два пути превратились в три, затем в четыре; пронеслась мимо группа домов с белыми крышами, мелькнул

троллейбус с замерзшими стеклами, показались улицы – еще улицы – а вот и город.

Выйдя на замерзшую платформу, от неожиданности она так и застыла; затем рядом с ней появились три закутанные в мех фигуры.

– А вот и она!

– Ах, Салли Кэрролл!

Салли Кэрролл уронила свою сумку прямо на перрон:

– Привет!

Ледяной поцелуй, едва знакомые глаза – и вот ее уже окружают лица, испускающие огромные клубы густого пара; она жмет руки. Ее встречали Гордон – энергичный мужчина лет тридцати, низкого роста, выглядевший, словно грубое подобие Гарри, – и его жена, Майра, апатичная леди со светлыми волосами, выбивавшимися из-под меховой шапки. Салли Кэрролл тут же решила, что Майра, наверное, родом из Скандинавии. Веселый шофер принял ее сумку, и, среди рикошетов неоконченных фраз, восклицаний и вежливо-равнодушных «дорогая моя» Майры, все покинули платформу.

И вот они уже садятся в седан; и вот машина несется по извилистым заснеженным улицам, и дюжины мальчишек, чтобы прокатиться, цепляют свои санки к фургонам бакалейщиков и автомобилям…

– Ах! – воскликнула Салли Кэрролл. – Я тоже так хочу! Можно, Гарри?

– Но это же детская забава… Хотя мы можем, конечно…

– Мне кажется, это так весело, – с сожалением сказала она.

Просторный каркасный дом стоял в заснеженной лощине; ее встретил высокий, седовласый мужчина, к которому она сразу же прониклась симпатией, и дама, похожая на яйцо, расцеловавшая ее; это были родители Гарри. Затем последовал полный напряжения неописуемый час, заполненный обрывками фраз, горячей водой, яичницей с грудинкой и смущением; затем она оказалась наедине с Гарри в библиотеке и спросила, можно ли здесь курить.

Библиотека была просторной; над камином висела Мадонна, а по стенам шли ряды книг в поблескивающих тисненым золотом красных переплетах. На всех креслах в тех местах, где должна была покоиться голова сидящего, висели кружевные квадраты, диван был очень удобный, а книги выглядели так, словно их читали – не все, конечно,

но некоторые; Салли Кэрролл тут же вспомнилась потрепанная домашняя библиотека, с огромными отцовскими медицинскими атласами, с тремя портретами двоюродных дедушек и старым диваном, который чинили вот уже сорок пять лет подряд, но на котором все еще было так приятно вздремнуть! Эта библиотека поразила ее тем, что не выглядела ни уютной, ни неуютной. Это была просто комната с множеством довольно дорогих вещей, которым было никак не больше пятнадцати лет.

– Ну, как тебе здесь нравится? – первым делом спросил Гарри. – Ты удивлена? То есть я хотел сказать: ты именно так себе все и представляла?

– Иди ко мне, Гарри! – тихо ответила она, протянув к нему руки.

После краткого поцелуя он не оставил попыток извлечь из нее восторг:

– Я имею в виду наш город. Понравился он тебе? Почувствовала, какая энергия в воздухе?

– Ах, Гарри, – рассмеялась она, – подожди, дай мне время. Не надо забрасывать меня вопросами.

Она с удовольствием затянулась сигаретой.

– Я должен кое о чем с тобой поговорить, – начал он, словно извиняясь. – Знаю, у вас на Юге принято уделять особое внимание семье и подобным вещам – не то чтобы это было не принято здесь, у нас, но ты увидишь, что здесь все немного по-другому. Я хочу сказать, Салли Кэрролл, что ты заметишь тут много такого, что поначалу покажется тебе грубым бахвальством! Помни лишь об одном: история нашего города началась всего три поколения назад. Все знают, кем были их отцы, половина из нас знают, кто их деды. Но дальше мы не углубляемся.

– Само собой, – пробормотала она.

– Видишь ли, этот город основали наши деды, и при основании многим из них довелось заниматься довольно сомнительными делами. Например, есть тут у нас одна дама, которая считается законодательницей мод в нашем обществе; ее отец был первым мусорщиком в городе – вот так…

– Подожди, – сказала озадаченная Салли Кэрролл, – ты что, решил, что я примусь кого-либо осуждать?

– Вовсе нет, – перебил ее Гарри, – и, пожалуйста, не думай, что я пытаюсь кого-либо оправдать в твоих глазах. Просто… Прошлым летом приезжала сюда одна южанка; однажды в разговоре она не совсем удачно выразилась, так что… Я просто подумал, что лучше мне тебя сразу предупредить.

Салли Кэрролл вдруг почувствовала негодование, словно ее незаслуженно отшлепали.

Но Гарри, видимо, счел тему закрытой, поскольку продолжил разговор в другом, уже восторженном, ключе.

– У нас сейчас карнавальная неделя, я тебе рассказывал… Впервые за десять лет! И впервые с восемьдесят пятого года решили построить ледяной дворец. Строят из блоков самого чистого льда, который только смогли найти, – дворец будет потрясающий!

Она встала, подошла к окну, раздвинула тяжелые турецкие портьеры и выглянула наружу.

– Ах! – вдруг воскликнула она. – Там двое мальчишек лепят снеговика! Гарри, как ты думаешь: можно мне к ним, помочь?

– Что за фантазии! Иди ко мне, поцелуй меня!

Она нехотя отошла от окна:

– Кажется, здешний климат не слишком располагает к поцелуям, правда? Тут ведь особо не посидишь, не помечаешь, да?

– Мы и не собираемся! Я взял отпуск на неделю с сегодняшнего дня; вечером будет торжественный ужин, а затем – танцы.

– Ах, Гарри, – призналась она, усевшись на диван и оказавшись наполовину у него на коленях, а наполовину зарывшись в подушки, – у меня просто голова кругом идет! Я даже не могу сказать, нравится мне здесь или нет, и я совершенно не представляю, чего здесь от меня ждут… и вообще как мне себя вести… Придется тебе все мне объяснять, милый.

– Объясню, – нежно сказал он, – но только если ты скажешь, что тебе здесь нравится!

– Нравится! Ужасно нравится! – прошептала она, скользнув в его объятия так, как это умела делать только она. – Мой дом там, где ты, Гарри!

Произнеся это, она впервые в жизни почувствовала себя актрисой, играющей роль.

В тот вечер, за столом среди мерцающих свечей, разговаривали, кажется, только мужчины, а женщины сидели, словно дорогие украшения, выглядя отчужденно и надменно; даже присутствие Гарри слева от нее не смогло создать у нее впечатления, что она – дома.

– Очень приятные люди, не правда ли? – спросил он. – Посмотри вокруг. Вон Спад Хаббард, он полузащитник, в прошлом году выступал за принстонскую команду; это Джуни Мортон – он и тот рыжий парень рядом с ним, оба были капитанами хоккейной команды в Йеле; мы с Джуни учились в одном классе. Все лучшие спортсмены в мире – из наших северных штатов. Это земля настоящих мужчин, говорю тебе! Посмотри, вон Джон Джей Фишберн!

– А кто он? – наивно спросила Салли Кэрролл.

– Разве ты не знаешь?

– Имя я где-то слышала…

– Он владеет всей пшеницей на северо-западе страны, один из величайших финансистов.

Она неожиданно обернулась, услышав голос справа.

– Нас, кажется, забыли друг другу представить! Меня зовут Роджер Паттон.

– А меня – Салли Кэрролл Хоппер, – вежливо ответила она.

– Да, я о вас слышал. Гарри мне рассказывал, что вы вот-вот приедете.

– А вы его родственник?

– Нет, я профессор.

– Ого! – рассмеялась она.

– В университете. Вы ведь с Юга, не так ли?

– Да. Из Тарлтона, штат Джорджия.

Он ей сразу понравился: темно-рыжие усы, бледно-голубые глаза, в которых читалось то, чего так не хватало остальным, – восхищение. За ужином они обменялись несколькими случайными замечаниями, и она подумала, что с ним она бы хотела поговорить еще.

После кофе ее представили множеству красивых молодых людей, танцевавших с предельно выверенной точностью движений и считавших само собой разумеющимся, что она желает говорить лишь о Гарри и ни о чем ином.

«Боже мой, – подумала она, – они разговаривают со мной так, словно помолвка сделала меня лет на десять старше! Будто я буду

жаловаться на них их матерям!»

На Юге девушка после помолвки – и даже недавно вышедшая замуж – вправе была рассчитывать на такое же полушутливое подтрунивание и лесть, как и любая дебютантка, но здесь такое обращение, кажется, считалось недопустимым. Один молодой человек после удачного начала – он стал говорить о глазах Салли Кэрролл и продолжал в том духе, что они его пленили сразу же, как только он вошел в комнату, – немедленно сконфузился, когда открылось, что Салли Кэрролл гостит у Беллами и, стало быть, не кто иная, как невеста Гарри. Он сразу же стал вести себя так, словно допустил рискованную и непоправимую ошибку, немедленно напялил на себя личину церемонных манер и оставил Салли Кэрролл при первой же возможности.

Она очень обрадовалась, когда в танце ее перехватил Роджер Паттон и предложил немного посидеть, отдохнуть.

– Ну и как себя чувствует наша южная Кармен? – спросил он, весело подмигнув.

– Отлично. А как поживает… сорвиголова Мак-Грю? Прошу прощения, но из всех северян я знаю только его.

Кажется, ему это понравилось.

– Что вы, – ответил он, – кому-кому, а уж профессору литературы, конечно, точно доводилось читать «Выстрел Мак-Грю»…

– А вы здесь родились?

– Нет, я из Филадельфии. Меня импортировали из Гарварда учить студентов французскому. Но здесь я живу уже десять лет.

– На девять лет и триста шестьдесят четыре дня больше, чем я!

– Нравится вам здесь?

– Ну, как бы вам сказать… Конечно нравится!

– Правда?

– Ну а почему нет? Разве я выгляжу так, словно мне тут плохо?

– Я только что видел, как вы посмотрели за окно на улицу – и вздрогнули.

– Просто воображение разыгралось, – рассмеялась Салли Кэрролл. – Я привыкла, что на улице всегда тихо, а здесь вот посмотришь за окно, а там снегопад, и иногда мне кажется, что там движется что-то неживое.

Он понимающе кивнул головой:

– Вы бывали когда-нибудь раньше на Севере?

– Пару раз ездила на каникулы, в июле, в Северную Каролину, в Ашвил.

– Правда, здесь очень приятные люди? – спросил Паттон, показав на танцующие пары.

Салли Кэрролл вздрогнула. Гарри то же самое говорил!

– Конечно! Правда, они все… псовые.

– Что?

Она покраснела:

– Ой, простите! Это прозвучало гораздо хуже, чем должно бы. Видите ли, для меня все люди делятся на псовых и кошачьих, вне зависимости от пола.

– И кто же вы?

– Я – из кошачьих. Вы вот тоже. Как и большинство южан и большая часть присутствующих здесь женщин.

– А Гарри?

– Гарри – совершенно точно из псовых. Кажется, все мужчины, с которыми я сегодня общалась, из псовых.

– А что вы подразумеваете под этими «псовыми»? Внешнюю видимую мужественность, в отличие от утонченности?

– Наверное, да. Я никогда не анализирую – я просто смотрю на человека и тут же говорю: этот из «псовых», а этот – из «кошачьих». Наверное, со стороны выглядит смешно?

– Вовсе нет! У меня когда-то была собственная теория насчет здешних людей. Я считаю, что они все замерзают.

– Что?

– Я думаю, что они все потихоньку превращаются в скандинавов: видите ли, они тут все «ибсенизируются». Понемногу и едва заметно они становятся все более унылыми и меланхоличными. Из-за долгих зим. Читали Ибсена?

Она отрицательно покачала головой.

– У его героев есть общая характерная черта – особая задумчивая суровость. Они все праведные, ограниченные и безрадостные, у них отсутствует способность переживать огромную радость или печаль.

– Не улыбаются и не плачут?

– Совершенно верно! Вот в чем заключается моя теория. Видите ли, здесь живут тысячи шведов. Мне кажется, сюда они едут потому,

что здешний климат очень похож на скандинавский. Постепенно происходит смешение рас. Прямо здесь, перед нами, их едва ли наберется с полдюжины, но целых четыре губернатора нашего штата были родом из Швеции… Я вам еще не надоел?

– Нет-нет, мне очень интересно!

– Ваша будущая невестка – наполовину шведка. Мне лично она симпатична, однако по моей теории шведы вообще отрицательно влияют на американцев как на нацию. Среди скандинавов, знаете ли, самый высокий процент самоубийств в мире.

– Но тогда почему вы живете здесь, раз тут так тоскливо?

– О, на меня это не действует. Я обладаю довольно замкнутым характером, да и вообще, книги для меня значат гораздо больше, чем люди.

– Но ведь в книгах Юг обычно описывается трагически, не правда ли? Все эти испанские сеньориты, черные волосы, кинжалы, кружащая голову музыка…

Он покачал головой.

– Нет. Трагические народы – все сплошь с Севера! Они не могут себе позволить ободряющей роскоши выплакаться всласть.

Салли Кэрролл вспомнила о своем кладбище и подумала, что, видимо, примерно об этом всегда и говорила, утверждая, что ей там отнюдь не тоскливо.

– Самые веселые в мире люди – это, наверное, итальянцы… Ну ладно, это скучная тема, – оборвал он разговор. – Хочу добавить лишь одно: вы выходите замуж за прекрасного человека!

Салли Кэрролл внезапно исполнилась к нему доверием.

– Я знаю. Я ведь из тех, кто хочет, чтобы в какой-то момент их окружили заботой, и я уверена, что так и будет.

– Пойдемте танцевать? Знаете, – продолжил он, когда они встали, – мне очень приятно встретить девушку, которая знает, зачем она выходит замуж. Девять из десяти невест, выходя замуж, считают, что это просто шаг в закат, как в кино.

Она рассмеялась; он ей очень понравился.

Через два часа по пути домой она уютно устроилась рядом с Гарри на заднем сиденье автомобиля.

– Ах, Гарри! – прошептала она. – Мне так холодно!

– Но ведь здесь тепло, милая моя девочка!

– Но снаружи холодно. И еще ветер воет!

Она зарылась лицом в меховой воротник его пальто и непроизвольно вздрогнула, когда холодные губы коснулись кончика ее уха.

IV

Первая неделя ее визита прошла в суматохе. В студеных январских сумерках ей организовали обещанную поездку на санях за автомобилем. Закутавшись в шубу, она приняла участие в утреннем катании на санях с горки около загородного клуба; она даже попробовала встать на лыжи, чтобы ощутить на одно чудесное мгновение полет в воздухе, а затем приземлиться прямо в мягкий сугроб, смеясь и запутавшись в шубе. Ей понравились все зимние развлечения, за исключением хождения в снегоступах: весь день они просто шли и шли под светом неяркого желтого солнца по ослепительно сверкавшей равнине. Но она очень быстро поняла, что все это считалось здесь детскими забавами, а окружающие ей просто подыгрывали, и их веселье было лишь отражением ее собственного.

Семья Беллами поначалу ее озадачила. Мужчины были солидными, и это ей нравилось. Особенно понравился мистер Беллами, с его седой шевелюрой и сильным, исполненным достоинства характером. Когда она узнала, что он родом из Кентукки, он сразу же стал представляться ей связующим звеном между старой и новой жизнью. Однако по отношению к женщинам из этой семьи она ощущала лишь враждебность. Майра, ее будущая невестка, казалась ей олицетворением бездушной формальности. Ее манера разговаривать никак не выявляла ее личность, поэтому Салли Кэрролл, на родине которой любая женщина должна была обладать определенной степенью шарма и уверенности в себе, чуть ли не презирала ее.

«Если эти женщины не обладают красотой, – думала она, – тогда они вообще пустое место! Они же почти растворяются в пейзаже, едва на них посмотришь повнимательнее. Из них вышли бы великолепные слуги. В любой группе, где есть мужчины и женщины, центром являются мужчины».

А к миссис Беллами Салли Кэрролл прямо-таки исполнилась отвращением. Возникший при первой встрече образ яйца впоследствии лишь утвердился, – она представлялась ей яйцом с надтреснутым, «тухлым» голоском и столь неприятной и наводящей уныние манерой держаться, что Салли Кэрролл думала: вот не приведи господь она упадет – и тут же получится омлет! Кроме того, миссис Беллами, казалось, олицетворяла присущую этому городу враждебность по отношению к чужакам. Салли Кэрролл она звала «Салли», и никто не мог убедить ее в том, что вторая часть имени была отнюдь не глупой и смешной кличкой. А для Салли Кэрролл такое сокращение было равносильно выставлению ее на публике в полуголом виде. Ей нравилось «Салли Кэрролл»; «Салли» она терпеть не могла. Ей также было известно, что мать Гарри не одобряла ее короткую стрижку, и Салли Кэрролл больше не осмеливалась курить внизу после того, как в первый же день в библиотеку, усиленно принюхиваясь, прискакала миссис Беллами.

Из всех мужчин, которым она была представлена, больше всего ей понравился Роджер Паттон, который был частым гостем в этом доме. Он больше не рассуждал о склонности местного населения к «ибсенизации», а однажды, застав Салли Кэрролл свернувшейся калачиком на софе в обнимку с «Пер-Гюнтом», рассмеялся и сказал ей, чтобы она забыла все, что он тогда ей наговорил, – это ведь была просто болтовня.

В один из вечеров на второй неделе Салли Кэрролл с Гарри оказались на грани опасной и непоправимой ссоры. Она считала, что причина была полностью его рук делом, хотя отправной «сараевской» точкой стал неизвестный гражданин, забывший погладить брюки. Салли Кэрролл и Гарри шли домой между высокими снежными сугробами; светило солнце, которое Салли Кэрролл здесь едва узнавала. По дороге они увидели маленькую девочку, укутанную с головы до пят в серую дубленку, – она была похожа на маленького

медвежонка, и Салли Кэрролл не могла не обратить на нее внимания и не поделиться с Гарри обычными женскими ахами и охами:

– Ах, Гарри! Ты только посмотри!

– Что такое?

– Та маленькая девочка! Ты видел ее лицо?

– Да. И что?

– Она румяная, словно клубничка! Ах, какая милашка!

– Ну что ж, и у тебя сейчас почти такой же румянец! Здесь у нас все так и пышут здоровьем. Мы ведь сталкиваемся с холодом практически сразу, как только начинаем ходить. Удивительный климат!

Она посмотрела на него – с ним можно было только согласиться. Он выглядел сильным и здоровым; так же выглядел и его брат. А сегодня утром и у себя на щеках она впервые заметила самый настоящий румянец.

Затем их взгляды упали на перекресток впереди по улице – и они не смогли отвести глаз от открывшейся картины. Там стоял мужчина; колени его были подогнуты, глаза устремлены ввысь с таким напряжением, словно он собирался вот-вот совершить прыжок в промозглые небеса… Подойдя поближе, они заметили, что эта абсурдная кратковременная иллюзия создавалась из-за висевших мешком на гражданине брюк, и оба тут же разразились смехом.

– Счет один-ноль в его пользу! – рассмеялась она.

– Судя по брюкам, это, должно быть, южанин, – озорно рассмеялся Гарри.

– Гарри, что ты говоришь!

Ее удивленный взгляд отчего-то его разозлил.

– Ох уж эти чертовы южане!

Глаза Салли Кэрролл ярко блеснули.

– Не смей их так называть!

– Прости, дорогая, – ядовито извинился Гарри, – но ты ведь знаешь, что я о них думаю! Они ведь… просто дегенераты, не то что южане прежних времен. Они так долго прожили на Юге вместе с цветными, что и сами давно превратились в лентяев и бездельников.

– Перестань, Гарри! – сердито крикнула она. – Они вовсе не такие! Может, они и ленивые – в таком климате кто хочешь станет лентяем, – но это ведь мои лучшие друзья, и я не позволю их огульно критиковать! Среди них есть прекрасные люди!

– Ах ну да, я знаю! Все они нормальные ребята, когда приезжают учиться в университет на Север; но из всех виденных мною людишек низкого пошиба, не умеющих как следует одеваться, неопрятных, самые ужасные – это южане из маленьких городков!

Салли Кэрролл сжала руки в перчатках в кулаки и в ярости кусала губы.

– Да что там, – продолжал Гарри, – в моей группе в Нью-Хейвене был один южанин; мы все подумали, что наконец-то увидим настоящего южного аристократа, однако он оказался отнюдь не аристократом, а просто сынком северного «саквояжника», который скупил весь хлопок вблизи Мобила.

– Южанин никогда не стал бы разговаривать в таком тоне! – спокойно ответила она.

– Конечно! Силенок не хватит!

– Или чего-нибудь еще?

– Мне очень жаль, Салли Кэрролл, но я ведь своими ушами слышал, как ты говорила, что никогда не выйдешь…

– При чем здесь это?! Я говорила, что не хотела бы связать свою жизнь с любым из тех парней, которые сейчас живут в Тарлтоне, но я никогда не делала каких-либо обобщений и не пыталась смести всех в кучу без разбору.

Они продолжили свой путь в молчании.

– Я, кажется, перегнул палку, Салли Кэрролл. Прости меня.

Она кивнула, но ничего не сказала. Через пять минут, когда они стояли в прихожей, она вдруг обняла его.

– Ах, Гарри, – воскликнула она, и в глазах ее блеснули слезы, – давай поженимся на будущей неделе! Я очень боюсь таких ссор по пустякам. Я боюсь, Гарри. Все было бы не так, если бы мы были женаты.

Но Гарри, чувствуя себя виноватым, все еще злился:

– Это будет выглядеть по-идиотски. Мы же решили – в марте!

Слезы в глазах Салли Кэрролл высохли; она резко на него взглянула.

– Очень хорошо. Прости, я сказала это, не подумав.

Гарри вдруг растаял.

– Милая моя упрямица! – воскликнул он. – Поцелуй меня, и давай обо всем забудем.

В тот вечер по окончании спектакля в мюзик-холле оркестр заиграл «Дикси», и Салли Кэрролл почувствовала, как внутри нее рождаются новая сила и твердость, сменившие дневные слезы и улыбки. Она вытянулась вперед, сжимая подлокотники театрального кресла так сильно, что даже покраснела.

– Тебе так понравилось, дорогая? – прошептал Гарри.

Но она его не слышала. В горячем трепете скрипок и под воодушевляющий ритм литавр маршировали, устремляясь во тьму, ее собственные духи, и, когда в негромком припеве свистнули и вздохнули флейты, они почти исчезли из виду, так что она могла бы помахать им на прощание рукой.

Далеко, далеко,
Далеко на юге, в Дикси!
Далеко, далеко,
Далеко на юге, в Дикси!

V

Вечер выдался на редкость холодным. Вчерашняя нежданная оттепель практически очистила улицы, но сегодняшняя рыхлая поземка вновь занесла мостовые, укладывая рассыпчатый снег волнами под поступью ветра и наполняя воздух состоявшим из мелких частиц снежным туманом. Неба не было видно: вверху был лишь темный, зловещий покров, укутывавший верхушки домов и представлявший собой наступавшую на землю необозримую армию снежинок; а над всем этим, унося уют, создаваемый зелено-коричневым светом горящих окон, глуша уверенную поступь коней,

тянувших сани, носился неутомимый северный ветер. Унылый это все-таки город, подумала она, унылый, что бы там ни говорили!

Иногда по ночам ей казалось, что здесь не осталось ничего живого, – все давным-давно отсюда ушли, оставив дома, в которых горел свет, лишь затем, чтобы снежные сугробы, словно могильные холмы, упокоили их под собой. Ах, неужели и ее могила будет покрыта снегом? Лежать под огромной снежной кучей всю зиму напролет, и даже могильный камень будет казаться лишь слабой тенью среди других теней! Ее могила… Нет! Могила должна быть усыпана цветами, над ней должно светить солнце, на нее должен падать дождь!

Она опять вспомнила об уединенных сельских домах, которые видела из окна поезда, и о том, какая там, должно быть, жизнь долгой зимой: ослепительный блеск в окне, корка льда на мягких сугробах и ближе к весне – медленное, безрадостное таяние, а затем суровая весна, о которой ей рассказывал Роджер Паттон. А ее весна, которую она потеряет навсегда, – с сиренью и ленивой сладостью, рождающейся в сердце… Она похоронит эту весну, а затем навсегда похоронит и эту сладость.

Постепенно разразилась пурга. Салли Кэрролл чувствовала, как снежинки быстро тают, падая ей на ресницы; Гарри вытянул свою укутанную в мех руку и натянул ей на лоб козырек фланелевой шляпки. Затем мелкие снежинки устроили у нее перед глазами перестрелку, а конь терпеливо склонил шею, и на его попоне на мгновение блеснул прозрачно-белый слой льда.

– Ах, Гарри, ему же холодно! – быстро сказала она.

– Кому? Коню? Да нет, что ты! Ему это нравится!

Через десять минут они свернули и увидели свою цель. На высоком холме, на фоне зимнего неба, ослепительно сиял ярко-зеленый контур ледяного дворца. Он вздымался ввысь на три этажа, стены были зубчатыми, с бойницами и узкими ледяными окнами, а бесчисленные электрические лампы внутри рождали удивительное ощущение прозрачности огромного главного зала. Под меховой полой Салли Кэрролл схватила Гарри за руку.

– Он прекрасен! – возбужденно крикнул он. – Черт возьми, он просто прекрасен! Такого не строили с восемьдесят пятого года!

Почему-то упоминание о том, что такого тут не видели с восемьдесят пятого года, подействовало на Салли Кэрролл угнетающе.

Лед был призрачной субстанцией, и поэтому огромный дом изо льда должен был быть наверняка населен духами восьмидесятых годов, с бледными лицами и припорошенными снегом шевелюрами.

– Пойдем, дорогая! – сказал Гарри.

Она вышла за ним из саней и подождала, пока он не привяжет лошадь. Еще четверо – Гордон, Майра, Роджер Паттон и еще одна девушка – с громким звоном колокольчиков подъехали вслед за ними. Народу было уже очень много, все были закутаны в меха или в дубленки, все кричали и окликали знакомых, – сверху сыпал снег, и снегопад был таким сильным, что можно было лишь с трудом различить тех, кто находился в нескольких ярдах.

– Высота сто семьдесят футов, – говорил Гарри закутанной фигуре, пробиравшейся с ним рядом ко входу, – а площадь шесть тысяч квадратных ярдов!

До Салли Кэрролл доносились обрывки разговоров: «Один главный зал…», «…толщина стен от двадцати до сорока дюймов…», «…а в снежной пещере почти на милю…», «…проект придумал один канадец…».

Они вошли внутрь, и Салли Кэрролл, ослепленная магией огромных хрустальных стен, невольно стала снова и снова повторять про себя строчки из «Кубла-хана»:

Какое странное виденье —
Дворец любви и наслажденья
Меж вечных льдов и влажных сфер.

В огромной сверкающей пещере, куда не проникала тьма, Салли Кэрролл присела на деревянную скамью; вновь появилось вечернее чувство подавленности. Гарри был прав: дворец был прекрасен; ее взгляд скользнул по гладким стенам, для которых были выбраны блоки самого чистого и прозрачного льда, чтобы получить эту опаловую полупрозрачность.

– Смотри! Начинается! Боже мой! – воскликнул Гарри.

Оркестр в дальнем углу грянул «Привет, привет! Ребята все собрались!», и звуки стали отражаться отовсюду сразу из-за странной и причудливой акустики. Затем неожиданно погас свет; тишина, казалось, опускалась вниз по ледяным стенам и накрывала людей, словно поток. В темноте Салли Кэрролл все еще могла различить белые клубы пара, выходившие у нее изо рта, и тусклый ряд бледных лиц на противоположной стороне зала.

Музыка стихла, превратившись в жалобный вздох, а снаружи донесся громкий звучный напев маршировавших клубов. Пение становилось все громче, словно победная песнь племени викингов, возвращавшихся из диких краев древности; звук нарастал – они приближались. Появился первый ряд факелов, затем еще и еще; двигаясь в ногу, обутые в мокасины и закутанные в шерсть фигуры заполнили зал; с их плеч свисали снегоступы, над головами возвышались и мерцали факелы, а голоса карабкались вверх по высоким стенам.

Серая колонна кончилась, за ней пошла другая. На этот раз багровый свет струился по ярко-алым суконным курткам и красным вязаным шапкам с ушами. Войдя, они подхватили припев. Затем появились большие отряды в бело-голубом, в зеленом, в белом, в желто-коричневом.

– Те, что в белом, – это клуб «Уэйкута», – взволнованно прошептал Гарри. – Это те, с кем я тебя знакомил на танцах!

Голоса становились все громче; огромная пещера превратилась в фантасмагорию из факелов, качавшихся огромными огненными рядами, цветных пятен и ритма шагов людей, обутых в мягкую кожу. Первая колонна развернулась и остановилась, отряды выстроились один за другим, пока факелы всех участников процессии не превратились в единый огненный флаг, а затем тысячи голосов издали могучий крик, раздавшийся, словно раскат грома, и поколебавший пламя факелов. Это было великолепно, это было потрясающе! Для Салли Кэрролл это выглядело так, словно Север принес жертву на огромный алтарь серого языческого Снежного Бога. Когда отголоски крика затихли, вновь заиграл оркестр, затем опять послышалось пение, а потом – долгие раскатистые приветствия каждого клуба. Она сидела очень тихо, прислушиваясь, как отрывистые крики разрывают тишину; затем она вздрогнула, потому что послышался грохот взрывов, и везде

в пещере стали подниматься огромные клубы дыма, – к работе приступили фотографы со своими вспышками – собрание кончилось. С оркестром впереди, клубы вновь выстроились в колонны, затянули песню и стали маршем уходить на улицу.

– Пойдем! – крикнул Гарри. – Нужно посмотреть лабиринты в подвале, пока не выключили свет!

Все встали и пошли к спуску: Гарри и Салли Кэрролл впереди; ее маленькая варежка утопала в его большой меховой рукавице. У подножия спуска находился длинный пустой снежный зал с таким низким потолком, что пришлось пригнуться – их руки разъединились. Прежде чем она успела сообразить, что произошло, Гарри бросился в один из полудюжины сверкающих коридоров, которые шли из зала, и превратился в стремительно удаляющееся темное пятно на фоне зеленого мерцания.

– Гарри! – позвала она.

– Иди сюда! – крикнул он ей.

Она окинула взглядом пустой снежный зал; все остальные, видимо, решили идти домой и были уже где-то снаружи, в обманчивом снегу. Она, поколебавшись, бросилась вслед за Гарри.

– Гарри! – крикнула она.

Через тридцать футов она добежала до развилки; услышала слабый приглушенный ответ вдали, слева, и, слегка испугавшись, бросилась туда. Еще одна развилка, еще два зияющих коридора.

– Гарри!

Молчание. Она бросилась бежать прямо, затем молниеносно развернулась и помчалась туда, откуда пришла, неожиданно охваченная ледяным страхом.

Она добежала до развилки – здесь? – выбрала левый коридор и выбежала туда, где должен был быть выход в длинную пещеру с низким потолком, – но перед ней был лишь очередной сверкающий коридор, оканчивавшийся тьмой. Она крикнула, но в ответ услышала лишь глухое безжизненное эхо от стен и никаких откликов. Вернувшись по своим следам, она свернула в другой коридор, на этот раз широкий – словно зеленая тропа между разверзнувшимися водами Красного моря, словно влажный подземный ход между двумя пустыми гробницами.

Она стала немного поскальзываться, потому что на подошвы галош налип слой снега; чтобы сохранить равновесие, пришлось хвататься за местами скользкие, местами липкие стены.

– Гарри!

Опять молчание. Эхо насмешливо унесло ее крик в самый конец коридора.

И в ту же секунду свет погас, и она оказалась в полной темноте. Она издала негромкий испуганный крик и повалилась замерзшим сугробиком прямо на лед. Падая, она почувствовала, что с ее левой коленкой что-то не так, но не стала обращать на это внимания – ее охватил глубокий ужас, и он был сильнее, чем страх потеряться. Она осталась одна, лицом к лицу с духом Севера, с тем безотрадным одиночеством, рожденным затертыми во льдах китобоями арктических морей, с бесконечными нетронутыми белыми пустынями без единого дымка, где разбросаны выбеленные кости искателей приключений. Она чувствовала ледяное дыхание смерти; оно скатывалось вниз, к земле, и собиралось ее схватить.

С неистовой и отчаянной энергией она вновь встала на ноги и на ощупь пошла дальше во тьме. Она должна отсюда выбраться! Она может проблуждать здесь несколько дней, затем окоченеет до смерти и вмерзнет в лед, и ее труп – она об этом читала – сохранится в первозданном виде до тех пор, пока не растает ледник. Гарри, наверное, решил, что она ушла вместе с остальными – так что он тоже ушел; никто ничего не узнает до следующего дня, а тогда уже может быть поздно. Она с грустью дотронулась до стены. Говорили, что толщина ее сорок дюймов – целых сорок дюймов!

– Ах!

Она почувствовала, как с обеих сторон по стенам к ней крадутся какие-то существа – затхлые души, населявшие этот дворец, этот город, этот Север.

– Ах да где же хоть кто-нибудь – ну хоть кто-нибудь! – громко воскликнула она.

Кларк Дэрроу – он бы понял, и Джо Эвинг тоже; нельзя оставлять ее здесь блуждать вечно – чтобы покрылись льдом ее сердце, тело и душа! Это же она – она, Салли Кэрролл! Всем она приносила только радость. Она была веселой девочкой. Она любила тепло, лето и «Дикси». Но здесь все было чужим – чужим…

– Не нужно плакать, – донесся чей-то голос. – Ты больше никогда не будешь плакать. Твои слезы превратятся в лед; здесь все слезы превращаются в лед!

Во весь рост она растянулась на льду.

– Ах, боже мой! – она споткнулась.

Миновала длинная неразличимая шеренга минут, и она почувствовала, как от сильной усталости ее глаза закрываются. Затем ей показалось, что кто-то присел рядом и погладил ее по лицу теплой и мягкой рукой. Она с благодарностью посмотрела вверх.

– Ах, это же Марджори Ли! – певуче, вполголоса пробормотала она. – Я знала, что ты придешь. – Это действительно была Марджори Ли, и выглядела она именно так, как ее и представляла Салли Кэрролл: юное открытое лицо, светлые волосы, большие приветливые глаза, юбка с фижмами, очень мягкая, на которой было так приятно лежать.

– Марджори Ли!

Становилось все темнее и темнее – все эти надгробия надо бы, конечно, подкрасить, хотя от этого они, разумеется, лишь испортятся. Но все же надо сделать так, чтобы можно было прочитать, что на них написано.

Затем, после череды мгновений, бежавших то быстро, то медленно, но превращавшихся в результате во множество расплывчатых лучей, сходившихся к бледно-желтому солнцу, она услышала громкий треск, нарушивший ее вновь обретенную тишину.

Появилось солнце, появился свет; факел, и еще факел, и еще – и голоса; под факелом возникло живое человеческое лицо, тяжелые руки подняли ее, и она почувствовала что-то у себя на щеке – что-то мокрое. Кто-то схватил ее и тер ее лицо снегом. Как смешно – снегом!

– Салли Кэрролл! Салли Кэрролл!

Это был Сорвиголова Дэн Мак-Грю и еще двое, которых она не узнала.

– Детка, детка! Мы тебя два часа искали! Гарри чуть с ума не сошел!

Все тут же стало вставать на свои места: пение, факелы, громкие крики марширующих клубов. Она изогнулась на руках у Паттона и издала протяжный негромкий крик.

– Я не хочу здесь оставаться! Я еду домой! Увезите меня домой! – Ее голос превратился в вопль, от которого у мчавшегося к ней по

коридору Гарри дрогнуло сердце. – Завтра! – кричала она в исступлении, нисколько не сдерживаясь. – Завтра! Завтра! Завтра же!

VI

Золотой изобильный солнечный свет изливал расслабляющее, но при этом столь отрадное тепло на дом, дни напролет глядевший на пыльный участок дороги. Парочка птиц устроила шумную суматоху в прохладе среди ветвей деревьев на соседнем участке, а вдалеке на улице цветная женщина мелодичным голосом предлагала купить у нее немного клубники. Стоял апрельский день.

Салли Кэрролл Хоппер, уткнувшись подбородком в руку, а руку положив на старый подоконник, сонно смотрела на поблескивающую пыль, из которой впервые этой весной поднимались волны теплого воздуха. Она наблюдала, как старенький «форд» миновал опасный поворот и с грохотом и стонами резко остановился на углу. Она не издала ни звука, и спустя минуту воздух разорвал знакомый скрипучий гудок. Салли Кэрролл улыбнулась и моргнула.

– Доброе утро!

Из-под крыши автомобиля показалась голова на изогнутой шее.

– Уже не утро!

– Неужели? – в притворном удивлении отозвалась она. – Да, наверное, не утро.

– Что делаешь?

– Рискую жизнью: ем зеленый персик!

Кларк вывернул шею до последней возможной степени, чтобы увидеть ее лицо.

– Вода как парное молоко, Салли Кэрролл! Поехали купаться?

– Да я рукой пошевелить не могу, – лениво вздохнула Салли Кэрролл. – Но, пожалуй, поехали.

Голова и плечи

I

В 1915 году Горацию Тарбоксу исполнилось тринадцать лет. В этом же году он сдал вступительные экзамены в Принстонский университет, все на «отлично»: сдал Цезаря, Цицерона и Вергилия, Ксенофона и Гомера, алгебру, геометрию, стереометрию и химию.

А спустя два года, в то время как Джордж М. Коуэн сочинял «Там, на континенте», Гораций лидировал в выпускном классе сразу по нескольким дисциплинам и с головой ушел в работу над темой «Силлогизм как малоупотребительная форма научного выражения»; ко времени битвы у Шато-Тьерри он сидел за своим письменным столом и думал, начинать ли сейчас – или подождать, пока ему не исполнится семнадцать? – работу над серией эссе под общим названием «Прагматические предубеждения новых реалистов».

Через некоторое время он узнал из газет, что война окончилась, и обрадовался, так как это означало, что «Братья Пит» наконец-то смогут выпустить в свет новое издание «Концепции восприятия» Спинозы. Все войны были в своем роде хороши, приучая юношей к самостоятельности и так далее, однако Гораций чувствовал, что никогда не простит президенту духовой оркестр, игравший в честь перемирия под его окнами всю ночь напролет, что стало причиной отсутствия трех весьма важных положений в его курсовой работе «Немецкий идеализм».

В следующем году он оказался в Йеле, чтобы получить степень магистра.

Ему исполнилось семнадцать, он был близорук, высок и строен. Когда изредка с его уст падало слово, он выглядел так, будто не имел

ничего общего с говорящим.

– Я никогда не могу понять, слышит ли он меня, – жаловался профессор Диллингер сочувствующему коллеге. – У меня все время возникает ощущение, что я разговариваю с его поверенным. Я все время жду, что он сейчас скажет: «Минуту, я только спрошу у себя и передам вам свое мнение».

А затем, так же безразлично, как будто Гораций Тарбокс был мясником мистером Плоттом или галантерейщиком мистером Шаппом, жизнь неожиданно накинулась на него, схватила, помяла в руках, расправила и выложила, как кусочек ирландского кружева, на прилавок с остатками по сниженным ценам.

Отдавая дань литературной моде, я должен сказать, что все это случилось потому, что давным-давно, во времена первых колонизаторов, отважные пионеры пришли в пустынный район Коннектикута и сказали: «Итак, что мы построим здесь?» – и самый смелый из них ответил: «Давайте построим город, в котором театральные продюсеры смогут обкатывать новые мюзиклы!» Историю о том, как потом для этого был основан Йельский университет, знает каждый. Во всяком случае, в декабре в зале Шуберта прошла премьера постановки «Домой, Джеймс!», и все студенты бешено аплодировали Марсии Мидоу, которая пела песенку о «Неуклюжем увальне» в первом акте и танцевала свой знаменитый дрожащий и трепетный танец в последнем.

Марсии было девятнадцать. У нее не было крыльев, но публика дружно соглашалась, что ангелам они и не нужны. Она была натуральной блондинкой и никогда не красилась, выходя на улицу до обеда. Но если не принимать всего этого во внимание, она была ничем не лучше всех остальных женщин.

Как-то раз Чарли Мун пообещал ей пять тысяч пачек «Пэлл-Мелл», если она решится нанести визит Горацию Тарбоксу, вундеркинду. Чарли учился на последнем курсе в Шеффилде и приходился Горацию кузеном. Они оба любили и жалели друг друга.

В тот вечер Гораций был особенно занят. Неспособность француза Лурье оценить значение новых реалистов угнетала его мозг. Его единственной реакцией на негромкий, но отчетливый стук во время этих изысканий стала мысль о том, будет ли в реальности существовать какой-либо стук без ушей, его слышащих. Он находил,

что все более и более склоняется к прагматизму. Но, хотя он об этом и не подозревал, как раз в этот момент он с изумительной быстротой склонялся к чему-то совершенно иному.

Стук продолжался – прошло три секунды – стук возобновился.

– Войдите, – пробормотал погруженный в себя Гораций.

Сидя в большом кресле у камина, он услышал, как дверь открылась и закрылась, но даже не оторвался от книги, чтобы взглянуть, кто пришел.

– Положите на кровать в другой комнате, – рассеянно произнес он.

– Что положить на кровать в другой комнате?

На сцене Марсии Мидоу приходилось петь достаточно громко, но ее обычный голос напоминал полутона арфы.

– Стирку.

– Я не могу.

Гораций раздраженно пошевельнулся в кресле.

– Почему не можете?

– Потому что у меня ничего нет.

– Хм, – раздраженно ответил Гораций, – ну тогда вернитесь и возьмите.

У камина – по другую сторону – стояло еще одно кресло. Гораций для поддержания физической формы и смены обстановки всегда перебирался в него во второй половине вечера. Одно кресло он звал Беркли, второе – Хьюм. Неожиданно ему послышалось, будто некая призрачная и шелестящая фигура погрузилась в Хьюма. Он оторвался от книги.

– Ну, – сказала Марсия с милой улыбкой, которую она демонстрировала во втором акте (после слов: «О, так Герцогу наш танец был по нраву!»), – что ж, Омар Хайям, вот я и рядом с вами, поющая в пустыне.

Гораций недоуменно уставился на нее. В его голову закралось подозрение, что этот фантом появился здесь только по капризу его воображения. Женщины так запросто не приходят домой к мужчинам, и уж тем более не устраиваются посидеть в Хьюмах. Женщины приносят стирку, занимают ваше место в трамваях и выходят за вас замуж впоследствии, когда вы постареете настолько, что уже не заметите уз.

Эта женщина, несомненно, материализовалась прямо из Хьюма. Пена ее коричневого легкого платья казалась порождением кожаного подлокотника Хьюма! Если смотреть достаточно долго, то прямо сквозь нее он сможет увидеть Хьюма и снова окажется в комнате один. Он потер кулаком глаза. Ему действительно нужно опять заняться гимнастикой.

– Ради всего святого, не смотрите на меня так скептически, – приятным голосом возразило видение. – Я чувствую, что в вашем патентованном котелке варится мысль о том, что меня здесь нет. И скоро от меня совсем ничего не останется, за исключением слабого отблеска в ваших глазах.

Гораций кашлянул. Кашель был одним из двух возможных его проявлений. Когда он говорил, вы забывали, что у него вообще-то есть еще и тело. Это было похоже на звук старой пластинки с записью голоса давно умершего певца.

– Что вам угодно? – спросил он.

– Мне нужны письма, – патетически возвестила Марсия, – те мои письма, которые вы купили у моего деда в 1881 году.

Гораций задумался.

– У меня нет ваших писем, – спокойно ответил он. – Мне всего лишь семнадцать лет. Мой отец родился 3 марта 1879-го. Очевидно, вы меня с кем-то путаете.

– Вам всего лишь семнадцать? – с подозрением в голосе переспросила Марсия.

– Всего лишь семнадцать.

– Я знала девушку, – сказала Марсия, как бы погрузившись в воспоминания, – которая постоянно брала билеты в мюзик-холл на самые дешевые места, когда ей было шестнадцать. Она так себя любила, что никогда не могла произнести «шестнадцать», не добавив «всего лишь». Мы стали звать ее «Всего лишь Джесси». И она до сих пор осталась с тем, с чем начала, – только подурнела. «Всего лишь» – плохая привычка, Омар, это звучит как оправдание.

– Мое имя не Омар.

– Я знаю, – кивнув, согласилась Марсия, – вас зовут Гораций. Я зову вас Омаром просто потому, что вы напоминаете мне лобстера.

– И у меня нет ваших писем. Сомневаюсь, что я когда-либо видел вашего деда. Если честно, я считаю маловероятным, что вы сами жили

на свете в 1881 году.

Марсия в изумлении уставилась на него.

– Я… в 1881-м? Ну как же, я же была фигурой полусвета, когда весь секстет из «Флородоры» еще учился в монастырской школе! Это ведь я исполняла у Сола Смита роль няньки Джульетты, которую играла миссис Сол Смит! Я же была певичкой-маркитанткой во время войны 1812 года!

Мысль Горация совершила скачок в верном направлении, и он заулыбался.

– Это вас Чарли Мун надоумил?

Марсия вопросительно посмотрела на него.

– Кто такой Чарли Мун?

– Небольшого роста, с широкими ноздрями и большими ушами.

Она как будто выросла на несколько дюймов и фыркнула.

– У меня нет привычки разглядывать ноздри моих друзей.

– Значит, это был Чарли.

Марсия закусила губу – а затем зевнула.

– Давайте сменим тему, Омар. Я минутку всхрапну в этом кресле.

– Да пожалуйста, – серьезно ответил Гораций, – Хьюм часто действует как снотворное.

– Кто это? Ваш друг? Он уже умер?

Неожиданно Гораций Тарбокс встал и, сунув руки в карманы, принялся мерить шагами комнату. Это и было его второе проявление.

– При чем здесь я, – говорил он, как будто разговаривая сам с собой, – мне совершенно все равно. Не то чтобы мне не нравилось, что вы здесь, – нет, нет… Вы довольно симпатичное создание, но мне не нравится, что вас сюда подослал Чарли Мун. Я что, кролик, на котором лаборанты и прочие химики могут ставить эксперименты? Мое интеллектуальное развитие выглядит смешно? Я что, выгляжу, как дурачок из Бостона, герой комиксов? Имел ли этот юный осел, со своими баснями о том, как он провел неделю в Париже, какое-либо право…

– Нет, – взволнованно перебила его Марсия. – И кроме того, вы очень милый мальчик. Идите сюда и поцелуйте меня.

Гораций резко остановился прямо перед ней.

– Почему вы хотите, чтобы я вас поцеловал? – недоуменно спросил он. – Вы что, только и делаете, что бегаете и целуете мужчин?

– Ну да, – невозмутимо призналась Марсия. – Вся жизнь в этом и состоит. Просто бегать и целовать мужчин.

– Да-а-а, – многозначительно протянул Гораций. – Должен сказать, что у вас ужасно искаженные представления о жизни. Во-первых, в жизни есть не только это, а во-вторых, я не буду вас целовать. Это может войти в привычку, а я не умею избавляться от привычек. В этом году у меня вот появилась привычка валяться в постели до половины восьмого утра.

Марсия с пониманием кивнула.

– Вам когда-нибудь было весело? – спросила она.

– Что вы имеете в виду – «весело»?

– Слушайте, – твердо сказала Марсия, – вы мне нравитесь, Омар, но я хочу, чтобы вы говорили так, будто в том, о чем мы беседуем, есть смысл. У меня такое впечатление, что у вас во рту булькает множество слов, а когда вы вдруг роняете несколько, то огорчаетесь так, как будто проиграли пари. Я спросила у вас, было ли вам когда-нибудь весело?

Гораций покачал головой.

– Пока нет, – ответил он. – Видите ли, я – цель. Я – эксперимент. Я не говорю, что никогда не устаю от этого – я устаю. Тем не менее – о, как же это объяснить… Но то, что вы и Чарли Мун зовете «весельем», не может быть названо «весельем», с моей точки зрения.

– Пожалуйста, объясните.

Гораций посмотрел на нее, хотел заговорить, но затем, передумав, продолжил ходьбу по комнате. После безуспешной попытки определить, смотрит он на нее или нет, Марсия на всякий случай неопределенно улыбнулась.

– Пожалуйста, объясните.

Гораций повернулся.

– Если я скажу, пообещаете ли вы сказать Чарли Муну, что не застали меня дома?

– Может быть.

– Очень хорошо. Вот вам моя история. Я был «почемучкой». Мне нравилось узнавать, как все устроено. Мой папа был молодым профессором экономики в Принстоне. Он вырастил меня по системе, в которой главным было по мере возможности давать ответы на все мои вопросы. Моя реакция породила у него идею поставить эксперимент с ранним развитием. Очень кстати оказалось то, что в драке мне

повредили ухо – между семью и двенадцатью годами я пережил семь операций. Конечно же, это вынудило меня сторониться детей моего возраста и заставило меня преждевременно созреть. Так вот и вышло, что в то время как мои сверстники корпели над «Дядюшкой Римусом», я наслаждался Катуллом в оригинале.

Я сдал экзамены в университет, когда мне было тринадцать, – а что мне еще было делать? Общался я в основном с профессорами и ужасно гордился своим интеллектом. Несмотря на мою необычную одаренность, во всех остальных аспектах я был абсолютно нормальным. Когда мне исполнилось шестнадцать, мне надоело быть вундеркиндом; я пришел к выводу, что кто-то совершил ужасную ошибку. Тем не менее я решил довести дело до конца и получить степень магистра наук. Мой основной интерес в жизни – изучение современной философии. Я принадлежу к реалистам школы Антона Лурье – с примесью Бергсона, а через два месяца мне исполнится восемнадцать. Вот и все.

– Ух! – воскликнула Марсия. – Вполне достаточно! Вы прекрасно обращаетесь с частями речи.

– Удовлетворены?

– Нет, вы меня так и не поцеловали.

– Это не входит в мои планы, – возразил Гораций. – Поймите, я же не притворяюсь, что мне чуждо все человеческое. Я обычный человек, но…

– О, не будьте так чертовски рассудительны!

– Ничего не могу поделать.

– Ненавижу расчетливых людей!

– Уверяю вас, я… – начал было Гораций.

– Замолчите!

– Моя рациональность…

– Я ничего не говорила о вашей национальности. Вы же американец, так?

– Да.

– Ну вот, для меня достаточно. Мне пришло в голову, что я хочу видеть, как вы делаете что-то не по своему заумному плану. Я хочу убедиться, что то как-вы-там-сказали – с бразильской примесью, – то, чем вы, как вы сами заметили, являетесь, может быть хоть немного человеком.

Гораций снова покачал головой.

– Я не буду вас целовать.

– Моя жизнь рушится, – трагично забормотала Марсия. – Я отвергнутая женщина. Мне придется жить с мыслью о том, что никогда у меня в коллекции не будет поцелуя с бразильской примесью, – она вздохнула. – Ну ладно, Омар, тогда приходи на спектакль.

– Какой спектакль?

– Я ведь грешная актриса из «Домой, Джеймс!»

– Оперетта?

– Да, почти. А один персонаж – бразильский рисовый магнат. Он может тебя заинтересовать.

– Я как-то смотрел «Цыганку», – вслух подумал Гораций. – Мне понравилось – до некоторой степени.

– Значит, придешь?

– Ну, я… я…

– Ах да – тебе же, наверное, нужно быть в Бразилии в этот уик-энд?

– Вовсе нет. Я с удовольствием приду.

Марсия захлопала в ладоши.

– Великолепно! Я пришлю тебе билет – на четверг, вечер?

– Ну, я…

– Замечательно! Четверг, вечер.

Она встала, близко подошла к нему и положила руки ему на плечи.

– Ты мне нравишься, Омар. Мне жаль, что я обращалась с тобой, как с ребенком. Я думала, что ты зануда, а ты очень милый.

Он саркастически посмотрел на нее.

– Я на десять тысяч лет старше, чем ты.

– Ты неплохо сохранился.

Они обменялись рукопожатиями.

– Меня зовут Марсия Мидоу, – решительно сказала она. – Запомни – Марсия Мидоу. И я не скажу Чарли Муну, что видела тебя.

Через мгновение, когда она уже почти миновала последний пролет, перепрыгивая через три ступеньки разом, она услышала голос сверху:

– Подожди…

Она остановилась и посмотрела вверх – на темный силуэт, перегнувшийся через перила.

– Подожди, – крикнул «вундеркинд» снова. – Ты меня слышишь?

– Я на связи, Омар.

– Надеюсь, у тебя не создалось впечатления, что я рассматриваю поцелуй как иррациональную сущность?

– Впечатления? Да ведь ты меня так и не поцеловал! Не бери в голову! Пока!

Сразу две любопытствующие двери открылись на звук незнакомого женского голоса. Сверху прозвучал неуверенный кашель. Собрав юбки, Марсия быстро перепрыгнула последний пролет и растворилась в туманной уличной мгле Коннектикута.

Наверху Гораций мерил шагами поле своего учения. Время от времени он поглядывал на Беркли, темно-багрового, респектабельного, вкрадчиво ожидавшего его с открытой книгой на подлокотнике. Вдруг он осознал, что ноги все ближе и ближе подносят его к Хьюму. У Хьюма появилось какое-то новое качество, незнакомое и принципиально отличное от всех прежних. Казалось, там все еще находился призрачный силуэт, и если бы Гораций сел в кресло, то почувствовал бы, что сел на колени к даме. И хотя Гораций не мог точно определить характер изменения, оно тем не менее имело место, ускользая при этом от абстрактного восприятия. Хьюм излучал нечто такое, что никогда не ассоциировалось с ним за все две сотни лет его существования.

Хьюм пах розовым маслом.

II

Вечером в четверг Гораций Тарбокс занял место в пятом ряду недалеко от прохода и погрузился в созерцание постановки «Домой, Джеймс!». Как ни странно, он ощущал, что вполне доволен собой. Циничных студентов, сидевших рядом с ним, раздражало его заметное удовольствие от проверенных временем шуток в традициях

Хаммерштейна. Но Гораций этого не замечал, потому что с нетерпением ждал выхода Марсии Мидоу с песенкой о тронутом джазом «Неуклюжем увальне». И когда она появилась, лучезарная, в небрежно державшейся шляпке с цветами, на его щеках появился румянец, а по окончании песни он даже не присоединился к овации – настолько он был ошеломлен.

В антракте после второго акта рядом с ним материализовался билетер, сначала пожелавший узнать, не мистер ли Тарбокс перед ним, а затем вручивший ему записку, написанную круглым девичьим почерком. Гораций, немного смутившись, стал читать, в то время как билетер замер в проходе, терпеливо ожидая ответа.

«Дорогой Омар!

После спектакля у меня всегда разыгрывается аппетит. Если у вас возникнет желание помочь мне удовлетворить его

в баре у Тафта, просто скажите об этом стражу врат, вручившему вам это письмо.

Ваша

Марсия Мидоу».

– Передайте ей, – он закашлялся, – передайте ей, что я согласен. Я встречу ее у входа в театр.

«Страж врат» высокомерно улыбнулся.

– Д’маю, им’лось в’в’ду, что вы д’лжны быть у сл’жебн’го вх’да.

– И… И где же это?

– Выход’е. П’в’рнете вл’во. По’ал’ее.

– Что-что?

– Выход! П’в’рнете вл’во! По ал’ее!

Высокомерная персона удалилась. Первокурсники позади Горация захихикали.

Через полчаса, сидя в баре Тафта напротив натурально-золотистой шапки волос, «вундеркинд» говорил странные вещи.

– Вы обязательно должны танцевать в последнем акте? – горячо вопрошал он. – Я хотел сказать, лишитесь ли вы роли, если откажетесь танцевать?

Марсия улыбнулась.

– Мне нравится этот танец. Он забавный.

И тут Гораций решился допустить бестактность.

– Мне кажется, что вы его сейчас возненавидите, – коротко заметил он. – Публика в задних рядах довольно громко обсуждала вашу грудь!

Марсия густо покраснела.

– Ничего не поделаешь, – быстро ответила она. – Для меня этот танец – просто что-то вроде акробатического трюка. Бог мой, да ведь он довольно сложный! Я каждый вечер в течение часа вынуждена втирать в плечи мазь!

– Вам хорошо, когда вы на сцене?

– Ах, конечно! Я привыкла заставлять людей рассматривать меня, Омар, и мне это нравится.

– Гм… – Гораций погрузился в размышления.

– Как там поживают бразильские примеси?

– Гм… – повторил Гораций и после паузы спросил: – И где вы будете играть потом?

– В Нью-Йорке.

– Долго?

– Как пойдет. Может быть, всю зиму.

– Н-да…

– Омар, что с вами? Вы ведь пришли, чтобы увидеть меня, не так ли? Конечно, здесь не так мило, как в вашей комнате… Мне бы хотелось оказаться там прямо сейчас.

– Я здесь чувствую себя по-идиотски, – признался Гораций, нервно оглядевшись вокруг.

– Жаль! А мне с вами так хорошо.

В этот момент он так мрачно на нее посмотрел, что она сменила тон и, выпрямившись, похлопала его по руке.

– Никогда раньше не приходилось ужинать с актрисой?

– Нет, – печально сказал Гораций, – и вряд ли это повторится. Я даже не знаю, зачем я пришел сегодня. Здесь так светло, и все эти люди смеются и болтают, а я чувствую себя не в своей тарелке. Я не знаю, о чем с вами говорить.

– Давайте говорить обо мне. Ведь в прошлый раз мы говорили только о вас.

– Хорошо.

– Ну что ж, я действительно Мидоу, но зовут меня не Марсия, а Вероника. Мне девятнадцать. Вопрос: как девушка попала под огни рампы? Ответ: она родилась в Пассайке, штат Нью-Джерси, и еще год назад зарабатывала себе на жизнь тем, что рекламировала печенье «Набискос» в чайной Марселя, город Трентон. Она начала встречаться с парнем по имени Роббинс, который работал певцом в местном трентонском кабаре, и однажды он предложил ей попробовать спеть и станцевать вместе с ним. И в течение месяца они собирали полный зал. А затем поехали в Нью-Йорк с огромной кучей рекомендательных писем.

За пару дней мы нашли работу у Дивинье, и я научилась танцевать шимми у одного парня из «Пале-Рояль». Мы проработали у Дивинье шесть месяцев, до тех пор, пока репортеру Питеру Бойсу Уэнделу не пришло в голову закусить там молочными гренками. На следующее утро стихотворение об «Изумительной Марсии» было напечатано в его газете, и через два дня у меня уже было три предложения сыграть в пьесах и приглашение на просмотр в «Полночных шалостях». Я написала Уэнделу благодарственное письмо, и он напечатал его в своей колонке с комментарием, что стиль весьма похож на Карлиля, только немного еще сырой, и что я должна немедленно бросить танцы и тем самым обогатить американскую литературу. Это принесло мне еще несколько предложений из театров, а также приглашение сыграть в мюзикле. Я приняла его – и вот я здесь, Омар.

Когда она закончила, на мгновение повисла пауза; она изящно наколола остатки сырного тоста на вилку и стала ждать, что скажет собеседник.

– Давайте уйдем отсюда, – неожиданно произнес он.

Марсия холодно взглянула на него.

– В чем дело? Я вам наскучила?

– Нет, но мне тут не нравится. Мне не нравится сидеть здесь с вами.

Без лишних слов Марсия жестом подозвала официанта.

– Счет, пожалуйста – быстро проговорила она. – С меня – за кролика и имбирный эль.

Гораций безучастно смотрел, как официант подсчитывал сумму.

– Послушайте, – начал он, – я собирался за вас заплатить. Я же вас пригласил.

Неслышно вздохнув, Марсия поднялась из-за стола и пошла к выходу. Гораций, в совершеннейшем замешательстве, ясно отразившемся на его лице, положил деньги на стол и последовал за ней вверх по лестнице, в вестибюль. Он догнал ее уже у лифта, и они обменялись взглядами.

– Послушайте, – повторил он, – я же вас пригласил. Я вас чем-нибудь обидел?

Марсия заметно удивилась, но затем ее взгляд смягчился.

– Вы грубиян, – медленно отчеканила она, – и даже не подозреваете об этом!

– Ничего не поделаешь, – сказал Гораций с обезоруживающей прямотой. – Но вы же знаете, что нравитесь мне.

– Вы сказали, что вам не понравилось быть со мной!

– Мне не понравилось.

– Почему?

Неожиданно в темном лесу его ресниц промелькнула молния.

– Потому что. Потому что у меня появилась привычка думать о вас. Последние два дня я только и делал, что думал о вас.

– Ну, если…

– Минутку, – перебил он. – Я еще не закончил. Слушайте: через шесть недель мне исполнится восемнадцать. Как только это случится, я приеду в Нью-Йорк, чтобы увидеться с вами. Есть ли в Нью-Йорке такое место, куда мы с вами сможем пойти, чтобы там было не слишком много людей?

– Конечно! – улыбнулась Марсия. – Приходите ко мне в гости. Вы сможете даже заночевать на кушетке, если хотите.

– Я не сплю на кушетках, – коротко заметил он. – Ноя хочу вам что-то сказать.

– Конечно, – повторила Марсия, – приходите ко мне.

От радости Гораций не знал, куда деть руки, и сунул их в карманы.

– Отлично – мы будем наедине. Я хочу разговаривать с вами так, как мы говорили в моей комнате.

– Милый мальчик, – рассмеявшись, воскликнула Марсия, – означает ли это, что вы собрались меня поцеловать?

– Да, – почти крикнул Гораций, – я поцелую вас, если только вы этого захотите.

Лифтер уже давно с укоризной смотрел на них. Марсия скользнула за решетчатую дверь.

– Я пошлю вам открытку, – сказала она.

Гораций страстно смотрел на нее.

– Напишите мне! Я приеду после первого января. Мне исполнится восемнадцать.

Когда она скрылась в лифте, он загадочно кашлянул, со смутным вызовом судьбе посмотрел в потолок и пошел прочь быстрым шагом.

III

Он снова был в зале. Она заметила его, едва лишь бросив взгляд в кишевший народом манхэттенский партер – он сидел в первом ряду, немного наклонившись вперед, его серо-голубые глаза смотрели прямо на нее. И она знала, что для него в этот момент во всем мире не существовало больше никого, что все эти напудренные лица и жалобный вой настраиваемых скрипок были для него так же незаметны, как пылинки на мраморной Венере. Внутри нее возникло бессознательное раздражение.

– Дурачок! – чуть слышно произнесла она и не вышла на бис. – А что они хотят за сотню в неделю – чтобы я изображала из себя заводную куклу? – ворчала она про себя за кулисами.

– Что случилось, Марсия?

– В первом ряду парень, который мне не нравится.

Во время последнего акта, в ожидании выхода, у нее неожиданно проснулась боязнь сцены. Она так и не послала Горацию обещанную открытку. Вчера вечером она притворилась, что не узнала его, и быстро покинула театр сразу же по окончании своего номера, чтобы провести бессонную ночь в своей квартире, вспоминая в очередной раз

его бледное, сосредоточенное лицо, его мальчишескую фигуру и безжалостную самоуглубленность, которая ее завораживала.

То, что он все-таки приехал, вызвало у нее неосознанное сожаление – как будто на нее нежданно-негаданно свалилась какая-то нежелательная ответственность.

– Вундеркинд! – вслух произнесла она.

– Что-что? – переспросил комедиант, находившийся в этот момент рядом с ней.

– Нет-нет, ничего – просто вырвалось.

На сцене ей стало лучше. Ее танец… Она всегда чувствовала, что простое созерцание красивой девушки у некоторых мужчин вызывает ничуть не менее фривольные мысли, чем ее танец. Он стал гвоздем программы.

Окраины, центр, обеденный час.
Приливы, отливы, Луна – все для нас…

А он не смотрел на нее! Она ясно видела это. Он пристально разглядывал замок, изображенный на заднике, с таким же выражением, что и тогда, в баре. Ее захлестнула волна раздражения – он критиковал ее!

Я страстью охвачен, и музыки ритм
Уносит меня далеко. Этот ритм —
В окраинах, в центре…

Непреодолимое отвращение неожиданно охватило ее. Как в первый раз она с ужасом оглядела публику. Не вожделение ли отразилось на бледном лице в первом ряду, не отвращение ли опустило уголки губ рядом сидящей девушки? Ее плечи – эти трясущиеся под музыку

плечи – да ей ли они принадлежат? Происходит ли это все на самом деле? Эти плечи были созданы вовсе не для подобных движений!

Пускай все считают, что танцы плохи —
Святой Витт замолит все наши грехи.
Пусть прахом летит этот мир – ну а я…

Контрабас и скрипки слились в финальном аккорде. Она замерла на цыпочках, стараясь сохранить равновесие, все ее мускулы были напряжены, юное лицо остановилось, она неподвижно смотрела в зал – этот взгляд одна девушка впоследствии описывала как «такой изысканный, загадочный», – а затем, не поклонившись, бросилась за кулисы. Вбежала в гримерную, сбросила с себя концертное платье, надела обычное и, выскочив на улицу, поймала такси.

В квартире было тепло – квартира была небольшой, на стенах висели художественные репродукции, на полках стояли книги Киплинга и О’Генри, которые она однажды купила у голубоглазого коммивояжера и изредка перечитывала. В комнате стоял гарнитур из нескольких стульев, не очень удобных, и лампа с розовым абажуром, на котором были изображены ласточки в удушливо-розовых облаках. В комнате было несколько красивых безделушек, безжалостно враждебных друг другу, жертв чужих беспокойных вкусов, изредка приводившихся в действие. Завершала обстановку огромная картина в дубовой раме – вид Пассайка с железной дороги в Эри. Все вместе выглядело отчаянной полуэкстравагантной-полуубогой попыткой создать обстановку радости и веселья. Марсия отдавала себе отчет в том, что попытка не удалась.

Вот в эту комнату и вошел «вундеркинд», и неловко взял ее за руки.

– Я все время шел за вами, – сказал он.

– Ах!

– Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж, – сказал он.

Ее руки протянулись к нему. Она сдержанно-страстно поцеловала его в губы.

– Вот как?

– Я люблю вас, – сказал он.

Она снова его поцеловала, а затем с легким вздохом упорхнула от него, полулегла в кресло и затряслась от смеха.

– Ты… *вундеркинд*! – воскликнула она.

– Очень хорошо, зовите меня, как вам нравится. Я как-то сказал вам, что я на десять тысяч лет старше вас – так и есть.

Она снова засмеялась.

– Мне не нравится, когда меня отвергают.

– Никто никогда больше не посмеет вас отвергнуть.

– Омар, – спросила она, – почему вы решили на мне жениться?

«Вундеркинд» встал и засунул руки в карманы.

– Потому что я люблю вас, Марсия Мидоу.

И она перестала звать его Омаром.

– Милый мальчик, – сказала она, – вы знаете, я вас почти люблю. В вас что-то есть – не могу сказать что, – что заставляет мое сердце биться чаще всякий раз, когда вы рядом со мной. Но, дорогой мой…

Она замолчала.

– Но что?

– Многое. Хотя бы то, что вам всего восемнадцать, а мне почти двадцать.

– Ерунда! – перебил он. – Можно сказать, что мне пошел девятнадцатый год, а вам сейчас – девятнадцать. Это делает нас почти ровесниками – не считая тех десяти тысяч лет, о которых я вам уже говорил.

Марсия рассмеялась.

– Но ведь есть еще другие «но». Ваши родители…

– Мои родители! – яростно воскликнул «вундеркинд». – Мои родители попытались сотворить из меня монстра! – Его лицо стало малиновым от мысли о том, что он сейчас скажет. – Мои родители могут убираться к черту и оставаться там хоть навсегда!

– Господи! – встревоженно воскликнула Марсия. – Вот так вот сразу? На гвоздях, я полагаю?

– На гвоздях? Да, – возбужденно согласился он, – на чем угодно! Чем больше я думаю о том, как они пытались вырастить из меня маленькую засушенную мумию…

– Что заставляет вас так считать, – тихо спросила Марсия, – я?

– Да. На кого бы я с тех пор ни посмотрел – все вызывали у меня зависть, потому что все уже давным-давно знали, что такое любовь. А я раньше звал это чувство «животным инстинктом» – Боже мой!

– Есть еще одно «но».

– Какое?

– А на что мы будем жить?

– Я пойду работать.

– Вы учитесь в колледже.

– Вы думаете, что мне так уж нужен этот диплом?

– Но вы хотите быть магистром, не правда ли?

– Да! Что? Я хотел сказать – нет!

Марсия рассмеялась, быстро подошла к нему и устроилась у него на коленях. Он страстно обнял ее и неуклюже поцеловал где-то в районе шеи.

– Ты, кажется, счастливый, – прошептала Марсия, – но это из разряда иррационального.

– О, не будь такой благоразумной!

– Ничего не могу поделать, – сказала Марсия.

– Я ненавижу расчетливых людей!

– Но мы…

– О, замолчи!

И так как Марсия не умела изъясняться жестами, ей пришлось подчиниться.

IV

Гораций и Марсия поженились в начале февраля. В академических кругах и Йеля, и Принстона это стало настоящей сенсацией. Гораций Тарбокс, имя которого мелькало в воскресных приложениях центральных газет, когда ему еще не исполнилось и четырнадцати, отказывался от блестящей академической карьеры, отказывался от

верного шанса стать мировым светилом американской философии! И все это ради «хористки» – репортеры стали именовать Марсию «хористкой» для эффекта. Шумиха продолжалась с неделю, а потом сама собой стихла, как это всегда и случается с подобного рода историями.

Они сняли квартиру в Гарлеме. После двухнедельных поисков, во время которых уверенность в практической ценности академических знаний была безжалостно похоронена, Горацию удалось найти место клерка в «Южно-американской экспортной компании», – от кого-то ему довелось услышать, что экспорт сейчас на подъеме. Марсия собиралась играть еще несколько месяцев – по крайней мере до тех пор, пока он не «станет на ноги». Для начала ему дали сто двадцать пять долларов жалованья, пообещав, конечно же, что оно будет удвоено всего через несколько месяцев, – так что Марсия отказывалась даже обсуждать возможность лишиться тех ста пятидесяти в неделю, которые ей исправно платили.

– Нас можно звать «голова и плечи», дорогой, – мягко заметила она, – и плечам придется потрястись еще немножко, пока хорошенько не встряхнется голова.

– Я ненавижу твою работу, – печально возразил он.

– Но, – решительно ответила она, – твоего жалованья не хватит на квартиру. Не думай, что мне нравится выступать на публике – мне не нравится. Я хочу принадлежать только тебе. Но мне кажется, что я буду выглядеть дурочкой, если только и буду делать, что сидеть в комнате, ждать тебя и считать солнечных зайчиков на обоях. Когда ты будешь получать три сотни в месяц, я уволюсь.

И, несмотря на то что гордость его была сильно уязвлена, Горацию пришлось согласиться, что она говорит мудро.

Март сменился апрелем. Май объявил ультиматум паркам и прудам Манхэттена, и они были счастливы подчиниться. Гораций, у которого не было никаких привычек – у него ведь просто не было времени на их формирование, – оказался покладистым мужем, и, так как у Марсии не могло быть собственных мнений по поводу занимавших его предметов, в семье практически не происходило никаких серьезных столкновений. Их мысли вращались в различных сферах. Марсия выступала в роли практичного «мастера на все руки», а Гораций то по-прежнему существовал в привычном ему мире абстрактных идей, то с

ликованием спускался на землю, чтобы воздать толику почитания и обожания своей жене. Она постоянно изумляла его – свежестью и оригинальностью мышления, активной и чистой жизненной энергией и никогда не изменявшим ей юмором.

Марсия перешла работать в вечернее шоу, и ее коллеги ясно видели, как она гордится интеллектом своего мужа. Они знали Горация только как тощего, с плотно сжатыми губами, инфантильного на вид молодого человека, каждый вечер встречавшего и отвозившего ее домой.

– Гораций, – сказала Марсия как-то вечером, когда они, как обычно, встретились у выхода в одиннадцать часов, – ты выглядел, как призрак, когда стоял спиной к фонарям. Ты теряешь в весе?

Он неопределенно помотал головой.

– Не знаю. Мне сегодня прибавили жалованье, сто тридцать пять долларов, и…

– Не важно, – строго сказала Марсия. – Ты убиваешь себя, работая по ночам. Ты все читаешь и читаешь эти книжищи по экономии…

– Экономике, – поправил Гораций.

– Да, ты читаешь каждую ночь, когда я уже вижу десятый сон. И ты уже снова начал сутулиться, как до свадьбы.

– Но, Марсия, я должен…

– Нет, ты не должен, дорогой. Кажется, в данный момент хозяйка лавочки – я, и я не дам своему парню разрушить свое здоровье и испортить глаза. Ты должен заниматься гимнастикой.

– Я занимаюсь. Каждое утро я…

– Да, я видела. Эти твои гантели даже у чахоточного не поднимут температуру и на градус. Я имею в виду настоящую физкультуру. Ты должен ходить в гимнастический зал. Помнишь, ты как-то говорил мне, что был таким хорошим гимнастом, что тебя даже пытались выставить на соревнования от колледжа, и ты не выступал только потому, что на тот день у тебя была назначена встреча с Герби Спенсером?

– Мне нравилась атлетика, – задумчиво сказал Гораций, – но спорт отнимет у меня слишком много времени.

– Ладно, – сказала Марсия, – я предлагаю тебе сделку. Ты начинаешь заниматься, а я обещаю прочесть одну из тех книжек в темном переплете.

– «Дневник» Пипса? Тебе должно понравиться. Он пишет достаточно популярно.

– Не для меня. Это будет что-то вроде пережевывания стеклянной тарелки. Но ты все время говоришь мне, что это расширит мой кругозор. Так вот: ты ходишь в гимнастический зал три раза в неделю, а я принимаю одну большую дозу Пипса.

Гораций задумался.

– Ну что ж…

– Ну давай, соглашайся! Ты для меня будешь прыгать на трапеции, а я для тебя попытаюсь впитать в себя немного культуры.

Гораций в конце концов дал согласие, и в течение всего жаркого лета три, а то и четыре вечера в неделю проводил, занимаясь на трапеции в гимнастическом зале Скиппера. А в августе он признался Марсии, что это позволило ему с большей эффективностью трудиться в умственной сфере в течение дня.

– *Mens sana in corpore sano*, – сказал он.

– Не верь в это! – ответила Марсия. – Я как-то пробовала патентованное лекарство и пришла к выводу, что все это вздор. Лучше заниматься спортом.

Однажды вечером – уже наступил сентябрь – к Горацию, повторявшему свои упражнения на кольцах в полупустом зале, обратился задумчивый толстяк, который уже несколько дней с заметным интересом наблюдал за ним.

– Слушай, парень, а можешь сделать ту штуку, которую ты вчера делал?

Гораций заулыбался с высоты.

– Я сам это придумал, – сказал он. – Меня вдохновила четвертая теорема Евклида.

– Из какого он цирка?

– Он уже умер.

– Небось сломал себе шею, выполняя этот трюк. Я сидел тут вчера и думал, что ты наверняка сломаешь себе шею.

– Вот как? – сказал Гораций, и, перепрыгнув на трапецию, выполнил трюк.

– Что, ни шея, ни плечи не болят?

– Поначалу болели, но за неделю я написал об этом *quod eras demonstrandum.*

– Гм…

Гораций свободно повис на трапеции.

– Не думал заняться этим профессионально? – спросил толстяк.

– Да нет.

– Будешь получать хорошие деньги, если сможешь делать такие трюки так легко.

– А вот еще, – энергично бросил Гораций, и толстяк разинул рот от удивления, наблюдая, как Прометей в розовом трико снова победил богов и сэра Исаака Ньютона.

На следующий вечер Гораций вернулся с работы домой и застал заметно бледную Марсию, лежавшую на диване в ожидании его прихода.

– Сегодня я два раза падала в обморок, – без лишних предисловий начала она.

– Что?

– То. Видишь ли, через четыре месяца у нас появится ребенок. Доктор сказал, что мне надо было прекратить танцевать еще две недели назад.

Гораций сел и задумался.

– Я рад, конечно, – меланхолично сказал он. – Я имею в виду, рад, что у нас будет ребенок. Но нам предстоят серьезные расходы.

– У меня двести пятьдесят долларов в банке, – с надеждой сказала Марсия, – и еще мне на днях заплатят жалованье за эти две недели.

Гораций быстро подсчитал итог.

– Вместе с моим жалованьем у нас получится четырнадцать сотен за ближайшие полгода.

Марсия еще больше побледнела.

– И все? Конечно, можно поискать место певицы на этот месяц. А в марте я снова смогу выйти на работу…

– Да ты что! – резко оборвал ее Гораций. – Ты останешься дома. Так, посмотрим – нам придется платить врачу, и няньке, да еще и горничной. Значит, нужно раздобыть побольше денег.

– Ну что ж, – устало сказала Марсия, – я не знаю, что теперь делать. Все теперь держится только на голове. Плечи выходят из дела.

Гораций поднялся и надел пальто.

– Куда ты собрался?

– Есть одна идея, – ответил он. – Я скоро вернусь.

Через десять минут, на пути к гимнастическому залу Скиппера, он уже спокойно удивлялся сам себе, забыв об иронии. Как бы он смеялся сам над собой еще год назад! Как бы развеселились все без исключения, узнай они об этом! Но, однажды открыв дверь на стук самой жизни, ты всегда позволяешь многому войти вместе с ней.

Зал был ярко освещен, и когда его глаза привыкли к свету, он увидел задумчивого толстяка, усевшегося с большой сигарой на куче тряпичных матов.

– Слушайте, – прямо начал Гораций, – вы серьезно говорили вчера, что я могу зарабатывать деньги своими трюками на трапеции?

– Ну да, – удивленно сказал толстяк.

– Я все обдумал, и я хочу попробовать. Могу выступать по вечерам и по субботам – да в любое время, если деньги действительно хорошие.

Толстяк поглядел на часы.

– Ну что же, – сказал он, – надо повидаться с Чарли Палсоном. Он возьмет тебя сразу, как только увидит, как ты работаешь. Сегодня уже поздно, но завтра я его приглашу.

Толстяк был верен своему слову. Чарли Палсон действительно появился в зале на следующий день и провел час, в изумлении наблюдая, как чудо-гимнаст невероятными параболами проносился в воздухе, а на следующий вечер он привел с собой двух тучных господ, которые выглядели так, будто родились, попыхивая толстыми сигарами и разговаривая о деньгах низкими, страстными голосами. В следующую субботу торс Горация Тарбокса совершил свое первое появление в профессиональном качестве на гимнастическом шоу в «Парке Кольмана». Несмотря на то что число зрителей приближалось к пяти сотням, Гораций нисколько не нервничал. С детства он читал доклады перед публикой и хорошо овладел фокусом сценического отстранения.

– Марсия, – весело говорил Гораций тем же вечером, – я думаю, что мы потихоньку выбираемся из этой чащи. Палсон считает, что сможет устроить мне выход на «Ипподроме», а это означает контракт на всю зиму. «Ипподром», ты же знаешь, довольно большая…

– Да, кажется, я о нем слышала, – перебила Марсия, – но мне бы хотелось узнать побольше об этом твоем трюке. Это ведь не

«смертельный номер»? А то они все больше похожи на попытки публичного суицида…

– Ничего особенного, – тихо сказал Гораций. – Но только если ты сможешь придумать более изящный способ уйти из жизни, чем рискнуть ради тебя, то тогда это и будет та самая смерть, которой я себе желаю.

Марсия поднялась и крепко обняла его.

– Поцелуй меня, – прошептала она, – и скажи «любимая». Мне нравится слушать, как ты называешь меня «любимая». И принеси мне завтра какую-нибудь книжку. Что-нибудь легкое и занимательное, не Сэма Пайпа. Я просто не знаю, чем заняться днем. Я хотела писать письма, но мне некому их посылать.

– Пиши мне, – сказал Гораций, – я буду их читать.

– Если бы я умела, – очень тихо сказала Марсия. – Если бы я только знала все слова, я бы написала тебе самое длинное в мире письмо о любви – и никогда бы не устала его писать.

Прошло два месяца. Марсии, естественно, становилось все хуже, и несколько ночей подряд на арену «Ипподрома» выходил очень усталый и нервный атлет. Следующие два дня его место занимал еще более бледный юноша, почти не срывавший аплодисментов. Но по прошествии двух дней снова появился Гораций, и те, что сидели в первых рядах, могли заметить выражение блаженного счастья на лице юного акробата даже в тот момент, когда он беззвучно проносился в воздухе в самом апогее своего изумительного и уникального разворота плечами. После этого выступления он смеялся в лифте и, поднимаясь по лестнице в квартиру, перескакивал сразу через пять ступенек – а затем осторожно, на цыпочках, вошел в тихую комнату.

– Марсия, – прошептал он.

– Привет, – слабо улыбнулась она ему. – Гораций, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Загляни в верхний ящик моего комода, ты увидишь там большую кипу бумаги. Это книга – что-то вроде книги – Гораций, я написала ее за эти три месяца, пока лежала в постели. Я хочу, чтобы ты передал ее Питеру Бойсу Уэнделу, который напечатал мое письмо в газете. Он сможет сказать, хорошая ли это книга. Я писала ее так, как думалось, так же, как я писала то письмо. Это история обо всем, что со мной случилось. Ты передашь ее ему, Гораций?

– Да, дорогая.

Он наклонился над постелью, положил свою голову рядом на подушку и начал гладить ее светлые волосы.

– Милая моя, – мягко сказал он.

– Нет, – пробормотала она, – зови меня так, как я тебе говорила.

– Любимая, – страстно прошептал он, – любимая, любимая…

– Как мы ее назовем?

Гораций задумался. Они оба замолчали, счастливые и немного усталые.

– Мы назовем ее Марсия Хьюм Тарбокс, – наконец сказал он.

– Почему Хьюм?

– Потому что это он нас познакомил.

– Неужели? – пробормотала она, полусонная-полуудивленная. – Я думала, его звали Чарли.

Ее веки сомкнулись, и спустя мгновение медленное, размеренное колыхание одеяла на ее груди наглядно продемонстрировало, что она крепко заснула.

Гораций на цыпочках подошел к комоду и, открыв верхний ящик, нашел кипу исписанных небрежным почерком страниц. Он взглянул на титульный лист:

Марсия Тарбокс
Сандра Пипс,
или
Синкопированная

Он улыбнулся. Значит, Сэмюэл Пипс все-таки произвел на нее впечатление. Он перевернул страницу и начал читать. Улыбнувшись еще шире, он продолжил.

Прошло полчаса, и он внезапно осознал, что Марсия проснулась и смотрит на него с постели.

– Милый, – послышался шепот.

– Да, Марсия?

– Тебе понравилось?

Гораций кашлянул.

– Кажется, я зачитался. Просто отлично!

– Дай ее Питеру Бойсу Уэнделу. Скажи ему, что у тебя были высшие баллы в Принстоне и что ты точно знаешь, что книга хорошая. Скажи ему, что это – бестселлер.

– Хорошо, Марсия, – нежно сказал Гораций.

Ее веки снова сомкнулись, и Гораций подошел к постели, поцеловал ее в лоб и задержался на мгновение, с нежностью глядя на нее. Затем он вышел из комнаты.

Всю ночь перед его глазами плясали небрежный почерк, постоянные грамматические и орфографические ошибки и нестандартная пунктуация. Он просыпался несколько раз за ночь, исполненный доброжелательной бессмысленной симпатии к желанию души Марсии излить себя в словах. Для него в этом было нечто неопределенно-патетическое, и впервые за несколько месяцев он вспомнил о своих собственных полузабытых мечтах.

Ему хотелось написать серию книг, популяризующих новый реализм, подобно тому, как Шопенгауэр популяризовал пессимизм, а Уильям Джеймс – прагматизм.

Но жизнь рассудила иначе. Жизнь всегда хватает людей и заставляет их цепляться за летящие кольца. Он рассмеялся, вспомнив стук в дверь, прозрачную тень в Хьюме, угрозу поцелуя.

– И это все еще я, – вслух удивленно произнес он, лежа на постели, окончательно проснувшись. – Это я – тот человек, сидевший в Беркли, опрометчиво рассуждавший о том, будет ли стук действительно существовать, если бы не было уха, его слышащего. Этот человек – я! Меня могли бы посадить на электрический стул за все его преступления! Бедные неосязаемые души, пытающиеся материализоваться! Марсия с ее написанной книгой, я – с ненаписанными моими… Долго выбираем себе посредника, а затем берем что дают – и счастливы этим!

V

«Сандра Пипс, или Синкопированная», с предисловием репортера Питера Бойса Уэндела, стала печататься «с продолжением» в «Джордан Мэгэзин», а в марте появилась отдельным изданием. С самого начала публикации она привлекла широкое и пристальное общественное внимание. Довольно тривиальный сюжет – девушка из провинции Нью-Джерси приезжает в Нью-Йорк, чтобы выступать на сцене, – рассказанный просто, но со своеобразной живостью и постоянным призвуком печали, выражавшимся в неадекватности языка; все вместе обладало неотразимым очарованием.

Питер Бойс Уэндел, который – так уж получилось – как раз в это время ратовал за обогащение американского литературного языка путем немедленного введения в словари всех выразительных жаргонных слов, выступил в качестве ярого апологета и метал гром и молнии в поддержку нового таланта, ярко выделяясь на фоне остальных умеренных литературных обозревателей.

Марсия получила по триста долларов за каждую часть публикации «с продолжением», что пришлось очень кстати, так как, несмотря на то что ежемесячное жалованье Горация было гораздо больше того, что когда-либо платили Марсии, Марсия-младшая стала часто издавать пронзительные крики, которые родители интерпретировали как требование оказаться поскорее в спокойной атмосфере за городом. Апрель застал их уютно устроившимися в бунгало в Уэстчестере, с местом под будущую лужайку, местом для гаража, местом для всего, в том числе и для звуконепроницаемого кабинета, в котором – как клятвенно было обещано мистеру Джордану – Марсия будет закрываться для занятий бессмертно-нелитературной литературой, как только нужда в ней ее дочери хоть немного ослабнет.

«Совсем даже не плохо», – думал Гораций как-то вечером, направляясь домой со станции. Он обдумывал несколько открывшихся перспектив: четырехмесячный контракт с пятизначной суммой за участие в водевиле и потенциальная возможность снова вернуться в Принстон благодаря гимнастике. Как странно. Когда-то он собирался вернуться туда благодаря философии, а сейчас его нисколько не

тронуло известие о приезде в Нью-Йорк его былого кумира Антона Лурье.

Под его каблуками захрустел гравий. Он увидел, что в гостиной горит свет, а на площадке перед домом стоит большой лимузин. Скорее всего, опять мистер Джордан убеждает Марсию приняться за работу.

Она услышала его шаги и вышла навстречу. Ее силуэт четко обрисовывался на фоне освещенной двери.

– Приехал какой-то француз, – нервно шепнула она, – я не могу повторить его имя, но, кажется, он жутко умный. Надо тебе с ним потрепаться.

– Какой француз?

– Не переспрашивай, все равно не знаю. Он приехал час назад с мистером Джорданом и сказал, что мечтает познакомиться с Сандрой Пипс, и так далее.

Когда они вошли, двое мужчин поднялись со стульев.

– Здравствуйте, Тарбокс, – сказал Джордан. – Я решил познакомить двух знаменитостей. Я привез к вам монсеньора Лурье. Монсеньор Лурье, разрешите вам представить мистера Тарбокса, мужа миссис Тарбокс.

– Неужели Антон Лурье? – воскликнул Гораций.

– О да! Я не мог не прийти! Я был просто обязан прийти! Я прочел книгу мадам, и я был очарован ею, – он засунул руку в карман, – о, я и про вас читал. В этой газете, которую я сегодня читал, есть и ваше имя.

Наконец он нашел в кармане вырезку.

– Прочтите вслух, – важно сказал он, – там есть и про вас.

Взгляд Горация скользнул к концу текста.

«Яркое явление американской литературы, – значилось там. – Взят новый тон, и этот факт определяет все качества книги. Ее появление можно сравнить только с появлением „Гекльберри Финна“».

Взгляд Горация скользнул еще ниже – и дальше он в ошеломлении прочитал: «Марсия Тарбокс связана со сценой не только как зритель, но и как жена артиста. В прошлом году она вышла замуж за Горация Тарбокса, который каждый вечер приводит в восторг юных зрителей „Ипподрома“ своим изумительным номером с парящими кольцами. Говорят, что супруги называют себя „Голова и плечи“, что, без сомнения, является отражением того факта, что ум миссис Тарбокс олицетворяет собой, конечно же, интеллектуальную половину союза, а

гибкие и проворные плечи ее мужа, несомненно, физическую. Миссис Тарбокс, кажется, вполне заслуживает незаслуженно забытого звания литературного „вундеркинда“. В свои двадцать…»

Гораций не стал читать дальше и с очень странным выражением внимательно посмотрел на Антона Лурье.

– Я хочу дать вам один совет, – неожиданно хриплым голосом произнес он.

– О чем вы?

– О стуке. Никогда не открывайте! Пусть себе стучат – обейте дверь чем-нибудь мягким.

Хрустальная чаша

I

Прошли и раннекаменный, и позднекаменный, и бронзовый века. И через многие годы наступил он – хрустальный век. Молодые дамы хрустального века сначала убеждали молодых кавалеров с длинными, вьющимися усами сделать им предложение, а после венчания еще несколько месяцев сидели и писали письма с благодарностями за сыпавшиеся на молодоженов дождем хрустальные подарки: чаши для пунша, чаши для мытья рук, изящные стаканы, бокалы для вина, мороженицы, конфетницы, графины и пепельницы. Хотя хрусталь и не был чем-то новым для 90-х годов XIX века, он все же оставался особым материалом, отражавшим ослепительный свет моды, разливавшийся от квартала Бэк-Бэй до скоростного Среднего Запада.

После свадьбы чаши для пунша выстраивались на буфете: самая большая гордо устанавливалась в центре; стаканы располагались на «китайской горке», подсвечники ставились по краям – и борьба за

существование начиналась. Блюдо для конфет теряло свою маленькую ручку и становилось игольницей, покорно перемещаясь в спальню на втором этаже; прогуливающийся котенок сбрасывал маленькую вазу с буфета; наемная горничная раскалывала на куски вазу побольше, ударив ее о сахарницу; бокалы изнемогали в сражениях и падали со своих тонких ножек, и даже изящные стаканы исчезали один за другим, как десять негритят. Последний из них, испуганный и изувеченный, заканчивал свою карьеру на полочке в ванной в качестве стакана для зубных щеток, среди других потертых экс-джентльменов. И в тот момент, когда он падал на пол, заканчивалась эпоха.

Полдень славы хрустального века уже давным-давно миновал, когда любопытная миссис Роджер Файрбоат заглянула к прекрасной миссис Гарольд Пайпер.

– Моя дорогая, – сказала любопытная миссис Роджер Файрбоат, – я прямо-таки влюблена в ваш дом. Я думаю, что он – произведение искусства!

– Ну что вы… Благодарю вас! – сказала прекрасная миссис Гарольд Пайпер, и в ее юных темных глазах блеснули огоньки. – Вы должны заходить к нам почаще. Я почти всегда провожу вечера в одиночестве.

На это миссис Файрбоат могла бы заметить, что не поверила ни на йоту и не видит причины, в силу которой в это можно было бы поверить, – ведь весь город судачил о том, что мистер Фрэдди Гедни вот уже полгода чуть ли не ежедневно заглядывает к миссис Пайпер. Миссис Файрбоат находилась уже в столь зрелом возрасте, когда любые слова молодых и красивых женщин не вызывают особого доверия…

– Больше всего мне нравится ваша столовая, – сказала она. – Весь этот дивный фарфор и эта огромная хрустальная чаша!

Миссис Пайпер рассмеялась так мило, что желание миссис Файрбоат как-нибудь намекнуть об истории с Фрэдди Гедни почти что исчезло.

– Ах эта большая чаша!

Когда миссис Пайпер выговаривала слова, ее губы походили на яркие лепестки розы.

– У нее есть даже своя история…

– Неужели?

– Помните ли вы молодого Карльтона Кэнби? Когда-то он ухаживал за мной. В тот вечер, когда я сказала ему, что собираюсь замуж за Гарольда – это было семь лет назад, в 1892-м, он в конце концов взял себя в руки и сказал: «Эвелин, я хочу подарить тебе на память вещь, такую же тяжелую, как твой характер, такую же прекрасную, пустую и прозрачную, как ты». Он немного испугал меня – его глаза так потемнели! Я подумала, что он собирается подарить мне дом с привидениями или что-нибудь вроде такой коробочки, которая взрывается в руках, когда ты ее открываешь. Но на следующий день он прислал мне чашу, и – конечно же! – просто великолепную! Ее диаметр, или периметр, или как-там-еще-это-называется, 2,5 фута – или даже 3,5! Не важно, наш буфет все равно слишком мал для нее!

– Моя дорогая, не правда ли, весьма, весьма странный подарок? А после этого он, кажется, уехал из города?

Миссис Файрбоат царапала курсивом в памяти – «тяжелая, прекрасная, пустая и прозрачная».

– Да, он уехал на Запад… Или на Восток – или куда-нибудь еще, – ответила миссис Пайпер, излучая то божественное неведение, которое позволяет красоте не подчиняться законам времени и пространства.

Миссис Файрбоат натягивала перчатки, воздавая хвалу эффекту обширности дома, возникавшему благодаря открывавшемуся из просторного музыкального салона виду на библиотеку. На заднем плане вид включал в себя еще и часть столовой. И правда, это был один из прелестнейших маленьких домиков города, и миссис Пайпер уже поговаривала о переезде в дом побольше, на авеню Деверю. «Судя по всему, этот Гарольд Пайпер, как говорится, печатает деньги», – подумала миссис Файрбоат.

Осенний день клонился к вечеру; на лице миссис Файрбоат, свернувшей в это мгновение на тротуар, появилось то строгое, слегка неприятное выражение, которое почти все состоявшиеся сорокалетние женщины предпочитают носить на улице.

«Если бы я была Гарольдом Пайпером, я бы проводила немного меньше времени на работе и немного больше – дома, – думала миссис Пайпер. – Кто-нибудь из его друзей просто обязан поговорить с ним».

Но если миссис Файрбоат сочла вечер удачным, то, задержись она в доме еще на пару минут, она назвала бы его триумфальным. Ее темная удалявшаяся фигура еще виднелась в сотне ярдов от дома, когда

весьма хорошо одетый, но слегка обезумевший молодой человек свернул на дорожку, ведущую к дому Пайперов. Миссис Пайпер, услышав звонок, сама отворила ему дверь и быстро провела гостя в библиотеку– скорее смущенно, чем радостно.

– Я должен был вас видеть, – исступленно заговорил он. – Ваша записка свела меня с ума! Это Гарольд вас так напугал?

Она покачала головой.

– Все кончено, Фрэд, – медленно проговорила она, и губы ее еще никогда не были так похожи на распустившуюся розу. – Вчера вечером он пришел домой в ярости, потому что чувство долга у Джесси Пайпер оказалось сильнее чувства такта: она пришла к нему в контору и рассказала все городские сплетни о нас с тобой. Это ранило его – ох! Я ничего не могу поделать, я просто не могу видеть его в таком состоянии, Фрэд! Он сказал, что мы, оказывается, все это лето были главной темой сплетен в клубе, а он ни о чем и не догадывался! И только сейчас он начал понимать случайно услышанные им обрывки разговоров и завуалированные намеки. Он в ярости, Фрэд, и он любит меня – более того, я его люблю!

Гедни медленно кивнул головой и полуприкрыл глаза.

– Да, – сказал он. – Да, мы с тобой очень похожи. Я так же, как и ты, чересчур хорошо понимаю точку зрения другого человека.

Его искренние серые глаза встретили ее потемневший взгляд.

– Счастливые времена позади. Господи, Эвелин, я весь день просидел в конторе, снова и снова перечитывая твое письмо…

– Ты должен сейчас же уйти, Фрэд, – перебила она, и легкая поспешность в ее голосе стала для него новым ударом. – Я дала ему честное слово, что больше не буду с тобой встречаться. Я знаю, насколько далеко можно зайти, когда имеешь дело с Гарольдом, и твой приход – именно то, чего делать никак нельзя!

Они разговаривали стоя, и, произнося последнюю фразу, она двинулась по направлению к двери. Гедни выглядел глубоко несчастным, пытаясь в этот момент навсегда запечатлеть в сердце ее образ, – а затем они оба застыли, как статуи, неожиданно услышав звуки шагов с улицы. Ее рука сейчас же протянулась и схватила его за отворот пальто, почти что втолкнув через раскрытую дверь в темную столовую.

– Я заставлю его подняться наверх, – прошептала она. – Не двигайся, пока не услышишь, что он поднимается по ступенькам. Затем уходи как можно быстрее.

И он остался один, прислушиваясь в темноте, как она приветствует мужа в коридоре.

Гарольду Пайперу было тридцать шесть, он был на девять лет старше жены. Он был красив – но красоту его портила одна неприятная черта: слишком близко посаженные глаза, вызывавшие у наблюдателя впечатление «одеревенелости» лица, когда оно находилось в состоянии покоя. В ситуации с Гедни он занял самую типичную для него позицию. А именно он сказал Эвелин, что многое обдумал и никогда не будет ни упрекать ее, ни даже вспоминать об этом – что вовсе не обмануло Эвелин; себе же он сказал, что надо смотреть на вещи шире. Как и все люди, озабоченные широтой своего взгляда на вещи, он смотрел на все с зоркостью крота.

Сегодня он поприветствовал Эвелин с преувеличенной сердечностью.

– Тебе нужно поскорее одеться, Гарри, – натянуто произнесла она. – Мы опаздываем к Бронсонам.

Он кивнул.

– Я уже одеваюсь, дорогая, – и направился в библиотеку!

Сердце Эвелин громко застучало.

– Гарольд… – начала она, и голос ее слегка дрогнул. Она пошла вслед за ним. Он закурил. – Надо торопиться, Гарольд, – закончила она, остановившись в дверях.

– Зачем? – спросил он с игривым раздражением в голосе. – Ты же сама еще не одета, Эви!

Он растянулся в уютном моррисовском кресле и развернул газету. Эвелин почувствовала, что это означало по крайней мере десятиминутную задержку, – а Гедни все еще стоял, не дыша, в соседней комнате. По всей вероятности, Гарольду хотелось пропустить стаканчик – спиртное было в буфете, и, значит, Гарольд должен был зайти туда перед тем, как подняться наверх. Эвелин пришло в голову, что лучше упредить эту нежданную помеху, самолично принеся ему бутылку и стакан. Она боялась привлечь его внимание к столовой – но рискнуть все же стоило.

В этот момент Гарольд поднялся и, отбросив газету, подошел к ней.

– Эви, дорогая, – сказал он, нагнувшись и обняв ее. – Я надеюсь, ты не переживаешь из-за того, что произошло между нами вчера…

Она, дрожа, придвинулась к нему поближе.

– Я знаю, – продолжал он, – что с твоей стороны это было всего лишь неблагоразумной дружбой. Все мы делаем ошибки.

Эвелин с трудом понимала, о чем он вообще говорил. Ей хотелось схватить его в охапку и потащить наверх по ступенькам. Ей хотелось сказаться нездоровой и попросить его отнести ее наверх – к сожалению, она знала, что он наверняка уложит ее на кушетку прямо здесь и пойдет за виски.

Неожиданно ее нервное напряжение достигло крайней стадии. Она услышала очень слабый, но безошибочно узнаваемый скрип паркета в столовой. Фрэд пытался выйти черным ходом.

Затем ее сердце чуть было не выпрыгнуло из груди – потому что по дому пронесся глухой, звенящий звук, похожий на звук гонга. Рука Гедни задела большую хрустальную чашу.

– Что это? – воскликнул Гарольд. – Кто там?

Она вцепилась в него, но он вырвался; ей показалось, что комната раскололась. Она услышала, как приоткрылась дверь кухни, услышала шум схватки, бряцанье упавшей откуда-то жестянки; в отчаянии бросилась она в кухню и сделала поярче газовый светильник. Руки мужа медленно отпустили шею Гедни; он застыл – сначала в изумлении, а затем на его лице забрезжила боль.

– Боже! – произнес он, и повторил: – Боже!

Он развернулся – казалось, он собирался снова наброситься на Гедни; но затем замер, его мускулы расслабились, и он горько рассмеялся.

– Вы люди – всего лишь люди…

Руки Эвелин обнимали его, ее глаза смотрели на него с неистовой мольбой. Но он оттолкнул ее от себя и, как оглушенный, свалился на кухонный стул. Его взгляд остекленел.

– Ты наставила мне рога, Эвелин… За что, маленькая ведьма? За что?

Еще никогда ей не было так жаль его; еще никогда она не любила его так сильно.

– Она ни в чем не виновата, – кротко сказал Гедни. – Я лишь зашел…

Но Пайпер покачал головой, и выражение его лица было таким, будто его сотрясал какой-то физический недуг и его мозг отказывался работать. Взгляд, неожиданно ставший жалким, отозвался сильным, болезненным аккордом в сердце Эвелин – и одновременно с этим ее захлестнули ярость и гнев по отношению к Гедни. Она почувствовала, как горят ее веки; она топнула ногой; ее руки нервно заерзали по столу, ища какого-нибудь оружия, – а затем она неистово накинулась на Гедни.

– Вон отсюда! – кричала она; ее черные глаза сверкали, маленькие кулачки беспомощно колотили по его вытянутой руке. – Это все из-за тебя! Убирайся! Пошел вон! Вон отсюда!!!

II

Когда миссис Гарольд Пайпер исполнилось тридцать пять, мнения разделились: женщины говорили, что она все еще красива, мужчины же – что она уже не так мила. Вероятно, это случилось из-за того, что ее красота, которой ревниво опасались женщины и которую боготворили мужчины, как-то поблекла. Глаза оставались все такими же большими, такими же черными и такими же печальными, но в них больше не было таинственной загадочной поволоки; их печаль больше не казалась божественно прекрасной, она стала всего лишь человеческой. У миссис Гарольд Пайпер появилась некрасивая привычка: когда она была испугана или рассержена, что-то заставляло ее свести брови и несколько раз моргнуть. Ее рот также потерял былое очарование, – губы утратили яркость. Кроме того, раньше, когда она улыбалась, уголки ее рта опускались вниз, что прибавляло печали выражению ее глаз и было одновременно и трогательно, и прекрасно, – а теперь эта черточка исчезла… Теперь, когда она улыбалась, уголки ее губ поднимались вверх. Раньше, когда Эвелин наслаждалась собственной красотой, ей нравилась ее улыбка – и она всячески ее

подчеркивала. Но когда она перестала ставить на ней особое ударение, улыбка исчезла – а вместе с ней и последние остатки былой загадочности.

Эвелин перестала обращать внимание на свою улыбку где-то через месяц после происшествия с Фрэдди Гедни. Внешне все шло так же хорошо, как и раньше. Но за те несколько минут, когда она поняла, насколько сильно любит своего мужа, Эвелин осознала, какую страшную рану она ему нанесла. Целый месяц она боролась со скорбной тишиной, внезапно сменявшейся неистовыми упреками и обвинениями, – она молила его о прощении, тихо и жалобно любила его, а он в ответ только горько над ней смеялся. Затем она, так же, как и он, постепенно привыкла молчать, и призрачный непроницаемый барьер упал между ними. Всю любовь, волной поднявшуюся внутри нее, она изливала на Дональда, своего маленького сына, изумленно осознав, как незаметно он стал частью ее самой.

В следующем году сумма обоюдных интересов и взаимной ответственности вкупе со случайными вспышками воспоминаний снова сблизили мужа и жену, – но после скорее патетического, чем истинного, наплыва чувств Эвелин осознала, что лучшие времена для их семьи уже миновали. У них попросту больше не осталось ничего, что можно было бы разделить друг с другом. Эвелин могла бы стать и юностью, и любовью «за двоих», – но Время Молчания медленно иссушило источники любви и нежности, а ее собственное желание испить из них угасло.

Она стала искать себе подруг, стала перечитывать давно забытые книги, начала вышивать и посвятила себя воспитанию своих детей, которым была предана всем сердцем. Она стала раздражаться по мелочам и теряла нить разговора, если вдруг замечала крошки на обеденном столе; так молодость теряла последние бастионы.

Ее тридцать пятый день рождения выдался особенно хлопотным, потому что прямо в тот же день они решили устроить вечеринку. Ближе к вечеру, стоя в спальне у окна, она обнаружила, что очень устала. Десять лет назад она бы просто легла и вздремнула, – но сегодня ей казалось, что без ее присмотра все пойдет не так: внизу убирались горничные, безделушки, снятые со своих привычных мест, занимали весь пол; обязательно нужно было лично переговорить с бакалейщиком, – кроме того, еще нужно было написать письмо

Дональду, который, так как ему уже исполнилось четырнадцать, был впервые отправлен в школу-пансион.

Но все-таки она уже почти решилась прилечь отдохнуть, когда неожиданно услыхала внизу плач маленькой Джули. Она сжала губы; брови ее сдвинулись, она моргнула.

– Джули! – позвала она.

– А-а-а! – заунывно продолжала плакать Джули.

Затем снизу донесся голос второй горничной Хильды:

– Она порезалась, миссис Пайпер!

Эвелин поспешно схватила свою корзинку с вышивальными принадлежностями и рылась в ней до тех пор, пока не отыскала там рваный носовой платок. Затем она поспешила вниз. Через мгновение Джули уже ревела у нее на руках, а она искала рану, присутствие которой доказывалось небольшим пятном крови на платьице ребенка.

– Пальчик! – плакала Джули. – А-а-а, я ранена!

– Чаша стояла вон там, – извиняющимся тоном сказала Хильда. – Я ее поставила на пол, чтобы с буфета пыль протереть, а Джули захотелось поиграть с ней. Она и порезалась.

Эвелин мрачно нахмурилась и взглянула на Хильду. Решительно сжав Джули коленями, она порвала платок на узкие полоски.

– Ну давай посмотрим, дорогая!

Джули разжала кулачок, и Эвелин увидела ранку.

– Вот так!

Джули с подозрением рассматривала свой забинтованный палец. Она его согнула, затем разогнула. Девочка заулыбалась, в глазах ее появилось любопытство. Она засопела и снова согнула-разогнула палец.

– Ты прелесть! – воскликнула Эвелин и поцеловала ее. Но, перед тем как покинуть комнату, она еще раз строго посмотрела на Хильду. Что за беспечность! Все нынешние слуги таковы. Эх, найти бы хорошую ирландку, – но, кажется, все они уже перевелись; или какую-нибудь шведку…

В пять часов прибыл Гарольд и, поднявшись к ней в комнату, подозрительно веселым тоном пригрозил, что сейчас же поцелует ее тридцать пять раз в честь праздника. Но Эвелин не поддалась.

– Ты пьян, – коротко ответила она и продолжила, чуть смягчив фразу: – Ты же знаешь, я терпеть не могу этого запаха!

– Эви, – сказал он после паузы, усевшись на стул возле окна. – Я должен тебе кое о чем рассказать. Может быть, ты слышала, что в бизнесе есть определенные законы и они не зависят от наших желаний?

Она стояла у окна и расчесывала волосы, но при этих словах сразу же повернулась к нему.

– О чем ты говоришь? Раньше ты твердил, что в нашем городе хватит места еще целой дюжине оптовиков!

В ее голосе звучала тревога.

– Да, так оно и было, – выразительно произнес Гарольд. – Но этот Кларенс Эйхерн чертовски умен!

– Я удивилась, когда ты вдруг сказал, что пригласил его на ужин.

– Эви, – продолжил он, опять хлопнув себя по коленке. – С первого января «Компания Кларенса Эйхерна» станет «Компанией Эйхерн и Пайпер», а компания «Братья Пайперы» прекратит свое существование.

Эвелин вздрогнула. Его имя на втором месте звучало для нее враждебно, но Гарольд, казалось, ликовал.

– Я не понимаю, Гарольд!

– Что же тут поделать, Эви? Эйхерн заигрывал с Марксом. Если бы они соединились, я бы не выдержал. Они бы стали очень опасными конкурентами, а нам доставались бы самые невыгодные заказы, потому что риск связал бы нам руки. Это всего лишь слияние капиталов, Эви. «Эйхерн и Маркс» занялись бы тем же, чем теперь займутся «Эйхерн и Пайпер».

Он кашлянул и замолчал. Она почувствовала слабый запах виски.

– Если честно, Эви, я предполагаю, что здесь замешана жена Эйхерна. Амбициозная дамочка, скажу я тебе. Кажется, она узнала, что Марксы не слишком-то помогут ей попасть в общество.

– Она из глубинки?

– Я не сомневаюсь, хотя с ней не знаком. Имя Кларенса Эйхерна уже пять месяцев числится в списках кандидатов городского клуба – и до сих пор никакого движения!

Он пренебрежительно махнул рукой.

– Сегодня мы с Эйхерном обедали вместе и почти все обговорили, поэтому я и подумал, что будет весьма кстати пригласить его с женой к нам на ужин, ведь у нас сегодня будет всего девять человек, считая

жен. Нам же все равно теперь придется с ними видеться, не говоря уже о бизнесе!

– Да, – глубокомысленно сказала Эви. – В этом я не сомневаюсь.

Ее не волновало, что об этом будут говорить, но сама мысль о том, что «Братья Пайперы» станут «Компанией Эйхерн и Пайпер», испугала ее. Ей показалось, что дела мужа пошатнулись.

Через полчаса, одеваясь к ужину, она услышала его голос, донесшийся снизу:

– Эви, спустись ко мне!

Она вышла в холл и, перегнувшись через перила, крикнула в ответ:

– Зачем?

– Помоги мне приготовить пунш!

Второпях застегивая крючки платья, она сбежала по ступенькам и обнаружила, что он уже расставил все ингредиенты на кухонном столе. Подойдя к буфету, она взяла небольшую чашу и поставила ее на стол.

– О нет, – запротестовал он. – Давай возьмем ту, большую, – к нам придут Эйхерн с женой, Мильтон, еще ты и я – уже пятеро; Том с Джесси, это семеро; Эмблер и Ирен – уже девять! Ты даже не представляешь, насколько быстро эта штука исчезает со стола!

– Мы возьмем эту чашу, – возразила она. – Хватит и ее. Ты же знаешь, что за человек Том!

Том Лоури, муж Джесси, кузины Гарольда, никогда не оставлял на столе ни капли жидкости крепче сока, идя для этого на любые жертвы.

Гарольд покачал головой.

– Не валяй дурака! В этой чаше помещается всего-навсего три кварты, а нас – девять человек. Учти, что слугам тоже захочется отведать этого пунша. Кроме того, можно сделать его не очень крепким… Лучше приготовим побольше, Эви; необязательно пить все до конца!

– Я сказала – возьмем маленькую!

Он снова упрямо покачал головой.

– Нет – будь же разумной!

– Я вполне разумна! – кротко ответила она. – Я не хочу видеть пьяных в своем доме.

– Кто сказал, что ты их увидишь?

– Возьми чашу поменьше!

– Но, Эви…

Он поднял маленькую чашу, чтобы отнести ее обратно. В то же мгновение ее руки также оказались на чаше, опуская ее вниз. Никто не хотел уступать – затем, раздраженно хмыкнув, он приподнял свою сторону, вытянул чашу из ее рук и отнес обратно в буфет.

Она посмотрела на него, пытаясь сжечь его взглядом, но он в ответ только рассмеялся. Признав свое поражение и устранившись от всякого дальнейшего участия в приготовлении пунша, она покинула кухню.

III

В половине восьмого Эвелин с нарумяненными щеками и высокой, блестевшей от бриллиантина прической спустилась по лестнице. Миссис Эйхерн оказалась нервной дамой небольшого роста, с рыжими волосами, в платье «а-ля Последняя империя». Она слегка нервничала и пыталась это скрыть, болтая без умолку. Эвелин она не понравилась с первого взгляда; зато муж этой женщины был очень симпатичный. У него были холодные голубые глаза и врожденный дар нравиться людям, что, несомненно, сделало бы его «душой общества», если бы в самом начале его карьеры не случилась эта нелепая свадьба.

– Рад познакомиться с миссис Пайпер, – просто сказал он. – Кажется, нам с вашим мужем придется часто встречаться в ближайшем будущем.

Она поклонилась, грациозно улыбнулась и стала здороваться с остальными гостями: с Мильтоном Пайпером, тихим и застенчивым младшим братом Гарольда; с обоими Лоури, Джесси и Томом; со своей незамужней сестрой Ирэн; и наконец, с убежденным холостяком и вечным кавалером Ирэн Джо Эмблером.

Гарольд пригласил всех в столовую.

– Сегодня мы пьем пунш, – радостно объявил он, и Эвелин увидела, что он уже успел снять пробу со своего творения. – Поэтому

сегодня не будут подавать никаких коктейлей, только пунш! Это – шедевр моей жены, миссис Эйхерн; она даст вам рецепт, если пунш вам понравится; но поскольку, – он поймал взгляд жены и запнулся, – поскольку она немного нездорова, сегодня пунш готовил я – и я в ответе за то, что получилось. Вот так!

В начале ужина пунш пили все; заметив, что Эйхерн, Мильтон Пайпер и все женщины стали отрицательно качать головами в ответ на предложения прислуги налить еще, Эвелин поняла, что оказалась права насчет чаши – ее опустошили лишь наполовину. Она решила предостеречь Гарольда по этому поводу сразу же после ужина, но когда женщины вышли из-за стола, ее перехватила миссис Эйхерн, и ей пришлось с вежливо-заинтересованным видом поддерживать разговор о городе и модистках.

– Мы много раз переезжали, – болтала миссис Эйхерн, неистово тряся своей рыжей шевелюрой. – О да, мы еще нигде никогда не задерживались столь долго, но я надеюсь, что это к лучшему! Мне так здесь нравится – а вам?

– Видите ли, я всегда здесь жила; поэтому, естественно…

– Ах да, конечно! – сказала миссис Эйхерн и рассмеялась. – Мой Кларенс говорит, что всегда хотел иметь такую жену, которой можно было бы сказать: «Дорогая, мы завтра уезжаем в Чикаго, поэтому собери, пожалуйста, вещи». И я именно такова! Я никогда не пускаю корни!

Она снова коротко рассмеялась. Эвелин поняла, что это ее «светский» смех.

– Мне кажется, ваш муж – очень талантливый человек!

– О да! – с радостью согласилась миссис Эйхерн. – Он изобретателен, мой Кларенс! Идеи и энтузиазм, знаете ли… Ставит себе цель и идет прямо к ней.

Эвелин кивнула. В данный момент ее интересовало только одно – допивают ли мужчины оставшийся в столовой пунш? Перед ней все также скачкообразно продолжала разворачиваться история миссис Эйхерн, но Эвелин перестала ее слушать. В комнату начали вплывать первые клубы сигарного дыма. Дом, и правда, был слишком мал, размышляла она; на вечеринках вроде этой воздух в библиотеке был, как говорится, «хоть топор вешай», – а на следующий день приходилось часами проветривать комнату, чтобы из штор выветрился

аромат стойла. Кстати, это партнерство могло бы… Она начала обдумывать план нового дома…

До нее донесся голос миссис Эйхерн:

– Я действительно очень хотела бы взять рецепт, если вас, конечно, не затруднит записать его для меня…

Затем стулья в столовой заскрипели, и мужья вошли в комнату. Эвелин сразу же поняла, что все ее худшие предположения оправдались. Лицо Гарольда пылало, он с трудом выговаривал слова; Тома Лоури при ходьбе кренило, и он чуть было не сел на колени к Ирэн, собираясь занять место на кушетке рядом с ней. С грехом пополам усевшись, он стал пьяно озираться и всем подмигивать. Эвелин осознала, что непроизвольно подмигивает в ответ, – но ей было вовсе не смешно. Довольный Джо Эмблер улыбался и, урча, курил сигару. Только Эйхерн и Мильтон Пайпер вели себя более-менее естественно.

– Это отличный город, Эйхерн, – сказал Эмблер. – Ты скоро это поймешь!

– О да, это я уже понял, – вежливо согласился Эйхерн.

– Ты ск’ро пр’дешь от н’го в восторг, – с трудом произнес Гарольд, выразительно кивая головой. – Я ’елаю ’се чтоб так и ’ыло.

Он вознес хвалу городу, и Эвелин с чувством дискомфорта подумала о том, что и всем остальным, вероятно, монолог кажется скучным. Но она ошиблась: все слушали его очень внимательно. Эвелин при первой же возможности вмешалась.

– А где вы жили раньше, мистер Эйхерн? – с преувеличенным интересом спросила она. Затем неожиданно вспомнила, что миссис Эйхерн только что рассказывала ей об этом, но для нее сейчас это не имело никакого значения. Нельзя было позволять Гарольду говорить слишком много. Он становился таким кретином, когда напивался! Но Гарольд все же встрял в разговор снова:

– Ск’жу тебе, Эйх’рн. Снач’ла ты покупает’ с’бе дом на х’лме. Купи у Стэрни ил’ у Ри’вея. Д’лжен иметь его, чтобы люди г’ворили «Вот дом Эйх’р’на!». Соли’ный, сам п’нимаишь, э’фект.

Эвелин покраснела. Это была совершеннейшая чепуха. Но Эйхерн до сих пор не почуял ничего дурного, он только серьезно кивал головою в ответ.

– Видели ли вы…

Но ее слова потонули в шуме, который издавал Гарольд.

– Купи дом! Это – начало. Затем узнаешь здешних жителей. Постороннему все они кажутся снобами, но это только до поры до времени, пока они не узнают тебя поближе. Такие люди, как вы, – он жестом указал на Эйхерна, – с женой – то что надо. Здесь радушие проявляют сразу, как только ты перешел за бар… бар… барер! – он шумно сглотнул и затем произнес – «барьер», повторив это слово мастерски, как настоящий диктор.

Эвелин посмотрела на своего деверя. Во взгляде ее ясно читалась мольба о помощи; но перед тем как он смог вмешаться в разговор, изо рта Тома Лоури, забитого потухшей сигарой, которую он сильно сжал зубами, раздалось громкое мычание.

– Хума ума хо хима ахди ум…

– Что? – серьезно переспросил Гарольд.

Повинуясь необходимости, Том с трудом извлек сигару изо рта – точнее, он извлек ее часть, а затем с громким «Тьфу!» остаток полетел в другой конец комнаты, плавно приземлившись на колени миссис Эйхерн.

– Прошу прощения, – пробормотал Том и поднялся со смутным намерением исправить свою ошибку. Рука Мильтона вовремя ухватила его за пиджак, и миссис Эйхерн сама – и не без грации! – не моргнув глазом, сбросила табак со своей юбки на пол.

– Я хотел сказать, – громко продолжил Том, – ’еред ’ем как ’то сл’чило’, – он виновато помахал рукой в направлении миссис Эйхерн, – я говорил, что знаю правду обо всем этом деле в клубе!

Мильтон наклонился и что-то прошептал ему.

– ’ставьте меня в ’окое, – капризно ответил Том, – я ’наю что делаю! Именно поэтому ’ни и пр’шли ’юда!

Эвелин охватила паника, ей никак не удавалось вставить в разговор хоть слово. Она увидела сардоническое выражение на лице сестры; лицо же миссис Эйхерн стало пунцовым. Мистер Эйхерн опустил глаза и перебирал пальцами цепочку от часов.

– Я знаю, кто не пускал вас в клуб, и этот человек нисколько не лучше вас. Могу обо всем ’говориться, ’ог бы и раньше, но не был ’вами знаком. Гарол’ говорил мне, вы чувствовали себя неловко…

Мильтон Пайпер неожиданно и неуклюже встал. Через секунду встали и все остальные, а Мильтон очень торопливо начал говорить

что-то о том, что хозяева, наверное, уже устали, что пора и честь знать; Эйхерны присоединились к нему. Затем миссис Эйхерн сглотнула и с натянутой улыбкой повернулась к Джесси. Эвелин увидела, что Том накренился вперед и положил свою руку на плечо Эйхерну – но неожиданно она услышала новый встревоженный голос за спиной. Повернувшись, она увидела Хильду, вторую горничную.

– Простите, миссис Пайпер. Я думаю, что у Джули заражение крови. Ее рука раздулась, у нее высокая температура, она стонет и очень тяжело дышит.

– У Джули?! – резко переспросила Эвелин. Вечеринка неожиданно отошла на второй план. Она быстро повернулась, нашла глазами миссис Эйхерн и скользнула к ней.

– Прошу меня извинить, миссис…

Имя вылетело у нее из головы, но она продолжила:

– Моя маленькая дочь заболела. Я спущусь вниз, как только смогу.

Она повернулась и быстро пошла наверх, удерживая в памяти печальное зрелище клубов сигарного дыма в центре комнаты и звуки громкой беседы, грозившей плавно перерасти в отчаянный спор.

Включив свет в детской, она обнаружила Джули бьющейся в жару и издающей странные тихие стоны. Она дотронулась до щек дочери. Они горели. С восклицанием она засунула руку под одеяльце и нащупала там руку. Хильда сказала правду. Палец и кисть раздулись, а в центре была маленькая воспаленная ранка. «Заражение крови!» – застучало у нее в голове. Бинт сполз с ранки, и в нее попала грязь. Она порезалась в три часа – а теперь было одиннадцать. Восемь часов. Не может быть, чтобы инфекция распространялась так быстро! Она бросилась к телефону.

Доктора Мартина, жившего на соседней улице, не было дома. Семейный врач Фулк не брал трубку. Она ломала голову, придумывая, кому бы позвонить, в отчаянии набрала номер своего отоларинголога и яростно кусала губы, пока он искал в справочнике номера практикующих врачей. Эта минута показалась ей бесконечно долгой; она слышала громкие, доносившиеся снизу голоса, – но сейчас она находилась в другом мире, в иной Вселенной… Через четверть часа ей удалось наконец дозвониться до врача, который раздраженно с ней переговорил, рассердившись на то, что его подняли с постели среди

ночи. Она побежала обратно в детскую и, взглянув на руку, обнаружила, что та распухла еще сильнее.

– Господи! – крикнула она, встала на колени рядом с постелью Джули и погладила дочь по голове, чтобы хоть как-то ее успокоить. Ей показалось, что нужно – необходимо – принести сейчас же горячую воду; она поднялась и бросилась к двери, но кружева ее платья зацепились за резную спинку детской кроватки, и Эвелин снова упала на колени. Она изо всех сил дернулась вперед, бешено стараясь освободиться от нежданной помехи – кроватка дернулась, и Джули застонала. Затем – уже не так неистово – неловкими пальцами Эвелин нащупала шов на платье, оторвала весь кринолин и выбежала из комнаты.

В холле она услышала всего один громкий и настойчивый голос, но и он уже затих, когда она добежала до лестницы. Хлопнула входная дверь.

В поле ее зрения попал музыкальный салон. Там находились только Мильтон и Гарольд, растянувшийся на стуле; его лицо было бледным, воротник расстегнут, а челюсть двигалась неестественно свободно.

– Что случилось?

Мильтон с явным беспокойством посмотрел на нее.

– Маленькие неприятности…

Затем Гарольд заметил ее и через силу начал говорить.

– ‘Скорбил мою с’бственную к’зину в моем с’бственном д’ме! Проклятый нувориш ‘скорбил мою с’бственную к’зину…

– Том хотел проучить Эйхерна, а Гарольд вмешался, – пояснил Мильтон.

– Господи, Мильтон, – воскликнула Эвелин, – неужели ты не мог их остановить?!

– Я пытался; я…

– Джули заболела, – прервала она его, – у нее заражение крови. Уложи его спать, если это тебя не затруднит.

Гарольд посмотрел на нее.

– Джули больна?

Не обращая на него внимания, Эвелин стремительно удалилась из столовой, случайно бросив взгляд на ту самую большую чашу, все еще стоявшую на столе: лед растаял, и вода смешалась с остатками пунша, – у нее по спине от страха пробежал холодок… Она услышала

шаги на лестнице – это был Мильтон, помогавший Гарольду подняться в спальню, – а затем услышала, как Гарольд бормотал себе под нос:

– Что она ск’зала, с Дж ли вс’ в п’рядке.

– Не пускай его в детскую! – крикнула она.

Последовавшие часы превратились в сумрачный кошмар. Доктор прибыл около полуночи и на протяжении получаса с помощью ланцета исследовал рану. В два часа он уехал, дав ей телефоны двух сиделок, которых можно было вызвать среди ночи, и обещав заехать еще раз в половине седьмого. У девочки действительно началось заражение крови.

В четыре часа, оставив Хильду ухаживать за дочерью, Эвелин ушла к себе в комнату; дрожа, она выскользнула из вечернего платья и бросила его в угол комнаты. Она надела обычное платье, вернулась в детскую и отправила Хильду варить кофе.

До девяти часов она никак не могла себя заставить заглянуть в комнату Гарольда, но когда все же пересилила себя и сделала это, то обнаружила, что муж уже проснулся и скорбно уставился в потолок. Он направил на нее взгляд своих пустых, налившихся кровью глаз. На мгновение она возненавидела его, и ненависть эта душила ее, она не могла произнести ни слова. Охрипший голос донесся до нее из постели:

– Который час?

– Девять.

– Проклятье! Я вел себя, как настоящий…

– Не в этом дело, – резко перебила его она. – У Джули заражение крови. Они хотят… – она поперхнулась. – …врачи думают, что она потеряет руку.

– Что?!

– Она порезалась об эту – эту чашу.

– Вчера вечером?

– Какое это имеет значение? – крикнула она. – У нее заражение крови, слышишь ты меня или нет?!

Он смущенно посмотрел на нее и сел в кровати.

– Я сейчас оденусь, – сказал он.

Вся ее злость куда-то испарилась; огромная волна усталости и жалости к нему накатила на нее. Все же, как ни крути, это было и его горе.

– Да, – равнодушно ответила она. – Думаю, так будет лучше.

IV

Если красота тридцатипятилетней Эвелин еще балансировала на грани, то после этого случая она внезапно окончательно решила покинуть ее. Небольшие морщинки на лице внезапно превратились в настоящие морщины, а на ногах, бедрах и руках быстро нарос заметный слой жира. Ее манерная привычка иногда стягивать брови вместе стала доминирующей – она морщилась, когда читала, когда с кем-нибудь разговаривала и даже когда спала. Ей исполнилось сорок шесть.

Как и во многих семьях, от которых отвернулись удача и радость, теплые родственные отношения между супругами плавно переродились в бесцветный антагонизм. В обычном состоянии муж и жена терпели друг друга – так, как терпят присутствие надоевшего старого стула. Эвелин немного беспокоилась, если Гарольд был нездоров; в основном же она старалась выглядеть веселой и довольной, скрывая свою подавленность и усталость от совместной жизни с разочарованным человеком.

Семейная партия в бридж окончилась, и она вздохнула с облегчением. В тот вечер она сделала ошибок больше обычного, но это ее нисколько не волновало. Просто Ирэн могла бы не говорить вслух, что пехота – особенно опасный род войск. Писем не было уже три недели, и хотя в этом не было ничего странного, она все равно нервничала; естественно, она не запоминала, какие трефы выходили из игры.

Гарольд поднялся наверх, поэтому она в одиночестве вышла на крыльцо подышать свежим воздухом. На улице царило яркое очарование лунного света, рассеянного по тротуарам и лужайкам; зевнув, она рассмеялась, припомнив одну из давних встреч «под

луной». Удивительно: жизнь казалась когда-то всего лишь суммой текущих и будущих влюбленностей! Теперь же она выглядела как сумма текущих и будущих проблем…

Была проблема Джули – Джули было тринадцать, и она все болезненнее ощущала свое уродство, проводя дни напролет в одиночестве с книгой в своей комнате. Пару лет назад она так сильно испугалась перспективы предстоявшей ей учебы в школе вдали от дома, что Эвелин не смогла заставить себя отправить ее учиться, поэтому Джули росла в тени своей матери… Жалкая маленькая фигурка с искусственной рукой-протезом, который она даже не пыталась использовать и уныло таскала в своем кармане. Она брала уроки использования протеза, потому что Эвелин боялась, что она вообще разучится поднимать обе руки вместе; но после уроков, несмотря на то, что она с равнодушным послушанием иногда двигала протезом в угоду родителям, искусственная рука при первой же возможности вновь опускалась в карман платья. Некоторое время платья ей шили вообще без карманов, но Джули так подавленно и горестно целый месяц бродила по дому, что Эвелин не выдержала, сдалась и больше никогда не пыталась повторить неудачный эксперимент.

Проблема Дональда была в корне противоположной. Все попытки приблизить его к себе были тщетны, как и попытки отучить Джули слишком сильно опираться на нее. А с течением времени эта проблема и вовсе выпорхнула из ее рук: полк Дональда вот уже три месяца находился за границей.

Она снова зевнула – жизнь была делом молодых. Как же счастлива она была в молодости! Она вспомнила своего пони – его звали Вижу; и о поездке вместе с матерью в Европу, когда ей только исполнилось восемнадцать…

– Это и было счастье! – вслух обратилась она к луне. Затем вошла в дом; дверь почти уже закрылась, когда послышался шорох в библиотеке. Она вздрогнула.

Шумела Марта – единственная служанка, которую они еще могли себе позволить.

– Ах, это ты, Марта! – сказала она, немного успокоившись.

Марта быстро обернулась.

– Я думала, что вы уже наверху. Я только…

– Что-нибудь случилось?

Марта не решалась ответить.

– Нет; я… – видно было, что ей никак не стоялось на месте. – Принесли письмо, миссис Пайпер, а я его куда-то засунула.

– Письмо? Письмо для тебя? – спросила Эвелин и зажгла свет.

– Нет – для вас. Принесли вечером, с последней почтой. Я взяла его у почтальона, а в это время позвонили с черного хода. Оно было у меня в руках, поэтому я его оставила, должно быть, где-то здесь. Я думала, что тотчас же отыщу его…

– От кого письмо? От мистера Дональда?

– Нет; я думаю, что это была реклама или что-нибудь деловое. Конверт был длинный и узкий – вот что я запомнила.

Они начали осматривать музыкальный салон, заглядывая на подносы, на каминные полки; затем перешли в библиотеку и стали искать в книжных шкафах. Марта в отчаянии остановилась.

– Куда же оно подевалось? Я пошла прямо на кухню. Может, оно лежит где-нибудь в столовой?

Исполнившись надежд, она двинулась в сторону столовой, но сразу же обернулась, потому что услышала громкий, судорожный вздох хозяйки, стоявшей у нее за спиной. Эвелин рухнула в кресло, брови ее практически соединились в сплошную линию; она бешено моргала.

– Вам нездоровится?

Ответа не было целую минуту. Эвелин сидела молча, и Марта могла наблюдать, как ее грудь неестественно быстро вздымалась и опускалась.

– Вам нездоровится? – повторила Марта.

– Я в порядке, – медленно проговорила Эвелин. – И я знаю, где письмо. Можешь идти, Марта. Я знаю!

Недоумевая, Марта ушла, а Эвелин все так же осталась сидеть в кресле, – двигались только мускулы ее лица: сокращаясь и расслабляясь и сокращаясь снова. Она знала, где лежит письмо, – знала так хорошо, будто сама его туда положила. И она инстинктивно догадывалась, что это было за письмо. Конверт был длинным и узким, как реклама, но в углу большими буквами было написано: «Министерство обороны»; чуть ниже, буквами поменьше: «Официальное сообщение». Она знала, что оно лежит там, в той

большой чаше, с ее именем, написанным синими чернилами снаружи и со смертью для ее бессмертной души внутри.

Ноги не держали ее; она пошла в столовую, мимо книжных шкафов, вошла в дверь. Через мгновение она нащупала выключатель и зажгла свет.

Чаша стояла, отражая свет малиновыми, окаймленными черным и желтым гранями; по краям грани были синими, тяжелыми и блестящими, триумфально-гротескными и зловещими. Она сделала шаг; остановилась; еще шаг – и она уже могла видеть белый краешек; еще шаг – и ее руки коснулись неровной холодной поверхности.

Через мгновение она уже держала в руках надорванный конверт. На нее посмотрели напечатанные на машинке буквы – и ударили ее. Письмо, как птица, порхнуло на пол. Дом, который, казалось, был полон шума и жужжания, неожиданно затих; через открытую дверь донесся шум проезжавшего мимо автомобиля; она услышала слабые звуки со второго этажа, а затем тишину разорвал молотящий грохот воды в трубе позади книжного шкафа, – ее муж наверху повернул кран…

И в это мгновение все это стало выглядеть так, будто ничто не имело отношения к ее Дональду, как будто он был всего лишь пешкой в какой-то коварной игре, шедшей то бурно, то пугающе тихо между Эвелин и этой холодной, злой и прекрасной вещью, даром вражды, полученным от человека, чье лицо давным-давно стерлось из ее памяти. Массивная, задумчиво-неподвижная, она стояла здесь, в центре ее дома; стояла так же, как и всегда, – разбрасывая вокруг себя ледяные лучи из тысяч своих глаз, возбужденно-блестящих, плавно перетекающих один в другой, никогда не стареющих, никогда не меняющихся.

Эвелин присела на краешек стола и зачарованно уставилась на нее. Ей показалось, что чаша улыбнулась, – и ее улыбка была неумолимо жестокой, она говорила:

«Видишь – на этот раз я не тронула тебя саму. Я не люблю повторяться: ты знаешь, что это я взяла твоего сына. Ты знаешь, как я холодна, как я тяжела и как прекрасна, – потому что и ты когда-то была так же холодна, тяжела и прекрасна».

Неожиданно Эвелин показалось, что чаша сама собою перевернулась, а затем начала раздуваться и набухать – до тех пор,

пока не превратилась в огромный сияющий балдахин, дрожавший над комнатой, над домом, а когда стены медленно растворились и стали призрачно-туманными, Эвелин увидела, что ЭТО все еще раздвигалось, распространяясь все дальше и дальше от нее, закрывая даже линию горизонта. И солнце, и луна, и звезды сквозь балдахин казались слабыми чернильными кляксами. А затем ЭТО надвинулось на всех людей, и свет, падавший на них, преломлялся и искажался, пока тени не стали казаться светом, а свет – тенью, – пока весь мир не изменился, исказившись под мерцающим небосводом чаши.

И появился далекий, ревущий голос, похожий на голос самого Владыки Ада. Он исходил из центра чаши, спускался по огромным стенкам к земле – а затем стремительно напрыгнул на Эвелин.

«Видишь, я – Судьба! – ревел голос. – Я сильнее всех твоих ничтожных замыслов, я – то, что правит всем и всеми, я не похожа на твои жалкие мечты. Я – течение времени, завершение красоты и неисполнившиеся желания; я – все случайности и неясности и все мгновения, бесповоротно меняющие жизнь. Я – исключение, не доказывающее никаких правил; я определяю пределы всех возможностей. Я – горькая приправа в блюде Жизни!»

Рев прекратился; эхо его покатилось по Земле, к краям Чаши, ставшим границами Мира; прошло по ее стенкам и вернулось в ее центр, где недолго погудело и скончалось. Затем огромные стенки начали медленно надвигаться на Эвелин, Чаша становилась все меньше и меньше, стенки приближались все ближе и ближе, как бы желая раздавить ее; и когда она распростерла руки, встречая холодное стекло, Чаша неожиданно дрогнула и снова стала прежней, – она снова стояла на буфете, все такая же блестящая и неисповедимая, преломляя в сотнях граней мириады разноцветных лучей, рождая блики, пересечения и переплетения света.

А в дом через дверь снова залетел ветерок с улицы, и с неистовой энергией отчаяния Эвелин протянула руки к чаше. Нужно спешить – нужно быть сильной. Она сжала чашу так, что руки ее онемели, напрягла тоненькие мускулы, еще оставшиеся под размякшей плотью, – и с огромным усилием подняла и удержала чашу. Она чувствовала холодный ветер, обдувавший ее спину, – дрожь пробирала ее до костей; она повернулась к ветру лицом; шатаясь под тяжестью чаши, она прошла через библиотеку и вышла на улицу. Нужно спешить

– нужно быть сильной. Кровь глухо пульсировала в ее венах, колени подгибались, но ощущать холодное стекло в своих руках было так прекрасно!

Шатаясь, она шла по каменным ступенькам; собрав воедино оставшиеся силы тела и души, она бросилась вперед, пальцы, пытаясь ухватиться покрепче, вцепились в неровную поверхность – и в эту секунду она поскользнулась и, потеряв равновесие, с отчаянным криком повалилась вперед – а руки ее все еще держали чашу… она упала…

Все так же горели фонари на улице; далеко за пределами квартала был слышен звон падения – и случайные пешеходы недоуменно переглянулись; на втором этаже уставший за день мужчина проснулся, а маленькая девочка захныкала во сне, как будто ей приснился кошмар. И в лунном свете, заливавшем дорожку к дому, вокруг неподвижно лежавшей темной фигуры виднелись сотни хрустальных призм, кубиков и просто осколков, преломлявших свет и испускавших синие, желтые и малиновые лучи.

Бернис коротко стрижется

I

Если в субботний вечер, после того как стемнеет, выйти на поле для гольфа и встать у стартовой площадки, то горящие окна загородного клуба будут напоминать оранжевый закат над очень черным и бурным океаном. Волны этого, так сказать, океана – это тени множества голов любопытных кедди, небольшого числа шоферов из тех, что полюбознательнее, глухой сестренки одного из тренеров и еще нескольких случайных робких волн, которые вполне могли бы закатиться внутрь, если бы захотели. Это – галерка.

Балкон находится внутри. Он состоит из плетеных стульев, поставленных кружком вдоль стен этой комбинации клуба и бальной залы. В день субботних танцев балкон занимают в основном особы женского пола: шум и гам создают дамы средних лет с острыми глазками и ледяными сердцами, скрытыми за лорнетами и внушительными бюстами. Основная задача балкона – это критика. Балкон изредка демонстрирует скупой восторг, но никогда – одобрение, поскольку среди дам «за тридцать пять» хорошо известно, что на летние танцы молодежь собирается лишь с наихудшими намерениями, и если их не бомбардировать безжалостными взглядами, то сбившиеся с пути истинного пары тут же примутся отплясывать дикарские пляски по углам, а самые популярные – и опасные! – девушки убегут на улицу целоваться в припаркованных лимузинах ничего не подозревающих вдовушек.

Но этот критический кружок находится не так уж близко к сцене, чтобы различать черты актеров или нюансы их игры. Исходя из собственного набора предпосылок, они могут хмуриться, вытягиваться вперед, задавать вопросы и делать удовлетворяющие их выводы – например, о том, что жизнь любого молодого человека с приличным доходом походит на жизнь куропатки под прицелом множества охотников. Этот кружок никогда не воздаст должного случающимся в изменчивом и слегка жестоком мире юности драмам. Нет, ложи, амфитеатр, «звезды» и массовка – все здешнее общество – это лица и голоса, колеблемые печальным африканским ритмом танцевального оркестра Дайера.

Начиная с шестнадцатилетнего Отиса Ормонда, которому только предстоит провести два года в «Школе Хилла», и заканчивая Дж. Ризом Стоддардом, дома у которого над письменным столом висит гарвардский диплом юриста; начиная с юной Мадлин Хог, которая никак не привыкнет, что ее волосы должны быть собраны в неудобную взрослую прическу на макушке, и заканчивая Бесси Макрэй, считающейся душой компании чуть дольше, чем подобает: уже лет этак десять, все это общество не только пребывает на сцене, но одновременно и состоит из тех единственных зрителей, которым открывается свободный обзор всего действия.

Музыка умолкает на торжественной и громкой ноте. Пары обмениваются искусственными равнодушными улыбками, весело

повторяют «Ла-ди-да-да дум-дум!», а затем поверх аплодисментов взмывает щебет девичьих голосов.

Несколько разочарованных одиночек, застигнутых врасплох посередине танцевального зала как раз в тот момент, когда они собирались «перехватить» даму, вяло расходятся обратно к стеночкам, потому что это не буйные танцы на рождественской неделе, – эти субботние вечера считаются всего лишь приятными и слегка волнующими; на танцевальный пол выходит даже недавно вступившая в брак молодежь, умеренно радуя своих юных братьев и сестер древними вальсами и замшелыми фокстротами.

Уоррен Макинтайр, вальяжный студент Йеля, оказавшись в числе неудачливых одиночек, вытащил из кармана смокинга сигарету и вышел на широкую полутемную веранду, где за столиками были разбросаны парочки, заполнявшие увешанную фонарями ночь неразборчивым говором и неопределенным смехом. Он кивал тем, кто его замечал, а в его памяти всплывали полузабытые истории каждой пары, попадавшейся ему на глаза, ведь это был небольшой городок, и когда дело касалось прошлого любого из жителей, справочник «Кто есть кто?» был не нужен. Вон там, например, сидели Джим Стрэйн и Этель Диморест, которые уже три года были тайно помолвлены. Все знали: как только Джиму удастся удержаться на какой-нибудь работе хотя бы пару месяцев, Этель тут же выйдет за него замуж. Но сейчас они выглядели так, словно давно уже успели наскучить друг другу, и Этель иногда мерила Джима утомленным взглядом, словно спрашивая себя, зачем же позволила она обвиться стеблям своей страсти вокруг именно этого, столь подвластного всем ветрам, тополя?

Уоррену было девятнадцать лет; к своим знакомым, не учившимся в университетах на востоке страны, он относился с сожалением. Но, как и большинство ребят, он чрезвычайно много хвастался девушками своего родного города, оказываясь вдали от него. Ведь здесь проживали и Женевьева Ормонд, регулярно наворачивавшая круги по балам, вечеринкам и футбольным матчам Принстона, Йеля, Уильямса и Корнелла; и черноглазая Роберта Дильон, которая для своих сверстников была такая же знаменитость, как Хайрем Джонсон или Тай Кобб; и, конечно же, Марджори Харви, не только обладавшая внешностью сказочной феи и способным обезоружить любого язычком, но и успевшая заслуженно прославиться в прошлом году на

балу «Башмак и лодочка» в Нью-Хейвене: она умудрилась при всех пять раз без остановки пройтись колесом.

Уоррен, выросший в доме напротив дома Марджори, уже давно сходил по ней с ума. Иногда она, как ему казалось, отвечала на его чувство взаимностью в виде легкой признательности, но, подвергнув его особому испытанию, никогда ее не подводившему, она с полной серьезностью объявила ему, что совсем в него не влюблена. Испытание заключалось в том, что, будучи вдали от него, она совершенно о нем забывала и легко завязывала отношения с другими парнями. Уоррен находил данное обстоятельство удручающим, особенно на фоне того, что Марджори все лето постоянно куда-то ездила. После каждого ее возвращения домой на протяжении первых двух или трех дней Уоррен наблюдал на столике в холле дома Харви огромные кучи корреспонденции с написанными разнообразными мужскими почерками адресами, и все эти письма были адресованы ей. И в довершение всех неприятностей в августе к ней на месяц приехала погостить кузина Бернис из О-Клэр, так что о том, чтобы увидеться наедине, не могло быть и речи. Приходилось все время рыскать в поисках кого-нибудь, кто мог бы позаботиться о Бернис. С приближением конца августа это становилось все труднее и труднее.

Как бы ни боготворил Уоррен Марджори, он все же не мог не признать, что ее кузина Бернис как с Луны свалилась. Она была симпатичная, с темными волосами, румяная, но на вечеринках вела себя как самая настоящая зануда. Чтобы угодить Марджори, каждый субботний вечер он исполнял тяжкую повинность, долго и мучительно с ней танцуя, но в ее компании он ни разу не почувствовал ничего, кроме скуки.

– Уоррен…

В его мысли ворвался нежный голосок из-за спины, и он обернулся, чтобы увидеть Марджори – как всегда, румяную и лучезарную. Она положила руку ему на плечо, и он прямо-таки воссиял.

– Уоррен, – прошептала она, – сделай ради меня одну вещь: потанцуй с Бернис! Она уже почти час с юным Отисом Ормондом.

Сияние Уоррена поблекло.

– Ну… да, конечно, – без энтузиазма ответил он.

– Тебе ведь не трудно, правда? А уж я позабочусь, чтобы тебе не пришлось танцевать слишком долго!

– Хорошо.

Марджори улыбнулась, и эта улыбка сама по себе была для него вполне достаточной наградой.

– Ты просто ангел, и я тебе жутко обязана!

Ангел со вздохом обвел взглядом веранду, но Бернис и Отиса нигде не было. Он побрел обратно внутрь, где у двери дамской гардеробной и обнаружил Отиса в центре покатывавшейся со смеху группы юношей. Отис угрожающе размахивал подобранной где-то деревяшкой и громко ораторствовал.

– Она ушла, чтобы поправить прическу! – как бы не в силах сдержаться, объявил он. – Я прямо горю желанием протанцевать с ней еще час!

Смех возобновился.

– Почему никто из вас не может ее перехватить? – с возмущением воскликнул Отис. – Она любит разнообразие!

– Ну-ну, Отис, – сказал один из его приятелей, – ты ведь почти уже к ней привык!

– А деревяшка зачем, Отис? – сказал Уоррен, улыбнувшись.

– Деревяшка? Эта, что ли?! Здесь ведь клуб! Как только она выйдет, я тресну ее по башке и загоню обратно!

Уоррен повалился на диванчик и взвыл от смеха.

– Не переживай, Отис, – произнес он сквозь смех. – На этот раз я тебя спасу!

Отис сделал вид, что сейчас упадет в обморок, и вручил деревяшку Уоррену.

– Тебе это понадобится, старина! – хрипло произнес он.

Вне зависимости от красоты и блеска девушки молва о том, что ее нечасто «перехватывают» на танцах, вредит ее положению. Возможно, юноши и предпочтут ее общество обществу легкомысленных «мотыльков», с которыми они танцуют по десять раз за вечер, но нынешняя молодежь этого вскормленного джазом поколения обладает беспокойным характером, и сама мысль о том, чтобы протанцевать целый фокстрот с одной-единственной девушкой, им неприятна, почти что ненавистна. А уж когда дело доходит до нескольких танцев, да еще и с перерывами между ними, девушка может быть уверена: как только юноша получит возможность от нее отойти, он уже никогда не последует по следам ее заблудших ножек.

Весь следующий танец Уоррен протанцевал с Бернис, а затем, исполнившись благодарности оркестру за объявленный перерыв, отвел ее за столик на веранду. За столиком на некоторое время воцарилась тишина, и Бернис принялась невыразительно обмахиваться веером.

– Здесь жарче, чем в О-Клэр! – произнесла она.

Уоррен подавил зевок и кивнул. Его знаний о предмете или интереса к нему хватило лишь на это. От нечего делать он попытался решить, была ли она плохим собеседником от того, что никто не уделял ей внимания, или же никто не уделял ей внимания потому, что она была плохим собеседником?

– Ты еще долго собираешься здесь пробыть? – спросил он, и тут же покраснел. Она ведь могла догадаться о настоящей причине этого вопроса!

– Еще неделю, – ответила она и тут же уставилась на него, словно собиралась ухватиться за ответную реплику, как только она слетит с его губ.

Уоррен поежился. А затем, подчинившись внезапному доброму побуждению, он решил продемонстрировать ей свой фирменный «подход». Он повернулся и посмотрел ей в глаза.

– Твои чудесные губы так и просят поцелуя, – тихо начал он.

Эту фразу он обычно говорил девушкам на балах в университете, когда разговор шел в такой же полутьме. Бернис аж подпрыгнула.

Она стала красной, как свекла, и чуть не выронила веер. Еще никто и никогда не говорил ей такого!

– Нахал! – невольно выскользнуло у нее, и она тут же прикусила язык. Слишком поздно она решила, что лучше было счесть это шуткой, и с запозданием одарила его взволнованной улыбкой.

Уоррен рассердился. Хотя эта фраза никогда никем не воспринималась серьезно, она все же или вызывала смех, или служила началом нежной беседы. И он терпеть не мог, когда его называли «нахалом» – если не в шутку, разумеется. Доброе побуждение исчезло, и он сменил тему разговора.

– Как всегда, Джим Стрэйн и Этель Диморест сидят в сторонке, – заметил он.

На такие темы Бернис говорить было привычнее, но облегчение от смены темы смешалось с легким сожалением. С ней мужчины о

поцелуях не разговаривали, однако она знала, что с другими девушками в подобном тоне они говорят.

– О да! – сказала она и рассмеялась. – Я слышала, что они уже несколько лет бродят парой без гроша ломаного! Разве не глупо?

Раздражение Уоррена усилилось. Джим Стрэйн был близким другом его брата, и кроме того, он считал дурным тоном насмехаться над людьми, у которых не было денег. Но Бернис вовсе и не собиралась насмехаться! Она всего лишь нервничала.

II

Приехав домой в половине первого, Марджори и Бернис поднялись по лестнице и пожелали друг другу спокойной ночи. Двоюродные сестры не дружили. У Марджори вообще не было подруг, – всех девушек она считала глупыми. Бернис же, наоборот, приехав в гости – о поездке договаривались родители, – все время стремилась вызвать кузину на доверительные беседы, щедро сдабриваемые хихиканьем и слезами, которые она считала обязательными при общении в женском кругу. Но в данном отношении она нашла Марджори довольно холодной; почему-то с ней разговаривать было так же сложно, как и с мужчинами. Марджори никогда не хихикала, ничего не пугалась, редко смущалась и, по сути, обладала очень малым количеством качеств, которые Бернис считала подобающими и присущими женщинам.

Намазывая пасту на зубную щетку, Бернис в сотый раз задумалась, почему, когда она не дома, ей никто не уделяет внимания? Ей и в голову не приходило, что факторами ее успеха в обществе родного города было и то, что ее семья была самой богатой в О-Клэр, и то, что мать не жалела средств на увеселения, устраивая фуршеты перед каждым балом, и даже купила ей личный автомобиль, чтобы возить гостей. Как и большинство девушек, ее вскармливали теплым молочком, сцеженным из творений Энни Феллоуз Джонстон и

романов, в которых женщин любили за их совершенно непостижимые женские качества, которые всегда упоминались, но никогда не демонстрировались.

Бернис почувствовала легкую боль от того, что здесь она не пользовалась популярностью. Она, конечно, не знала, что, если бы не организованная Марджори кампания, так бы и пришлось ей танцевать весь вечер с тем, кто пригласил ее на танцы. Но ей было хорошо известно, что даже в О-Клэр другим девушкам, занимавшим куда более скромное положение и обладавшим менее яркой красотой, противоположный пол уделял гораздо больше внимания. Это обстоятельство она относила на счет легкой неразборчивости, которой обладали эти девушки. Ее это никогда не тревожило, а если бы даже и тревожило, то мать всегда могла уверить ее в том, что другие девушки себя не ценят, ну а сами мужчины ценят лишь девушек вроде Бернис.

Она погасила свет в ванной и вдруг решила пойти поболтать перед сном с тетушкой Жозефиной, в комнате которой еще горел свет. В мягких тапочках она бесшумно прошла по ковру в холле, но, услышав в комнате голоса, остановилась у приоткрытой двери. Услышав собственное имя, без всякого намерения подслушивать она замешкалась – а затем в ее сознание, словно за иголкой, стала проникать нить происходившей внутри беседы.

– Она совершенно безнадежна! – Это был голос Марджори. – Ох, да знаю я, что ты сейчас мне скажешь! Ты слышала от многих, как она красива, мила, да еще и умеет готовить! И что с того? Ей все время скучно. Мужчинам она не нравится.

– Недолгая дешевая популярность – это предел мечтаний?

Голос миссис Харви звучал раздраженно.

– Когда тебе восемнадцать – да! – категорично ответила Марджори. – Я сделала все, что было в моих силах. Я вела себя вежливо, я заставляла мужчин с ней танцевать, но они бегут от скуки! Стоит мне только подумать о том, какой дивный румянец понапрасну истрачен на эту дуреху, – и что могла бы совершить Марта Кэри, обладай она им – ах!

– Да, учтивость нынче – большая редкость.

По тону миссис Харви можно было понять, что поведение современной молодежи для нее – это уж чересчур. Когда она была

девушкой, все юные леди из хороших семей всегда замечательно проводили время!

– Мама, – сказала Марджори, – ни одна девушка не может себе позволить постоянно опекать «несчастненькую» гостью, потому что в наши дни каждая – сама за себя. Я даже пыталась намекнуть ей, что сейчас носят и как себя надо вести, а она лишь впадала в ярость, – видела бы ты, какие странные взгляды она на меня бросала! У нее хватает ума, чтобы понять, что она не пользуется успехом, но бьюсь об заклад: она утешает себя, думая, будто она добродетельнее всех, а я – чересчур веселая и ветреная и для меня все кончится плохо! Все непопулярные девушки всегда так думают. Зелен виноград! Сара Хопкинс зовет Женевьеву, Роберту и меня бабочками-однодневками! Уверена, она отдала бы десять лет жизни и свое европейское образование в придачу за то, чтобы стать такой бабочкой-однодневкой, и чтобы в нее влюбилось три-четыре парня, и чтобы на танцах ее перехватывали через каждые два такта!

– Мне кажется, – перебила ее усталым голосом миссис Харви, – что ты должна найти какую-нибудь возможность помочь Бернис. Я знаю, что ей не хватает живости.

Марджори издала громкий вздох:

– Живости? Ну и ну! Я никогда не слышала, чтобы она говорила парням что-нибудь, кроме «как здесь жарко», «как здесь много народу» или что она собирается поступать в следующем году в колледж в Нью-Йорке! И иногда еще спрашивает, какая у них машина, и рассказывает, какая машина у нее. Страсть как захватывающе!

Наступила тишина; затем миссис Харви вновь принялась увещевать дочь:

– И слышать не хочу! Другие девушки, и вполовину не столь милые и привлекательные, все же находят себе партнеров на танцах. Марта Кэри, например, полная и шумная, а мать у нее – так просто вульгарная особа! Роберта Дильон в этом году так исхудала, что, судя по ее внешности, ей давно пора бежать в Аризону. Она себя до смерти когда-нибудь упляшет!

– Но, мама, – с раздражением возразила Марджори, – Марта веселая, ужасно остроумная и дико классная девчонка, а Роберта чудесно танцует. Она популярна с незапамятных времен!

Миссис Харви зевнула.

– Мне кажется, что в Бернис говорит кровь этих диких индейцев, – продолжила Марджори. – Может, у нее такой характер, потому что произошла реверсия? У индейцев женщины ведь просто сидели вокруг костра и не произносили ни слова.

– Иди спать, глупый ребенок! – рассмеялась миссис Харви. – Если бы я знала, что ты это запомнишь, я бы тебе никогда не рассказала! А большинство твоих идей я считаю просто идиотскими, – сонным голосом закончила она.

Вновь воцарилась тишина, и Марджори размышляла, стоит ли пытаться продолжать убеждать мать в своей правоте. Людей за сорок редко удается в чем-либо окончательно убедить. В восемнадцать лет наши убеждения представляют собой холмы, с которых мы оглядываем окрестности; а в сорок пять убеждения – это пещеры, в которых мы прячемся.

Закончив на этом свои размышления, Марджори пожелала матери спокойной ночи. Когда она вышла из комнаты, в холле никого не было.

III

Поздним утром следующего дня, когда Марджори завтракала, в комнату вошла Бернис. Она довольно холодно пожелала кузине доброго утра, села напротив, пристально посмотрела на нее через стол и быстро облизнула губы.

– Что с тобой? – недоуменно спросила Марджори.

Прежде чем метнуть бомбу, Бернис выдержала паузу.

– Я слышала, что ты вчера вечером говорила обо мне матери.

Марджори испугалась, хотя внешне лишь слегка покраснела; ее ответ прозвучал спокойно.

– Где ты была?

– В холле. Я не собиралась подслушивать – поначалу…

Невольно бросив на нее презрительный взгляд, Марджори опустила глаза и притворилась жутко занятой попыткой удержать в равновесии у себя на пальце пару кукурузных хлопьев.

– Видимо, мне лучше вернуться к себе в О-Клэр, раз уж я так здесь мешаю. – Нижняя губа Бернис сильно дернулась, и она продолжила дрогнувшим голосом: – Я старалась, чтобы со мной было легко, но мной сначала просто пренебрегали, а затем еще и оскорбили! Когда ко мне приезжают гости, я с ними никогда так не обхожусь!

Марджори молчала.

– Но, как я вижу, я всем мешаю! Я тебе в тягость. Твоим друзьям я не нравлюсь. – Она умолкла, а затем вспомнила еще одну обиду: – Конечно же, я пришла в ярость, когда неделю назад ты попыталась мне намекнуть, что платье мне не идет. Тебе не кажется, что я и сама умею одеваться?

– Нет, – пробормотала Марджори почти вслух.

– Что?

– Я ни на что не намекала, – кратко ответила Марджори. – Мне помнится, я сказала, что лучше уж три дня подряд носить платье, которое тебе идет, чем чередовать его с двумя страшилищами!

– Тебе не кажется, что это было не очень любезно?

– А я и не пыталась любезничать. – И затем, после паузы: – Когда ты хочешь ехать?

Бернис резко поперхнулась.

– Ах! – негромко вскрикнула она.

Марджори удивленно посмотрела на нее:

– Разве ты не сказала, что собираешься уезжать?

– Да, но…

– Ага! Так ты просто блефовала!

Некоторое время они молча смотрели друг на друга через стол. Глаза Бернис застилал туман, а на лице Марджори застыло суровое выражение, которое она обычно использовала, когда подвыпившие студенты объяснялись ей в любви.

– Так ты, значит, блефовала! – повторила она таким тоном, словно ожидала чего-то в этом роде.

Бернис призналась, расплакавшись. Во взгляде Марджори появилась скука.

– Ты же моя кузина! – всхлипывала Бернис. – Я приехала к тебе в гости! Я должна пробыть у тебя месяц, а если я уеду, моя мама обо всем узнает и станет спрашивать…

Марджори дождалась, пока ливень из обрывков слов не сменился слабым сопением.

– Я отдам тебе все свои карманные деньги за месяц, – холодно сказала она. – И эту последнюю неделю ты сможешь провести где угодно; есть тут одна хорошая гостиница…

Плач Бернис достиг высокой ноты; она резко вскочила и умчалась из комнаты.

Спустя час, когда Марджори сидела в библиотеке, полностью поглощенная написанием одного из тех изумительно туманных и ни к чему не обязывающих писем, сочинять которые умеют только девушки, Бернис появилась вновь: с покрасневшими глазами, нарочито спокойная. Она не удостоила Марджори взглядом, взяла первую попавшуюся книгу с полки и уселась, будто собираясь почитать. Марджори же продолжила писать. Когда часы пробили полдень, Бернис громко захлопнула книгу:

– Думаю, мне надо съездить купить билет на поезд.

Это было совсем не то начало разговора, которое она придумала и отрепетировала наверху, но, поскольку Марджори не улавливала ее намеков – не уговаривала ее передумать, не говорила, что все это было ошибкой, – ничего лучше ей в голову не пришло.

– Сейчас, я только закончу письмо, – ответила Марджори, даже не оторвав взгляда от бумаги. – Хочу отправить его ближайшей почтой.

Всю следующую минуту ее ручка деловито поскрипывала; затем Марджори откинула голову и расслабилась, всем своим видом демонстрируя «к вашим услугам». И вновь начинать разговор пришлось Бернис:

– Ты хочешь, чтобы я уехала домой?

– Ну, мне кажется, – задумавшись, ответила Марджори, – если тебе здесь не нравится, лучше уехать. Что толку чувствовать себя несчастной?

– А не кажется ли тебе, что банальная доброжелательность…

– Ах, пожалуйста, только не цитируй мне «Маленьких женщин»! – с раздражением воскликнула Марджори. – Это уже не модно.

– Ты так считаешь?

– Господи, да! Разве современная девушка может жить, как эти пустоголовые девы?

– Они служили примерами для наших матерей!

Марджори рассмеялась:

– О да, служили – в каком-то ином мире! Наши матери по-своему очень хорошие, но они совсем ничего не знают о проблемах своих дочерей.

Лицо Бернис вытянулось.

– Прошу не упоминать в таком тоне мою маму!

Марджори рассмеялась:

– А разве я ее упоминала?

Бернис почувствовала, что разговор пытаются отклонить от намеченной темы.

– Ты считаешь, что приняла меня достойно?

– Старалась, как могла! Ты – довольно сложный материал для работы.

Веки Бернис покраснели.

– А я думаю, что ты жестокая и эгоистичная и у тебя отсутствуют истинно женские качества!

– Ох, боже ж ты мой! – крикнула взбешенная Марджори. – Вот же дуреха! Такие девицы, как ты, виноваты во всех этих изнурительных и бесцветных браках; за «женские качества» у вас идет ужасная несостоятельность во всем! Какой, наверное, удар испытывает обладающий воображением мужчина, когда женится на привлекательной куколке, которую он возносит на пьедестал из идеалов, а потом обнаруживает, что внутри этой куколки всего лишь слабая, ноющая и трусливая кучка жеманства!

Бернис так и разинула рот.

– «Женственная» женщина! – продолжила Марджори. – Вся ее юная жизнь проходит в нытье и осуждении девушек вроде меня – да, мы действительно весело проводим время!

Марджори говорила все громче, а Бернис так и сидела с раскрытым ртом.

– Нытье еще понятно, если девушка дурна собой. Если бы я была безобразной, я никогда не простила бы моих родителей за то, что они принесли меня в этот мир. Но твоя жизнь начинается безо всяких помех. – Рука Бернис сжалась в маленький кулачок. – Если ты ждешь,

что я стану рыдать вместе с тобой, я вынуждена тебя разочаровать. Уезжай либо оставайся – делай что хочешь! – И она ушла из комнаты, собрав свои письма.

Сославшись на головную боль, Бернис не спустилась к обеду. Вечером они должны были идти в театр, но головная боль не отступила, и Марджори пришлось извиняться перед несильно огорченным кавалером. Вернувшись поздно вечером домой, она обнаружила, что Бернис с непривычно каменным лицом поджидает ее у нее в спальне.

– Я решила, – безо всякого предисловия начала Бернис, – что ты, возможно, права во многом – а может, и нет. Но если ты расскажешь мне, почему я не… я не интересна твоим друзьям, то я попробую делать все так, как скажешь мне ты.

Марджори стояла у зеркала, распуская прическу.

– Ты серьезно?

– Да.

– Без пререканий? Будешь делать в точности так, как я скажу?

– Ну, наверное, я…

– Без «ну, наверное»! Будешь делать в точности так, как я скажу?

– Если это будет благоразумно.

– Не будет! В твоем случае о благоразумии не может быть и речи!

– Ты что, хочешь заставить… Диктовать мне…

– Да, буквально всё! Если скажу, что нужно брать уроки бокса, тебе придется ходить на бокс. Напиши домой матери, что останешься еще на две недели.

– Но ты, хотя бы в общих чертах…

– Ладно. Вот тебе несколько примеров. Первое: у тебя совершенно отсутствует непринужденность. Почему? А потому, что ты никогда не уверена, хорошо ли ты выглядишь. Когда девушка уверена, что она идеально ухожена и одета, об этой части своего облика она может полностью забыть. Это называется «шарм». Необходимо позволить себе забыть как можно большую часть своего облика – и тогда у тебя появится больше шарма.

– А разве я не отлично выгляжу?

– Нет. Ты, например, совершенно не ухаживаешь за бровями. Они у тебя черные и блестящие, но если позволить им расти как попало, то это скорее недостаток. Они будут прекрасны, если ты посвятишь им

хотя бы одну десятую того времени, которое ты проводишь, ничего не делая. Их нужно причесывать, чтобы они росли ровно.

Бернис вскинула брови, о которых шла речь:

– Ты хочешь сказать, что мужчины обращают внимание на брови?

– Да. Подсознательно. И когда вернешься домой, тебе еще нужно будет слегка выпрямить зубы. Это почти незаметно, но…

– А я думала, – перебила ее сбитая с толку Бернис, – что ты презираешь столь мелкие и деликатные женские хитрости?

– Я ненавижу лишь мелкие умишки! – ответила Марджори. – А внешность девушки должна быть элегантной! Если она выглядит на миллион долларов, то может спокойно разговаривать о большевиках, о пинг-понге, о Лиге наций – ей все сойдет с рук.

– Что еще?

– О, это только начало! Теперь – как ты танцуешь.

– Разве я не хорошо танцую?

– Нет, не хорошо: ты виснешь на партнере; да, виснешь, пусть и не очень сильно. Я заметила, когда мы вчера вместе танцевали. И еще ты танцуешь, выпрямившись, вместо того, чтобы чуть наклониться. Наверное, какая-нибудь дальняя престарелая родственница однажды сказала, что у тебя очень гордая осанка. Однако мужчине так танцевать очень тяжело, если девушка не мала ростом, а мнение мужчины в данном случае очень важно.

– Продолжай. – У Бернис голова пошла кругом.

– Так… Тебе необходимо научиться быть любезной с парнями из «серой массы». Ты выглядишь так, словно тебя оскорбили, когда рядом с тобой не самые популярные ребята. Бернис, меня на танцах перехватывают через каждые несколько тактов – и кто чаще всего? Как раз эта самая «серая масса»! Девушка не может себе позволить ими пренебрегать. Они составляют большую часть любого общества. Молодые парни, которые стесняются, – это лучшая практика для беседы. Неуклюжие парни – это лучшая практика для танцев. Если ты научишься танцевать с ними и при этом выглядеть изящно, то сможешь танцевать даже с маленьким танком по опутанным колючей проволокой окопам!

Бернис глубоко вздохнула, но Марджори еще не закончила.

– Если на танцах ты сможешь по-настоящему развлечь, допустим, троих из «серой массы», они станут с тобой танцевать; если ты будешь

разговаривать с ними так, что они забудут о том, что «застряли» с тобой, считай, что ты кое-чего добилась. Они к тебе вернутся в другой раз, и постепенно с тобой будет танцевать вся эта «серая масса», и тогда привлекательные парни заметят, что они не «застрянут» с тобой надолго, и они тоже станут тебя приглашать.

– Да, – слабеющим голосом согласилась Бернис. – Я, кажется, начинаю понимать.

– И в конце концов, – заключила Марджори, – у тебя появятся самообладание и шарм! В один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что теперь они у тебя есть, и тогда мужчины тоже это поймут.

Бернис встала.

– Это было ужасно любезно с твоей стороны. Правда, со мной никто так раньше не разговаривал, так что я слегка растеряна.

Марджори ничего не ответила, задумчиво разглядывая свое отражение в зеркале.

– Ты просто чудо! Большое спасибо за помощь, – продолжила Бернис.

Марджори опять ничего не ответила, и Бернис подумала, что, видимо, немного переборщила с благодарностью.

– Я знаю, что ты не любишь изъявления чувств… – робко сказала она.

Марджори резко к ней повернулась:

– Ах, да я не об этом думала! Я размышляла, не стоит ли тебе коротко подстричься?

Бернис, как подкошенная, рухнула на кровать.

IV

В следующую среду, вечером, в загородном клубе должен был состояться ужин, а после него – танцы. Войдя внутрь, Бернис с легким

раздражением поискала глазами за столом свою карточку. Хотя справа от нее должен был сидеть Дж. Риз Стоддард, самый желанный и выдающийся из молодых холостяков – самый важный левый фланг держался на одном лишь Чарли Полсоне. Чарли был обделен ростом, красотой и изяществом манер, и в свете своего свежеобретенного знания Бернис решила, что его единственным преимуществом как партнера был тот факт, что ему никогда не доводилось долго и без надежды на освобождение с ней танцевать. Раздражение прошло, как только унесли суповые тарелки, и в голове зазвучали инструкции Марджори. Обуздав гордыню, она повернулась к Чарли Полсону и начала:

– Как вы считаете, мистер Чарли Полсон, стоит ли мне коротко подстричься?

Чарли удивленно посмотрел на нее:

– Зачем?

– Да просто я подумываю об этом. Это ведь самый надежный и простой способ привлечь к себе внимание.

Чарли вежливо улыбнулся. Откуда ему было знать, что все было заранее отрепетировано? Он ответил, что почти ничего не знает о новой моде на короткие стрижки. И Бернис с готовностью принялась ему объяснять.

– Видите ли, я хочу стать женщиной-вамп, – спокойным тоном объявила она и продолжила в том духе, что короткая стрижка являлась необходимой для этого прелюдией. Еще она добавила, что хотела спросить совета именно у него, поскольку слышала, что по отношению к девушкам он настроен критически.

Чарли, знавший о женской психологии ровно столько же, сколько и о переселении душ адептов буддизма, был приятно польщен.

– Поэтому я решила, – продолжила Бернис, слегка повысив голос, – что в начале следующей недели пойду в парикмахерскую в гостинице «Севье», сяду в первое кресло и коротко постригусь. – Она запнулась, заметив, что сидевшие поблизости от нее прервали свои разговоры и стали к ней прислушиваться; смущение продолжалось не больше секунды; затем сказалась выучка Марджори, и она закончила фразу, обращаясь уже сразу ко всем присутствующим. – Само собой, вход будет по билетам, но тем, кто придет в качестве моей группы поддержки, достанутся билеты на лучшие места – прямо в зале!

Послышался одобрительный смех, и под этим прикрытием Дж. Риз Стоддард быстро наклонился к ней и сказал ей на ухо: «Беру ложу прямо сейчас!»

Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась так, словно он сказал нечто из ряда вон выдающееся.

– Вы – за короткие стрижки? – все так же негромко спросил Дж. Риз.

– Я не считаю, что они на пользу нравственности, – серьезным тоном заявила Бернис. – Но, само собой, наше общество необходимо либо развлекать, либо кормить, либо шокировать. – Эту фразу Марджори выудила из Оскара Уайльда.

Замечание вызвало взрыв смеха у юношей и целую серию быстрых пристальных взглядов со стороны девушек.

А затем Бернис, словно не сказав ничего остроумного или важного, вновь повернулась к Чарли Полсону и доверительно зашептала ему на ухо:

– Мне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу некоторых людей. Я считаю вас непревзойденным знатоком характеров!

У Чарли слегка захватило дух, и он ответил ей скромным комплиментом, случайно опрокинув стоявший рядом с ее тарелкой стакан с водой.

Спустя два часа пассивно стоявший у стеночки Уоррен Макинтайр, равнодушно наблюдавший за танцующими и размышлявший, куда и с кем исчезла Марджори, вдруг заметил, что ход его мысли нарушается неким странным несоответствием – это несоответствие заключалось в том, что за последние пять минут Бернис, кузину Марджори, уже несколько раз «перехватывали». Он прикрыл глаза, затем открыл их снова и опять посмотрел в ее сторону. Несколько минут назад она танцевала с каким-то незнакомцем, и это еще можно было понять; незнакомца было легко обвести вокруг пальца. Но сейчас она танцевала с кем-то другим, и в ее направлении с энтузиазмом в глазах решительно двигался Чарли Полсон. Забавно, ведь обычно Чарли Полсон приглашал никак не более трех девушек за целый вечер!

Уоррен был крайне удивлен, когда действительно произошла смена партнеров, и в одиночестве остался не кто иной, как сам Дж. Риз Стоддард! И Дж. Риз Стоддард был явно не рад, что партнершу у него «перехватили». Когда танцующая Бернис вновь оказалась поблизости

от него, Уоррен внимательно на нее посмотрел. Ну да, она была хорошенькой, определенно хорошенькой; а в этот вечер ее лицо было по-настоящему радостным. Ей явно было и правда весело, а никакая женщина, даже самая сценически одаренная, никогда не сможет достоверно сыграть такое состояние! Ему понравилось, как она сегодня была причесана, и он подумал, отчего так блестят ее волосы – бриллиантин, что ли? И платье ей очень шло – темно-красный цвет подчеркивал подведенные глаза и яркий румянец. Он вспомнил, что нашел ее очень симпатичной, когда она только приехала и он еще не знал, какая она зануда. Очень жаль, что она зануда; скучные девушки просто невыносимы; и все же она определенно хорошенькая!

Его мысли совершили зигзагообразный скачок обратно, к Марджори. И это ее исчезновение кончится так же, как и всегда. Когда она опять появится, он спросит, где она была, а в ответ ему будет решительно сказано, что это его совершенно не касается. Как жаль, что она так уверена в его чувствах! Она пользовалась тем, что точно знала: ни одна другая девушка в городе его не интересует; она была уверена, что он не сможет влюбиться ни в Женевьеву, ни в Роберту.

Уоррен вздохнул. Тернист был путь к сердцу Марджори. Он оглянулся. Бернис вновь танцевала с незнакомцем. Почти не отдавая себе отчета в том, что делает, он шагнул к ней от стеночки – и притормозил. Затем сказал себе, что это – благотворительность. Он направился к ней, но по пути неожиданно столкнулся с Дж. Ризом Стоддардом.

– Прошу прощения! – сказал Уоррен.

Но Дж. Риз не остановился, чтобы извиниться. Вместо этого он вновь пригласил на танец Бернис.

В тот вечер, около часа ночи, Марджори, протянув руку к электрическому выключателю в холле, обернулась, чтобы еще раз посмотреть в сияющие глаза Бернис:

– Ну, как? Сработало?

– Ах, Марджори, да! – воскликнула Бернис.

– Я заметила, что тебе было весело.

– Точно! Единственное затруднение – около полуночи я исчерпала все темы для разговора. Пришлось повторяться – разумеется, когда разговаривала с другими парнями. Надеюсь, они не станут обмениваться впечатлениями.

– Парни так не делают, – сказала Марджори, зевнув, – ну а даже если бы они так делали, то просто подумали бы, что ты над ними подшучиваешь.

Она щелкнула выключателем, и Бернис, ступив на лестницу, с благодарностью ухватилась за перила. Впервые в жизни она буквально ног не чувствовала после танцев!

– Видишь ли, – сказала Марджори, поднявшись на верхнюю площадку лестницы, – когда парень видит, что кого-то перехватывают, он тут же начинает думать, что там, видимо, что-то интересное. Ну да ладно; завтра придумаем что-нибудь еще. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи!

Распуская волосы, Бернис стала вспоминать прошедший вечер, минуту за минутой. Она в точности следовала инструкциям. Даже когда Чарли Полсон «перехватил» ее в восьмой раз, она притворилась, что она в восторге, что она польщена и испытывает прямо-таки жгучий интерес. Она не разговаривала о погоде, об О-Клэр, об автомобилях или о колледже, а вместо этого ограничила тему разговоров местоимениями «я», «ты» и «мы».

Но за несколько минут до того, как она окончательно заснула, в ее голове заворочалась мятежная мысль о том, что, в сущности, все это ведь сделала она сама! Марджори, разумеется, подсказала ей, как нужно разговаривать, но ведь и сама Марджори черпала темы для разговора в основном из прочитанного накануне. Это ведь сама Бернис купила красное платье, хотя никогда особо его не ценила, пока Марджори не выкопала его из ее чемодана; это ведь ее собственный голос произносил слова, ее собственные губы улыбались, ее ножки танцевали. Марджори хорошая девушка… пусть и тщеславная… хороший выдался вечер… симпатичные парни… Уоррен понравился… Уоррен… Уоррен… как там его фамилия… Уоррен…

Она уснула.

V

Следующая неделя превратилась для Бернис в череду открытий. Она обрела уверенность в себе, почувствовав, что люди получают истинное удовольствие, глядя на нее и разговаривая с ней. Конечно же, поначалу она наделала ошибок. Например, она не знала, что Дрейкотт Дейо готовится стать священником; она и не подозревала, что он пригласил ее на танец потому, что считал ее тихой и сдержанной девушкой. Если бы она все это знала, то не стала бы начинать беседу с «Привет тебе, головокружитель!» и не стала бы рассказывать ему историю про ванную: «Летом мне приходится тратить ужас как много сил, чтобы привести в порядок волосы, – у меня они очень густые, так что я сначала причесываюсь, пудрюсь и надеваю шляпку и лишь после этого ложусь в ванную, а затем уже одеваюсь. Как считаешь, здорово я придумала?»

Хотя Дрейкотт Дейо и мучился, будучи не в силах окончательно избрать свою позицию по вопросу крещения погружением, и вполне мог бы уловить здесь связь, приходится признать, что никакой связи он не уловил. Разговоры о женских омовениях он считал безнравственными, поэтому и поделился с Бернис некоторыми собственными мыслями относительно погрязшего в грехах современного общества.

Но этот несчастный случай с лихвой компенсировало несколько поразительных успехов. Юный Отис Ормонд мольбами отсрочил свой отъезд на восток страны и по собственному выбору стал повсюду бегать за ней с щенячьей преданностью, к веселому удивлению своих друзей и к раздражению Дж. Риза Стоддарда, которому он испортил несколько вечерних визитов своими непрерывно бросаемыми на Бернис отвратительно нежными взорами. Он даже рассказал ей анекдот о деревяшке и гардеробной, чтобы показать, как ужасно все – и он тоже – ошибались, судя Бернис по первому же впечатлению. Бернис рассмеялась, но сердце ее при этом слегка замерло.

Самой известной и популярной темой разговоров Бернис стала ее будущая короткая стрижка.

– Бернис, так когда ты собираешься в парикмахерскую?

– Послезавтра, может быть, – отвечала она, смеясь. – Ты придешь за меня «поболеть»? Имей в виду, я на тебя очень рассчитываю!

– Приду ли я? Еще бы! Но что-то ты не торопишься.

Бернис, которая, как ни стыдно в этом признаться, не испытывала ни малейшего стремления постричься, вновь рассмеялась:

– Потерпи еще немного! И не заметишь, как время пролетит.

Но наиболее значимым символом ее успеха стал припаркованный сутки напролет напротив дома Харви серый автомобиль самого строгого критика – Уоррена Макинтайра. Поначалу горничная изумлялась, когда он спрашивал Бернис вместо Марджори; однако спустя неделю в разговоре с кухаркой она заявила, что мисс Бернис, похоже, отбила лучшего кавалера мисс Марджори.

И мисс Бернис действительно его отбила! Возможно, все началось с желания Уоррена заставить Марджори заревновать; возможно, в речах Бернис ему слышались такие знакомые, хотя и измененные оттенки речей Марджори; а возможно, это было и то и другое, да еще и искреннее увлечение. Как бы там ни было, но в головах городской молодежи уже через неделю утвердилась мысль, что самый верный поклонник вдруг развернулся от Марджори на сто восемьдесят градусов и без всяких колебаний приударил за ее гостьей. Самым обсуждаемым вопросом стал: как это воспримет Марджори? Уоррен звонил Бернис по телефону дважды в день, он посылал ей записки, их часто видели вместе в его «родстере», где они увлеченно вели бесконечную, напряженную и многозначительную беседу на одну и ту же вечную тему: насколько он сейчас искренен?

Любые поддразнивания вызывали у Марджори лишь смех. Она говорила, что очень рада тому, что Уоррен наконец-то нашел себе ту, кто ценит его по достоинству. Поэтому молодежь тоже смеялась и думала, что Марджори все равно, – и разговоры на этом закончились.

Однажды вечером, за три дня до отъезда, Бернис ждала в холле Уоррена, с которым они договорились пойти на вечеринку играть в бридж. Настроение у нее было самое радужное, и Бернис оказалась абсолютно не готова к какому-либо столкновению, когда рядом появилась Марджори, тоже собиравшаяся на вечеринку, и стала

надевать перед зеркалом шляпку. Марджори нанесла удар холоднокровно и быстро, всего тремя предложениями.

– Ты лучше выброси Уоррена из головы, – спокойным тоном произнесла она.

– Что? – Бернис была поражена.

– Не выставляй себя дурой, воображая, что между вами с Уорреном Макинтайром что-то есть. Плевать он хотел на тебя!

Повисла напряженная тишина. Они посмотрели друг на друга: Марджори – с пренебрежением, отчужденно; Бернис – пораженная, слегка сердитая, чуть испуганная. Затем перед домом остановились две машины и послышались громкие гудки. Обе охнули, развернулись и бок о бок поспешили на улицу.

Весь вечер за картами Бернис тщетно пыталась обуздать нараставшую тревогу. Она оскорбила саму Марджори – загадочную и непостижимую! С самыми что ни на есть благими и невинными намерениями она украла ее собственность! Бернис вдруг осознала свою ужасную вину. Гроза постепенно приближалась, а разразилась она после карт, когда завязался общий непринужденный разговор. Ее наступление нечаянно ускорил юный Отис Ормонд.

– Когда возвращаешься в детский сад, Отис? – спросил его кто-то.

– Я? Да в тот же день, когда пострижется Бернис!

– Тогда считай, что твое образование закончилось, – быстро вставила Марджори. – Она же просто нас обманывает. Я думала, что все это давно уже поняли!

– Так и есть? – спросил Отис, бросив на Бернис укоризненный взгляд.

У Бернис даже уши покраснели, пока она пыталась придумать достойный ответ. Эта лобовая атака парализовала ее воображение.

– На свете много лжи, – весело продолжила Марджори. – Думаю, ты уже большой, чтобы об этом знать, Отис.

– Ладно, может и так, – ответил Отис. – Нос какой стати? Ведь с таким языком, как у Бернис…

– Неужели? – зевнула в ответ Марджори. – Ну и что новенького она вам за последнее время сказала?

Кажется, никто ничего не вспомнил. Ведь Бернис, поведя себя легкомысленно с поклонником своей музы, за последнее время и правда не сказала ничего выдающегося.

– Может, это была просто болтовня? – с любопытством спросила Роберта.

Бернис замешкалась. Она почувствовала, что все ждут от нее чего-то остроумного, но неожиданно холодный взгляд кузины совершенно вывел ее из строя.

– Не знаю, – попыталась она увильнуть от ответа.

– Соврала! – сказала Марджори. – Признавайся!

Бернис заметила, что Уоррен, бренчавший до этого на укулеле, оторвал взгляд от инструмента и вопросительно посмотрел на нее.

– Ах, я не знаю! – стояла она на своем; ее щеки загорелись.

– Соврала! – снова поддразнила ее Марджори.

– Колись, Бернис! – встрял Отис. – Скажи, когда стартуем?

Бернис снова обвела взглядом присутствующих – казалось, взгляд Уоррена преследовал ее по пятам.

– Мне нравятся короткие стрижки, – торопливо сказала она, словно он ее об этом спрашивал, – и я хочу постричься.

– Когда? – задала вопрос Марджори.

– Когда угодно!

– Тогда не стоит откладывать! – намекнула Роберта.

Отис вскочил.

– Здорово! – воскликнул он. – И устроим вечеринку! Ты ведь, кажется, говорила – парикмахерская в гостинице «Севье»?

Миг спустя все уже были на ногах. Сердце Бернис бешено стучало.

– Что? – ахнула она.

Из дверей отчетливо раздался презрительный голос Марджори:

– Не беспокойтесь, она еще передумает!

– Пойдем, Бернис! – воскликнул Отис, направившись к дверям.

Две пары глаз, Уоррена и Марджори, наблюдали за ней, сомневались в ней, бросали ей вызов. Еще секунду она сильно колебалась.

– Хорошо, – быстро сказала она. – Не вопрос! Я готова.

Через несколько показавшихся вечностью минут, направляясь по вечерней дороге в центр города и сидя рядом с Уорреном – остальные ехали за ними, в машине Роберты, – Бернис почувствовала себя Марией Антуанеттой, которую везут в телеге на гильотину. У нее мелькнула мысль: а почему она не плачет, не кричит, что все это было ошибкой? Лишь эта мысль удерживала ее, чтобы не вцепиться обеими

руками в волосы, защищая их от неожиданно ставшего враждебным внешнего мира. Но она не сделала ни того ни другого. И даже мысль о том, что скажет мама, больше ее не пугала. Настало время величайшего испытания ее стойкости, и ей предстояло доказать свое право находиться в звездном сонме популярных девушек.

Уоррен уныло молчал, а когда они подъехали к гостинице, остановил машину у края тротуара и кивком предложил Бернис выйти первой. Из машины Роберты прямо к парикмахерской, глядевшей на улицу двумя четко вырисовывавшимися зеркальными стеклами витрин, высыпала веселая толпа.

Бернис стояла на краю тротуара и смотрела на вывеску: «Парикмахерская Севье». Да, точно, вот и гильотина – а вот и палач: старший парикмахер, в белом пиджаке, с сигаретой в зубах, равнодушно облокотившийся на первое кресло. Наверное, он о ней слышал; должно быть, ждал ее тут всю неделю, куря одну за другой бесчисленные сигареты и стоя рядом с этим зловещим, слишком часто поминаемым первым креслом. Ей завяжут глаза? Нет; но шею обхватят белой тряпкой, чтобы кровь – какая чушь… волосы, конечно! – не попали на одежду.

– Ну, давай, Бернис, – произнес в этот момент Уоррен.

Гордо задрав подбородок, она прошла по тротуару, толкнула входную дверь и, не удостоив даже взглядом шумный и буйный ряд зрителей, занявших места на скамейке для ожидающих своей очереди, подошла прямо к старшему парикмахеру:

– Постригите меня коротко!

Старший парикмахер слегка разинул рот и уронил на пол сигарету:

– Чего?

– Я хочу коротко подстричься!

Закончив на этом прелюдию, Бернис уселась на высокое кресло. Полулежавший на соседнем кресле намыленный для бритья мужчина повернулся на бок и изумленно посмотрел на нее сквозь пену. У одного из парикмахеров дрогнула рука, из-за чего была испорчена ежемесячная стрижка маленького Уилли Шунеманна. Сидевший в самом дальнем кресле мистер О’Рейли что-то пробурчал и с чувством выругался по-ирландски, когда его щеку царапнула бритва. Пара чистильщиков обуви с округлившимися глазами тут же бросилась к ее ногам… Нет, Бернис не желала почистить туфли!

Снаружи остановился пешеход и стал глядеть в витрину; к нему присоединилась еще парочка; тут же рядом с ними возникла дюжина мальчишеских носов, прижавшихся к стеклу витрины; летний бриз доносил обрывки разговоров с улицы.

– Гляди-ка, ну и отрастил паренек волосы!

– С чего это ты решил? Это же бородатая дама, он только что ее побрил!

Но Бернис ничего не видела и не слышала. У нее осталось лишь осязание: вот этот мужчина в белом пиджаке вытаскивает у нее из волос один черепаховый гребень, затем другой; его пальцы неуклюже возятся с непривычными шпильками; и эти волосы, ее удивительные волосы, сейчас исчезнут, и никогда больше не почувствует она их роскошную пышную тяжесть, никогда больше она не почувствует у себя на спине свисающее шоколадное великолепие. В одно мгновение она чуть было не расплакалась, потеряв самообладание, но затем ее взгляд механически сфокусировался на Марджори, скривившей губы в легкой иронической усмешке, словно собираясь сказать:

«Сдавайся и слезай с кресла! Ты попыталась выступить против меня, и я при всех назвала тебя обманщицей. Сама видишь – у тебя нет ни единого шанса!»

И тогда вся еще оставшаяся у Бернис энергия поднялась волной протеста, и она сжала руки в кулаки под наброшенной на шею белой тряпкой, а взгляд стал таким странным, застывшим, что Марджори его надолго запомнила и даже рассказывала о нем впоследствии.

Через двадцать минут парикмахер развернул ее лицом к зеркалу, и она вздрогнула, в полной мере оценив нанесенный ущерб. Волосы от природы у нее были не вьющиеся, и теперь они с обеих сторон обрамляли ее внезапно побледневшее лицо двумя гладкими безжизненными монолитами. Она была страшна как смертный грех – она знала, что станет страшна как смертный грех. Простота, словно у Мадонны, – вот в чем заключалась основная прелесть ее лица. А теперь она исчезла, и она стала выглядеть – ну, ужасно заурядной… не облезлой, конечно, а лишь смешной, словно обитательница Гринвич-Виллидж, забывшая дома очки.

Спустившись на пол с кресла, она попыталась улыбнуться – и ничего не получилось. Она заметила, как две девушки обменялись

взглядами; заметила, как губы Марджори искривились в легкой усмешке, а Уоррен посмотрел на нее неожиданно холодно.

– Ну что ж, – прервала она неловкую паузу, – как видите, я это сделала!

– Да, ты… Ты это сделала, – подтвердил Уоррен.

– Вам нравится?

Раздалось два или три нерешительных: «Конечно!», затем последовала еще одна неловкая пауза, а затем Марджори со змеиным проворством повернулась к Уоррену и пристально на него посмотрела.

– Не мог бы ты подбросить меня до химчистки? – спросила она. – Мне очень нужно забрать платье до ужина. Роберта поедет сразу домой и подвезет остальных.

Уоррен рассеяно посмотрел в окно. Затем его холодный взгляд на мгновение остановился на Бернис, после чего переместился на Марджори.

– Конечно. Буду рад помочь, – негромко ответил он.

VI

Выйдя к ужину и встретив изумленный взгляд тетки, Бернис осознала, какую жестокую ловушку ей приготовили.

– Бернис, боже мой!

– Я коротко постриглась, тетя Жозефина.

– Боже мой, дитя мое!

– Вам нравится?

– Бернис! О господи!

– Кажется, я вас шокировала?

– Нет, но что подумает завтра вечером миссис Дейо? Бернис, нужно было подождать хотя бы до послезавтра – завтра бал у Дейо, надо было подождать хотя бы ради этого.

– Это вышло спонтанно, тетя Жозефина. Но при чем тут миссис Дейо, какая ей разница?

– Дитя мое, – воскликнула миссис Харви, – в докладе «Недостатки современной молодежи», который она прочитала на последнем заседании нашего «Клуба по четвергам», она посвятила коротким стрижкам целых пятнадцать минут. Это излюбленный предмет ее ненависти. А ведь бал устраивается в честь тебя и Марджори!

– Мне очень жаль.

– Ах, Бернис, и что скажет твоя мать? Она решит, что это я тебе разрешила!

– Мне очень жаль.

Ужин прошел в мучениях. Она попробовала второпях исправить положение с помощью щипцов для завивки волос, но лишь обожгла себе палец и сожгла волосы. Она видела, что тетя одновременно и обеспокоена, и опечалена, а дядя все время приговаривает: «Ох, ну и дела!» оскорбленным и слегка враждебным тоном. Марджори сидела очень тихо, отгородившись легкой, слегка насмешливой улыбкой.

Ей как-то удалось дотянуть до конца вечера. В гости зашли трое парней; с одним из них исчезла Марджори, а Бернис совершила вялую и безуспешную попытку развлечь двух оставшихся – и в половине одиннадцатого с благодарным вздохом ушла вверх по лестнице в свою комнату. Ну и денек выдался!

Она раздевалась, собираясь ложиться спать, когда открылась дверь и вошла Марджори.

– Бернис, – сказала она, – мне ужасно жаль, что так вышло с балом у Дейо. Даю тебе честное слово – я совершенно о нем позабыла!

– Да ничего страшного, – сухо сказала Бернис. Она стояла перед зеркалом, медленно водя расческой по остаткам своих волос.

– Завтра съездим с тобой в центр, к самому лучшему парикмахеру, – продолжила Марджори, – и тебя приведут в порядок. Будешь выглядеть великолепно! Я и подумать не могла, что ты пойдешь до конца… Мне действительно очень жаль!

– Ах, да ладно, все нормально!

– Ну, к тому же завтра ты здесь последний день – так что действительно ничего страшного.

Затем Бернис вздрогнула: Марджори распустила свои волосы волнами по плечам и стала медленно заплетать их в длинные светлые

косы – на ней был кремовый халат, и выглядела она, словно сошедшая с изящного полотна саксонская принцесса. Бернис не могла оторвать взгляда от становившихся все длиннее кос. Они были тяжелыми, роскошными и двигались под проворными пальцами, словно извивающиеся змеи, а у Бернис остались лишь эти жалкие остатки, щипцы для завивки, да завтрашний вечер под прицелом пристальных глаз. Она представила, как Дж. Риз Стоддард, которому она нравилась, вспомнит о своих критических гарвардских манерах и скажет своей соседке по столу, что Бернис не стоило разрешать так много ходить в кинотеатры; представила, как Дрейкотт Дейо обменяется взглядами с матерью и станет вести себя по отношению к Бернис с подчеркнутой снисходительностью. Хотя, наверное, миссис Дейо уже завтра услышит новость и пришлет составленную в ледяном тоне записочку с просьбой не утруждать себя появлением у них; все у нее за спиной станут посмеиваться, узнав о том, как Марджори ее одурачила, как ее шанс блеснуть в обществе был принесен в жертву ревнивой прихоти эгоистки. Она резко присела перед зеркалом, кусая губы.

– Мне нравится, – с усилием произнесла она. – Думаю, что мне идет!

Марджори улыбнулась:

– Выглядит хорошо. Только, бога ради, не переживай ты так!

– А я и не переживаю.

– Спокойной ночи, Бернис.

Но, как только закрылась дверь, внутри у Бернис как будто что-то щелкнуло. Она энергично вскочила, сцепила руки, а затем быстро и бесшумно подошла к кровати и вытащила из-под нее саквояж. В него она побросала предметы туалета и смену белья. Затем повернулась к большому чемодану и быстро вывалила в него два полных ящика белья и летние платья. Она собиралась бесшумно, но с неумолимой расторопностью, и через три четверти часа большой чемодан был заперт, перетянут ремнями, а на ней самой красовался новенький дорожный костюм, который ей помогла выбрать Марджори.

Сев за стол, она написала миссис Харви короткую записку, в которой кратко описала причины своего отъезда. Она запечатала ее в конверт, надписала и оставила сверху на подушке. Бросила взгляд на часы. Поезд отходил в час ночи, и она знала, что такси легко поймать у гостиницы «Мэйборо» – всего в двух кварталах пешком отсюда.

Вдруг она резко вздохнула, а глаза ее сверкнули – знаток человеческих душ обнаружил бы слабую связь с тем неподвижным взглядом, который появился у нее в кресле парикмахера, но на этот раз чувство было гораздо сильнее. Для Бернис это было что-то новенькое, и этот взгляд сулил последствия.

Она тайком подошла к комоду, взяла лежавшую на нем вещь и, выключив свет, застыла, пока глаза не привыкли к темноте. Затем она осторожно открыла дверь в комнату Марджори. До нее донеслось тихое и ровное дыхание спящей, ничем не обеспокоенной совести.

Она подошла к постели, осторожно и спокойно. Действовала она молниеносно. Наклонившись, она нашла одну из кос Марджори, нащупала рукой ближайшее к голове место и, придерживая косу так, чтобы она чуть провисала и спящая ничего не почувствовала, сжала ножницы. Отрезанная коса осталась у нее в руке, она затаила дыхание. Марджори что-то пробормотала во сне. Бернис ловко ампутировала другую косу, на мгновение замерла, а затем быстро и безмолвно упорхнула обратно в свою комнату.

Спустившись вниз, она вышла на улицу, осторожно закрыла за собой дверь и, чувствуя, как ни странно, радость и ликование, сошла с крыльца прямо в освещенную луной ночь, размахивая тяжелым саквояжем, словно сумочкой. Лишь спустя минуту быстрой ходьбы она обнаружила, что все еще сжимает в левой руке две светлые косы. Она невольно рассмеялась – пришлось покрепче стиснуть зубы, чтобы не расхохотаться во весь голос. Она как раз шла мимо дома Уоррена и, повинуясь внезапно возникшему желанию, поставила на землю багаж и, размахнувшись косами, как лассо, швырнула их на деревянное крыльцо, куда они и упали с глухим стуком. Она опять рассмеялась, уже не сдерживаясь.

– Ха-ха-ха! – закатилась смехом она. – С эгоистки сняли скальп!

И, схватив саквояж, она почти бегом помчалась дальше по залитой лунным светом улице.

Благословение

I

На многолюдном Балтиморском вокзале стояла жара, и Лоис пришлось провести бесконечно долгие, липкие секунды у стойки телеграфа, ожидая, пока клерк с торчащими вперед зубами сосчитает и пересчитает слова в срочном сообщении толстой дамы, чтобы точно определить, содержит ли оно безобидные сорок девять или же фатальные пятьдесят одно.

Томясь ожиданием, Лоис решила, что не совсем точно помнит адрес, и потому вытащила из сумочки письмо и пробежала его глазами.

«Дорогая, – начиналось оно, – я все понимаю и чувствую себя самым счастливит в этом мире тягот и невзгод. Если бы я только мог дать тебе все то, что тебе предназначено, – но я не могу, Лоис; мы не можем соединить свои судьбы узами брака и в то же время не можем расстаться, признав, что вся наша любовь была ничем.

Милая моя, когда пришло твое письмо, я сидел в полумраке, думая и размышляя о том, могу ли я просто уехать и забыть тебя. Уехать, может быть, за границу, в Италию или Испанию, чтобы прогнать от себя боль потери там, где осыпающиеся руины древних цивилизаций будут созвучны опустошению моего сердца – и вот принесли письмо от тебя.

Моя любимая, моя самая храбрая на свете девочка, если ты телеграфируешь мне, то я смогу встретиться с тобой в Вилмингтоне – а до этого момента я буду здесь, буду просто

ждать и надеяться, что мои сны о тебе когда-нибудь станут явью.

Говард».

Она читала это письмо так много раз, что уже помнила его наизусть, и все же оно снова ее поразило. В письме она увидела столько мелких черт человека, его написавшего: смесь безмятежности и печали в его темных глазах; скрытое, беспокойное возбуждение, которое она иногда чувствовала при разговоре с ним, его мечтательную чувственность, которая погружала ее разум в дремоту. Лоис было девятнадцать лет, она была романтична, любознательна и бесстрашна.

Толстая дама и клерк пришли к компромиссу в пятьдесят слов, Лоис получила бланк и написала свой текст. В окончательности ее решения не было никаких полутонов.

«Это просто судьба, – думала она, – именно так все в этом проклятом мире и происходит. Если до этого момента меня удерживала только трусость, то теперь меня не нужно будет удерживать. Поэтому пусть все идет своим чередом, а мы никогда не будем ни о чем жалеть». Клерк пробежал глазами ее телеграмму:

«Приехала Балтимор сегодня проведу день братом встретимся Вилмингтоне среду пятнадцать часов Люблю Лоис»

– Пятьдесят четыре цента, – восхищенно сказал клерк.

«И никогда не жалеть, – думала Лоис, – никогда не жалеть…»

II

Пятна света просачивались на лужайку сквозь кроны деревьев. Деревьев, похожих на высоких, томных дам с веерами из перьев, легкомысленно кокетничающих с безобразной монастырской крышей. Деревьев, похожих на учтиво склонившихся над мирными аллеями и тропинками дворецких. Деревья, деревья, заполнившие все холмы, рассеянные рощицами, длинными линиями и лесами по всему восточному Мэриленду, подобно нежному кружеву на кайме пшеничных полей, – темный непрозрачный фон для цветущих зарослей или диких заросших садов.

Некоторые деревья были еще совсем юными и веселыми, но деревья, росшие в монастыре, были много старше, чем сам монастырь, который по монашеским стандартам был еще дитя. Говоря точнее, он даже и не назывался монастырем, а всего лишь семинарией; но мы тем не менее будем называть его монастырем, несмотря на викторианскую архитектуру с пристройками в стиле Эдуарда VII и даже несмотря на «вудровильсонскую» патентованную «вечную» черепицу.

Позади, за стенами, располагалась ферма, на которой сильно потели полдюжины мирян, методично и неумолимо передвигавшихся по грядкам огорода. Слева, за стеной вязов, находилось импровизированное бейсбольное поле, на котором три новичка бросали мяч четвертому: игра велась, как и положено, с длинными пробежками, громким пыхтеньем и сопением. Как только раздался густой звук колокола, пробившего очередные полчаса, на переднем плане возник рой людей, похожих на черные листья, раздуваемые по шахматной доске тропинок, полускрытых учтивыми деревьями.

Некоторые из этих черных листьев были очень старыми, с щеками, покрытыми морщинами, напоминавшими рябь на глади потревоженного бассейна. Были и листья среднего возраста, чьи фигуры в развевающихся рясах в профиль казались несколько асимметричными. Они несли толстые тома Фомы Аквинского, Генри Джеймса, кардинала Мерсье, Иммануила Канта; у многих в руках были пухлые тетради с конспектами лекций.

Но больше всего было молоденьких листочков: девятнадцатилетних мальчишек со светлыми волосами, с лицами, выражавшими суровую добродетель; молодых мужчин за двадцать, уже лет пять вращавшихся в миру и оттого глубоко уверенных в себе, –

их было несколько сотен, из столиц, городов и местечек Мэриленда, Пенсильвании, Вирджинии, Западной Вирджинии и даже из Делавэра.

Среди них было много американцев, много ирландцев и ирландских ортодоксов, довольно много французов, несколько итальянцев и поляков, и все они шли, непринужденно держась за руки, парами, тройками или группами, и почти у всех губы были поджаты, а подбородок выступал вперед, потому что все они были иезуитами, членами ордена, основанного в Испании пятьсот лет назад трезвомыслящим солдатом, который учил людей удерживать брешь или держать салун, читать проповедь или писать договор, и заниматься лишь этим своим делом, не задавая лишних вопросов…

Светило солнце. Лоис сошла с подножки конки у внешних ворот. Ей было девятнадцать, у нее были золотистые волосы и глаза, которые люди из чувства такта старались не называть зелеными. Когда баловни музы видели ее в вагоне конки, то украдкой вытаскивали из карманов карандаши и на оборотах случайных конвертов пытались изобразить профиль, или, точнее, взаимное расположение ее бровей и глаз. Позже, посмотрев на результат своего вдохновения, они обычно разрывали рисунки в клочки, вздыхая и ничего не понимая.

Несмотря на то что Лоис была облачена в щегольской дорожный костюм, она даже не подумала остановиться, чтобы стряхнуть пыль, покрывшую одежду в дороге, и сразу направилась по центральной аллее, бросая любопытные взгляды по сторонам. На ее напряженном лице было написано какое-то смутное ожидание, но это выражение не было ничуть похоже на то знаменитое выражение, которое появляется на лицах девушек, прибывающих на выпускной бал в Принстоне или Нью-Хейвене. Впрочем, поскольку здесь не бывало никаких выпускных балов, никто этого не заметил.

Ее интересовало, как он выглядит и узнает ли она его? На фотографии, висевшей дома над бюро, он был тощим мальчишкой со впалыми щеками, резко очерченным ртом, в плохо подогнанном одеянии послушника – единственном, что указывало на то, что он уже принял решение, как распорядиться своей жизнью. Конечно, тогда ему было только девятнадцать, а сейчас уже – тридцать шесть, и он уже давно не выглядел так; на последних снимках его фигура была шире в плечах, а волосы стали более жидкими, – но ее представление о брате всегда основывалось на впечатлении от того большого фотопортрета.

И поэтому ей всегда было его немного жаль. Что это за жизнь для мужчины! Семнадцать лет приготовлений, и все еще даже не священник – и не станет им еще целый год.

Лоис казалось, что все будет слишком официально, если она выпустит инициативу из своих рук. И Лоис собиралась приложить все силы для создания впечатления сошедшей на землю радости, впечатления, которое она могла создать даже тогда, когда ее голова раскалывалась или у ее матери был нервный кризис, и даже тогда, когда она сама находилась в мечтательном, любознательном или отчаянном настроении. Ее брат, без всяких сомнений, нуждался в радости, и он ее получит, хочет он того или нет.

Приближаясь к огромной, ничем не примечательной входной двери, она увидела, что от группы неожиданно отделился один человек и, подобрав полы рясы, устремился к ней. Она отметила, что он улыбался и выглядел просто громадным – и очень надежным. Она остановилась в ожидании, почувствовав, что ее сердце забилось непривычно часто.

– Лоис! – воскликнул он, и через секунду она оказалась в его объятиях. Неожиданно ее бросило в дрожь.

– Лоис! – снова воскликнул он, – как я рад! У меня не хватит слов, Лоис, чтобы рассказать тебе, как я ждал этого дня! Лоис, да ты просто красавица!

У Лоис перехватило дыхание.

В его голосе чувствовалась скрытая вибрирующая энергия и то странное обаяние, которым, как она раньше думала, из всей семьи обладала только она.

– Я тоже очень рада… Кайс!

Она не без удовольствия покраснела, впервые произнеся его имя.

– Лоис, Лоис, Лоис, – ошеломленно повторял он. – Дитя мое, зайдем внутрь на минутку, я хочу представить тебя отцу настоятелю, а затем пойдем гулять. Я должен поговорить с тобой о тысяче вещей.

Его тон стал серьезным:

– Как мама?

Мгновение она смотрела на него, а затем сказала то, что вообще-то не собиралась говорить, приняв решение всячески избегать этой темы:

– О, Кайс, она… она все хуже и хуже, по всем статьям.

Он медленно понимающе кивнул в ответ:

– Нервы, да… расскажешь потом подробнее. А сейчас…

И вот она уже находилась в маленьком классе с большим столом и что-то говорила маленькому веселому седому священнику, задержавшему ее руку в своей на несколько секунд дольше положенного.

– Так вот ты какая, Лоис!

Он сказал это так, будто уже годы знал ее понаслышке.

Он умолял ее присесть.

Появилось еще два энергичных священника, которые поздоровались с ней за руку и обращались к ней как к «сестренке Кайса», и она обнаружила, что это ее совсем не раздражает.

Они выглядели абсолютно уверенными в себе; она ожидала встретить застенчивость или по крайней мере внешнюю сдержанность. Последовало несколько непонятных ей шуток, которые рассмешили всех остальных, и маленький отец настоятель назвал смешливое трио «невежами-отшельниками», что рассмешило и ее, потому что кем-кем, а уж отшельниками они точно не были. У нее сразу возникло впечатление, что все они очень любили Кайса: отец настоятель звал его по имени, а другой священник полуобнимал его за плечо на протяжении всего разговора. Затем все жали ей руку, и она пообещала зайти попозже «на мороженое», и улыбалась, улыбалась, и была почему-то очень рада… и сказала себе, что это было от того, что Кайсу было очень приятно похвастаться ею среди своих.

А затем они с Кайсом шли по тропинке, держась за руки, и он рассказывал ей, какой прекрасный человек отец настоятель.

– Лоис, – вдруг сказал он, – прежде всего я хочу сказать тебе, как много для меня значит твой приезд. Я слышал, как весело живут в миру, и считаю, что с твоей стороны было очень мило заехать к нам.

У Лоис захватило дыхание. К этому она не была готова. Сначала, когда она только обдумывала план поездки в балтиморскую жару, она хотела провести ночь у подруги и затем ненадолго заехать к брату, чувствуя себя при этом сознательно приносящей жертву добродетели, надеясь, что брат не будет ханжески обижен тем, что она никогда не приезжала к нему, но прогулка с ним по тенистой аллее оказалась легкой и удивительно приятной.

– Да, Кайс, – быстро сказала она, – ты знаешь, я просто не смогла ждать ни дня больше. Я видела тебя последний раз, когда мне было

пять лет, и, конечно, я ничего не помню – как бы я смогла идти по жизни дальше без того, чтобы хотя бы одним глазком не взглянуть на своего единственного брата?

– Это очень мило с твоей стороны, Лоис, – повторил он.

Лоис смутилась – обаяния ему было не занимать.

– Я хочу, чтобы ты рассказала мне все о себе, – сказал он после короткой паузы. – Конечно, я немного слышал о том, как вы с матерью жили в Европе все эти четырнадцать лет, и мы все очень переживали, Лоис, когда у тебя была пневмония и ты не могла приехать вместе с матерью – да, точно, это было два года назад, – а затем я, конечно, встречал твое имя в газетах, но это все не то. Я совсем не знаю тебя, Лоис.

Она обнаружила, что анализирует его личность, как анализировала личности всех знакомых ей мужчин. Ей стало интересно, не был ли внезапно возникший эффект близости вызван постоянным повторением им ее имени. Он произносил его так, как будто ему нравилось это слово, как будто в его звуках для него содержалось какое-то особое значение.

– Итак, ты училась в школе, – продолжал он.

– Да, в Фармингтоне. Мама хотела, чтобы я пошла в католическую школу для девочек, но я не захотела.

Она украдкой посмотрела на него, желая узнать, не задела ли его.

Но он всего лишь медленно кивнул:

– За границей полно монастырских школ, да?

– Да. И знаешь, Кайс, здесь эти школы совсем другие. Здесь даже в самых лучших так много простушек.

Он опять кивнул.

– Да, – согласился он, – думаю, это так, и знаю, как ты к этому относишься. Меня здесь это тоже поначалу раздражало, Лоис, хотя об этом я бы никогда не сказал никому, кроме тебя; и ты, и я – мы оба хорошо чувствуем такие вещи.

– Ты имеешь в виду людей здесь?

– Да. Конечно, некоторые из них были вполне нормальными, из нашего круга, но были и другие. Например, один парень по имени Реган, – я ненавидел его, а сейчас он мой самый лучший друг. Прекрасный человек, Лоис, я познакомлю тебя с ним позже. Он из тех, с которыми ты, как говорится, пошла бы в разведку.

Лоис думала о том, что Кайс был именно тем человеком, с которым она лично пошла бы в разведку.

– А как ты… а как ты вообще сюда попал? – спросила она, немного смутившись. – Учиться, я имею в виду. Конечно, мама рассказывала мне историю с пульмановским вагоном…

– А, это…

Кажется, воспоминание было для него неприятным.

– Расскажи мне. Я хочу услышать твою версию.

– Да ладно, ничего нового я тебе не расскажу. Был вечер, я ехал весь день и думал, думал о сотне вещей сразу, Лоис, а затем я неожиданно почувствовал, что напротив меня кто-то сидит, почувствовал, что сидит он уже какое-то время, и я подумал, что это просто новый попутчик. И вдруг неожиданно он наклонился ко мне и я услышал слова: «Я хочу, чтобы ты стал священником, вот чего я хочу». Ну, я подпрыгнул и крикнул вслух: «О господи, только не это!» – свалял дурака сразу перед всем вагоном. Видишь ли, передо мной вообще никого не было. Через неделю после этого случая я пришел в Иезуитский колледж в Филадельфии и на коленях прополз последний пролет лестницы, ведшей в кабинет настоятеля.

Снова воцарилось молчание, и Лоис увидела, что взгляд ее брата стал отстраненным, его глаза были направлены вдаль, на залитые солнцем поля. Она была тронута тоном его речи и неожиданной тишиной, которая, казалось, окутала его, когда он кончил говорить.

Только сейчас она заметила, что его глаза были такими же, как у нее, – не считая отсутствия зеленого оттенка, – и что линия его губ была в реальности мягче, чем на фотографии – или его лицо приобрело другие очертания? На макушке у него уже была небольшая лысина. Она подумала, что это, наверное, от того, что он слишком часто носит головной убор. Ей показалось ужасным, что мужчина начинает лысеть и никому нет до этого дела.

– Кайс, а ты был в юности… набожным? – спросила она. – Ну, ты понимаешь. Был ли ты религиозен? Может, это, конечно, слишком личный вопрос…

– Да, – сказал он, а его взгляд все еще был направлен вдаль, – и она почувствовала, что его напряженная отстраненность была такой же частью его личности, как и его внимание. – Да, думаю, что был – когда не был пьян.

Лоис слегка затрепетала.

– Ты пил?

Он кивнул.

– У меня была привычка превращать плохие привычки в норму.

Он улыбнулся и, взглянув на нее своими серыми глазами, сменил тему разговора.

– Дитя мое, расскажи мне о матери. Я знаю, что последнее время тебе с ней было ужасно тяжело. Я знаю, что ты была вынуждена принести многие жертвы и мириться с непримиримым, и хочу, чтобы ты знала, что я думаю, что ты вела себя как надо. Я считаю, Лоис, что ты там вроде как за нас двоих.

У Лоис промелькнула мысль, сколь малым ей пришлось пожертвовать: последнее время она постоянно старалась избегать своей нервной, больной матери.

– Юность нельзя приносить в жертву старости, Кайс, – уверенно заявила она.

– Я знаю, – вздохнул он, – нельзя было всю тяжесть сваливать на твои плечи, дитя мое. Я очень хотел бы быть рядом, чтобы помочь тебе.

Она увидела, как быстро он перевернул с ног на голову ее утверждение, и мгновенно поняла, какое его качество позволило ему это сделать. Он был добрым. Ее мысль сбилась с колеи, и она нарушила молчание не относящейся к разговору фразой.

– Быть добрым тяжело, – резко произнесла она.

– Что?

– Да так, – смущенно сказала она. – Мысли вслух. Я думала… о разговоре с человеком по имени Фредди Кеббл.

– Брат Мори Кеббла?

– Да, – сказала она, удивленная при мысли о том, что он знает Мори Кеббла. Тем не менее в этом не было ничего особенного. – Ну, на той неделе мы с ним говорили о том, что такое быть добрым. Ох, я не знаю… я говорила, что человек по имени Говард… что один мой знакомый очень добрый, а он не согласился со мной, и мы начали спорить о том, что такое «добрый» по отношению к мужчине. Он утверждал, что я имела в виду что-то вроде слезливой мягкости, но я-то знала, что это не так, – и тем не менее я не смогла точно выразиться.

Теперь я поняла. Я имела в виду совершенно противоположное. Я думаю, что «добрый» подразумевает и твердость, и силу.

Кайс кивнул.

– Я понимаю, о чем ты. Я знал старых священников, в которых это было.

– А я говорю о молодых! – вызывающе сказала она.

– Ну что ж…

Они подошли к опустевшему бейсбольному полю, и, указав ей на деревянную скамейку, он сам во весь рост растянулся на траве.

– Кайс, а этим молодым людям здесь хорошо?

– А они выглядят недовольными, Лоис?

– Да нет. Но те мальчики, вот те, которые только что прошли… Они уже…

– Дали обет? – рассмеялся он. – Нет, но дадут через месяц.

– Навсегда?

– Да. Только если не сломаются умственно или физически. Конечно, при такой дисциплине, как у нас, многие отсеиваются.

– Но это же мальчишки! Разве они не упускают все шансы за пределами монастыря – как и ты?

Он кивнул:

– Некоторые – да.

– Кайс, но ведь они же не знают, что делают! У них же нет никакого опыта, они просто не знают, что теряют.

– Думаю, что так.

– Но это несправедливо. Жизнь их просто попугала для начала. Они все пришли сюда детьми?

– Нет, некоторые в юности болтались без дела и вели довольно беспутную жизнь – Реган, например.

– Думаю, что это как раз для них, – задумчиво сказала она, – для тех, кто познал жизнь.

– Нет, – серьезно ответил Кайс, – я не уверен, что битье баклуш дает человеку опыт, которым он может поделиться с другими. Некоторые из наиболее свободомыслящих людей, которых я встречал, к себе относились даже слишком сурово. А вставшие на путь истинный распутники отличаются как раз поразительной нетерпимостью. Ты согласна со мной, Лоис?

Она кивнула, все еще задумчиво, и он продолжил:

– Мне кажется, что когда один слабый приходит на помощь другому, то это вовсе не та помощь, которой они оба ожидают. Это что-то вроде соучастия в пороке, Лоис. После твоего рождения, когда у мамы стали случаться нервные припадки, она часто уходила поплакать к некоей миссис Комсток. О господи, это всегда вызывало у меня дрожь! Она говорила, что это ее успокаивает, бедная старая мама… Нет, я не думаю, что для того, чтобы кому-либо помочь, ты должен вывернуть душу наизнанку. Настоящая помощь приходит от более сильных людей, которых ты сам уважаешь. И их участие кажется тем большим, чем меньше в нем личных чувств.

– Но людям нужно человеческое участие, – возразила Лоис. – Им нужны «разговоры по душам».

– Лоис, в глубине души каждый хочет почувствовать, что другой слабее него. Вот что скрывается за такой «человечностью»… Здесь, в этом старом монастыре, Лоис, – продолжил он с улыбкой, – с самого начала из нас стараются выдавить гордыню и жалость к самим себе. Нас заставляют скоблить полы и так далее. Что-то вроде теории о спасении своей жизни путем ее потери. Видишь ли, мы думаем, что чем меньше человек похож на человека в твоем понимании, тем более хороший из него получится слуга для всего человечества. И в это мы верим до конца. Когда один из нас умирает, его родственникам не разрешают забрать тело. Его хоронят здесь, среди тысяч других, а на могиле ставят простой деревянный крест.

Неожиданно его тон изменился, и он бросил на нее веселый взгляд.

– Но глубоко внутри, в сердце, есть вещи, от которых никто не может избавиться, я, например, ужасно люблю свою младшую сестренку!

Повинуясь неожиданному желанию, он села на траву рядом с ним и, вытянувшись, поцеловала его в лоб.

– Ты сильный, Кайс, – сказала она, – и я люблю тебя за это… И еще ты очень добрый.

III

Они вернулись к настоятелю, и Лоис была представлена еще полудюжине близких друзей Кайса; среди них был один молодой человек по имени Джарвис, выглядевший довольно бледным и хрупким, который, как она знала, приходился внуком их соседу, старому мистеру Джарвису, и она мысленно сравнила этого отшельника с его родными беспокойными дядями.

И еще там был Реган – с испуганным лицом и пронзительным, проникавшим, казалось, прямо в душу, блуждающим взглядом, чаще всего задерживавшемся на Кайсе с выражением, больше всего напоминавшим благоговение. Она поняла, что имел в виду Кайс, когда говорил, что это хороший человек, с которым можно пойти в разведку.

«Типичный миссионер, – промелькнуло у нее в голове, – Китай или что-то вроде…»

– Пусть сестренка Кайса покажет нам, что такое шимми, – широко улыбнувшись, потребовал один юноша.

Лоис рассмеялась.

– Боюсь, что тогда отец настоятель выставит меня за стены монастыря. Да и вообще я не очень хорошо танцую.

– Думаю, что из этого не выйдет ничего хорошего для души Джимми, – внушительно заявил Кайс. – Он слишком много размышляет о таких вещах, как всякие шимми. Как раз тогда, когда он стал монахом, начали танцевать… матчиш, да, Джимми? – и весь тот первый год это занимало его мысли. Если бы ты видела, как, чистя картошку, он обнимал кастрюлю и совершал какие-то нечестивые движения ногами…

Последовал общий смех, к которому присоединилась и Лоис.

– Одна старая леди, которая приходит сюда слушать мессы, как только узнала, что ты приехала, прислала Кайсу мороженого, – среди общего веселья прошептал ей на ухо Джарвис. – Здорово, правда?

В глазах Лоис показалось умиление.

IV

Полчаса спустя в церкви все пошло как-то не так. С тех пор как Лоис последний раз была на службе, прошло уже несколько лет, и поначалу ее заворожили сияющая дароносица с центральным белым пятном, сама атмосфера, насыщенная ладаном, лучи солнца, пробивавшиеся сверху сквозь цветные стекла витража с изображением Святого Франциска Ксавье и падавшие светло-красным узором на рясу стоявшего впереди монаха; но с первыми звуками «O Salutaris Hostia» на ее душу, казалось, опустилась какая-то тяжесть. Кайс находился справа от нее, а Джарвис слева, и она бросала неуверенные взгляды то на одного, то на другого.

«Да что со мной такое?» – раздраженно подумала она.

Она опять посмотрела на них. Не было ли в их лицах странной холодности, которую она не замечала раньше? Их губы теперь казались неестественно бледными, а взгляды – застывшими. Она задрожала: они напоминали мертвецов.

Она почувствовала, что связь их с Кайсом душ ослабла. Это был ее брат – да, именно он, это неестественное существо. Она непроизвольно засмеялась.

«Да что со мной такое?»

Она провела рукой перед глазами, и тяжесть усилилась. От запаха ладана ей стало плохо, а нота, которую выводил один из теноров хора, скрежетала по ее ушам, как звук грифеля по доске. Она заерзала и, подняв руку, чтобы поправить прическу, обнаружила, что на лбу выступили капли пота.

«Здесь жара, как у черта в аду».

Она снова тихо рассмеялась, и затем в одно мгновение тяжесть на ее сердце превратилась в холодный страх… Это свеча на алтаре! Все неправильно – все не так! Почему никто этого не видит? Там что-то было! Что-то появлялось из нее, облекаясь в форму и приобретая определенные черты…

Она пыталась побороть свою растущую панику, уговаривая себя, что это всего лишь фитиль. Если фитиль не очень ровный, свечи всегда как-то странно себя ведут – но не так же! С невообразимой быстротой внутри нее стала собираться какая-то сила, ужасная, всепоглощающая сила, исходившая из всех ее чувств, из каждого уголка ее разума, и когда она поднялась волной внутри нее, она почувствовала чудовищное, ужасающее отвращение. Она прижала руки к бедрам, держась подальше от Кайса и Джарвиса.

Что-то в этой свече… она наклонилась вперед и в следующее мгновение почувствовала желание броситься к ней – неужели никто не видит?.. Никто?

– Уф-ф!

Она почувствовала, что место рядом с ней освободилось, – что-то ей подсказало, что Джарвис судорожно вздохнул и очень резко присел… затем она опустилась на колени, и когда пылающая дароносица медленно покинула алтарь в руках священника, она услышала страшный звон в ушах – звук колоколов походил на звук миллионов молотов… а затем, через мгновение, которое, казалось, тянулось целую вечность, по ее сердцу прокатился стремительный поток – послышались крики и грохот, как будто волн…

Она думала, что кричит, что зовет Кайса, а ее губы беззвучно артикулировали:

«Кайс! О господи! Кайс!!!»

Неожиданно прямо перед собой она почувствовала чье-то сверхъестественное присутствие, воплотившееся в форме светло-красного узора. Она знала. Это был витраж с изображением Святого Франциска Ксавье. Ее разум зацепился за него, ухватился за него мертвой хваткой, и она снова почувствовала, что зовет, громко зовет: «Кайс! Кайс!!»

А затем из бесконечной тишины раздался голос:

«Господи, благослови!»

Постепенно нарастая, по церкви прокатился ответ:

«Господи, благослови!»

Слова бесконечно повторялись в ее сердце; в воздухе снова появился умиротворяющий, таинственный и сладковатый запах ладана, и свеча на алтаре потухла.

«Благословенно имя Господне!»

«Благословенно имя Господне!»

Все картины смешались в крутящийся вихрем туман. Едва подавив крик, она покачнулась и упала назад прямо в протянутые руки Кайса.

V

– Лежи и не двигайся, дитя мое.

Она снова закрыла глаза. Она лежала на траве, на открытом воздухе, ее голову поддерживал Кайс, а Реган прикладывал ей ко лбу влажное полотенце.

– Я в порядке, – тихо сказала она.

– Знаю, но полежи, пожалуйста, еще минутку. Там было слишком жарко. Джарвису тоже стало дурно.

Она рассмеялась, увидев, как робко Реган дотронулся до нее полотенцем.

– Я в порядке, – повторила она.

Но хотя ее разум и сердце наполнило теплое спокойствие, она все-таки чувствовала себя разбитой и понесшей кару, как будто кто-то подержал ее обнаженную душу в своих руках, отпустил и рассмеялся.

VI

Через полчаса она, опершись на руку Кайса, шла по длинной центральной аллее к воротам.

– Как быстро пролетел день, – вздохнул Кайс, – мне так жаль, что ты плохо себя чувствовала, Лоис.

– Кайс, да все уже прошло, правда. Не думай об этом.

– Бедное дитя. Я просто не сообразил, что после дороги сюда по такой жаре выстоять службу для тебя будет слишком тяжело.

Она весело рассмеялась:

– Думаю, это из-за того, что я не очень часто хожу в церковь. Мое религиозное рвение обычно ограничивается литургией. – Она замолчала, а затем быстро продолжила: – Не хочу тебя шокировать, Кайс, но у меня нет слов, чтобы выразить, как неудобно стало быть католиком. Кажется, теперь это уже никуда не годится! Что касается морали, то католиками являются некоторые из самых безалаберных парней, которых я только знаю! А самые умные ребята – я имею в виду, те, которые думают и много читают, – кажется, уже ни во что не верят.

– Давай поговорим об этом. Конка все равно приедет только через полчаса.

Они присели на скамейку у аллеи.

– Вот например Джеральд Картер, он опубликовал один роман. Он просто оглушительно хохочет, когда кто-нибудь упоминает о бессмертии… А вот Гова… – ну, другой парень, с которым я хорошо знакома, состоял в научном клубе, когда учился в Гарварде, и теперь говорит, что ни один образованный человек не может верить в сверхъестественную сущность христианства. Он говорит, что Христос был социалистом! Тебя это не шокирует?

Она замолчала.

Кайс улыбнулся:

– Монаха ничто не шокирует. Монахи в силу своей подготовки умеют держать удар.

– Ясно, – продолжила она, – но это же сейчас везде! Все традиционное кажется таким… ограниченным. Церковные школы, например. Появилась настоящая свобода, а католики этого не видят – взять хоть контроль рождаемости…

Кайс еле заметно вздрогнул, но от Лоис это не ускользнуло.

– Ох, – быстро сказала она, – извини, просто сейчас для разговоров уже нет запретных тем!

– Может, так и лучше…

– О да, много лучше. Ну что же, вот и все, Кайс. Я просто хотела объяснить, почему я могла показаться тебе слегка равнодушной на службе…

– Я не шокирован, Лоис, я все понимаю лучше, чем ты думаешь. Мы все через это проходим. Но я знаю, что все в конце концов придет в норму, дитя мое. Дар веры, который есть и у тебя, и у меня, укажет нам верный путь.

Говоря это, он встал, и они снова пошли по аллее.

– Я хочу, чтобы ты иногда молилась и обо мне, Лоис. Я считаю, что твои молитвы будут именно тем, что мне нужно. Потому что я думаю, что мы очень сблизились за эти несколько часов.

Ее глаза неожиданно блеснули.

– О да, да! – воскликнула она. – Я чувствую, что ты мне ближе всех в этом мире.

Он неожиданно остановился и указал на обочину аллеи:

– Мы можем… займет всего минуту..

Это была Пьета, статуя Непорочной Девы в человеческий рост, установленная в полукруге камней.

Чувствуя себя немного неловко, Лоис упала на колени рядом с братом и безуспешно попыталась произнести молитву.

Но не успела она вспомнить и половину текста, как он уже поднялся и снова взял ее под руку.

– Я хотел поблагодарить Ее за то, что Она подарила нам этот день, – просто сказал он.

Лоис почувствовала комок в горле, и ей захотелось как-нибудь дать ему понять, как много это значило и для нее. Но нужные слова не приходили.

– Я всегда буду помнить, – продолжал он, и его голос слегка задрожал, – этот летний день и тебя. Все прошло так, как я и ожидал. Ты такая, как я и думал, Лоис.

– Я ужасно рада, Кайс.

– Видишь ли, когда ты была маленькая, мне посылали твои фотографии: сначала ты была совсем малышкой, затем уже ребенком в гольфиках, играющим на пляже с совочком и ведерком, а затем, совсем неожиданно, ты стала задумчивой маленькой девочкой с чистыми, любознательными глазами, – я часто думал о тебе. У каждого мужчины должен быть кто-то живой, ему не безразличный. Я думаю, Лоис, что

старался удержать рядом с собой твою маленькую чистую душу – даже в те моменты, когда суета полностью захватывала меня и любая мысль о Господе казалась сущей насмешкой, а желание, любовь и миллион других вещей вставали передо мной и говорили: «Ну же, посмотри на нас! Смотри, мы и есть Жизнь! А ты к нам поворачиваешься спиной!» Все время, пока я шел сквозь эту тень, Лоис, я всегда видел твою детскую душу, чистую, непорочную и прекрасную, порхающей впереди меня.

На глазах Лоис показались слезы. Они подошли к воротам; она оперлась на них локтем и энергично терла глаза.

– А затем, дитя мое, когда ты заболела, я встал на колени и попросил Господа пощадить тебя для меня, потому что тогда я уже знал, что мне нужно больше; Он научил меня хотеть больше. Я хотел знать, что ты ходишь и дышишь в одном со мной мире. Я видел, как ты растешь, как твоя чистая невинность сменяется пламенем, которое светит другим слабым душам. А еще мне захотелось когда-нибудь посадить на свои колени твоих детей и услышать, как они зовут старого сварливого монаха дядюшкой Кайсом. – Он почти смеялся, говоря это. – Да, Лоис… Затем я просил у Бога еще и еще. Я просил Его сделать так, чтобы ты писала мне письма, я просил у Него места за твоим столом. Я ужасно много хотел, Лоис, дорогая моя.

– И ты все получишь, Кайс, – всхлипнула она, – ты же знаешь, скажи сам, что знаешь. Я веду себя, как девчонка, но я не могла себе представить, что ты такой, и я – о, Кайс, Кайс…

Он мягко похлопал ее по руке:

– А вот и конка. Приезжай еще, хорошо?

Она взяла его за щеки и, потянув его голову вниз, прижалась своим заплаканным лицом к его лицу:

– О Кайс, брат мой, однажды я расскажу тебе…

Он помог ей подняться на подножку и увидел, как она помахала ему платком и широко улыбнулась; водитель щелкнул бичом, и конка тронулась. Поднялась дорожная пыль – она уехала.

Еще несколько минут он простоял на дороге, держа руку на ручке ворот, а губы его сложились в полуулыбку.

– Лоис, – произнес он вслух и сам удивился, – Лоис, Лоис…

Позже проходившие мимо послушники заметили, как он преклонил колени перед Пьетой и все еще стоял там, когда они возвращались

обратно. До самых сумерек, когда склонившиеся над ним деревья начали свои неспешные разговоры, а цикады в покрытой росой траве завели свои ночные песни, стоял он там.

VII

Клерк в телеграфной будке Балтиморского вокзала сквозь зубы поинтересовался у другого клерка:

– Чт’ т’кое?

– Видишь ту девушку… нет, во-о-н ту, красавицу с большими черными мушками на вуали? Ну вот, уже ушла. Ты кое-что пропустил.

– А что такое?

– Да так, ничего особенного. Если не считать, что она чертовски красива. Приходила сюда вчера и отправила телеграмму какому-то парню, чтобы он с ней встретился. А минуту назад пришла с уже заполненным бланком, встала в очередь, чтобы отправить, вдруг передумала – или что там ей пришло в голову, не знаю – и неожиданно порвала бланк!

– Н-да…

Первый клерк вышел из-за стойки и, подняв с пола два обрывка бумаги, от нечего делать сложил их вместе. Второй клерк начал читать текст через его плечо, бессознательно считая слова. Получилось всего одиннадцать.

«Хочу сказать тебе прощай Могу посоветовать Италию Лоис».

– Значит, порвала? – сказал второй клерк.

Дэлиримпл на ложном пути

I

У рубежа тысячелетий какой-нибудь гений педагогической мысли напишет книгу, которую станут вручать каждому юноше в день крушения иллюзий. В ней будет аромат «Опытов» Монтеня и «Записных книжек» Самуэля Батлера, в ней будет немножко Толстого и Марка Аврелия. Она не будет ни веселой, ни приятной – зато в ней будет множество потрясающе смешных пассажей. Первоклассные умы никогда не верят тому, чего не испытали сами, так что ценность ее будет весьма относительна… и люди старше тридцати всегда будут считать ее скучной.

Эти строки служат вступлением к истории одного молодого человека, который – как и мы с вами – жил в те времена, когда такой книги еще не было.

II

Поколение, к которому принадлежал Дэлиримпл, попрощалось с юностью под громкий бравурный марш. Брайан получил реквизит в виде ручного пулемета системы Льюиса и главную роль в эпизоде,

действие которого разворачивалось девять дней подряд в тылу отступающих немецких частей; за это, по воле случая или же от избытка чувств, ему пожаловали целую кучу медалей, а по прибытии в Штаты все уши прожужжали о том, что его персона по своей важности уступает лишь генералу Першингу и сержанту Йорку. Это было здорово! Губернатор штата, заезжий конгрессмен и общественный «Комитет граждан» на пристани Хобокена одарили его широченными улыбками и речами, заканчивавшимися возгласом «Ура, господа!!!»; были там и газетные репортеры с фотографами, с их вечными «позвольте вас спросить…» и «не будете ли вы так любезны…»; в родном городе его встречали престарелые дамы, обращавшиеся к нему исключительно со слезами на покрасневших глазах, а также девушки, едва его помнившие, потому что бизнес его отца «накрылся медным тазом» в тысяча девятьсот двенадцатом.

А когда умолкли крики, он осознал, что вот уже месяц живет гостем в доме мэра, в кармане у него всего четырнадцать долларов на всё про всё, а «имя, которое навеки останется в анналах и летописях нашего штата», уже некоторое время как находится именно там, причем самым тихим и незаметным образом.

Однажды утром он залежался в постели и услышал, как прямо у него за дверью разговорились горничная и кухарка. Горничная рассказывала, как супруга мэра миссис Хокинс вот уже неделю пытается дать Дэлиримплу понять, что пора бы уже и честь знать. В одиннадцать утра того же дня, в невыносимом смущении, он покинул дом, попросив доставить его чемодан в пансион миссис Биб.

Дэлиримплу было двадцать три; за всю свою жизнь он не проработал ни дня. Отец дал ему возможность отучиться два года в государственном университете штата и скончался примерно ко времени девятидневной эпопеи сына, оставив в наследство немного средневикторианской мебели и тонкую пачку свернутых бумаг, оказавшихся на поверку счетами от бакалейщика. Юный Дэлиримпл обладал проницательными серыми глазами и сообразительностью, восхитившей психологов из армейской медкомиссии; было у него и умение делать вид, что где-то он уже это слышал, вне зависимости от того, о чем шла речь; и наконец, он отличался умением действовать хладнокровно в опасных ситуациях. Но при всем при этом, когда стало ясно, что придется ему устраиваться на работу, и желательно прямо

сейчас, он не смог удержаться от того, чтобы не выразить напоследок хотя бы вздохом, сколь жестокой ему представлялась такая участь.

Ранним вечером он вошел в контору Терона Дж. Мэйси, владевшего самым крупным в городе предприятием по оптовой торговле продуктами. Изобразив приятную, но отнюдь не веселую улыбку, пухлый преуспевающий Терон Дж. Мэйси тепло с ним поздоровался.

– Ну, как ты, Брайан? Что у тебя за дело?

Слова признания, которые насилу из себя выдавил Дэлиримпл, прозвучали будто скулеж о милостыне нищего с восточного базара.

– Ну… Я вот… Собственно, я по вопросу работы.

«По вопросу работы» звучало как-то более завуалированно, чем простое «мне нужна работа».

– Работы? – по лицу мистера Мэйси проскочила едва заметная тень.

– Видите ли, мистер Мэйси, – продолжил Дэлиримпл, – мне кажется, что я теряю время. Мне бы только с чего-нибудь начать… Месяц назад у меня было несколько предложений, но они все… как бы это сказать… куда-то испарились…

– Ну-ка, ну-ка, давай-ка подумаем, – перебил его мистер Мэйси. – Что за предложения?

– Самое первое было от губернатора – он сказал, что у него в аппарате есть вакансия. Я какое-то время думал, что он меня возьмет, ну а он, как я слышал, взял Аллена Грега – знаете ведь, сын Дж. Пи Грега? Он вроде как забыл, что обещал мне, – видимо, сказал просто так, чтобы поддержать беседу.

– Да, такие вещи нужно проталкивать!

– Потом была одна изыскательская партия, но им был нужен человек, знающий гидравлику, так что я им не подошел, хотя они и предлагали ехать с ними – правда, за свой счет.

– Ты в университете всего год учился?

– Два. Но физику и математику я не изучал. Ну да ладно… Когда был парад батальона, мистер Питер Джордан мне сказал, что есть вакансия у него в магазине. Я сегодня к нему сходил, и выяснилось, что он говорил о должности какого-то администратора… И тут я вспомнил, что вы однажды говорили… – он умолк, надеясь, что его собеседник тут же подхватит мысль; заметив, что тот лишь слегка

поморщился, он продолжил: —…о должности, так что я подумал и решил зайти к вам.

– Да, была должность, – с неохотой признал мистер Мэйси, – но мы уже успели нанять человека. – Он снова откашлялся. – Ты слишком долго думал!

– Да, полностью с вами согласен! Но все мне твердили, что спешить некуда, да и предложений ведь было несколько…

Мистер Мэйси произнес краткую речь о текущей ситуации на рынке труда, которую Дэлиримпл полностью пропустил мимо ушей.

– Ты раньше где-нибудь работал?

– Два лета подряд, пастухом на ранчо.

– Понятно. – Мистер Мэйси лаконично отмел эту претензию. – Как сам думаешь: ты чего-нибудь стоишь?

– Не знаю.

– Ладно, Брайан, вот что я тебе скажу: пожалуй, я пойду тебе навстречу и дам тебе шанс.

Дэлиримпл кивнул.

– Жалованье будет не очень большое. Начнешь с изучения товара. Затем какое-то время поработаешь в конторе. А потом уже станешь нашим разъездным агентом. Когда сможешь приступить?

– Готов хоть завтра.

– Хорошо. Тогда сразу явишься к мистеру Хэнсону, на склад. Он объяснит тебе, что и как.

Он умолк и продолжал все так же глядеть на Дэлиримпла, пока тот, почувствовав себя неловко, наконец не понял, что разговор окончен, и не встал:

– Мистер Мэйси, я вам так обязан…

– Да ничего… Рад был тебе помочь, Брайан.

Нерешительность покинула Дэлиримпла, едва он очутился в холле. И хотя там было совсем не жарко, на лбу у него все еще оставались капельки пота.

– И с какого рожна я решил благодарить этого сукина сына? – пробормотал он.

III

На следующее утро мистер Хэнсон холодно проинформировал Дэлиримпла о необходимости ежедневно ровно в семь утра пробивать табельную карточку и препроводил его для инструктажа в руки коллеги – некоего Чарли Мура.

Чарли было двадцать шесть, вокруг него постоянно витала мускусная аура уязвимости, которую нередко принимают за душок зла. Не требовалось быть психологом из медкомиссии, чтобы тут же решить, что он уже давно и незаметно для самого себя потихоньку скатился в ленивое самолюбование и потворство своим слабостям, ставшее для него таким же естественным процессом, как и дыхание. У него была бледная кожа, от одежды всегда воняло табаком; ему безумно нравились мюзиклы, бильярд и стихи Роберта Сервиса. Мысли его постоянно крутились вокруг текущих, прежних и будущих любовных интрижек. В юности его вкус развился вплоть до кричащих галстуков, но сейчас это стремление – как и его тяга к жизненным удовольствиям – несколько угасло и выражалось лишь в бледно-лиловых широких «самовязах» и неприметных серых воротничках. Чарли покорно участвовал в заведомо проигрышной борьбе с умственной, моральной и физической вялостью, которая свойственна всей нижней прослойке «среднего класса».

В то первое утро он растянулся на стоявших в ряд коробках с упаковками кукурузных хлопьев и старательно прошелся по недостаткам компании Терона Дж. Мэйси.

– Да это же просто сборище жуликов! Черт бы их побрал! Что я от них имею – шиш! Еще пара месяцев, и я увольняюсь. Черт побери! Да чтобы я тут остался? Горбатиться на эту банду?

Чарли Муры всегда собираются сменить работу через месяц. И раз или два за всю жизнь они ее действительно меняют, а после этого всегда долго сидят и сравнивают свою прошлую работу с нынешней, неизбежно выражая недовольство последней.

– Сколько тебе платят? – с любопытством спросил Дэлиримпл.

– Мне? Шестьдесят в неделю! – Это было сказано с неким вызовом.

– Ты сразу начал с шестидесяти?

– Я-то? Нет, пришел я на тридцать пять. Он пообещал мне, что отправит меня разъездным агентом, когда я изучу товар. Он всем это обещает.

– А сколько ты уже здесь? – спросил Дэлиримпл; и сердце его екнуло.

– Здесь? Четыре года! И это мой последний год здесь, помяни мое слово!

Примерно так же сильно, как и табельные карточки, которые нужно было пробивать в строго определенный час, Дэлиримпла раздражало присутствие на складе охранника, с которым он почти сразу же познакомился благодаря запрету на курение. Запрет этот был ему как заноза в пальце. У него была привычка выкуривать по утрам три-четыре сигареты, и спустя три дня воздержания он все же последовал за Чарли Муром кружным путем вверх по черной лестнице, на маленький балкончик, где можно было спокойно потакать вредной привычке. Но продолжалось это недолго. Уже через неделю на пути вниз по лестнице его подкараулил охранник и строго предупредил о том, что в следующий раз обо всем будет доложено мистеру Мэйси. Дэлиримпл почувствовал себя, будто провинившийся школьник.

Ему открылись неприглядные факты. В подвале, оказывается, обитали «дети подземелья», проработавшие там за шестьдесят долларов в месяц кто по десять, а кто и по пятнадцать лет; никому до них не было дела; с семи утра и до половины шестого вечера в гулкой полутьме сырых, покрытых цементом коридоров они перекатывали бочонки и перетаскивали ящики; несколько раз в месяц их, как и его, заставляли работать аж до девяти вечера.

В конце месяца он встал в очередь к кассе и получил сорок долларов. Заложив портсигар и бинокль, он кое-как выкрутился, то есть денег хватило на ночлег, еду и сигареты. Но он едва сводил концы с концами; поскольку методы и средства экономии были для него закрытой книгой, а второй месяц не принес повышения жалованья, он стал выражать свое беспокойство вслух.

– Ну если с Мэйси ты на короткой ноге, тогда, может, тебе и дадут прибавку. – Ответ Чарли заставил его приуныть. – Хотя мне вот

повысили жалованье только через два года.

– А жить-то мне как? – просто сказал Дэлиримпл. – Я бы больше получал, если бы устроился рабочим на железную дорогу, но – черт побери! – мне все же хочется чувствовать, что я там, где есть шанс пробиться.

Чарли скептически покачал головой, и полученный на следующий день ответ мистера Мэйси был столь же неудовлетворителен.

Дэлиримпл зашел в контору под конец рабочего дня:

– Мистер Мэйси, мне нужно с вами поговорить.

– Ну, пожалуй… – На лице у него появилась отнюдь не веселая улыбка; в тоне послышалось легкое недовольство.

– Я бы хотел обсудить прибавку к жалованью.

Мистер Мэйси кивнул.

– Н-да, – с сомнением в голосе сказал он, – я не очень помню, чем вы у нас занимаетесь? Я переговорю с мистером Хэнсоном.

Он прекрасно знал, чем занимается Дэлиримпл, и Дэлиримпл тоже прекрасно знал, что он знает.

– Я работаю на складе… И вот еще что, сэр… Раз уж я здесь, хотел бы спросить: сколько мне там еще предстоит работать?

– Ну, я даже не знаю… Само собой, для изучения товара нужно определенное время…

– Когда я к вам нанимался, вы сказали: два месяца.

– Да. Что ж, я переговорю с мистером Хэнсоном.

Дэлиримпл в нерешительности не знал, что сказать, так что пришлось окончить разговор:

– Спасибо, сэр.

Спустя два дня он снова зашел в контору – принес инвентаризационную ведомость, которую запросил счетовод мистер Гесс. Мистер Гесс оказался занят, и в ожидании, пока он освободится, Дэлиримпл стал от нечего делать листать гроссбух, лежавший на столе у стенографистки.

Ни о чем не думая, он перевернул страницу – и вдруг заметил свое имя; это была платежная ведомость:

Демминг

Донахью
Дэлиримпл
Эверетт

Его взгляд задержался на строчке:

Эверетт – 60 долл.

Так вот оно что! Племянника Мэйси, Тома Эверетта – паренька с безвольным подбородком, – взяли сразу на шестьдесят, а три недели спустя уже перевели работать из упаковочной в контору!

Вот, значит, как… Ему, выходит, суждено сидеть тут и смотреть, как наверх выбираются все, кроме него: сыновья, двоюродные братья, сыновья знакомых, – и не важно, есть у них способности или нет! А ему, выходит, уготована роль пешки, которую лишь дразнят обещаниями произвести в «разъездные агенты», а на деле от него все время будут отделываться расхожими «я подумаю» да «я разберусь»! Лет в сорок он, возможно, и станет каким-нибудь счетоводом, вроде старого Гесса – этого усталого и апатичного Гесса, – и будет тянуть унылую рабочую лямку и проводить досуг в тоскливой болтовне с другими постояльцами пансиона.

Вот в этот-то момент некий гений и должен был вложить ему в руки книгу для разочарованных молодых людей. Но книга эта пока не написана.

Внутри него поднялась волна протеста, породившая бурю в его душе. Разум вмиг заполнился полузабытыми идеями, едва усвоенными и недопонятыми. Добиться успеха – вот она, цель жизни, и больше ничего! Все средства хороши, лишь бы не уподобиться Гессу или Чарли Муру.

– Ни за что! – воскликнул он вслух.

Счетовод и стенографистки удивленно посмотрели на него:

– Что?

Секунду Дэлиримпл молча смотрел на них, а затем взял и подошел к столу.

– Вот вам ведомости, – грубо произнес он. – Некогда мне ждать!

На лице мистера Гесса отразилось удивление.

Что угодно, лишь бы только выбраться из этой колеи. Ничего не замечая, он вышел из лифта в складскую комнату и, пройдя в пустой угол, сел на какой-то ящик, закрыв лицо руками.

У него в голове нестройно жужжало пугающее открытие собственной заурядности.

– Я должен выбраться отсюда, – сказал он вслух и затем повторил: – Я должен выбраться, – и не только из оптовой торговли Мэйси, имел он в виду.

В половине шестого, когда он вышел с работы, на улице начался проливной ливень; нужно было идти быстро, и он пошел, но не в пансион, а в совершенно другую сторону; старый костюм понемногу пропитывался прохладной дождевой влагой, Дэлиримпл насквозь промок, но чувствовал при этом бурную радость и ликование. Он готов пробиваться сквозь жизненные преграды, словно капитан в шторм, и пусть не видно, куда он плывет! Но вместо этого судьба забросила его в тихую заводь зловонных складов и коридоров мистера Мэйси. Поначалу это было всего лишь желание перемен, но затем в его сознании начал созревать план.

– Поеду на восток страны… В большой город… Познакомлюсь с людьми, с влиятельными людьми… С людьми, которые смогут мне помочь. Есть же где-то интересная работа! Господи, ну не может такого быть, чтобы нигде ее не было!

Однако тошнотворная правда заключалась в том, что у него были весьма ограниченные возможности в плане знакомств. Этот город был единственным местом, где волны забвения еще не поглотили его имя, где он был хоть немного известен – или когда-то был известен, и даже знаменит.

Придется играть нечестно, вот и все. Увлечь… Завязать интрижку… Выгодно жениться…

На протяжении нескольких миль его поглощало беспрестанное повторение этих фраз; затем он осознал, что ливень усилился: сквозь серые сумерки было уже почти ничего не видно, а дома вокруг исчезли

вовсе. Он миновал квартал высоких зданий, кварталы просто больших домов, затем кварталы редких коттеджей, – все они сменились простиравшимися по обеим сторонам дороги обширными пустыми загородными полями в тумане. Идти стало тяжелее. Мощеный тротуар сменился проселком, иссеченным бурлящими темными ручьями грязи, брызги которой превратили его легкие ботинки в кашу.

Играть нечестно, – слова стали распадаться на буквы, формируя забавные сочетания, будто маленькие раскрашенные кусочки в калейдоскопе. Затем они снова стали собираться в слова, каждое из которых звучало до странности знакомо.

Играть нечестно значило отбросить знакомые с детства принципы: что успех ждет того, кто верен своему долгу, и что зло всегда ждет наказание, а добродетель – награда, и что честный бедняк счастливее порочного богача.

Это означало быть сильным.

Фраза ему понравилась, и он повторял ее снова и снова. Что-то в ней было такое, сродни мистеру Мэйси и Чарли Муру – сродни их позициям, сродни их подходам…

Он остановился, ощупал свою одежду: да, промок насквозь… Осмотрелся, выбрал защищенное кроной дерева от дождя место на заборе и запрыгнул на него, как мокрая курица на насест.

«Когда я был юным и наивным – думал он, – мне говорили, что зло имеет грязный оттенок и бросается в глаза, будто заношенный воротничок; ну а сейчас мне кажется, что зло – это лишь следствие горькой судьбы, или среды и наследственности, или же просто „так получилось“. Оно прячется в нерешительности недотеп вроде Чарли Мура и в нетерпимости таких, как Мэйси, – и если когда-нибудь оно более-менее явно проявляется, то превращается в некий ярлык, который всего лишь навешивают на неприглядные стороны других людей».

«На самом деле, – заключил он, – не стоит беспокоиться о том, что хорошо, а что плохо. Нет у меня мерила добра и зла – зато эти понятия чертовски сильно мешают, когда мне что-то надо. А если мне что-то очень надо, здравый смысл подсказывает: иди и возьми – и не вздумай попасться».

И вдруг Дэлиримпл понял, что ему нужно в первую очередь! Нужно пятнадцать долларов, чтобы оплатить долг за пансион.

В неистовстве он спрыгнул с забора, сбросил пиджак и вырезал ножом из черной подкладки широкий кусок дюймов пяти длиной. Ближе к краям он прорезал две дырки и приложил эту тряпку к лицу, заправив верхнюю часть ткани под надвинутую на лоб шляпу. Сначала ткань нелепо развевалась, а затем промокла и плотно пристала ко лбу и щекам.

И вот… Сумерки исчезли под напором сочащейся каплями тьмы – черной, как смоль… Дэлиримпл быстрым шагом пошел обратно, по направлению к городу, не снимая маски и едва видя дорогу сквозь неровно вырезанные отверстия для глаз. Он не нервничал – его напряжение было вызвано лишь желанием покончить с делом как можно скорее.

Он дошел до тротуара и пошел вперед, пока не увидел вдали, где не светили фонари, низкий забор. За ним он и спрятался. Не прошло и минуты, как послышались шаги; он приготовился – шла женщина… Он затаил дыхание, пропустив ее. Затем послышалась тяжелая поступь рабочего… Следующий прохожий, почувствовал он, будет тем, кто ему нужен… Шаги рабочего затихли вдали, на мокром тротуаре… Другие шаги приближались, и вот уже он совсем рядом!

Дэлиримпл собрал волю в кулак:

– Руки вверх!

Человек остановился, издал забавный нечленораздельный звук и вытянул пухленькие ручонки к небу.

Дэлиримпл обшарил карманы его жилета.

– А теперь беги – ты, ничтожество! – сказал он, многозначительно похлопав себя по карману брюк. – Беги и топай, да погромче! Если услышу, что ты остановился, всажу в тебя пулю!

И когда громкий испуганный топот затих в ночи, он не смог сдержаться и громко расхохотался.

Немного погодя он сунул в карман пачку банкнот, сорвал с себя маску, быстро перебежал на другую сторону улицы и скрылся в переулке.

IV

Несмотря на то что Дэлиримпл нашел для себя логическое оправдание в собственных глазах, на протяжении нескольких следующих недель он мучился угрызениями совести. Ужасный гнет чувств и прежних устоев вступили в непримиримую борьбу с его новым взглядом на жизнь. Его мучило моральное одиночество.

В полдень на следующий день после первого «дела», за обедом в небольшом ресторанчике, он внимательно смотрел, как Чарли Мур открывает газету; он ждал, что скажет Чарли по поводу вчерашнего ограбления. Но либо про ограбление ничего не написали, либо Чарли это было неинтересно. Равнодушно пробежав спортивный раздел, прочитав щедро приправленную банальностями колонку методистского проповедника доктора Крейна, с разинутым ртом впитав передовицу о моральных устоях, он сразу же перешел к комиксам про Матта и Джеффа.

Бедняжка Чарли – с его легкой аурой злобы и мозгами, не способными ни на чем сосредоточиться и по инерции раскладывающими скучный пасьянс давно забытых бед.

И все же Чарли находился на другой стороне. В нем можно было раздуть присущее добродетели пламя и обличительный жар; он мог чистосердечно оплакивать в театре утраченную честь героини, а при мысли о бесчестье он становился высокомерен и презрителен.

«А с моей стороны, – думал Дэлиримпл, – нет никаких безопасных укрытий; идущий на тяжкое преступление готов совершить и мелкое, так что здесь всегда будет идти тайная война».

Как это повлияет на меня? Он устал уже думать об этом. Не станет ли жизнь бесцветной, если исчезнет честь? Исчезнет ли мое мужество, отупеет ли разум? Утрачу ли я полностью свою душу? Не станет ли все это впоследствии причиной убожества, не принесет ли потом невыносимых угрызений совести и не приведет ли меня к краху?

В гневе он мысленно штурмовал этот барьер – и замирал на его вершине, сверкая штыком своей гордости. Другие, нарушавшие законы справедливости и милосердия, лгали всему миру. Он же по крайней мере не будет лгать самому себе. Он был более чем байроновские бунтари: он не был ни духовным бунтарем, как Дон Жуан, ни

философом-бунтарем, как Фауст. Он был бунтарем-психологом своего времени, отрицающим чувства как врожденное свойство своего разума…

Счастья, вот чего он хотел! Неспешно набирающего масштаб удовлетворения обычных желаний… И он был стойко убежден в том, что за деньги можно купить если и не материал, то хотя бы проект для постройки этого счастья.

V

Пришла ночь, и он пошел на второе «дело». Он шел по темной улице, будто кот – уверенный, проворный, плавно покачивающийся и гибкий. Его спортивное худощавое тело играло гладкими буграми мускулов, он испытывал нестерпимое желание то двигаться по улице прыжками, то бегать зигзагами среди деревьев, то пройтись колесом по мягкой траве.

Погода стояла теплая, но в воздухе чувствовалась резкая прохлада – скорее бодрящая, чем студеная.

«*Луна зашла – а я часов не слышал*!»

Он радостно рассмеялся над этой строчкой, которую память детства наделила тихой и благоговейной красотой.

Мимо него прошел человек; затем, кварталом позже, еще один.

Он дошел до Филмор-стрит; на улице было очень темно. Он мысленно поблагодарил муниципалитет за то, что новые уличные фонари так и не были установлены, хотя их включили в бюджет. Перед ним, в начале улицы, стоял краснокирпичный особняк Стернеров; дальше располагались дома Джорданов, Эйзенхауэров, Дентов, Маркхамов, Фрейзеров, Хокинсов – у них он гостил; Уиллоуби, Эвереттов – патриархальные и нарядные; маленький коттедж, в котором жили незамужние сестры Уоттс, затерялся среди впечатляющих фронтонов Мэйси и Крупстедов; дом Крэйгов…

Сюда! Он остановился, сильно вздрогнув, – вдали, в конце улицы, двигалось пятно. Какой-то человек – может быть, полисмен? Спустя показавшуюся бесконечной секунду он уже бежал, низко пригнувшись, по лужайке, вдоль размытой и неровной тени фонарного столба. И вот он уже напряженно стоит подле своей кирпичной жертвы, затаив дыхание и даже не сознавая этого.

Он замер и прислушался – в миле мяукнула кошка, за сотню ярдов от нее с демоническим рыком песню подхватила другая, и он почувствовал, как его сердце, спасая разум, ухнуло вниз, спружинив, будто рессора. Слышались и другие звуки: далекое пение, скрипучий смех сплетниц, сидевших на заднем крыльце дома на другой стороне переулка, – и цикады, цикады, трещащие в выкошенной, выстриженной, залитой лунным светом траве лужайки во дворе. Изнутри дома не доносилось ни звука. Он был рад, что не знал, кто там живет.

Легкая дрожь сменилась стальным оцепенением; затем сталь размягчилась, нервы повисли веревками; крепко сжав руки в кулаки, он возблагодарил небо за то, что руки его слушались; он вытащил нож, клещи и стал снимать оконную сетку.

Он был уверен, что никто его не заметил, и поэтому, очутившись через минуту в столовой дома, высунулся из окна и аккуратно поставил оконную сетку на место, позаботившись, чтобы она случайно не упала и одновременно не смогла бы стать серьезным препятствием, если ему вдруг придется бежать.

Нож он сунул, не складывая, в карман пиджака, вытащил потайной фонарик и, крадучись, прошелся по комнате.

Там не было ничего для него ценного – столовая не входила в его планы, потому что столовое серебро в таком маленьком городке сбыть было невозможно.

На самом деле планы его были весьма туманны. Он знал, что с таким умом, как у него, то есть умом достаточно развитым, обладавшим интуицией и способным принимать мгновенные решения, лучше всего было заранее продумывать только общий план операции. Этому его научил эпизод с ручным пулеметом. Он стал бояться, что заранее обдуманный план приведет к тому, что в кризисной ситуации у него будет целых два варианта – а два варианта означали колебания.

Споткнувшись о стул, он задержал дыхание, прислушался; двинулся дальше, вышел в холл, обнаружил лестницу и пошел наверх; седьмая ступенька скрипнула под ногой, девятая, четырнадцатая. Он считал их машинально. На третьей скрипнувшей ступеньке он остановился и постоял где-то с минуту, – никогда еще в жизни он не чувствовал себя таким одиноким, как в эту минуту… На войне, в дозоре, один на один с врагами, он ощущал моральную поддержку полумиллиарда людей; а теперь он был совершенно один, раздавленный, как абрикос, под тем же самым прессом морали, – он стал преступником. Никогда не чувствовал он такого страха, но и ликования такого ему испытывать еще не доводилось.

Лестница кончилась, впереди была дверь; он вошел и прислушался к ровному дыханию. Стараясь делать как можно меньше шагов, он изогнулся всем телом, чтобы дотянуться до комода и обшарить его, рассовав по карманам все, что могло бы пригодиться; спустя десять секунд ему вряд ли удалось бы перечислить эти вещи. Он наклонился к стулу, предположив, что там лежат брюки, и обнаружил там что-то мягкое – женское белье. Он механически улыбнулся.

Другая комната… Такое же ровное дыхание, сменившееся на мгновение хриплым храпом, заставившим его сердце вновь совершить тур куда-то в низ живота. Что-то круглое – часы; цепь; пачка денег; булавки; два кольца – он вспомнил, что нашел кольца и в другом комоде. Отшатнувшись от слабого отблеска, вспыхнувшего прямо перед ним, он вздрогнул. Господи! Это был всего лишь отблеск его собственных наручных часов на его же вытянутой руке.

Вниз по лестнице. Через две скрипучие ступеньки он перешагнул, но теперь скрипнула другая. Он не испугался – ведь он уже был практически в безопасности; достигнув конца лестницы, он вдруг подумал, как же все это банально и скучно. Вошел в столовую – подумал о серебре – снова отказался от этой мысли.

Вернувшись к себе в пансион, он произвел осмотр свежеприобретенного добра:

Шестьдесят пять долларов банкнотами.

Платиновое кольцо с тремя средними алмазами, стоившее долларов этак семьсот; алмазы нынче в цене.

Дешевое позолоченное колечко с инициалами «О.С.» и датой «1903» на внутренней стороне – видимо, память о колледже. Стоит

пару долларов. Продать не удастся.

Футляр из красной ткани, внутри – вставная челюсть.

Серебряные часы.

Золотая цепь – стоит больше, чем часы.

Пустой футляр для кольца.

Маленький китайский божок из слоновой кости – видимо, настольное украшение.

Доллар и шестьдесят два цента мелкими монетами.

Деньги он засунул под подушку, а остальные вещи – подальше, в армейский ботинок, утрамбовав все для надежности носком. После этого два часа без остановки он мысленно перебирал одно за другим события своей жизни, думая о прошлом и о будущем, вспоминая и плохое, и хорошее. Около половины шестого, с рассеянной и совершенно неуместной мыслью о том, как жаль, что он еще не женат, он уснул.

VI

Хотя описания ограбления в газетах и умалчивали о вставной челюсти, зубы не давали ему покоя. Образ человека, просыпающегося на рассвете и тщетно, на ощупь, пытающегося их найти, затем спускающегося, чтобы позавтракать исключительно кашкой, потом чужим, глухим и шепелявым голосом вызывающего по телефону полицейский участок, а затем отправляющегося на утомительный и удручающий прием к дантисту, вызвал в нем покровительственное чувство жалости.

Пытаясь определить, женская это или мужская челюсть, он аккуратно вытащил зубы из футляра и приставил их ко рту. Подвигал челюстями; померил пальцами, но так ничего и не решил. Зубы могли принадлежать либо женщине с большим ртом, либо мужчине с маленьким ротиком.

Повинуясь доброму побуждению, он завернул зубы в плотную оберточную бумагу, извлеченную со дна армейского чемодана, взял карандаш и нацарапал на свертке кривыми печатными буквами: «ЧЕЛЮСТЬ». Следующей ночью он пришел на Филмор-стрит и швырнул сверток на лужайку перед домом, поближе к двери. На следующий день газеты объявили, что у полиции появилась зацепка: стало известно, что грабитель находится в городе. Но какая это была зацепка, упомянуто не было.

VII

К концу месяца «взломщиком Билли, грозой богатых кварталов» няньки уже пугали детей. Ему приписывалось пять ограблений, и, хотя Дэлиримпл совершил всего три, он решил, что придется подчиниться мнению большинства, и приписал титул себе. Однажды его даже видели – «здоровый громила с нечеловечески гнусной рожей». Вряд ли можно было ожидать от миссис Генри Кольман, проснувшейся в два часа ночи от попавшего в лицо света потайного фонарика, что она узнает Брайана Дэлиримпла, которому она махала флагом Четвертого июля и которого описывала как «вовсе не такой уж и сорвиголова, вы не находите?».

Распаляя свой разум до белого каления, Дэлиримпл мог превозносить для себя свое новое мироощущение, свою свободу от мелких сомнений и угрызений совести; однако, как только мысли начинали блуждать без этого панциря, им внезапно овладевали ужас и подавленность. Тогда, чтобы снова набраться уверенности, ему приходилось начинать все заново и обдумывать дело с самого начала. Теперь он уже не рассматривал себя в качестве бунтаря – так было лучше. Большее утешение приносила мысль о том, что вокруг одни дураки.

Его отношение к мистеру Мэйси изменилось. Он больше не злился на него и не чувствовал себя ущербным в его присутствии. Когда миновал четвертый месяц его работы в компании, он обнаружил, что испытывает почти братские чувства по отношению к своему нанимателю. У него появилось смутное, но тем не менее весьма стойкое убеждение, что в глубине души мистер Мэйси не только поддержал бы его, а еще бы и похвалил. Будущее его больше не тревожило. Он собирался накопить несколько тысяч долларов и смотаться – уехать на восток страны, а может, и во Францию или куда-нибудь в Южную Америку. За последние два месяца он не раз порывался бросить работу, но его удерживал страх привлечь к себе внимание, – как объяснить, откуда деньги? Так что он продолжал работать, но уже без всякой апатии, а с презрительной усмешкой.

VIII

А затем совершенно неожиданно случилось нечто, изменившее его планы и положившее конец ограблениям.

Однажды, ближе к концу рабочего дня, его вызвал мистер Мэйси и с добродушно-загадочным видом поинтересовался, не занят ли он сегодняшним вечером. Если нет, то не соблаговолит ли он прибыть в гости к мистеру Альфреду Дж. Фрейзеру, скажем, к восьми вечера? Дэлиримпл поначалу изумился, но тут же засомневался. Он тщательно обдумал, не нужно ли понимать это приглашение как намек покинуть город ближайшим поездом? Но, поразмыслив в течение часа, он решил, что все его страхи беспочвенны, и к восьми вечера прибыл в большой особняк мистера Фрейзера на Филмор-авеню.

Мистер Фрейзер считался в городе влиятельной политической силой. Сенатор Фрейзер приходился ему родным братом, конгрессмен Демминг был ему зятем, так что влияние его было значительным, даже

несмотря на то, что он не злоупотреблял им до такой степени, чтобы занять какую-либо формальную руководящую должность.

Голова его была огромна, лицо – широкое, с глубоко посаженными глазами, верхняя губа была вздернута вверх, обнажая передние зубы, и все это смешение черт увенчивалось почтенным, выдающимся вперед подбородком профессионального политика.

В продолжение разговора с Дэлиримплом на его лице несколько раз являлось подобие улыбки, сменявшееся выражением бодрого оптимизма, а затем вновь воцарялась невозмутимость.

– Добрый вечер, сэр, – сказал он, протянув Дэлиримплу руку. – Присаживайтесь. Думаю, вам не терпится узнать, зачем я вас пригласил. Присаживайтесь!

Дэлиримпл сел.

– Мистер Дэлиримпл, сколько вам лет?

– Двадцать три.

– Вы молоды; но это не означает, что вы глупы. Мистер Дэлиримпл, я не хочу отнимать у вас много времени. Я хочу сделать вам предложение. Пожалуй, начнем сначала: я присматриваюсь к вам давно, еще с Четвертого июля, вы тогда произнесли благодарственную речь на митинге, помните?

Дэлиримпл что-то смущенно забормотал, но Фрейзер махнул рукой, приказывая ему замолчать.

– Эта речь осталась в моей памяти. Вы продемонстрировали, что у вас есть ум, и говорили вы без бумажки, и ваши слова были понятны каждому в той толпе. Уж я-то знаю. С толпой я имею дело вот уже много лет. – Он откашлялся, будто собираясь развить мысль о своем знании толпы, но тут же вернулся к основной теме. – Должен вам сказать, мистер Дэлиримпл, что мне довелось видеть немало молодых людей, начинавших блестяще, но впоследствии сгинувших в никуда, и все благодаря тому, что им не хватило прочности, или же избранные ими идеи оказывались им не по силам, или им не хватило воли, чтобы заставить себя трудиться. Поэтому я решил обождать. Мне хотелось посмотреть, что вы станете делать? Мне хотелось посмотреть, начнете ли вы трудиться, а если начнете, то хватит ли у вас упорства продолжать двигаться к намеченной цели?

Дэлиримпл почувствовал, что на лице у него выступает румянец.

– Итак, – продолжил Фрейзер, – когда Терон Мэйси рассказал мне, что вы устроились в его компанию, я продолжил наблюдать за вами – разумеется, с его помощью. В первый месяц вы заставили меня поволноваться. Он рассказал мне, что вы никак не могли успокоиться, что вы стали считать, что работа недостойна вас, что вы стали заикаться о прибавке…

Дэлиримпл вздрогнул.

– Но затем он рассказал, что вы все же одумались, стали помалкивать и работать. Вот эти-то качества я и ценю в молодых людях! Такой подход ведет к успеху. Не думайте, что я вас не понимаю. Я знаю, как тяжело вам пришлось после всей той глупой лести, которой вас осыпали престарелые бабы. Я знаю, какую борьбу вам пришлось пережить…

Лицо Дэлиримпла стало пунцовым. Он почувствовал себя неопытным юнцом с благородными, как ни странно, порывами.

– Дэлиримпл, вы умны, и у вас есть отличные задатки – вы то, что мне нужно. Я хочу посадить вас в сенат нашего штата.

– Куда?

– В сенат штата. Нам нужен молодой человек – с головой, серьезный, но не бездельник. И если я произнес «сенат штата», то это не значит, что на том все и кончится. Нам тут приходится не сладко, Дэлиримпл. Мы должны привести в политику молодежь: нужна свежая кровь, а в наших партийных списках год от года числятся все те же «старые кони».

Дэлиримпл облизал пересохшие губы:

– Вы выдвинете меня в сенат штата?

– Я посажу тебя в сенат штата!

Выражение лица мистера Фрейзера грозило вот-вот разразиться улыбкой, и Дэлиримпл с легкомысленной радостью подумал, что мог бы пальцами подтянуть вверх уголки этих губ, но движение остановилось, губы замерли, и об улыбке теперь не могло быть и речи. Видневшиеся передние зубы от подбородка отделяла прямая, как гвоздь, линия. Дэлиримпл с трудом снова убедил себя, что перед ним был рот, и ответил, глядя прямо в него.

– Ноя ведь теперь никто, – сказал он. – Моя слава ушла. Людям я надоел.

– Такие вещи – дело техники, – ответил мистер Фрейзер. – Славу воскрешает печатный станок. Подожди – увидишь, о чем будет трубить «Герольд» начиная со следующей недели… Если, конечно, ты с нами… И если ты, – тут его голос зазвучал пожестче, – не будешь уж слишком настаивать на своих идеях о том, как нужно решать вопросы.

– Ни в коем случае, – ответил Дэлиримпл, открыто поглядев ему прямо в глаза. – Поначалу вам придется давать мне множество советов.

– Очень хорошо. Тогда придется позаботиться и о твоей славе. Главное, всегда и во всем держись правильной стороны.

Дэлиримпл вздрогнул, – ему последнее время приходилось часто думать о рубеже, отделяющем правильную сторону от неправильной. В этот момент неожиданно раздался звонок в дверь.

– А вот и Мэйси, – сказал Фрейзер, поднимаясь. – Пойду, открою дверь. Слуги уже легли спать.

И он оставил Дэлиримпла наедине с мечтами. Перед ним неожиданно распахнулась дверь, а за ней был целый мир: сенат штата, сенат страны… Так вот она какая, жизнь – нечестная игра… Игра без правил – и здравый смысл, вот что правит миром! Не нужно больше глупо рисковать, разве что нужда заставит; сила – вот что ценится… Никогда больше совесть или упрек не заставят его провести бессонную ночь; «да будет жизнь его мечом мужества…», но воздаяния не будет; все это чушь, просто чушь.

Сжав кулаки, он вскочил на ноги, чувствуя что-то сродни ликованию победителя.

– Ну как, Брайан? – произнес мистер Мэйси, появившись из-за портьеры.

Оба старика глядели на него, улыбаясь своими полуулыбками.

– Ну же, Брайан? – повторил мистер Мэйси.

Дэлиримпл улыбнулся в ответ:

– А вы как думаете, мистер Мэйси?

И Дэлиримпл задумался: не стала ли причиной его переоценки какая-то телепатическая связь между ними – что-то вроде взаимопонимания без слов…

Мистер Мэйси протянул ему руку:

– Я очень рад, что этот план мы будем осуществлять вместе; в отношении тебя я всегда был «за», а особенно последнее время. Я рад, что мы с тобой будем на одной стороне!

– Благодарю вас, сэр, – просто сказал Дэлиримпл; к его глазам вдруг подступили слезы.

Удары судьбы

I

Сегодня ни у кого из тех, кого я знаю, не может возникнуть ни малейшего желания ударить Сэмюэля Мередита. Возможно, это объясняется тем, что для человека за пятьдесят удар враждебного кулака может иметь самые печальные последствия, но я все-таки склонен думать, что это из-за того, что все его заслуживающие удара качества исчезли. Определенно можно сказать, что в различные моменты его жизни эти качества проступали на его лице так же ясно, как и тайное желание поцелуя на губах каждой юной девушки.

Уверен, что каждый знает подобного человека. У многих есть такие знакомые, некоторые даже сумели с такими подружиться – зная, что это именно тот тип, который всегда вызывает бессознательую страстную неприязнь, которая у некоторых выражается в непроизвольном молчаливом сжатии кулаков, у других же в речи сразу начинают проскальзывать невесть откуда берущиеся выражения вроде «дать в ухо» или «залепить с правой». У Сэмюэля Мередита это качество проступало столь явственно, что это повлияло на всю его жизнь.

В чем же было дело? Не во внешности, это точно, потому что он смолоду выглядел довольно привлекательно: широкоплечий, с открытым и дружелюбным взглядом серых глаз. Но я сам слышал, как он рассказывал целой толпе репортеров, жаждавших услышать одну из сказок вроде «…проснулся богатым и знаменитым», что ему неудобно

рассказывать им правду, что они ему просто не поверят, что это не одна история, а целых четыре и что публика вряд ли захочет читать о человеке, которого буквально кулаками вогнали в сонм «достойных».

Все началось в Андовере, в частной школе Филипса, когда ему исполнилось четырнадцать. Ему, вскормленному с ложечки исключительно белужьей икрой вперемешку с нежными ляжками юных посыльных, привыкшему к утонченности европейских столиц, просто повезло, что у его матери неожиданно произошел нервный кризис, повлекший за собой передачу его дальнейшего воспитания в менее нежные и любящие руки.

В Андовере ему достался сосед по комнате, которого звали Джилли Худ. Джилли было тринадцать, он был невысок, в школе его все любили. С того самого сентябрьского дня, когда камердинер мистера Мередита поместил одежду Сэмюэля в лучший шкаф в комнате и спросил напоследок: «Что-нибудь еще, господин Сэмюэль?» – Джилли стал считать, что деканат сыграл с ним злую шутку. Он был разгневан, как лягушонок, в аквариум к которому подсадили золотую рыбку.

– Черт возьми, – жаловался он симпатизировавшим ему одноклассникам, – да он просто проклятый надутый английский сноб! Он спросил: «Надеюсь, здесь в классе только джентльмены?», и я ответил: «Да нет, здесь обычные ребята», а он сказал, что возраст не имеет значения, и я ответил: «А кто здесь вообще говорил о возрасте?» Пусть только попробует еще повыпендриваться, маменькин сынок!

В течение трех недель Джилли молча выдерживал комментарии Сэмюэля по поводу гардероба и привычек друзей Джилли, не замечал французских фраз в разговоре, старался не обращать внимания на почти женскую мелочность – предсказуемый результат влияния любой нервической мамаши на единственное чадо, – а затем в аквариуме разразился шторм.

Сэмюэля не было. В комнате расположилось общество, выслушивавшее разъяренного Джилли, повествовавшего о последних прегрешениях своего соседа.

– Он сказал: «Я не могу спать с открытыми окнами» и еще добавил: «Ну разве только чуть приоткрыть форточку», – жаловался Джилли.

– Не давай ему садиться себе на шею!

– Мне на шею? Да уж будьте спокойны! Естественно, я открываю все настежь, но проклятый болван не устает все закрывать каждый день под утро.

– Дай ему, Джилли, чего ты боишься?

– Да, кажется, уже пора. – Джилли яростно закивал головой. – Ничего я не боюсь. Пусть не думает, что я какой-то лакей!

– Да, точно!

В этот момент «проклятый болван» собственной персоной вошел в комнату и одарил собравшееся общество одной из своих язвительных улыбок. Кто-то сказал: «Привет, Мередит», остальные же едва удостоили его мимолетными недружелюбными взглядами и продолжили беседу с Джилли. Но Сэмюэлю этого показалось недостаточно.

– Не будете ли вы так любезны и не встанете ли с моей постели, – вежливо обратился он к двум близким друзьям Джилли, усевшимся поудобнее.

– Что?

– Моя кровать. Вы плохо понимаете по-английски?

К ущемлению в правах добавилось оскорбление. Последовало несколько комментариев по поводу санитарного состояния постели и видимых свидетельств присутствия в данном углу комнаты неких общеизвестных форм животной жизни.

– Что там стряслось с твоей кроваткой? – агрессивно осведомился Джилли.

– С кроватью все в порядке, но…

Джилли прервал это объяснение, поднявшись и направившись к Сэмюэлю. Остановившись в нескольких дюймах, он бросил на него яростный взгляд.

– Ты и твоя дурацкая кровать, – начал он. – Ты и твоя дурацкая…

– Переходи к делу, Джилли, – пробормотал кто-то из собравшихся.

– Покажи этому проклятому болвану…

Сэмюэль холодно посмотрел на него.

– Это действительно *моя* кровать, – сказал он наконец.

Но больше ему не удалось сказать ничего, потому что Джилли подскочил поближе и изо всех сил ударил его в нос.

– Давай, Джилли!!!

– Покажи ему, как задаваться!

– Пусть только попробует тебя тронуть – мы ему покажем!

Собравшиеся сомкнулись вокруг них, и впервые в жизни Сэмюэль осознал все неудобства, проистекающие от враждебно настроенной группы людей. Он беспомощно оглядывался, но ни на чьем лице не заметил даже искры сочувствия. Он был выше своего противника на целую голову, и если бы он дал сдачи, то за ним немедленно закрепилась бы репутация громилы, обижающего младших, и в течение пяти минут он нажил бы себе сразу же дюжину непримиримых врагов; и все же, если бы он не ударил в ответ, то прослыл бы трусом. Мгновение он оставался на месте, глядя на разъяренного Джилли, а затем, издав нечленораздельный звук, проложил себе дорогу сквозь кольцо обидчиков и стремительно выбежал из комнаты.

Последовавший месяц представлял собой череду из тридцати самых скверных дней в его жизни. Бичи языков его одноклассников не оставляли его ни на минуту; его привычки и манеры стали излюбленными мишенями для острот, а чувствительность юности щедро подливала масла в огонь. Он стал думать, что быть парией – его удел, что непопулярность в школе будет преследовать его и дальше, во взрослой жизни. Когда он приехал домой на рождественские каникулы, он был настолько подавлен, что отец пригласил к нему психотерапевта. А когда пришла пора возвращаться в Андовер, то пришлось ехать последним возможным поездом – только ради того, чтобы доехать автобусом от станции до школы в одиночестве.

Конечно же, как только он научился сдерживать свой язык, все быстро забылось. Следующей осенью, когда он осознал, что необходимость думать о других является вполне благоразумной позицией, он смог начать все заново, воспользовавшись краткостью мальчишеской памяти. К началу выпускного семестра Сэмюэль Мередит был уже всеобщим любимцем и никто не стоял за него горой так, как стоял его лучший друг и постоянный собеседник Джилли Худ.

II

Сэмюэль относился к тому самому типу студентов колледжей, которые в начале девяностых годов организовывали забеги на тандемах, экипажах и дилижансах между Принстоном, Йелем и Нью-Йорком для демонстрации социальной важности спортивных состязаний. Он страстно верил в «хорошие манеры», – его выбор перчаток, стиль завязывания галстуков, манера держаться за руль скрупулезно копировались впечатлительными первокурсниками. Вне своего круга он считался снобом, но его общество было Обществом, и потому это его нисколько не беспокоило. Он играл в футбол осенью, пил хай-болы зимой и участвовал в регате по весне. Сэмюэль презирал всех, кто был спортсменом, но не был джентльменом, а также всех, кто был джентльменом, но не являлся спортсменом.

Он жил в Нью-Йорке и часто приглашал к себе домой на уик-энд своих друзей. То было время, когда общественным транспортом служила конка, и в случае нехватки свободных мест естественным жестом для любого из круга Сэмюэля было встать и предложить с вежливым поклоном свое место вошедшей леди. Как-то вечером первокурсник Сэмюэль и пара его друзей заняли места в салоне: свободными были ровно три сиденья. Устроившись, Сэмюэль обратил внимание на сидевшего рядом с ним усталого и пропахшего чесноком рабочего, который слегка накренился в сторону Сэмюэля и, расслабившись, как это бывает после тяжелого дня, занял чересчур много места на общей скамье.

Экипаж миновал несколько кварталов, на остановке в вагон зашла группа из четырех девушек, и, конечно, трое кавалеров сразу же вскочили со своих мест и с соблюдением всех необходимых формальностей предложили дамам занять места. К несчастью, скромный труженик, не знакомый с кодексом чести носящих галстуки владельцев собственных выездов, не поспешил последовать их примеру, и одной юной леди пришлось остаться на ногах. Семь пар глаз укоризненно уставились на дикаря; семь пар губ презрительно искривилось. Но объект обструкции флегматично смотрел прямо перед собой, совершенно не осознавая всей возмутительности своего поведения. Сэмюэль негодовал сильнее всех. Его унижало сознание

того, что кто-то, называющий себя мужчиной, может вести себя подобным образом. И он заговорил.

– Перед вами стоит дама, – сурово заметил он.

Этого должно было быть вполне достаточно, но объект порицания бросил на него непонимающий взгляд. Стоящая девушка хихикнула и обменялась с подругами нервным взглядом. Но Сэмюэль был задет за живое.

– Перед вами стоит дама, – повторил он, на этот раз более резко.

Человек, кажется, начал что-то понимать.

– Я, как и все, заплатил за билет, – тихо ответил он.

Сэмюэль покраснел, его руки сжались в кулаки, но друзья кивками предупредили его, что кондуктор смотрит как раз в их сторону, и он неохотно подавил свой порыв.

Они достигли конечной точки своего маршрута и вышли из вагона. Вместе с ними вышел и рабочий, которому оказалось с ними по пути, и он пошел за ними, устало качая своей сумкой. Увидев, что ему предоставляется шанс, Сэмюэль решил более не сдерживать свой аристократический порыв. Он обернулся и со всем возможным презрением сделал громкое замечание о недопустимости самой возможности совместных поездок цивилизованных людей и низших животных.

В следующую секунду рабочий уже бросил свою сумку и набросился на Сэмюэля. Будучи не готов к такому повороту событий, Сэмюэль получил удар в челюсть и во весь рост растянулся в мощеной булыжником придорожной канаве.

– Не смейте надо мной смеяться! – воскликнул его противник. – Я работал целый день и устал как черт!

В этот момент весь его гнев испарился, а на лице снова воцарилась маска усталости. Он вернулся и поднял свою сумку. Друзья Сэмюэля развернулись и направились в его сторону.

– Постойте! – Сэмюэль медленно поднялся и помахал им, чтобы они возвращались.

Где-то когда-то с ним уже происходило нечто подобное. Не сразу, но он вспомнил: Джилли Худ. В тишине, счищая с себя придорожную грязь, он вспомнил, как чувствовал себя в тот момент в Андовере, и интуиция ему подсказала, что он опять оказался не прав. Силы этого человека, которые ему было необходимо постоянно восстанавливать,

служили единственной опорой его семьи. Для него поездка домой с работы в конке сидя значила гораздо больше, чем для любой юной девицы.

– Все в порядке, – угрюмо сказал Сэмюэль. – Не трогайте его. Я вел себя как болван.

Конечно же, для того чтобы Сэмюэль смог пересмотреть свои представления о непреходящей важности «хороших манер», потребовался не час и даже не неделя. Поначалу он просто заключил, что именно неправота сделала его беспомощным – так же, как и тогда, с Джилли, – но с течением времени его ошибка в случае с рабочим повлияла на всю его жизненную позицию. Ведь снобизм, в сущности, представляет собой всего лишь хорошее воспитание, поставленное во главу угла; так что кодекс Сэмюэля не претерпел никаких изменений, за исключением того, что требование его безусловного исполнения другими благополучно потерялось в одной придорожной канаве. В течение последующего года в колледже отвыкли считать его снобом.

III

Через несколько лет университет, в котором учился Сэмюэль, решил, что темные коридоры альма-матер впитали достаточно света от блестящих галстуков этого студента, в связи с чем была произнесена пафосная речь на латыни и взыскано десять долларов за бумагу, оповещавшую мир о появлении еще одного неисправимо образованного человека. Сэмюэль был отпущен в суматоху жизни с изрядным запасом самоуверенности, несколькими друзьями и соответствующим ассортиментом безобидных вредных привычек.

К этому времени его семье из-за неожиданного падения сахарного рынка пришлось снова учиться затягивать пояса потуже, вот почему Сэмюэль устроился на работу. В его голове гулял тот самый ветер, который иногда бывает единственным результатом университетского

образования, но ему было не занимать энергии и инициативы, поэтому он и решил использовать весь свой имеющийся опыт полевого полузащитника для прохода сквозь толпы на Уолл-стрит уже в качестве банковского инкассатора.

Его всепоглощающим увлечением стали женщины. Их было около полудюжины: две или три дебютантки, одна не очень известная актриса, одна «соломенная вдовушка» и одна сентиментальная маленькая замужняя брюнетка, проживавшая в небольшом домике в Джерси-Сити.

Впервые они повстречались на пароме. Сэмюэль ехал из Нью-Йорка по делу (к этому времени он работал вот уже несколько лет) и от скуки помог ей отыскать пакет, который выпал у нее из рук в давке.

– Вы часто ездите этим маршрутом? – вежливо осведомился он.

– Только за покупками, – смущенно призналась она.

На ее лице выделялись большие карие глаза, а маленький рот имел по-детски трогательные очертания.

– Три месяца назад я вышла замуж, и мы решили, что жить здесь гораздо дешевле.

– А он… А ваш муж не очень переживает, что вы ездите в одиночестве?

Он рассмеялась – кажется, ему удалось ее развеселить.

– Господи, ну что вы говорите! Мы должны были встретиться в обеденный перерыв, но я забыла название кафе. Он будет жутко нервничать.

– Ну что ж, – осуждающе заметил Сэмюэль, – очень может быть. Если вы позволите, я провожу вас до дома.

Она с благодарностью приняла его предложение, и они вместе сели в вагончик фуникулера. Когда они уже почти дошли до ее маленького домика, в окнах показался свет: муж их опередил.

– Он ужасно ревнив, – сказала она, улыбнувшись вместо извинения.

– Я понимаю, – несколько натянуто ответил Сэмюэль. – Пожалуй, я не буду провожать вас дальше.

Она поблагодарила его, и он, помахав ей на прощание рукой, пошел обратно.

Этим бы все, возможно, и кончилось, если бы только они случайно не встретились снова неделю спустя утром, на Пятой авеню. Она

вздрогнула, залилась румянцем и, кажется, была так рада его видеть, что они поздоровались как старые друзья. Ей нужно было зайти к портному, затем она собиралась пообедать в одиночестве у Тэйна, после этого ей надо было пройтись по магазинам, а в пять они с мужем встречались у парома. Сэмюэль сказал ей, что завидует ее мужу. Она опять покраснела и поспешила дальше.

Сэмюэль, насвистывая, направился в контору, но уже около полудня ему везде, куда бы он ни посмотрел, стали мерещиться обаятельный трогательный ротик и большие карие глаза. Он беспокойно вертелся, глядя на часы; он думал о баре на первом этаже, где всегда обедал, и о серьезных мужских разговорах за обедом, но постепенно у него перед глазами замаячила другая картина: маленький столик у Тэйна, карие глаза и этот ротик прямо напротив. Около половины первого он натянул шляпу и бросился к станции фуникулера.

Она очень удивилась, увидев его снова.

– Привет, – сказала она. Сэмюэль мог поклясться, что она была приятно напугана.

– Я подумал: а почему бы нам не пообедать вместе? Мне так надоели разговоры о работе за обедом.

Она на мгновение задумалась.

– Ну что же, я думаю, ничего страшного не случится. Это ведь абсолютно нормально, правда?

Ей пришло в голову, что вообще-то обедать с ней должен муж, но он всегда куда-то так торопится в середине дня! Он рассказала Сэмюэлю о нем: он был ростом чуть пониже Сэмюэля и был просто «настоящим красавцем». По профессии он был бухгалтером, жалованье у него было небольшое, но они были очень счастливы и собирались разбогатеть в ближайшие три или четыре года.

«Соломенная вдовушка» Сэмюэля находилась в плохом настроении все последние три или четыре недели, и из-за явного контраста он получил настоящее удовольствие от этой встречи. Она была такой свежей и искренней, и она совершенно не боялась. Ее звали Марджори.

Они договорились о следующей встрече; так получилось, что на протяжении следующего месяца они обедали вместе по два или даже по три раза в неделю. В те дни, когда муж собирался задержаться на

работе, Сэмюэль провожал ее на пароме до Нью-Джерси, прощаясь с ней на небольшом крыльце ее маленького дома, дожидаясь, пока она не включит газовую лампу в комнате, чтобы «в случае чего» она не осталась одна перед лицом возможной опасности. Потихоньку у них выработался целый ритуал – и это ему совсем не нравилось. Как только из окна комнаты начинал струиться уютный свет домашнего очага, это означало для него, что теперь он может спокойно удалиться. Тем не менее он никогда не пытался зайти в дом, а Марджори его никогда не приглашала.

Затем, когда отношения Сэмюэля и Марджори развились до такой степени, что они уже иногда позволяли своим рукам нежно соприкасаться – только для того, чтобы показать, что они по-настоящему близкие друзья, – между Марджори и ее мужем произошла одна из тех чувствительных, сверхболезненных ссор, которые случаются только при условии, что оба члена пары действительно заботятся и думают друг о друге. Все началось со слегка запоздавшего ужина или же маленькой утечки газа – и в результате Сэмюэль увидел ее за столиком у Тэйна с заплаканными глазами и страдальческим выражением губ.

К этому времени Сэмюэль уже думал, что любит Марджори, и поэтому постарался выжать из этой ссоры все, что только было возможно. Он был ее лучшим другом, он нежно взял ее за руку, он наклонился и почувствовал запах ее локонов, а она почти шепотом, перемежавшимся горестными всхлипами, пересказывала ему все, что сказал муж этим утром, – и он стал для нее уже немного больше чем друг, когда помогал ей садиться на конку, на которой надо было ехать до остановки парома.

– Марджори, – нежно произнес он, прощаясь с ней, как и всегда, на крыльце, – если только тебе захочется позвать меня… Помни, что я всегда жду и буду ждать всегда!

Она кивнула в ответ и взяла его за руки.

– Я знаю, – сказала она. – Я знаю, что ты мой друг, мой лучший друг!

Затем она убежала в дом, а он стоял на крыльце до тех пор, пока в окне не зажегся свет.

Всю следующую неделю Сэмюэль не мог найти себе места. Рациональная часть его сознания настойчиво предупреждала его, что

если копнуть глубже, то обнаружится, что у него и Марджори слишком мало общего, но в таких случаях земля всегда настолько тверда, что копать невозможно. Он думал и грезил о том, что любит Марджори, что он хочет ее, что она ему необходима.

Ссора продолжалась. Муж Марджори стал все чаще приходить домой позже обычного, несколько раз он позволил себе прийти домой навеселе, все чаще она стала чувствовать себя несчастной. Должно быть, гордость не позволяла им открыто обсуждать сложившуюся ситуацию – ведь, в конце концов, муж Марджори был достойным человеком, – и поэтому одно недоразумение рождало за собой другое. Марджори все больше сближалась с Сэмюэлем, ведь когда женщине симпатизирует мужчина, для нее это значит гораздо больше, чем все утешения подруг. Но Марджори даже не осознавала, как сильно она привыкла полагаться на него, как незаметно стал он неотъемлемой частью ее маленькой вселенной.

Как-то раз, вместо того чтобы развернуться и уйти, в то время как Марджори входила в дом и зажигала свет, Сэмюэль тоже зашел в дом, и они уселись на софу в маленькой гостиной. Он был счастлив. Он завидовал тому, что у них есть дом, и думал, что человек, который может отвергнуть такое достояние из одной только индюшачьей гордости, просто дурак и не достоин иметь жену. Но как только он впервые поцеловал Марджори, она тихо расплакалась и попросила его уйти. Он отплыл домой на парусах отчаянного возбуждения, совершенно уверенный в своем желании как можно сильнее раздуть эту романтическую искру и совершенно не задумываясь о том, каким будет пламя и кто в нем может сгореть. Тогда он был уверен, что все его мысли о ней не были продиктованы банальным эгоизмом; только позже он понял, что для него она значила не более чем экран для кинокартины: все, что для него имело ценность, было им же самим – ослепленным, алчущим Сэмюэлем.

На следующий день у Тэйна, во время обеда, Сэмюэль отбросил все притворство и открыто объяснился в любви. У него не было никаких планов, никаких иных намерений, за исключением одного: поцеловать эти губы еще раз, ощутить ее, такую маленькую, трогательную и любимую, снова в своих объятьях… Он проводил ее до дома, и на этот раз они целовались и целовались – до тех пор, пока

их сердца не стали биться с бешеной скоростью, подчиняясь страстным словам и фразам, срывавшимся с его губ.

Неожиданно на крыльце послышались шаги, кто-то снаружи взялся за дверную ручку. Лицо Марджори покрыла смертельная бледность.

– Постой! – испуганным шепотом возразила она Сэмюэлю, но тот, раздосадованный нежеланным вторжением, уже подошел к входной двери и распахнул ее настежь.

Каждому доводилось видеть такое на сцене – в пьесах такие ситуации встречаются так часто, что, когда с чем-то подобным люди сталкиваются в жизни, то ведут себя совсем как актеры. Сэмюэлю показалось, что он на сцене, и строчки роли вполне естественно стали срываться с его губ: он заявил, что каждый имеет право на личную жизнь и с угрозой посмотрел на мужа Марджори, как бы проверяя, не ставит ли тот под сомнение это утверждение. Муж Марджори заговорил о святости домашнего очага, сразу же забыв о том, что последнее время он не казался ему таким уж священным. Сэмюэль продолжил тему, затронув «право на счастье», муж Марджори упомянул о старине, огнестрельном оружии и разводе по суду. Затем он замолчал и критически осмотрел участников действия: трогательно сжавшуюся на софе Марджори и застывшего в позе оратора, опирающегося на комод Сэмюэля.

– Марджори, иди наверх, – спокойно сказал он.

– Останься здесь! – быстро возразил Сэмюэль.

Марджори встала, покачнулась, села обратно, затем снова встала и неуверенными шагами направилась к лестнице наверх.

– Давайте-ка выйдем на улицу, – сказал муж Сэмюэлю. – Я хочу вам кое-что объяснить.

Сэмюэль бросил быстрый взгляд на Марджори, пытаясь прочесть по глазам, что она думает, затем сжал губы и вышел за дверь.

Светила яркая луна. Когда муж Марджори сошел со ступенек, Сэмюэль ясно увидел, что тот очень сильно переживает случившееся, но ему было нисколько его не жаль.

Они стояли и смотрели друг на друга, их разделяло всего несколько футов, и муж откашлялся, прежде чем начал говорить.

– Это моя жена, – тихо сказал он, но затем в нем поднялась волна праведного гнева. – Будь ты проклят! – крикнул он и изо всех сил нанес Сэмюэлю удар.

В ту же секунду, недалеко от земли, Сэмюэля осенило, что его уже били подобным образом два раза в жизни. Инцидент вдруг превратился в окончившийся сон, и он понял, что наконец-то проснулся. Он поднялся на ноги и выпрямился. Противник находился в ярде от него, в ожидании, подняв кулаки, но Сэмюэль знал, что, несмотря на физическое превосходство в несколько дюймов и фунтов, он не станет с ним драться. Ситуация как по мановению волшебной палочки мгновенно изменилась: миг назад Сэмюэль казался сам себе настоящим героем, а теперь он чувствовал себя скотиной, случайно забредшей на чужое пастбище, и силуэт мужа Марджори, четко вырисовывавшийся на фоне освещенных окон, казался силуэтом настоящего героя, вышедшего на защиту собственного дома.

Молча Сэмюэль развернулся и в последний раз пошел вниз по тропинке.

IV

Конечно же, после третьего удара Сэмюэль на протяжении нескольких недель добросовестно занимался самоанализом. Удар, который он получил в Андовере, был направлен на его личные малопривлекательные качества; рабочий времен его учебы в колледже выбил из него остатки снобизма; муж Марджори смог избавить его от алчущего себялюбия. Примерно на год из круга его интересов исчезла погоня за юбками, а через год он встретил свою будущую жену. Единственным типом женщин, достойным его внимания, оказались те, которых можно было защищать так же, как муж Марджори защищал свою супругу. Сэмюэль не мог представить свою «соломенную вдовушку», миссис Де Ферриак, в качестве единственной причины какой-либо стычки.

К тридцати годам он уже прочно стоял на ногах. Он работал у самого Питера Кархарта-старшего, который в те дни считался чуть ли

не национальным героем. Внешне Кархарт напоминал статую Геракла, и в мире бизнеса о нем тоже слагали легенды: он делал деньги просто потому, что ему нравилось делать деньги, никогда не участвуя в дешевых спекуляциях или скандальных аферах. Он был близким другом отца Сэмюэля, но присматривался к сыну около шести лет, прежде чем пригласил его работать у себя. Одному Богу известно, сколько всего находилось у него под контролем к тому времени: шахты, железные дороги, банки, целые города. Сэмюэль был очень близок к нему, знал его привычки и настроения, его предпочтения, слабые и сильные места.

Однажды Кархарт вызвал Сэмюэля к себе в кабинет, плотно закрыл дверь, предложил ему стул и сигару.

– У тебя все в порядке, Сэмюэль? – спросил он.

– Да, а что?

– Мне стало казаться, что ты несколько подустал.

– Устал? – Сэмюэль искренне удивился.

– Ведь ты не выезжал из города уже лет десять, правда?

– Ноя ездил в отпуск, в Адирон…

Кархарт отмахнулся от такого ответа:

– Я имею в виду командировки. Чтобы самому видеть те вещи, которыми мы отсюда управляем.

– Да, – признался Сэмюэль, – я уже давно не покидал пределов конторы.

– Вот поэтому-то, – сказал Кархарт тоном, не терпящим возражений, – я и хочу отправить тебя по делам примерно на месяц.

Сэмюэль не возражал. Идея ему даже понравилась, и он решил, что как бы там ни было, а он сделает все так, как того захочет Кархарт. Безусловное подчинение было одним из «коньков» его работодателя, и окружавший его персонал был по-армейски вымуштрован и готов выполнять любые приказы, не рассуждая.

– Ты поедешь в Сан-Антонио и увидишься с Хэймилом, – продолжил Кархарт. – У него есть одно дельце, и ему нужен человек, который им займется.

Хэймил представлял интересы Кархарта на юго-западе страны и был человеком, который вырос в тени своего руководителя и с которым Сэмюэль был уже знаком заочно, по деловой переписке.

– Когда выезжать?

– Лучше всего завтра, – ответил Кархарт, взглянув на календарь. – Это будет первое мая. Я буду ждать твоего отчета к первому июня.

На следующее утро Сэмюэль отбыл в Чикаго, а два дня спустя уже сидел в кабинете Хэймила в офисе «Торгового треста Сан-Антонио». Для ознакомления с сущностью дела потребовалось совсем немного времени. Все вертелось вокруг нефти и касалось скупки семнадцати близлежащих к месторождению ранчо. Сделку необходимо было завершить в недельный срок, и это было самое обыкновенное принуждение под давлением обстоятельств. В движение были приведены силы, поставившие семнадцать землевладельцев между молотом и наковальней, и роль Сэмюэля фактически сводилась к простому наблюдению за процессом из маленькой деревушки вблизи Пуэбло. При наличии такта и некоторой сноровки правильный человек смог бы все провернуть без малейшего напряжения, потому что вся работа заключалась в надежном управлении идущим по накатанным рельсам поездом. Хэймил со столь ценимым его шефом коварством сумел все так устроить, что прибыль ожидалась гораздо большей, чем от иной сделки на «большом» рынке. Сэмюэль пожал руку Хэймилу, обещал обернуться за пару недель и отбыл в Сан-Фелипе, штат Нью-Мехико.

Конечно же, ему сразу пришло в голову, что Кархарт решил его проверить. Отчет Хэймила о его работе мог послужить началом следующего этапа в его карьере, но даже и без этого обстоятельства он бы приложил все усилия для успешного завершения предприятия. Десять лет, проведенные в Нью-Йорке, не сделали его сентиментальным; кроме того, он привык доводить до конца все, что начинал, и даже делать немного больше того, что от него требовалось.

Поначалу все шло хорошо. Конечно, прием был не особо радушным, но каждый из семнадцати владельцев ранчо знал, зачем приехал Сэмюэль, знал, что за этим стоит и знал, что у них было также мало шансов удержаться, как и у мух на оконном стекле. Некоторые безропотно покорились обстоятельствам, некоторые не желали сдаваться до конца, но, тщательно все взвесив и проведя консультации с адвокатами, так и не нашли никакой возможной зацепки. Нефть была обнаружена на пяти участках, на остальных двенадцати она, возможно, тоже была, но в любом случае эти двенадцать участков были совершенно необходимы Хэймилу для реализации его планов.

Сэмюэль довольно быстро вычислил, что лидером в этой компании был один из старожилов по имени Макинтайр, седовласый гладковыбритый мужчина лет пятидесяти, с бронзовым загаром, как и у любого, кто провел сорок лет подряд под солнцем Нью-Мексико, с ясным и спокойным лицом, привыкшим к ветрам Техаса и Нью-Мексико. На его ранчо нефть пока не была обнаружена, но его окружали нефтеносные земли, и ради того, чтобы не потерять свой участок, он был готов на все. Поначалу все смотрели на него как на единственного способного отвратить эту напасть, и он самолично исследовал все возможные для этого законные пути, но потерпел неудачу – и знал это. Он тщательно избегал встреч с Сэмюэлем, но Сэмюэль был уверен, что, когда настанет день подписания договора, он непременно появится.

И этот день настал: уже с утра майское солнце светило вовсю, от выжженной земли, насколько хватало глаз, поднимались волны горячего воздуха, а Сэмюэль суетился в своем маленьком импровизированном кабинете, расставляя стулья и скамьи и расчищая деревянный стол. Он заранее радовался, что дело было практически завершено. Ему как можно скорее хотелось вернуться к себе на восток, чтобы провести недельку на море вместе с женой и детьми.

Встреча была назначена на четыре часа, и он был несколько удивлен, когда в половине четвертого раздался стук и в дверях показался Макинтайр. Сэмюэль заочно проникся уважением к этому человеку, и ему было его немного жаль. Макинтайр, казалось, был частью этих прерий, и Сэмюэль на миг почувствовал укол зависти, которую живущие в городах люди иногда испытывают к тем, кто живет в тесном единении с природой.

– Добрый вечер, – сказал Макинтайр, остановившись в дверях, широко расставив ноги и уперев руки в бока.

– Приветствую, мистер Макинтайр. – Сэмюэль встал со стула, но решил обойтись без формального рукопожатия. Он думал, что владелец ранчо имел все основания страстно его ненавидеть, и нисколько его за это не винил.

Макинтайр вошел и неторопливо уселся на свободный стул.

– Ваша взяла, – неожиданно сказал он.

Это замечание не требовало никакого ответа.

– Как только я узнал, что за всем этим стоит Кархарт, – продолжил он, – я сдался.

– Мистер Кархарт… – начал было Сэмюэль, но Макинтайр устало отмахнулся.

– Не надо мне рассказывать об этом пройдохе!

– Мистер Макинтайр, – резко отозвался Сэмюэль, – если эти полчаса вы решили провести за разговорами подобного рода…

– Остыньте, юноша, – перебил его Макинтайр, – слова не могут оскорбить человека, который занимается подобными вещами.

Сэмюэль ничего не ответил.

– Это же просто грязное мошенничество. А сам мошенник не по зубам людям вроде нас.

– Но вам предложили честную цену, – возразил Сэмюэль.

– Заткнись! – резко оборвал его Макинтайр. – Я хочу, чтобы ты меня выслушал.

Он подошел к двери и посмотрел на расстилавшуюся перед ним землю, на залитые солнцем пастбища, начинавшиеся прямо от крыльца и заканчивавшиеся подернутыми зеленой дымкой далекими горами на горизонте. Когда он снова обернулся, его губы дрожали.

– Вот вы любите Уолл-стрит? – хрипло спросил он. – Или где там еще вы вынашиваете ваши чертовы планы?

Он сделал паузу.

– Думаю, что любите. Ни одна живая тварь не опускается до такой степени, чтобы хоть немножко не любить то место, где проходит его жизнь, то место, где его потом полито поле, которое дает ему плоды.

Сэмюэль посмотрел на него и почувствовал себя неуверенно. Макинтайр отер вспотевший лоб большим синим платком и продолжил:

– Я понимаю, что проклятый старый черт захотел заграбастать еще один миллион. Я понимаю, что мы всего лишь горстка бедняков, которую он мимоходом сметает со своего пути для того, чтобы прикупить себе еще пару шикарных колясок или чего-то в этом роде. – Он рукой указал в сторону двери. – Когда мне было семнадцать, вот этими руками я выстроил здесь дом. Когда мне исполнилось двадцать один, я привел в него жену, пристроил еще два крыла, купил четырех паршивых волов и начал пахать. Сорок лет подряд я смотрел, как солнце утром поднимается из-за этих гор, а вечером опускается вниз в

кроваво-красном мареве, жара спадает, а затем на небе появляются звезды. В этом доме я был счастлив. В нем родился мой сын, в нем он и умер, весной – в такой же, как сегодня, жаркий вечер. А потом мы с женой стали жить одни, как и прежде, и пытались представить, что у нас есть настоящий *дом*, ну пусть почти настоящий, потому что нам всегда казалось, что наш сын где-то рядом, и часто по вечерам нам чудилось, что вот он, бежит по нашей тропинке, чтобы не опоздать на ужин.

Его голос задрожал, он не мог продолжать и снова отвернулся к двери; его серые глаза сузились.

– Это – моя земля, – произнес он, обведя пространство перед собой рукою, – моя земля, данная мне Господом. Это все, что у меня есть в этом мире, и это все, что мне в нем нужно. – Он стремительно провел рукавом рубахи по лицу, и его тон изменился, когда он повернулся и посмотрел Сэмюэлю в глаза: – Но, как я понимаю, если они захотят, то могут все это у меня отнять… Все отнять…

Сэмюэль почувствовал необходимость что-то сказать. Он почувствовал, что еще минута – и он совершенно потеряет голову. Поэтому как можно более спокойным тоном, приберегаемым им для улаживания самых неприятных дел, он начал:

– Это бизнес, мистер Макинтайр, – сказал он, – все в рамках закона. Возможно, что двоих или троих из вас мы не смогли бы купить ни за какие деньги, но основная часть владельцев согласилась на нашу цену. Иногда приходится жертвовать некоторыми вещами ради прогресса…

Никогда еще его собственные слова не казались ему столь фальшивыми. Неожиданно в нескольких сотнях ярдах от дома послышался приближающийся цокот копыт, что, к облегчению Сэмюэля, избавило его от необходимости продолжать свою речь.

Но и того, что он сказал, оказалось достаточно, чтобы горечь в глазах Макинтайра сменилась яростью.

– Ты и твоя чертова шайка! – воскликнул он. – Ни один из вас не испытывает ни капли любви ни к чему на этой земле! Вы все – отродье свиньи-копилки!

Сэмюэль поднялся со стула, и Макинтайр сделал шаг по направлению к нему:

– Ну что ж, краснобай, ты получишь нашу землю. А вот это можешь передать лично Питеру Кархарту!

От неожиданного молниеносного удара Сэмюэль, подпрыгнув, осел на пол. В голове у него все перемешалось, он смутно осознал, что кто-то вошел в комнату и схватил Макинтайра, но в этом уже не было необходимости. Владелец ранчо сам сел на стул и обхватил свою седую голову руками.

В голове Сэмюэля все еще шумело. Он осознал, что получил четвертый удар, и его захлестнул поток эмоций, вызванный тем, что неумолимый механизм, управлявший его жизнью, был снова приведен в действие. Все еще ничего не видя вокруг, он поднялся с пола и вышел из комнаты.

Последовавшие десять минут были, возможно, самыми тяжелыми за всю его жизнь. Многие на словах превозносят смелость в отстаивании собственной позиции, но в реальной жизни обязанности человека по отношению к своим близким вполне могут заставить его считать окоченелый труп чьей-то необходимости достаточным оправданием для того, чтобы забыть о своих убеждениях и скрыться под маской благоразумия. Сэмюэль всегда думал о своей семье, но не колебался ни секунды. Нокаут стал хорошим подспорьем для принятия решения.

Вернувшись в комнату, где его с беспокойством ожидали собравшиеся к назначенному часу землевладельцы, он не стал тратить время на объяснения.

– Джентльмены, – сказал он, – мистер Макинтайр любезно объяснил мне, что в этом деле правда находится на вашей стороне, а претензии Питера Кархарта являются абсолютно неоправданными. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы смогли владеть принадлежащей вам землей до конца ваших дней.

Оставив изумленное собрание, он вышел из комнаты и в течение следующего получаса отправил две телеграммы, содержание которых ошеломило телеграфиста настолько, что работа почтового отделения оказалась парализованной до следующего утра: одна была адресована Хэймилу в Сан-Антонио, вторая – Питеру Кархарту в Нью-Йорк.

Сэмюэль не смог уснуть в ту ночь. Он думал о том, что впервые за всю свою карьеру окончательно и бесповоротно провалил порученное ему дело. Какой-то подсознательный инстинкт – сильнее, чем воля,

сильнее, чем опыт, – заставил его сделать то, что, скорее всего, положит конец всем его планам и амбициям. Но дело было сделано, и ему даже не приходило в голову, что он мог поступить как-нибудь иначе.

Наутро ему принесли две телеграммы. Первая была от Хэймила. В ней было всего два слова:

«Проклятый идиот»

Вторая была из Нью-Йорка:

«Бросай все немедленно выезжай Нью-Йорк Кархарт»

Последовавшая неделя оказалась богатой на события. Хэймил яростно отстаивал свой план, был вызван в Нью-Йорк и провел незабываемые полчаса «на ковре» в кабинете Питера Кархарта. В июле он окончательно отказался работать в интересах Кархарта, а в августе тридцатипятилетний Сэмюэль Мередит был официально объявлен новым партнером Кархарта. Четвертый удар сделал свое дело.

Думаю, что у каждого есть хоть одна недостойная черта, накладывающая отпечаток на личность, образ мыслей и даже на внешний облик. Кое-кто умеет держать это в секрете, и мы никогда не узнаем об этом до тех пор, пока однажды не получим добрый удар в спину в темном закоулке. У Сэмюэля эта черта характера всегда проявлялась в действии, и ее созерцание приводило окружающих в ярость. Можно считать, что ему повезло, ведь когда его бес вылезал из своего укрытия, то всегда встречал на своем пути достойный отпор, заставлявший его снова прятаться обратно и долго восстанавливать силы. Один и тот же бес, одна и та же причина заставили его приказать друзьям Джилли покинуть его кровать и зайти в дом к Марджори.

Если бы вам только представилась возможность провести ладонью по подбородку Сэмюэля Мередита, вы обязательно бы почувствовали припухлость от давно зажившего шрама. Он признается, что так до сих пор и не знает, какой из ударов стал причиной появления шрама, но зато знает, что ни за что на свете он не хотел бы с ним расстаться. Он любит повторять, что «…кто старое помянет, тому глаз вон», и

объясняет, что иногда, перед тем как принять какое-нибудь решение, ему просто необходимо дотронуться до своего подбородка. Репортеры принимают это за обыкновенную маленькую причуду, но мы-то знаем, что это не так. Это движение позволяет ему вновь ощутить пронзительную чистоту и ясность сознания, как после каждого из тех четырех ударов.

Майра и его семья

I

Наверное, каждый, кто учился в университете на востоке страны в последнее десятилетие, встречал Майру не меньше полудюжины раз, потому что Майрам жизненно необходимы университеты, как котятам – теплое молочко. В юности – лет в семнадцать или около того – все зовут Майру «чудесное дитя»; в девятнадцать лет она достигает своего расцвета, и должное ей отдают весьма тонким комплиментом, – едва лишь в беседе звучит ее имя, как всем уже сразу понятно, о ком идет речь; затем она превращается в «ту, с-бала-на-бал» или в «ту-Майру-что-от-моря-и-до-моря».

Вы можете увидеть ее практически в любой зимний день, если зайдете в вестибюль отеля «Билтмор». Обычно она там в компании второкурсников, только что прибывших из Принстона или Нью-Хейвена и пытающихся договориться, куда именно им лучше отправиться, чтобы скрасить танцами веселые часы: в клуб «Де-Винч» или же в «Красную гостиную» отеля «Плаза»? Потом один из второкурсников приглашает ее в театр, а затем зовет на февральский бал в университете – и тут же ныряет в такси, чтобы не опоздать на последний поезд.

И в номере на одном из верхних этажей ее непременно поджидает сонная матушка.

Когда Майре стукнет двадцать четыре, она вспомнит всех тех милых парней, за которых когда-то могла бы выйти замуж, вздохнет и отправится искать лучшее из того, что еще осталось. Но, прошу вас, без комментариев! Она же подарила вам свою юность, именно она под нежными взглядами множества глаз очаровательной кометой пронеслась по множеству балов, и ведь это она стала причиной неведомых дотоле романтических порывов в сотнях сердец юных варваров, – да разве хоть кто-нибудь осмелится сказать, что все это ничего не значит?

Мне следует немного рассказать о прошлом той Майры, о которой пойдет речь в этом рассказе. Я постараюсь изложить все как можно короче.

В шестнадцать лет она жила в особняке в Кливленде и училась в школе «Дерби» в штате Коннектикут. Именно тогда, в школьные годы, она начала посещать школьные танцы и университетские балы. Войну она решила переждать в женском колледже Смита, но в первый же год учебы, в январе, сильно влюбилась в одного юного офицера сухопутных войск, провалилась на экзаменах за первый семестр и с позором вернулась в Кливленд. Туда же неделю спустя прибыл и юный офицер.

Примерно в то самое время, когда она уже была почти уверена, что разлюбила его, ему пришел приказ отправляться на фронт, и в порыве вновь нахлынувшего чувства она вместе с матерью прибыла в порт отправки, чтобы там с ним попрощаться. Первые два месяца она писала ему ежедневно, следующие два месяца – раз в неделю, затем написала ему еще одно письмо. Это последнее письмо он так и не получил, потому что в один дождливый июльский день его череп насквозь пробила пуля из вражеского пулемета. Возможно, оно было и к лучшему, потому что в том письме она написала, что все, что между ними было, было ошибкой, и что-то ей подсказывает, что они никогда не будут счастливы вместе, и так далее.

Это самое «что-то» носило сапоги, в петлицах у него были серебряные крылышки, а сам он был темноволос и статен. Майра была абсолютно уверена, что на этот раз перед ней ее суженый, но,

поскольку в середине августа в Келли-Филд пропеллер рассек его пополам, ей так и не удалось убедиться в этом наверняка.

И она вновь прибыла на восток страны: чуть похудела, стала немного бледнее (это ей шло), под глазами появились небольшие тени. Весь последний военный год она оставляла окурки от своих сигарет по всему Нью-Йорку в небольших фарфоровых пепельницах, украшенных названиями «Полночные шалости», «Коконат Гроув» и «Пале-Рояль». Ей был двадцать один год, и все кливлендские знакомые говорили, что матери следует вернуть ее домой, потому что Нью-Йорк ее портит.

На этом, пожалуй, и остановимся. Давно уже пора начинать наш рассказ.

Сентябрьским днем она отказалась от приглашения в театр ради чашки чая в компании юной миссис Артур Элкинс, с которой когда-то делила комнату в школьном общежитии.

– Хотелось бы мне, – сказала Майра, когда они уселись за изящный столик, – быть сеньоритой, или мадмуазель, или кем-то в этом роде. Подумать только! После выхода в свет только и остается, что выйти замуж, да и на покой!

Лейла Элкинс уже сталкивалась с подобным томлением духа.

– Да, действительно, – холодно ответила она. – Так и сделай!

– Лейла, мне кажется, что я уже не способна увлечься, – сказала Майра, подавшись вперед. – Я так много флиртовала, что теперь, целуясь с мужчиной, сразу же думаю: скоро ли он мне надоест? Никаких таких сильных чувств, как раньше!

– А сколько тебе лет, Майра?

– Прошлой весной исполнился двадцать один.

– Что ж, – самодовольно сказала Лейла, – прими от меня совет: не выходи замуж, пока тебе окончательно не наскучит флирт! Ты же понимаешь, как много ты теряешь?

– Пока не наскучит?! Да я уже по горло сыта своим бессмысленным существованием! Как это ни смешно, Лейла, но я

чувствую себя какой-то древней развалиной! Прошлой весной в Нью-Хейвене со мной танцевали мужчины, которые выглядели как мальчишки; и в гардеробной я случайно услышала, одна девушка сказала: «Это же Майра Харпер! Она сюда уже восемь лет катается». Конечно, года на три она обсчиталась, но все же это вызвало у меня легкую календарную грусть.

– Мы с тобой впервые поехали на бал, когда нам было по шестнадцать, – пять лет назад.

– Боже мой! – вздохнула Майра. – А теперь меня уже некоторые ребята боятся! Так жалко! Да еще и самые симпатичные… Один вот по выходным три недели подряд ездил ко мне аж из Морристауна, и вдруг – как черт от ладана! Какой-то добрый приятель нашептал ему, что в этом году я активно ищу мужа, и он испугался, что все зайдет слишком далеко!

– Ну ты ведь и правда в активном поиске и хочешь замуж, разве не так?

– Думаю, да… В некотором смысле. – Майра умолкла и осторожно огляделась вокруг. – Ты знакома с Ноулетоном Уитни? Знаешь, он изумительно выглядит, а отец у него, говорят, очень состоятельный! Когда нас представляли, я заметила – он вздрогнул, услышав мое имя, и тут же стушевался, но, Лейла, дорогая, я же отнюдь не древняя и не невзрачная, правда?

– Конечно, правда! – рассмеялась Лейла. – И мой тебе совет: выбирай лучшее из того, что есть, – выбирай мужчину, у которого есть все, что тебе нужно, в плане ума, внешности, положения в обществе и денег; затем приложи все силы, чтобы его захватить, – ну, как раньше, у нас с тобой ведь все всегда получалось! И когда он станет твоим, не говори себе: «Ах, но он не умеет петь, как Билли!» или «Эх, ему бы еще поучиться играть в гольф». Нельзя получить все и сразу. Закрой глаза, отключи чувство юмора, а когда выйдешь замуж, все покажется тебе уже в ином свете, и ты будешь очень счастлива.

– Да, – рассеянно сказала Майра. – Такой совет я уже слышала.

– Легко быть романтиком, когда тебе восемнадцать! – подчеркнула Лейла. – Но через пять лет вся твоя романтика улетучивается, как дым!

– Мне было так хорошо, – вздохнула Майра. – Такие симпатичные парни были рядом со мной! Сказать по правде, я уже решила, за кем мне приударить.

– И за кем же?

– За Ноулетоном Уитни. Поверь: может, я и выгляжу несколько пресыщенной, но я все еще могу заполучить любого, кого только захочу!

– А ты его и правда хочешь?

– Да. Если кого и хочу, так только кого-нибудь вроде него! Он сногсшибательный и застенчивый… Очень милый и застенчивый… И еще, говорят, у них потрясающее имение в округе Вестчестер!

Лейла допила чай и бросила взгляд на свои наручные часики:

– Мне пора бежать, дорогая!

Обе встали и, неторопливо выйдя на Парк-авеню, поймали такси.

– Я ужасно рада за тебя, Майра; я знаю, что ты будешь очень счастлива!

Майра обошла небольшую лужицу на асфальте и, подойдя к такси, задержалась на подножке авто, балансируя, словно балерина:

– Пока, Лейла! Увидимся!

– До свидания, Майра. Удачи тебе!

И, хорошо зная Майру, Лейла подумала, что в данном случае последнее пожелание было излишним.

II

Главным образом именно поэтому в пятницу вечером шесть недель спустя Ноулетон Уитни заплатил таксисту семь долларов десять центов и, в смешанных чувствах, остановился рядом с Майрой на лестнице отеля «Билтмор».

Под внешней, безумно счастливой оболочкой его разума постепенно зрел тяжкий испуг от того, что он натворил. Ведь это он сам, защищаемый уже с первого курса Гарварда от ловушек очаровательных охотниц за состояниями, он самый, кого – с его молчаливого согласия – удалось буквально за загривок оттащить от

нескольких юных и милых созданий, сейчас воспользовался отлучкой родителей на запад страны и умудрился так запутаться в силках, что теперь было сложно сказать, где силки, а где – он!

День прошел, как во сне: в ноябрьских сумерках после дневного спектакля они с Майрой смотрели на городскую толпу из романтического уединения кэба – что за удивительный экипаж! – и вот они уже сидят за чаем в «Ритце», и ее белая рука лежит на темном подлокотнике соседнего кресла, внезапно звучат торопливые сбивчивые слова… Затем они едут в ювелирный магазин, потом – безумный ужин в каком-то маленьком итальянском ресторанчике, где на обороте меню он написал: «Ты?» и передал его ей, а она подписала снизу вечно чудесное: «Ты же знаешь, что да!» А вот и день подходит к концу, и они стоят на лестнице у «Билтмора».

– Скажи! – шепнула Майра ему на ухо.

Он сказал.

Ах, Майра, как много воспоминаний, должно быть, пронеслось в твоей памяти в этот момент!

– Я так счастлива, милый! – нежно сказала она.

– Нет! Это я счастлив! Ты же знаешь… Майра…

– Знаю!

– Навсегда?

– Навсегда! Смотри, что у меня есть! – И она поднесла к губам новое кольцо с бриллиантом. О, Майра знала, что следует делать в таких случаях!

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! Спокойной ночи…

Словно призрачная фея в мерцающем розовом платье, она легко взбежала по широким ступеням; ее щеки горели, когда она вызывала лифт.

Через две недели она получила от него телеграмму, которой он сообщал, что родители вернулись с запада и приглашают ее на недельку в гости в свое имение в округе Вестчестер. Майра телеграфировала время прибытия поезда, купила три новых вечерних платья и принялась паковать дорожный сундук.

Она приехала холодным ноябрьским вечером; сойдя с поезда в густых сумерках, она слегка поежилась от холода и поискала взглядом Ноулетона.

Какое-то время на платформе было много народу, все возвращались из города – слышалась разноголосица приветствий жен и семейных шоферов, затем раздалось громкое ворчание лимузинов, сдававших назад, разворачивавшихся и отъезжавших от станции. А затем – она и опомниться не успела – платформа опустела, и вокруг не осталось ни одного роскошного автомобиля. Должно быть, Ноулетон перепутал поезд!

С едва слышным «Черт возьми!» она пошла к возведенному в Елизаветинскую эпоху зданию станции, чтобы позвонить по телефону, но тут какая-то грязная и неряшливо одетая личность, приподнявшая в качестве приветствия свою видавшую виды фуражку, обратилась к ней надтреснутым и ворчливым голосом:

– Это вы мисс Харпер?

– Да, – сильно удивившись, ответила она. Неужели эта немыслимая личность могла быть шофером?

– Шофер приболел, – продолжала личность пронзительным ноющим тоном. – Я его сын!

Майра открыла от изумления рот:

– Вы про шофера мистера Уитни?

– Да! Как война началась, так он оставил только одного шофера. Экономит изо всех сил, чистый Гувер! – Он нервно потоптался и хлопнул в ладоши, облаченные в огромные краги. – Ну да ладно, чего тут на холоде стоять, болтать-то? Давайте ваш саквояж.

Потеряв от изумления дар речи, но ничуть не обескураженная, Майра последовала за своим провожатым до самого конца платформы. Напрасно она искала глазами лимузин – его там не было. Но долго удивляться ей не пришлось, потому что личность направилась прямо к видавшей виды машинке-развалюхе, в кабину которой и был помещен ее саквояж.

– Лимузин поломался, – пояснил он. – Придется ехать на этом или пешком. – Он открыл для нее переднюю дверь и кивнул: – Залезайте!

– Если вы не возражаете, я, пожалуй, сяду сзади!

– Да как хотите, – фыркнул он, открыв заднюю дверь. – Я просто подумал, что дорожный сундук небось по дороге станет болтаться туда-сюда на сиденье, вы и разнервничаетесь.

– Какой еще сундук?

– Ну, ваш.

– Ах, а разве мистер Уитни… Разве нельзя сделать две поездки?

Он упрямо покачал головой:

– Не разрешает! С тех пор как началась война. Богатые должны подавать пример, вот что мистер Уитни твердит. Давайте-ка квитанцию на багаж.

Когда он удалился, Майра безуспешно попыталась представить себе шофера, у которого мог бы быть такой сын. После загадочной перепалки с багажным агентом человек вернулся, отчаянно задыхаясь, таща на спине дорожный сундук. Водрузив его на заднее сиденье, он вскарабкался за руль впереди, рядом с ней.

Было уже совсем темно, когда они свернули с дороги и по длинной тенистой аллее подъехали к особняку семейства Уитни, освещенные окна которого отбрасывали большие пятна веселого желтоватого света на гравий, лужайку и деревья. Даже сейчас было видно, что дом очень красивый, в его неясных контурах угадывались черты колониального стиля Джорджии, а по обеим сторонам от дома были разбросаны обширные тенистые парки. Машина, дернувшись, остановилась перед квадратными каменными воротами особняка, шоферский сын выкарабкался из машины вслед за Майрой и распахнул дверь дома.

– Заходите! – фыркнул он; она переступила через порог и услышала, как он тихо затворил за ней дверь, оставшись снаружи вместе с темнотой.

Майра огляделась. Она находилась в обширном мрачном холле, обшитом на английский манер дубовыми панелями и освещавшемся тусклыми, полускрытыми плафонами, светильниками, напоминавшими светящихся желтых черепах, развешанных на равных расстояниях по стенам. Прямо перед ней была широкая лестница, по бокам которой было несколько дверей; вокруг не слышалось ни звука, никого не было видно, а с темно-малинового ковра, казалось, поднималась вверх напряженная неподвижность.

Так она простояла, должно быть, целую минуту, пока не почувствовала на себе чей-то взгляд; она заставила себя непринужденно повернуться.

В нескольких ярдах, вопросительно глядя на нее, стоял лысый, чисто выбритый коротышка с желтоватым лицом, наряженный в опрятный сюртук и белые гетры. На вид ему было лет пятьдесят, но ему не нужно было даже двигаться, чтобы ей в глаза бросилась

распространяемая им вокруг себя забавная резвость, – сама его поза говорила о том, что она вот-вот сменится, пусть даже он ее только что принял. Миниатюрные ручки, ножки и причудливый изгиб бровей делали его похожим на проказника-эльфа, и у нее тут же возникло смутное мимолетное чувство, что когда-то давно она его уже где-то видела.

Мгновение они молча смотрели друг на друга; затем она чуть покраснела, и ей захотелось откашляться.

– Вы, должно быть, мистер Уитни? – Она чуть улыбнулась и сделала по направлению к нему шажок. – Меня зовут Майра Харпер!

Еще мгновение он молчал и не двигался, и Майра подумала, что он, должно быть, глуховат; затем, словно механический паяц, он дернулся, будто кто-то нажал кнопку и вдохнул в него душу.

– Ах, разумеется… Естественно! Я знаю… О да! – взволнованным пронзительным голоском эльфа воскликнул он; встав на цыпочки в порыве едва сдерживаемого энтузиазма, он одарил ее худосочной улыбкой и засеменил по темному ковру.

Она, как и подобало, залилась румянцем.

– Ужасно мило с вашей…

– Ах! – продолжал он. – Вы, должно быть, устали? Ужасная, неровная и грязная дорога, я знаю! Вы устали; вас, без сомнений, мучают голод и жажда! – Он с негодованием посмотрел вокруг. – Слуги в этом доме прямо-таки ужасно небрежны!

Майра не знала, что на это можно было сказать, и промолчала. Отвлекшись на мгновение, мистер Уитни с присущей ему буйной энергией пробежал по ковру и нажал кнопку; затем, словно танцуя, он опять оказался рядом с ней, слегка пренебрежительно всплескивая руками.

– Одну минуточку! – затараторил он. – Шестьдесят секундочек, не больше! Сейчас, вот!

Он резко бросился к стене и с некоторым усилием приподнял огромный резной стул в стиле Людовика Четырнадцатого, аккуратно вынес его на самую середину ковра и там поставил.

– Прошу вас, присядьте! Присаживайтесь! Я вам сейчас что-нибудь принесу. Всего шестьдесят секунд, и я вернусь!

Она стала отказываться, но он продолжал повторять «Присаживайтесь!» таким обиженным и одновременно исполненным

надежды тоном, что Майре пришлось сесть на стул. Хозяин дома тут же удалился.

Она просидела пять минут, чувствуя, как ею овладевает подавленность. Еще никогда ей не оказывали столь странного приема. Хотя где-то она читала, что Ладлоу Уитни считается одной из самых эксцентричных фигур мира финансов, она не ожидала встретить похожего на эльфа коротышку с желтоватым лицом, да еще и перемещавшегося исключительно вприпрыжку, – это все нанесло удар ее чувству формы. Хорошо бы он привел Ноулетона! Она сидела и безостановочно сплетала-расплетала пальцы.

Услышав резкий кашель сбоку, она нервно вздрогнула. Вернулся мистер Уитни. В одной руке он нес стакан молока, в другой – синюю кухонную плошку, доверху наполненную черствыми гренками в виде кубиков, которые обычно кладут в супы.

– Проголодались с дороги? – сочувственным тоном воскликнул он. – Бедная девочка, ах, бедная девчушка умирает с голоду! – Последнее слово он произнес с таким напором, что даже молоко слегка расплескалось.

Майра покорно приняла угощение. Есть ей не хотелось, но на поиски этой еды он потратил десять минут, и поэтому отказываться было бы невежливо. Она робко пригубила молоко и съела одну гренку, пытаясь придумать, что бы такое сказать. Но эту проблему за нее решил мистер Уитни, удалившись вновь, – на этот раз он ускакал по широкой лестнице, преодолевая сразу по четыре ступеньки; лишь на мгновение в полутьме наверху сверкнул его лысый затылок.

Время шло. Майра разрывалась между негодованием и замешательством: почему она должна восседать на огромном неудобном стуле посреди холла и грызть гренки? Где это видано – так принимать в гостях невесту сына?

Ее сердце облегченно дрогнуло, когда с лестницы донеслось знакомое насвистывание. Наконец-то, Ноулетон! Увидев ее, он разинул от изумления рот:

– Майра?

Она аккуратно поставила плошку и стакан на ковер и с улыбкой встала со стула.

– Вот это да! – воскликнул он. – А мне даже не сказали, что ты приехала!

– А я тут с твоим папой знакомлюсь…

– Батюшки! Он, наверное, убежал наверх и забыл! Он что, угощал тебя вот этим? А что же ты ему не сказала, что не хочешь?

– Ну… Я не знаю…

– Милая, не обращай на папу внимания. Он рассеянный и в некотором роде оригинал, но ты к нему привыкнешь.

Он нажал кнопку, появился дворецкий.

– Проводите мисс Харпер в комнату, распорядитесь, чтобы принесли ее багаж, если его еще не принесли. – Он повернулся к Майре: – Милая, как жаль, что я не знал, что ты уже приехала! Давно ты здесь?

– Ах, да всего пару минут…

Минут было вообще-то двадцать с лишним, но зачем ему об этом говорить? Тем не менее у нее возникло какое-то странное нехорошее чувство.

Через полчаса, когда она застегивала последний крючок на своем вечернем платье, в дверь постучали.

– Майра, это я, Ноулетон! Если ты уже готова, давай перед ужином заглянем на минутку к маме?

Бросив последний довольный взгляд на свое отражение в зеркале, она выключила в комнате свет и вышла в коридор. Он повел ее по центральной галерее, коридор от которой отходил в другое крыло дома; у одной из дверей они остановились, он постучался и ввел Майру в самую странную комнату, которую она когда-либо видела.

Помещение представляло собой просторный роскошный будуар, обшитый, как и холл внизу, на английский манер дубовыми панелями; несколько ламп заливало все вокруг спокойным оранжевым светом, размывая очертания предметов в комнате, словно янтарная дымка. В огромном кресле с пестрой шелковой обивкой высоко на подушках возлежала весьма крепкая на вид пожилая дама с ярко-седыми волосами и тяжеловесными чертами; казалось, что она там находится уже очень-очень много лет. Она сонно покоилась на подушках, полузакрыв глаза; под черным халатом вздымался и опадал огромный бюст.

Однако в комнате было нечто еще более замечательное, чем эта дама, так что взгляд Майры скользнул по ней лишь мельком, – так сильно захватило ее воображение кое-что другое. На ковре, на стульях

и на диванах, на огромной постели с балдахином и на мягком коврике из ангорской шерсти перед камином сидело, лежало и спало множество белых пуделей. Их было почти две дюжины – завитая шерсть падала челками на мечтательные собачьи глаза, на шеях были повязаны широкие желтые банты. Когда вошли Майра и Ноулетон, собак охватило волнение; двадцать один черный мокрый нос взмыл вверх, двадцать одна миниатюрная глотка принялась издавать отрывистый шумный лай, и в комнате воцарился такой гам, что Майра от неожиданности сделала шаг назад.

От шума сонные глаза толстой дамы дрогнули и открылись; низким хриплым голосом, который сам по себе до странности напоминал лай, она отрывисто скомандовала: «Прекратить этот гам!» – и собачий галдеж тут же стих. Сидевшие у камина два-три пуделя с блестящими глазами укоризненно переглянулись, негромко поворчали и улеглись, слившись с белоснежным ковриком из ангорской шерсти. Взъерошенный шарик на коленях у дамы уткнулся носом в изгиб локтя и опять закрыл глаза. Если бы не комки белой шерсти, разбросанные по комнате, Майра могла бы решить, что все это ей просто почудилось.

– Мама! – произнес Ноулетон, выдержав паузу. – Это Майра!

С губ дамы упало лишь одно хриплое слово:

– Майра?

– Она приехала к нам в гости, я тебе рассказывал…

Миссис Уитни подняла пухлую руку и устало провела ладонью по лбу.

– Дитя мое! – сказала она, и Майра вздрогнула, потому что голос вновь напомнил ей низкое собачье ворчание. – Ты хочешь выйти замуж за моего сына Ноулетона?

Майре показалось, что этим вопросом прицеп ставится впереди авто, но все же утвердительно кивнула в ответ:

– Да, миссис Уитни.

– Сколько тебе лет? – резко спросила дама.

– Мне двадцать один, миссис Уитни.

– Н-да… Ты родом из Кливленда? – это она уже практически пролаяла.

– Да, миссис Уитни.

– О!

Майра не была уверена, относилось ли последнее восклицание к разговору или это был просто стон, поэтому решила ничего не отвечать.

– Вы уж меня простите, я внизу почти не бываю, – продолжала миссис Уитни. – Когда мы здесь живем, я редко покидаю эту комнату и моих милых песиков!

Майра кивнула; с ее губ вот-вот готов был сорваться вежливый вопрос о здоровье, но она вовремя поймала предостерегающий взгляд Ноулетона и тут же прикусила язык.

– Что ж, – произнесла миссис Уитни; ее тон подразумевал, что разговор окончен. – Мне кажется, что вы – весьма милая девушка. Заходите еще!

– Доброй ночи, мама! – сказал Ноулетон.

– Доброй! – сонно пролаяла миссис Уитни, и ее глаза стали постепенно закрываться, а голова вновь упала обратно в подушки.

Ноулетон открыл дверь, и Майра, чувствуя себя слегка озадаченной, вышла из комнаты. Идя по коридору, они услышали у себя за спиной взрыв яростного лая – шум закрываемой двери вновь пробудил пуделей ото сна.

Спустившись на первый этаж, они обнаружили, что мистер Уитни уже сидит за накрытым к ужину столом.

– Просто очаровательно! Истинное наслаждение! – нервно улыбаясь, воскликнул он. – Одна большая семья, и вы, милая моя, ее главное украшение!

Майра улыбнулась, Ноулетон нахмурился, а мистер Уитни захихикал.

– Мы живем здесь в одиночестве, – продолжил он, – почти что в уединении – лишь мы втроем… И мы ждем, что вы принесете сюда солнечный свет и тепло, присущий вам блеск и цветение юности! Это будет просто восхитительно! Вы поете?

– Ну… Да… То есть немного…

Он с энтузиазмом захлопал в ладоши:

– Потрясающе! Великолепно! И что вы предпочитаете? Оперу? Романсы? Легкий жанр?

– Ну, в основном легкий жанр…

– Прекрасно! Я лично тоже предпочитаю легкий жанр. Кстати, сегодня вечером у нас будут танцы!

– Папа! – угрюмо произнес Ноулетон. – Ты что, взял и пригласил к нам толпу гостей?

– Я попросил Монро пригласить буквально несколько человек, соседей, – объяснил он Майре. – У нас тут все живут очень дружно; мы постоянно устраиваем небольшие неформальные приемы. Ах, это ведь просто восхитительно!

Майра поймала взгляд Ноулетона; в ее глазах читалось сочувствие. Было очевидно, что этот первый вечер ему хотелось бы провести с ней наедине и новость о гостях выбила его из колеи.

– Я представлю им Майру, – продолжал отец. – Хочу, чтобы они увидели, сколь восхитительное украшение появилось в нашем скромном домике!

– Отец, – вдруг сказал Ноулетон, – конечно же, со временем мы с Майрой пожелаем жить здесь, вместе с тобой и с мамой, но первые два-три года, как мне кажется, нам лучше всего будет пожить в Нью-Йорке!

Раздался грохот. Мистер Уитни сгреб пальцами скатерть, и лежавшие рядом с ним серебряные столовые приборы звенящей кучей грохнулись на пол.

– Глупости! – в ярости воскликнул он, грозно помахав своим коротеньким пальчиком сыну. – Ты говоришь глупости! Вы будете жить здесь, понятно? Здесь! Что за дом без детей?

– Но, отец…

Разволновавшись, мистер Уитни вскочил; его желтоватое лицо покрылось неестественным румянцем.

– Тишина! – взвизгнул он. – Если ты рассчитываешь на какую-либо помощь с моей стороны, то получить ее ты сможешь лишь под крышей моего дома – и нигде больше! Ясно? А что касается вас, моя изысканная юная леди, – продолжил он, махнув трясущимся пальчиком в сторону Майры, – то вам следует запомнить, что вы будете жить здесь, и только здесь! Наша семья живет в этом доме, и так будет и впредь!

Он на мгновение замер, встав на цыпочки, бросая гневные взгляды то на нее, то него, а затем внезапно развернулся и поспешно покинул комнату.

– Да-а-а… – изумленно выдохнула Майра, повернувшись к Ноулетону. – И кто бы мог подумать?

III

Через несколько часов она добралась до кровати, не чуя под собой ног; ее терзали досада и тревога. Наверняка она знала одно: она не будет жить в этом доме! Как угодно, но Ноулетону придется убедить отца снять для них квартиру в городе. Коротышка с желтоватым лицом действовал ей на нервы; она не сомневалась, что собаки миссис Уитни теперь еще долго будут сниться ей по ночам; небрежные манеры шофера, дворецкого, горничных и даже гостей никак не вязались с ее представлениями о жизни в богатом поместье.

В легкой дремоте она пролежала почти час; а затем из соседней комнаты вдруг раздался резкий крик, и она, вздрогнув, почти совсем проснулась. Она села в кровати и прислушалась; минуту спустя крик повторился. Больше всего он напоминал плач усталого ребенка, который тут же приглушили, прикрыв ему рукой рот. В окружающей тьме и тишине изумление понемногу сменилось беспокойством. Она подождала, не повторится ли плач; но, сколько она ни напрягала свой слух, в ушах лишь звенело напряженное пружинящее безмолвие трех утра. Она подумала о Ноулетоне; его спальня находилась в другом крыле особняка, рядом с комнатой матери. Здесь, выходит, была только она одна – или не одна?

Чуть приоткрыв рот, она вновь легла и стала прислушиваться. С детских лет она не боялась темноты, но чье-то нежданное присутствие в соседней комнате ее испугало, заставив воображение перебирать кучу страшных историй, которыми она иногда убивала долгие вечера.

Услышав, как часы пробили четыре, она обнаружила, что очень устала. На сцену ее воображения медленно опустился занавес; повернувшись на бок, она почти сразу же уснула.

Наутро, гуляя с Ноулетоном среди сияющих морозным инеем кустов опустевшего парка, она почувствовала легкость в сердце и

удивилась: с чего это ночью ее вдруг одолела тоска? Наверное, любая семья покажется странной, когда приезжаешь в гости впервые и видишь незнакомых людей в столь интимной обстановке. Но твердое намерение сделать так, чтобы они с Ноулетоном жили где угодно, лишь бы рядом не было белых песиков и прыгучего коротышки, никуда не исчезло. А уж если все общество округа Вестчестер состоит сплошь из чопорных типажей вроде тех, что почтили своим присутствием танцы накануне…

– Моя родня, – сказал Ноулетон, – должно быть, выглядит не совсем обычной. Думаю, я вырос в довольно странной атмосфере, но мама совершенно нормальна, если не считать ее склонность держать дома пуделей в неимоверных количествах, а папа, несмотря на всю свою эксцентричность, занимает очень прочное положение на Уоллстрит.

– Ноулетон, – внезапно спросила она, – а кто живет в комнате рядом с моей?

Неужели он вздрогнул и слегка покраснел? Или это ей показалось?

– Я спрашиваю, – неторопливо продолжала она, – потому что практически уверена, что слышала, как ночью там кто-то плакал. Было похоже на плач ребенка, Ноулетон!

– Но там никого нет! – решительно ответил он. – Тебе показалось… или ты что-то не то съела? А может, какая-нибудь горничная захворала?

Закончив на этом, он тут же сменил тему разговора.

День пролетел быстро. Мистер Уитни за обедом, кажется, совсем забыл, в каком настроении завершил вчерашний вечер; он, как и всегда, был исполнен нервной восторженности; и, глядя на него, Майра вновь подумала, что где-то она его уже видела. Вместе с Ноулетоном она опять навестила миссис Уитни, и вновь пудели тревожно зашумели и разлаялись, и вновь их резко унял хрипловатый гортанный голос. Беседа была краткой, отдающей ароматом застенка святой инквизиции. Она, как и предыдущая, окончилась смыканием сонных век дамы и прощальной песнью в исполнении собак.

Ближе к вечеру она узнала, что мистер Уитни со свойственным ему напором умудрился прямо сегодня организовать вечерний неформальный концерт для соседей. В танцевальном зале водрузили сцену, и Майра уселась в первом ряду, рядом с Ноулетоном, с

любопытством наблюдая за действом. Сначала пели две тощие высокомерные дамы; какой-то мужчина продемонстрировал древние, как мир, карточные фокусы; некая девица показывала пародии; затем, к изумлению Майры, на сцене появился сам мистер Уитни и довольно лихо сплясал чечетку. Было что-то невыразимо жуткое в том, как с мрачной торжественностью порхали взад-вперед по сцене коротенькие ножки знаменитого финансиста. Но танцевал он отлично, с легкой и непринужденной грацией, и сорвал шквал аплодисментов.

В полумраке зала к Майре вдруг обратилась сидевшая слева дама:

– Мистер Уитни просил вам передать, что хотел бы пригласить вас за кулисы!

Недоумевая, Майра встала и поднялась по боковой лестнице, которая вела за сцену. Там ее уже поджидал суетливый хозяин дома.

– Ага! – захихикал он. – Великолепно!

Он протянул ей руку, и она с недоумением ее приняла. Не дав ей времени сообразить, что за этим последует, он тут же повел ее – точнее, почти что потащил – на сцену. Они оказались под лучами прожекторов, и в зале стих шум разговоров. Прямо на нее из мрака глядели неровные пятна мертвенно-бледных лиц, и она почувствовала, как у нее краснеют уши, пока мистер Уитни готовился говорить.

– Дамы и господа! – начал он. – Большинство из вас уже знакомо с мисс Майрой Харпер. Вы уже имели честь быть ей представленными вчера. Она – прелестная девушка, уверяю вас! Кому это знать, как не мне! Она намеревается стать женой моего сына!

Он сделал паузу, покивал головой и принялся хлопать в ладоши. Публика тут же подхватила аплодисменты, и Майра оцепенела от ужаса – ей еще никогда не приходилось испытывать такого смущения.

Писклявый голосок продолжал:

– Мисс Харпер не только красива, но и талантлива. Вчера она призналась мне, что любит петь! Я спросил, что она предпочитает: оперу, романс или же легкий жанр? И она сказала, что больше всего ее привлекает последнее! И сейчас мисс Харпер исполнит для нас песню в легком жанре!

И вот Майра уже стоит на сцене одна, застыв от смущения. Ей почудилось, что на лицах сидящих в первом ряду читаются критическое ожидание, скука и ироническое осуждение. Вот уж

действительно ярчайший пример дурного тона – взять и поставить неподготовленного гостя в такую ситуацию!

В повисшей тишине она хотела было сказать пару слов о том, что мистер Уитни не совсем верно ее понял, но тут на помощь ей пришел гнев. Она вскинула голову, и сидевшие в первом ряду заметили, как она резко поджала губы.

Подойдя к краю сцены, она коротко спросила у дирижера оркестра:

– У вас есть ноты «Помани меня косточкой»?

– Так, посмотрим… Да, есть!

– Отлично. Поехали!

Она торопливо просмотрела слова песни, которую совершенно случайно, от скуки, разучила прошлым летом, будучи у кого-то в гостях. Возможно, это была не та песня, с которой она бы хотела впервые появиться на публике, но выбора не было. Она лучезарно улыбнулась, кивнула дирижеру и запела негромким чистым альтом.

По ходу песни ею все больше и больше овладевало шутливо-ироничное настроение – и еще желание показать, что и она хороша ничуть не меньше, чем предыдущие артисты. И она постаралась! Каждое сленговое слово текста она пропевала с ист-сайдским ворчанием; она станцевала рэгтайм, она показала шимми, она изобразила даже фокстрот, который выучила, принимая участие в каком-то любительском мюзикле. В порыве вдохновения она закончила номер, как Эл Джонсон: стоя на коленях и протянув руки к публике в синкопированной мольбе.

Затем она встала, поклонилась и ушла со сцены.

Мгновение висела тишина, словно в холодном склепе; затем несколько человек вяло и небрежно похлопали в ладоши, а через секунду и эти аплодисменты стихли.

«Боже мой! – подумала Майра. – Неужели я так плохо выступила? Или я их шокировала?»

Однако мистер Уитни выглядел вполне довольным. Он ждал ее у выхода со сцены; он сразу же с энтузиазмом стал жать ей руку.

– Просто чудесно! – захлебывался он. – Вы – великолепная актрисочка, вы займете чрезвычайно важное место в нашей домашней труппе! Не желаете ли выйти на бис?

– Нет! – резко ответила Майра и отвернулась.

В темном углу она подождала, пока не разойдется публика. Сейчас она злилась и не могла смотреть им в глаза, ведь они ее не приняли!

Когда танцевальный зал опустел, она медленно поднялась по лестнице; в темном коридоре она натолкнулась на занятых горячей перепалкой Ноулетона и мистера Уитни.

Как только они ее увидели, спор тут же прекратился; оба внимательно на нее посмотрели.

– Майра! – произнес мистер Уитни. – Ноулетон хочет с тобой поговорить!

– Отец, прошу тебя… – с надрывом перебил его Ноулетон.

– Молчать! – воскликнул отец, запальчиво возвысив голос. – Ты сделаешь то, что должен, – и немедленно!

Ноулетон бросил на него еще один умоляющий взгляд, но мистер Уитни лишь с напряжением покачал головой, развернулся и удалился по лестнице, словно призрак.

Ноулетон на мгновение застыл, затем взял ее за руку и с выражением упрямой решимости повел к комнате в дальнем конце коридора. Они вошли в дверь; желтый свет из коридора упал на пол обширного темного помещения. На стенах виднелись какие-то большие прямоугольники; она подумала, что это, должно быть, рамы. Ноулетон нажал на кнопку, вдохнув жизнь в сорок портретов: показались кавалеры давно минувшей колониальной эпохи, дамы в широкополых, как у Гейнсборо, шляпах, толстые леди в высоких накрахмаленных воротниках, со спокойно сложенными руками.

Она вопросительно повернулась к Ноулетону, а он повел ее вперед, к ряду висевших сбоку картин.

– Майра! – медленно и болезненно сказал он. – Я должен тебе кое о чем рассказать. Здесь, – он указал рукой на картины, – портреты моих предков.

Картин было семь; три женщины, трое мужчин; все портреты были написаны еще до Гражданской войны. Одна картина, в середине, была скрыта завесой из малинового бархата.

– Возможно, сейчас тебе будет смешно, – все так же размеренно продолжал Ноулетон, – но в этой раме находится портрет моей прабабки.

Он протянул руку и потянул за короткий шелковый шнур; завеса разошлась, открыв портрет одетой в европейское платье китаянки.

– Видишь ли, мой прадед занимался импортом чая в Австралию и свою будущую жену он встретил в Гонконге.

У Майры закружилась голова. Она вдруг припомнила желтоватый цвет лица мистера Уитни, его характерные брови, миниатюрные кисти рук и стопы; ей тут же припомнилось все, что она слышала об ужасном парадоксе атавизма, проявляющемся через несколько поколений… О китайских младенцах… А затем ее окончательно накрыла волна ужаса – она вспомнила приглушенный крик в ночи! У нее захватило дыхание, колени подогнулись, и она стала медленно оседать прямо на пол.

Ноулетон тут же ее подхватил.

– Милая, милая! – воскликнул он. – Не надо было тебе рассказывать! Я не должен был тебе рассказывать!

Не успел он договорить, как Майра уже окончательно и бесповоротно поняла, что никогда не сможет выйти за него замуж; как только эта мысль утвердилась у нее в голове, она бросила на него дикий, исполненный жалости взгляд и впервые в жизни упала в обморок.

IV

Она пришла в себя, лежа в постели. Включив ночник, она увидела, что одежда аккуратно сложена рядом – видимо, ее раздевала и укладывала горничная. С минуту она просто лежала, слушая, как часы в коридоре бьют второй час; затем ее взвинченные нервы в ужасе дрогнули, потому что до нее вновь донесся детский плач из соседней комнаты. Она вдруг почувствовала, как бесконечно долго еще до утра… Рядом с ней таился какой-то мрачный секрет: ее лихорадочное воображение нарисовало маленького китайчонка, которого держали там, в полумраке…

В приступе паники она надела халат, распахнула дверь и поспешила по коридору к комнате Ноулетона. В другом крыле особняка было темно; она открыла дверь и при слабом свете из холла увидела, что постель пуста – сегодня в ней явно никто не спал. Ее испуг усилился. Что могло помешать ему уснуть в столь поздний час? Она направилась к комнате миссис Уитни, но вспомнила о собаках и своих голых коленках, удрученно вздохнула и прошла мимо.

И вдруг она увидела, что чуть дальше по коридору из приоткрытой двери льется свет и доносится голос Ноулетона! Слегка покраснев от радости, она бросилась туда. Когда до двери оставался лишь фут, она обнаружила, что можно заглянуть внутрь, но, едва бросив взгляд в щель, тут же утратила всякое желание заходить.

Перед камином стоял Ноулетон, склонив голову и всем своим видом выражая уныние; в углу, положив ноги на стол, в одной рубашке сидел мистер Уитни, очень тихий и спокойный, с видимым удовольствием покуривая большую черную трубку. На столе восседала почти что миссис Уитни – точнее, это и была миссис Уитни, но без волос. Из знакомого огромного бюста торчала лысая голова с лицом миссис Уитни; на щеках выступала щетина, изо рта торчала толстая черная сигара, которой она с явным удовольствием затягивалась.

– Тысяча? – простонал Ноулетон, словно бы отвечая на вопрос. – Лучше сказать, две с половиной – это гораздо ближе к истине! Мне сегодня из «Грехемской конуры» прислали счет за пуделей! Хотят стрясти с меня две сотни и еще заявляют, что заберут собак прямо завтра!

– Ну что ж, – низким баритоном заявила миссис Уитни, – пусть забирают! Нам они больше не понадобятся.

– Если бы только это! – хмуро продолжал Ноулетон. – А если прибавить твой гонорар, да еще гонорар Эпплтона, и гонорар того парня, который изображал шофера, и еще семьдесят человек массовки на два вечера да оркестр – выйдет почти тысяча двести! А еще ведь надо заплатить за прокат костюмов, и за этот проклятый китайский портрет, да еще отступные слугам, чтоб помалкивали! Господи! Мне же еще месяц, наверное, будут слать счета то за одно, то за другое!

– Ну-ну-ну, – сказал Эпплтон, – я тебя умоляю, соберись! Дело надо довести до конца. Даю тебе честное слово: уже завтра к полудню ноги этой девицы не будет в твоем доме!

Ноулетон рухнул на стул и обхватил голову руками:

– О-о-о!

– Соберись с силами! Назад пути нет. Тогда, в коридоре, мне показалось, что тебе уже не хочется разыгрывать нашу китайскую линию?

– Да! Этот концерт… Для меня это было уж слишком, – тяжело вздохнул Ноулетон. – Ни одна девушка не заслуживает такой подлости, а ведь она, черт возьми, еще и смогла так достойно выйти из этого положения!

– Ну а куда же ей было деваться? – цинично заметила миссис Уитни.

– Ах, Келли, видел бы ты, как она посмотрела на меня, перед тем как упала в обморок у портрета! Господи, я верю, что она меня любит! Ох, если бы ты только ее видел!

Стоявшая за дверью Майра покраснела. Она теснее прижалась к двери, кусая губы, пока не почувствовала слегка солоноватый привкус крови.

– Если бы я только мог хоть что-нибудь сделать! – продолжал Ноулетон. – Что угодно, лишь бы все уладилось, клянусь – я бы даже не задумался!

Келли – его торчавшая из женского халата лысая голова выглядела очень смешно – тяжелой походкой подошел к Ноулетону и похлопал его по плечу:

– Послушай, мальчик мой! Ты просто нервничаешь. Давай-ка подумаем вот о чем: ты принял меры, чтобы выпутаться из ужасных неприятностей. Дело совершенно ясное: девчонке нужны твои деньги – она затеяла игру, но ты ее победил; сам ты при этом избежал несчастного брака, а семью уберег от страданий. Разве не так, Эпплтон?

– Абсолютно верно! – решительно поддержал его Эпплтон. – И дело надо довести до конца!

– Ну да… – печальным тоном праведника произнес Ноулетон. – Если бы она и правда меня любила, все это вряд ли бы на нее сильно подействовало… Не за родителей же моих она замуж собралась!

Эпплтон рассмеялся:

– А мне показалось, что мы приложили все усилия, чтобы ей стало ясно, что дело обстоит именно так!

– Ах, да замолчи ты! – с грустью воскликнул Ноулетон.

Майра заметила, как Эпплтон подмигнул Келли.

– Именно так! – сказал он. – Она же ясно показала, что ей нужны твои деньги! И в таком случае нет никаких причин не доводить дело до конца. Смотри сам! Либо ты окончательно убеждаешься, что она тебя не любит, избавляешься от нее и остаешься свободным как ветер; она уползает и никогда даже не заикается о том, что тут было, и концы в воду, и твои ни о чем никогда не узнают. Либо выходит, что две с половиной тысячи выброшено на шавок, ты вступаешь в несчастный брак – девушка тебя точно возненавидит, как только обо всем узнает; ты лишаешься семьи, а возможно, тебя лишат и наследства за то, что ты на ней женился. И любой тебе скажет: это просто куча, неприятностей!

– Ты прав, – печально согласился Ноулетон. – Наверное, ты прав… Но, ах! Как же она тогда на меня посмотрела! Она, наверное, сейчас лежит, не в силах уснуть, и слушает, как там плачет китайчонок…

Эпплтон встал и зевнул.

– Что ж… – начал он.

Но дальше слушать Майра не стала. Подобрав полы своего шелкового халата, в ярости и на одном дыхании она молнией пронеслась по мягкому ковру коридора в свою комнату.

– Боже мой! – воскликнула она, сжав в темноте кулаки. – О, боже мой!

V

Незадолго до рассвета Майра погрузилась в беспокойный сон, который, как ей показалось, продолжался бесконечно. Проснулась она около семи; апатично полежала на кровати, свесив вниз руку, на которой проступили голубые линии вен. Она, протанцевавшая до рассвета не на одном балу, сейчас чувствовала себя очень усталой!

За дверью пробили часы; она нервно вздрогнула, и что-то внутри нее словно оборвалось, – она перевернулась в постели и навзрыд разревелась в подушку; волосы темным нимбом разметались вокруг ее головы. Она – Майра Харпер – попалась на такую дешевую и вульгарную уловку, устроенную тем, кого она считала застенчивым и добрым!

Ему не хватило смелости прийти и сказать ей правду, и он вышел на большую дорогу и нанял людей, чтобы ее запугать!

Между лихорадочными всхлипами она тщетно пыталась постичь, что же должно быть в голове у того, кто так коварно все это устроил? Ее гордость не позволяла ей предположить, что план был придуман Ноулетоном. Идея, скорее всего, родилась у этого коротышки актера, Эпплтона, или же у толстяка Келли, с его кошмарными пуделями. Это все было словами не описать, это было просто немыслимо! Она почувствовала острый стыд.

Но в восемь утра она вышла из комнаты, и, не зайдя позавтракать, пошла в сад, и выглядела она при этом уверенной в себе юной красавицей с холодным взором; слезы высохли, остались лишь легкие тени под глазами. Приближалась зима; твердую землю покрывал иней, серое пасмурное небо как нельзя больше соответствовало ее настроению, действуя неопределенно-успокаивающе. День подходил для раздумий, а ей как раз и нужно было поразмышлять.

Свернув за угол, она неожиданно увидела Ноулетона, сидевшего на каменной скамье в глубоком унынии; голову он уронил на руки. На нем был вчерашний костюм; было очевидно, что эту ночь он провел без сна.

Он не заметил ее, пока она не подошла совсем близко и сухая ветка не хрустнула под ее каблучком, – лишь тогда он устало вскинул голову. Она заметила, что прошедшая ночь перевернула все у него в душе вверх дном: лицо было мертвенно-бледным, глаза покраснели, опухли и выглядели смертельно усталыми. Он вскочил так, словно его вспугнули.

– Доброе утро! – спокойно произнесла Майра.

– Присаживайся! – нервно начал он. – Садись! Я хочу с тобой поговорить. Мне надо с тобой поговорить!

Майра кивнула и, сев на скамейку рядом с ним, обхватила руками колени и прикрыла глаза.

– Майра, бога ради, сжалься надо мной!

Она вопросительно на него посмотрела:

– О чем это ты?

Он издал тяжелый вздох:

– Майра, я совершил нечто ужасное – по отношению к тебе, к себе, к нам! Мне нет прощения – я совершил подлость! Наверное, я сошел сума!

– Ты хоть намекни, о чем ты говоришь?

– Майра… Майра! – Как и все тяжелые тела, его признание в силу инерции медленно набирало скорость. – Майра… Мистер Уитни – не мой отец!

– Ты хочешь сказать, что он тебя усыновил?

– Нет. Я хочу сказать… Ладлоу Уитни мой родной отец, но тот человек, которого ты знаешь, не Ладлоу Уитни!

– Знаю, – холодно ответила Майра. – Это актер Уоррен Эпплтон.

Ноулетон вскочил на ноги:

– Да как ты…

– Ах, – с легкостью солгала Майра, – я узнала его в первый же день! Видела его лет пять назад в «Грейпфруте из Швейцарии»…

Услышав это, Ноулетон совсем обессилел и вяло сел обратно на скамью:

– Ты знала?

– Конечно! А что я могла поделать? Мне просто стало интересно, что тут вообще происходит.

Он с трудом попытался собраться:

– Майра, я хочу рассказать тебе все!

– Внимательно слушаю!

– Ну, начну с мамы – с моей настоящей мамы, а не той дамы с дурацкой псарней; она не здорова, я у нее единственный ребенок… Ее главной целью в жизни всегда было одно – подобрать мне подходящую партию, а подходящей она всегда считала только партию с положением в английском высшем обществе. Главнейшим разочарованием для нее стало то, что родилась не девочка и выдать своего ребенка за титулованную особу никак не получится; вместо этого она решила затащить меня в Англию, женив на дочке или сестре какого-нибудь графа или герцога. Да что там говорить – перед тем как оставить меня этой осенью в Нью-Йорке без присмотра, она взяла с меня обещание,

что я не стану встречаться ни с одной девушкой больше чем дважды. А я встретил тебя! – Он на мгновение умолк и решительно продолжил: – Ты была первой девушкой, которую мне захотелось взять в жены. Ты меня опьянила, Майра! Я чувствовал себя так, словно ты заставила меня любить с помощью какой-то невидимой силы!

– Так и было, – пробормотала Майра.

– Первое опьянение длилось неделю; затем от мамы пришло письмо, в котором она написала, что домой вместе с ней приедет чудесная английская девушка, леди Елена Такая-Сякая. И в тот же день один человек рассказал мне, что до него дошли слухи о том, что я попался в сети к знаменитой на весь Нью-Йорк охотнице за богатыми женихами! И вот эти-то две новости чуть не свели меня с ума. Я поехал в город, чтобы увидеться с тобой и разорвать помолвку; подошел к лестнице в «Билтморе», и смелость меня покинула. Я, как безумный, пошел шататься по Пятой авеню, и там я встретил Келли. Я рассказал ему свою историю, и через час мы выработали этот кошмарный план. Это был его план – все придумал он! Сработало его актерское чутье, и он заставил меня поверить, что это будет самый гуманный выход из положения!

– Договаривай! – решительно скомандовала Майра.

– Все, как нам казалось, шло замечательно. Все: встреча на перроне, сцена за ужином, плач в ночи, концерт – хотя это уже показалось мне слегка чересчур – до тех пор, пока… Пока… Ах, Майра, когда ты упала в обморок перед картиной и я держал тебя на руках! Ты была беспомощна, словно ребенок, и я понял, что я тебя люблю! И тогда я пожалел, что мы все это устроили, Майра!

Последовала долгая пауза; она сидела неподвижно, ее руки все так же сжимали колени. А затем он разразился неистовой страстной мольбой, шедшей прямо у него из сердца.

– Майра! – воскликнул он. – Если вдруг ты найдешь в себе силы простить мне все, что я натворил, я женюсь на тебе сразу же, как только ты этого захочешь; я пошлю к черту всю свою родню и буду любить тебя до конца жизни!

Она надолго задумалась.

Ноулетон встал и принялся нервно ходить взад-вперед посреди сбросивших листья кустов, засунув руки в карманы. Его усталые глаза

теперь смотрели жалостливо, с безрадостной мольбой. И она приняла решение.

– Ты абсолютно уверен? – спокойно спросила она.

– Да.

– Очень хорошо. Я выйду за тебя сегодня.

При этих словах все вокруг словно бы опять обрело чистоту, а заботы свалились у него с души, словно камень. Из-за серых туч показалось солнышко, как это обычно бывает «бабьим летом», и сухие ветви кустарника нежно зашуршали на ветру.

– Ты совершил ужасную ошибку, – продолжала она, – но если ты уверен, что любишь меня, то это – главное! Прямо сейчас, с утра, мы поедем в город, возьмем лицензию на брак и съездим к моему кузену – он служит священником в Первой пресвитерианской церкви. Вечером мы уедем на запад.

– Майра! – с ликованием воскликнул он. – Ты – чудо, а я недостоин тебе даже шнурки завязывать! Я заглажу свою вину, обещаю, милая!

И, обняв ее стройное тело, он покрыл ее лицо поцелуями.

Следующие два часа промчались, как одно мгновение. Майра позвонила по телефону своему кузену, а затем убежала наверх собирать вещи. Когда она спустилась вниз, на аллее ее уже ждал чудесным образом материализовавшийся новенький «родстер», и в десять утра они благополучно покатили в город.

Они сделали короткую остановку у мэрии, затем наведались в ювелирную лавку, а затем оказались в доме его преподобия Уолтера Грегори на Шестьдесят девятой улице, где постного вида джентльмен с моргающими глазками и легким заиканием гостеприимно их принял, настойчиво предложив им до начала церемонии позавтракать яичницей.

На пути к вокзалу они сделали лишь одну остановку – отправить телеграмму отцу Ноулетона; и вот они уже сели в купе экспресса «Бродвей лимитед».

– Черт! – воскликнула Майра. – Я сумку забыла! Разволновалась и оставила ее у кузена Уолтера…

– Ничего страшного. В Чикаго купим тебе все новое.

Она бросила взгляд на свои наручные часики:

– Как раз успею позвонить ему и попросить, чтобы он отправил ее вслед за нами.

Она встала.

– Только недолго, дорогая!

Она наклонилась и поцеловала его в лоб:

– Конечно, не беспокойся! Буду через пару минут, мой сладкий!

Выйдя из поезда, Майра быстро пробежала по платформе, затем поднялась по стальной лестнице в большой зал ожидания, где ее поджидал мужчина – мужчина с моргающими глазками и легким заиканием.

– Ну, и к-как в-все прошло, Майра?

– Прекрасно! Ах, Уолтер, ты был просто великолепен! Я так хочу, чтобы тебе дали сан – тогда ты сможешь меня обвенчать, когда я и вправду буду выходить замуж.

– Ну, я… Я же п-полчаса п-порепетировал, к-когда ты п-позвонила!

– Жаль, мало было времени! А то бы я его заставила еще квартиру снять и купить туда мебель!

– Гм… – хихикнул Уолтер. – Интересно, как далеко его занесет в его «медовый» месяц?

– Пока не доедет до Элизабет, будет думать, что я где-то в поезде. – Она помахала своим маленьким кулачком огромному мраморному своду. – Ах, и все же он еще легко отделался! Слишком легко!

– Я т-так и не п-понял, ч-чего т-тебе этот п-парень сделал, Майра?

– И надеюсь, никогда не поймешь!

Они вышли на боковую улицу; он поймал для нее такси.

– Ты просто ангел! – просияла Майра. – И я тебе по гроб жизни обязана!

– Что ж, в-всегда р-рад б-быть тебе п-полезным… К-кстати, а ч-что т-ты с-собираешься д-делать со в-всеми этими к-кольцами?

Майра, улыбнувшись, посмотрела на руку.

– Да, задача… – сказала она. – Можно послать их леди Елене Такой-Сякой… Или… У меня ведь всегда была слабость к сувенирам… Уолтер, скажи водителю, чтобы ехал в «Билтмор»!

Сказки века джаза (1922)

Маме, совсем некстати

Содержание

Мои последние эмансипе

Лоботряс

Это рассказ о Юге, действие происходит в маленьком городке Тарлтон, в штате Джорджия. У меня наблюдается глубокая привязанность к Тарлтону, но стоит мне только написать о нем рассказ, как сразу же со всего Юга начинают сыпаться письма, совершенно недвусмысленно меня осуждающие. И «Лоботряс», опубликованный в «Метрополитен», собрал эти укоризненные отзывы сполна.

Рассказ был написан при странных обстоятельствах, вскоре после того как был опубликован мой первый роман; более того, это был первый рассказ, написанный мною в соавторстве. Обнаружив, что мне никак не удается описать сцену игры в кости, я обратился за помощью к своей жене, которая, будучи родом с Юга, предположительно является одним из наиболее авторитетных экспертов по технике и терминологии этого популярного и приятного способа времяпрепровождения.

Половина верблюда

Думаю, что из всех моих рассказов именно этот родился легче остальных и доставил мне больше всего удовольствия. Что касается вложенного в него труда, то писался он в Новом Орлеане, за сутки, с целью покупки платиновых наручных часов с бриллиантами, стоивших шестьсот долларов. Я начал в семь утра и закончил в два часа ночи. Рассказ был опубликован в еженедельнике «Сатердей ивнинг пост» в 1920-м и в том же году был включен в ежегодный сборник «Памяти О. Генри». В этом сборнике он понравился мне меньше всех.

Ну а больше всего мне нравится в нем то, что все, что касается верблюда, чистая правда. Честно говоря, я все еще связан словом

чести, данным джентльмену, о котором идет речь в рассказе: я пообещал, что на следующий карнавал обязательно пойду с ним в качестве задней половины верблюда. Такова цена права быть его летописцем!

Первое мая

Эта отнюдь не легкомысленная сказка, опубликованная в качестве повести в журнале «Смарт сет» в июле 1920-го, рассказывает о серии событий, происходивших весной предыдущего года. Каждое из трех описанных событий произвело на меня неизгладимое впечатление. В жизни они не были связанными, если не считать общей истерии той весны, увенчавшейся началом «Века джаза», однако в своем рассказе я попытался – боюсь, что неудачно, – сплести их в одно целое так, чтобы получившаяся цепочка смогла передать чувства хотя бы одного представителя нью-йоркской молодежи той поры.

Фаянсовый и розовый

– А вы публикуетесь в каких-нибудь других журналах? – спросила юная леди.

– О, да! – уверил ее я. – Например, несколько рассказов и пьес я опубликовал в «Смарт сет»…

Юная леди вздрогнула.

– «Смарт сет»! – воскликнула она. – Кто бы мог подумать, вы?! В этом журнале печатают всякие глупости про девиц в голубых ваннах!

И тут мне представилась изумительная возможность поведать ей о том, чья глупость под названием «Фаянсовый и розовый» появилась в этом журнале несколько месяцев тому назад.

Фантазии

Огромный, как «Ритц», алмаз

Следующие несколько рассказов написаны «в моей иной манере», сказал бы я, будь моя фигура повнушительнее. «Огромный, как „Ритц“, алмаз», напечатанный прошлым летом в «Смарт сет», писался исключительно для моего собственного удовольствия. Я находился в известном состоянии, характеризующемся стремлением к роскоши, и рассказ был начат как попытка удовлетворения этой тяги с помощью средств воображения.

Один широко известный критик оценил эту феерию как лучшее из написанного мной. Лично я предпочитаю «Прибрежного пирата». Но да будет нам позволено немного исказить Линкольна: «Если вам нравятся такие вещи, по-видимому, эта вещь вам понравится».

Странная история Бенджамина Баттона

Сюжет рассказа родился из известного замечания Марка Твена о том, как жаль, что лучшая часть жизни проходит ближе к началу, а худшая – ближе к концу. Мой эксперимент всего лишь над одним человеком в самом обычном мире едва ли смог воздать его идее хотя бы должное. Несколько недель спустя по завершении рассказа я неожиданно наткнулся на практически идентичный сюжет в «Записных книжках» Сэмюэля Батлера.

Появление рассказа прошлым летом в «Кольере» побудило одного моего анонимного почитателя из Цинциннати написать мне такое изумительное письмо:

«Сэр, Я прочел рассказ Бенджамин Батлер в „Кольере, и хочу сказать, что для писателя рассказов вы выдающийся псих я видал

много штучик в жизни но из всех штучик вы самая выдающееся. Жалко тратить на вас бумагу но не могу молчать».

Тарквиний из Чипсайда

Этот написанный почти шесть лет назад рассказ является плодом ночных бдений студента Принстона. После значительной правки в 1921 году он появился в «Смарт сет». В то время, когда он был задуман, у меня было лишь одно желание – стать поэтом, – и здесь явно прослеживается тот факт, что тогда для меня главным было звучание каждой фразы, а больше всего на свете я опасался следовать традиции – пусть не в отношении содержания и уж точно не в форме. Моя исключительная любовь к этому творению объясняется, скорее всего, его возрастом, нежели присущими ему достоинствами.

«О, рыжая ведьма!»

К моменту написания этого рассказа я только что завершил черновик моего второго романа. Чтобы отвлечься, я решил взяться за рассказ, в котором, как известно, ни одного из героев не требуется рассматривать во всех подробностях. Боюсь, что я несколько увлекся полученной свободой от общепринятой схемы изложения, которой всегда надлежит строго придерживаться. Однако по некотором размышлении я решил оставить все как есть, несмотря на то что читатель может быть несколько озадачен аспектом времени. В свое оправдание могу только сказать, что независимо от того, как годы обходились с Мерлином Грейнджером, лично я всегда думал о нем в настоящем времени.

Рассказ был напечатан в «Метрополитэн».

Шедевры вне категорий

Осадок счастья

Могу сказать, что этот рассказ сразу явился мне во всей своей неотразимости, прямо-таки умоляя меня о том, чтобы я его записал. Возможно, многие расценят его как набор сантиментов – однако замысел был намного обширнее. Таким образом, если вдруг в нем не хватает искренности или даже трагизма, поверьте, недостатки, не присущи сюжету, – это всего лишь мое неумение с ним обращаться.

Рассказ напечатан в «Чикаго трибьюн» и впоследствии был увенчан, кажется, золотым лавровым венком четвертой степени или чем-то в этом роде от одного из составителей книжных антологий, которые сегодня так и кишат среди нас. Вкус джентльмена, о котором я говорю, обычно склоняется к нехитрым мелодрамам с тропическим вулканом или призраком Джона Поля Джонса в роли Немезиды, тщательно маскирующимся в первых параграфах, обычно написанных в джеймсовской манере с намеками на дальнейшие мрачные и изысканные завихрения сюжета. Примерно вот так:

«Случай с Шоу Мак-Фи, как ни странно, не имел никакого отношения к практически невозможным умозаключениям Мартина Сило. Это так, к слову; однако по крайней мере три сторонних наблюдателя, чьи имена я пока что вынужден опустить, признавали невозможным и т. д. и т. п.», в том же духе до тех пор, пока бедная зверюшка «воображение» не будет наконец вынуждена выбежать в открытое поле из норки и не начнется мелодрама.

Мистер Липкин

Главной отличительной чертой этого творения является тот факт, что это – единственное из публиковавшихся в журналах произведений, написанное в нью-йоркском отеле. Дело свершилось в спальне «Никербокера», а вскоре после этого почтенная гостиница навсегда закрыла свои двери.

Когда умолк плач и окончился траур, произведение было опубликовано в «Смарт сет».

Джемина

Этот скетч, написанный, как и «Тарквиний из Чипсайда», в Принстоне, был опубликован годы спустя в «Вэнити фэйр». За технический прием должен выразить свою благодарность мистеру Стивену Ликоку.

Рассказ долго казался мне смешным, особенно когда я впервые прочитал написанное, но больше я уже смеяться не могу. Тем не менее, поскольку другие все еще находят его забавным, я решил включить его в этот сборник. Мне кажется, он стоит того, чтобы сохранить его под обложкой хотя бы на те несколько лет, пока вихрь изменчивой моды не скроет меня, мои книги и этот рассказ вместе с ними.

Приношу свои извинения за это невозможное «Содержание» и одновременно передаю эти сказки «Века джаза» в руки тех, кто читает на бегу и бежит вперед, пока читает.

Лоботряс

I

Джим Пауэлл был лоботрясом. Как бы мне ни хотелось, чтобы герой рассказа был симпатичен, вводить читателя в заблуждение на этот счет было бы нечестно. Он был прирожденным, проверенным, стопроцентным лоботрясом и неторопливо рос в течение всего сезона урожая, который в краях ниже линии Диксона-Мэйсона длится круглый год.

Если вам сегодня придет в голову назвать уроженца Мемфиса лоботрясом, тот, скорее всего, извлечет из кармана штанов длинную прочную веревку и повесит вас на первом попавшемся телеграфном столбе. Если же вы решите назвать лоботрясом уроженца Нового Орлеана, тот, скорее всего, широко улыбнется и язвительно спросит, кто пригласил вашу девушку на бал в Марди-Грас. Тот тип лоботрясов, к которому принадлежал главный герой этого рассказа, представляет собой нечто среднее между этими двумя; происходит он из маленького городка с населением тысяч сорок, вот уже сорок тысяч лет тихо дремлющего на юге Джорджии, лишь изредка ворочающегося в дреме и сквозь сон бормочущего что-то о войне, имевшей место где-то, когда-то и уже давным-давно забытой всеми остальными.

Джим был лоботрясом. Я написал это еще раз просто потому, что это так хорошо звучит, совсем как начало сказки, доброй сказки о Джиме. Мне он сразу представляется таким круглолицым, румяным, в шапке, из которой торчат клочки сена и листья. Однако этот Джим был высоким, тощим и сутулым оттого, что слишком много времени проводил за карточным столом; на равнодушном севере таких зовут лодырями. Ну а в краях, где все еще помнят, что такое Конфедерация, за этим классом, проводящим всю жизнь в спряжении глагола «бездельничать» в первом лице единственного числа: я бездельничаю,

я бездельничал, я буду бездельничать, – прочно утвердилось прозвище «лоботрясы».

Джим родился в белом доме на зеленом холме. Фасад дома украшали четыре облезшие колонны, сзади находилась огромная садовая решетка, создававшая веселый фон для заросшей цветами солнечной лужайки. Первым обитателям белого дома принадлежала земля справа, слева и позади, но это было так давно, что даже отец Джима мог с трудом припомнить те времена. Честно говоря, он придавал данному факту настолько малое значение, что, даже умирая от огнестрельной раны, полученной в уличной стычке, не стал упоминать о нем при прощании с малышом Джимми, которому к тому времени исполнилось пять и который очень испугался. Белый дом превратился в пансион, которым управляла чопорная леди из Мэйкона; Джим называл ее «тетя Мамми» и ненавидел всей душой.

Когда ему исполнилось пятнадцать, он поступил в среднюю школу; его черных волос почти перестала касаться расческа, он стал бояться девушек. Он ненавидел свой дом, в котором четыре женщины и один старик из года в год тянули бесконечный спор о том, какие участки первоначально входили во владение Пауэллов, а также какие цветы расцветут вслед за этими. Иногда родители девочек из города, вспоминая о матери Джима и надеясь обнаружить сходство темных глаз и волос, приглашали его на дни рождения детей, но на этих вечеринках он всегда очень стеснялся и вообще предпочитал проводить время, сидя на сломанном автомобильном мосте в гараже Тилли, бросая кости либо неустанно исследуя свои зубы при помощи длинной соломинки. Чтобы зарабатывать карманные деньги, он брался за все, что подвернется, и именно из-за этого окончательно перестал появляться на вечеринках со сверстниками. Уже на третьей вечеринке маленькая Марджори Хайт нетактично прошептала – так, что это услышал и он, – что уже видела этого мальчика, когда он доставлял им домой товары из бакалейной лавки. Поэтому, вместо того чтобы выучить тустеп и польку, Джим выучился выбрасывать с помощью костей на выбор по желанию любое число, а также выслушал массу правдивых баек обо всех перестрелках, произошедших в округе в течение последних пятидесяти лет.

Ему исполнилось восемнадцать. Разразилась война, и в качестве моряка он год полировал латунные поручни в Чарльстонском корпусе.

Затем для разнообразия его направили на Север, и он еще год полировал такие же латунные поручни, но уже в Бруклинском корпусе.

Война окончилась, и он вернулся домой. Ему исполнился двадцать один год, его брюки казались чересчур короткими и чересчур узкими. Его боты на кнопках имели продолговатые удлиненные мыски. Его галстук будоражил воображение, как тайный заговор, причудливо переливаясь пурпурным и розовым, а над ним располагалась пара голубых глаз – блеклых, как полоса дорогой старой ткани, давно забытой на солнце.

В сумерках одного из апрельских вечеров, когда хлопковые поля и знойный город подернулись светло-серой дымкой, он, едва заметный, стоял, облокотившись на дощатый забор, что-то насвистывая и глядя на месяц, висевший над уличными фонарями Джексон-стрит. Его мозг усиленно работал над проблемой, полностью занимавшей его вот уже целый час: лоботряса пригласили на вечеринку.

В те давние дни, когда все мальчишки питали стойкое отвращение ко всем девчонкам, Кларк Дэрроу и Джим сидели за одной партой. В то время как социальные устремления Джима гибли в промасляной атмосфере гаража, Кларк не терял времени: он влюблялся и разлюбливал, поступал в колледж, начинал пить и бросал, – короче говоря, стал одним из лучших кавалеров города. Несмотря ни на что, Кларк и Джим сохранили дружеские чувства, пусть и не такие горячие, как раньше, но тем не менее совершенно очевидные. Тем вечером старенький «форд» Кларка притормозил перед стоявшим на тротуаре Джимом и безо всякой задней мысли Кларк пригласил друга на вечеринку в сельский клуб. Импульс, заставивший его это сделать, был не менее удивителен, чем побуждение, заставившее Джима принять предложение. Последнее было, по всей вероятности, вызвано бессознательной скукой и полуосознанным желанием ввязаться в какую-нибудь авантюру. И теперь Джим пытался трезво обдумать предпринятый шаг.

Он начал петь, отстукивая своей длинной ногой ритм по каменной плите тротуара, добиваясь точного попадания в негромкий горловой мотив:

За милю от дома, в городе лени,
Дженни, царица лентяев, жила.
Ей нравились кости, и даже со злости
Щесть из шести она бросить могла.

Он прекратил пение и возмутил тишину тротуара разухабистой дробью.

– К черту! – еле слышно пробормотал он.

Они все будут там: все это общество, то общество, к которому должен был бы принадлежать и Джим: по праву бывшего обитателя белого дома, пусть давным-давно проданного за долги, по праву родства с изображенным на портрете офицером в серой форме. Но члены того общества подрастали вместе и понемногу сформировали свой узкий круг – так же постепенно, как постепенно, дюйм за дюймом, удлинялись платья девушек, и так же необратимо, как удлинялись брюки мальчиков, вдруг ставшие им заметно короткими. И для этого общества, где все звали друг друга по именам и помнили, кто с кем дружил в школе, Джим был чужаком: он был из бедняков. Большинство молодых людей смогли бы снисходительно припомнить, как его зовут; трем или четырем девушкам он мог поклониться как знакомый. Вот и все.

Когда закат превратил небо в синий фон, создав достойную декорацию для появления луны, Джим отправился через знойный, умеренно жгучий город на Джексон-стрит. Лавки закрывались, последние покупатели плыли домой, походя на порождение бурного сна остановившейся карусели. Дальше по улице развернулась ярмарка, раскинувшаяся сверкающей аллеей разноцветных шатров, одаряя ночь смесью музыкальных звуков: кто-то играл восточный мотив на каллиопе, перед паноптикумом звучал меланхоличный горн, шарманка весело наигрывала «Домой, в Теннесси!».

Лоботряс зашел в лавку и приобрел воротничок. Затем он неторопливо направился к аптеке «Воды Сэма», перед дверью которой, как и в любой из летних вечеров, стояло три или четыре экипажа, а между ними туда и сюда сновали маленькие негритята с пломбиром и лимонадом.

– Привет, Джим.

Голос раздался откуда-то снизу: Джо Эвинг и Мэрилин Уэйд сидели в автомобиле. На заднем сиденье находились Нэнси Ламарр и какой-то незнакомец.

Лоботряс небрежно прикоснулся к своей шляпе:

– Привет, Бен… – И после краткой паузы добавил: – Добрый вечер!

И он все так же неторопливо продолжил путь к гаражу, на втором этаже которого находилось его жилище. Его «добрый вечер» адресовался Нэнси Ламарр, с которой он заговорил впервые за последние пятнадцать лет.

Губы Нэнси вызывали в памяти первый поцелуй, у нее были темные глаза и иссиня-черные волосы, доставшиеся ей по наследству от матери, родившейся в Будапеште. Джим часто видел ее на улицах, она всегда, как мальчишка, держала руки в карманах; он знал, что за ней, как и за ее лучшей подругой Салли Кэрролл Хоппер, на всем протяжении пути от Атланты до Нового Орлеана тянется целый шлейф разбитых сердец.

Всего на несколько мгновений, но Джим пожалел, что не умеет танцевать… Затем он рассмеялся и, уже дойдя до своей двери, снова начал негромко напевать:

Бросок ее мог бы лишить вас покоя,
Ее красота б вас смела.
Дженни, царица цариц лоботрясов,
В городе лени жила.

II

В половине десятого Джим и Кларк встретились у аптеки и оттуда в «форде» Кларка отправились в сельский клуб.

– Джим, ну как поживаешь? – просто так, чтобы скоротать путь в пахнущей жасмином ночи, спросил Кларк.

Лоботряс задумался.

– Ну, – после паузы сказал он, – живу в комнате над гаражом Тилли. Я ему немного помогаю с машинами по вечерам, и он с меня денег не берет. Иногда подрабатываю на его такси, за чаевые. Так вот и кормлюсь.

– И хватает?

– Ну, у него и днем есть куча работы – особенно по воскресеньям; есть у меня, правда, еще кое-что, но я стараюсь не рассказывать. Ты небось забыл, но я все еще лучше всех в этом городе играю в кости! Теперь меня уже заставляют метать из стакана, потому что как только я беру их в руки – считай, я выиграл.

Кларк понимающе ухмыльнулся:

– А я никогда не мог выбросить, сколько надо. Хорошо бы ты как-нибудь сыграл с Нэнси Ламарр и выиграл бы все ее деньги! Она играет с парнями и проигрывает больше, чем ее папочка ей выдает. Я даже слышал, что месяц назад она продала фамильное кольцо, чтобы расплатиться с долгами.

Лоботряс уклончиво промолчал.

– Белый дом на улице Вязов все еще твой?

Джим покачал головой:

– Продан. Дали хорошую цену, учитывая, что район уже не тот. Адвокат присоветовал все вложить в акции. Но тут тетя Мамми тронулась, так что все проценты уходят на лечебницу.

– Н-да…

– На Севере у меня есть дядя, и я думаю поехать к нему, как только соберусь. У него отличная ферма, вот только работать там некому. Он как-то просил меня приехать и помочь, но я так и не собрался. Там чертовски тоскливо…

Неожиданно он заговорил о другом.

– Кларк, я тебе весьма признателен за приглашение, но – честно – будет лучше, если ты прямо вот здесь остановишься и я пойду домой.

– Чушь! – хмыкнул Карл. – Хоть немного развеешься. Можно даже не танцевать – просто выйдешь на площадку и немножко повертишься.

– Чего? – встревожился Джим. – Только не вздумай подходить со мной к девушкам и исчезать, чтобы я потом, как дурак, шел танцевать!

Кларк рассмеялся.

– Имей в виду, – продолжал Джим, – что если ты не поклянешься, что ничего такого не будет, я вот прямо здесь выхожу и на своих двоих чешу обратно до Джексон-стрит.

После непродолжительного спора они пришли к соглашению о том, что Джим, во избежание приставаний со стороны особ женского пола, наблюдает разворачивающееся действо с безопасного расстояния, а именно со скамейки в углу, а Кларк при этом имеет право проводить рядом с ним все время, свободное от танцев.

И в десять вечера лоботряс, скрестив ноги и старомодно сложив руки на коленях, пытался выглядеть так, будто ему не впервой и даже скучновато смотреть на танцующих. На самом же деле его застенчивость боролась со жгучим интересом к происходящему вокруг. Он смотрел, как из гардеробной друг за другом возникали девушки, прихорашивавшиеся, как яркие птицы, бросая невинные взгляды своим «дуэньям», затем, быстро обводя взглядом зал, они одновременно пытались оценить обстановку и реакцию этой «обстановки» на их появление; после чего, снова как птицы, они приземлялись и оседали в крепких объятиях поджидавших их кавалеров. Салли Кэрролл Хоппер, блондинка с томным взглядом, была в своем любимом розовом и блистала, как утренняя роза. Марджори Хайт, Мэрилин Уэйд, Гарриет Кэрри – все те девушки, которых он встречал, слоняясь в полдень по Джексон-стрит, в этот час, с аккуратно уложенными бриллиантином локонами, нежно подсвечивавшимися приглушенным светом люстр, казались ему таинственными незнакомками, похожими на розовые, голубые, красные и золотые фигурки из дрезденского фарфора, только что вынутые из печи и уже стоящие в витрине магазина.

Так он просидел полчаса. Периодические визиты оживленного Кларка, сопровождавшиеся ободряющим хлопком по колену и «Привет, старичок, ну как ты тут?», радости не прибавляли. Его узнавали, здоровались, некоторые даже останавливались переброситься парой фраз, но он понимал, что для всех было сюрпризом само его присутствие здесь, и он даже вообразил, что для некоторых этот сюрприз был неприятным. А в половине одиннадцатого все его смущение неожиданно улетучилось,

происходящее вдруг приобрело интерес и он совершенно забыл о себе: из гардеробной вышла Нэнси Ламарр.

На ней было платье из желтого органди, состоявшее, казалось, лишь из сотен острых уголков, трех рядов оборок и большого банта сзади; вокруг нее вспыхивали фосфоресцирующие черные и желтые лучи. Лоботряс широко распахнул глаза, ему стало трудно дышать. Она задержалась в дверях, ожидая своего кавалера. Джим узнал его: это был тот самый незнакомец, которого он видел вечером рядом с ней в машине Джо Эвинга. Он смотрел, как она, подбоченясь, что-то тихо ему сказала и рассмеялась. Мужчина рассмеялся вместе с ней, и Джим внезапно почувствовал болезненный укол какого-то незнакомого чувства. Между парой, казалось, проскользнул какой-то луч, как прекрасная стрела с того солнца, которое еще минуту назад согревало и его. Лоботряс внезапно ощутил себя сорной травой под плетнем.

Через минуту к нему подошел румяный и сияющий Кларк.

– Привет, старичок, – в который уже раз за вечер воскликнул он, – ну как ты тут?

Джим ответил, что он тут вполне себе ничего.

– Пошли со мной, – скомандовал Кларк. – Я тут кое-чего раздобыл, и это будет гвоздь программы!

Джим неуклюже последовал за ним через весь зал и вверх по лестнице, в гардеробную, где Кларк извлек из кармана фляжку с безымянным напитком соломенного цвета:

– Из настоящей кукурузы!

Рядом уже стоял поднос с имбирным элем. Такой мощный нектар, тем более «из настоящей кукурузы», всегда лучше работает с чем-нибудь покрепче сельтерской.

– Ну что, дружище, – уже потише произнес Кларк, – Нэнси Ламарр сегодня великолепна?

Джим кивнул.

– Очень красива, – согласился он.

– Сегодня она нарядилась для проводов, – продолжал Кларк. – Видел с ней парня?

– Высокий? В белых брюках?

– Точно. Это Огден Меррит, из Саванны. Старый Меррит владеет заводом, выпускает безопасные бритвы. А сынок просто без ума от нее. Бегал за ней целый год.

– Она, конечно, та еще девчонка, – продолжал Кларк, – но мне она нравится. И не только мне. Ну да, она позволяет себе совершенно безумные выходки. Обычно выходит сухой из воды, но на ее репутации уже, наверное, места живого не найти.

– Неужели? – Джим поставил свой стакан. – А вкусно…

– Да, ничего. О, она настоящая сумасбродка. Играет в кости, представляешь? И ей нравится вкус спиртного. Я даже обещал ее угостить попозже.

– Она любит этого Меррита?

– Черт его знает. Но, похоже, все лучшие девчонки выходят замуж и куда-нибудь отсюда уезжают.

Он смешал себе еще один коктейль и аккуратно закрыл фляжку пробкой.

– Слушай, Джим, я сейчас иду танцевать и был бы весьма обязан, если бы ты взял эту фляжку на хранение, раз уж ты не танцуешь. Если кто-то заметит, что у меня в кармане фляжка, понятное дело, он сразу же подойдет и попросит угостить – и не заметишь, как все кончится и все мое веселье выпьет кто-нибудь другой.

Итак, Нэнси Ламарр собиралась замуж. Любимица всего города должна была стать собственностью индивидуума в белых брюках, и всего лишь потому, что отец носившего эти брюки делал лучшие безопасные бритвы. Спускавшемуся по ступенькам Джиму эта мысль показалась невероятно тоскливой. Впервые в жизни он переживал неясное романтическое томление. В его воображении возникла картина: Нэнси, жизнерадостная и веселая, идет по улице, в качестве дани у боготворящего ее продавца фруктов взимает с лотка апельсин, приказывает отнести на какой-то мифический счет стаканчик колы в аптеке и, собрав вокруг себя толпу кавалеров, с триумфом отъезжает в вечерний вихрь великолепия и музыки.

Лоботряс сошел с крыльца в темноту между освещенным луной газоном и светящимся дверным проемом танцевального зала. Он присел на стоявший там стул, зажег сигарету и погрузился в свои привычные грезы, не нарушаемые никакими посторонними мыслями. Но сейчас эти грезы были более чувственными, потому что вокруг была ночь, повеяло влажным теплым ветром, принесшим запахи пудры, платьев и тысячу других ярких ароматов, рождавшихся за

дверями. Сама музыка – глухие ноты тромбона – казалась теплой и призрачной, с томным призвуком шарканья ботинок и туфель.

Неожиданно в прямоугольнике желтого света, падавшего из открытой двери, появился темный силуэт. Из гардеробной вышла девушка и остановилась на крыльце, всего в нескольких шагах. Джим услышал тихое «черт!», затем она обернулась и увидела его. Это была Нэнси Ламарр.

Джим поднялся со стула:

– Привет!

– Привет, – чуть помедлив, ответила она, затем подошла ближе. – О, да это же Джим Пауэлл!

Он сделал легкий поклон и стал думать, что сказать в ответ.

– Как ты думаешь, – быстро заговорила она, – я хотела спросить: ты знаешь, что делать со жвачкой?

– С какой еще жвачкой?

– К моей туфле прилипла жвачка. Какой-то идиот или идиотка выплюнули свою жвачку на пол, а я, конечно, тут же на нее наступила.

Джим непроизвольно покраснел.

– Как мне теперь от нее избавиться? – раздраженно спросила она. – Я пробовала ножом. Я пробовала всем, что только смогла найти в этой чертовой раздевалке. Я попробовала мылом с водой и даже духами, испортила свою пудреницу, пытаясь заставить эту гадость отлепиться от моей туфли.

Джим в волнении обдумывал ситуацию:

– Ну… Я думаю… Может, бензином?

Не успел он еще произнести последние звуки, как она уже схватила его за руку и потащила с веранды прямо через клумбу, бегом, к стоянке автомобилей, располагавшейся возле поля для гольфа.

– Открывай бак, – скомандовала она, не дав ему перевести дыхание.

– Что?

– Бак с бензином. Я же должна избавиться от этой жвачки! Я не могу танцевать со жвачкой на туфле.

Джим послушно повернулся к машинам и начал осмотр на предмет обретения желанного растворителя. Если бы она потребовала поршень, он приложил бы все усилия для того, чтобы раскурочить двигатель и достать нужную деталь.

– Нашел! – произнес он после недолгих поисков. – Вот этот вроде подается. Есть платок?

– Наверху, весь мокрый. Я же пробовала воду с мылом!

Джим сосредоточенно рылся в своих карманах:

– Кажется, у меня тоже нет.

– К черту. Мы можем открыть бак и пусть себе льется на землю.

Он повернул клапан, бензин начал капать.

– Еще!

Он повернул клапан сильнее. Бензин пошел струей, образуя блестящую масляную лужу, отражавшую дюжину неровных лун на дрожащем дне.

– Ладно, – уже спокойнее вздохнула она, – пусть весь вытекает. Единственное, что можно сделать, – встать в лужу.

Подчинившись, он полностью открыл клапан, и маленькая лужица неожиданно превратилась в огромную; по земле во всех направлениях растекались маленькие речки и ручейки.

– Отлично! То, что надо.

Приподняв край юбки, она грациозно вступила в бензин.

– Уверена, что теперь-то уж отлипнет, – пробормотала она.

Джим улыбнулся:

– Даже если нет – тут еще полно машин.

Она грациозно вышла из бензиновой лужи и начала оттирать подошвы своих туфель о бампер автомобиля. Лоботряс больше не мог сдерживаться. Он согнулся пополам от смеха, а через секунду к нему присоединилась и она.

– Ты приехал с Кларком Дэрроу, правда? – спросила она на обратном пути к веранде.

– Да.

– А где он?

– Танцует, наверное.

– Черт. Он обещал мне коктейль!

– Ну, – сказал Джим, – это поправимо. Фляжка-то у меня в кармане!

Она лучезарно улыбнулась.

– Надо бы найти еще имбирный эль, – добавил он.

– Только не мне. Давай фляжку.

– Уверена?

Она насмешливо улыбнулась:

– Проверь. Я могу пить все, что пьют мужчины. Давай присядем.

Она устроилась на краешке стола, а он сел на соломенный шезлонг рядом. Вынув пробку, она поднесла фляжку к губам и сделала долгий глоток. Он зачарованно смотрел на нее.

– Нравится?

Она молча покачала головой:

– Нет, но мне нравится послевкусие. Думаю, как и всем.

Джим согласился:

– Моему отцу тоже нравилось. Даже слишком – это его и сгубило.

– Американцы не умеют пить, – серьезно произнесла Нэнси.

– Что? – удивился Джим.

– На самом деле, – беззаботно продолжала она, – они вообще не знают, как можно делать что-либо хорошо. Единственное, о чем я всю жизнь буду жалеть, так это о том, что не родилась в Англии.

– В Англии?

– Да. Единственное, о чем я жалею всю жизнь!

– Тебе там нравится?

– Да. Безумно. Я никогда сама там не была, но знаю многих англичан, которые служили здесь в армии, они учились в Оксфорде, Кембридже – ну, это как «Сивани» и Университет Джорджии у нас, – и, естественно, я прочитала множество английских романов.

Джим слушал с интересом – он был изумлен.

– Ты когда-нибудь слышал о леди Диане Мэннерс? – серьезно спросила она.

Нет, Джим не слышал.

– Ну, я всегда хотела быть, как она… Она черноволосая, прямо как я, и неистовая, как грех. Это она въехала на коне в какой-то собор, или там часовню, или куда-то еще, а потом все авторы стали вставлять этот эпизод в свои романы.

Джим вежливо кивал. Он выплыл из своих глубин.

– Дай фляжку, – попросила Нэнси. – Я хочу еще глоточек. Маленький глоток не повредит и младенцу. Видишь ли, – чуть хрипло продолжила она. – У людей, живущих там, есть стиль. Здесь ни у кого стиля нет. Я хочу сказать, что ради парней, которые живут здесь, не стоит носить потрясающие наряды или делать что-то сенсационное. Ты думал об этом?

– Думаю, что… Думаю, что нет, – пробормотал Джим.

– А мне нравится одеваться, и мне нравится все это делать! В этом городе я единственная, у кого есть стиль. – Она потянулась и удовлетворенно зевнула. – Прекрасная ночь.

– Точно, – согласился Джим.

– Хочу яхту, – медленно проговорила она. – Хочу плыть по серебристому озеру, по Темзе, например… Пить шампанское и есть икру. Пусть на борту будет человек восемь, не больше. И один из них прыгнет за борт, чтобы всех развеселить, и утонет, как тот кавалер леди Дианы Мэннерс…

– Он сделал это, чтобы она развеселилась?

– Он не собирался тонуть, чтобы развеселить ее. Он просто хотел прыгнуть за борт, чтобы всех рассмешить.

– Думаю, они все просто умерли от смеха, когда он потонул.

– Да, они вряд ли смеялись, – согласилась она. – Но думаю, что она-то все равно смеялась. Она, должно быть, жестокая, как и я.

– Ты жестокая?

– Как жесть. – Она снова зевнула и добавила: – Дай-ка мне еще немножко из этой фляжки.

Джим заколебался, но она властно протянула руку.

– Я не маленькая, – заявила она. – Ты еще никогда таких, как я, не видел! – Она сделала паузу. – И все же ты, может быть, и прав… У тебя… У тебя ум старика…

Она соскочила со стола и двинулась к дверям. Лоботряс тоже встал с шезлонга.

– До свидания, – вежливо сказала она, – доброй ночи. И спасибо, солнышко!

Она вошла внутрь, оставив его с широко раскрытыми глазами на крыльце.

III

В полночь из женской гардеробной вышла целая процессия в плащах и, объединившись в пары с одетыми в пальто кавалерами, как танцоры в котильоне, с полусонным радостным смехом все прошествовали через дверь в темноту – туда, где фыркали проснувшиеся авто. Пары прощались друг с другом, задерживаясь у фонтана.

Сидевший в углу Джим поднялся, чтобы отыскать Кларка. Последний раз он видел его в одиннадцать, – Кларк шел танцевать. Джим забрел к лимонадной стойке, ранее служившей баром. В комнате было пусто, только сонный негр дремал за прилавком, да еще пара парней лениво бросали кости за одним из столов. Джим уже собрался было уходить, но в этот момент в комнату зашел Кларк. Они увидели друг друга одновременно.

– Эй, Джим! – воскликнул он. – Иди к нам и помоги нам с этой бутылкой. Думаю, там немного осталось, но по глоточку хватит всем.

В дверях показались лениво перебрасывавшиеся шутками Нэнси, приезжий из Саванны, Мэрилин Уэйд и Джо Эвинг. Взгляды Джима и Нэнси встретились, она заговорщецки ему подмигнула.

Все подошли к столу и, усевшись, заказали имбирный эль. Джим в некотором смущении смотрел на Нэнси, которая переместилась за соседний столик и присоединилась к игравшим в кости парням.

– Зовем их сюда? – предложил Кларк.

Джим огляделся:

– Не надо привлекать толпу. Это не в правилах клуба.

– Да тут никого нет, – настаивал Кларк, – только мистер Тейлор. Он бегает туда-сюда как сумасшедший, пытаясь выяснить, кто слил весь бензин из его машины.

Все рассмеялись.

– Ставлю миллион, что здесь опять не обошлось без Нэнси. Не стоит парковать машину, если она где-то рядом.

– Эй, Нэнси, тебя ищет мистер Тейлор!

Щеки Нэнси разгорелись от азарта игры.

– Я его колымагу уже пару недель вообще не видела!

Внезапно повисла тишина. Джим обернулся и заметил остановившегося в дверном проеме человека неопределенного возраста.

Голос Кларка подчеркнул всеобщее замешательство:

– Не хотите ли присоединиться к нам, мистер Тейлор?

– Благодарю вас.

Нежданный мистер Тейлор уселся на стул:

– Придется, видимо. Жду, пока мне достанут немного бензина. Кто-то сыграл шутку с моей машиной.

Его пристальный взгляд быстро скользнул по всем присутствовавшим. Джиму хотелось бы знать, что же мистер Тейлор успел услышать в дверях, и он попытался восстановить в памяти все, что было сказано.

– *Сегодня я в игре,* – запела Нэнси, – *и выиграю я…*

– Поддерживаю! – неожиданно выпалил Тейлор.

– О, мистер Тейлор, я и не знала, что вы играете в кости! – Нэнси явно обрадовалась, обнаружив, что он уселся за стол и мгновенно поставил против нее.

Они находились в откровенно *натянутых* отношениях с того самого вечера, когда она совершенно недвусмысленно отвергла целую серию знаков внимания с его стороны.

– Ну, детки, постарайтесь для мамочки. Всего лишь одна маленькая семерка! – заворковала Нэнси. Она с таинственным видом потрясла руками и бросила кости на стол. – У-ух! Я знала! И еще доллар сверху.

Она сделала еще пять бросков. Тейлору не везло, и она воспринимала это на личном уровне: после каждого удачного броска Джим видел триумф на ее лице. Каждый раз она удваивала ставки – конечно, такое везение не могло продолжаться долго.

– Лучше остановись, – робко предупредил он.

– Ох, только посмотри! – прошептала она. Выпало восемь, и она снова назвала число. – Восьмерочка, восьмерочка, давай скорей ко мне!

Восьмерка покатилась по столу. Нэнси покраснела, в ее лице появилось что-то истеричное, но ей продолжало везти. Она увеличивала ставки, не собираясь выходить из игры. Пальцы Тейлора нервно постукивали по крышке стола, но он тоже продолжал ставить.

Наконец Нэнси попыталась выбросить десять и потеряла ход. Тейлор алчно сгреб кости. Он бросал молча, и в напряженной тишине был слышен только стук костей о стол.

Ход снова перешел к Нэнси, но удача ее оставила. Прошел час. Фортуна поворачивалась то лицом, то спиной. Постепенно везти стало

Тейлору. И наконец они сравняли счет: Нэнси проиграла свои последние пять долларов.

– Выписываю чек на пятьдесят и иду ва-банк! – быстро сказала она. Она говорила слегка неуверенно, ее рука дрожала.

Кларк и Джо Эвинг обменялись встревоженными взглядами. Тейлор снова бросил кости. Чек теперь перешел к нему.

– Может, сыграем еще разок? Вот еще чек! – отчаянно предложила она. – Банк другой, но это не важно – деньги везде одинаковые.

Джим все понял: «настоящая кукуруза», его угощение и другие эликсиры, которые она принимала после. Если бы только он отважился вмешаться… Ведь у девушки с таким социальным положением и в таком возрасте едва ли могло быть два банковских счета. Часы пробили два, и он решил себя больше не сдерживать.

– Простите… Позволь, я сделаю этот бросок вместо тебя? – предложил он; его обычно тихий, певучий голос прозвучал несколько натянуто.

Неожиданно почувствовав апатию и сонливость, Нэнси отбросила кости:

– Отлично, старик! Как сказала бы леди Диана Мэннерс: «Вперед, Лоботряс!» Мое везение кончилось.

– Мистер Тейлор, я ставлю наличные против одного из этих чеков, – нарочито беззаботно предложил Джим.

Полчаса спустя Нэнси подалась вперед и хлопнула его по спине:

– Это ты украл мою удачу! – И проницательно закивала головой.

Джим сгреб со стола последний чек и, сложив их все вместе, порвал на мелкие кусочки, бросив обрывки на пол. Кто-то запел, и Нэнси вскочила со стула.

– Леди и джентльмены, – объявила она, – говорит ваша Диана! Я хочу поведать миру весть о том, что мистер Джим Пауэлл, широко известный в этом городе лоботряс, является исключением из общего правила «везет в игре – не везет в любви». Ему везет в игре, и, кроме того, я люблю его! Леди и джентльмены, Нэнси Ламарр, всем известная красавица брюнетка, часто упоминаемая в «Герольд» как одна из наиболее популярных молодых особ местного общества, как и любая другая девушка в подобной ситуации… желает объявить… желает объявить, джентльмены… – Неожиданно она встала на цыпочки и покачнулась.

Кларк вовремя ухватил ее и помог удержать равновесие.

– Прошу прощения, – рассмеялась она, – так вот, она преклоняется… Преклоняется… Неважно. Так выпьем же за здоровье Лоботряса… мистера Джима Пауэлла, короля лоботрясов!

Несколько минут спустя, когда Джим со шляпой в руках уже поджидал Кларка в том самом темном углу крыльца, куда она выходила в поисках бензина, она опять неожиданно возникла рядом с ним.

– Лоботряс, – произнесла она, – ты здесь, Лоботряс? Я думаю… – ее не очень уверенный голос, казалось, доносился из сна, – что ты заслужил мой самый нежный поцелуй за то, что ты сделал, Лоботряс.

На мгновение ее руки обвились вокруг него, а губы прижались к его губам.

– Я живу в своем, свободном мире, Лоботряс, но ты показал мне, что есть и что-то иное.

И она убежала вниз с крыльца, на поле для гольфа. Джим увидел, как из двери вышел Меррит и что-то раздраженно ей сказал; увидел, что она рассмеялась и, отвернувшись, пошла к машине. За ней шли Мэрилин и Джо, напевая медленную песенку «Дитя джаза».

Вышел Кларк и остановился рядом с Джимом на крыльце.

– Все ясно, как день, – зевнув, сообщил он. – Меррит разозлился. Нэнси ему больше не нужна.

Вдали на востоке, над полем для гольфа, небо стало серым, ночь потихоньку отступала. Двигатель машины заурчал, а пассажиры подхватили припев.

– Всем спокойной ночи, – крикнул Кларк.

– Пока, Кларк!

– Пока!

А через мгновение тихий радостный голос добавил: «Спокойной ночи, Лоботряс».

Машина с певцами отъехала. Петух на ферме через дорогу издал одинокое печальное «ку-ка-ре-ку», и заспанный негр-официант потушил свет на крыльце. Джим и Кларк, шурша ботинками по гравию, направились к «форду».

– Ну, старик, – вздохнул Кларк, – вот это была игра!

Было еще слишком темно, и он не увидел, как вспыхнул румянец на щеках Джима. Ему бы не пришло в голову, что он покраснел от

стыда.

IV

В унылой комнате на втором этаже гаража Тилли целыми днями слышались урчание и фырканье машин снизу вперемежку с песнями негров-мойщиков и шумом воды из шлангов. Комната была уныло квадратной, что подчеркивалось стоявшей в ней кроватью и обшарпанным столом, на котором лежало несколько книг: старые издания «На пассажирском через Арканзас» и «Люсиль» некоего Джона Миллера, испещренные чьими-то пометками старинным витиеватым почерком, «Глаза Вселенной» Гарольда Белла Райта, а также старинный Псалтырь в издании англиканской церкви, с надписью «Элис Пауэлл, 1831» на форзаце.

В тот миг, когда Лоботряс вошел снизу в гараж, небо на востоке было все еще темным; когда в комнате включилась единственная электрическая лампочка, стало понемногу голубеть. Джим поспешно выключил свет и, подойдя к окну, облокотился о подоконник, уставившись в предрассветное небо. Его чувства пробудились, и первым ощущением стало ощущение тщеты всего окружающего, похожее на тупую боль в однотонной серости его существования. Неожиданно он почувствовал себя окруженным стеной, стеной такой же реальной и осязаемой, как и белая стена его пустынного жилища. И как только он ощутил эту стену, все, что составляло романтику его существования, легкомыслие, простосердечную беспечность и чудесную открытость его жизни, постепенно стало терять очертания. Лоботряс, шагающий по Джексон-стрит, медленно напевая себе что-то под нос, которого знали в каждой лавке на каждом углу, всегда готовый радоваться любой встрече, всегда готовый обменяться шуткой, иногда грустный, но лишь от того, что есть на свете грусть и время пролетает незаметно, – этот лоботряс неожиданно исчез. Само слово стало

банальным упреком. Внезапное озарение – и он понял, что Меррит его презирает, что даже поцелуй Нэнси там, на лужайке, мог пробудить не ревность, а лишь сожаление от того, что Нэнси так низко пала. А Лоботряс со своей стороны ради нее всего лишь продемонстрировал сомнительное искусство, вынесенное им из гаража. Он стал для нее чем-то вроде морального душа, а все грязные пятна принадлежали ему.

Когда небо стало приобретать бирюзовый оттенок, а в комнате посветлело, он дошел до кровати и упал на нее, яростно сжав кулаки.

– Я люблю ее, – вслух сказал он, – о господи!

И как только он произнес эти слова, что-то внутри него освободилось, как будто из его горла исчез комок. Рассветный воздух показался чистым и лучезарным, и он, уткнувшись лицом в подушку, начал сдавленно всхлипывать.

В три часа дня вовсю светило солнце и медленно двигавшийся по Джексон-стрит Кларк Дэрроу услышал приветствие Лоботряса, стоявшего у обочины, засунув руки в карманы.

– Привет! – ответил Кларк, резко тормознув свой «форд» у стены лавки. – Только проснулся?

Лоботряс отрицательно покачал головой:

– Даже не ложился. Как-то неспокойно было на душе, так что решил утром прогуляться за город. Только что вернулся.

– Не думал, что ты так разволновался. Я-то вот тоже с утра как-то…

– Думаю уехать из города, – продолжал Лоботряс, погруженный в свои собственные мысли. – Поеду на ферму и начну помогать дяде Дэну. Кажется, слишком уж долго я валял дурака.

Кларк промолчал, а Лоботряс продолжил:

– Подумал вот, что, когда тетя Мамми помрет, вложу наследство в ферму и попробую что-нибудь сделать. Все мои родом оттуда, когда-то там было большое хозяйство.

Кларк с интересом смотрел на него.

– Смешно, – сказал он. – Это все… Это все и на меня подействовало примерно так же.

Лоботряс немного помолчал.

– Я даже не знаю, – медленно проговорил он, – что-то такое… Вот когда эта девушка вчера рассказывала о леди по имени Диана Мэннерс, которая англичанка, вот это, похоже, и заставило меня задуматься…

Он выпрямился и как-то странно посмотрел на Кларка.

– Моя семья была не из последних в этих местах, – с вызовом произнес он.

Кларк кивнул:

– Я знаю.

– Теперь остался только я, – продолжал Лоботряс, чуть повысив голос. – И я – никто. И теперь они имеют право называть меня Лоботрясом, как какого-то поденщика. Люди, которые были никем, когда у моих родителей было все, теперь задирают носы, видя меня!

И снова Кларк промолчал.

– Мне надоело. Я уеду сегодня же. И когда я вернусь в этот город, я вернусь джентльменом.

Кларк вытащил носовой платок и стер пот со лба.

– Да, не только тебя встряхнуло, – печально признал он. – Все эти ночные танцы с девушками надо прекращать. Конечно, очень жаль, но тут уж ничего не попишешь.

– Ты хочешь сказать, – удивленно спросил Джим, – что все вышло наружу?

– Вышло наружу? Да как они могли это скрыть? Объявление будет уже сегодня, в вечерних газетах. Ведь доктору Ламарру надо как-то попытаться сохранить доброе имя!

Джим оперся о бок машины, его ногти непроизвольно царапнули по металлу.

– Ты хочешь сказать, что Тейлор отследил те чеки?

Теперь настала очередь Кларка удивляться.

– Так ты не знаешь, что произошло?

Удивление в глазах Джима послужило ему достаточным ответом.

– Так вот, – драматическим тоном продолжил Кларк, – эти четверо достали еще одну бутылку, выпили и решили всех шокировать; так что Нэнси и этот Меррит сегодня, в семь утра, поженились в Роквилле.

В металле машины под пальцами Лоботряса появилась небольшая вдавленность.

– Поженились?

– Точно. Нэнси протрезвела и бросилась обратно в город, вся в слезах и испуганная до смерти, объясняя, что все это было шуткой. Сначала доктор Ламарр был вне себя и собирался убить Меррита, но кое-как они уладили это дело, и Нэнси с Мерритом отбыли в Саванну на двухчасовом экспрессе.

Джим закрыл глаза и с трудом преодолел приступ неожиданной слабости.

– Это ужасно, – философски заметил Кларк, – не венчание, конечно, думаю, что тут все будет в порядке, хотя до сих пор для Нэнси этот парень был пустым местом. Но нанести такой удар своей семье…

Лоботряс отпустил автомобиль и пошел. Внутри него снова что-то произошло, какая-то необъяснимая, похожая на химическую, реакция.

– Ты куда? – спросил Кларк.

Лоботряс повернулся и вяло посмотрел назад.

– Мне пора, – пробормотал он. – Слишком долго на ногах. Утомился.

– А-а-а…

В три на улице стояла жара, в четыре стало еще жарче. Солнце лишь изредка показывалось сквозь апрельскую пыль, бесконечно, из вечера в вечер, продолжая повторять все тот же старый как мир трюк. Но в половине пятого наступило затишье, тени под навесами и тяжелыми кронами деревьев удлинились. В такой жаре уже ничего не имело значения. Жизнь зависела от погоды, она казалась ожиданием окончания жары, в которой никакое событие не могло сравниться с моментом наступления прохлады, мягкой и ласковой, как рука женщины на усталом челе. Это чувство всегда испытываешь в Джорджии – его не выразить словами, и в этом великая мудрость Юга; через некоторое время Лоботряс свернул в бильярдную на Джексон-стрит, туда, где все как всегда, туда, где все всегда повторяют бородатые анекдоты – и будут повторять их вечно.

Половина верблюда

I

Усталый читатель, бросив тусклый взгляд на название этого рассказа, решит, что это чистой воды метафора. Рассказы о чашах и губах, о фальшивом пенни и новом венике довольно редко содержат информацию о чашах, губах, монетах или вениках. Данный рассказ является исключением. Действующим лицом здесь выступает вполне материальная, ощутимая и полновесная половина верблюда.

Начав с головы, мы постепенно доберемся и до хвоста. Позвольте представить: мистер Перри Паркхарст, двадцать восемь лет, адвокат, уроженец Толедо. У Перри прекрасные зубы, гарвардский диплом, волосы расчесаны на прямой пробор. Вы с ним уже где-нибудь встречались: в Кливленде, Портленде, Сент-Поле, Индианаполисе, Канзас-Сити и так далее. «Братья Бейкер, город Нью-Йорк» во время ежегодного вояжа по западным штатам всегда совершают остановку лишь ради того, чтобы одеть его с ног до головы; «Монморанси и К°» каждые три месяца шлют молодому человеку депешу спешной почтой, чтобы убедиться, что число отверстий для шнурков на его ботинках точно соответствует последним тенденциям. Сейчас он владеет «родстером» местного производства, а если доживет, то приобретет и французский «родстер» – и, без сомнений, купит даже китайский танк, как только этот вид транспорта войдет в моду. Он выглядит точь-в-точь как молодой человек из рекламы в журнале, натирающий свой покрытый ровным загаром торс линиментом и отправляющийся каждые два года на восток страны, чтобы навестить альма-матер.

Позвольте представить: его Любовь. Ее зовут Бетти Мэйдл, и она бы замечательно смотрелась на киноэкране. От отца она получает на одежду триста долларов в месяц, является счастливой обладательницей светлых волос, ясного взора и веера из перьев пяти расцветок. С удовольствием представляю вам ее отца: Сайрус Мэйдл. Несмотря на то что он – самый обычный человек из плоти и крови, в

Толедо, как ни странно, его часто называют Мистер Алюминий. Когда по вечерам он восседает за столиком в клубе, с двумя или тремя мужчинами, которых люди за глаза зовут Мистер Железо, Мистер Лес и Мистер Латунь, можно заметить, что все они выглядят совершенно обычно, как и мы с вами – ну разве что немного масштабнее, если вы понимаете, о чем я…

На протяжении рождественской недели 1919 года в Толедо только при участии тех, кого называют «мистер такой-то», прошло: сорок четыре рождественских ужина, шестнадцать танцевальных вечеров, шесть торжественных обедов для особ как женского, так и мужского пола, двенадцать чаепитий, четыре холостяцких ужина, две свадебные церемонии и тринадцать вечеринок, на которых гости играли в бридж. Все это вместе на двадцать девятый день декабря месяца повлекло за собой принятие Перри Паркхастом Решения.

Девица Мэйдл согласна выйти за него замуж – и в то же время не согласна. Ее жизнь была полна удовольствий, и сама мысль о предприятии столь ответственного шага казалась ей ненавистной. А кроме того, их тайная помолвка находилась все в том же состоянии уже столь долго, что временами казалось, будто в любой момент она может разорваться под действием собственного веса. Малыш Уорбартон, который знал все и обо всем, убедил Перри, что необходимо действовать, как Супермен: добыть брачную лицензию, прийти с ней в дом к Мэйдл и поставить ее перед фактом – или она выходит замуж прямо сейчас, или не выходит никогда! И он пошел и предложил руку, сердце, лицензию и ультиматум – и не прошло и пяти минут, как разразилась жесточайшая сцена, с отдельными вспышками неприкрытой вражды, именно такая, какие всегда возникают ближе к концу любой затяжной войны или помолвки. В результате наступило одно из тех ужасных затиший, в конце которых любящие внезапно умолкают, трезво оглядывают друг друга и начинают думать, что произошла какая-то ужасная ошибка. После этого следует благотворная волна поцелуев и уверений в том, что это моя вина. Скажи, что это я виноват! Это все я! Я хочу, чтобы ты это сказала!

Но в тот самый момент, когда в воздухе начал чувствоваться дух примирения и оба участника сцены до некоторой степени вжились в роль, которую необходимо было сыграть так, чтобы как можно глубже почувствовать всю томность и нежность приближающегося момента,

позвонила словоохотливая тетушка, и Бетти пришлось вступить в телефонную беседу, затянувшуюся на целых двадцать минут. На исходе восемнадцатой минуты Перри Паркхарст, снедаемый гордостью, ревностью и уязвленным самолюбием, надел шубу, взял свою светло-коричневую шляпу и торжественно удалился в направлении двери на улицу.

– Все кончено! – отрывисто произнес он, пытаясь завести мотор автомобиля. – Все кончено… да заведешься ты наконец, черт тебя подери!

Последнее относилось уже к замерзшей машине, простоявшей некоторое время на улице.

Он поехал в центр – точнее, заснеженная колея сама понесла его в центр города. Он низко ссутулился на сиденье, погруженный в печальные раздумья, и ему было совершенно все равно, куда ехать.

Проезжая мимо отеля «Клэрендон», он услышал оклик с тротуара. Там стоял Бэйли, человек с подмоченной репутацией и выдающейся челюстью, живший в отеле и никогда не любивший.

– Перри, – тихо произнес человек с подмоченной репутацией, когда перед ним у обочины остановился «родстер», – у меня стоит шесть бутылок такого чертовски прекрасного шампанского – без единого пузырька! – которое ты, ручаюсь, никогда не пробовал. И треть всего, Перри, получишь ты, если только поднимешься со мной в номер и поможешь нам с Мартином Мэйси все это выпить!

– Бэйли, – с напряжением сказал Перри, – я выпью твое шампанское. Я выпью все до капли, пусть даже это и убьет меня.

– Чокнулся? – кротко ответил человек с подмоченной репутацией. – В шампанское не добавляют метиловый спирт. Это напиток, который весь мир пьет уже шесть тысяч лет. А пробки на этих бутылках даже окаменели, и вытаскивать их приходится с помощью алмазного сверла.

– Веди меня наверх, – мрачно промолвил Перри. – Как только эти пробки увидят мое сердце, они выскочат сами – из простого сострадания.

Весь номер был увешан типично гостиничными невинными картинками, изображающими маленьких девочек с яблоками в руках, сидящих на скамейках и играющих с щенками. Других украшений в номере не было, если не считать разбросанных повсюду галстуков, а

также розовощекого человека, читавшего розовую газету, полностью посвященную дамам в розовых чулках.

– Иногда приходится торить дороги и тропы, – произнес розовощекий человек, укоризненно взглянув на Бэйли и Перри.

– Приветствую, Мартин Мэйси! – коротко ответил Перри. – И где это каменноугольное шампанское?

– Куда спешим? Это же вроде не налет. У нас вечеринка!

Перри покорно сел и с неудовольствием оглядел галстуки.

Бэйли не спеша открыл дверцу шкафа и извлек шесть симпатичных бутылок.

– Снимай эту чертову шубу, – обратился Мартин Мэйси к Перри. – Или, может, нам открыть все окна?

– Дайте мне шампанского, – сказал Перри.

– Идешь на цирковой карнавал к Таунсендам сегодня?

– Нет!

– Нет приглашения?

– Есть.

– А почему не идешь?

– Я устал от вечеринок, – воскликнул Перри. – Уже тошнит. Я уже так навеселился, что тошнит!

– Может, ты собрался к Говарду Тейту?

– Нет же, я сказал. Мне все это надоело.

– Ну что ж, – как бы в утешение сказал Мэйси, – у Тейтов все равно будут одни школьники.

– Да говорю я тебе…

– Я подумал, что ты наверняка собрался куда-нибудь. Судя по газетам, ты под Рождество не пропустил ни одной вечеринки!

Перри угрюмо хмыкнул.

Он больше никогда не пойдет на вечеринку! В его голове крутилась классическая фраза о том, что эта страница его жизни закрыта, закрыта навсегда! А когда в голове крутится «закрыта, закрыта навсегда!» или что-то подобное, можно с полной уверенностью сказать, что тут не обошлось без женщины, которая, так сказать, и осуществила это закрытие. Перри также пришла в голову еще одна классическая мысль о том, что самоубийство, в сущности, просто трусость. Эта мысль всегда отдает благородством, таким теплым и

воодушевляющим! Только подумать, сколько достойных людей мы бы потеряли, если бы самоубийство не было бы просто трусостью!

Прошел час, и в шесть вечера Перри потерял всякое сходство с молодым человеком, рекламирующим линимент. Теперь он выглядел, как первый набросок к картине разгула. Они пели импровизированную песню, текст которой только что придумал Бэйли:

Некий Пер Ламп, соблазнитель известный,
Всегда отличался за чаем воскресным:
Он переливал и заливал,
Ни разу ни капли не проливал —
При этом салфеткой колени свои он никогда не накрывал!

– Проблема в том, – сказал Перри, закончив взлохмачивать свои волосы расческой Бэйли и пытаясь повязать на голову оранжевый галстук, чтобы подчеркнуть свое сходство с Юлием Цезарем, – что вы, парни, ни черта не смыслите в пении. Как только я ухожу вверх и начинаю петь тенором, вы тоже начинаете петь тенорами.

– У меня от природы тенор, – глубокомысленно заявил Мэйси. – Голос не тренирован, вот и все. Абсолютный слух, говорила тетка. Прекрасный певец от рождения.

– Певцы, певцы, все прекрасные певцы, – вставил Бэйли, который в этот момент разговаривал по телефону. – Да нет, не в кабаре. Я хочу яйцо. Пусть какой-нибудь проклятый клерк, который с едой – едой! Я хочу…

– Юлий Цезарь! – объявил Перри, отвернувшись от зеркала. – Человек со стальной волей и железными принципами.

– Заткнись! – взвизгнул Бэйли. – Эй, это мистер Бэйли. Пришлите нам ужин. Что-нибудь грандиозное. На ваш выбор. Прямо сейчас!

С некоторым затруднением он попал трубкой обратно на телефон, после чего его губы сжались, и с выражением торжествующей настойчивости он выдвинул нижний ящик шкафа.

– Взгляните! – не терпящим возражений тоном скомандовал он.

В его руках оказалось некое вычурное одеяние из розовой дешевой ткани.

– Штаны! – важно произнес он. – Глядите!

На свет появилась розовая рубашка, красный галстук и детский воротничок а-ля Бастер Браун.

– Глядите! – повторил он. – Это костюм для циркового карнавала Таунсендов. Я изображаю мальчика, который носит воду для слонов.

Несмотря на свое состояние, Перри был впечатлен.

– Я буду изображать Юлия Цезаря, – объявил он после некоторого раздумья.

– Так и думал, что ты идешь! – сказал Мэйси.

– Я? Конечно, иду! Не пропускаю ни одной вечеринки. Полезно для нервов, как сельдерей.

– Цезарь! – рассмеялся Бэйли. – Тебя не пустят. Он не из цирка. Это из Шекспира. Лучше оденься клоуном.

Перри замотал головой:

– Нет уж. Только Цезарь.

– Цезарь?

– Точно. Колесница!

Луч света осветил разум Бэйли.

– А правда. Хорошая идея.

Ищущим взглядом Перри обвел комнату.

– Я позаимствую у тебя банный халат и этот галстук, – сказал он.

Бэйли задумался:

– Не пойдет.

– Нормально. Это все, что надо. Цезарь был варваром. Они даже не пикнут, если я скажу, что я Цезарь, потому что он был варвар.

– Нет, – покачав головой, сказал Бэйли. – Костюм надо взять напрокат в лавке. У Нолака.

– Уже закрыто.

– Проверь.

После пяти минут, проведенных у телефона, далекий, уставший голос сумел убедить Перри, что на другом конце провода находится мистер Нолак и что лавка из-за карнавала Таунсендов будет открыта до восьми. Успокоившись, Перри съел большое блюдо филе-миньон и выпил последнюю из трех оставшихся бутылок шампанского. В восемь пятнадцать швейцар в высоком цилиндре, стоявший у входа в

«Клэрендон», смог наблюдать, как он пытается завести свой «родстер».

– Видимо, замерз, – мудро заметил Перри. – Мороз схватил мотор. Холода.

– Замерз, что ли?

– Да. Мотор покрылся льдом.

– Не заводится?

– Никак. Пусть постоит тут до лета. Один теплый августовский вечерок, и все будет в порядке.

– Хотите оставить тут?

– Точно. Пусть стоит. Вряд ли найдется такой горячий воришка. Подайте такси.

Швейцар в высоком цилиндре подозвал такси:

– Куда, мистер?

– Поезжай к Нолаку – ну, знаешь, костюмы напрокат…

II

Миссис Нолак выглядела приземистой неудачницей – представительницей одной из новых наций, возникших сразу по окончании мировой войны. Из-за нестабильности европейской обстановки она так и не смогла определиться, кем же она была на самом деле. Помещение лавки, в которой она вместе со своим мужем ежедневно зарабатывала хлеб свой насущный, было, как и положено замку с привидениями, тускло освещено, его заполняли рыцарские доспехи, одежды китайских мандаринов, а с потолка свешивались огромные бороды из папье-маше. Из углов на посетителя выглядывали ряды безглазых масок, стеклянные шкафы были наполнены коронами и скипетрами, искусственными драгоценностями и огромными корсажами, коробками с гримом, вуалями и париками всех расцветок.

Когда Перри неторопливо вошел в лавку, миссис Нолак уже была занята уборкой последних, как ей казалось, следов напряженного дня в шкаф, заполненный розовыми шелковыми чулками.

– Чем могу служить? – с неприкрытым неудовольствием поинтересовалась она.

– Пожалуйста, костюм Юлия Гура, колесничего.

Миссис Нолак было очень жаль, но вся одежда для колесничих была давно сдана в прокат.

– Это для циркового карнавала Таунсендов?

– Да, конечно.

– К сожалению, – сказала она, – у нас не осталось абсолютно ничего циркового.

Возникло непредвиденное препятствие.

– Гм… – промолвил Перри. Неожиданно в голову ему пришла идея. – Если у вас найдется кусок холста, я смогу нарядиться шатром!

– К сожалению, ничего такого не держим. За этим вам бы лучше куда-нибудь в скобяную лавку… Но у нас есть несколько очень приличных костюмов солдат Конфедерации!

– Нет. Никаких солдат.

– И еще один – почти новый – король!

Он покачал головой.

– Несколько джентльменов, – с надеждой продолжала она, – наденут цилиндры, длиннополые фраки и будут изображать инспекторов манежа, хотя… У нас же кончились цилиндры… Могу предложить вам накладные усы.

– Хочется что-то узнаваемое.

– Ну, давайте посмотрим еще. Так, вот львиная грива, вот гусь, верблюд…

– Верблюд? – Идея сразу же, окончательно и бесповоротно, завладела воображением Перри.

– Да, но это на двоих…

– Верблюд. Вот это да! Дайте посмотреть.

Верблюда извлекли с самой верхней полки шкафа. На первый взгляд он состоял из одной лишь изможденной, страшной головы и значительных размеров горба, но, как только его развернули на полу, оказалось, что имеется еще и болезненно выглядящее туловище темно-коричневого цвета, изготовленное из плотной ворсистой ткани.

– Как видите, нужно два человека, – объяснила миссис Нолак, с неприкрытым обожанием разглядывая распростертого верблюда. – Если у вас есть товарищ, он может стать одной половинкой. Видите, вот тут что-то вроде двух пар штанов. Одна пара для передней половины, а вторая – для задней. Передняя половина может смотреть вперед сквозь вот эти прорези, а задняя половина просто держится за переднюю и идет следом.

– Надевайте, – скомандовал Перри.

Миссис Нолак послушно поместила голову верблюда на свою, напоминавшую кошачью, голову и свирепо огляделась.

Перри был восхищен.

– Какие звуки издает верблюд?

– Что? – переспросила миссис Нолак, сняв верблюжью голову и стряхивая с лица пыль. – Ах, какие звуки? Ну, он… Как это… ревет…

– Где здесь зеркало?

Перед большим зеркалом Перри примерил голову и оценивающе повертелся из стороны в сторону. В тусклом освещении костюм казался исключительно многообещающим. Потертая морда верблюда выражала вселенский пессимизм, и необходимо отметить, что шкура также находилась в запущенном состоянии, что является отличительным признаком любого хорошего верблюда: фактически она нуждалась в стирке, и погладить ее тоже не помешало бы, но, в общем, узнаваемость была налицо. Костюм выглядел величественно. Он привлек бы внимание в любом обществе – хотя бы одной только меланхоличностью черт и олицетворением жестокого голода, проглядывавшим из глубоких глазных впадин.

– Как видите, это костюм для двоих, – повторила миссис Нолак.

Перри попробовал собрать вместе туловище с передними ногами и обернуть все вокруг себя, обвязавшись задними ногами, как кушаком. Результат в целом выглядел неутешительно. Фигура выглядела даже несколько вызывающе и походила на одну из средневековых гравюр, изображавшую монаха, превращенного Сатаной в зверя дикого. Лишь самые снисходительные согласились бы признать, что перед ними изображение горбатой коровы, рассевшейся среди покрывал, – да и то с натяжкой.

– Абсолютно ни на что не похоже, – разочарованно протянул Перри.

– Да, – подтвердила миссис Нолак, – как видите, требуются двое!

В голове Перри вспыхнуло решение.

– Вы заняты сегодня вечером?

– Да я вряд ли…

– Ну же, давайте! – с воодушевлением сказал Перри. – Конечно, у вас получится. Давайте! Встряхнитесь и залезайте в эти задние ноги!

С некоторым затруднением обнаружив их местонахождение, он призывно развернул перед ней их зияющие глубины. Но миссис Нолак вовсе не горела желанием туда залезать. Она упрямо отошла подальше:

– О нет…

– Ну, давайте! Если хотите, можете быть передней частью. Или давайте подбросим монетку!

– О нет…

– Я вам щедро заплачу!

Миссис Нолак поджала губы.

– Прекратите! – без тени жеманства заявила она. – Еще ни один джентльмен не предлагал мне ничего такого! Мой муж…

– У вас есть муж? – спросил Перри. – Где он?

– Дома.

– Как ему позвонить?

После продолжительных переговоров он все же раздобыл телефонный номер, установленный в родовом гнезде Нолаков, и смог вступить в разговор с обладателем далекого усталого голоса, который он сегодня уже слышал. Но мистер Нолак, пусть и застигнутый врасплох, все же продолжал стойко держаться на своих позициях, несмотря на блистательную цепь логических умозаключений Перри. Он, не теряя достоинства, решительно отказал в помощи мистеру Паркхарсту, не желая исполнять роль задней половины верблюда.

Окончив разговор – вернее, услышав в трубке гудки, – Перри уселся на табуретку, чтобы обдумать создавшееся положение. Он перебрал в памяти друзей, к которым можно было воззвать о помощи, и со смутной печалью его мысленный взор задержался на имени Бетти Мэйдл. Ему пришла в голову сентиментальная мысль. Он попросит ее. Их чувство угасло, но не может же она отказать ему в последней просьбе! Ведь это такая малость – просто помочь ему в выполнении обязанностей перед обществом на один короткий вечер. И если уж она станет настаивать, то пусть она будет передней половиной, а он –

задней. Его тронуло собственное великодушие. Он стал грезить, представляя нежное примирение внутри верблюда: один на один, спрятанные от всего остального мира…

– Ну что ж, давайте поищем что-нибудь другое?

В его сладкие грезы ворвался прозаический голос миссис Нолак, заставивший его приступить к действиям. Он подошел к телефону и вызвал дом Мэйдлов. Миссис Бетти дома не оказалось: она уже уехала.

И вот, когда стало казаться, что все потеряно, в лавку с любопытством заглянула половина верблюда. Выглядела она как страдающий насморком, неряшливо одетый человек, источающий уныние. Его кепи было низко надвинуто на лоб, подбородок почти касался груди, пальто чуть не доставало ботинок. Человек выглядел усталым, потрепанным и, не в пример клиентам Армии спасения, сильно недокормленным. Он пояснил, что является водителем такси, которое джентльмен нанял у отеля «Клэрендон». Несмотря на то что ему были даны инструкции ожидать снаружи, ожидание несколько затянулось, и в его душу закралось подозрение, что джентльмен покинул лавку через заднюю дверь с намерением лишить его платы за поездку – джентльмены иногда так делают, – вот поэтому он и решил заглянуть. Ему предложили сесть на табуретку.

– Хочешь сходить на вечеринку? – сурово осведомился Перри.

– Я на работе, – печально ответил таксист. – И не хочу эту работу потерять.

– Это будет хорошая вечеринка!

– Это хорошая работа.

– Ну давай! – надавил Перри. – Будь другом. Гляди, это просто шик!

Он развернул верблюда, и таксист, хмыкнув, цинично оглядел костюм.

Перри лихорадочно расправлял складки ткани.

– Гляди! – с воодушевлением воскликнул он, развернув часть складок. – Это твоя половина. Тебе даже не надо будет ничего говорить! Все, что нужно, – просто ходить и иногда садиться. Все остановки – твои. Подумай! Я буду все время на ногах, а ты сможешь периодически присаживаться и отдыхать. Я вот смогу присесть, только если ты ляжешь, а ты сможешь сесть… да когда захочешь! Понял?

– Что это такое? – с сомнением спросил индивидуум. – Саван?

– Ни в коем случае! – с негодованием произнес Перри. – Это верблюд!

– Н-да?

После этого Перри упомянул о сумме материального вознаграждения, и переговоры перешли из области предположений в деловое русло. Перри и таксист примерили костюм верблюда перед зеркалом.

– Ты, конечно, не можешь видеть, – пояснял Перри, возбужденно разглядывая результат сквозь прорези для глаз, – но, честное слово, старик, ты выглядишь просто потрясающе! Клянусь!

В ответ на этот несколько двусмысленный комплимент из задней половины раздалось неопределенное хмыканье.

– Клянусь, ты выглядишь отлично! – с энтузиазмом повторил Перри. – Попробуем пройтись.

Задние ноги двинулись вперед; получившаяся фигура напоминала полукота, полуверблюда, выгнувшего спину и изготовившегося к прыжку.

– Да нет. Двинься вбок.

Задние ноги верблюда аккуратно вывернулись; танцор хула-хула умер бы от зависти.

– Отлично, не правда ли? – обратился Перри за одобрением к миссис Нолак.

– Выглядит неплохо, – согласилась миссис Нолак.

– Мы берем! – сказал Перри.

Сверток упокоился под мышкой Перри, и они покинули лавку.

– Поехали на вечеринку! – скомандовал Перри, заняв заднее сиденье такси.

– На какую вечеринку?

– На карнавал.

– Куда именно?

Возникла новая проблема. Перри попытался припомнить, но в его голове хороводом кружились имена хозяев всех тех вечеринок, которые он посетил на этой неделе. Конечно, можно было спросить у миссис Нолак, но, выглянув в окно, он обнаружил, что огни в лавке уже погасли. Миссис Нолак была уже так далеко, что ее фигура превратилась в едва заметную темную кляксу вдали, посреди заснеженной улицы.

– Поехали в центр, – уверенно скомандовал Перри. – Увидишь, что где-то идет вечеринка, – останови. Я скажу тебе, когда приедем.

Он задремал, и его мысли снова унеслись к Бетти: он вообразил, что они поссорились из-за того, что она отказалась идти на вечеринку в качестве задней половины верблюда. Он уже почти заснул, когда его разбудил таксист, открывший дверь и трясший его за плечо:

– Кажется, приехали.

Перри сонно огляделся. От дороги к большому каменному дому был натянут полосатый тент, изнутри доносились низкие звуки барабана джазового оркестра. Он узнал дом Говарда Тейта.

– Точно, – окончательно проснувшись, сказал он, – это здесь! Сегодня вечеринка у Тейтов. Точно, туда все и собирались!

– Слушай, – встревоженно спросил индивидуум, еще раз взглянув на натянутый тент, – а ты уверен, что все эти люди меня не побьют за то, что я туда сунусь?

Перри с достоинством встряхнулся:

– Если только кто-нибудь заикнется, просто скажешь, что ты – часть моего костюма.

Возможность представиться скорее в виде вещи, нежели личности, успокоила таксиста.

– Ну ладно, – неохотно согласился он.

Перри прошел под сень тента и стал разворачивать верблюда.

– Вперед, – скомандовал он.

Спустя несколько минут можно было наблюдать, как печальный и на вид голодный верблюд, испуская клубы пара из пасти и дырочки в гордой задней половине, пересек порог резиденции Говарда Тейта, удостоил изумленного лакея слабым фырканьем и направился прямо по главной лестнице, ведшей в бальную залу. Зверь двигался характерным аллюром, напоминавшим нечто среднее между неуверенным строевым шагом и беспорядочным бегом; точнее всего этот стиль передвижения можно было бы описать словом «спотыкающийся». Верблюд спотыкался на каждом шагу, и, передвигаясь, он то вытягивался, то сжимался, как огромная гармонь.

III

Семья Тейтов считалась самой влиятельной в Толедо. Миссис Говард Тейт до замужества звалась мисс Тодд и проживала в Чикаго, но все члены семьи в общении отличались той нарочитой простотой, что стала знаком принадлежности к американской аристократии. Тейты уже достигли такого положения, когда разговоры велись о свиньях и фермах, а каждый, кому эта тема не доставляла удовольствия, удостаивался лишь холодного взгляда. Им уже казалось предпочтительней видеть за обеденным столом не друзей, а вассалов, они без особого шума тратили огромные деньги и, потеряв вкус к соревнованию, постепенно скучнели.

Бал в этот вечер давался в честь маленькой Миллисент Тейт, и, хотя среди приглашенных были представители всех поколений, танцевали в основном школьники и студенты: основная часть уже успевшей вступить в брак молодежи в этот вечер веселилась на цирковом карнавале, устроенном Таунсендами в клубе «Дилижанс». Миссис Тейт находилась в бальном зале, следя за Миллисент и подбадривая ее улыбками, когда их взгляды встречались. Рядом с ней стояли две средних лет тетушки, наперебой твердившие, как же идет Миллисент новое платье! Именно в этот приятный момент миссис Тейт почувствовала, как ее сильно дернули за юбку, и мгновение спустя на руках у матери с громким «Ох!» очутилась младшая дочь, одиннадцатилетняя Эмили.

– Эмили, что случилось?

– Мама, – сказала Эмили, испуганная, но не сильно, – там на лестнице…

– Что?

– Там на лестнице что-то непонятное, мама! Я думаю, что это большая собака, мама, но она совсем не похожа на собаку!

– Что ты хочешь сказать, Эмили?

Тетушки сочувственно закачали головами.

– Мама, это похоже… Это похоже на верблюда!

Миссис Тейт рассмеялась:

– Ты видела старое глупое привидение, вот и все.

– Вовсе нет! Нет, это было что-то живое, мама, и большое! Я шла вниз посмотреть, не идет ли кто-нибудь еще, а эта собака или что это было… оно шло наверх! Так смешно, мама, как будто оно было хромое. А потом оно увидело меня и как-то так взвыло, а затем поскользнулось на лестничной площадке, и я от него убежала.

Улыбка сошла с лица миссис Тейт.

– Ребенок определенно что-то видел, – сказала она.

Тетушки согласились, что ребенок действительно что-то видел, и все три женщины, не сговариваясь, инстинктивно отступили от двери, потому что прямо за ней, совсем рядом, послышался глухой звук шагов.

Затем раздалось три приглушенных вздоха изумления – из-за угла материализовалось нечто темно-коричневое, и наконец все разглядели что-то вроде огромного зверя, глядевшего на них голодными глазами.

– Ах! – воскликнула миссис Тейт.

– Ох! – хором воскликнули дамы.

На спине верблюда неожиданно показался горб, и вздохи сменились визгом.

– Ох… Смотрите!

– Что это?

Танец остановился, и танцоры, поспешившие к месту происшествия, отнеслись к непрошеному гостю совершенно по-разному; конечно же молодежь немедленно заподозрила, что все было подстроено заранее хозяевами для того, чтобы развеселить гостей. Мальчики постарше отнеслись к событию с подобающим пренебрежением, расценив произошедшее как насмешку над их уже не детским интеллектом, и, не вынимая рук из карманов, не спеша подтягивались поближе. Зато большинство девушек издали приглушенные возгласы веселого изумления.

– Да ведь это верблюд!

– Какой забавный, не правда ли?

Верблюд неуверенно замер, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, и медленно обвел залу оценивающим взором. Затем он внезапно принял решение, развернулся и быстро засеменил к двери.

В этот момент из библиотеки на первом этаже вышел мистер Говард Тейт и остановился в холле, чтобы побеседовать с молодым человеком. Неожиданно сверху послышались крики, затем

последовала серия неясных глухих звуков, и у подножия лестницы стремительно возникло огромное коричневое животное, которое, судя по всему, куда-то спешило.

– Что за черт? – вздрогнув, произнес мистер Тейт.

Животное с достоинством огляделось и с видом полнейшей безмятежности, будто только что вспомнив о важной встрече, смешанным аллюром направилось к входной двери. Если быть точным, на бег поспешно перешли его передние ноги.

– Стойте здесь! – напряженно скомандовал мистер Тейт. – Я туда! Хватайте его, Баттерфилд! Хватайте!

Молодой человек мертвой хваткой обхватил заднюю часть верблюда; обнаружив, что дальнейшее движение стало невозможным, передняя часть также покорно отдалась в плен, замерев в смятении. К этому моменту по лестнице уже начал спускаться поток молодежи, и мистер Тейт, не знавший, какой из пришедших ему в голову вариантов – от оригинального грабежа до сбежавшего психа – предпочесть, давал отрывистые указания молодому человеку:

– Держите покрепче! Ведите сюда. Сейчас посмотрим…

Верблюд позволил увести себя в библиотеку; мистер Тейт, заперев дверь, вытащил из ящика стола револьвер и отдал молодому человеку приказание снять с животного голову. После этого он судорожно вздохнул и положил револьвер на место.

– Перри Паркхарст! – изумленно воскликнул он.

– Ошибся адресом, мистер Тейт, – робко произнес Перри. – Надеюсь, вы не испугались.

– Ну, вы заставили нас поволноваться, Перри. – Внезапно ему стало ясно, что произошло. – Вы собирались на цирковой карнавал Таунсендов?

– В общем, да…

– Позвольте представить вам мистера Баттерфилда, мистер Паркхарст. – И, повернувшись к Перри, добавил: – Баттерфилд пробудет у нас еще несколько дней.

– Я слегка заблудился, – пробормотал Перри. – Прошу прощения.

– Все в полном порядке, это совершенно естественная ошибка! У меня тоже в шкафу лежит клоунский костюм – я тоже еду к Таунсендам, но позже. – Он повернулся к Баттерфилду: – Может, передумаете и поедете с нами?

Молодой человек стал отказываться. Ему хотелось спать.

– Выпьете, Перри? – предложил мистер Тейт.

– Благодарю вас, с удовольствием.

– Ах да, – быстро добавил Тейт, – я совсем забыл о… вашем друге, там. – Он указал на заднюю часть верблюда. – Прошу прощения за бестактность. Мы знакомы? Прошу вас, выходите.

– Это не друг, – торопливо пояснил Перри. – Я его просто нанял.

– Он выпьет?

– Будете? – спросил Перри, беспокойно оглядываясь.

Раздался приглушенный звук, выражавший согласие.

– Ну конечно! – энергично произнес мистер Тейт. – Настоящий верблюд способен выпить столько, чтобы хватило на три дня вперед!

– Предупреждаю, – с сомнением сказал Перри, – он не совсем подобающе одет для того, чтобы показаться среди гостей. Если вы не возражаете, я передам ему туда бутылку, и он сможет выпить, не выходя наружу.

Из-под ткани в ответ на это предложение раздалось что-то вроде одобрительных аплодисментов. Как только появился дворецкий с бутылками, стаканами и сифоном, одна из бутылок немедленно перекочевала назад, и после этого молчаливый собутыльник напоминал о своем существовании лишь частыми приглушенными звуками продолжительных глотков.

Так они провели целый час. Когда пробило десять вечера, мистер Тейт решил, что пора выходить. Он облачился в свой клоунский костюм, Перри водрузил на место голову верблюда, и бок о бок они пешком пересекли квартал, отделявший дом Тейтов от клуба «Дилижанс».

Цирковой карнавал был в самом разгаре. В бальной зале растянули огромный шатер, а вдоль стен выстроились ряды кабин, представлявших различные аттракционы бродячих цирков, – к этому времени все они уже были пусты, зато зал был заполнен громко веселящейся молодежью, одетой в цветастые костюмы на любой вкус: там были клоуны, бородатые дамы, акробаты, наездники, инспекторы манежа, татуированные силачи и дрессировщики. Таунсенды позаботились о том, чтобы их вечеринка была веселой, так что из дома было тайно переправлено большое количество выпивки, которая теперь лилась рекой. По стенам бального зала вилась зеленая лента с

указательными стрелками и надписями для непосвященных: «Следуйте вдоль зеленой линии!» Зеленая линия вела прямиком в бар, где гостей ожидал обычный пунш, пунш покрепче, а также всем знакомые темно-зеленые бутылки без этикеток.

На стене над баром была нарисована другая стрелка, красного цвета и очень неровная, а под ней было написано: «А теперь вам туда!»

Но даже среди роскошных костюмов и порядком разогретой атмосферы появление у входа верблюда вызвало некоторый переполох, и Перри немедленно окружила любопытствующая, смеющаяся толпа, пытавшаяся определить, кто же скрывается внутри животного, стоявшего у широких дверей зала и окидывавшего танцующих меланхолично-голодным взором.

Перри заметил Бетти, стоявшую перед одной из будок и разговаривавшую с комичным полисменом. Она была в костюме египетской заклинательницы змей: ее темно-рыжие волосы были уложены в косы и украшены латунными кольцами, образ завершала блестящая тиара с восточным орнаментом. Прекрасное лицо было нарумянено до темно-оливкового цвета, а на рукавах и предплечьях извивались нарисованные змеи с ядовито-зелеными глазами. На ногах были сандалии, а юбка, начиная от колен, состояла из множества узеньких полосок, и при ходьбе можно было разглядеть тоненьких змеек, нарисованных прямо на голых коленках. Вокруг шеи обвилась блестящая кобра. В общем, это был очаровательный костюм, заставлявший наиболее нервных пожилых дам непроизвольно вздрагивать при ее приближении, а наиболее беспокойных произносить нарочито громкие тирады, начинавшиеся с «недопустимо» и «как не стыдно».

Но Перри сквозь узкие верблюжьи прорези для глаз мог видеть только ее сияющее, оживленное и возбужденное лицо, а также руки и плечи, живые и экспрессивные движения которых выделяли их обладательницу в любом обществе. Он был восхищен, и восхищение оказало на него отрезвляющий эффект. Он ясно вспомнил все, что произошло днем, страсть вспыхнула с новой силой, и, забыв обо всем и горя желанием вызвать ее из толпы, он направился к ней – точнее, начал плавное растяжение, поскольку совсем запамятовал подать заранее команду, необходимую для начала передвижения.

И в этот момент изменчивая Кисмет, которая весь день играла с ним в злые игры, причиняя ему боль, а себе радость, решила сполна его за все вознаградить. Именно Кисмет обратила внимание рыжеволосой заклинательницы змей на верблюда. Именно Кисмет сделала так, что заклинательница облокотилась на предложенную ей кавалером руку и спросила: «Кто это? Этот верблюд?»

– Клянусь, не знаю.

Но малыш Уорбартон, который знал все и обо всем, счел необходимым отважно пойти наперекор общему мнению:

– Он появился с мистером Тейтом. Так что одна из половин, скорее всего, Уоррен Баттерфилд, архитектор из Нью-Йорка, который гостит у Тейтов.

Что-то шевельнулось в душе Бетти Мэйдл: это был древний, как мир, интерес провинциальной девицы к заезжему гостю.

Выдержав должную паузу, она небрежным кивком поблагодарила за ответ.

По окончании следующего танца Бетти и ее партнер как бы случайно оказались рядом с верблюдом. С бесцеремонной дерзостью, которая, казалось, витала в атмосфере этой вечеринки, она подошла поближе и нежно потрепала верблюда за нос.

– Привет, верблюд!

Верблюд неуверенно покачнулся.

– Ты меня боишься? – сказала Бетти, укоризненно подняв брови. – Не бойся. Видишь, я вообще-то зачаровываю змей, но и верблюды мне тоже по силам.

Верблюд совершил глубокий поклон, раздалась предсказуемая шутка о красавице и чудовище.

К собравшейся группе подошла миссис Таунсенд.

– О, мистер Баттлфилд, – произнесла она на правах хозяйки, – а я вас и не узнала!

Перри снова поклонился и радостно улыбнулся под покровом маски.

– А кто это с вами? – спросила она.

– О, это не важно, миссис Таунсенд, – голос Перри заглушался толстой тканью и был неузнаваем, – это просто часть моего костюма.

Миссис Таунсенд рассмеялась и отошла. Перри снова повернулся к Бетти.

«Итак, – подумал он, – вот чего стоит ее чувство! Не успело пройти и дня с того момента, как мы порвали, а она уже готова флиртовать с другим, да еще и с незнакомцем!»

Повинуясь внезапному импульсу, он слегка подтолкнул ее плечом и движением головы пригласил в холл, дав недвусмысленно понять, что желает, чтобы она покинула своего партнера и шла с ним.

– Пока, Рас, – крикнула она партнеру. – Верблюд зовет меня. Куда же мы направимся, о царь зверей?

Благородное животное промолчало и торжественно направилось в укромный уголок под боковой лестницей.

Там Бетти села, и верблюд, после нескольких секунд замешательства, сопровождавшегося невнятными приказами и яростными пререканиями, доносившимися из его недр, сел рядом с ней, неуклюже разложив свои задние ноги сразу на две ступеньки.

– Ну, малыш, – весело сказала Бетти, – как тебе наша маленькая вечеринка?

Малыш продемонстрировал свое удовольствие путем экстатического покачивания головой и ликующего цокота копыт.

– Впервые меня пригласили на тет-а-тет в присутствии пажа… – она указала на задние ноги. – Или кто там это такой…

– Гм, – пробормотал Перри, – он у меня глухонемой!

– Надо думать, что вы чувствуете себя стесненно: ходить вам, наверное, тяжело, даже если очень хочется?

Верблюд печально кивнул головой.

– Скажите же мне что-нибудь! – кокетливо продолжала Бетти. – Скажите, что я вам нравлюсь, верблюд! Скажите, что считаете меня красавицей! Скажите, что были бы счастливы принадлежать заклинательнице змей!

Верблюд не возражал.

– Потанцуете со мной, верблюд?

Верблюд был готов попробовать.

Бетти посвятила верблюду полчаса. Она всегда посвящала не менее получаса любому из гостей. Обычно этого было достаточно. Как только она приближалась к незнакомому ей молодому человеку, все находившиеся рядом с ним в тот момент дебютантки моментально рассеивались направо и налево, как строй пехоты под огнем пулеметного гнезда. И Перри Паркхарсту выпала уникальная

возможность увидеть свою любовь такой, какой ее обычно видели все остальные. С ним флиртовали самым жестоким образом!

IV

Эта покоившаяся на хрупком фундаменте идиллия была нарушена звуками, донесшимися из бального зала и означавшими начало котильона. Бетти и верблюд пошли вместе со всеми, ее смуглая рука покоилась на его плече, недвусмысленно символизируя его окончательное приятие в сонм поклонников.

Когда они вошли, пары уже рассаживались за столиками у стен, а миссис Таунсенд, к округлым икрам которой очень шел костюм наездницы, стояла в центре с инспектором манежа, отвечавшим за расстановку пар. Оркестр получил сигнал, все поднялись, и танец начался.

– Как здорово! – вздохнула Бетти. – У тебя получится составить мне компанию?

Перри с энтузиазмом кивнул. Он почувствовал неожиданный прилив энергии. В конце концов, он находился здесь инкогнито, свободно общался со своей любимой – разве не это называется «кум королю»?

И Перри танцевал котильон. Я говорю «танцевал», но это слово в данном контексте означает нечто большее, потому что то, что им выражается, выходило за пределы самых смелых мечтаний джазовой Терпсихоры. Его партнерша возлагала руки на покатые верблюжьи плечи, при этом ей приходилось судорожно дергаться по периметру всего зала, в то время как сам верблюд покорно свешивал свою огромную голову ей на плечо и производил мелкие неуклюжие движения ногами. Задние ноги отплясывали сами по себе: в основном танец ограничивался резким поднятием сначала одной ноги, а затем и другой. Из-за невозможности понять, продолжается ли танец или уже

закончился, задние ноги решили подстраховать себя путем выполнения серии мелких шажков во все моменты, когда до них доносилась музыка. Вот почему довольно часто можно было наблюдать, как передняя половина спокойно стоит и ждет следующего такта, зато задняя в этот момент продолжает свои непрерывные энергичные движения, которые могли вызвать сочувственную испарину у любого добросердечного наблюдателя.

Верблюд пользовался популярностью. Сначала он танцевал с высокой дамой, покрытой соломой, которая весело объявила, что является стогом сена и нижайше просит не есть ее.

– Хорошо, но вы так аппетитно выглядите! – галантно ответил верблюд.

Каждый раз, как только инспектор манежа произносил «Приглашают кавалеры!», он неуклюже устремлялся к Бетти с картонной колбаской, фотографией бородатой дамы или другой вещью, являвшейся значком на этой фигуре. И иногда он даже опережал всех остальных, но в основном опаздывал, что вызывало бурный взрыв внутренних эмоций.

– Ради бога, – яростно рычал Перри сквозь стиснутые зубы, – ну проснись же ты наконец! Я бы точно пригласил ее на этот раз, если бы ты хоть немного подвигал ногами.

– Ну ты бы хоть намекнул!

– Проклятие, а я что сделал?

– Я же ни черта не вижу!

– Все, что от тебя требуется, это следовать за мной. Это напоминает ходьбу с мешком песка за спиной.

– А не хотите сами попробовать посидеть в этом мешке?

– Заткнись! Если кто-нибудь только узнает, что ты находишься в этой комнате, тебя вздуют так, что ты надолго это запомнишь. И уж точно вылетишь с работы.

Перри и сам был удивлен легкостью, с которой он произнес такую ужасную угрозу, но на его партнера она подействовала как успокоительное; тот издал лишь нечленораздельное ругательство и сконфуженно замолк.

Распорядитель взобрался на пианино и взмахом руки призвал к тишине.

– Призы! – крикнул он. – Подходите ближе!

– Ура! Призы!

Стал собираться круг застенчивых. Симпатичная девушка, набравшаяся смелости прийти в качестве «бородатой дамы», чуть дрожала от предвкушения награды за самый безобразный костюм вечера. Юноша, проведший весь вечер с «татуировками» по всему телу, прятался в толпе, сильно краснея всякий раз, когда кто-нибудь говорил, что награда у него в кармане.

– Артисты и артистки нашего цирка, – весело начал инспектор манежа, – не сомневаюсь, что всем здесь сегодня было весело. И мы воздадим честь самым достойным среди нас и даруем им призы! Миссис Таунсенд уполномочила меня провозгласить их имена. Итак, дорогие коллеги-артисты, первый приз присуждается леди, которая весь этот вечер демонстрировала нам самый поразительный, подобающий случаю, – в этот момент «бородатая дама» покорно вздохнула, – и оригинальный костюм. – Тут «стог сена» навострила уши. – Я уверен, что решение, о котором сейчас будет объявлено, единогласно одобрят все присутствующие. Первый приз достается мисс Бетти Мэйдл, очаровательной заклинательнице змей из Египта!

Раздался взрыв аплодисментов – аплодировала большей частью сильная половина, – и мисс Бетти Мэйдл, сквозь оливковый грим которой проступил очаровательный румянец, прошла вперед, чтобы получить свою награду. Инспектор манежа, с восторгом улыбнувшись, преподнес ей огромный букет орхидей.

– А теперь, – продолжил он, оглядевшись вокруг, – я объявляю нашего следующего лауреата: того, чей костюм, по общему мнению, стал самым забавным и оригинальным костюмом вечера. Приз, как вы уже догадались, достается нашему гостю, джентльмену, который появился здесь лишь ненадолго, но чьим приятным обществом, как все мы надеемся, мы сможем насладиться еще не раз, – короче говоря, приз вручается благородному верблюду, который на протяжении всего вечера доставлял нам истинное удовольствие своим голодным взором и чарующим искусством танца!

Он умолк, и раздались бурные аплодисменты и крики одобрения, поскольку выбор разделяли большинство присутствующих. Приз – большая коробка сигар – был отложен в сторону для последующей передачи верблюду, поскольку вручить его прямо сейчас не позволяли анатомические особенности животного.

– А теперь, – продолжил инспектор манежа, – мы завершим котильон бракосочетанием Веселья и Безрассудства!

– Прошу всех построиться для свадебного марша, а прекрасную заклинательницу змей и благородного верблюда попросим его возглавить!

Бетти весело проскользнула вперед и смуглой рукой обвила шею верблюда. За ними выстроилась процессия маленьких мальчиков, маленьких девочек, деревенских дурачков, толстушек, йогов, глотателей шпаг, дикарей с острова Борнео, фокусников; многие были изрядно навеселе, всем без исключения было весело, всех ослепляли потоки разноцветного света вокруг; счастливые лица были неузнаваемы в варварской раскраске и под париками. Исступленные тромбоны и саксофоны издали первые чувственные аккорды свадебного марша в богохульной синкопированной аранжировке, и шествие началось.

– Ты счастлив, верблюд? – тихо поинтересовалась Бетти, когда они двинулись вперед. – Счастлив ли ты, что берешь меня в жены и будешь отныне принадлежать прелестной заклинательнице змей?

Передние ноги верблюда загарцевали, изображая переполнявшую их радость.

– Священника! Священника! Где священник? – раздались крики из гущи праздника. – Кто будет изображать духовное лицо?

Из приоткрытой двери бара неожиданно показалась голова Джамбо, тучного негра, который уже на протяжении многих лет работал официантом клуба «Дилижанс».

– О, Джамбо!

– Старик Джамбо! Он то, что надо!

– Выходи, Джамбо! Как насчет поженить молодых?

– Ура!

Четыре арлекина схватили Джамбо, освободили его от фартука и провели к возвышению в дальнем конце зала. Там с него сняли воротничок и снова надели его задом наперед, как носят священники. Участники парада разделились и образовали подобие алтаря для жениха и невесты.

– Леди, джентльмены, – прокричал Джамбо, – у меня есть старенькая Библия, так что все по-настоящему!

Он вытащил из внутреннего кармана потрепанную Библию.

– Ура! У Джамбо есть Библия!

– И перо, могу поспорить!

Заклинательница змей и верблюд вместе поднялись к ликующему алтарю и остановились перед Джамбо.

– У тебя есть лицензия, верблюд?

Стоявший рядом юноша решил подсказать Перри:

– Дай ему лист бумаги. Да что угодно…

Перри, смутившись, засунул руку в карман, нашел сложенный лист бумаги и протянул его сквозь рот верблюжьей маски. Держа текст вверх ногами, Джамбо притворился, что внимательно читает написанное.

– Это специальная лицензия для верблюдов, – сказал он. – Приготовьте кольцо, верблюд.

Перри повернулся внутри верблюда и обратился к своей задней половине.

– Ради бога, дай кольцо!

– У меня с собой нет, – возразил усталый голос.

– Есть. Я видел.

– Я никогда не снимаю его.

– Если не снимешь, я тебя прибью.

Послышался вздох, и в руке Перри оказалось солидных размеров латунное изделие с фальшивым бриллиантом.

Он снова почувствовал толчок снаружи.

– Говори!

– Согласен! – торопливо выкрикнул Перри.

Он услышал жизнерадостный ответ Бетти, и это заставило его разволноваться даже в такой бурлескной ситуации.

После этого он просунул руку с кольцом сквозь прореху в верблюжьей шкуре и надел фальшивый бриллиант ей на палец, бормоча древние решающие слова вслед за Джамбо. Он ни в коем случае не хотел, чтобы кто-нибудь обо всем этом узнал. По окончании церемонии он намеревался незаметно ускользнуть, не снимая костюма и надеясь, что мистер Тейт не выдаст его секрет, раз уж не выдал до сих пор. Перри везде считался многообещающим молодым человеком, и такая история могла испортить его едва успевшую начаться карьеру адвоката.

– Обнимите невесту!

– Верблюд, снимайте маску и поцелуйте невесту!

Сердце его инстинктивно забилось, когда Бетти, смеясь, повернулась к нему и стала снимать картонную маску. Он чувствовал, что теряет контроль над собой, ему безумно хотелось обнять ее, объявить свое настоящее имя и поцеловать эти губы, находившиеся столь близко… Но неожиданно смех и аплодисменты вокруг стихли, и в зале воцарилась нехорошая тишина. Перри и Бетти удивленно оглянулись. Джамбо призывал к тишине громким «Внимание!», голос его выражал такую растерянность, что все взоры сразу же устремились на него.

– Внимание! – повторил он еще раз.

Он перевернул брачную лицензию, которую до сих пор держал вверх ногами, достал очки и, прилагая отчаянные усилия, прочитал документ.

– Вот это да, – воскликнул он, и в затихшем зале его слова достигли ушей всех присутствующих, – да ведь это же настоящая брачная лицензия!

– Что?

– Не может быть!

– Повтори, Джамбо!

– Ты точно умеешь читать?

Джамбо жестом призвал к тишине, и душа Перри ушла в пятки, как только он осознал, какую ошибку только что совершил.

– Уверяю! – воскликнул Джамбо. – Это настоящая брачная лицензия, и она разрешает брак вот этой молодой леди, мисс Бетти Мэйдл, с мистером Перри Паркхарстом!

Послышался общий вздох, все взгляды устремились на верблюда, в зале послышался монотонный гул. Бетти резко отпрянула, ее глаза метали яростные молнии.

– Верблюд, ваше имя Перри Паркхарст?

Перри не отвечал. Стоявшие вокруг придвинулись поближе и глядели на него, ожидая ответа. В полном смятении, он стоял и не двигался; его картонная морда выглядела по-прежнему голодной и сардонической, а взор был направлен на неумолимого Джамбо.

– Лучше ответьте, – медленно произнес Джамбо, – это достаточно серьезный вопрос. Так уж получилось, что кроме своих обязанностей в этом клубе я еще исполняю обязанности священника в нашей

городской баптистской церкви. И только от вашего ответа зависит, не женаты ли вы теперь по-настоящему!

V

Последовавшая сцена навсегда запечатлена в анналах клуба «Дилижанс». Дородные матроны падали в обморок, стопроцентные пуритане изрыгали проклятия. Как мыльные пузыри, образовывались и распадались группы обезумевших дебютанток, а по всему залу слышался хаотичный приглушенный гул злых языков. Взволнованные юноши клялись убить Перри, или Джамбо, или самих себя, или еще кого-нибудь, баптистский священник был окружен бурлящей группой громкоголосых адвокатов-любителей, задававших вопросы, грозивших, требующих указать прецеденты, приказывавших срочно сбрасывать акции и особенно настойчиво пытавшихся обнаружить любой признак того, что все случившееся было подстроено заранее.

Миссис Таунсенд тихо плакала в углу на плече мистера Говарда Тейта, безуспешно пытавшегося упокоить ее; они оба громко твердили «моя вина!». Снаружи, на покрытом снегом тротуаре, в окружении двух смелых добровольцев шагал туда и обратно мистер Сайрус Мэйдл – Мистер Алюминий, – изрыгая по очереди то слова, которые в приличном обществе повторять не рекомендуется, то отчаянные мольбы не останавливать его на пути к бренному телу Джамбо. Костюм, выбранный им для этого вечера, представлял дикаря с острова Борнео, и даже самый требовательный режиссер не смог бы придраться к правдоподобию исполнения роли.

Тем временем всеобщее внимание полностью захватили главные герои. Разъяренную Бетти Мэйдл – или уже Бетти Паркхарст? – окружила толпа дурнушек; все красотки были слишком заняты, обсуждая ее, чтобы уделять внимание ей самой; на другой стороне зала стоял верблюд, все еще в костюме, если не считать маски, печально

свесившейся на грудь. Перри был всецело занят доказательством своей невиновности перед кругом озадаченных и сердитых мужчин. Каждые несколько минут, когда уже казалось, что он полностью доказал полнейшее отсутствие умысла, кто-нибудь вспоминал о брачной лицензии, и допрос с пристрастием начинался заново.

Замечание, сделанное Мэрион Клауд, считавшейся второй красавицей Толедо, смогло наконец изменить ход дела.

– Ну что ж, – ядовито заметила она, – это все понемногу рассосется, дорогая. Без сомнения, любой суд это аннулирует.

Как по волшебству, из глаз Бетти исчезли слезы ярости, она сжала губы и с холодным безразличием взглянула на Мэрион. Она встала и, расталкивая сочувствующих, направилась через зал прямо к Перри, который с ужасом смотрел, как она приближается. В зале снова воцарилась тишина.

– Хватит ли у вас совести уделить мне пять минут для беседы – или, может, этого не было в вашем первоначальном плане?

Он кивнул, потому что губы его не слушались.

Холодно попросив его следовать за ней, она, гордо подняв голову, вышла в холл и прошла в одну из уединенных комнат с карточным столиком. Перри было двинулся за ней, но чуть не упал, потому что его задние ноги вдруг перестали его слушаться.

– Ты остаешься здесь! – яростно скомандовал он.

– Я не могу, – раздался жалобный голос задней половины. – Сначала должны выйти вы!

Перри заколебался, но, более не в силах выносить любопытные взгляды всех присутствовавших, пробормотал команду, и верблюд осторожно вышел из комнаты на всех четырех ногах.

Бетти ждала его.

– Ну, что ж, – яростно начала она, – теперь ты видишь, что ты наделал! Ты со своей дурацкой лицензией! Я же говорила, что не надо было ее брать!

– Любовь моя, я…

– Не говори мне «любовь моя»! Прибереги это для своей настоящей жены, если только кто-нибудь выйдет за тебя после этого мерзкого фарса! И не пытайся меня убедить, что это все вышло случайно. Ты подкупил этого негра! Ты сам это знаешь! Не вздумай говорить, что ты и не пытался жениться на мне!

– Нет… Конечно же…

– Да уж лучше скажи честно! Ты попробовал, и что ты теперь будешь делать? Ты знаешь, что мой отец почти сошел с ума? Так тебе и надо, если он тебя пристрелит! Возьмет ружье и начинит тебя сталью! Даже если эту сва… этот спектакль можно будет аннулировать, эта история будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь!

Перри не смог удержаться и негромко процитировал:

– «Верблюд, счастлив ли ты, что будешь отныне принадлежать прелестной заклинательнице?..»

– Заткнись! – воскликнула Бетти.

Повисла пауза.

– Бетти, – наконец произнес Перри, – единственное, что сможет поставить все на свои места, – это если мы поженимся по-настоящему. Выходи за меня.

– Выйти за тебя?

– Да. Только это…

– Заткнись! Я бы не вышла за тебя, даже если…

– Знаю. Если бы я был единственным мужчиной на свете. Но если тебе хоть немного дорога твоя репутация…

– Репутация! – воскликнула она. – Вот теперь ты вспомнил о моей репутации! А почему же ты не подумал о моей репутации, когда нанимал этого жуткого Джамбо, чтобы…

Потеряв надежду, Перри воздел руки:

– Очень хорошо. Я сделаю все, как ты хочешь. Видит Бог, я отказываюсь от любых претензий!

– Ноя, – послышался новый голос, – не отказываюсь!

Перри и Бетти вздрогнули, и она приложила руку к сердцу:

– Господи, это еще кто?

– Это я, – отозвалась половина верблюда.

Перри молниеносно стащил верблюжью шкуру, и перед ними возник неряшливый, нетвердо стоявший на ногах субъект; костюм его вымок от пота, а рука крепко сжимала почти пустую бутылку.

– О, – воскликнула Бетти, – ты притащил его сюда, чтобы шантажировать меня! Ты же говорил, что он глухонемой, – что за ужасная рожа!

Удовлетворенно вздохнув, половина верблюда уселась на стул.

– Не стоит говорить об мне подобным образом, леди. Я – не рожа. Я ваш муж.

– Муж?

Этот возглас вырвался одновременно и у Перри, и у Бетти.

– Ну да, конечно. Я для вас такой же муж, как и этот парень. Вас женили не на передней половине верблюда. Вас женили на верблюде целиком. Да вон и на пальце у вас мое кольцо!

Взвизгнув, она стянула с пальца кольцо и изо всех сил швырнула его на пол.

– О чем это ты? – озадаченно спросил Перри.

– Вам придется договориться со мной, да так, чтобы я остался доволен. Если у вас не получится, имейте в виду, что у меня такие же права на нее, как и у вас!

– Это двоемужество, – сказал Перри, развернувшись к Бетти.

И вот для Перри наступил решающий момент – момент, когда он решил поставить на карту все. Он встал, посмотрел сначала на ослабевшую Бетти, сраженную этим новым обстоятельством, затем на таксиста, неуверенно, но с угрозой покачивавшегося на стуле из стороны в сторону.

– Очень хорошо, – медленно произнес Перри, обращаясь к индивидууму, – бери ее. Бетти, что касается меня, то я смогу доказать тебе, что наша свадьба произошла по чистой случайности. Я при свидетелях откажусь от любых своих прав на тебя в качестве моей жены и передам тебя человеку, чье кольцо ты носишь, твоему законному супругу.

В наступившей тишине на него смотрели две пары глаз, в которых читался ужас.

– Прощай, Бетти, – отрывисто произнес он. – Не забывай меня теперь, когда ты обрела счастье. Утренним поездом я уезжаю далеко, на Восток. Вспоминай только хорошее, Бетти.

Бросив на них прощальный взор, он отвернулся, повесил голову на грудь и взялся за дверную ручку.

– Прощай, – повторил он. И повернул ручку двери.

Но, как только раздался скрип двери, и змеи, и шелк, и рыжие косы стремительно бросились к нему.

– О Перри, не оставляй меня! Перри, Перри, возьми меня с собой!

Ее слезы текли по его щекам. Он спокойно заключил ее в объятия.

– Мне все равно, – всхлипывала она. – Я люблю тебя, и если ты хочешь, можешь найти прямо сейчас священника, чтобы нас еще раз поженили. Я поеду с тобой на Восток!

Передняя половина верблюда из-за плеча девушки бросила взгляд на заднюю половину, и они подмигнули друг другу. Это был особый знак, понятный лишь верблюдам.

Первое мая

Прошла и увенчалась победой война, и огромный город победителей перекрестили триумфальными арками и забросали живыми цветами: белыми, алыми и розовыми.

Долгими весенними днями с утра и до вечера под гулкие звуки барабанов и радостные, звонкие звуки медных труб по главной улице маршировали возвращавшиеся домой солдаты, а бледные и отвыкшие от улыбок торговцы и служащие контор, бросив свои мелочные расчеты и ссоры, толпились у окон и смотрели на проходящие мимо батальоны.

Никогда еще огромный город не был так великолепен – ведь победоносная война принесла с собой многое, и стекались сюда с юга и с запада толпы торговцев с домочадцами, дабы отведать от всех сладких яств, и узреть все множество приготовленных зрелищ, и купить своим женам меха на будущую зиму, и сумочки из золотой плетеной нити, и разноцветные пестрые туфли-лодочки из шелка, серебристого и розового атласа и золотой парчи.

И столь веселыми и шумными были надвигающиеся мир и процветание, воспетые писателями и поэтами нации победителей, что все больше и больше расточительного люда собиралось из провинций, дабы испить из чаши веселья, и все быстрее и быстрее торговцы избавлялись от своих безделушек и туфелек, пока не возопили они ввысь громким воплем о том, что нужно им еще безделушек и туфель,

дабы могли они дать то, что требовали от них. А самые праведные из них беспомощно вздымали руки и кричали:

«Увы! Нет у меня больше туфелек! И увы же мне! У меня нет больше безделушек!!! Да помогут мне небеса, ибо не ведаю я, что же мне делать?»

Но никто не внимал их громкому воплю, потому что толпа была захвачена иным: день за днем по улице бойко шагала пехота, и все ликовали, потому что возвращавшиеся домой юноши были чисты и храбры, белозубы и розовощеки, а девы родной земли были непорочны и прекрасны как лицом, так и фигурой.

И в то время множество событий свершилось в огромном городе, и здесь записано о нескольких из них – а возможно, что и об одном.

I

В девять часов утра первого мая 1919 года к портье отеля «Билтмор» обратился молодой человек, желавший знать, не здесь ли остановился мистер Филип Дин, – и, если это так, то нельзя ли попросить вызвать номер мистера Дина? Проситель был одет в хорошо сшитый поношенный костюм; он был невысок, строен и красив какой-то обреченной красотой. Сверху его глаза обрамляли необычно длинные ресницы, а под глазами были темные полукруги, от которых разило нездоровьем, что еще более подчеркивалось неестественным лихорадочным румянцем, какой обычно бывает при высокой температуре.

Да, мистер Дин остановился здесь. Молодого человека пригласили к стоявшему сбоку телефону.

Через секунду установилось соединение; откуда-то сверху ответил сонный голос.

– Это мистер Дин? – И дальше быстро: – Фил, это Гордон. Гордон Стеррет! Я внизу. Узнал, что ты в Нью-Йорке, и сразу подумал, что ты,

наверное, остановишься здесь.

В сонном голосе постепенно просыпалось воодушевление. Привет, как дела, Горди, старик? Еще бы, приятно удивлен и польщен! Горди, ну давай же, ради бога, скорее поднимайся наверх!

Через несколько минут Филип Дин, одетый в голубую шелковую пижаму, открыл дверь, и молодые люди, в легком смущении от избытка чувств, поздоровались. Обоим было по двадцать четыре года, оба окончили Йельский университет за год до начала войны, но на этом их сходство и кончалось. Дин был светловолосый, румяный, под тонкой пижамой угадывались твердые мускулы. Он прямо-таки излучал отменное здоровье и телесный комфорт. Он все время улыбался, демонстрируя крупные выступающие вперед зубы.

– Я ведь сам собирался тебя отыскать! – радостно воскликнул он. – Приехал в отпуск на пару недель. Погоди секундочку, присядь – я мигом. Только приму душ.

Он исчез в ванной, а темные глаза гостя стали нервно блуждать по комнате, ненадолго задерживаясь то на огромном английском чемодане в углу, то на целом семействе рубашек из плотного шелка, разбросанных по стульям среди ярких галстуков и толстых шерстяных носков.

Гордон встал и, взяв одну из рубашек, быстро и внимательно ее осмотрел. Она была сделана из очень плотного желтого, в бледно-синюю полоску, шелка, и таких рубашек там валялось с дюжину. Он невольно посмотрел на манжеты своей рубашки: из потрепанных краев торчали нитки, сами манжеты были сероватыми от покрывавшей их грязи. Отбросив шелковую рубашку, он потянул вниз рукава своего пиджака до тех пор, пока они не закрыли изношенных манжет. Затем он шагнул к зеркалу и осмотрел себя с вялым и грустным интересом. Его некогда шикарный галстук поблек и измялся от прикосновений, – теперь им уже не скроешь неровных краев петелек на воротнике… Без всякого удовольствия он вспомнил о том, что всего лишь три года назад, в университете, большинством голосов его избрали самым элегантным мужчиной выпускного курса!

Из ванной вышел Дин, продолжая наводить лоск.

– Вчера вечером видел твою старую подругу, – сказал он. – Столкнулись в вестибюле – и я, хоть режьте, никак не мог вспомнить,

как же ее звать? Ну, ту девушку, которую ты приглашал в Нью-Хейвен на выпускной бал?

Гордон вздрогнул:

– Эдит Брейдин? Ты про нее?

– Точно! Чертовски хорошо выглядит. Все такая же куколка – ну, ты понимаешь, о чем я: захочешь такую разглядеть получше, чуть тронешь ее, а она уже раз – и испачкалась.

Он самодовольно оглядел свое лоснящееся отражение в зеркале и чуть улыбнулся, опять продемонстрировав зубы.

– А ведь ей уже, должно быть, двадцать три? – продолжил он.

– Месяц назад исполнилось двадцать два, – рассеянно поправил Гордон.

– Что? А, месяц назад… Ну ладно. Думаю, она приехала на бал клуба «Гамма Пси». Ты в курсе, что сегодня вечером в «Дельмонико» будет бал «Гамма Пси», нашего Йельского клуба? Давай и ты собирайся, Горди! Будет половина Нью-Хейвена! Могу достать тебе приглашение.

С неохотой облачившись в свежее белье, Дин зажег сигарету и уселся у открытого окна, приступив к изучению своих икр и коленей в струившемся в номер утреннем солнечном свете.

– Присаживайся, Горди, – предложил он, – и расскажи мне, что ты тут без меня делал, что сейчас поделываешь, ну и все такое…

Гордон внезапно рухнул на постель – и так и остался лежать, неподвижный и вялый. У него и раньше была манера, ложась, чуть приоткрывать рот, но теперь его лицо выглядело беспомощным и жалким.

– Что случилось? – тут же спросил Дин.

– Боже мой!

– Да что случилось?

– Все, что только могло случиться, черт побери! – грустно ответил он. – Я пропал, Фил! Я здорово влип.

– Чего?

– Я влип! – Его голос дрогнул.

Дин устремил на него оценивающий взгляд голубых глаз, присматриваясь к нему повнимательнее.

– Ты действительно будто постарел.

– Так и есть. Я черт знает как все запутал. – Он помолчал. – Начну, пожалуй, сначала – не утомлю тебя?

– Нисколько. Продолжай. – Нов голосе Дина послышались колебания; вообще-то эту поездку на восток страны он рассматривал как отдых, и Гордон Стеррет со своими бедами его слегка раздражал.

– Продолжай, – повторил он и чуть слышно прибавил: – И давай закругляйся!

– Ну что ж, – неуверенно начал Гордон. – Из Франции я вернулся в феврале, съездил на месяц домой в Гаррисберг, а потом приехал в Нью-Йорк искать работу. И нашел: в одной экспортной фирме. Они меня вчера уволили.

– Тебя уволили?!

– Да, Фил, я как раз к этому и перехожу. Буду говорить с тобой откровенно. Ты, наверное, единственный человек, к которому я могу обратиться по такому делу. Не возражаешь, Фил, если я буду говорить прямо и откровенно?

Дин слегка напрягся. Ладони, которыми он оглаживал колени, продолжали по инерции двигаться. Он инстинктивно почувствовал, что на него – без его согласия! – пытаются взвалить ответственность; теперь уже он был не рад, что согласился выслушать. Хотя для него и не было новостью то, что Гордон Стеррет испытывает какие-то небольшие трудности, в этой сегодняшней его беде было что-то отталкивающее и заставлявшее напрячься, даже несмотря на разбуженное любопытство.

– Продолжай.

– Дело в девушке.

– Гм… – Дин решил про себя, что ничто не испортит ему отпуск. Если Гордон будет нагонять на него тоску, значит, с Гордоном нужно будет видеться поменьше.

– Ее зовут Джевел Хадсон, – продолжил страдающий голос с кровати. – Всего лишь с год назад, думаю, она была «чистенькой». Жила тут, в Нью-Йорке, у нее бедная семья. Родители умерли, и теперь она живет со старой теткой. Понимаешь, как раз тогда, когда я с ней познакомился, из Франции стали возвращаться толпы народу, и я всего лишь радовался встречам и ходил на вечеринки, которые устраивали вновь прибывшие. Вот так все и началось, Фил: с радости от того, что снова всех вижу, ну а они были рады видеть меня.

– Головой надо было думать!

– Я знаю. – Гордон умолк, затем вяло продолжил: – Теперь я сам по себе, и, знаешь, Фил, я терпеть не могу быть бедным! А затем появилась эта проклятая девчонка. На какое-то время она вроде как влюбилась в меня, и так вышло, что мы все время с ней сталкивались то тут, то там, хотя я нисколько не собирался с ней путаться. Легко представить, чем я там у этих экспортеров занимался; само собой, я постоянно хотел от них уйти и заняться иллюстрациями для журналов – на этом можно кучу денег заработать.

– Так кто же тебе мешал? Надо на чем-то одном сосредоточиться, если хочешь чего-то добиться, – педантично заметил Дин.

– Да я пытался потихоньку, но мои работы еще сыроваты. У меня есть талант, Фил; я могу рисовать, но я не знаю, как надо. Мне бы поучиться в художественной школе, но не могу я себе этого позволить! Вот так вот… А неделю назад случился кризис. У меня как раз почти совсем кончились деньги, и тут-то за меня и взялась эта девка! Ей нужны деньги; говорит, что у меня будут неприятности, если она их не получит.

– И будут?

– Боюсь, что да. Одна из причин, почему я потерял работу, – она все время названивала мне в контору, и это стало для них последней каплей. Она уже даже приготовила письмо, чтобы отправить моим родным. Да, она меня крепко держит в руках, это точно! Я должен достать для нее денег.

Последовала неловкая пауза. Гордон лежал, не дыша, руки его сжались в кулаки.

– Я здорово влип, – продолжил он дрожащим голосом. – Я почти сошел с ума, Фил! Если бы я не знал, что ты едешь сюда, на восток, думаю, я бы покончил с собой! Прошу тебя, дай мне взаймы триста долларов!

Руки Дина, похлопывавшие его голые колени, вдруг успокоились, и странная неопределенность, повисшая между этими двумя людьми, превратилась в напряжение и натянутость.

Секунду спустя Гордон продолжил:

– Семью я уже выдоил до того, что мне стыдно у них попросить даже медный цент!

Дин молчал.

– Джевел сказала, что ей нужно двести долларов.

– Пошли ты ее!

– Да, было бы здорово, но у нее есть парочка писем, которые я написал ей спьяну… К сожалению, она не из тех, кто побоится дать делу ход, тут надеяться не на что.

На лице Дина показалось отвращение.

– Терпеть не могу таких баб. Держался бы ты от них подальше!

– Знаю, – устало согласился Гордон.

– Нужно видеть вещи такими, какие они есть. Если у тебя нет денег, надо работать и держаться от женщин подальше!

– Легко тебе говорить, – начал было Гордон, прищурившись. – У тебя-то ведь денег полно!

– Ни в коей мере! За моими расходами чертовски пристально следит моя семья. И если у меня и есть небольшая заначка, то это не значит, что я могу себе позволить ею злоупотреблять…

Он поднял штору и впустил в комнату еще больше солнечного света.

– Я вовсе не ханжа, богом клянусь, – неторопливо продолжил он. – Я знаю толк в удовольствиях – и всегда с радостью им предаюсь, особенно в отпуске, но ты… Ты в ужасной форме! Ты никогда так раньше не разговаривал! Ты будто банкрот – и в моральном плане, и в финансовом.

– Да ведь обычно одно недалеко от другого?

Дин с раздражением покачал головой:

– Вокруг тебя прямо какая-то аура, никак не пойму, что это? Будто зло какое-то…

– Это дух забот, бедности и бессонных ночей, – сказал Гордон, словно оправдываясь.

– Не знаю.

– Ну да, признаю, я нагоняю тоску. Я сам на себя тоску нагоняю! Но, боже мой, Фил, мне бы недельку отдохнуть, купить новый костюм, достать немного денег – и я снова стану прежним. Фил, я ведь рисую, как молния, и ты это знаешь. Но у меня почти всегда нет денег, чтобы купить себе приличные карандаши и бумагу, а еще я не могу рисовать, когда я вымотан, когда все из рук валится и я в безвыходном положении. Мне бы немного денег – я пару недель отдохну и возьмусь за дело.

– А откуда мне знать, что ты не спустишь деньги на какую-нибудь другую бабу?

– Зачем же сыпать соль на рану? – тихо ответил Гордон.

– Я не сыплю. Я не могу тебя видеть в таком состоянии!

– Фил, ты дашь мне денег?

– Я сейчас не могу решить. Это большие деньги, и сейчас мне это чертовски некстати.

– Если ты откажешь, моя жизнь превратится в сущий ад; я знаю, что это нытье и что я сам во всем виноват, но от этого ничего не меняется.

– Когда ты сможешь отдать?

Это прозвучало обнадеживающе. Гордон задумался. Наверное, лучше было сказать правду.

– Конечно, я мог бы пообещать выслать их через месяц, но… Скажем, через три месяца? Как только начну продавать рисунки.

– А откуда мне знать, что ты продашь хоть один?

Дин произнес это жестко, и Гордон почувствовал слабый холодок сомнения. А вдруг ему не удастся достать деньги?

– Я думал, что ты в меня хоть немного веришь!

– Я верил; но, видя тебя в таком виде, любой бы засомневался.

– Неужели ты думаешь, что я пришел бы к тебе в таком виде, если бы не дошел до крайней точки? Думаешь, мне это приятно? – Он тут же умолк и закусил губу, почувствовав, что вот-вот в его голосе прозвучит гнев и лучше сразу его подавить. В конце концов, ведь это он выступал в роли просителя.

– Сдается мне, что ты очень ловко со всем разобрался, – сердито сказал Дин. – Ты ставишь меня в такое положение, что, не дай я тебе денег, я буду вроде как сволочь – о да, именно так! Имей в виду: мне не так-то просто получить три сотни долларов. Не так уж велики мои доходы, чтобы такая «малость» не порушила все к чертям!

Он встал со стула и стал одеваться, придирчиво выбирая одежду. Гордон вытянул руки и ухватился за края кровати, борясь с желанием расплакаться. Его голова раскалывалась, в ушах стоял шум, во рту появились сухость и горечь, от температуры в висках равномерно, будто медленная капель с крыши, стучала кровь.

Дин тщательно повязал галстук, пригладил брови и с важным видом извлек застрявшую в зубах табачную крошку. Затем он набил

портсигар сигаретами, задумчиво выбросил в мусорную корзину пустую пачку от сигарет и засунул портсигар в карман жилета.

– Ты завтракал? – спросил он.

– Нет. Я теперь не завтракаю.

– Ну ладно, тогда пойдем перекусим. Насчет денег поговорим потом. Сейчас я уже слышать больше ничего об этом не могу! Я сюда приехал, чтобы отдыхать. Пошли в Йельский клуб, – капризно предложил он, а затем с намеком добавил: – Ты ведь уволился с работы, так что не думаю, что у тебя так уж много дел!

– Были бы у меня деньги, дел было бы полно, – язвительно ответил Гордон.

– Да бога ради, хватит уже об этом! Не надо портить мне весь отпуск. Вот тебе немного денег!

Он вытащил из бумажника пятидолларовую банкноту и швырнул ее Гордону, который аккуратно сложил ее и засунул в карман. Румянец на его щеках стал ярче, и эти пятна были вовсе не от температуры.

Перед тем как они вышли из номера, взгляды их на мгновение встретились, и оба увидели что-то такое, что заставило обоих тут же отвести глаза. Потому что в это мгновение они вдруг и безо всяких сомнений возненавидели друг друга.

II

На перекрестке Пятой авеню и 44-й улицы кишела полуденная толпа. Изобильное, счастливое солнце отбрасывало мимолетные золотые проблески сквозь толстые стекла витрин модных магазинов, подсвечивая сумочки и кошельки из золотой плетеной вязи, нитки жемчуга в серых бархатных футлярах, кричащие веера из многоцветных перьев, кружева и шелка дорогих платьев, безвкусные картины и чудесную современную мебель, искусно расставленную в демонстрационных залах художников по интерьерам.

Вдоль этих витрин парами, группами и толпами бродили молодые работницы, выбирая свои будущие будуары среди выставленного великолепия, включавшего даже по-домашнему брошенные на постели мужские шелковые пижамы. Девушки стояли перед ювелирными магазинчиками и присматривали кольца для помолвок и свадеб, разглядывали платиновые наручные часики, а затем перемещались, чтобы рассмотреть веера из перьев и манто для театров; желудки их между тем усваивали съеденные за обедом сандвичи и пломбир с орехами.

Повсюду в толпе попадались люди в униформе: моряки из огромного флота, пришвартовавшегося на Гудзоне, солдаты со знаками различия базировавшихся от Массачусетса до Калифорнии подразделений, ужасно желавшие привлечь хоть чье-нибудь внимание, но обнаруживавшие, что огромный город был уже по горло сыт солдатами, – ну, разве только эти солдаты были упакованы в аккуратный строй и мучались под тяжестью армейских ранцев и винтовок.

Сквозь это смешение шли Дин и Гордон; первый с любопытством, вызванным видом людского потока в самых легковесных и кричащих его проявлениях; второму же все напоминало о том, как часто он и сам бывал одним из этой толпы: усталым, питавшимся кое-как, перегруженным работой и прожигающим жизнь. Для Дина борьба за существование была исполнена важного значения, в ней были юность и веселье; для Гордона она была гнетущей, бессмысленной и бесконечной.

В Йельском клубе они встретили группу своих бывших однокашников, шумно приветствовавших вновь прибывшего Дина. Усевшись в полукруг кресел и высоких стульев, они заказали всем по коктейлю.

Гордону разговор показался утомительным и нескончаемым. Пообедали скопом, разогреваясь ликером, поскольку дело шло к вечеру. Все собирались на всю ночь на бал «Гамма Пси» – вечеринка обещала стать выдающейся; таких не было с самого начала войны.

– Эдит Брейдин придет, – сказал кто-то Гордону. – Она же вроде как твоя давняя любовь? Вы ведь оба из Гаррисберга?

– Да, – он попытался сменить тему. – Я изредка вижусь с ее братом. Он слегка чокнулся на социализме. Выпускает какую-то газету здесь, в

Нью-Йорке.

– Совсем не как его веселая сестренка, а? – продолжил усердный информатор. – Так вот, сегодня она будет с одним студентиком по имени Питер Химмель.

Гордон должен был встретиться с Джевел Хадсон в восемь вечера, он обещал принести ей деньги. Несколько раз он нервно поглядывал на свои наручные часы. В четыре, к его облегчению, Дин встал и объявил, что отбывает в магазин «Риверз Бразерс» за воротничками и галстуками. Но, к величайшему смятению Гордона, за ними увязался еще один приятель из компании. Дин находился теперь в хорошем настроении, был всем доволен, ждал с нетерпением вечера и много шутил. В магазине он присмотрел дюжину галстуков, каждый из которых был выбран после долгих консультаций с приятелем. А что, может, узкие галстуки снова возвращаются? Какая жалость, что у «Риверзов» больше нет воротничков от «Велч Маргетсон»! Нет и не будет на свете воротничков лучше, чем «Ковингтон»!

Гордон был в легкой панике. Деньги были нужны ему прямо сейчас. И еще у него постепенно вырисовывалась разбудившая надежды мысль – а не сходить ли на бал «Гамма Пси»? Ему хотелось увидеть Эдит – ту самую Эдит, с которой он не виделся с того романтического вечера в загородном клубе Гаррисберга, накануне его отъезда во Францию. Их роман кончился сам собой, утонув в суматохе войны, совсем забытый в причудливом хитросплетении последних трех месяцев, но ее образ – острый, жизнерадостный, всегда поглощенный собственной непоследовательной болтовней, вдруг неожиданно возник перед ним и вызвал сотни воспоминаний. Именно лицо Эдит хранил он в памяти с отстраненным, но в то же время страстным обожанием на протяжении всей своей учебы в университете. Он любил ее рисовать: в его комнате висела дюжина набросков, на которых она играла в гольф или плавала; он мог с закрытыми глазами нарисовать ее дерзкий, приковывающий внимание профиль.

Они вышли из магазина в половине шестого и ненадолго остановились на тротуаре.

– Ну вот, – добродушно сказал Дин, – теперь я полностью укомплектован. Пойду-ка я в гостиницу, побреюсь, причешусь, сделаю массаж.

– Хорошая идея, – сказал второй приятель, – пожалуй, я к тебе присоединюсь!

Гордон подумал, не ждет ли его, в конце концов, поражение? С огромным трудом он удержался от того, чтобы не повернуться к нежданному спутнику и не прорычать: «Пошел прочь, черт бы тебя побрал!» В отчаянии он заподозрил, что Дин попросил этого парня быть с ним все время рядом, чтобы избежать разговора о деньгах.

Они вошли в «Билтмор» – «Билтмор», расцветший самыми выдающимися дебютантками из множества городов Запада и Юга, собравшимися на бал знаменитого клуба знаменитого университета. Но Гордон видел их лица, словно в тумане. Он собрал все свои силы для последней мольбы, и уже решился было, сам не зная что, но сказать, когда Дин вдруг извинился перед спутником, взял Гордона под руку и отвел его в сторонку.

– Горди, – быстро сказал он, – я все тщательно обдумал и решил, что денег я тебе дать не смогу. Я был бы рад тебе помочь, но не думаю, что должен это делать, – мне тогда самому придется отложить все свои планы на целый месяц.

Гордон, подавленно уставившись на него, подумал: как же он раньше не замечал эти противные выпирающие зубы?

– Мне очень жаль, Гордон, – продолжил Дин, – но я ничем помочь не смогу.

Он вытащил кошелек и демонстративно отсчитал семьдесят пять долларов банкнотами.

– Вот, – сказал он, протянув деньги, – здесь семьдесят пять; итого будет восемьдесят. Это вся моя наличность, не считая того, что будет потрачено в отпуске.

Гордон машинально поднял свою сжатую в кулак руку; будто клещи, разжал ее и снова сжал, ухватив деньги.

– Увидимся на балу, – продолжил Дин. – А мне пора бежать в парикмахерскую!

– Пока, – хрипло, с натугой произнес Гордон.

– Пока!

Дин хотел было улыбнуться, но передумал. Он быстро кивнул и исчез.

А Гордон так и остался стоять: его красивое лицо было искажено горем, а рука крепко сжимала комок банкнот. Затем, ничего не видя от

нахлынувших вдруг слез и неуклюже спотыкаясь, он спустился вниз по лестнице «Билтмора».

III

Около девяти вечера того же дня из дешевого ресторанчика на Шестой авеню вышли двое. Безобразные, истощенные, обладавшие лишь зачатками интеллекта и лишенные даже той животной жизнерадостности, которая сама по себе приносит яркие краски в жизнь, они еще недавно, сами голодные, служили пищей для вшей среди холода и грязи чужого города в чужой стране; они были бедными, друзей у них не было; жизнь бросала их туда-сюда, словно щепки, с самого рождения, и будет бросать точно так же до самой смерти. Они были одеты в форму армии Соединенных Штатов, и на плече у каждого из них был знак различия специального подразделения из Нью-Джерси, высаженного на берег три дня назад.

Того, который был повыше, звали Кэрол Кей, и это имя намекало на то, что по его венам бежала кровь с кое-каким потенциалом, пускай и сильно разбавленным деградировавшими поколениями. Но можно было долго рассматривать вытянутое лицо с безвольным подбородком, тусклые водянистые глаза, высокие скулы и все же не найти даже намека ни на унаследованное от предков достоинство, ни на врожденную изобретательность ума.

Его приятель выглядел всегда настороже, ноги у него были колесом, крысиные глазки так и бегали, а кривой нос был сломан в нескольких местах. Дерзкая манера держаться была лишь притворством: это средство защиты было им усвоено из мира острых зубов и когтей, обманных движений и угроз, в котором он жил всегда. Звали его Гас Роуз.

Выйдя из кафе, они неторопливо пошли по Шестой авеню, сосредоточенно и со смаком орудуя зубочистками.

– И куда направимся? – спросил Роуз тоном, подразумевавшим, что его не слишком удивит, если Кей сейчас предложит какой-нибудь остров в южных морях.

– А что скажешь, если попробуем достать выпить? – Сухой закон еще не был введен, так что «изюминкой» этого предложения был действовавший тогда запрет на продажу алкоголя военнослужащим.

Роуз охотно согласился.

– Я тут вспомнил, – продолжил Кей, ненадолго задумавшись, – у меня же брат!

– В Нью-Йорке?

– Да. Старик, – имелось в виду, что старший, – он тут официантом в одной забегаловке.

– Может, он нам достанет?

– Еще бы! Конечно, достанет!

– Ты уж мне поверь: я эту проклятую форму сниму прямо завтра! И никогда меня больше в нее не засунут! Я куплю себе обычный гражданский костюм.

– Еще бы! И я тоже!

Поскольку в совокупности их финансовые средства составляли сумму чуть менее пяти долларов, данное намерение можно было рассматривать лишь в качестве приятной игры слов, безобидной и утешающей. Она, однако, доставила удовольствие обоим, поскольку ее завершение последовало на высокой ноте, с гоготом и упоминанием стоявших высоко в библейских кругах персонажей, с добавлением кульминации в виде многократно повторявшихся восклицаний «Мать честная!», «Вот ведь!» и «Эт-точно!».

Единственной пищей для ума этих двоих годами служили обиженные гнусавые замечания, которыми они обменивались по поводу поддерживавшего их существование учреждения – армии, предприятия, работного дома, а также по поводу их непосредственного начальника в этом учреждении. Вплоть до сегодняшнего утра таким учреждением выступало «правительство», а непосредственным начальником – «капитан», от них они в данный момент и ускользнули, ощущая теперь легкий дискомфорт, поскольку пока еще не ощутили на себе чьи-нибудь новые вожжи. Им было неуютно, чувствовали они себя неуверенно и озлобленно. Все это они маскировали, притворяясь, что испытывают долгожданное облегчение от того, что расстались с

армией, убеждая друг друга в том, что военная дисциплина теперь никогда уже не будет сковывать их неподатливые и свободолюбивые души. Но на самом деле даже тюрьма показалась бы им домом родным, в отличие от этой вновь обретенной и несомненной свободы.

Неожиданно Кей прибавил шагу. Роуз, проследив за его взглядом, увидел толпу, собиравшуюся ярдах в пятидесяти дальше по улице. Кей фыркнул и побежал в направлении толпы; Роуз тоже фыркнул, и его коротенькие кривые ножки поспешили за длинными, неуклюжими ногами приятеля.

Достигнув края толпы, они немедленно влились в нее. Толпа состояла из плохо одетых гражданских, из которых некоторые были пьяны, а также из солдат различных подразделений и различной же степени трезвости; все толпились вокруг жестикулировавшего низенького еврея с длинными черными усами, размахивавшего руками и возбужденно разглагольствовавшего рублеными фразами. Кей и Роуз, протиснувшись почти в самый партер, стали внимательно и с подозрением разглядывать говоруна, а слова стали понемногу проникать в их рудиментарные мозги.

– Что получили вы от войны? – яростно вопил он. – Оглянитесь, посмотрите! Вы богаты? Вам что, хотя бы обещали заплатить? – Нет! Вам еще повезло, если вы остались в живых и у вас есть обе ноги! Вам повезло, если вы вернулись, а ваша жена не смылась с каким-нибудь парнем, у которого хватило денег откупиться от службы! Вот в чем ваше счастье! Кто, кроме Джей Пи Моргана и Джона Ди Рокфеллера, получил от войны хоть что-то, а?

В этот момент речь еврейчика прервал враждебный кулак, ударивший прямо в бородатый подбородок, после чего оратор опрокинулся назад и растянулся на брусчатке.

– Проклятые большевики! – воскликнул нанесший удар огромный солдат, бывший кузнец. Послышался одобрительный гул, толпа сомкнулась теснее.

Еврей, пошатнувшись, встал, но тут же снова упал от полудюжины других кулаков. После этого он так и остался лежать, тяжело дыша; с его рассеченных снаружи и внутри губ сочилась кровь.

Послышались беспорядочные вопли, и минуту спустя Кей и Роуз обнаружили, что движутся по Шестой авеню в беспорядочно толкающейся толпе под руководством тощего гражданского в мягкой

фетровой шляпе с широкими полями и дюжего солдата, столь бесцеремонно прервавшего выступление. Толпа чудесным образом разрослась до внушительных размеров, а на тротуарах образовался поток более-менее сочувствующих граждан, выражавших свою моральную поддержку периодическими «Ура!».

– Куда мы идем? – проорал Кей шагавшему рядом мужчине.

Сосед указал на лидера в фетровой шляпе:

– Этот парень знает, где они собрались! Мы им покажем!

– Мы им сейчас покажем! – с удовольствием прошептал Кей Роузу, который восхищенно повторил эту фразу человеку, шедшему сбоку.

Все дальше по Шестой авеню тянулась процессия, к которой то тут, то там присоединялись солдаты и моряки, а время от времени и гражданские, вливавшиеся в толпу с неизменным воплем, что и они тоже только что из армии, будто вручая таким образом визитку для вступления в свежеиспеченный клуб спортсменов-охотников.

Затем на перекрестке процессия свернула и направилась на Пятую авеню, и по толпе пошло из уст в уста, что они идут на митинг красных, на площадь у Талливер-холла.

– А это где?

Вопрос пошел вперед по цепочке, и через некоторое время пришел ответ. Талливер-холл находится на 10-й улице. Были и другие солдаты, собиравшиеся не упустить драку, и они уже были там!

Но 10-я улица звучала как нечто далекое, поэтому при этой новости раздался гул недовольства, и десятки людей стали выбывать из толпы. Среди них были Роуз и Кей, перешедшие на неторопливый шаг и предоставившие идти дальше тем, кто обладал большим энтузиазмом.

– Я бы лучше выпил, – произнес Кей, когда они остановились и пошли к тротуару под крики «Окопные крысы!» и «Дезертиры!».

– Твой брат работает где-то недалеко отсюда? – спросил Роуз тоном опускающегося с небес на землю.

– Наверное, – ответил Кей. – Я его пару лет не видел. Я же в Пенсильвании жил. Может, он уже и по вечерам не работает. Это где-то здесь. Он нам достанет, если он на работе.

Побродив по улице пару минут, они нашли место: дрянной маленький ресторанчик в квартале между Пятой авеню и Бродвеем. Кей пошел внутрь спросить своего брата Джорджа, а Роуз остался ждать на улице.

– Он тут больше не работает, – сказал Кей, выйдя обратно. – Он теперь официант в «Дельмонико».

Роуз глубокомысленно кивнул, будто ожидал чего-то подобного. Не стоит удивляться, если способный человек изредка меняет работу. Знавал он одного официанта… И далее на всю дорогу затянулась продолжительная дискуссия о том, зарабатывают ли официанты на чаевых больше, чем получают жалованья? Решили, что это зависит от социального статуса заведения, в котором трудится официант. После обмена живописными описаниями миллионеров, ужинающих в «Дельмонико» и разбрасывающих пятидесятидолларовые бумажки после первой же бутылки шампанского, оба подумали про себя, что хорошо бы стать официантом… А за узким лбом Кея угнездилось решение попросить брата пристроить его на работу.

– Официант может допить все шампанское, которое эти ребята оставляют после себя в бутылках! – с наслаждением размечтался Роуз, и затем, будто запоздалую мысль, добавил: – Мать честная!

До «Дельмонико» они добрались в половине одиннадцатого и были удивлены, увидев прибывавшие к дверям потоком, одно за другим, такси, из которых появлялись чудесные юные дамы без шляпок, и с каждой рядом молодой церемонный джентльмен в вечернем костюме.

– Да тут вечеринка! – с легким трепетом произнес Роуз. – Наверное, лучше не ходить. Он, должно быть, занят.

– Да ладно! Все будет в порядке.

После некоторых колебаний они вошли в самую, по их мнению, скромную дверь и – поскольку на них тут же навалилась нерешительность – нервно забились в самый неприметный уголок небольшого зала, в котором они очутились. Сняв кепи, они так и держали их в руках. Мрачная туча накатила на них, и оба вздрогнули, когда в одном конце зала шумно открылась дверь, из которой кометой вылетел официант, который молнией пронесся по залу и исчез за другой дверью в другом его конце.

Явление повторилось трижды, прежде чем наблюдатели собрали всю свою смелость и окликнули официанта. Он обернулся, с подозрением оглядел их и только после этого приблизился мягкими кошачьими шагами, будто готовый в любой момент развернуться и убежать.

– Слушай… – начал Кей. – Слушай-ка, ты не знаешь моего брата? Он тут официантом работает…

– Его фамилия Кей, – пояснил Роуз.

Да, официант Кея знал. Он, наверное, сейчас был наверху. В главном зале сегодня большой бал. Он ему передаст.

Десять минут спустя появился Джордж Кей и с крайним подозрением поприветствовал брата; первое и совершенно естественное, что пришло ему на ум, – сейчас у него будут просить денег.

Джордж был высокого роста, с безвольным подбородком, но на этом сходство братьев и кончалось. Глаза официанта были не тусклыми, они были живыми и поблескивающими, он выглядел обходительным, сдержанным и держал себя слегка покровительственно. Братья обменялись семейными новостями. Джордж женился и нарожал троих детей. Его слегка заинтересовала, но отнюдь не впечатлила, новость о том, что Кэрол был в армии за границей. Кэрол был разочарован.

– Джордж, – сказал младший брат, когда с любезностями было покончено, – нам нужно немного выпивки, а нам ничего не продают. Можешь достать?

Джордж задумался.

– Наверное. Думаю, получится. Но, может быть, придется полчаса подождать.

– Ладно, – согласился Кэрол. – Подождем.

В этот момент Роуз уселся было на удобный стул, но тут же вскочил от негодующего окрика Джорджа:

– Эй! Осторожнее! Здесь сидеть нельзя! Комнату уже приготовили для банкета в полночь!

– Да не волнуйся, не испачкается, – со злобой ответил Роуз. – В вошебойке нас уже обработали…

– И вообще, – натянуто сказал Джордж, – если метрдотель увидит, что я тут с вами языком чешу, он так разорется!

– Ох…

Упоминание метрдотеля послужило достаточным объяснением для обоих; они нервно помяли в руках свои заморские кепи и стали ждать указаний.

– Слушайте внимательно, – выдержав паузу, сказал Джордж. – Я придумал, где вам можно будет обождать. Идите за мной.

Вслед за ним они вышли через дальнюю дверь, прошли через пустынную буфетную, поднялись на пару пролетов по темной винтовой лестнице и вошли в небольшое помещение, в котором из мебели были только поставленные штабелями ведра и груды швабр; освещением служила единственная слабенькая электрическая лампочка. Тут он их и оставил, выпросив два доллара и обещав вернуться через полчаса с квартой виски.

– Бьюсь об заклад, Джордж хорошо зарабатывает, – мрачно произнес Кей, усевшись на перевернутое ведро. – Готов поспорить: ему платят не меньше полтинника в неделю!

Роуз кивнул и сплюнул:

– Небось да.

– А что там за бал, он говорил?

– Студенты из университета. Из Йельского.

Они важно покивали друг другу.

– Интересно, где сейчас эти солдаты?

– Вот уж не знаю. Но мне туда было далеко.

– Мне тоже. Не люблю я далеко ходить!

Через десять минут ими овладело беспокойство.

– Надо бы посмотреть, что там, – сказал Роуз, сделав осторожный шаг ко второй двери.

Дверь была створчатая, обитая зеленым сукном, и он осторожно приоткрыл ее на дюйм:

– Видишь что-нибудь?

Вместо ответа Роуз издал судорожный вдох:

– Черт возьми! Вот где выпивка-то!

– Выпивка?

Кей встал рядом с Роузом у двери и нетерпеливо выглянул.

– Клянусь, это точно выпивка! – произнес он после долгого пристального взгляда.

Перед ними была комната раза в два больше той, в которой они находились, – и в ней все было готово для ослепительного пира духа. На двух покрытых белыми скатертями столах длинной стеной стояли чередующиеся бутылки: виски, джин, коньяк, французские и итальянские вермуты, апельсиновый сок, не говоря уже о целом строе

сифонов и двух огромных пустых чашах для пунша. В комнате еще никого не было.

– Это для бала, который у них начинается, – прошептал Кей. – Слышишь скрипки? Да уж, я бы тоже не отказался от таких танцев.

Они тихонько прикрыли дверь и обменялись понимающими взглядами. Друг друга можно было уже ни о чем не спрашивать.

– Хотел бы я повертеть в руках парочку тех бутылочек, – многозначительно сказал Роуз.

– Я бы тоже…

– А если нас заметят?

Кей задумался.

– Нам, наверное, лучше обождать, пока они не начнут пить. Они их сейчас только что выставили, так что наверняка знают, сколько там.

Спор продолжался несколько минут. Роуз был за то, чтобы стащить бутылку прямо сейчас и спрятать ее под куртку, пока в комнате никого нет. Кей, наоборот, призывал к осторожности. Он боялся, что у брата будут из-за него неприятности. Как только они дождутся и бутылки начнут открывать, можно будет стащить одну-другую – все подумают, что это кто-то из студентов.

Они все еще спорили, когда по комнате промчался Джордж Кей и, цыкнув на них, исчез за обитой зеленым сукном дверью. Минуту спустя они услышали хлопки пробок, затем звук раскалываемого льда и плеск льющейся жидкости. Джордж готовил пунш.

Солдаты обменялись довольными ухмылками.

– Мать честная! – прошептал Роуз.

Снова появился Джордж.

– Сидите тихо, ребята, – торопливо сказал он. – Я вам принесу, что обещал, буквально через пять минут.

И исчез за той же дверью, из которой появился.

Как только его шаги на лестнице стихли, Роуз, осторожно оглядевшись, рванул к алтарю наслаждений и появился оттуда с бутылкой в руке.

– Вот что я тебе скажу, – произнес он, когда они сели и, сияя, сделали по первому глотку. – Мы подождем, пока он снова сюда поднимется, и попросимся у него остаться здесь, чтобы выпить, что он принесет, вот! Скажем ему, что нам выпить негде, вот так! А потом

можно будет прокрасться туда, пока там никого, и спрятать бутылки под куртками. На пару дней можно будет запастись, понял?

– Точно, – с радостью согласился Роуз. – Мать честная! Мы ведь можем даже продать солдатам, если что.

Они умолкли, обдумывая эту радужную мысль. Затем Кей поднял руку и расстегнул воротник солдатской куртки:

– Жарко тут, да?

Роуз охотно согласился:

– Как в пекле!

IV

Выйдя из гардеробной и пройдя через примыкающую малую гостиную в холл, она все еще сердилась. Ее гнев был вызван не столько самим происшествием – если уж на то пошло, такие вещи были лишь самой что ни на есть банальной прозой ее светского существования, – сколько тем, что все произошло именно в этот вечер. Себя ей было упрекнуть не в чем. Как и всегда в таких случаях, она абсолютно правильно выбрала нужную смесь достоинства и сдержанной жалости: она ловко и без лишних слов его осадила.

Все произошло, когда их такси отъезжало от «Билтмора», – не успели они проехать и половины квартала. Он неуклюже поднял правую руку – она сидела справа от него – и попытался незаметно положить ее поверх ее малинового, отделанного мехом, манто. Уже это само по себе было ошибкой. Неизмеримо более изящно выглядело бы, если бы молодой джентльмен, пытающийся обнять юную леди, в чьем молчаливом согласии он не совсем уверен, сначала обнял бы ее другой рукой. Это позволило бы избежать неуклюжего задирания руки рядом с дамой.

Второй промах он совершил, сам того не зная. Весь вечер она провела у парикмахера; ей была невыносима даже мысль о том, что с

ее прической может что-то случиться, а Питер, в процессе своей неудачной попытки, слегка задел ее волосы самым краешком локтя. Это была уже вторая ошибка. Двух было вполне достаточно.

Он стал роптать. Едва услышав это, она мысленно решила, что он – всего лишь юный студентик; а Эдит было двадцать два, и этот бал, первый большой бал после окончания войны, не мог не вызвать в ее памяти, находившейся под действием ускоряющегося ритма ассоциаций, другого бала и другого мужчины, который рождал в ней чувства несколько большие, нежели юношеская мечтательность с печалью во взоре. Эдит Брейдин понемногу влюблялась в свои воспоминания о Гордоне Стеррете.

Итак, она вышла из гардеробной «Дельмонико» и на мгновение остановилась в дверях, оглядывая из-за плеча стоявшего перед ней черного платья группы выпускников Йеля, порхавших на верхней площадке лестницы, будто гордые черные мотыльки. Из комнаты, откуда она вышла, при каждом открытии дверей истекал тяжелый аромат множества надушенных юных красавиц: чувствовался стойкий запах духов и запоминающееся тонкое благоухание пудры. В холле доносившийся из гардеробной аромат смешивался с резким запахом сигарного дыма, затем запах чувственно опускался вниз по лестнице и распространялся по танцевальному залу, в котором вот-вот должен был начаться бал клуба «Гамма Пси». Это запах был ей хорошо знаком: это был волнующий, будоражащий и тревожно-сладкий аромат светского бала.

Она мысленно окинула себя взглядом. Обнаженные, молочно-белые от пудры руки и плечи; она знала, что руки будут казаться воздушными и мерцающими, как молоко, на фоне затянутых в черное сукно спин, где они и должны покоиться весь вечер. Прическа сегодня особенно удалась; рыжеватая копна волос была высоко уложена, примята и завита, рассыпаясь надменным чудом подвижных изгибов. Губы были тонко подведены яркой красной помадой; нежно-хрупкие, будто глаза дорогой фарфоровой куклы, голубые глаза. Она была бесконечно изысканной и совершенной красавицей, начиная с украшенной сложной прической головы и заканчивая стройными миниатюрными ножками.

Она стала думать, что будет говорить на этом празднике, который уже обещал стать выдающимся, – на это намекали раздававшийся то

тут, то там высокий женский и низкий мужской смех, звук множества каблучков, поднимавшиеся и спускавшиеся по лестнице пары. За многие годы у нее выработался свой, особенный стиль речи, им она и воспользуется: в нем смешались современные выражения, газетные штампы и студенческий сленг, спаянные воедино и создававшие ощущение беззаботности, легкого вызова и изысканной чувственности. Она чуть улыбнулась, услышав, как сидевшая на ступеньках лестницы невдалеке от нее девушка произнесла: «Да ты и половины не знаешь, милочка!»

И от улыбки ее гнев на мгновение улетучился, – закрыв глаза, она глубоко, с удовольствием, вдохнула. Расслабленно опустив руки, она коснулась гладкой ткани узкого платья, подчеркивавшего ее фигуру. Еще никогда не ощущала она столь остро свою мягкость, и никогда еще не наслаждалась она так сильно белизной своих рук.

«Я приятно пахну, – подумала она, а затем сказала себе: – Я создана для любви».

Ей понравилось, как это звучит, и она мысленно повторила это еще раз; затем у нее в голове неизбежно возникла череда новорожденных восторженных грез о Гордоне. Каприз ее воображения, благодаря которому два месяца назад она обнаружила свое возникшее невесть откуда желание увидеться с ним снова, теперь стал казаться указующим перстом, ведшим ее на этот бал, к этому часу.

Несмотря на внешнюю красоту, Эдит была девушкой серьезной и не склонной к скоропалительным решениям. В ее характере наблюдались такая же склонность к взвешенным поступкам и такой же юношеский идеализм, как и у брата, которого эти черты склонили к принятию социализма и пацифизма. Генри Брейдин покинул Корнельский университет, в котором служил преподавателем экономики, и приехал в Нью-Йорк, чтобы щедро одаривать народ упакованными в столбцы радикальной еженедельной газеты новейшими средствами от неизлечимых общественных зол.

Менее наивная Эдит вполне удовлетворилась бы излечением одного-единственного Гордона Стеррета. В Гордоне чувствовалась определенная слабость, которой ей следовало бы заняться; в нем была некая уязвимость, на защиту которой она готова была встать. И еще ей нужен был человек, которого она давно знала, тот, кто уже давно ее любит. Она немного устала; ей хотелось выйти замуж. Куча писем,

полдюжины фотографий, множество воспоминаний да эта усталость послужили причинами ее решения кардинально изменить их с Гордоном отношения при следующей же встрече. Она скажет что-нибудь такое, что их изменит. И вот наступил этот вечер, и это был ее вечер. Все вечера были ее!

На этом ее мысли прервал напыщенный студент с обиженным взглядом, с натянутой любезностью возникший перед ней и чрезвычайно низко ей поклонившийся. С ним она сюда пришла, это был Питер Химмель. Он был высокого роста, забавный, в очках в роговой оправе и с привлекательной чудинкой. Она вдруг испытала к нему отвращение – возможно, потому, что у него не получилось ее поцеловать.

– Итак, – начала она, – ты все еще на меня злишься?

– Ни капельки.

Она шагнула к нему и взяла его за руку.

– Прости меня, – мягко сказала она. – Сама не знаю, что со мной. Я сегодня что-то уж слишком раздражительна, не знаю даже почему. Прости.

– Да ладно, – пробормотал он. – Забудем об этом.

Он почувствовал неприятное смущение. Она что, специально напоминала ему о его неудаче?

– Я совершила ошибку, – продолжала она, все в том же нарочито мягком ключе. – Давай навсегда забудем об этом.

За это он ее возненавидел.

Через несколько минут они вышли на паркет танцевального зала, а дюжина покачивающихся грустных музыкантов специально нанятого джазового оркестра сообщили переполненному залу о том, что «я не буду одинок, пока со мной мой саксофон!».

Их пару разбил усатый мужчина.

– Привет, – укоризненно начал он. – Ты меня, конечно, не помнишь…

– Не помню только имя, – не задумываясь, ответила она, – но тебя помню отлично!

– Мы с тобой познакомились…

Его тоскливый голос остался где-то позади, потому что их пару разбил блондин, а незнакомцу Эдит промурлыкала общепринятое:

– Благодарю, потом еще потанцуем!

Блондин настоял на обмене энергичным рукопожатием. Его она классифицировала как одного из многочисленных своих знакомых «Джимов», – их фамилии всегда оставались для нее загадкой. Она даже припомнила, что у него было какое-то своеобразное чувство ритма, и убедилась в своей правоте, как только они начали танцевать.

– Надолго приехали? – уверенно выдохнул он.

Она откинулась назад и посмотрела ему в глаза:

– На пару недель.

– Где остановились?

– В «Билтморе». Заходите как-нибудь.

– Обязательно, – уверил он ее. – Я приду. Сходим куда-нибудь, выпьем по чашке чая.

– Согласна. Не забудьте!

Их пару с натянутой любезностью разбил брюнет.

– Не помните меня? – серьезно спросил он.

– Почему же? Вас зовут Харлоу.

– А вот и нет. Барлоу.

– Вот видите: все равно помню, точно три гласные! Вы тот самый, кто так чудесно играл на укулеле на вечеринке дома у Говарда Маршалла.

– Да, я играю… Но я не…

Пару разбил мужчина с выдающимися зубами. Эдит вдохнула слабый аромат виски. Она любила слегка подвыпивших мужчин: они всегда были веселы, податливы и любезны, разговаривать с ними было одно удовольствие.

– Меня зовут Дин, Филип Дин, – весело представился он. – Знаю, меня вы не помните, но я был на последнем курсе, а вы ездили в Нью-Хейвен к моему соседу по комнате, его звали Гордон Стеррет.

Эдит тут же посмотрела ему в глаза:

– Да, я дважды к нему приезжала – на бал «Башмак и лодочка» и на бал первокурсников.

– Вы его, конечно, уже видели, – беззаботно сказал Дин. – Он сегодня здесь. Я его видел минуту назад.

Эдит вздрогнула, хотя была абсолютно уверена, что он непременно будет здесь.

– О, нет, я еще не…

Их пару разбил рыжий толстяк.

– Привет, Эдит! – сказал он.

– О, привет…

Она поскользнулась и сбилась с такта.

– Прости, дорогой, – машинально пробормотала она.

Она увидела Гордона, вялого и бледного Гордона… Он стоял, опираясь на дверной косяк, курил и глядел в танцевальный зал. Эдит заметила, что он выглядел исхудавшим и больным, а рука, поднесшая к губам сигарету, дрожала. Они танцевали совсем недалеко от него.

– …приглашают так много никому не знакомых парней, что… – говорил ее низкорослый партнер.

– Привет, Гордон! – Эдит окликнула Гордона, оказавшегося прямо за плечом ее партнера. Сердце ее бешено колотилось.

Его большие черные глаза смотрели прямо на нее. Он шагнул к ней. Партнер развернул ее; она услышала, как он проблеял:

– …но половина парней из тех, кто приходит, просто напиваются и вскоре уходят, так что…

Тут сбоку послышался низкий голос:

– Прошу прощения… Разрешите пригласить?

И вот она уже танцует с Гордоном; он обнимает ее рукой; она чувствует, как эта рука судорожно напрягается; чувствует, как растопырены его пальцы у нее на спине. Ее рука с миниатюрным кружевным платочком зажата его рукой.

– О, Гордон! – еле слышно произнесла она.

– Привет, Эдит.

Она опять сбилась с такта – ее бросило вперед, и она коснулась лицом черной ткани его смокинга. Она любит его – она была уверена, что она его любит! А затем на минуту воцарилась тишина, и у нее вдруг возникло незнакомое тревожное чувство. Что-то было не так.

Ее сердце ни с того ни с сего дернулось, а затем, когда она поняла, в чем дело, будто перевернулось. Он был жалок, несчастен, немного пьян и вымотан!

– Ах! – невольно воскликнула она.

Он посмотрел ей прямо в глаза. Она вдруг заметила, что глаза были сплошь в красных прожилках и беспорядочно вращались.

– Гордон, – тихо сказала она, – давай присядем. Я хочу отдохнуть.

Они были почти посередине зала, но она заметила, как с противоположных сторон к ней устремились сразу двое; поэтому она

остановилась, схватила вялую руку Гордона и, толкаясь, повела его сквозь толпу. Губы ее сжались, лицо под румянами побледнело, а в глазах показались слезинки.

Она нашла место повыше на покрытых мягким ковром ступенях лестницы, и он тяжело плюхнулся рядом с ней.

– Я очень рад видеть тебя, Эдит, – начал он, тщетно пытаясь сфокусировать взгляд.

Она молча посмотрела на него, и это произвело на нее неизгладимое впечатление. Многие годы она наблюдала мужчин в различных стадиях опьянения, начиная от пьяненьких дядюшек и вплоть до упившихся в дым шоферов, и гамма ее чувств при этом простиралась от веселья и до отвращения, но сейчас она впервые была охвачена новым для нее чувством: ее обуял неизъяснимый ужас.

– Гордон, ты выглядишь кошмарно! – с осуждением, чуть не плача, произнесла она.

Он кивнул:

– У меня неприятности, Эдит.

– Какие неприятности?

– Много всего. Не вздумай рассказывать родным, но я пропал. У меня большие неприятности, Эдит.

Его нижняя губа отвисла. Казалось, он говорит в пустоту.

– Но, может, ты… – Она замялась. – Расскажи мне об этом, Гордон! Ты ведь знаешь, я всегда готова тебя выслушать.

Она закусила губу, – ей хотелось сказать что-то более решительное, но она так ничего и не смогла из себя выдавить.

Гордон отрешенно покачал головой:

– Я не могу тебе рассказать. Ты честная девушка. Я не могу рассказывать такие вещи честной девушке.

– Чушь! – вызывающе сказала она. – Мне кажется, что назвать кого угодно «честной девушкой» в таком тоне – оскорбление! Это удар ниже пояса! Ты пьян, Гордон!

– Благодарю. – Он с серьезным видом наклонил голову. – Благодарю тебя за информацию!

– Зачем ты напился?

– Потому что я чертовски несчастен.

– Думаешь, пьянство тебе поможет?

– Да ты что, пытаешься наставить меня на путь истинный?

– Нет. Я хочу тебе помочь, Гордон. Расскажи мне все.

– У меня ужасные неприятности. Для тебя же лучше сделать вид, что ты меня вообще не знаешь.

– Почему, Гордон?

– Прости, что я пригласил тебя на танец – это было нечестно по отношению к тебе. Ты чистая девушка, и все такое… Давай-ка я сейчас попрошу кого-нибудь с тобой потанцевать?

Он неуклюже встал, но она подняла руку и опять усадила его рядом с собой на ступеньки:

– Слушай, Гордон! Ты смешон. Ты меня обидел! Ты ведешь себя, словно… Словно сумасшедший!

– Признаю. Я слегка не в себе. Со мной что-то не то, Эдит. Я потерял какую-то часть себя. Да какая теперь разница…

– Разница есть. Расскажи мне!

– Расскажу только одно. Я ведь всегда был чудаком – слегка отличался от других ребят. В университете это ничего не значило, но сейчас все стало иначе. Внутри меня четыре месяца что-то рвалось, будто швы на костюме, который вот-вот развалится, едва лопнут последние ниточки. Я понемногу схожу с ума.

Он посмотрел на нее широко открытыми глазами и вдруг стал смеяться, а она отшатнулась от него:

– В чем дело?

– Во мне! – повторил он. – Я схожу с ума. Я здесь, будто во сне, – весь этот ресторан, все это вокруг…

Прямо на глазах он вдруг совершенно изменился. В нем больше не было легкости, веселья и беззаботности – им полностью овладели апатия и уныние. Ее охватило отвращение, а за ним последовала легкая, внезапно нагрянувшая тоска. Ей показалось, что его голос доносится из глубокой бездны.

– Эдит, – сказал он, – я думал, что я умный и талантливый. Я думал, что я художник! Теперь я знаю, что я – никто. Я не умею рисовать, Эдит. Даже не знаю, зачем я тебе все это рассказываю?

Она с отсутствующим видом кивнула.

– Я не умею рисовать, я ничего не умею. Я беден, как церковная крыса! – Он рассмеялся, горько и чрезмерно громко. – Я превратился в презренного нищего, я стал пиявкой для своих друзей! Я неудачник. И я чертовски беден!

Ее отвращение росло. На этот раз она уже едва кивнула, ожидая первой же удобной возможности, чтобы встать и уйти.

В глазах Гордона вдруг показались слезы.

– Эдит, – сказал он, и было видно, что он с большим трудом держит себя в руках, – не могу даже выразить, что значат для меня твои слова о том, что на свете еще остался хотя бы один человек, готовый меня выслушать!

Он потянулся, чтобы погладить ее по руке, но она тут же непроизвольно отдернула руку.

– Я тебе крайне признателен, – повторил он.

– Ну что ж, – медленно проговорила она, глядя ему прямо в глаза, – я всегда рада старым друзьям. Но мне очень неприятно видеть тебя в таком состоянии, Гордон.

Последовало молчание – они просто смотрели друг на друга, и появившийся на мгновение в его взгляде пыл угас. Она встала и стояла, глядя на него непроницаемыми глазами.

– Пойдем, потанцуем? – равнодушно предложила она.

«Любовь – хрупкая вещь, – думала она, – но обломки, может быть, и можно спасти; то, что вертелось на языке, что могло бы быть сказано… Новые слова любви, разученные ласки – их можно сохранить для другого любимого».

V

Питер Химмель, кавалер прекрасной Эдит, к пренебрежению не привык; но им пренебрегли, и он чувствовал обиду, унижение и стыдился самого себя. Вот уже два месяца их отношения с Эдит Брейдин подразумевали, что письма должны были доставляться непременно в тот же день и первым классом, а поскольку он знал, что единственной причиной и объяснением отправки писем первым классом служит ценность корреспонденции в сентиментальном плане,

он был убежден в том, что у него имеются кое-какие права. Тщетно пытался понять он причину, по которой Эдит заняла столь непримиримую позицию в отношении банального поцелуя. Поэтому, когда их пару разбил усатый танцор, он вышел в фойе и, составив фразу, повторил ее про себя несколько раз. В значительно урезанном варианте фраза звучала так:

«Что ж, девушка имеет право увлечь мужчину, а затем его бросить, и именно это она и сделала; пусть пеняет теперь на себя, а я пойду и хорошенько напьюсь».

С этим он и прошел через зал, где шла подготовка к ужину, в примыкающую комнату, которую приметил еще в начале вечера. В комнате стояло несколько больших чаш с пуншем, окруженных по бокам множеством бутылок. Он сел на стул рядом со столиком, на котором стояли бутылки.

После второго бокала скука, отвращение, монотонное течение времени, непонимание происходящего отступили на размытый задний план, уступая блестящим хитросплетениям мысли. Все само собой наладилось и мирно улеглось по полочкам; дневные переживания привели себя в порядок и, повинуясь его резкой команде, развернулись кругом и исчезли. И как только ушли все заботы, на их месте тут же возник блестящий, всепроникающий символизм. Эдит теперь представлялась взбалмошной, никчемной девчонкой, не стоившей беспокойства; скорее, она была достойна насмешки. Будто персонаж его грез, она легко вписалась в образовавшийся вокруг него внешний мир. А сам он стал в какой-то мере символом, типичным участником всеевропейской вакханалии, блестящим мечтателем, принимающим участие в игре.

Затем символический настрой ушел, и когда он выпил третий бокал, его воображение поддалось действию теплого жара, и он впал в состояние, сродни тому, которое испытываешь, плавая на спине в теплой воде. В этот момент он заметил, что обитая зеленым сукном дверь рядом с ним приоткрыта на пару дюймов и из проема за ним внимательно наблюдают чьи-то глаза.

– Хм… – вполголоса пробормотал Питер.

Зеленая дверь закрылась; затем приоткрылась опять – на этот раз не более чем на полдюйма.

– Ку-ку! – пробормотал Питер.

Дверь оставалась неподвижной, а затем до него донесся напряженный прерывистый шепот.

– Один парень!

– Что он делает?

– Сидит просто.

– Лучше бы куда-нибудь убрался. Нам надо взять еще бутылку.

Питер слушал, и понемногу в его сознании стало что-то вырисовываться.

«Так, – подумал он, – очень интересно».

Он почувствовал волнение. Он ликовал! Он чувствовал, что наткнулся на какую-то тайну. Сделав вид, что ничего не заметил, он поднялся, пошел было вокруг стола – и вдруг, быстро обернувшись, дернул нараспашку зеленую дверь, и в комнату стремительно ввалился рядовой Роуз.

Питер поклонился.

– Как поживаете? – произнес он.

Рядовой Роуз поставил одну ногу чуть впереди другой, приняв позу, в которой он был готов и к битве, и к бегству, и к переговорам.

– Как поживаете? – вежливо повторил Питер.

– Неплохо.

– Позвольте предложить вам выпить?

Рядовой Роуз бросил на него проницательный взгляд, пытаясь оценить, не дурят ли его.

– Давайте, – наконец ответил он.

Питер указал на стул:

– Присаживайтесь.

– У меня друг, – сказал Роуз. – У меня там друг. – Он показал на зеленую дверь.

– Ну так пускай же и он как можно скорее войдет!

Питер подошел, открыл дверь и пригласил войти рядового Кея – крайне настороженного, сбитого с толку и чувствовавшего себя виноватым. Нашлись стулья, и троица заняла места вокруг чаши с пуншем. Питер поднес каждому по стакану и предложил сигареты из своего портсигара. Оба, немного робея, приняли угощение.

– А теперь, – запросто продолжил Питер, – разрешите мне поинтересоваться, джентльмены, отчего вы предпочли провести часы досуга в помещении, которое, если мне не изменяет зрение, в

основном меблировано половыми щетками? И это в то время, когда человечество достигло такого уровня прогресса, что ежедневно, за исключением суббот, в мире производится по семнадцать тысяч стульев… – Он умолк. Роуз и Кей смотрели на него непонимающими глазами. – Скажите же мне, – продолжал Питер, – почему вы предпочли отдыхать на предметах, которые обычно используются для переноски с места на место воды?

В этот момент Роуз внес свою лепту в разговор, крякнув.

– И наконец, – закончил Питер, – поведайте же мне, почему, находясь в здании, увешанном прекрасными и огромными светильниками, вы предпочли провести эти вечерние часы при свете одной-единственной тусклой электрической лампочки?

Роуз посмотрел на Кея; Кей посмотрел на Роуза. Оба засмеялись; оба разразились хохотом; они просто не могли без смеха смотреть друг на друга. Но они не смеялись вместе с этим человеком – они смеялись над ним. Человек, говоривший в таком стиле, с их точки зрения, мог быть только в стельку пьяным либо же буйно помешанным.

– Смею предположить, что вы – выпускники Йеля? – сказал Питер, допив свой стакан и наливая следующий.

Они опять рассмеялись:

– Не-а!

– Неужели? А я подумал, что вы, наверное, принадлежите к той низшей ступени университетской иерархии, называемой «научной школой Шеффилда».

– Не-а!

– Гм… Н-да, как нехорошо… Вы, значит, питомцы Гарварда, изо всех сил пытающиеся сохранить свое инкогнито в этом, как говорят газеты, «царстве сине-фиолетового»?

– Не-а, – с издевкой произнес Кей, – мы тут просто кое-кого ждем.

– О, – воскликнул Питер, подняв и наполнив их стаканы, – как интересно. Свидание с уборщицами, полагаю?

Оба с негодованием отвергли это предположение.

– Да бросьте вы, – подбодрил их Питер, – не нужно оправдываться. Уборщица нисколько не хуже любой другой дамы. Как говорит Киплинг, «и знатную леди, и Джуди О’Грэди без платья нам не различить».

– Точно, – ответил Кей и, не таясь, подмигнул Роузу.

– Вот, например, что случилось со мной, – продолжил Питер, допив стакан. – Я сюда приехал с одной избалованной девушкой. С самой чертовски избалованной девушкой из всех, что я знаю. Отказалась со мной целоваться, и безо всякой причины! Сознательно внушала мне, что хочет целоваться, и вдруг – хлоп! Взяла и бросила меня! Куда, спрашивается, катится юное поколение?

– Да уж, не повезло, – сказал Кей, – ужасно не повезло.

– Мать честная! – сказал Роуз.

– Еще по бокальчику? – предложил Питер.

– А мы вот почти что ввязались в драку, – сказал Кей после паузы, – но это было слишком далеко.

– Драка? Вот это да! – сказал Питер, покачнувшись на стуле. – Бей их всех! Я служил в армии.

– Там были эти, как их… Большевики!

– Вот это да! – с воодушевлением воскликнул Питер. – Полностью согласен! Бей большевиков! Всех уничтожить!

– Мы американцы! – произнес Роуз, демонстрируя здоровый и дерзкий патриотизм.

– Точно! – сказал Питер. – Величайшая нация мира! Все мы американцы! Еще выпьете?

Они выпили.

VI

В час ночи в «Дельмонико» прибыл популярнейший оркестр – популярнейший даже в те дни популярнейших оркестров! – и его члены с высокомерным видом расселись вокруг пианино, взяв на себя тяжкий груз музыкального сопровождения бала студенческого братства «Гамма Пси». Оркестр возглавлял знаменитый флейтист, прославившийся по всему Нью-Йорку благодаря умению стоять на голове, пританцовывая плечами в духе шимми и при этом наигрывая

на своей флейте новейшие джазовые мелодии. Во время его выступления люстры были погашены, лишь на флейтиста был направлен луч прожектора, а второй прожектор блуждал по залу, меняя цвета, как в калейдоскопе, и отбрасывая мерцающие разноцветные тени на тесно сгрудившихся танцоров.

Эдит утанцевалась до такой степени, что все стало казаться ей нереальным; она устала, как дебютантка, и чувствовала легкое приятное головокружение, будто аристократ после нескольких бокалов. Ее мысли плыли сами по себе во власти музыкального ритма; партнеры в красочных движущихся сумерках менялись, будто фантомы из другой реальности, она будто впала в кому, и ей стало казаться, что она танцует уже несколько дней подряд. Она разговаривала урывками на разные темы с множеством мужчин. Один раз ее поцеловали, шесть раз ей объяснились в любви. В начале вечера она танцевала с разными студентами, но теперь, как и у всех популярных девушек на балу, у нее сформировалась собственная свита, то есть с полдюжины кавалеров танцевали исключительно с ней, лишь изредка изменяя ее очаровательному обществу под действием чар какой-нибудь другой избранной красавицы; во время каждого танца они с регулярной и неизменной последовательностью, извиняясь, отбивали ее друг у друга.

Несколько раз она видела Гордона, – он долго сидел на лестнице, подперев рукою голову, уставившись тусклыми глазами куда-то вдаль, в направлении танцевального зала. Он выглядел очень подавленным и пьяным, но Эдит всякий раз торопливо отводила глаза. Все это казалось теперь далеким прошлым; ее разум бездействовал, а чувства успокоились, будто она находилась в гипнотическом сне; лишь ноги продолжали танцевать, а голос – по-прежнему поддерживать неопределенно-чувствительные добродушные беседы.

Но не так уж сильно утомилась Эдит, чтобы не испытать праведного гнева, когда ее пару разбил, пригласив ее на танец, величественно пьяный и абсолютно счастливый Питер Химмель. Она глубоко вдохнула и посмотрела ему в глаза:

– Боже мой, Питер!

– Я немного подогрелся, Эдит.

– Питер, ну ты и красавчик! Не кажется ли тебе, что это гадко – так себя вести, когда ты со мной?

Тут она невольно улыбнулась, потому что на нее уставились глаза чувствительной совы, с лица которой не сходила глупая судорожная улыбка.

– Милая Эдит, – пылко начал он, – ты ведь знаешь, что я люблю тебя, правда?

– Ты это наглядно продемонстрировал.

– Я тебя люблю; и я всего лишь хотел, чтобы ты меня поцеловала, – печальным голосом добавил он.

Его смущение, его стыд – все это исчезло. Она была самой прекрасной девушкой на свете. Самые красивые глаза, будто звезды небесные. Он хотел попросить прощения – сначала за то, что самонадеянно пытался ее поцеловать, затем за то, что выпил, но ведь он был так расстроен, думая, что она на него рассердилась…

Их пару разбил рыжий толстяк, который, посмотрев Эдит в глаза, лучезарно улыбнулся.

– Ты пришел сюда со спутницей? – спросила она.

Нет. Рыжий толстяк пришел один.

– Тогда не… Только если, конечно, тебя не сильно затруднит… Не подвезешь ли ты меня сегодня домой? (Эта крайняя робость была очаровательным притворством со стороны Эдит – она прекрасно знала, что рыжий толстяк немедленно растает от нежданного счастья.)

– Затруднит?! О господи, да я буду чертовски рад! Поверь, просто чертовски рад!

– Огромное спасибо! Так мило с твоей стороны!

Она посмотрела на свои часики. Была уже половина второго. И как только она произнесла про себя «половина второго», ей вдруг пришло на ум, что брат рассказывал за завтраком, как каждый день уходит из редакции газеты не ранее половины второго утра.

Эдит резко повернулась к танцевавшему сейчас с ней партнеру:

– Скажи-ка, а на какой улице находится «Дельмонико»?

– На какой улице?! Разумеется, на Пятой авеню.

– Я имела в виду, какая поперечная улица?

– А… Дай вспомнить… Да, Сорок четвертая!

Он подтвердил ее мысль. Редакция Генри должна была находиться на другой стороне улицы, прямо за углом, и она тут же подумала, что можно ненадолго ускользнуть и сделать ему сюрприз: неожиданно заскочить, «поднять ему настроение»: в новом малиновом манто она

словно мерцающее чудо! От таких нешаблонных и веселых поступков Эдит всегда получала удовольствие. Идея полностью захватила ее воображение; немного посомневавшись, она все-таки решилась.

– Моя прическа вот-вот развалится, – весело сказала она партнеру, – не возражаешь, если я схожу, приведу себя в порядок?

– Ни в коем случае!

– Ты чудо!

Пару минут спустя, закутавшись в малиновое манто, она спорхнула вниз по служебной лестнице; щеки ее горели в предвкушении небольшого приключения. В дверях она столкнулась с какой-то парой: о чем-то жарко спорили ярко размалеванная юная дама и официант с безвольным подбородком; открыв входную дверь, она вышла на улицу, в теплую майскую ночь.

VII

Ярко накрашенная юная дама проводила ее быстрым злым взглядом, а затем опять повернулась к официанту с безвольным подбородком и возобновила перебранку.

– Иди-ка лучше наверх и скажи, что я пришла, – с вызовом сказала она, – или же я пойду сама!

– Никуда ты не пойдешь! – строго сказал Джордж.

Девушка сардонически улыбнулась:

– Ах не пойду? Прямо так вот и не пойду?! Да будет тебе известно, что я знаю столько парней из университета, сколько ты в жизни не видал, а еще больше из них знают меня, и все они были бы счастливы пригласить меня на свою вечеринку!

– Может, и так…

– Еще бы не так! – перебила она. – Конечно, таким, как вот эта, которая только что тут бегала – бог знает, куда ее понесло! – раз их пригласили, можно бегать туда-сюда, когда им приспичит! Зато, когда

мне нужно повидаться с другом, прямо передо мной ставят какую-то дешевку, какого-то официантика – «гав-гав, хозяин! вот твоя палочка, дай сахарок!», – который меня не пускает!

– Слушай, ты, – возмущенно произнес Кей-старший, – я не хочу потерять работу. Вдруг этот парень, которого ты ищешь, совсем не хочет тебя видеть?

– Ну вот еще – конечно, хочет!

– И вообще: как я его в этой толпе найду?

– Да здесь он, здесь! – уверенно сказала она. – Спроси любого, где Гордон Стеррет, и тебе всякий покажет. Они тут все друг друга знают, эти ребята.

Она вытащила сумочку из плетеной нити, достала долларовую банкноту и протянула ее Джорджу.

– Вот тебе подарочек, – сказала она. – Найди его и передай ему мои слова. Скажи, что, если через пять минут он здесь не появится, я сама поднимаюсь наверх.

Джордж пессимистично покачал головой, на некоторое время задумался, резко покачнулся и удалился.

Не успели пройти назначенные пять минут, как вниз спустился Гордон. Он был гораздо более пьян, чем в начале вечера, и в совершенно другом настроении. Алкоголь, казалось, покрывал его жесткой коркой. Он тяжело двигался и разговаривал, спотыкаясь на каждом слове, понять его было очень сложно.

– Привет, Джевел, – заплетающимся языком произнес он. – Сразу же пришел. Джевел, денег я достать не смог. Все попробовал.

– При чем здесь деньги? – резко оборвала его она. – Мы с тобой десять дней не виделись. В чем дело?

Он медленно покачал головой:

– Мне очень плохо, Джевел. Я заболел.

– А почему ты мне не сказал, что заболел? Не так уж мне нужны эти деньги. Я ведь даже не заговаривала с тобой об этом, пока ты не решил меня бросить.

Он опять покачал головой:

– Я тебя не бросал. Вовсе нет.

– Ну да, «нет»! Ты со мной не встречался три недели, если не считать тех дней, когда ты был так пьян, что даже не соображал, где находишься!

– Я заболел, Джевел, – повторил он, поглядев на нее измученными глазами.

– Однако хватило здоровья прийти сюда и развлекаться со своими светскими дружками ночь напролет! Ты же обещал, что мы вместе поужинаем, и сказал, что принесешь мне деньги! А сам даже не соизволил мне перезвонить!

– Я не достал денег.

– Я разве только что не сказала, что это не важно? Я хотела встретиться с тобой, Гордон, но ты, кажется, предпочел мне кого-то другого… или другую?

Он резко отверг это предположение.

– Тогда бери шляпу и пошли, – скомандовала она.

Гордон колебался, и она вдруг подошла к нему ближе и обвила руками его шею.

– Пойдем со мной, Гордон! – сказала она почти шепотом. – Сходим в «Девайнери», выпьем, а потом пойдем ко мне.

– Я не могу, Джевел…

– Можешь! – настаивала она.

– Мне совсем плохо!

– Ну что ж, тогда тебе тем более не стоит оставаться на танцах.

Гордон все еще колебался; он обвел все вокруг взглядом, в котором смешались облегчение и отчаяние; затем она неожиданно притянула его к себе и поцеловала мягкими, мясистыми губами.

– Ладно, – тягостно произнес он, – схожу за шляпой.

VIII

Выйдя в чистую синеву майской ночи, Эдит обнаружила, что на улице было пустынно. Витрины больших магазинов не светились; двери были закрыты толстыми железными решетками и походили на двери мрачных склепов, в которых покоилось дневное великолепие.

Посмотрев в сторону Сорок девятой улицы, она заметила сливавшиеся в единое пятно света огни ночных ресторанов. Над Шестой авеню ревел монорельс, будто вспышка пламени между протянувшимися вдоль улицы в резко очерченную тьму мерцающими параллельными полосами света на станции. Но на Сорок четвертой улице было очень тихо.

Укутавшись поплотнее в манто, Эдит перебежала на другую сторону Пятой авеню. Она нервно вздрогнула, когда мимо нее прошел одинокий мужчина, хрипло шепнувший ей: «Куда спешим, малышка?» Ей сразу вспомнилось, как в детстве она однажды вышла в пижаме на улицу, обошла весь квартал, а с показавшегося ей в темноте огромным заднего двора какого-то дома вдруг завыла собака.

Через минуту она уже достигла своей цели: двухэтажного, относительно старого здания на Сорок девятой, в верхнем этаже которого она с облегчением заметила облачко света. На улице было достаточно светло, чтобы разглядеть рядом с окном вывеску: «Трубный глас Нью-Йорка». Она вошла в затемненный холл и секунду спустя разглядела в углу лестницу.

И вот она уже в вытянутом помещении с низкими потолками, меблированном множеством столов, увешанных со всех сторон подшивками газет. В помещении находились только двое. Они сидели в разных концах комнаты, на лбу у каждого был зеленый козырек, оба писали при свете одиноких настольных ламп.

На мгновение она неуверенно остановилась в дверях, а затем оба мужчины одновременно к ней повернулись, и она узнала брата.

– Ну надо же! Эдит!

Он тут же встал и, изумленный, подошел к ней, сняв козырек. Он был высокого роста, худой, темноволосый, с черными проницательными глазами за очень толстыми стеклами очков. У него всегда был мечтательный взгляд, который, казалось, фокусировался где-то над головой собеседника.

Он взял ее за руки и поцеловал в щечку.

– Что-то случилось? – повторил он с тревогой в голосе.

– Я была на балу, Генри, недалеко отсюда – в «Дельмонико», – радостно сообщила она, – и не смогла устоять перед искушением взять и забежать тебя навестить.

– Очень рад. – Его тревога быстро сменилась обычной рассеянностью. – Но все же не стоит разгуливать ночью по улицам в одиночестве, правда?

Мужчина в противоположном углу комнаты смотрел на них с любопытством, и Генри подозвал его кивком головы. Мужчина был рыхлым и тучным, глаза у него были маленькие и блестящие – казалось, сними с него воротничок и галстук, и вот перед вами типичный фермер со Среднего Запада в воскресный вечер.

– Это моя сестра, – сказал Генри. – Забежала меня навестить.

– Добрый вечер! – сказал толстяк, улыбнувшись. – Моя фамилия Бартоломью, мисс Брейдин. Уверен, что ваш брат уже давно ее забыл!

Эдит вежливо рассмеялась.

– Н-да, – продолжил он, – у нас тут не то чтобы шикарно, но вы уж нас извините.

Эдит оглядела комнату.

– У вас здесь уютно, – ответила она. – А где вы храните бомбы?

– Бомбы? – переспросил Бартоломью, рассмеявшись. – Неплохо сказано. Бомбы! Ты слышал, Генри? Она желает знать, где тут у нас бомбы! Да, отлично сказано!

Эдит развернулась и уселась на край пустого стола, свесив ноги. Брат сел рядом с ней.

– Что же, – рассеянно спросил он, – как тебе нравится Нью-Йорк в этот раз?

– Неплохо. Я до субботы в «Билтморе», вместе с Хойтами. Может, позавтракаешь с нами завтра, а?

Он задумался.

– Я очень занят, – стал отказываться он, – да и женское общество в больших количествах я плохо переношу.

– Ладно, – спокойно согласилась она, – давай тогда позавтракаем без них, только ты и я?

– Отлично!

– Я позвоню тебе в полдень.

Бартоломью явно не терпелось вернуться за стол, но он, вероятно, считал невежливым покинуть их без какой-нибудь шутки на прощание.

– А знаете… – неуклюже начал он.

Оба повернулись к нему.

– Так вот, знаете ли – пришлось нам тут в начале вечера поволноваться!

Мужчины переглянулись.

– Пришли бы вы пораньше, – продолжил Бартоломью, приободрившись, – застали бы наш традиционный спектакль.

– Как, неужели у вас тут еще и театр?

– Консерватория, – сказал Генри. – Нам поют серенады! Внизу на улице собралась толпа солдат и хором орала на нашу вывеску.

– Зачем? – спросила она.

– Толпа, – рассеянно ответил Генри. – Любая толпа должна что-то горланить. У них не было зачинщиков и лидера, иначе они, наверное, вломились бы сюда и все бы тут разнесли.

– Да, – ответил Бартоломью, снова повернувшись к Элен, – жаль, что вас здесь не было.

Кажется, этого замечания ему показалось достаточно, чтобы достойно удалиться, поскольку он сейчас же развернулся и ушел обратно за свой стол.

– А что, все солдаты настроены против социалистов? – спросила Эдит у брата. – То есть я хотела спросить, они на вас специально нападают… и все такое?

Генри снова надел свой козырек и зевнул.

– Человечество прошло довольно долгий путь, – небрежно сказал он, – но большинство из нас не имеют никакого отношения к прогрессу; солдаты не знают, чего они хотят, или что они ненавидят, или что они любят. Они привыкли действовать большими стадами, и им кажется, что демонстрации необходимы. Так уж получилось, что направлены они против нас. Сегодня весь вечер по всему городу стычки. Первое мая ведь!

– А тут у вас что-то серьезное было?

– Да нет, – презрительно сказал он. – Часов в девять вечера собралось на улице человек двадцать пять, и давай выть на луну!

– Понятно. – Она сменила тему: – Ты рад меня видеть, Генри?

– Ну конечно!

– Что-то непохоже.

– Да нет, я рад.

– Мне кажется, что ты считаешь меня бездельницей. Чем-то вроде «самого глупого мотылька в мире»?

Генри рассмеялся:

– Вовсе нет. Веселись, пока молодой, да? А я что, похож на педантичного и прилежного юнца?

– Да нет… – Она помолчала. – Но я вдруг отчего-то подумала, как сильно отличается бал, на котором я только что была, от… от всего, к чему стремишься ты. Так… несообразно, да?…кажется то, что я хожу на вечеринки, а ты здесь работаешь ради того, чтобы таких вечеринок больше никогда не было – если твои идеи победят, конечно.

– Я никогда не думал об этом в таком ключе. Ты молода, и ты живешь точно так, как тебя научили жить, как тебя воспитали. Вперед – веселись, развлекайся, да?

Она тут же прекратила лениво качать ногой и тихо сказала:

– Мне бы так хотелось… Так бы хотелось, чтобы ты вернулся в Гаррисберг и пожил в свое удовольствие! Ты уверен, что ты на верной дороге, а?

– У тебя очень красивые чулки, – сменил он тему. – Какая красота!

– С вышивкой! – ответила она, опустив глаза. – Правда, прелестно? – Она приподняла юбку и продемонстрировала стройные, обтянутые шелком икры. – Но ты ведь не имеешь ничего против шелковых чулок?

Он слегка рассердился и пронзительно посмотрел на нее своими черными глазами:

– Тебе самой явно очень хочется, чтобы я тебя хоть в чем-нибудь осуждал!

– Да вовсе нет…

Она умолкла. В этот момент хмыкнул Бартоломью. Она обернулась и увидела, что он вышел из-за стола и теперь стоял у окна.

– Что такое? – спросил Генри.

– Там люди, – ответил Бартоломью и добавил через мгновение: – Целая толпа. Идут с Шестой авеню.

– Люди?

Толстяк прижался лицом к стеклу.

– О господи, да это же солдаты! – с особенным выражением произнес он. – Так я и думал, что они еще вернутся.

Эдит соскочила со стола и подбежала к окну, встав рядом с Бартоломью.

– Их там очень много! – взволнованно воскликнула она. – Иди сюда, Генри!

Генри поправил козырек, но остался на месте.

– Может, на всякий случай погасим свет? – предложил Бартоломью.

– Нет. Они через минуту уйдут.

– Нет! – сказала Эдит, выглянув в окно. – Они даже не собираются уходить. Их там все больше. Смотрите: вон еще целая толпа свернула с Шестой авеню!

В желтом свете фонаря и в синем мраке она разглядела, что люди заполнили весь тротуар. Большинство были в военной форме, некоторые были трезвые, некоторые – уже готовы на пьяные подвиги; над толпой повис бессвязный шум, доносились крики.

Генри встал и показался в окне: длинный силуэт на фоне прямоугольника света. Крики тут же превратились в равномерный вой, и в окно ударил грохочущий залп шрапнели из комков жевательного табака, сигаретных пачек и даже мелких монет. С лестницы донесся звук поднимающихся наверх грубых башмаков и звуки отодвигаемых раздвижных дверей.

– Они поднимаются! – воскликнул Бартоломью.

Эдит с тревогой повернулась к Генри:

– Они поднимаются, Генри.

Доносившиеся из холла первого этажа крики были уже хорошо различимы.

– Проклятые социалисты!

– Немецкие прихвостни! Бошелюбы!

– Второй этаж, в начале! Пошли!

– Мы этих сукиных…

Следующие пять минут были похожи на страшный сон. Эдит отчетливо осознавала, что их троих внезапно будто накрыло волной шума, затем послышался грохот множества ног на лестнице, затем Генри схватил ее за руку и потащил в дальнюю часть конторы. А затем отворилась дверь и в помещение хлынули люди – не вожаки, а просто те, кто случайно оказались впереди.

– Привет, фриц!

– Припозднился, а?

– Черт бы тебя побрал вместе с твоей девкой!

Она заметила, что двух очень пьяных солдат вытолкнули вперед, и они стояли, бессмысленно пошатываясь: один был низкорослый, с темными волосами, второй – высокий, с безвольным подбородком.

Генри сделал шаг вперед и поднял руку.

– Друзья! – произнес он.

Шум на мгновение стих; слышны были лишь невнятные звуки.

– Друзья, – повторил он; его мечтательный взгляд сфокусировался где-то над головами толпы, – ворвавшись сюда, вы не причините зла никому, кроме себя. Разве мы похожи на богачей? Разве мы похожи на немцев? Я прошу вас, во имя справедливости…

– Помалкивай!

– А то поможем!

– А кто же, по-твоему, твоя подружка, приятель?

Шаривший по столам человек в гражданском вдруг схватил и показал всем газету.

– Вот! – крикнул он. – Они хотели, чтобы немцы выиграли войну!

Под напором сзади внутрь с лестницы втиснулась новая порция негодующих, и неожиданно вся комната оказалась забита людьми, теснившими бледную троицу к дальней стене помещения. Эдит видела, что высокий солдат с безвольным подбородком был все еще в первых рядах. Темноволосый коротышка исчез.

Она потихоньку отступала назад и наконец оказалась рядом с открытым окном, из которого повеяло свежим и прохладным ночным воздухом.

Затем в комнате воцарился хаос. Она поняла, что солдаты хлынули вперед, мельком увидела, как толстяк замахнулся стулом над головой – и тут же погас свет, и она ощущала лишь толчки разгоряченных под грубым сукном тел, уши заложило от крика, топота ног и сдавленного дыхания.

Рядом с ней, откуда ни возьмись, вдруг возникла фигура, затем пошатнулась, получила толчок в бок и тут же беспомощно исчезла в открытом окне, издав испуганный прерывающийся крик, эхо которого угасло в шуме. При слабом свете, струившемся из соседнего здания, Эдит показалось, что это был высокий солдат с безвольным подбородком.

В ней вдруг проснулась ярость. Она, отчаянно толкаясь и ничего не видя, стала пробираться в гущу потасовки. До нее доносились крики,

ругань, глухие удары кулаков.

– Генри! – неистово звала она. – Генри!

Спустя несколько минут она вдруг ощутила, что в комнате появились какие-то другие люди. Она услышала голос: низкий, пугающий, властный; она увидела, что в потасовке то тут, то там засверкали желтые лучи фонариков. Крики стали рассеиваться. Шум потасовки сначала усилился, а потом стих.

Вдруг включился свет, и в помещении оказалось полно полицейских, лупивших дубинками направо и налево. Прогремел низкий голос:

– Слушать меня! Слушать меня! Слушать меня!

А затем:

– Всем немедленно прекратить и разойтись! Немедленно!

Помещение опустело, будто из раковины вытащили пробку. Полицейский, сцепившийся в углу с солдатом, отпустил противника и толкнул его в сторону двери. Низкий голос звучал по-прежнему. Эдит заметила, что вещал стоявший у двери капитан полиции с бычьей шеей.

– Слушать внимательно! Что за дела? Одного из ваших же вытолкнули из окна, и он разбился насмерть!

– Генри! – позвала Эдит. – Генри!

Она из всех сил стала колотить по спине стоявшего перед ней человека; протиснулась между двумя другими; кулаками и визгом проложила себе дорогу к сидевшей на полу у стола очень бледной фигуре.

– Генри, – неистово воскликнула она, – что с тобой? Что с тобой? Они тебя ранили?

Его глаза были закрыты. Он застонал и, посмотрев на нее снизу вверх, с отвращением произнес:

– Они сломали мне ногу! Боже, что за кретины!

– Слушать меня! – выкрикивал полицейский капитан. – Слушать меня! Слушать меня!

IX

В восемь утра ресторан «Чайльдс» на Пятьдесят девятой улице едва ли отличается от любого другого ресторана – ну разве что шириной мраморных столиков да степенью блеска противней… За столиками вы увидите толпу бедняков с заспанными глазами, старательно уставившихся на еду прямо пред собой – чтобы не видеть других бедняков. Но ресторан «Чайльдс» на Пятьдесят девятой четырьмя часами ранее совершенно не походит на любой другой ресторан «Чайльдс» – хоть в Портленде, который в штате Орегон, хоть в Портленде, что в штате Мэн. В его тускло освещенных – но при этом идеально чистых! – стенах вы обнаружите гремучую смесь из юных хористок, студентов, дебютанток, повес и проституток – весьма представительную мешанину блестящих типов не только с Бродвея, но даже и с самой Пятой авеню!

Ранним утром второго мая в ресторане было необычно много народу. Над мраморными столешницами склонялись оживленные лица эмансипе, чьи папаши единолично владели целыми поместьями. Девушки с удовольствием и смаком поглощали гречишные оладья и омлеты, и совершенно невозможно было даже представить, чтобы они отважились на такой подвиг в этом же месте, но четырьмя часами позже.

Почти все посетители переместились сюда с бала клуба «Гамма Пси» в «Дельмонико», не считая нескольких юных хористок из ночных клубов, сидевших за боковым столиком и очень жалевших о том, что они поленились как следует снять грим по окончании представления. Из разных углов на эмансипе с утомленным и смущенным любопытством уставились серенькие, как мыши, фигурки, казавшиеся здесь абсолютно лишними. Но эти серенькие фигурки были лишь исключением. Наступило утро, только что закончился первый день мая, и в воздухе все еще витало праздничное настроение.

Протрезвевший, но еще не совсем пришедший в себя Гас Роуз относился к классу этих самых «сереньких фигурок». О том, каким образом он выбрался из хаоса и добрался с Сорок четвертой до Пятьдесят девятой улицы, он помнил лишь в самых общих чертах. Он видел, как тело Кэрола Кея погрузили в санитарную машину и увезли,

после чего Роуз двинулся в направлении жилых кварталов города, в компании еще двух или трех солдат. Где-то между Сорок четвертой и Пятьдесят девятой улицами солдаты встретили каких-то дамочек и испарились. Роуз добрел до площади Колумба и, дабы удалить свою жажду кофе и пончиков, избрал сияющий огнями ресторан «Чайльдс». Он вошел и сел за столик.

Вокруг него царила беззаботная атмосфера, слышались обычная болтовня и пронзительный смех. Поначалу он ничего не понял, но спустя пять минут до него дошло, что перед ним – завершение какой-то веселой вечеринки. Повсюду, как у себя дома, бродили исполненные братских чувств возбужденные молодые люди «навеселе», пожимая руки всем подряд и изредка задерживаясь у какого-нибудь столика, чтобы радостно поболтать; нервные официанты, разносившие на поднятых вверх подносах пирожные и омлеты, безмолвно чертыхались и норовили оттолкнуть их с дороги. Сидевшему за самым неприметным и пустым столиком Роузу все происходящее казалось ярким калейдоскопом красоты и буйной радости.

Через некоторое время он стал обращать все больше внимания на пару, сидевшую по диагонали от него спиной к остальным посетителям; кажется, там происходило что-то интересное. Мужчина был пьян. На нем был смокинг, галстук он развязал, а вся рубашка топорщилась от высохших пятен вина и воды. Его тусклые покрасневшие глаза неестественно блуждали из стороны в сторону. Он тяжело дышал, приоткрыв губы.

«Вот так погулял!» – подумал Роуз.

Женщина была почти – если не совсем – трезва. Она была симпатичная, с темными глазами и лихорадочно-ярким румянцем – и, как ястреб, не спускала своего внимательного взора со спутника. Время от времени она наклонялась и что-то напряженно ему говорила шепотом, а он отвечал, с трудом кивая головой или гнусно и мерзко подмигивая.

Роуз, не говоря ни слова, несколько минут их пристально изучал, пока женщина не бросила на него быстрый злой взгляд; после этого он тут же перевел глаза на двух наиболее подозрительно веселых гуляк, сидевших за несколькими сдвинутыми в кружок столами. К своему удивлению, он узнал одного из них: это был тот самый молодой человек, который оказал ему столь нелепое гостеприимство в

«Дельмонико». Из-за него он вспомнил о Кее – с глухой сентиментальностью и не без благоговейного трепета. Кей погиб. Он упал с высоты тридцати пяти футов, и его череп раскололся, как кокос.

«Он был чертовски хорошим парнем, – со скорбью подумал Роуз. – Да, он был чертовски хорошим парнем! Ему просто ужасно не повезло».

Подошли двое гуляк и обосновались между столиком Роуза и соседним, с одинаковой непринужденной фамильярностью болтая как с друзьями, так и с незнакомцами. Вдруг Роуз увидел, что блондин с выступающими зубами остановился, неуверенно оглядел сидящих друг напротив друга мужчину с девушкой, а затем стал неодобрительно покачивать головой из стороны в сторону.

Мужчина с покрасневшими глазами посмотрел на него.

– Горди! – позвал гуляка с выдающимися зубами. – Горди!

– Привет, – заплетающимся языком произнес мужчина в заляпанной рубашке.

Зубастик пессимистично погрозил паре пальцем, бросив на женщину равнодушно-осуждающий взгляд:

– Что я говорил, а, Горди?

Гордон, не вставая, заерзал.

– Катись к черту! – сказал он.

Дин продолжал стоять, по-прежнему грозя пальцем. В женщине понемногу закипала ярость.

– Уйди отсюда! – свирепо закричала она. – Алкаш ты, вот ты кто!

– Тогда и он тоже, – парировал Дин, перестав размахивать пальцем и указав на Гордона.

Лениво подошел Питер Химмель, которого уже клонило в сон и тянуло на монологи.

– Так, – начал он, будто его призвали рассудить какой-то мелкий спор между детьми. – И что же тут у нас случилось?

– Забирай отсюда своего дружка, – ядовито сказала Джевел. – Он нас достал.

– Чем же?

– Ты слышал, что я сказала? – взвизгнула она. – Забирай своего пьяного дружка отсюда!

Ее визгливый голос возвысился над шумом ресторана, к ним устремился официант.

– Эй, вы, потише!

– Этот парень пьян! – воскликнула она. – Он нас оскорбил!

– Ага, Горди! – продолжал обвиняемый. – Что я тебе говорил? – Он обернулся к официанту: – Мы с Горди друзья. Я пытался ему помочь – не правда ли, Горди?

Горди посмотрел на него:

– Помочь мне?! Как же!

Джевел неожиданно встала, схватила Гордона за руку и помогла ему встать.

– Пойдем, Горди! – сказала она почти шепотом, прильнув к нему. – Давай уйдем отсюда. Этот парень нализался до потери сознания.

Гордон позволил поднять себя и увлечь по направлению к двери. Джевел на мгновение обернулась и обратилась к виновнику их бегства.

– Я про тебя все знаю! – яростно выпалила она. – Вот уж друг так друг, нечего сказать! Он все мне про тебя рассказал.

Затем она ухватила покрепче руку Гордона. Они вместе прошествовали сквозь любопытствующую толпу, заплатили по счету и вышли на улицу.

– Пожалуйста, сядьте, – сказал Питеру официант после того, как они ушли.

– В чем дело? Зачем мне садиться?

– Затем! Присаживайтесь – или уходите.

Питер повернулся к Дину.

– Слушай, – предложил он. – Давай-ка отлупим этого официанта?

– Давай!

С неумолимыми лицами они пошли на него. Официант отступил.

Питер вдруг протянул руку к тарелке, стоявшей на соседнем столике, схватил с нее гуляш и швырнул мелко нарезанное мясо в воздух. Мясо, описав пологую параболу, хлопьями опустилось на головы стоявших поблизости.

– Эй, успокойся!

– Выгоните его!

– Сядь, Питер!

– Немедленно прекрати!

Питер рассмеялся и поклонился.

– Благодарю за ваши аплодисменты, дамы и господа! Если кто-нибудь передаст мне еще немного гуляша и цилиндр, мы сможем

продолжить наше представление.

Засуетился ресторанный вышибала.

– А ну-ка, выходи отсюда! – сказал он Питеру.

– Еще чего!

– Это мой друг! – с негодованием вмешался Дин.

Вокруг стали собираться официанты.

– Выведите его!

– Нам лучше уйти, Питер.

Последовала короткая схватка, друзей схватили и стали подталкивать по направлению к двери.

– У меня там остались шляпа и пальто! – воскликнул Питер.

– Ладно, можешь сходить за ними, да поживее!

Вышибала отпустил Питера, который, изобразив на лице нелепое выражение крайнего коварства, тут же бросился к другому столику, где разразился ироническим хохотом и «показал нос» выведенным из себя официантам.

– Я, пожалуй, посижу тут еще немного, – объявил он.

И началась погоня. Четверых официантов отправили с одной стороны, четверых – с другой. Дин ухватил двоих за полы пиджаков, и, прежде чем возобновилось преследование Питера, произошла еще одна схватка; крылья ему удалось подрезать только после того, как он опрокинул сахарницу и несколько чашек кофе. Еще один спор разразился у кассы, где Питер попытался купить еще одну порцию гуляша с собой – побросать в полицейских.

Но возникший при их окончательном изгнании хаос тут же изгладился из памяти остальных посетителей, потому что их восхищенные взоры приковало другое явление, заставившее всех без исключения невольно издать дружное «Ах-х-х!».

Огромная стеклянная витрина ресторана окрасилась в насыщенный молочно-голубой цвет, подобный лунному свету на панно Максфильда Пэрриша, и этот голубоватый свет, казалось, плотно прижался к стеклу витрины, будто силясь заполнить весь ресторан. Над площадью Колумба всходило солнце, волшебное безмолвное солнце, очертившее силуэт громадной статуи бессмертного Христофора и странным и жутким образом растворившее собой свет потускневших электрических ламп в ресторане.

X

Мистер Вход и мистер Выход не значатся в списках избирателей. Напрасно вы будете искать их в справочнике «Кто есть кто»; их имена не указаны в книгах записи рождений, браков и смертей, не найдете вы их и в гроссбухе бакалейщика. Их поглотило забвение, а свидетельства самого факта их существования настолько смутны и неясны, что их не примут ни в одном суде. Однако у меня имеются самые достоверные сведения о том, что мистер Вход и мистер Выход пусть и непродолжительное время, но все же существовали, дышали, отзывались на свои имена и ярко демонстрировали свои неповторимые индивидуальности.

На протяжении краткого времени своего существования они прогуливались в присущих им костюмах по широкой улице великой страны; над ними смеялись, их ругали, преследовали, от них убегали. Затем они исчезли, и больше о них никто никогда не слыхал.

Они начали понемногу обретать физический облик в тот момент, когда по Бродвею с первыми лучами майского солнца промчался открытый таксомотор. В машине находились души мистера Входа и мистера Выхода, обсуждавшие с удивлением синий свет, в который столь внезапно окрасился небосвод за статуей Христофора Колумба, обсуждавшие с недоумением бледные старческие лица «жаворонков», проносившихся бледными тенями мимо них, будто гонимые ветром бумажные кораблики на серой озерной глади. Они соглашались друг с другом по всем вопросам, начиная с отсутствия здравого смысла у вышибал из ресторана «Чайлдс» и заканчивая нелепостью бытия как такового. У них кружились головы от абсолютного, до пьяных слез, счастья, которое проснулось в их хмельных душах с первыми лучами утреннего солнца. И действительно, они столь свежо и сильно почувствовали радость существования, что решили тут же выразить это громкими криками.

– Э-ге-гей! – заорал Питер, приставив к губам ладони рупором; его тут же поддержал Дин, издав столь же осмысленный и символичный вопль, черпавший свою силу из самой своей нечленораздельности.

– Йя-ха-ха! О-о-о! Йо-хо-хо! Йуба-буба!

Пятьдесят третья улица промелькнула в виде автобуса, на верхней площадке которого сидела сногсшибательная брюнетка с короткой стрижкой; Пятьдесят вторая запомнилась дворником, который увернулся, избежав столкновения, и тут же заорал: «Гляди, куда прешь!» страдальческим и обиженным тоном. На Пятидесятой улице целая группа мужчин на ослепительно белом тротуаре у ослепительно белого здания развернулась и стала смотреть им вслед, крича:

– Вечеринка удалась, ребята!

На Сорок девятой улице Питер повернулся к Дину.

– Чудесное утро! – с серьезным видом произнес он, прищурив осоловевшие глаза.

– Надо полагать.

– Зайдем куда-нибудь позавтракать?

Дин согласился – с небольшим уточнением:

– Позавтракать и выпить!

– Позавтракать и выпить, – повторил Питер, и они согласно покивали головами, поглядев друг на друга. – Вполне логично.

Затем оба захохотали.

– Завтрак и выпивка! Черт побери!

– Не бывает! – объявил Питер.

– Не подают? Неважно. Мы заставим их подать! Окажем давление.

– Задавим логикой!

Такси вдруг свернуло с Бродвея, проехало по поперечной улице и остановилось перед массивным, будто склеп, зданием на Пятой авеню.

– Что такое?

Водитель такси проинформировал их, что это «Дельмонико».

Это их слегка озадачило. Пришлось потратить несколько минут на полную концентрацию мыслей, поскольку такой приказ мог быть отдан только в силу каких-то причин.

– Что-то там такое про пальто, – напомнил таксист.

Точно! Пальто и шляпа Питера. Он забыл их в «Дельмонико». Выяснив это, они вышли из такси и, держась под руки, двинулись к входу.

– Эй! – окликнул их таксист.

– Чего?

– А расплатиться?

Потрясенные до глубины души, они отрицательно покачали головами:

– Позже, не сейчас – мы приказываем тебе ждать!

Таксист был не согласен, он хотел сейчас же получить свои деньги. С презрительной снисходительностью людей, демонстрирующих чудеса самоконтроля, они заплатили.

Войдя внутрь, Питер тщетно попытался найти на ощупь в пустынной темной гардеробной пальто и котелок.

– Их нет, судя по всему. Кто-то слямзил.

– Наверное, кто-то из Йеля!

– Все может быть.

– Не огорчайся, – самоотверженно сказал Дин. – Я тоже оставлю здесь пальто и шляпу, и тогда мы оба будем одеты одинаково.

Он снял шляпу и пальто, повесил их – и тут его блуждающий взор застрял на двух огромных картонных прямоугольниках, пришпиленных к обеим дверям гардеробной. Знак на левой двери большими черными буквами гласил: «Вход», а на другом знаке, на правой двери, гордо сияло столь же выразительное слово «Выход».

– Посмотри! – радостно воскликнул он.

Взгляд Питера последовал за его указующим перстом.

– Что?

– Посмотри на эти знаки! Давай их заберем.

– Отличная идея.

– Должно быть, это пара очень редких и ценных знаков! Пригодятся.

Питер снял знак с левой двери и попробовал спрятать его на себе. Знак был немаленький, так что он испытал определенные трудности. Вдруг ему пришла в голову идея, и он отвернулся с видом величавым и таинственным. Спустя мгновение он театрально развернулся, развел руки в стороны и продемонстрировал себя пред восхищенным взором Дина. Знак он засунул себе за жилет, полностью прикрыв им рубашку. Выглядело это так, будто слово «Вход» было намалевано большими черными буквами прямо у него на груди.

– Йо-хо-хо! – воскликнул Дин. – Приветствую вас, мистер Вход!

И он таким же образом украсил себя другим знаком.

– Мистер Выход! – ликующе объявил он. – Позвольте представиться, мистер Вход, мистер Выход!

Они сошлись и обменялись рукопожатиями. И снова не удержались от хохота и затряслись в приступе веселья.

– Йо-хо-хо!

– Нам нужно очень плотно позавтракать!

– Идем! Идем в «Коммодор»!

Держась под руки, они неспешно вышли из дверей и пошли на восток по Сорок четвертой улице в направлении отеля «Коммодор».

Когда они выходили на улицу, на них обернулся и посмотрел солдат – очень бледный и усталый невысокий брюнет, до этого вяло шатавшийся по тротуару.

Он было дернулся, чтобы с ними заговорить, но по их испепеляющим взорам понял, что они его не узнали, так что он остановился и подождал, пока они не зашагали на неуверенных ногах по улице, а затем пошел вслед за ними, держась от них шагах в сорока, хихикая про себя и приговаривая шепотом «Мать честная!» снова и снова, с восхищением и в предвкушении развлечения.

Между тем мистер Вход и мистер Выход обменивались шутливыми замечаниями относительно своих планов на будущее.

– Нам нужно выпить, нам надо позавтракать. Одно не без другого. Единое и неделимое.

– Нам нужно и то и другое!

– И то и другое!

На улице было уже очень светло, и прохожие стали бросать на парочку любопытные взгляды. Они были явно увлечены разговором, который доставлял им обоим большое удовольствие, поскольку временами обоих захватывали столь сильные приступы смеха, что они умудрялись сгибаться от смеха пополам, продолжая при этом крепко держаться за руки.

Дойдя до «Коммодора», они обменялись остроумными сентенциями с сонным швейцаром, не без труда справились с вращающейся дверью и прошествовали через малолюдный, но все же застывший в изумлении вестибюль в зал ресторана, где озадаченный официант провел их к столику в темном углу. Они обреченно изучили меню, оторопелой скороговоркой зачитывая друг другу названия блюд.

– Но здесь нет выпивки! – с укором произнес Питер.

Официант что-то сказал.

– Повторяю, – настойчиво и упрямо продолжил Питер, – здесь, в этом меню, что совершенно необъяснимо и крайне прискорбно, совершенно отсутствует алкоголь!

– Эй, – уверенно сказал Дин, – дай-ка я. – Он повернулся к официанту: – Принеси-ка нам… Принеси-ка… – Он беспокойно пробежал взглядом меню. – Принеси нам бутылку шампанского и… и… Ну, и сандвичи с ветчиной!

Официант явно колебался.

– Неси давай! – рявкнули хором мистер Вход и мистер Выход.

Официант кашлянул и испарился. Последовало недолгое ожидание, во время которого посетители незаметным для них образом были тщательно осмотрены метрдотелем. Затем принесли шампанское, при виде которого мистер Вход и мистер Выход возликовали.

– Ты только подумай: неужели они могли отказать нам в шампанском за завтраком? Как же можно!

Оба тут же попытались представить эту ужасную ситуацию, но это оказалось выше их сил. Их объединившиеся в едином порыве воображения были не в силах представить себе мир, в котором можно было отказать в шампанском на завтрак. Официант с громким хлопком вытащил пробку, и в стаканах тут же запенился желтоватый напиток.

– Ваше здоровье, мистер Вход!

– И ваше, мистер Выход!

Официант удалился; минуты текли; шампанское в бутылке убывало.

– Это же… Это же оскорбительно! – вдруг сказал Дин.

– Что оскорбительно?

– Сама мысль о том, что кто-то мог отказать нам в шампанском на завтрак!

– Оскорбительно? – Питер задумался. – Точно, именно так: оскорбительно!

И они опять расхохотались; они выли и тряслись от смеха, качались на стульях, снова и снова повторяя друг другу слово «оскорбительно», и с каждым разом слово это, казалось, звучало все более и более смешно.

Спустя несколько восхитительных минут они решили выпить еще бутылочку. Обеспокоенный официант обратился к своему непосредственному начальнику, и осторожный муж отдал ясный приказ шампанского больше не подавать. Им принесли счет.

Через пять минут они под руки вышли из «Коммодора» и, под любопытными взглядами прохожих, пошли по Сорок второй улице до Вандербильд-авеню, к «Билтмору». Здесь они оказались на высоте положения и с нежданным коварством, быстрым шагом, держась неестественно прямо, миновали вестибюль.

Очутившись в зале ресторана, они повторили свой номер. Они то ударялись в накатывающий конвульсивный хохот, то вдруг неожиданно переходили к хаотическим дискуссиям на тему политики, образования и собственного радужного настроения. Часы подсказали им, что было уже девять утра, и обоим вдруг пришло в голову, что они только что побывали на замечательной вечеринке – одной из тех, которые запоминаются навсегда. Они сидели за второй бутылкой. Едва лишь кто-нибудь из них произносил слово «оскорбительно», как оба тут же начинали задыхаться от смеха. Ресторанный зал теперь шумел и плыл; тяжелый воздух разжижался вдруг распространившейся в нем удивительной легкостью.

Они заплатили по счету и вышли в вестибюль.

В этот момент вращающаяся дверь на улицу повернулась в тысячный раз за это утро, впустив в вестибюль гостиницы очень бледную юную красавицу с темными кругами под глазами, одетую в сильно помятое вечернее платье. Рядом с ней был некрасивый толстый мужчина – спутник для нее явно не подходящий.

На верхней площадке лестницы эта пара встретилась с мистером Входом и мистером Выходом.

– Дорогая Эдит! – начал мистер Вход, весело шагнув к ней и отвесив низкий поклон. – С добрым утром тебя!

Толстяк вопросительно посмотрел на Эдит, будто спрашивая у нее разрешения сейчас же устранить этого человека с ее пути.

– Простите за фамильярность, – добавил Питер в качестве запоздалого извинения. – Доброе утро, Эдит. – Он схватил Дина за локоть и потянул его вперед. – Позволь тебе представить, Эдит: мистер Выход. Мой лучший друг. Мы неразлучны. Мистер Вход и мистер Выход.

Мистер Выход выступил вперед и поклонился; он шагнул так широко и поклонился так низко, что чуть не опрокинулся вперед и смог удержать равновесие, лишь слегка ухватившись рукой за плечо Эдит.

– *Менязовутмистервыход*, Эдит, – вежливо промямлил он. – *Мистервходимистервыход*.

– *Дамистервходимистервыход*, – с гордостью сказал Питер.

Но взгляд Эдит скользнул мимо них – куда-то вдаль, на галерею наверху. Она чуть кивнула толстяку, который, словно медведь, пошел вперед и уверенным резким жестом развел мистеров в стороны. В образовавшийся проход проследовали он и Эдит.

Но, едва сделав десяток шагов, Эдит снова остановилась – остановилась и указала на низкорослого брюнета в солдатской форме, оглядывавшего толпу – и, в частности, живописных мистера Входа и мистера Выхода – несколько озадаченным и ошеломленным, исполненным благоговейного трепета взглядом.

– Вон он! – воскликнула Эдит. – Смотрите! – Она возвысила голос, почти взвизгнула. Указательный палец слегка дрожал. – Этот солдат сломал ногу моему брату!

Послышались крики; мужчина в пиджаке-визитке покинул свое место у стойки регистрации и проворно пошел вперед; тучная личность совершила молниеносный прыжок к низкорослому черноволосому солдату, и вестибюль сомкнулся вокруг образовавшейся маленькой группы людей, заслонив их от глаз мистера Входа и мистера Выхода.

Но для мистера Входа и мистера Выхода это происшествие было всего лишь пестрым переливающимся сегментом шумного и кружащегося мира.

Они слышали громкие голоса; они видели, как прыгнул толстяк; и вдруг картинка пошла полосами.

И вот они уже поднимаются в лифте наверх.

– Простите, на какой вам этаж? – спросил лифтер.

– На любой, – ответил мистер Вход.

– На последний, – сказал мистер Выход.

– Это и есть последний, – возразил лифтер.

– Так постройте еще один! – сказал мистер Выход.

– Еще выше, – сказал мистер Вход.

– На небо! – сказал мистер Выход.

XI

В спальне номера маленькой гостиницы рядом с Шестой авеню проснулся Гордон Стеррет; голова болела, особенно затылок, пульс был болезненным и учащенным. Он поглядел на серые рассветные тени по углам комнаты, на стоявшее в углу большое кресло, кожаная обивка которого протерлась от долгого использования. Увидел одежду – неопрятную, мятую, валявшуюся на полу, – почувствовал затхлый запах сигаретного дыма и спиртного. Окна были плотно закрыты. Снаружи яркое солнце отбрасывало луч на подоконник, и в этом луче кружились пылинки; он упирался в изголовье широкой деревянной кровати, на которой он провел ночь. Гордон лежал неподвижно, будто в коме, все еще под действием алкоголя, глаза его были широко открыты, в голове что-то громко щелкало, будто в несмазанной машине.

С того момента, как он заметил пылинки в солнечном луче и дырку в большом кожаном кресле, прошло почти полминуты, и он ощутил, что рядом с ним кто-то лежит; а еще полминуты спустя он вспомнил, что теперь он отныне и навеки женат на Джевел Хадсон.

Через полчаса он вышел на улицу и приобрел в магазине спортивных товаров револьвер. Затем на такси доехал до комнаты, которую снимал на Тридцать седьмой улице в восточной части города, лег ничком на стол, на котором лежали его рисунки, бумага и карандаши, и выстрелил себе почти точно в висок.

Фаянсовый и розовый

Комната на первом этаже загородного дома. Верхняя часть стены украшена фризом, изображающим рыбака с сетью и корабль в малиновом океане, рыбака с сетью и корабль в малиновом океане, рыбака с сетью и так далее. В одном месте фриз перекрывается, и мы видим половину рыбака с половиной сети, сдавленных половиной корабля в половине малинового океана. Фриз не имеет никакого отношения к сюжету, но, честно говоря, он меня завораживает. Я мог бы продолжать и дальше, если бы мое внимание не привлек один из двух находящихся в комнате объектов: голубая фаянсовая ванна. Эта ванна – с характером. Не одна из этих новых, напоминающих гоночные яхты, а приземистая, широкая, с высокими бортами; кажется, что она изготовилась к прыжку, но внезапно передумала, вспомнив о недостаточной длине своих ножек, свыклась с окружением и покорилась своей голубой фаянсовой судьбе. Но из сварливости она никогда никому не позволяет вытянуть ноги, лежа в ней, – и тут мы плавно переходим к описанию второго находящегося в комнате объекта.

Это девушка, выглядящая естественным придатком ванны – над бортиком видны только ее голова, лебединая шея (у красавиц шея всегда «лебединая») и совсем чуть-чуть – плечо. В течение первых десяти минут пьесы все внимание публики поглощено вопросом, следует ли режиссер системе Станиславского, то есть действительно ли актриса без одежды или же публику пытаются обмануть?

Девушку зовут Жюли Мерви. То, как она сидит в ванной, позволяет заключить, что она невысокого роста и привыкла за собой ухаживать. Ее верхняя губа в улыбке чуть обнажает зубы, что делает ее похожей на пасхального кролика. Пройдет совсем немного времени, и ей исполнится двадцать.

А, вот еще что: высоко, справа от ванны, находится окно. Оно узкое, с широким подоконником, пропускает внутрь много света, но при этом эффективно противодействует всем желающим заглянуть в ванную комнату снаружи. Начинаете догадываться, что будет дальше?

По традиции, мы начнем с песни, но, поскольку изумленные вздохи публики практически заглушили начало, придется удовольствоваться лишь концом:

Жюли (*изящное «сопрано энтузастико»*).

Изящный парниша, вошедший в Чикаго,
Был Цезарь – он всех покорил!
Святоши, конечно, плевались; весталки
Плясали, что было сил.

Когда начинал зажигать нервный Нервий
Свой консульский блюз, контрабас
Мог мертвых поднять на танцпол. Все плясали
Императорский римский джаз!

(*Следует овация. Жюли скромно опускает глаза и пускает руками волны по поверхности воды, – то есть мы можем догадаться, что она это делает. Расположенная слева дверь открывается и входит одетая Лоис Мереи, с одеждой и полотенцем в руках. Лоис старше Жюли на год, они практически близнецы – даже голоса похожи, но стиль одежды и выражение лица выдают ее консерватизм. Ну да, вы угадали. Старая добрая комедия ошибок.*)

Л**оис** (*вздрагивая*). Ой, прости. Думала, тут никого нет.
Жюли. Привет! А я тут решила дать небольшой концерт…
Л**оис** (*перебивая*). Почему ты не закрыла дверь?
Жюли. А я не закрыла?
Л**оис.** Конечно нет. Ты думаешь, я прошла сквозь нее?
Жюли. Я думала, что ты ее взломала, дорогая.
Л**оис.** Ты такая легкомысленная…
Жюли. Нет. Я просто счастлива, как беззаботная бабочка, и даю маленький концерт.

Лоис (*строго*). Когда ты повзрослеешь?!

Жюли (*обводя розовой ручкой вокруг*). Видишь ли, звук отражается от стен. Вот почему петь в ванной так здорово. Создается потрясающий эффект! Что-нибудь на ваш выбор?

Лоис. Пожалуй. Доставьте мне удовольствие и покиньте ванну побыстрее.

Жюли (*задумчиво покачивая головой*). Даже не проси. Ибо сейчас здесь царствую я – Мисс Чистота!

Лоис. Что за шуточки?

Жюли. Сама Чистота находится перед тобой! Пожалуйста, только ничем не бросайся!

Лоис. Сколько ты еще тут будешь сидеть?

Жюли (*подумав*). Не меньше пятнадцати, но не больше двадцати пяти минут.

Лоис. Может, тебе хватит и десяти?

Жюли (*как бы погрузившись в воспоминания*). О, Мисс Чистота, помнишь ли ты, как в один из морозных январских дней – когда вода нагревается так медленно! – в прошлом году некая Жюли, знаменитая своей улыбкой пасхального кролика, собираясь на свидание, наполнила ванну для себя, бедняжки, но тут как раз подоспела ее злая сестра и погрузилась в эту ванну, и юной Жюли не оставалось ничего, кроме как заменить свое омовение втиранием кольд-крема, что является непомерно дорогим и чертовски сложным способом поддержания тела в чистоте?

Лоис (*раздраженно*). Так ты не поторопишься?

Жюли. С чего бы это?

Лоис. У меня свидание.

Жюли. Дома?

Лоис. Не твое дело.

(*Жюли пожимает плечами, что, наверное, создает рябь на воде.*)

Жюли. Ну что ж…

Лоис. О господи, да! Свидание почти что дома.

Жюли. Почти?

Лоис. Он не зайдет. Встречаемся у дверей и идем гулять.

Жюли (*подняв брови*). Ситуация проясняется. Начитанный мистер Калкинс! Кажется, ты обещала маме не приглашать его.

Лоис (*безнадежно*). Идиотизм. Он внушает ей отвращение, потому что только что развелся. Конечно же, у нее больше опыта, но…

Жюли (*глубокомысленно*). Не позволяй ей обращаться с тобой, как с ребенком! В мире нет ничего дешевле опыта. Его полно у всех стариков.

Лоис. Он мне нравится. Мы говорим о литературе.

Жюли. А, так вот почему последнее время по всему дому разбросаны эти тяжелые книги.

Лоис. Он дает их мне почитать.

Жюли. Да, тебе приходится играть по его правилам. С волками жить – по волчьи выть! А я завязала с книгами. Я и так образованна.

Лоис. Как ты непостоянна! Все прошлое лето ты читала каждый день.

Жюли. Если бы я была постоянна, я бы все еще питалась теплым молочком из бутылочки.

Лоис. Да, а бутылочка, скорее всего, была бы моя… А мне нравится мистер Калкинс!

Жюли. Я с ним не знакома.

Лоис. Ладно, так ты поторопишься?

Жюли. Да. (*Пауза.*) Когда вода остынет, я добавлю горячей.

Лоис (*с сарказмом*). Да что ты говоришь?

Жюли. Помнишь, как мы играли в «горки»?

Лоис. Да, в десять лет. До сих пор удивляюсь, что ты уже не играешь.

Жюли. Играю. Как раз решила начать.

Лоис. Глупая игра.

Жюли (*с теплотой*). Вовсе нет. Успокаивает нервы. Спорим, ты не помнишь правила?

Лоис (*решительно*). Нет, помню. Надо… Надо заполнить всю ванну мыльной пеной, а потом сесть на край и съехать!

Жюли (*с презрением качая головой*). Ха! И все? Съехать надо, не касаясь руками и ногами…

Лоис (*раздраженно*). О господи! Ну чем я провинилась?! Сделай так, чтобы мы перестали ездить сюда каждое лето, или сделай так, чтобы здесь был дом с двумя ваннами!

Жюли. Можешь купить себе тазик, или воспользуйся шлангом…

Лоис. Замолчи!

Жюли (*не реагируя на грубость*). Оставь полотенце.

Лоис. Что?

Жюли. Оставь мне полотенце, когда будешь выходить.

Лоис. Это полотенце?

Жюли (*сама невинность*). Да, я забыла свое полотенце.

Лоис (*впервые внимательно осмотревшись*). Ты что, с ума сошла? Ты даже халат не взяла!

Жюли (*также осмотревшись*). Кажется, да…

Лоис (*с подозрением*). Как ты сюда попала?

Жюли (*хихикая*). Кажется, я… Кажется, я впорхнула. Представь себе, белое нечто вспорхнуло по лестнице, и…

Лоис (*шокирована*). Маленькая ведьма! Ни стыда ни совести!

Жюли. И того, и другого в избытке. Думаю, это понятно даже тебе. Я отлично выглядела. В своем естественном виде я весьма миловидна.

Лоис. Ты…

Жюли (*думая вслух*). Люди не должны носить одежду. Мне нужно было родиться среди язычников или каких-нибудь туземцев.

Лоис. Ты…

Жюли. Вчера мне приснилось, как какой-то ребенок принес на воскресную проповедь магнит, который притягивал одежду. И все, конечно же, остались без одежды; все почувствовали себя ужасно; люди плакали, бились в истерике и тому подобное, как будто впервые увидели свои шкуры. И только я не почувствовала ничего особенного – мне стало весело. И мне пришлось ходить с тарелкой для пожертвований, потому что больше было некому.

Лоис (*притворившись, что ничего не слышала*). Ты хочешь сказать, что, если бы я не пришла, ты побежала бы к себе в комнату го… неодетая?!

Жюли. «Au naturel» звучит более красиво.

Лоис. А если бы кто-то был в гостиной?

Жюли. Там никогда никого нет.

Лоис. Никогда?! Наказанье господне! Да сколько…

Жюли. Кстати, обычно на мне полотенце.

Л**оис** (*совершенно пораженная*). Боже! Надо было тебя почаще шлепать; хорошо бы, чтобы ты попалась! Хорошо бы, чтобы к твоему выходу в гостиной оказалась дюжина министров с женами и дочерьми!

Жюли. Они не поместятся в гостиной, – отвечала Чистюля Кэт с Прачка-роуд.

Л**оис.** Отлично. Ты же сама решила… принять ванну; вот и лежи.

(*Лоис поворачивается, чтобы уйти.*)

Жюли (*с тревогой*). Эй! Эй! Халат мне не нужен, но полотенце необходимо. Я не умею вытираться куском мыла и мочалкой!

Л**оис** (*твердо*). Я не буду тебе потакать. Вытирайся как хочешь. Можешь поваляться на полу, как дикие животные, которые не носят одежду.

Жюли (*вновь обретя уверенность*). Хорошо. Ну и уходи!

Л**оис** (*заносчиво*). Ха!

(*Жюли включает холодную воду* и, *зажав пальцем кран, направляет параболический фонтан воды на Лоис. Лоис спешно удаляется, хлопнув дверью. Жюли смеется и выключает воду.*)

Жюли (*поет*).

Когда встречаются они
В вагоне трассы Санта-Фе,
В воротничке «Арроу» он,
Она – его мечта с обложки,
Ее улыбка «Пебеко»
И платье от «Люсиль»
Ди-дам, да-ди-дум… это было…

(*Она переходит на свист и вытягивается вперед, чтобы включить краны, но неожиданно слышатся три громких глухих удара по трубам. Пауза. Она говорит в кран, как будто это телефон.*)

Жюли. Алло! (*Нет ответа.*) Вы водопроводчик? (*Нет ответа.*) Вы из водоснабжения? (*Один громкий глухой удар.*) Что вам угодно? (*Нет ответа.*) Вы, наверное, привидение, правда? (*Нет ответа.*) Тогда прекратите стучать. (*Она вытягивает руку и поворачивает кран с горячей водой. Вода не течет. Она снова начинает говорить в кран.*) Если вы водопроводчик, то это глупая шутка. Быстро включите обратно! (*Два громких глухих удара.*) Прекратите! Мне нужна вода! Вода, вы слышите, вода!

(*В окне появляется голова Молодого человека – голова украшена тоненькими усиками и парой симпатичных глаз. Последние пытаются что-нибудь увидеть и, несмотря на то что не видят ничего, кроме рыбаков с сетями и малиновых океанов, заставляют своего обладателя заговорить.*)

Молодой человек. Кому-то стало дурно?

Жюли (*вздрагивая и немедленно навострив ушки*). Кошка прыгнула!

Молодой человек (с *участием*). При обмороке вода – не лучший вариант.

Жюли. Обморок? Кто говорил про обморок?

Молодой человек. Вы сказали что-то про прыгающих кошек.

Жюли (*уверенно*). Я не говорила!

Молодой человек. Ладно, обсудим это позже. Вы готовы к выходу? Или все еще думаете, что, как только мы с вами выйдем на улицу, все тут же станут шептаться?

Жюли (*улыбаясь*). Шептаться! Как же! Если бы только «шептаться»… Это будет скандал!

Молодой человек. Ну, вы несколько преувеличиваете. Ваша родня, возможно, будет недовольна, – не знающим жизни все кажется недостаточно чистым. Все остальные вряд ли даже обратят внимание, разве что какие-нибудь старухи. Выходите.

Жюли. Вы даже не знаете, о чем просите.

Молодой человек. Думаете, за нами сразу побежит толпа?

Жюли. Толпа? Да из Нью-Йорка пустят специальный поезд с вагоном-рестораном!

Молодой человек. Простите, в вашем доме, кажется, идет уборка?

Жюли. Почему?

Молодой человек. Я вижу, на стенах нет картин.

Жюли. А-а-а, в этой комнате мы не вешаем картины.

Молодой человек. Странно. Никогда не слышал о комнате без картин, или хотя бы гобеленов, или хоть каких-нибудь там украшений…

Жюли. Да здесь даже мебели нет.

Молодой человек. Какой странный дом!

Жюли. Все зависит от угла зрения.

Молодой человек (*сентиментально*). Мне нравится говорить с вами так, когда нет ничего, кроме голоса. Я даже рад, что не вижу вас.

Жюли (*с признательностью*). И я тоже.

Молодой человек. В чем вы?

Жюли (*критически осмотрев свои плечи*). Ну, скажем так, в светло-розовом.

Молодой человек. Он вам идет?

Жюли. Очень. Я уже привыкла. Давно ношу.

Молодой человек. Мне казалось, что вы не терпите старой одежды.

Жюли. Да – но это был подарок на день рождения, и я просто вынуждена его носить.

Молодой человек. Светло-розовый. Бьюсь об заклад, это божественно. Хорошо сидит?

Жюли. Весьма. Очень простая, стандартная модель.

Молодой человек. Какой у вас голос! Какое эхо! Иногда я закрываю глаза и мне кажется, что вы – на далеком необитаемом острове, зовете меня. И я стремительно плыву к вам в волнах, слыша ваш зов, а вы стоите, и вода стекает с вашего тела…

(*С края ванны соскальзывает мыло и плюхается в воду. Молодой человек моргает.*)

Молодой человек. Что это было? Мне показалось?

Жюли. Да. Вы… Вы поэт, не правда ли?

Молодой человек (*все еще во власти грез*). Нет. Я пишу прозу. Стихи я пишу, только если в душе у меня буря…

Жюли (*в сторону*). В стакане воды…

Молодой человек. Я люблю поэзию. Я до сих пор помню наизусть первое прочитанное мной стихотворение. Оно называлось «Евангелина».

Жюли. Вранье.

Молодой человек. Разве я сказал «Евангелина»? Я имел в виду «Скелет в доспехах».

Жюли. Хоть я и не интеллектуалка, но тоже помню свое первое стихотворение. В нем всего одно четверостишие:

Дэвид и Паркер
Пытались однажды
На зуб попробовать
Доллар бумажный.

Молодой человек (*пылко*). Вам всегда нравилась литература?

Жюли. Если она не слишком древняя, или не чересчур умная, или не чересчур мрачная. Так же, как и люди. Мне обычно все нравятся, если только они не древние, не чересчур умные и не нагоняют тоску.

Молодой человек. Конечно же, я ведь тоже очень много читал. Вчера вы мне сказали, что вам нравится Вальтер Скотт.

Жюли (*задумавшись*). Скотт? Подождите… Да, я читала «Айвенго» и «Последнего из могикан».

Молодой человек. Это написал Купер.

Жюли (*сердито*). «Айвенго»? Вы с ума сошли! Уж наверное я знаю! Я ее читала!

Молодой человек. «Последнего из могикан» написал Купер.

Жюли. Какая разница! Мне нравится О. Генри. Не понимаю, как ему вообще удалось что-то написать. Ведь все рассказы он писал в тюрьме. «Балладу о Ридин Готе» он придумал в тюрьме.

Молодой человек (*закусив губу*). Да, литература. О, литература! Как много она для меня значила!

Жюли. Ну что ж, как сказала Гэби Дэслис мистеру Бергсону, для нас – с моей внешностью и вашими мозгами – нет ничего невозможного.

Молодой человек (*рассмеявшись*). С вами трудно ладить. Сегодня вы прямо ужасно милая, а завтра вы будете нестерпимо капризны. Если бы я не понимал ваш характер так хорошо…

Жюли (*раздраженно*). А, так вы – один из этих психологов-любителей, да? Раскусываете людей за пять минут, а затем надеваете умную мину, как только о них заходит разговор. Ненавижу это.

Молодой человек. Я не хвастаюсь, что раскусил вас. Признаюсь, вы для меня – загадка.

Жюли. За всю историю в мире было лишь два настоящих человека-загадки.

Молодой человек. Кто же это?

Жюли. «Железная Маска» и тот, кто говорит «ту-ту-туу-туу-туу», когда телефонная станция занята.

Молодой человек. Вы загадочны. Я люблю вас. Вы прекрасны, умны и добродетельны, а это редчайшее сочетание.

Жюли. Вы историк? Расскажите мне, упоминаются ли в истории ванны? Мне кажется, что о них несправедливо умалчивают.

Молодой человек. Ванны? Постойте-ка. Да, Агамемнона утопили в ванне. И Шарлотта Корде заколола Марата в ванне.

Жюли (*вздохнув*). Седая старина! Ничто не ново на этом свете, правда? Наш дед-священник на прошлом журфиксе заявил, что оркестр «галимый», а потом выяснилось, что ему понравилось и это так в старину хвалили!

Молодой человек. Я презираю все эти модные танцы. О, Лоис, я жажду видеть тебя. Подойди к окну.

(*Раздается громкий удар по водопроводной трубе, из открытых кранов неожиданно начинает течь вода. Жюли быстро закрывает краны.*)

Молодой человек (*озадаченно*). Боже, что это?

Жюли (*невинно*). Мне тоже что-то послышалось.

Молодой человек. Похоже на звук воды.

Жюли. Правда? Как странно… Правда, тут есть аквариум с золотой рыбкой…

Молодой человек (*все еще озадаченно*). А что это был за шум?

Жюли. Одна из рыбок щелкнула своими золотыми зубками.

Молодой человек (с *внезапной решимостью*). Лоис, я люблю тебя. Я не светский человек, я привык сразу убивать…

Жюли (*с интересом*). Очаровательно.

Молодой человек... убивать сомнения. Лоис, я хочу тебя.

Жюли (*со скепсисом*). Хм… Что ты действительно хочешь, так это чтобы все вокруг стали по стойке «смирно» до тех пор, пока ты не скажешь «Вольно!»

Молодой человек. Лоис, я… Я…

(*Он замолкает, так как в это время открывается дверь и входит Лоис. Она хлопает дверью, сварливо глядя на Жюли, и вдруг замечает молодого человека в окне.*)

Лоис (*в ужасе*). Мистер Калкинс!

Молодой человек (*удивленно*). Но ведь вы сказали, что на вас светло-розовый!

(*С отчаянием во взгляде Лоис вскрикивает, всплескивает руками и оседает на пол.*)

Молодой человек (*потрясенно*). О боже! Ей дурно! Подождите, я уже иду к вам!

(*Взгляд Жюли останавливается на полотенце, выпавшем из бессильной руки Лоис.*)

Жюли. Ну тогда и мне уже пора… куда-нибудь подальше от вас.

(*Чтобы встать, она берется руками за бортики ванны; в публике поднимается легкий шум, слышатся судорожные вздохи и приглушенные вскрики. Но на сцене, как у Беласко, мгновенно наступает тьма.*)

ЗАНАВЕС

Огромный, как «Ритц», алмаз

I

Семья Джона Т. Ангера вот уже несколько поколений была хорошо известна в Аиде – небольшом городке на реке Миссисипи. Отец Джона в жарких состязаниях среди любителей много лет удерживал кубок чемпиона по гольфу; миссис Ангер, как говорили люди, была «широко известна в широких и узких кругах» благодаря своим политическим выступлениям; юный же Джон Т. Ангер, которому только что исполнилось шестнадцать, танцевал все новейшие нью-йоркские танцы задолго до того, как впервые надел свои первые «взрослые» брюки. И вот теперь ему предстояло на время покинуть дом. Его родители не смогли избежать воздействия типичной отравы, ежегодно уносящей из провинции самую перспективную молодежь: ими овладело известное почтение к школам Новой Англии. Для их обожаемого и талантливого сына Аид был слишком мал, и учиться ему подобало лишь в подготовительной школе имени Святого Мидаса, невдалеке от Бостона – и только там!

Сегодня в Аиде – как вы уже, наверное, знаете, если бывали там – названия самых модных подготовительных школ и колледжей уже никому ничего не говорят. Жители городка столь долго были оторваны от внешнего мира, что давным-давно питаются лишь слухами, хотя и стараются демонстрировать новейшие тенденции в одежде, манерах и выборе книг; так что любой прием, который в Аиде сочтут «оригинальным», какая-нибудь дочка чикагского «мясного короля», без сомнения, сочтет «типичным мещанством».

Джон Т. Ангер должен был вот-вот уехать. Миссис Ангер, с материнской глупостью, набила его чемоданы костюмами в полосочку и электрическими вентиляторами, а мистер Ангер преподнес сыну несгораемый бумажник, набитый деньгами.

– Помни: тебе здесь всегда будут рады, – сказал он. – Не сомневайся, мальчик мой, что наш очаг будет гореть всегда!

– Знаю, – хрипло ответил Джон.

– Не забывай, кто ты и откуда, – с гордостью продолжал отец, – и тогда, чтобы ты ни делал, ничто не сможет тебе повредить! Ведь ты – Ангер из Аида!

На этом старик и юноша пожали друг другу руки, и Джон удалился со слезами на глазах. Спустя десять минут он миновал городскую черту и остановился, чтобы напоследок оглянуться. Начертанный над вратами старомодный викторианский девиз вдруг показался ему таким милым! Отец не раз пытался сменить вывеску на что-то более энергичное и зажигательное, вроде «Аид – это твой шанс!», или же на банальное «Добро пожаловать!», которое можно было бы начертать на фоне сердечного рукопожатия и подсветить электричеством. Старая надпись была немного мрачновата, всегда считал мистер Ангер – но сейчас…

Тут Джон взял себя в руки и решительно обратил свой взор навстречу судьбе. Когда он развернулся, огни Аида на фоне неба стали казаться исполненными горячей и неистовой красоты.

Школа имени Святого Мидаса находится в получасе езды на авто «роллс-пирс» от Бостона. Расстояние в других единицах так и останется неизвестным, поскольку никто, кроме Джона Т. Ангера, не прибывал туда иначе, чем в авто «роллс-пирс», а теперь уже, наверное, и не прибудет. Школа имени Святого Мидаса – это самая дорогая и самая эксклюзивная в мире подготовительная школа для мальчиков.

Первые два года в школе прошли для Джона приятно. Отцы всех мальчиков были богачами, так что летние каникулы Джон проводил в гостях на модных курортах. И хотя ему нравились все ребята, приглашавшие его в гости, их отцы поражали его тем, что все были слеплены будто из одного теста, и он по-детски удивлялся такой поразительной схожести. Когда он рассказывал, откуда он родом, они всегда весело спрашивали: «Жарковато там, внизу, а?», и Джону приходилось выдавливать из себя улыбку и отвечать: «Да, точно». Его ответ звучал бы более сердечно, если бы эту шутку повторяли не все поголовно, лишь иногда варьируя ее, например, с «Не холодно там, у вас внизу?», что он точно так же ненавидел.

В середине второго школьного года в классе Джона появился тихий симпатичный мальчик по имени Перси Вашингтон. Новичок отличался приятными манерами и исключительно хорошо – даже для школы Святого Мидаса! – одевался, однако по каким-то причинам держался в стороне от остальных ребят. Единственным, с кем он близко сошелся, был Джон Т. Ангер, но даже с Джоном он никогда не разговаривал о своем доме и семье. То, что он был богат, было понятно и так – однако, за исключением нескольких подобных умозаключений, Джон очень мало знал о своем друге, так что его любопытство сильно разыгралось, когда Перси пригласил его провести лето у него дома, «на Западе». Он не колеблясь принял приглашение.

Лишь в поезде Перси впервые разговорился. Как-то раз они сидели за завтраком в вагоне-ресторане и обсуждали несовершенства характеров некоторых мальчиков из школы, и вдруг Перси сменил тон и уверенно произнес:

– Мой отец – самый богатый человек в мире.

– М-м-м, да, – вежливо промычал Джон.

Он не знал, что можно сказать в ответ на такое признание. Он хотел было сказать: «Прекрасно!», но это прозвучало бы несерьезно, и он уже почти сказал: «Неужели?», но сдержался, поскольку Перси мог бы подумать, что его слова вызывают сомнения. Такое поразительное утверждение едва ли можно было подвергать сомнению!

– Самый богатый, – повторил Перси.

– Я читал в альманахе «Кто есть кто», – начал Джон, – что в Америке есть один человек с доходом более пяти миллионов долларов в год, еще четверо получают более трех миллионов за год, а…

– Да, ничего особенного… – Перси презрительно скривил губы. – Прижимистые капиталистики, финансовая мелкота, мелкие лавочники и ростовщики! Мой папа может их всех скупить, не заметив.

– Но каким образом он…

– Почему о его доходах никто не пишет? Да потому, что он не платит налогов! Точнее, платит, но немного – никто не знает о его настоящем доходе.

– Он, должно быть, очень богат, – просто сказал Джон. – Это хорошо. Мне нравятся очень богатые люди. Чем человек богаче, тем больше он мне нравится. – На его смуглом лице можно было прочесть, что он говорит чистую правду. – На пасхальных каникулах я был в

гостях у Шницель-Мерфи. У Вивиан Шницель-Мерфи есть бриллианты размером с куриное яйцо и сапфиры, похожие на шары с огоньками внутри…

– Я люблю драгоценные камни, – с энтузиазмом откликнулся Перси. – Само собой, мне бы не хотелось, чтобы в школе об этом кто-нибудь знал, но у меня есть очень хорошая коллекция. Я собирал их вместо марок.

– А бриллианты! – нетерпеливо продолжил Джон. – У Шницель-Мерфи есть бриллианты размером с каштан…

– Подумаешь! – Перси подался вперед и сказал очень тихо, почти шепотом: – Это ерунда. У моего отца есть бриллиант огромный, как отель «Ритц-Карлтон»!

II

В Монтане солнце садилось между двумя горными пиками, напоминая гигантский синяк, от которого по отравленному небу расходились наполненные кровью артерии. На громадном расстоянии от этого неба прижалась к земле маленькая, унылая и всеми забытая деревушка Фиш. И жили в деревушке Фиш, как говорят, двенадцать человек – двенадцать унылых и непостижимых душ, вскормленных постным молоком с практически голых, в буквальном смысле, камней, на которых таинственная плодотворная сила их породила. И стали они особой расой, эти двенадцать жителей деревушки Фиш, подобно тем видам, которые появились на заре истории по капризу природы, затем передумавшей и оставившей их самих по себе бороться и вымирать.

Из далекого сине-черного синяка на скорбную землю протянулась длинная цепочка движущихся огней, и двенадцать жителей деревушки Фиш, подобно духам, собрались возле похожего на лачугу здания станции, чтобы поглядеть на проходящий семичасовой трансконтинентальный экспресс из Чикаго. Раз шесть за год

трансконтинентальный экспресс, подчиняясь какому-то неведомому закону, останавливался в деревушке Фиш. Когда это случалось, из поезда возникала одна или несколько фигур, которые усаживались в легкую коляску, всегда появлявшуюся невесть откуда на закате, и отбывали в сторону багрового заходящего солнца. Наблюдение данного непонятного и нелепого явления стало для жителей деревушки Фиш чем-то вроде культа. Они могли лишь наблюдать, – в них не осталось никаких человечьих иллюзий, которые позволили бы им удивиться или помечтать, иначе таинственные посещения могли бы породить религию. Но людям деревни Фиш религия была неведома: даже самые примитивные и дикие догматы христианства не смогли бы найти опоры на этих бесплодных скалах. Поэтому здесь не было ни алтаря, ни священника, ни жертвы, лишь каждый вечер в семь часов молчаливая паства собиралась у похожего на лачугу здания станции и с бесцветным, малокровным трепетом возносила молитву.

В этот июньский вечер Великий Кондуктор – которого, если бы они могли кого-нибудь обожествлять, они бы точно выбрали в качестве своего небесного патрона – предопределил, что семичасовой поезд оставит свой человеческий (или нечеловеческий) груз в деревушке Фиш. В две минуты восьмого Перси Вашингтон и Джон Т. Ангер сошли на платформу, торопливо миновали двенадцать разинувших рты, ошеломленных и робких жителей деревушки Фиш, уселись в невесть откуда появившуюся легкую коляску и уехали.

Через полчаса, когда сумерки сгустились до темноты, молчаливый негр, правивший коляской, окликнул что-то большое и темное где-то впереди, во мраке. В ответ на его окрик на них из непроницаемой ночи уставился светящийся диск, похожий на зловещий глаз. Подъехав поближе, Джон разглядел, что это была задняя фара громадного автомобиля – гораздо больше и великолепнее, чем все другие автомобили, виденные им до сих пор. Кузов был из какого-то отражающего свет металла, темнее никеля и светлее серебра, а ступицы колес усеивали переливающиеся зеленые и желтые геометрические фигурки – Джон даже не стал гадать, были ли то стекляшки или же драгоценные камни.

Двое негров в сверкающих ливреях вроде тех, которые обычно изображают на английских картинках с королевскими процессиями, застыли по стойке смирно у машины. Когда двое ребят вышли из

коляски, раздалось приветствие; язык гостю был непонятен, но чем-то напоминал самые причудливые формы негритянских диалектов южных штатов.

– Залезай, – сказал Перси другу, пока их чемоданы перебрасывали на черную, как смоль, крышу лимузина. – Прошу прощения, что пришлось ехать так далеко в этой коляске, но людям в поезде и этим бедолагам из деревушки совсем не нужно видеть этот автомобиль.

– Черт возьми! Вот это машина! – Восклицание было вызвано видом внутренней отделки.

Джон разглядел, что обивка состояла из тысяч маленьких и изысканных шелковых гобеленчиков, перемежавшихся бриллиантами и украшениями, и все это располагалось на подложке из золотой парчи. Два глубоких кресла, в которых с удобством расположились ребята, были отделаны какой-то материей, напоминавшей блестящий бархат, но с вплетенными в него кончиками страусиных перьев бесчисленных расцветок.

– Вот это машина! – снова воскликнул изумленный Джон.

– Вот эта? – рассмеялся Перси. – Да это же просто старый рыдван, на котором мы ездим до станции!

К этому моменту они уже плавно двигались в темноте, в направлении просвета между двумя горами.

– Мы будем на месте часа через полтора, – сказал Перси, взглянув на часы. – Могу тебе также сказать, что ничего подобного ты еще в жизни не видел!

Если по машине можно было судить о том, что ему предстояло увидеть, Джон действительно был готов изумиться по-настоящему. Простые добродетели, господствующие в Аиде, включают искреннее поклонение богатству и должное уважение к богачам в качестве первой заповеди символа веры, и, если бы Джон чувствовал по отношению к ним что-либо, кроме всепоглощающего почтения, даже его родители отвернулись бы в ужасе от святотатца.

Они достигли цели и теперь въезжали в просвет между двумя горами; дорога утратила ровность.

– Если бы сюда светила луна, ты бы заметил, что мы в глубоком ущелье, – сказал Перси, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за окном.

Он произнес несколько слов в переговорную трубку, и лакей тут же включил прожектор, выхвативший из мрака мощным лучом склоны

гор.

– Видишь? Сплошные камни. Обычная машина развалилась бы здесь за полчаса. Здесь только на танке можно проехать, если не знаешь дороги. Как видишь, теперь мы направляемся к вершине.

Они действительно поднимались все выше и выше, и через несколько минут машина миновала высокий перевал, где на мгновение показалась взошедшая вдали тусклая луна. Машина неожиданно остановилась, из окружающей темноты появилось несколько фигур – тоже негры. Юношей снова поприветствовали на том же едва понятном диалекте; затем негры принялись за работу, и четыре огромных троса, свисавших сверху, были зацеплены с помощью крюков к ступицам огромных драгоценных колес. Эхом отдалось «И-и-и р-раз!», и Джон почувствовал, как машина медленно отрывается от земли, поднимаясь все выше и выше – вот она уже над вершинами скал, затем еще выше, – и вот уже перед ним расстилается холмистая долина, залитая лунным светом и резко контрастирующая с только что пройденной каменистой трясиной. Скала была теперь лишь с одной стороны, а затем вдруг скалы вовсе кончились, их не было ни рядом с ними, ни вообще нигде.

Стало понятно, что они перевалили через огромный скалистый утес, отвесно вытянувшийся вверх. Через мгновение они уже снова опускались вниз и наконец с мягким глухим ударом вновь оказались на ровной земле.

– Самое худшее позади, – сказал Перси, покосившись в окно. – Нам осталось всего лишь пять миль, а поедем мы по нашей собственной дороге – сплошной первосортный кирпич! Тут уже все наше. Здесь уже не Соединенные Штаты, как говорит отец.

– Мы в Канаде?

– Нет. Мы посреди Скалистых гор. Но ты сейчас находишься на единственных пяти квадратных милях земли, которых никогда не было на картах.

– А почему не было? Забыли?

– Да нет, – широко улыбнулся Перси, – три раза пытались нас замежевать. В первый раз мой дедушка подкупил целый департамент Государственной топографической службы; во второй раз он заставил их подправить все официальные карты Соединенных Штатов – это удержало их еще на пятнадцать лет. В последний раз было сложнее.

Отец устроил так, что их компасы попали в сильнейшее магнитное поле – самое сильное искусственное поле в мире. Он приказал изготовить полный набор топографических инструментов с небольшим дефектом, который позволил этому участку земли остаться необнаруженным, и подменил ими все инструменты, которые должны были использоваться. Затем он повернул реку и выстроил на ее берегах целую деревню, – они ее увидели и подумали, что это городок в десяти милях дальше по долине. Есть лишь одно, чего боится мой отец, – закончил он, – лишь одна вещь во всем мире могла бы помочь нас найти!

– И что же это?

Перси ответил шепотом.

– Аэропланы, – едва слышно произнес он. – У нас есть полдюжины зенитных пушек, и до сих пор мы справлялись – было, правда, нескольких смертей и еще больше пленных. Видишь ли, не то чтобы мы с отцом сильно переживаем, но это портит настроение маме и сестрам, и к тому же всегда есть риск, что однажды мы не справимся.

Шиншилловые лоскутки и клочки – облака лишь по названию – проплывали по небесам мимо молодой луны, подобно драгоценным восточным тканям, выкладываемым перед взором некоего татарского хана. Джону казалось, что наступил день, и он видит, как в воздухе над ним проплывают юноши, разбрасывая рекламные брошюрки и проспекты какого-то патентованного средства, несущие весть надежды отчаявшимся жителям селений, зажатых между скал. Ему казалось, что он видит, как они выглядывают из-за облаков и смотрят вниз, просто смотрят на то, что находится там, куда направляется он… И что же? Заставит ли их опуститься на землю некий хитроумный аппарат, чтобы замуровать их там до самого Судного дня, вдали от патентованных средств и брошюр? Или же, не попади они в ловушку, появится облачко дыма, раздастся отрывистая очередь оглушительных выстрелов, и падут они на землю, и «испортят настроение» матери и сестрам Перси? Джон покачал головой, и с его приоткрытых губ слетел едва слышный глуповатый смешок. Что за безумная сделка таилась в этом ущелье? Какое средство позволило безумному Крезу договориться с моралью? Что за ужасная, сияющая золотом тайна?

Шиншилловые облака уплыли, и в окутанных ночью горах Монтаны стало светло, как днем. Они огибали спокойное, залитое

лунным светом озеро, и поступь огромных шин по вымощенной кирпичом дороге была гладкой; на мгновение, когда они попали под сень ароматной и прохладной сосновой рощи, вновь воцарилась тьма, а затем они выехали на широкую лужайку, и радостное восклицание Джона раздалось одновременно с коротким «Вот мы и дома!» Перси.

На берегу озера, в свете звезд, возвышалась роскошная вилла; ее мраморное великолепие поднималось до половины примыкающей горы, а затем, в совершенной симметрии, грациозно, с едва заметной дамской робостью, растворялось в густой тьме соснового леса. Душа Джона, как камертон, зазвучала при виде множества башен, ажурного каменного узора покатых балюстрад, точеного чуда тысяч золотистых светящихся прямоугольников, шестигранников и треугольников желтых окон, рассеянной мягкости перемежающихся плоскостей, голубых и сияющих, как звезды. На верхушке одной из башен – самой высокой, самой темной у основания – была установлена подсветка, отчего здание казалось плывущим в волшебной стране, и, глядя вверх, зачарованный Джон услышал ни на что не похожий тихий звук скрипичных мелизмов, спускавшийся вниз в вычурной гармонии. Через мгновение машина остановилась перед широкими высокими мраморными ступенями, и с лужайки донеслось благоухание множества цветов. На верхней площадке лестницы тихо открылись две огромные двери, и янтарный свет выплеснулся во мрак, очертив изысканный дамский силуэт; леди с темными волосами, уложенными в высокую прическу, протянула к ним руки.

– Мама, – сказал Перси, – это мой друг Джон Ангер, он из Аида.

Этот первый вечер остался в памяти Джона вихрем из множества красок, быстро сменяющих друг друга ощущений, тихой, будто любовный шепот, музыки и прекрасных вещей, света и теней, движений и лиц. Седовласый мужчина, пивший стоя многоцветный ликер из хрустальной рюмки с золотой ножкой. Девушка с лицом, будто цветок, одетая, как Титания, с вплетенными в волосы сапфирами. Комната, в которой цельное мягкое золото стен подавалось под нажимом его руки, и комната, воплощавшая идеальное представление абсолютной призмы: потолок, пол и все остальное, все было покрыто непрерывной массой алмазов, подсвеченных высокими фиолетовыми торшерами по углам, алмазов всех возможных размеров и форм, белизна которых ослепляла и могла сравниться лишь с самой

собой, поскольку находилась за пределами человеческих желаний или грез.

Сквозь лабиринт этих комнат и прошли двое ребят. Иногда подсвеченный снизу, у них под ногами, пол вспыхивал бриллиантовыми узорами – то варварски дисгармоничными цветами, то пастельной нежностью, то абсолютной белизной, а то и искусной утонченной мозаикой, подобной тем, что лежат в мечетях у берегов Адриатики. Иногда под слоем толстого стекла виднелась бурлящая голубая или зеленая вода, в которой плавали проворные рыбки и водоросли с радужными листьями. А затем они шествовали по мехам всевозможных видов и оттенков или же по коридорам, отделанным бледной слоновой костью, сплошной, будто вся отделка была вырезана из цельного гигантского мастодонта, вымершего задолго до появления человека…

Затем – едва оставшийся в памяти переход, и вот они уже за ужином. Каждая тарелка состояла из двух почти незаметных слоев цельного алмаза, между которыми находилась искусно выполненная изумрудная филигрань, будто шитая зелеными нитями прямо из воздуха. Из далеких коридоров доносилась музыка, протяжная и ненавязчивая; его мягчайшее кресло точно повторяло форму его спины, и когда он выпил первый стакан портвейна, это кресло, казалось, поглотило и убаюкало его. Пытаясь перебороть сонливость, он ответил на заданный ему вопрос, но медовая нега, овладевшая его телом, лишь усиливала иллюзию, будто все это происходит не наяву: драгоценные камни, ткани, вина и металлы смешались в его сознании в сладкий туман.

– Да, – вежливо пересилив себя, ответил он, – у нас там внизу действительно жарко.

Он даже смог негромко рассмеяться; затем, без какого-либо движения, не чувствуя никакого сопротивления, он, как ему показалось, взмыл вверх и поплыл, оставив недоеденным мороженое, розовое, как мечта… Он уснул.

Проснувшись, он осознал, что прошло несколько часов. Стояла тишина; он находился в обширной комнате с черными, как смоль, стенами и приглушенным освещением – столь слабым и едва уловимым, что его никак нельзя было назвать светом. Над ним возвышался юный хозяин.

– Ты уснул за ужином, – сказал Перси. – Я тоже чуть не уснул – так приятно было после года в школе вновь почувствовать комфорт. Пока ты спал, слуги раздели и искупали тебя.

– Я на кровати – или это облако? – чуть слышно пробормотал Джон. – Перси, Перси! Подожди секунду. Я хотел бы извиниться.

– За что?

– За то, что не поверил тебе, когда ты сказал, что у тебя есть алмаз – огромный, как отель «Ритц-Карлтон».

Перси улыбнулся:

– Я знаю, что ты мне не поверил. Это ведь гора, понимаешь?

– Какая гора?

– Гора, на которой стоит вилла. Для горы она не так уж и велика. Однако, не считая пятидесяти футов земли и гравия на поверхности, она вся – сплошной алмаз. Цельный алмаз, одна кубическая миля, без изъянов. Да ты меня слушаешь? Эй!

Но Джон Т. Ангер уже снова спал.

III

Настало утро. Проснувшись, он сонно отметил, что комнату тут же залил плотный солнечный свет. Черные панели на одной из стен сдвинулись по невидимым рельсам, впуская в комнату день. Рядом с кроватью застыл высокий негр в белой форме.

– Добрый вечер, – пробормотал Джон, собирая вместе разбежавшиеся мысли.

– Доброе утро, сэр! Готовы принять ванну, сэр? Не нужно вставать – я перенесу вас, только расстегните пижаму, вот так. Благодарю вас, сэр.

Джон лежал, не двигаясь, пока с него снимали пижаму – это было забавно и приятно. Он подумал, что прислуживавший ему черный Гаргантюа сейчас поднимет его, как ребенка, однако ничего подобного

не произошло; вместо этого кровать медленно накренилась набок, и он покатился, немного испугавшись, к стене. Однако, когда он достиг стены, драпировка на ней раздвинулась, и, проскользнув вниз по пушистому скату еще пару ярдов, он мягко шлепнулся в теплую воду.

Он посмотрел вокруг. Дорожка или скат, по которому он прибыл, медленно свернулась обратно на место. Вытолкнули его в другое помещение, и он оказался в римской ванне, и лишь голова его торчала над уровнем пола. Все стены вокруг, а также стенки и дно самой ванны, представляли собой голубой аквариум, а через хрустальную поверхность, на которой он сидел, можно было видеть отделенных от него лишь слоем стекла рыбок, плававших среди янтарных огней и даже скользящих вблизи его вытянутых пальцев, будто не замечая их. Сверху, через стекло цвета морской волны, падал солнечный свет.

– Мне показалось, сэр, что вам сегодня подойдет теплая розовая вода с мыльной пеной, сэр. А после – прохладная морская вода.

Негр стоял рядом.

– Хорошо, – согласился Джон, глуповато улыбаясь, – как скажете.

Заказывать ванну в соответствии с его собственными скудными жизненными стандартами показалось ему верхом самодовольства и ничуть не отличной идеей.

Негр нажал кнопку, пошел теплый дождь – вроде бы сверху, но на самом деле, как обнаружил Джон чуть погодя, из установленного рядом фонтанчика. Вода приобрела бледно-розовый оттенок, и из четырех миниатюрных моржовых голов, стоявших по углам ванны, в нее хлынули струи жидкого мыла. Через мгновение дюжина маленьких лопастных колес, укрепленных по бокам, вспенили смесь в лучистую радугу розовой пены, мягко окутавшей его своей приятной легкостью, то тут, то там взрываясь сияющими розовыми пузырями.

– Не включить ли кинопроектор, сэр? – почтительно предложил негр. – Сегодня можно посмотреть комедийную фильму или, если прикажете, можно заменить на что-нибудь серьезное.

– Нет, благодарю вас, – вежливо, но твердо отказался Джон.

Он наслаждался ванной и не желал, чтобы его отвлекали. Но отвлечься пришлось. Мгновение спустя он уже напряженно вслушивался в доносившиеся снаружи звуки флейты, складывавшиеся в мелодию, подобную водопаду, прохладному и зеленому, как сама комната; затем вступила звонкая флейта-пикколо, и музыка стала

хрупкой, будто кружево мыльной пены, укрывавшей и нежившей его тело.

После живительно прохладной соленой и завершившей омовение пресной воды он вышел из ванны и вошел в пушистый халат; на покрытой таким же материалом кушетке в него втирали масло, спирт и травы. Потом он уселся в роскошное кресло, где его побрили и чуть подровняли ему челку.

– Мистер Перси ждет вас в гостиной, – произнес негр, когда все эти операции были закончены. – Мое имя Гигсум, сэр. Я буду прислуживать вам по утрам, мистер Ангер.

Джон вышел в залитую бодрящим солнечным светом гостиную, где его ждали завтрак и куривший в кресле Перси, которому очень шли белые домашние свободные брюки.

IV

Вот история семьи Вашингтонов, рассказанная Перси за завтраком.

Отец нынешнего мистера Вашингтона был родом из Вирджинии и происходил по прямой линии от Джорджа Вашингтона и лорда Балтимора. К концу Гражданской войны ему исполнилось двадцать пять, он дослужился до полковника, у него имелись разоренная плантация и около тысячи долларов золотом.

Фитц-Норман Калпеппер Вашингтон – именно так звали юного полковника – решил подарить поместье в Вирджинии своему младшему брату и податься на Запад. Он выбрал пару дюжин самых преданных чернокожих – которые, разумеется, боготворили его – и купил двадцать пять билетов на Запад, где он намеревался оформить на негров земельные участки и основать скотоводческое ранчо.

Он не провел в Монтане и месяца – а дело, разумеется, не ладилось – и вдруг совершил свое великое открытие. Выехав погулять, он заблудился среди холмов и, проведя день без пищи, сильно

проголодался. Ружья у него с собой не оказалось, так что пришлось ему бежать за белкой, и в процессе погони он заметил, что зверек держит в пасти что-то блестящее. У входа в нору – а эта белка не была назначена судьбой утолить его голод – зверек уронил свою ношу. Присев, чтобы решить, что же теперь делать, Фитц-Норман заметил что-то сверкающее в траве рядом с ним. Спустя десять секунд он потерял аппетит и приобрел сто тысяч долларов. Белка, отказавшись удовлетворить его настойчивое желание употребить ее в пищу, подарила ему крупный и чистый алмаз.

Поздно вечером он все-таки нашел обратную дорогу в лагерь, а спустя двенадцать часов все мужчины из числа его негров уже лихорадочно раскапывали горный склон у беличьей норы. Он сказал им, что нашел жилу прозрачного кварца, и поскольку даже малюсенькие алмазы раньше доводилось видеть лишь одному-двум из всех, ему поверили безо всяких сомнений. Когда ему стал ясен масштаб открытия, он оказался в затруднительном положении. Гора была алмазом, – она вся представляла собой цельный алмаз. Он набил четыре седельные сумки блестящими образцами и на лошади отправился в Сент-Пол. Там ему удалось сбыть полдюжины самых маленьких камней; когда он показал камень побольше, ювелир упал в обморок, а Фитц-Нормана арестовали за нарушение общественного порядка. Из полицейского участка он сбежал и на поезде добрался до Нью-Йорка, где продал несколько алмазов средних размеров, получив за них около двухсот тысяч долларов золотом. Но самые большие камни он не осмелился даже показать, – Нью-Йорк он покинул, по правде говоря, очень вовремя. Среди ювелиров начался ужасный ажиотаж – не столько из-за размеров его камней, сколько из-за их появления в городе из какого-то неизвестного источника. Разошлись самые дикие слухи: говорили, что алмазные шахты открыли в горах Катскил, на побережье Нью-Джерси, на Лонг-Айленде, под площадью Вашингтона. Пригородные поезда, забитые мужчинами с кирками и лопатами, ежечасно покидали Нью-Йорк, направляясь в различные близлежащие Эльдорадо. Но к этому времени Фитц-Норман уже направлялся обратно, в Монтану.

Спустя пару недель он уже знал, что спрятанный в горе алмаз был равен по массе всем остальным известным на земле запасам алмазов. Однако его нельзя было оценить обычным способом, потому что это

был один цельный алмаз, и выставление его на продажу привело бы не только к обвалу мирового рынка, но и к тому, что во всем мире не хватило бы золота, чтобы купить хотя бы десятую часть камня, ведь стоимость обычно зависит от величины и растет в арифметической прогрессии. Да и кому нужен алмаз такого размера?

Ситуация была неслыханной и тяжелой. С одной стороны, он был богатейшим человеком из всех, когда-либо живших, а с другой – да было ли у него хоть что-нибудь? Как только его секрет перестанет быть тайной, правительство пойдет на любые меры для предотвращения паники – не только на рынке золота, но и на рынке алмазов. Заявка на земельный участок будет немедленно аннулирована и будет учреждена специальная монополия.

Выбора не было: свою гору ему придется продавать в полной тайне. Он послал на Юг за своим младшим братом и поставил его во главе своих цветных последователей, – негры так никогда и не осознали, что рабство отменили. Чтобы у них не было никаких сомнений, он зачитал им собственноручно составленную прокламацию, в которой объявлялось, что генерал Форрест собрал воедино остатки разгромленных войск южан и одержал верх над северянами в генеральном сражении. Негры слепо ему поверили. Голосованием они одобрили победу и тут же устроили молитвенное собрание с песнями и танцами.

Сам же Фитц-Норман отправился за рубеж с сотней тысяч долларов и двумя чемоданами, набитыми необработанными алмазами различных размеров. Он отплыл в Россию в китайской джонке и спустя шесть месяцев после отъезда из Монтаны добрался до Санкт-Петербурга. Он снял неприметную квартирку и немедленно явился к царскому ювелиру, объявив, что у него есть алмаз, достойный лишь царя. В Санкт-Петербурге он прожил две недели, скрываясь от убийц, меняя квартиру за квартирой; из осторожности за две недели он навестил свои чемоданы лишь три-четыре раза.

Лишь ценой обещания вернуться через год с алмазами еще крупнее и чище ему удалось получить разрешение отбыть в Индию. А перед отъездом царское казначейство разместило в качестве задатка в американских банках сумму в пятнадцать миллионов долларов – на разные имена.

В Америку он вернулся в 1868 году, проведя за границей чуть более двух лет. Он посетил столицы двадцати двух стран и побывал у пяти императоров, одиннадцати королей, трех принцев, у шаха, у хана и у султана. К тому времени Фитц-Норман оценивал свое богатство в миллиард долларов. Его тайна сохранялась лишь благодаря одному обстоятельству: не проходило и недели с момента появления на публике любого из его крупных алмазов, а камень уже обрастал целым сонмом смертей, романов, революций и войн, которым он якобы служил причиной еще со времен первого царства Вавилонского.

С 1870-го и вплоть до смерти в 1900 году жизнь Фитц-Нормана Вашингтона представляла собой сплошную золотую сказку. Конечно, у сюжета были и ответвления: приходилось ускользать от топографической съемки; он женился на леди из Вирджинии, родившей ему единственного сына; в силу серии сложившихся обстоятельств ему пришлось организовать убийство брата, чья нехорошая привычка напиваться до состояния бессознательного отупения и болтать с первыми встречными неоднократно ставила под угрозу их безопасность. Но не так уж и много других убийств омрачило эти счастливые годы прогресса и развития.

Незадолго перед смертью он сменил свою деловую стратегию и накупил оптом на все деньги, за исключением нескольких миллионов долларов, редкие минералы, которые разместил в банковских ячейках по всему миру под видом антиквариата. Его сын, Брэддок Тарльтон Вашингтон, также продолжил следовать этой стратегии и даже увеличил ее масштаб. Минералы он перевел в самый редкий элемент, радий, и эквивалент миллиарда долларов в золоте стал умещаться в хранилище размером с коробку для сигар.

Спустя три года после смерти Фитц-Нормана его сын Брэддок решил, что дело пора закрывать. Сумма богатств, которые он и его отец смогли извлечь из горы, уже не поддавалась никакой оценке. Он вел зашифрованный гроссбух, в который заносил приблизительное количество радия в каждом из тысячи банков, куда он обращался, и псевдонимы, под которыми он был в этих банках известен. И он поступил очень просто: он закрыл шахту.

Он закрыл шахту. Того, что было из нее уже добыто, хватило бы на невероятно роскошную жизнь нескольким грядущим поколениям Вашингтонов. Теперь его единственной заботой стала защита секрета,

поскольку если секрет раскроется, то в сопутствующей этому панике он тоже будет низринут в пучину отчаянной бедности, как и весь остальной мир частных собственников.

Вот в какую семью приехал погостить Джон Т. Ангер, и вот какую историю он услышал в первое же утро по прибытии в гостиной с серебряными стенами.

V

После завтрака из огромного мраморного холла Джон вышел на улицу и с любопытством осмотрел открывшийся перед ним пейзаж. Над всей долиной, над открытым простором лужаек, озер и садов, от алмазной горы и до крутого гранитного утеса милях в пяти, еще нависала неподвижная дымка золотистого тумана. То здесь, то там купы вязов создавали ажурные тенистые рощицы, непривычно контрастируя с зелеными массивами сосновых лесов, до синевы крепко обхватывавших холмы. Едва бросив взгляд, Джон увидел, как в полумиле от него три олененка друг за другом протопали от одной изолированной группы деревьев к другой, исчезнув с неуклюжей веселостью в окантованном сумраком полумраке. Джон не удивился бы, увидев между деревьев козлоногого фавна со свирелью или заметив среди густой зеленой листвы мелькнувшее розовое тело и светлые волосы нимфы.

В ожидании чего-то необычного он спустился по мраморной лестнице, едва не разбудив пару дремавших у подножия шелковистых русских волкодавов, и отправился по неведомо куда ведущей дорожке, вымощенной белым и голубым кирпичом.

Он наслаждался жизнью на полную катушку. Счастье и одновременно несчастье молодости в том, что она никогда не живет настоящим, а всегда оценивает день, сравнивая его с собственным лучезарным воображаемым будущим: цветы и золото, женщины и

звезды – все это лишь прообразы и пророчества той несравненной и недостижимой юной мечты.

Джон обогнул рыхлую клумбу с густыми кустами роз, наполнявшими воздух тяжелым ароматом, и пошел напрямик через парк туда, где под деревьями виднелись пятна мха. Ему еще никогда не доводилось лежать на мху, и он захотел проверить, действительно ли это так приятно, как об этом рассказывают? И тут он увидел, что к нему по траве идет девушка. Он никогда не видел никого красивее!

На ней было короткое белое платье чуть ниже колен, а ее волосы украшал венок из резеды, в котором сверкали голубые круглые сапфиры. Ее босые розовые ножки на ходу разбрасывали росинки. Она была младше Джона: ей было не больше шестнадцати.

– Привет, – негромко воскликнула она, – меня зовут Любочка!

Для Джона она уже значила гораздо больше. Он устремился к ней, а приблизившись, едва успел остановиться, чтобы не наступить на ее босые ножки.

– Мы с вами еще не знакомы, – проворковал ее тихий голос. А голубые глазки добавили: «И вы очень много потеряли…» – А с моей сестрой Жасмин вы познакомились вчера вечером. Я вчера отравилась латуком, – продолжал ее тихий голос, а глазки опять добавили: «… а когда я больна, я очень милая – и когда здорова, тоже».

«Вы поразили меня в самое сердце, – отвечали глаза Джона, – но и я не такой уж увалень».

– Здравствуйте, – произнес он вслух. – Надеюсь, сегодня вам лучше?

А глаза его робко добавили: «Вы очаровательны!»

Джон заметил, что они уже какое-то время идут по тропинке. Она предложила отдохнуть, и они вместе присели на мох, мягкость которого ему оценить так и не удалось.

Он относился к женщинам критически. Одного-единственного дефекта – жирных коленок, хриплого голоса или стеклянного глаза – было достаточно, чтобы вызвать у него полнейшее равнодушие. И вот, впервые в жизни рядом с ним находилась девушка, казавшаяся воплощением телесного совершенства.

– Вы из восточных штатов? – спросила Любочка с очаровательным любопытством.

– Нет, – коротко ответил Джон. – Я из Аида.

То ли она никогда раньше не слышала об Аиде, то ли не смогла придумать, чтобы такого приятного на это сказать, но дальше эту тему она развивать не стала.

– А я этой осенью поеду на восток учиться, – сказала она. – Как вы думаете, мне там понравится? Я еду в Нью-Йорк, в пансион мисс Балдж. Там очень строгие нравы, но в выходные я буду жить дома, с семьей, в нашем нью-йоркском особняке, потому что папа слышал, что девушки в пансионе должны ходить парами.

– Отец хочет, чтобы вы были гордыми, – заметил Джон.

– Да, это так, – ответила она, и ее глаза гордо блеснули. – Никого из нас никогда не наказывали. Отец сказал, что этому не бывать! Когда моя сестра Жасмин была маленькой, она однажды столкнула папу с лестницы, а он просто встал и пошел, прихрамывая. Мама несколько… изумилась, – продолжила Любочка, – когда услышала, что вы из… ну, откуда вы родом… Она сказала, что когда она была девочкой… Ну, видите ли, она ведь испанка и несколько старомодна.

– Вы часто здесь бываете? – спросил Джон, только чтобы не показать, что его слегка задело ее последнее замечание. Оно показалось ему невежливым намеком на его провинциализм.

– Мы с Перси и Жасмин живем здесь летом, но следующим летом Жасмин поедет в Ньюпорт. Через год, осенью, она выйдет в свет в Лондоне, ее представят королю.

– Знаете, – нерешительно сказал Джон, – а ведь вы не такая уж неопытная, как я подумал, когда вас впервые увидел!

– Нет-нет, я вовсе не такая, – поспешно воскликнула она. – Даже представить себе не могу, что я такая! Я считаю, что девушки и юноши с опытом – это ужасно пошло, правда? И я совсем не такая, честное слово! Если вы меня такой считаете, то я сейчас расплачусь!

От огорчения у нее задрожали губы.

Джон тут же нашелся:

– Я не серьезно; я хотел лишь вас подразнить.

– И я бы ничего не почувствовала, если бы была такой, – не успокоилась она, – но я ведь не такая! Я очень наивная девочка. Я не курю, не пью и читаю только стихи. Не знаю ни математики, ни химии. Я очень просто одеваюсь – точнее, я почти не ношу одежды. Думаю, что «опытной» меня назвать не может никто! Я считаю, что девушка должна наслаждаться своей юностью в нравственной чистоте.

– И я с вами согласен, – искренне сказал Джон.

Любочка снова повеселела. Она улыбнулась ему, и единственная забытая слезинка скатилась вниз из самого уголка голубого глаза.

– Вы мне нравитесь, – шепнула она ему на ушко. – Вы, наверное, собираетесь проводить все время с Перси, но не могли бы вы немного побыть и со мной, пока вы здесь? Подумайте, ведь я же просто непаханая целина! В меня еще никто никогда не влюблялся. И мне никогда не разрешали оставаться с мальчиком без взрослых – ну, Перси не считается. Я пришла в эту рощу лишь в надежде, что найду здесь вас и рядом не будет никого из семьи.

Польщенный до глубины души, Джон глубоко поклонился, как учили в танцевальной школе в Аиде.

– А сейчас нам пора идти, – нежно сказала Любочка. – В одиннадцать меня ждет мама. Ты ни разу не попытался меня поцеловать! А я думала, что сейчас все мальчики только и ждут случая.

Джон гордо выпрямился.

– Да, некоторые, – ответил он, – но не я! У нас, в Аиде, с девушками так не принято.

Бок о бок они пошли обратно к дому.

VI

Джон стоял лицом к лицу с залитым лучами солнца мистером Брэддоком Вашингтоном. Это был мужчина лет сорока с гордым и пустым выражением лица, умным взглядом и подтянутой фигурой. По утрам от него пахло лошадьми – дорогими лошадьми. В руках у него была простая серая березовая трость, рукояткой которой служил один большой опал. Вместе с Перси он показывал Джону окрестности.

– А там у нас живут рабы. – Он указал тростью влево на изящную готическую крытую галерею из мрамора, протянувшуюся вдоль склона горы. – Когда-то в молодости я сбился с нормального жизненного

курса и пережил период абсурдного идеализма. В те дни они жили в роскоши: например, я оборудовал каждую комнату керамической ванной.

– Вероятно, – обаятельно рассмеялся Джон, – они в этих ваннах уголь складывали? Мистер Шницель-Мерфи однажды мне рассказывал, как он…

– Осмелюсь заметить, что мнение мистера Шницель-Мерфи не стоит ставить во главу угла, – холодно перебил Брэддок Вашингтон. – Мои рабы не складывали уголь в своих ванных. Им было приказано мыться каждый день, и они мылись. Если бы они этого не делали, с меня сталось бы помыть их серной кислотой вместо шампуня. Ванные пришлось отменить по другой причине: они стали простужаться и околевать. Отдельным расам вода не приносит пользы – для них она годится лишь как питье.

Джон рассмеялся, а затем еще и покивал головой в знак согласия. В присутствии Брэддока Вашингтона он чувствовал себя неуютно.

– Все эти негры – потомки тех, кого мой отец увез с собой на север. Их около двухсот пятидесяти. Вы, думаю, заметили, что они так долго жили вне обычного мира, что их изначальный диалект превратился в едва понятное наречие. Нескольких из них – моего секретаря и пару-тройку слуг – мы обучили говорить на английском.

– А здесь у нас лужайка для гольфа, – продолжил он, когда они вышли на бархатную вечнозеленую траву. – Только зелень, смотрите: ни начальной дорожки, ни неровностей, никаких препятствий!

Он вежливо улыбнулся Джону.

– Много народу в клетке, папа? – вдруг спросил Перси.

Брэддок Вашингтон тут же остановился и непроизвольно выругался.

– На одного меньше, чем должно быть, – мрачно произнес он и чуть погодя добавил: – У нас случилась история…

– Мама мне рассказала, что учитель-итальянец… – начал было Перси.

– Это была чудовищная ошибка! – в сердцах произнес Брэддок Вашингтон. – Но, само собой, все шансы в нашу пользу. Он мог сгинуть в лесах или упасть с утеса… Да даже если он и сбежал, скорее всего, ему никто не поверит! Как бы там ни было, я разослал по соседним городкам на его поиски две дюжины людей.

– И как успехи?

– Ну, как сказать… Четырнадцать уже доложили моему агенту, что прикончили человека, подходящего под описание, хотя, конечно, их всех интересует только награда…

Он умолк. Они приблизились к большой, размером с карусель, круглой яме в земле, накрытой крепкой железной решеткой. Брэддок Вашингтон кивнул Джону и указал тростью вниз, сквозь прутья. Джон подошел к краю, посмотрел вниз. И тут же чуть не оглох от раздавшихся снизу беспорядочных криков.

– Давай спускайся к нам, в Ад!

– Эй, парнишка, как там у вас погодка?

– Эй! Брось нам веревку!

– Эй, приятель, у тебя там не завалялся черствый пончик или пара тухлых сандвичей?

– Браток, подтолкни-ка вниз того парня, рядом с тобой, – увидишь фокус с мгновенным исчезновением!

– Влепи ему от меня, лады?

В яме было слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, но по грубоватому оптимизму и энергичному напору фраз и голосов он узнал американцев – явно небогатых, из «среднего класса», и с авантюрной жилкой. Затем мистер Вашингтон вытащил трость из решетки и коснулся ею кнопки в траве: внизу включился свет.

– А тут у нас смелые мореходы, имевшие несчастье открыть Эльдорадо, – пояснил он.

Прямо перед ними, в земле, располагалась большая яма в форме вогнутого бокала. Стенки были отвесными, из полированного стекла, а на слегка вогнутой поверхности донышка находилось дюжины две мужчин, одетых как авиаторы – не то в костюмы, не то в униформу. На обращенных вверх заросших бородами лицах читались гнев, злоба, отчаяние и циничное веселье, но – за исключением некоторых, ударившихся в тоску, – все выглядели вполне здоровыми и сытыми.

Брэддок Вашингтон подтащил садовый стул к краю ямы и уселся на него.

– Ну, как дела, ребята? – добродушно спросил он.

В прогретый солнцем воздух устремился хор проклятий – участвовали все, кроме тех, кто был слишком подавлен, чтобы кричать,

но Брэддок Вашингтон выслушал вопли с хладнокровным самообладанием. Он снова заговорил, когда умолк последний голос.

– Придумали, как решить вашу проблему?

В ответ из разных мест стало раздаваться:

– Мы решили просто остаться здесь!

– Поднимай нас наверх, а мы уж найдем решение!

Брэддок Вашингтон дождался, пока они снова умолкнут. Затем он произнес:

– Я обрисовал вам ситуацию. Вы мне здесь не нужны. Я молил Бога о том, чтобы никогда вас здесь не увидеть. Вас сюда привело ваше собственное любопытство, и я буду рад выслушать любую вашу идею о том, как мне вас освободить, но чтобы при этом не пострадал ни я, ни мои интересы. Но до тех пор, пока вы будете тратить свои силы на рытье подкопов – да, я уже знаю про новый! – вы ничего не достигнете. Здесь вам не так уж плохо, как вы рассказываете, и напрасно вы воете о любимых, ждущих вас дома. Были бы вы из тех, что и правда беспокоятся о тех, кто ждет их дома, вы бы никогда не стали авиаторами.

Один рослый мужчина отделился от толпы и вытянул руку вверх, чтобы привлечь внимание своего тюремщика к тому, что он собирался сказать.

– Позвольте задать вам несколько вопросов! – крикнул он. – Вы ведь рассуждаете беспристрастно, правда?

– Что за глупость! Как может человек в моем положении быть беспристрастным по отношению к вам? С таким же успехом вы можете просить испанца беспристрастно смотреть на хамон!

При этом резком замечании лица двух дюжин «ломтиков хамона» вытянулись, однако высокий продолжал:

– Ладно! – крикнул он. – Мы уже об этом спорили. Вы не гуманист, и вы не беспристрастны, но вы же человек? По крайней мере вы так утверждаете, и у вас было достаточно времени, чтобы поставить себя на наше место и понять, как… как…

– Как что? – холодно осведомился Вашингтон.

– … как неоправданно…

– Но не в моем случае.

– Ну, тогда… Как жестоко…

– Это мы уже обсуждали. О жестокости не может быть и речи, когда дело касается самосохранения. Вы же были на войне, и вы это знаете. Придумайте что-нибудь еще.

– Ну что ж, тогда: как это глупо!

– Точно! – согласился Вашингтон. – Это верно подмечено. Но вы попробуйте придумать что-нибудь другое! Я уже предлагал вам всем и каждому в отдельности безболезненную смерть. Я предлагал вам похитить и привезти сюда ваших жен, любовниц, детей и матерей. Я готов предоставить вам сколько угодно места внизу, готов кормить и одевать вас до скончания ваших дней. Если бы существовал какой-либо хирургический метод, обеспечивающий стойкую амнезию, вас всех немедленно оперировали бы и выпустили бы куда-нибудь подальше от моего заповедника. Но больше мне ничего не приходит в голову.

– А как насчет поверить, что мы на вас не донесем? – выкрикнул кто-то.

– Вы это серьезно? – презрительно улыбнувшись, ответил Вашингтон. – Я взял одного из вас учить мою дочь итальянскому. Неделю назад он сбежал.

Из двух дюжин глоток одновременно раздался дикий вопль радости, затем разразилось адское веселье. Узники заплясали, затопали ногами, крича и вопя, хватали друг друга за руки и пытались повалить в неожиданном приливе животной радости. Они даже пытались вскарабкаться с разбегу по стеклянной стенке ямы, но скатывались вниз, на дно, и приземлялись на свои естественные амортизаторы. Высокий затянул песню, которую подхватили все:

«Эх, кайзера повесим
На яблоньке кривой…»

Брэддок Вашингтон всю песню просидел в загадочном молчании.

– Как видите, – произнес он, как только на него стали обращать внимание, – я не желаю вам зла. Мне нравится на вас смотреть, когда вам хорошо. Вот почему я не стал сразу рассказывать вам историю до

конца. Того человека – как его звали? Критчтичьело? – мои агенты подстрелили в четырнадцати местах.

Им было невдомек, что под «местами» имелись в виду различные города, поэтому радостный шум тут же стих.

– И тем не менее, – с гневом воскликнул Вашингтон, – он попытался убежать! Вы и правда думаете, что после этого я дам кому-нибудь из вас еще один шанс?

И снова вверх понеслись выкрики.

– Конечно!

– Ваша дочка хочет поучить китайский?

– Эй, я умею по-итальянски! У меня мамаша была «макаронница»!

– А может, она желает балакать, как в столице? Я из Нью-Йорка!

– Если это та, голубоглазая, так я ее научу кое-чему поинтереснее, чем итальянский!

– Я знаю ирландские песенки, а еще я чеканкой в кружке занимался!

Мистер Вашингтон неожиданно вытянул вперед свою трость и нажал на кнопку в траве. Внизу тут же стало темно, а перед глазами осталась лишь огромная темная пасть со зловещими черными зубами решетки.

– Эй! – донесся снизу единственный голос. – Что, так и уйдешь? А благословить нас?

Но мистер Вашингтон, а за ним и двое ребят уже шли к девятой лунке лужайки для гольфа – как будто яма и ее содержимое были всего лишь небольшим препятствием, над которым его невесомая железная клюшка одержала легкую победу.

VII

Июль под сенью алмазной горы был месяцем прохладных ночей и теплых солнечных дней. Джон и Любочка любили друг друга. Он не

знал, что маленький золотой мячик с надписью «За Бога, отечество и св. Мидаса!», который он ей подарил, покоился на платиновой цепочке у нее на груди. Но так и было. А она, со своей стороны, не ведала, что большой сапфир, который однажды выпал из ее волос, Джон с любовью припрятал в свою шкатулку.

Однажды вечером в рубиново-горностаевой музыкальной гостиной было тихо; они провели там наедине целый час. Он держал ее за руку, и она так смотрела на него, что он вслух шепнул ее имя. Она наклонилась к нему, но тут же смутилась.

– Ты сказал «Любочка»? – тихо спросила она. – Или «любл…»?

Она желала знать точно. Она подумала, что могла ошибиться.

Никто из них никогда раньше не целовался, но час спустя это уже никому не мешало.

Вечер кончился. В ту ночь, когда последний мелодичный вздох сошел вниз с самой высокой башни, они оба не могли уснуть, перебирая в памяти одну за другой каждую минуту этого счастливого дня. Они решили пожениться как можно скорее.

VIII

Каждый день мистер Вашингтон и двое молодых людей охотились или рыбачили в лесах, или играли в гольф на сонной лужайке – в этих играх дипломатичный Джон всегда позволял хозяину выигрывать, – или же ходили плавать в исполненном горной свежести озере. Джон находил мистера Вашингтона довольно сложным человеком – того совершенно не интересовали любые идеи или мнения, за исключением собственных. Миссис Вашингтон всегда держалась отчужденно и замкнуто. Она явно равнодушно относилась к своим дочерям, но души не чаяла в сыне Перси, с которым непрерывно разговаривала на беглом испанском за обедом.

Старшая дочь, Жасмин, была похожа на Любочку внешне, хотя у нее были слегка искривленные ноги, увенчивавшиеся крупными стопами, и такие же большие руки – и абсолютно противоположный характер. В ее любимых книгах бедные девушки всегда исполняли роль хозяек в домах своих вдовых отцов. От Любочки Джон узнал, что Жасмин так никогда и не смогла оправиться от шока и разочарования из-за окончания мировой войны, которая кончилась как раз тогда, когда она собралась в Европу в качестве инспектора солдатских столовых. После этого она какое-то время сильно тосковала, и Брэддок Вашингтон даже предпринял кое-какие шаги, чтобы развязать новую войну на Балканах, однако, увидев на фотографии настоящих раненых сербских солдат, она тут же потеряла к войне интерес. А Перси и Любочка унаследовали от отца высокомерие во всем его резком великолепии. Во всех их мыслях и поступках сквозил незамутненный и последовательный эгоизм.

Джон был очарован чудесной виллой и долиной. Перси рассказал ему, что Брэддок Вашингтон организовал похищения зодчего, ландшафтного архитектора, мастера театральных декораций и одного французского поэта-декадента, пережившего рубеж веков. Он предоставил в их распоряжение всех своих негров, обещал снабдить их любыми имеющимися в мире материалами и позволил им воплощать в жизнь любые идеи. Но, один за другим, они показали свою полную непригодность. Поэт-декадент тут же бросился оплакивать свою разлуку с весенними бульварами, сделал несколько туманных замечаний о пряностях, мартышках и слоновой кости, но так и не придумал ничего, имеющего практическую ценность. Мастер театральных декораций, со своей стороны, пожелал наполнить долину всякими хитроумными штуками и сногсшибательными эффектами, но это быстро наскучило бы Вашингтонам. А зодчий и ландшафтный архитектор мыслили исключительно шаблонно. Они умели делать только так и вот этак.

Но одну проблему они все-таки смогли решить. Не нужно было думать, что с ними со всеми потом делать. Все они сошли с ума в одно утро, после того как ночь напролет пытались прийти к соглашению относительно места установки фонтана, и теперь они все находились в закрытом комфортабельном сумасшедшем доме в Уэстпорте, в штате Коннектикут.

– Но, – с интересом спросил Джон, – кто же придумал все эти чудесные гостиные и залы, подъезды и ванные?

– Стыдно признаться, – сказал Перси, – но это был один парень с киностудии. Нам удалось найти единственного человека, который умел играючи обращаться с неограниченным количеством денег, несмотря на то что, садясь за стол, он совал платок за воротничок и не умел ни читать, ни писать.

Август подходил к концу, и Джон начал сожалеть, что скоро ему придется вернуться обратно в школу. Они с Любочкой решили сбежать на следующий год, в июле.

– Конечно, было бы хорошо пожениться здесь, – призналась Любочка, – но мне, разумеется, никогда не удастся добиться согласия отца на свадьбу. Мне проще будет сбежать. Сегодня в Америке богатым людям жениться – настоящий кошмар! Все всегда рассылают в газеты сообщения, что они собираются жениться в семейных реликвиях, хотя на поверку выходит, что имелась в виду кучка старых подержанных жемчугов и поношенные кружева, которые однажды надевала императрица Евгения!

– Да, знаю, – с готовностью поддержал Джон. – Когда я гостил у Шницель-Мерфи, их старшая дочь Гвендолин вышла замуж за сына человека, который владеет половиной Западной Вирджинии. Она писала домой, какую отчаянную борьбу за существование ей приходится вести, сводя концы с концами на его жалованье банковского клерка, а в конце письма добавила: «Слава богу, у меня есть хотя бы четыре хорошие горничные – хоть какое-то облегчение!»

– Какая нелепость! – отозвалась Любочка. – Только подумай: миллионам людей в мире – всяким там рабочим и остальным – приходится обходиться какой-нибудь парой горничных!

Случайное замечание Любочки в один из долгих августовских вечеров перевернуло все с ног на голову и повергло Джона в ужас.

Они были в своей любимой роще, и между поцелуями Джон поддался романтическому порыву и стал высказывать мрачные пророчества – что, как он вообразил, должно было добавить остроты в их отношения.

– Иногда мне кажется, – с печалью произнес он, – что мы никогда не поженимся. Ты слишком богата, слишком могущественна. Столь богатая девушка, как ты, не может быть похожей на других девушек.

Мне подобает жениться на дочке какого-нибудь зажиточного оптовика из Омахи или Су-Сити и быть счастливым с ее полумиллионом приданого.

– А я знала одну дочку оптовика, – заметила Любочка. – Не думаю, что с ней ты был бы счастлив. Она была подругой моей сестры; приезжала сюда в гости.

– Так у вас здесь бывали и другие гости? – с удивлением воскликнул Джон.

Было заметно, что Любочка пожалела о том, что сказала.

– Ну да, – скороговоркой ответила она, – у нас бывали гости.

– Но как… Неужели твой отец не испугался, что они могут кому-то рассказать?

– Да, до некоторой степени, конечно… – ответила она. – Давай поговорим о чем-нибудь более приятном.

Но в Джоне проснулось любопытство.

– О более приятном? – переспросил он. – А что же здесь неприятного? Девушки были невоспитанные?

К его великому удивлению, Любочка вдруг расплакалась.

– Ну… Ведь в этом… В этом-то и была… проблема. Я к ним… к некоторым… так сильно привязывалась… И Жасмин тоже, но она все равно продолжала их приглашать… Я ее никогда не могла понять…

В сердце Джона вдруг родилось мрачное подозрение.

– Ты хочешь сказать, что они рассказали – и твой отец их… устранил?

– Хуже, гораздо хуже… – судорожно вымолвила она. – Отец никогда не рискует. А Жасмин продолжала писать им приглашения, и с ними было так хорошо!

Печаль захватила ее целиком.

Ошеломленный ужасным признанием, Джон так и остался сидеть с разинутым ртом, чувствуя, как все нервы у него внутри трепещут, будто на позвоночном столбе уселась целая стая маленьких воробьев.

– Ну вот, я тебе сказала, а не должна была говорить… – произнесла она, неожиданно успокоившись и вытирая свои голубые глаза.

– То есть ты хотела сказать, что твой отец убивал их до отъезда?

Она кивнула:

– Как правило, в августе или же в начале сентября. Мы, естественно, должны были сначала получить от них максимум

удовольствия.

– Отвратительно! Да как… Нет, я, наверное, схожу с ума! Ты что, правда признаешься мне, что…

– Да, – перебила его Любочка, пожав плечами. – Не могли же мы навсегда заточить их здесь, как этих авиаторов? Они бы стали для нас вечным укором. И нас с Жасмин всегда жалели, потому что папа всегда делал это раньше, чем мы ожидали. Так можно обойтись без прощальных сцен.

– Так вы их убивали! Фу! – воскликнул Джон.

– Все было очень деликатно! Им вводили яд во сне, а семьям всегда сообщали, что они скончались от скарлатины в Бьютте.

– Но… Я никак не могу понять, зачем же вы продолжали их приглашать?

– Я не приглашала! – выпалила Любочка. – Я никогда никого не приглашала. Это Жасмин. И им всегда было у нас очень хорошо. Ближе к концу она всегда дарила им самые лучшие подарки. Я, наверное, тоже буду приглашать гостей – я смогу себя перебороть. Не можем же мы позволить такой неизбежной вещи, как смерть, стоять у нас на пути, пока мы живы и хотим получать от жизни удовольствие! Подумай, как же здесь было бы тоскливо, если бы у нас никогда не было гостей. И папа, и мама пожертвовали своими лучшими друзьями, как и мы!

– И ты, – громко обвинил ее Джон, – и ты позволила мне любить тебя, и притворялась, что тоже любишь меня, и говорила о свадьбе, и все это время ты совершенно точно знала, что мне никогда не уйти отсюда живым!

– Нет! – горячо возразила она. – Уже давно нет. Поначалу – да. Ты ведь был здесь. Я ничего не могла с этим поделать, и я подумала: пусть твои последние дни пройдут приятно для нас обоих. Но затем я в тебя влюбилась, и я… Мне действительно жаль, что тебя придется… Тебя придется похоронить, хотя уж лучше тебе лежать в могиле, чем целовать какую-нибудь другую девушку!

– Да что ты, правда? Неужели лучше?! – яростно воскликнул Джон.

– Гораздо лучше. Кроме того, я слышала, что девушке гораздо приятнее быть с парнем, за которого она никогда не сможет выйти замуж. Ах, зачем же я тебе все рассказала? Я, наверное, испортила тебе

весь твой отдых, а нам с тобой было так хорошо, пока ты ничего не знал. Я так и знала, что все это тебя сильно огорчит!

– Да что ты! Неужели?! – голос Джона дрожал от гнева. – Хватит уже, я слышал достаточно. Если у тебя гордости и приличия ровно столько, чтобы закрутить романчик с парнем, который для тебя все равно что живой труп, то я тебя больше знать не хочу!

– Ты не труп! – в ужасе возразила она. – Ты никакой не труп! Не говори мне, что я целовалась с трупом!

– Я ничего подобного не говорил!

– Говорил! Ты сказал, что я целовалась с трупом!

– Не говорил!

Они разговаривали на высоких тонах, но неожиданная помеха заставила их немедленно умолкнуть. Кто-то шел по тропинке по направлению к ним, и мгновение спустя розовые кусты раздвинулись, и перед ними возникло красивое пустое лицо Брэддока Вашингтона, посмотревшего на них своими умными глазами.

– Кто это целовал труп? – с явным неодобрением спросил он.

– Никто, – быстро ответила Любочка. – Мы просто шутили!

– А что это вы вообще тут вдвоем делаете? – резко спросил он. – Люба, ты должна… Должна читать книгу или играть в гольф с сестрой! Так иди читай! Или играй в гольф! И не вздумай попасться мне здесь на обратном пути!

Затем он поклонился Джону и пошел дальше.

– Видишь? – сердито сказала Любочка, когда утихли его шаги. – Ты все испортил. Мы больше не сможем встречаться. Он не позволит мне больше с тобой встречаться. Он бы тебя отравил, если бы знал, что мы любим друг друга.

– А мы уже не любим! – отчаянно воскликнул Джон. – Так что он может больше об этом не беспокоиться. Мало того: ты себя не обманывай и не думай, что я здесь останусь. Через шесть часов я уже буду за этими горами на пути домой, даже если мне придется прогрызть туннель сквозь скалы!

Они оба встали, и когда он это произнес, Любочка подошла к нему ближе и взяла его под руку:

– Я тоже иду!

– Да ты с ума сошла…

– Я пойду, не сомневайся, – не терпящим возражения тоном перебила она.

– Ты совершенно точно никуда не пойдешь. Ты…

– Очень хорошо, – тихо промолвила она. – Тогда я сейчас догоню отца и все ему расскажу.

Побежденный Джон собрался с силами и выдавил из себя слащавую улыбку.

– Очень хорошо, милая, – безуспешно пытаясь вложить в непослушный голос чувство, согласился он, – мы пойдем вместе.

Любовь вновь вернулась и безмятежно поселилась в его сердце. Она принадлежала ему – она пойдет с ним и разделит с ним все опасности. Он обнял ее и страстно поцеловал. В конце концов, она его любила, и она действительно его спасла!

Обсуждая детали, они медленно пошли обратно к вилле. Они решили, что, поскольку Брэддок Вашингтон видел их вместе, лучше всего будет бежать следующей ночью. Тем не менее за ужином губы Джона были необычайно сухи, и от волнения он опрокинул большую ложку павлиньего супа «не в то горло». Одному из помощников дворецкого пришлось его унести в комнату, отделанную бирюзой и соболями, и там стучать по спине, что очень рассмешило Перси.

IX

Далеко за полночь тело Джона судорожно дернулось, и он вдруг сел прямо, уставившись в навевавшие дремоту завесы, которыми были задрапированы стены спальни. Со стороны квадратов синей тьмы, которыми казались открытые окна, до него донесся слабый далекий звук, поглощенный порывом ветра до того, как в его памяти, покрытой тучами неспокойных снов, возник хоть какой-нибудь отголосок. Однако резкий шум, последовавший за ним, прозвучал ближе; его источник находился прямо за стеной комнаты: щелчок поворачиваемой

ручки двери, шаг, шепот, – он не был уверен. Внизу живота возник тяжелый комок, все тело сразу же заболело – так сильно он напрягся, стараясь расслышать. Затем одна из завес будто бы растворилась в воздухе, и он увидел замерший у двери нечеткий силуэт: едва очерченную и слабо видневшуюся во тьме фигуру, сливавшуюся со складками драпировки так, что казалось, будто она сильно искривлена, как отражение в грязном стекле.

Резким от испуга или решимости движением Джон нажал на кнопку у кровати, и через мгновение уже сидел в зеленой римской ванне в примыкающей комнате, полностью проснувшись от внезапного погружения в прохладную воду, до половины заполнявшую ванну.

Он выскочил из нее и, оставляя за собой тяжелые струи воды с мокрой пижамы, побежал к двери цвета морской волны, которая, как он знал, вела на бледно-белую лестницу на второй этаж. Дверь отворилась бесшумно. Одна-единственная малиновая лампа горела в огромном куполе наверху, резко подсвечивая красу пышных изгибов резных ступеней. Джон на мгновение замешкался, потрясенный сгустившимся вокруг молчаливым великолепием, которое, казалось, обволакивало своими гигантскими складками и очертаниями одинокую промокшую фигурку, дрожавшую на бледно-белой лестничной площадке. Затем одновременно произошло два события. Дверь его собственной гостиной широко раскрылась, низвергнув в холл трех обнаженных негров; когда Джон в ужасе бросился к ступеням, в стене на противоположной стороне коридора скользнула вбок, раскрывшись, другая дверь, и Джон увидел Брэддока Вашингтона, стоявшего в освещенном лифте, одетого в меховую шубу и сапоги до колен, выше которых виднелась во всем своем розовом великолепии его пижама.

Три негра – Джон раньше их никогда не видел, и у него тут же промелькнула мысль, что это, должно быть, профессиональные палачи, – сейчас же остановились, прекратив преследовать Джона, и, ожидая приказаний, повернулись к человеку в лифте, который повелительно скомандовал:

– Сюда! Все трое! Мигом!

Мгновение – и негры уже вскочили в кабину, прямоугольник света исчез, когда закрылась дверь лифта, и Джон снова остался один в

холле. Он неуклюже присел отдохнуть на бледно-белые ступени.

Несомненно, произошло что-то зловещее; что-то, что – по крайней мере на какое-то время – затмило его личную мелкую катастрофу. Что же это было? Может быть, негры взбунтовались? Или авиаторы сломали железные засовы решетки? Или же люди из деревни Фиш случайно перевалили через горный хребет и их подслеповатые печальные глаза узрели веселую долину? Джон не знал. Он услышал слабый шум от движения воздуха, когда лифт опять быстро пошел вверх, а затем, через мгновение, стал опускаться. Наверное, это Перси поспешил на помощь отцу, и Джону пришло в голову, что и у него сейчас появилась возможность: нужно было, не откладывая, хватить Любочку и бежать! Он выждал несколько минут после того, как лифт окончательно затих; чуть дрожа от ночной прохлады, проникавшей внутрь сквозь его мокрую пижаму, он вернулся в свою комнату и быстро оделся. Затем он поднялся по длинной лестнице и свернул в коридор, отделанный русским соболями и ведший в покои Любочки.

Дверь ее гостиной была открыта, в комнате горел свет. Любочка в шерстяном халате стояла у окна, внимательно прислушиваясь, и хотя Джон вошел бесшумно, она обернулась.

– Ах, это ты! – прошептала она, идя к нему через комнату. – Ты их слышал?

– Я услышал рабов твоего отца у себя в…

– Нет-нет! – возбужденно перебила она. – Аэропланы!

– Аэропланы?! Похоже, что именно это меня и разбудило!

– Не меньше дюжины. Я только что видела один на фоне луны. Часовой за скалой выстрелил и разбудил отца. Мы сейчас откроем по ним огонь.

– Они прилетели не случайно?

– Да. Это все тот итальянец, который сбежал…

Одновременно с последним произнесенным словом из открытого окна донеслась серия резких звуков. Любочка негромко вскрикнула, дрожащими пальцами извлекла из шкатулки на трюмо медный цент и помчалась к электрическому светильнику. Через мгновение вся вилла погрузилась во мрак: она сожгла плавкий предохранитель.

– Пойдем! – крикнула она Джону. – Мы поднимемся в сад на крыше и будем смотреть оттуда!

Накинув плащ, она взяла его за руку, и они вышли за дверь. Лифт в башню находился от них в двух шагах, и, когда она нажала кнопку, чтобы кабина отвезла их наверх, он в темноте обнял ее и поцеловал. Наконец-то Джон Ангер почувствовал романтику! Спустя минуту они вышли на залитую бледным светом звезд площадку. Над ними, то скрываясь, то снова выскальзывая из клубившихся под мглистой луной обрывков туч, без остановки кружила дюжина темнокрылых фюзеляжей. Из разных мест в долине к ним устремлялись вспышки света, за которыми следовали громкие взрывы. Любочка радостно захлопала в ладоши, но через мгновение радость сменилась испугом: аэропланы, повинуясь какому-то сигналу, стали сбрасывать бомбы, и вся панорама долины вдруг запылала, зазвучав низким эхом.

Практически сразу атакующие сконцентрировали усилия на точках, где были размещены зенитные пушки, и одна из них тут же превратилась в гигантский костер, затлевший посреди розовых кустов.

– Любочка, – взмолился Джон, – тебе, должно быть, будет приятно услышать, что это нападение произошло как раз в день моего убийства. Если бы я не услыхал, как часовой выстрелил с поста за горой, я был бы уже мертв…

– Ничего не слышно! – крикнула Любочка, полностью поглощенная разворачивавшейся перед ней сценой. – Говори громче!

– Я просто сказал, – прокричал Джон, – что лучше нам отсюда убираться, пока они не начали обстреливать виллу!

Неожиданно сразу весь портик негритянских квартир стал разваливаться на куски, из-под колоннады выстрелил огненный гейзер, а огромные неровные куски мрамора разбросало аж до самых берегов озера.

– Там же рабов на пятьдесят тысяч по довоенным ценам! – воскликнула Любочка. – Американцы совершенно разучились уважать право собственности!

Джон снова начал уговаривать ее уйти. Аэропланы бросали бомбы все точнее, и теперь им отвечали лишь две зенитки. Стало ясно, что окруженный огнем гарнизон долго не продержится.

– Пойдем! – крикнул Джон, потянув Любочку за руку, – нам нужно уходить! Ты понимаешь, что авиаторы убьют тебя сразу же, как только найдут?

Она неохотно подчинилась.

– Нужно разбудить Жасмин! – сказала она, когда они побежали к лифту. И добавила с наивной радостью ребенка: – Мы ведь будем бедняками, правда? Как в тех книжках. Я буду сироткой, и я стану абсолютно свободной! Свободна и бедна! Как здорово! – Она остановилась и запечатлела на его губах радостный поцелуй.

– И то и другое вместе невозможно, – мрачно отозвался Джон. – Многие пытались, да ни у кого не вышло… Лично я выбираю свободу, а не бедность. На всякий случай ты лучше сунь в карманы побольше драгоценностей из шкатулки!

Через десять минут обе девушки вышли в темный коридор к Джону, и все спустились на первый этаж виллы. Пройдя в последний раз среди великолепия прекрасных залов, они на мгновение задержались на террасе, глядя на горящие негритянские квартиры и на пылающие обломки двух аэропланов, упавших на другой стороне озера. Одинокая пушка все еще продолжала стрелять, так что атакующие пока не решались снижаться и запускали громыхающие фейерверки вокруг нее, выжидая, пока случайное попадание не уничтожит последний эфиопский расчет.

Джон и сестры спустились по мраморным ступеням, свернули налево и стали подниматься по узкой тропинке, опоясывавшей, будто подвязка, алмазную гору. Любочка знала одно заросшее густым лесом местечко на полпути к вершине, где можно было спрятаться и при этом не терять из виду ночную долину – а при необходимости оттуда можно было и бежать по тайной тропке в скалах.

X

К трем часам они достигли цели. Вежливая и флегматичная Жасмин тут же уснула, прислонившись к стволу высокого дерева, а Джон и Любочка сели, взявшись за руки, и стали смотреть на медленное угасание отчаянного сопротивления и окончание битвы

среди руин на открытом пространстве, которое еще вчера представляло собой прекрасный сад. Около четырех утра последняя оставшаяся пушка издала бряцающий лязг и вышла из боя, испустив язык красного дыма. Луна уже зашла, но они увидели, что летающие машины закружили ближе к земле. Когда аэропланы убедятся, что осажденные больше не сопротивляются, они сядут – и с мрачным роскошным царством Вашингтонов будет покончено.

С окончанием стрельбы в долине наступила тишина. Два сбитых аэроплана догорали, будто глаза ужасного монстра, спрятавшегося в траве. Виллу окутали мрак и безмолвие. Без света она выглядела так же прекрасно, как днем, а в воздухе над ней звучали деревянные трещотки Немезиды, и жалобный звук то удалялся, то приближался. Затем Джон заметил, что Любочка тоже, как и сестра, уснула.

Ближе к пяти с тропинки, по которой они только что шли, до него донеслись звуки шагов, и он, затаив дыхание, стал ждать, пока идущие не минуют господствующую высоту, на которой он находился. В воздухе теперь чувствовалось легкое колебание нечеловеческой природы, роса стала холодной; он знал, что вот-вот наступит рассвет. Джон дождался, пока шаги не удалились на безопасное расстояние вверх по горе и не перестали быть слышны совсем. Тогда он пошел вслед. На половине пути к крутой вершине деревья попадали, и над алмазной основой распростерлась суровая скалистая седловина. Невдалеке от этого места он замедлил шаг, инстинктивно почуяв, что впереди кто-то есть. Подойдя к высокому валуну, он осторожно высунул из-за него голову. Его любопытство было вознаграждено; вот что он увидел.

Перед ним четким силуэтом на фоне серого неба, в полнейшей тишине и без всяких признаков жизни, неподвижно застыл Брэддок Вашингтон. Заря занималась на востоке, окрашивая холодным зеленым отсветом землю и подчеркивая ничтожность контраста одинокой фигурки и наступающего дня.

Джон смотрел, а его гостеприимный хозяин несколько мгновений был полностью поглощен загадочными размышлениями; затем он жестом приказал двум припавшим к земле у его ног неграм поднять лежавшую между ними ношу. Они с трудом установили ее вертикально, и первые желтые лучи солнца пролетели сквозь бессчетное количество призм колоссального, изысканно ограненного

алмаза, породив белое сияние; в воздухе, казалось, застыл обломок утренней звезды. Носильщики на мгновение пошатнулись под ее тяжестью, но затем по их мускулам прошла судорога, они вздулись и окаменели под блестевшей от пота кожей, и все три фигуры снова неподвижно застыли в дерзком бессилии перед небесами.

Через некоторое время белый человек поднял голову и медленно воздел руки, требуя внимания, будто оратор, взывающий к огромной толпе, но никакой толпы не было, была лишь безбрежная тишина гор и неба, изредка нарушаемая негромкими птичьими трелями из крон деревьев. Фигура на скалистой седловине начала напыщенно и неукротимо гордо говорить.

– Эй, ты, там! – воскликнул он дрожащим голосом. – Да, ты!

Он умолк, все еще воздевая руки, голова его чуть наклонилась, будто он ждал ответа. Джон изо всех сил смотрел, не спускается ли кто с горы, – но на горе не было ни души. Были только небо и насмешливая мелодия ветра в вершинах деревьев. Неужели Вашингтон молился? Джон даже удивился. Но затем иллюзия исчезла, – даже в позе человека чувствовалось нечто прямо противоположное молитве.

– Эй, ты, наверху!

Голос стал сильным и уверенным. Это была не жалкая мольба. Больше всего это походило на какую-то невероятную снисходительность.

– Да, ты, там!

Слова, произносимые слишком быстро, чтобы их можно было разобрать, потекли одно за другим. Джон слушал, затаив дыхание, периодически разбирая отдельные фразы, а голос то умолкал, то снова возвышался, то опять умолкал – то сильный и вызывающий, то окрашивавшийся тонами вялого, недоуменного нетерпения. Затем на единственного слушателя понемногу стало снисходить понимание, и как только оно окрепло, он ощутил, как кровь побежала быстрее в его жилах. Брэддок Вашингтон предлагал взятку Богу!

Именно так – без всяких сомнений. Алмаз в руках его рабов был всего лишь задатком, пробным образцом.

Как Джон заметил через некоторое время, это и было основной темой его предложений. Прометей Обогащенный приводил примеры забытых жертв, забытых ритуалов и молитв, вышедших из употреблений еще до рождения Христа. Некоторое время речь велась в

форме напоминаний Богу о том или ином даре, которые Он соблаговолил принять от людей: огромные соборы за то, что Он спасал города от чумы; мирра и золото, человеческие жертвы – прекрасные девушки и захваченные в битвах пленники, дети и царевны; звери лесные и скот – овцы и козы, плоды и города, целые завоеванные земли – все на свете, вожделенное либо живое, предлагалось для Его умиротворения, дабы откупиться воздаянием от Божественного гнева; а теперь он, Брэддок Вашингтон, повелитель алмазов, король и жрец золотого века, властитель пышности и роскоши, предлагает сокровище, о котором даже не мечтали все прежние владыки, и предлагает он его без мольбы, но гордо!

Он передает Богу, продолжал он, перейдя к деталям сделки, величайший в мире алмаз. У этого алмаза будет граней больше, чем листьев на дереве, и при этом весь алмаз будет огранен столь же совершенно, сколь гранят алмазы размером с муху. Множество людей будут работать над ним долгие годы. Он будет водружен под огромным куполом чеканного золота, покрытым дивной резьбой, с опаловыми воротами, инкрустированными сапфирами. В середине будет выдолблена часовня, в центре которой будет алтарь из флуоресцирующего, распадающегося и вечно изменяющегося радия, который выжжет глаза любому, кто вздумает поднять голову и отвлечься от молитвы; на этом алтаре для увеселения Божественного Благодетеля будет заклана любая жертва по Его выбору, пусть это даже будет величайший и могущественнейший из ныне живущих людей.

Взамен он просит совсем пустяк – нечто, до смешного простое для Бога: пусть все станет таким, каким оно было вчера в этот же час, и пусть все таким и остается. Так просто! Пусть разверзнутся небеса и поглотят всех этих людей и их аэропланы, а затем пусть снова сомкнутся. Пусть у него снова будут его рабы, живые и здоровые.

Ему еще никогда ни с кем не приходилось считаться или договариваться.

Он сомневался лишь в одном: достаточную ли цену он предложил? Конечно же, и у Бога есть цена. Бог был создан по образу и подобию человека, и было сказано: пусть Он получит Свою цену. И цена должна была быть исключительной: ни один собор, постройка которого длилась долгие годы, ни одна пирамида, которую строили десятки тысяч рабочих, не сравнится с этим собором, с этой пирамидой.

Он сделал паузу. Таково было его предложение. Все будет выполнено в полном соответствии с договором, и да не будет сочтено дерзостью его утверждение о том, что цена не слишком велика. Он намекал Провидению, что торговаться он не намерен.

Ближе к концу он стал говорить отрывисто, коротко и неуверенно; тело его сжалось пружиной, – казалось, он силился уловить малейшее движение, какое-либо проявление воли в окружающем его пространстве. Его волосы седели, пока он произносил речь, и теперь он высоко поднял голову к небесам, будто ветхозаветный пророк – в божественном безумии.

У Джона уже кружилась голова, но он продолжал смотреть, и невдалеке от него произошло какое-то странное необычайное явление. Небо на мгновение потемнело, в порыве ветра будто послышался какой-то шепот, далекий звук труб, негромкий шорох громадной шелковой рясы, и на какое-то время вся природа вокруг сникла перед этой тьмой; птицы умолкли; деревья не шевелились, а вдали, над горами, раздались глухие, зловещие раскаты грома.

Миг – и все. Ветер перестал колыхать высокие травы в долине. Рассвет и день снова заняли подобающее им место, а встающее солнце принялось рассылать горячие волны желтого тумана, ярко освещавшие все на своем пути. Листья улыбнулись солнцу, и их смех сотряс деревья – и каждый сук вдруг стал напоминать школьную переменку в волшебной стране. Бог отказался от взятки.

Еще мгновение Джон смотрел на торжество дня. Затем он обернулся и увидел волнение на коричневой поверхности озера, затем еще волны, и еще – будто танец золотых ангелов, спустившихся с туч. Аэропланы садились на землю.

Джон сполз с валуна и побежал по склону горы к купам деревьев, где его уже ждали проснувшиеся девушки. Любочка вскочила, в ее карманах звякнули драгоценные камни, с губ вот-вот готов был сорваться вопрос, однако Джон чувствовал, что сейчас было не до разговоров. Нужно было, не теряя ни минуты, бежать с горы. Он схватил обеих девушек за руки, и в тишине они стали пробираться через лес, омытый светом и росой. Из долины у них за спиной не доносилось ни звука, если не считать далеких жалобных криков павлинов и обычного приятного утреннего шума.

Пройдя с полмили, они обогнули парк и пошли по узенькой тропке, которая вела на следующую возвышенность. Достигнув вершины, они остановились и обернулись. Их взгляды, под воздействием нахлынувшего мрачного чувства трагической неизбежности, остановились на склоне горы, который они только что миновали.

На фоне неба четко вырисовывалась согбенная фигура седого человека, медленно спускавшегося по крутому склону; за ним следовали два огромных и бесстрастных негра, тащивших груз, все еще сверкавший и сиявший на солнце. На полпути вниз к ним присоединились еще две фигуры: Джон узнал миссис Вашингтон и ее сына, на руку которого она опиралась. Авиаторы слезали со своих машин на широкую лужайку перед виллой и с винтовками в руках шли цепью вверх по склону алмазной горы.

А маленькая группа из пяти человек, находившаяся выше и сконцентрировавшая на себе все внимание наблюдателей, остановилась на выступе скалы. Негры нагнулись и отворили что-то вроде крышки люка в горе. В нем все и исчезли: первым – седовласый мужчина, за ним – его жена и сын, а потом и оба негра; сверкающие кончики их украшенных драгоценными камнями головных уборов слали напоследок солнечных зайчиков, пока не опустилась крышка поглотившего их люка.

Любочка стиснула руку Джона.

– Ах! – не сдерживаясь, воскликнула она. – Куда же они? Что они собрались сделать?

– Наверное, убегают по подземному ходу…

Девушки издали приглушенный вскрик, перебив его.

– Ты не догадался? – истерично всхлипнула Любочка. – Гора заминирована!

Она еще не закончила говорить, а Джону уже пришлось руками прикрыть глаза. Вся поверхность горы в этот миг ослепительно вспыхнула желтым светом, проникавшим сквозь поверхностный грунт, будто яркий свет сквозь ладонь. Невыносимое зарево продолжалось мгновение, а затем – как будто перегорела нить накаливания – исчезло, оставив лишь черную пустыню, от которой медленно поднимался синий дымок, унося с собою остатки растительности и человеческой плоти. От авиаторов не осталось ни крови, ни костей – они были

уничтожены столь же полно, сколь и пять душ, укрывшихся внутри горы.

Одновременно, под действием невероятного толчка, вилла в буквальном смысле взлетела в воздух, тут же разваливаясь на пылающие куски, обрушивавшиеся на землю дымящимися кучами и падавшими в озеро. Огня не было, а дым, смешавшийся с солнечным светом, отнесло ветром, и еще несколько минут в воздухе держалась мраморная пыль с огромной бесформенной кучи, которая когда-то была драгоценным дворцом. Больше не последовало ни звука, и в долине остались лишь трое.

XI

На закате Джон и его спутницы достигли высокого утеса, отмечавшего границы владений Вашингтонов, и оглянулись на долину – мирную и прекрасную в вечерний час. Они присели, чтобы доесть остатки припасов, которые Жасмин захватила с собой в корзинке.

– Прошу! – сказала она, расстелив скатерть и выложив на нее аккуратной горкой бутерброды. – Не правда ли, выглядит аппетитно? Я считаю, что на открытом воздухе еда всегда вкуснее!

– Одно лишь замечание, и Жасмин деградирует до «среднего класса»! – сказала Любочка.

– А теперь, – алчно сказал Джон, – давай посмотрим, что за камни ты положила в карманы? Если ты выбрала удачно, то мы втроем проживем в комфорте до конца наших дней.

Любочка послушно сунула руки в карманы и выложила перед ним две пригоршни блестящих камней.

– Неплохо, – с воодушевлением воскликнул Джон. – Они невелики, но… Постой-ка! – Он взял один из них, чтобы получше рассмотреть в лучах заходящего солнца, и выражение его лица тут же изменилось. – Это же не алмазы! Что-то с ними не так!

– Вот это да! – изумленно воскликнула Любочка. – Какая же я глупая!

– Это стразы! – воскликнул Джон.

– Я знаю. – Она рассмеялась. – Я не тот ящик открыла. Они были на платье одной девушки, которую приглашала Жасмин. Она поменялась со мной на алмазы. Я ведь раньше никогда не видела ничего, кроме настоящих камней!

– И ты взяла их с собой?

– Боюсь, что так. – Она задумчиво погладила пальцами стекляшки. – Они мне очень нравятся. Я немного устала от алмазов.

– Очень хорошо, – угрюмо сказал Джон. – Мы будем жить в Аиде. И ты до глубокой старости будешь рассказывать недоверчивым дамам, как открыла не тот ящик! К сожалению, все банковские книги твоего отца исчезли вместе с ним.

– Ну а что такого плохого в Аиде?

– Если в этом возрасте я привезу домой жену, то отец будет только прав, если выставит нас за дверь и «уголька горелого не даст» – так у нас говорят.

В разговор вступила Жасмин.

– Я люблю стирать, – тихо промолвила она. – Я всегда сама стирала свои платки. Я стану прачкой и буду вам помогать.

– А в Аиде есть прачки? – наивно спросила Любочка.

– Конечно, – ответил Джон. – Там все, как везде.

– А я подумала… вдруг там так жарко, что никто и одежду не носит?

Джон рассмеялся.

– Попробуй только! – сказал он. – Едва начнешь что-нибудь снимать, так тебя тут же выгонят из города!

– А отец уже там? – спросила она.

Джон изумленно на нее посмотрел.

– Твой отец мертв, – хмуро ответил он. – Как же он может быть в Аиде? Ты что-то спутала: то место, которое ты имела в виду, уже давным-давно упразднили.

Поужинав, они сложили скатерть и расстелили одеяла.

– Какой это был чудесный сон! – вздохнула Любочка, глядя на звезды. – Как странно очутиться здесь и знать, что у тебя нет ничего, кроме единственного платья и жениха без гроша за душой! Под

звездами… – повторила она. – Я никогда раньше не видела звезд. Я думала, что это просто чьи-то огромные далекие алмазы. Теперь они меня пугают. Они заставляют меня думать, что все было сном – вся моя юность!

– Это и был сон, – тихо ответил Джон. – Юность ведь всегда сон: что-то вроде временного помешательства…

– Тогда как же это здорово – быть помешанной!

– Так мне говорили, – хмуро сказал Джон. – Ноя уже не знаю… Так или иначе, но давай мы будем друг друга любить – год… или сколько получится… Эта форма божественного опьянения годится для всех. Из всего сущего имеют ценность лишь алмазы – алмазы да еще, может быть, убогий дар разочарования. Ну что ж, последнего у меня теперь в избытке, и я, как и всегда, превращу его в обыкновенное ничто. – Он вздрогнул: – Подними воротник, девочка: ночь холодна, и ты можешь схватить воспаление легких! Великий грех совершил тот, кто первым придумал сознание. Давай-ка отключим его на пару часов.

И, завернувшись в одеяло, он уснул.

Странная история Бенджамина Баттона

I

В 1860 году правильным считалось появляться на свет в домашней обстановке. Ныне, по предписаниям высоко вознесшихся эскулапов, первые крики младенцев должны раздаваться непременно в анестезированной – и желательно с духом последних веяний! – больничной атмосфере. Так что мистер и миссис Роджер Баттон опередили моду на полвека, когда в один из летних дней 1860 года решили, что их первый ребенок должен появиться на

свет в больнице. Мы уже никогда не узнаем, имел ли влияние данный анахронизм на удивительную историю, которую я решил записать.

Я просто расскажу вам, что случилось, а вы уж судите сами.

Семья Роджера Баттона занимала завидное общественное и финансовое положение в довоенном Балтиморе. Они были родней Этой Семье и Той Семье, что – как известно любому южанину – гарантировало им членство в среде многочисленной высшей знати, из которой и состояла основная масса населения Конфедерации. Очаровательный древний обычай обзаведения детьми им довелось испытать на себе впервые, так что мистер Баттон, естественно, нервничал. Он надеялся, что будет мальчик, и тогда его можно будет отправить в Коннектикут, в Йельский университет, ведь в этом заведении сам мистер Баттон на протяжении четырех лет был известен под довольно-таки ожидаемой кличкой Пуговка.

В тот сентябрьский день, когда ожидалось величайшее событие, он вскочил с постели в шесть утра, оделся, поправил и без того безупречный галстук и вышел на балтиморскую улицу, спеша в больницу, чтобы поскорее узнать, не явилась ли из тьмы ночной в лоно его новая жизнь?

Не дойдя сотни ярдов до Мэрилэндского частного госпиталя для леди и джентльменов, он увидел их семейного врача доктора Кини, который как раз спускался по ступеням, потирая руки – как бы умывая их, – как того и требует от доктора неписаная профессиональная этика.

Президент оптовой торговой фирмы «Роджер Баттон и Компания» мистер Роджер Баттон, забыв об условностях, вдруг побежал к доктору Кини, чего никак нельзя было ожидать от джентльмена-южанина тех живописных времен.

– Доктор Кини! – крикнул он. – Эй, доктор Кини!

Доктор услышал его, обернулся и остановился, поджидая. На его медицински-суровом лице по мере приближения мистера Баттона все четче проступало какое-то странное выражение.

– Ну, как? – потребовал ответа мистер Баттон, даже не переведя дыхания. – Что там? Как она? Мальчик? Нет? Что…

– Выражайтесь яснее, – резко оборвал его доктор Кини и посмотрел на него с непонятным раздражением.

– Скажите же, родился ли ребенок? – взмолился мистер Баттон.

Доктор Кини нахмурился:

– Ну, да, можно сказать и так, до некоторой степени… – И снова бросил на мистера Баттона странный взгляд.

– С моей женой все в порядке?

– Да.

– Мальчик или девочка?

– Ну вот что! – воскликнул доктор Кини с неприкрытым раздражением. – Идите и смотрите сами! Воз-му-ти-тель-но! – он выпалил последнее слово по слогам, затем отвернулся, пробормотав: – И как же, позвольте узнать, может такой случай отразиться на моей репутации, а? Еще один такой – и я погиб! Такое кого хочешь уничтожит!

– Да что случилось? – ничего не понимая, спросил мистер Баттон. – Тройня?

– Нет, не тройня! – оборвал его доктор. – Что говорить? Можете сами пойти и посмотреть. И ищите себе другого врача. Я был у постели вашей матушки, когда вы явились на свет, молодой человек, я уже сорок лет с вашей семьей, но теперь я умываю руки! Я больше никогда не хочу видеть ни вас, ни вашу родню! Прощайте!

Он резко развернулся, молча забрался в свой стоявший у тротуара фаэтон и уехал прочь, даже не обернувшись.

Ошеломленный мистер Баттон так и остался стоять на тротуаре, дрожа от головы до пят. Что за несчастье приключилось? У него вдруг совсем пропало желание идти в Мэрилендский частный госпиталь для леди и джентльменов, и лишь некоторое время спустя он с огромным усилием заставил себя подняться по лестнице и войти в здание.

В слабо освещенном холле за столом сидела медсестра. Поборов робость, мистер Баттон подошел поближе.

– Доброе утро! – поздоровалась она, с улыбкой глядя на него снизу вверх.

– Доброе утро… Я… Меня зовут Баттон.

Услышав это, девушка изменилась в лице. Она в неподдельном ужасе вскочила и чуть не бросилась бежать, сдержавшись лишь ценой огромного усилия.

– Покажите моего ребенка, – сказал мистер Баттон.

Медсестра охнула.

– Да-да, конечно! – вскрикнула она. – Наверх. Прямо наверх! Вам вот туда!

Она показала, куда идти, и мистер Баттон, в холодном поту, неуверенно повернулся и пошел на второй этаж. В верхнем холле он обратился к другой медсестре, несшей куда-то таз.

– Меня зовут Баттон, – с трудом выговорил он. – Покажите мне…

Бац! Таз грохнулся на пол и покатился к лестнице. Бац! Бац! Таз поскакал по лестнице вниз, будто поддавшись всеобщему ужасу, внушаемому этим господином.

– Покажите моего ребенка! – мистер Баттон уже почти кричал; еще немного – и он упадет в обморок.

Бах! Таз достиг первого этажа. Акушерке удалось взять себя в руки, и она одарила мистера Баттона холодным презрительным взглядом.

– Хорошо, мистер Баттон, – глухо сказала она. – Хорошо же! Но неужели вы не понимаете, во что вы нас тут всех превратили и что с нами теперь будет? Это совершенно возмутительно! От репутации нашего госпиталя не останется и камня на камне после…

– Короче! – хрипло воскликнул он. – Я больше не в силах все это выслушивать!

– Пожалуйста, за мной, мистер Баттон.

Он поплелся за ней. Пройдя по длинному коридору, они подошли к помещению, из которого доносились крики и вопли разной степени громкости – да-да, позднее такие палаты прозовут музыкальными. Они вошли.

Рядами вдоль стен стояло с полдюжины белых эмалированных колыбелек на колесах, на изголовье каждой был прицеплен ярлычок.

– И где же мой? – судорожно сглотнул мистер Баттон.

– Вон там! – ответила акушерка.

Мистер Баттон взглянул в направлении, указанном ее пальцем, и вот что он увидел: в одну из колыбелек был, на сколько можно, втиснут завернутый в толстое белое одеяльце старик лет семидесяти. Его редкие волосы были почти совсем седыми, а с подбородка свисала длинная серая борода, нелепо раскачиваясь взад-вперед от теребившего ее ветерка из окошка. Он посмотрел на мистера Баттона тусклыми, поблекшими глазами, в которых читался один огромный вопрос.

– Я что, сошел с ума? – разразился мистер Баттон; его страх сменился яростью. – Что это за отвратительные медицинские шутки?

– Нам тут не до шуток, – строго ответила акушерка. – И я понятия не имею, в своем ли вы уме, но могу вас уверить, что это именно ваш ребенок!

На лбу мистера Баттона опять выступила испарина. Он закрыл глаза, затем открыл и снова посмотрел туда. Ошибки не было: он видел перед собой мужчину семидесяти лет, то есть ребенка семидесяти лет, ребенка, чьи ножищи не помещались в колыбель и свисали по бокам!

Старик некоторое время безмятежно смотрел то на него, то на акушерку, а затем вдруг заговорил надтреснутым старческим голосом:

– Ты мой отец? – спросил он.

Мистер Баттон и акушерка резко вздрогнули.

– Если да, – ворчливо продолжал старик, – то будь так добр, забери меня отсюда. Или хотя бы сделай так, чтобы они сюда принесли кресло-качалку, да поудобнее!

– Во имя Господа, откуда ты взялся? Кто ты такой? – в бешенстве воскликнул мистер Баттон.

– Точно тебе не скажу, – проворчал нытик, – потому что я только что родился, точно знаю только, что фамилия моя Баттон.

– Ты лжешь! Ты обманщик!

Старик устало повернулся к акушерке.

– Вот как он рад новорожденному, – слабым голосом посетовал он. – Скажите же ему, что он ошибается, давайте же!

– Вы ошибаетесь, мистер Баттон, – строго сказала акушерка. – Это ваш ребенок, и вам придется с этим смириться. Мы вынуждены просить вас забрать его домой как можно скорее – лучше прямо сегодня.

– Домой?! – не веря, переспросил мистер Баттон.

– Да, мы не можем держать его здесь. Понимаете, мы действительно не можем!

– Я этому крайне рад, – опять заныл старик. – Что за место для карапуза, обожающего тишину! Из-за этого воя и воплей я ни минуты не спал! Я просил чего-нибудь поесть, – тут в его голосе послышалось пронзительное негодование, – а они принесли мне бутылочку молока!

Мистер Баттон рухнул на стул рядом с сыном и закрыл руками лицо.

– Боже мой! – пробормотал он, в полнейшем ужасе. – Что люди скажут? И что мне теперь делать?

– Вы должны забрать его домой, – настойчиво повторила акушерка. – Немедленно!

Перед глазами мученика со всей ужасающей ясностью возникла гротескная картина: вот он идет по людным городским улицам, а рядом с ним шагает это внушающее ужас явление…

– Не могу… Я не могу, – простонал он.

Люди станут останавливаться, чтобы поговорить, и что он будет говорить? Он будет вынужден представлять его, этого древнего старца: «Это мой сын, родился сегодня под утро». А затем старик подоткнет свое одеяльце, и они побредут дальше, мимо суетливых лавок, мимо невольничьего рынка – на одно жуткое мгновение мистер Баттон страстно пожелал, чтобы его сын родился черным! – мимо роскошных домов фешенебельного квартала, мимо дома престарелых…

– Ну-ка, сейчас же возьмите себя в руки! – скомандовала акушерка.

– Послушайте-ка, – вдруг заговорил старик, – если вы вдруг подумали, что я пойду домой в этом одеяльце, то вы решительно заблуждаетесь!

– Дети всегда в одеяльцах!

Злобно крякнув, старик взмахнул маленькой белой пеленкой.

– Смотри! – дрожащим голосом сказал он. – Вот что они мне дали!

– Все дети такие носят, – натянуто сказала акушерка.

– Ну что ж, – сказал старик, – сейчас увидите, что на этом ребенке ровно через две минуты не будет вообще ничего! Одеяло колется. Дали бы хоть простыню, что ли.

– Нет, только не снимай! – быстро сказал мистер Баттон и повернулся к акушерке. – Что посоветуете?

– Сходите в магазин и купите сыну одежду.

Уже в нижнем холле до мистера Баттона донесся голос сына:

– И трость, папаша! Мне нужна трость…

Выйдя на улицу, мистер Баттон в ярости хлопнул дверью.

II

– Доброе утро, – нервно поздоровался мистер Баттон с приказчиком универмага «Чезапик Драй Гуде». – Мне нужна одежда для моего ребенка.

– Сколько лет вашему ребенку?

– Ну, где-то шесть часов, – не подумав, ответил мистер Баттон.

– Отдел для младенцев с другой стороны.

– Ох, даже не знаю… Не думаю, что мне это подойдет. У меня… Он очень крупный ребенок, необычный. На редкость… крупный.

– Там есть самые большие детские размеры.

– А где отдел для подростков? – спросил мистер Баттон в отчаянной попытке сменить тему. Ему показалось, что приказчик уже догадался о его позорной тайне.

– Здесь.

– Ну… – Он замешкался.

Сама мысль о том, чтобы одеть сына во взрослую одежду, казалась невыносимой. Вот если бы только удалось найти очень большой подростковый костюмчик… Тогда можно будет отрезать эту длинную ужасную бороду, покрасить волосы в темный цвет, и худшее будет надежно спрятано, а ему удастся сохранить хотя бы толику своей пошатнувшейся самооценки, не говоря уже о положении в балтиморском обществе…

Однако энергичное исследование подросткового отдела показало, что здесь нет подходящего костюмчика для новорожденного Баттона. Само собой, виноват был магазин, ведь в таких случаях всегда виноват магазин!

– Простите – сколько, вы сказали, вашему мальчику? – с любопытством осведомился приказчик.

– Ему? Шестнадцать…

– Ах, прошу прощения! Мне послышалось, будто вы сказали «шесть часов». Отдел для юношей в следующем крыле.

Мистер Баттон в печали пошел прочь. Но вдруг остановился, просиял и показал пальцем на манекен в витрине.

– Вот! – воскликнул он. – Я возьму этот костюмчик! Вон тот, что на манекене!

Приказчик посмотрел на витрину.

– Но, – возразил он, – это же не детский костюм… Ну, то есть детский, но это ведь для маскарада! Он же вам будет впору!

– Заверните! – нервно, но твердо заявил покупатель. – Это то, что нужно!

Изумленный приказчик повиновался.

Вернувшись в госпиталь, мистер Баттон вошел в палату и почти швырнул сверток сыну.

– Вот тебе одежда! – выпалил он.

Старик развязал веревку и стал недоуменно рассматривать покупку.

– Выглядит как-то странно, – пожаловался он. – Я не желаю, чтобы меня наряжали, как клоуна…

– А я не желаю, чтобы клоуна делали из меня! – яростно перебил его мистер Баттон. – Как ты выглядишь – не твое дело! Сейчас же надевай, а не то… А не то я тебя отшлепаю! – Он неуверенно сглотнул на последнем слове, чувствуя тем не менее, что сказал именно то, что нужно было сказать.

– Хорошо, отец, – последовал ответ в тоне гротескно преувеличенной сыновней почтительности, – ты ведь уже жизнь прожил, так что знаешь лучше… Как скажешь.

Как и ранее, при слове «отец» мистер Баттон резко вздрогнул.

– И поторапливайся!

– Да-да, уже иду, отец.

Когда сын оделся, мистер Баттон с тоской его оглядел. Костюм состоял из носков в горошек, розовых штанишек и приталенной ремешком блузы с широким белым воротником. Надо всем этим колыхалась длинная седая борода, свисая почти до пояса. Смотрелось ужасно.

– Погоди-ка…

Мистер Баттон схватил больничные ножницы и тремя быстрыми движениями ампутировал большой кусок бороды. Но даже после этой модернизации ансамбль смотрелся далеко не идеально. Оставшаяся кисточка чахлых волос, водянистый взгляд, старческие зубы никак не соответствовали веселому костюмчику. Но мистер Баттон отличался упрямством – он протянул сыну руку.

– Пошли! – нехотя позвал он.

Сын доверчиво взял его за руку.

– Папа, а как ты меня будешь звать? – дрожащим голосом спросил он, когда они выходили из палаты, – просто «сынок», наверное? Пока не придумаешь мне имя?

Мистер Баттон хмыкнул.

– Не знаю пока, – грубовато ответил он. – Может, назовем тебя Мафусаилом?

III

Даже после того, как нового члена семьи Баттонов коротко постригли и покрасили в неестественный бледно-черный цвет, растительность на лице выбрили до блеска, а затем приодели в детский костюмчик, пошитый на заказ озадаченным портным, Баттонам так и не удалось скрыть тот факт, что их сын слабо подходил на роль первенца. Рост Бенджамина – так его назвали, хотя оскорбительное «Мафусаил» подошло бы больше – составлял пять футов восемь дюймов, невзирая на старческую сутулость. Одеждой этого было не скрыть, и никакая стрижка и подкрашенные брови не маскировали глядевших из-под них поблекших, водянистых и усталых глаз. Нанятая заблаговременно нянька с негодованием покинула дом, как только увидела младенца.

Но мистер Баттон твердо стоял на своем. Бенджамин был младенцем, и младенцем он и будет считаться! Поначалу он объявил, что, если Бенджамину не нравится теплое молочко, он может не есть вообще, но в конце концов его уговорили позволить сыну употреблять хлеб и масло, а также иногда, в порядке компромисса, и овсяную кашу. Однажды он принес домой погремушку, дал ее Бенджамину и недвусмысленно приказал «играть», на что старик устало согласился и весь день послушно гремел игрушкой на весь дом.

Без всяких сомнений, погремушка его раздражала, и он находил себе иные, более спокойные развлечения, когда его оставляли в покое.

Однажды, например, мистер Баттон обнаружил, что за неделю выкурил гораздо больше сигар, чем обычно, – феномен разъяснился через несколько дней, когда он невзначай зашел в детскую: вся комната была в голубоватом дыму, а Бенджамин с виноватым выражением пытался куда-нибудь спрятать окурок черной «гаваны». Здесь требовалась хорошая трепка, но мистер Баттон обнаружил, что не в силах этого сделать. Пришлось всего лишь предупредить сына, что от курения дети перестают расти.

И все же он продолжал упорствовать. Он приносил домой оловянных солдатиков, игрушечную железную дорогу, больших мягких, набитых ватой зверей; для полноты создаваемой им – а хотя бы и только для себя! – иллюзии, он даже требовал от приказчиков в лавке игрушек уверений, что краска с розового утенка не слезет, если малыш засунет игрушку в рот! Но, несмотря на все отцовские усилия, Бенджамин не проявлял к игрушкам никакого интереса. Он тайком спускался вниз по черной лестнице и возвращался в детскую с томом Британской энциклопедии, над которым и корпел весь вечер, а плюшевая буренка и Ноев ковчег так и валялись забытыми на полу. Мистер Баттон был бессилен против такого упрямства.

Поначалу в Балтиморе поднялась грандиозная шумиха. Во что этот казус с социальной точки зрения мог бы обойтись Баттонам и их родне, теперь уже не определить, – внимание города отвлекла разразившаяся Гражданская война. Неизменно вежливое меньшинство поломало голову, подбирая слова поздравлений родителям, и в конце концов остановилось на остроумном замечании о том, что дитя – ну прямо точь-в-точь дедушка; этот факт не подлежал сомнению благодаря общему для всех семидесятилетних состоянию увядания. Мистер и миссис Баттон были этому вовсе не рады, а дедушка Бенджамина – чрезвычайно оскорблен.

Покинув родильное отделение больницы, Бенджамин сразу же принял жизнь такой, какая она есть. Однажды к нему в гости привели нескольких мальчишек, и он провел малоприятный вечер, пытаясь пробудить у себя интерес к волчкам и мраморным шарикам; он даже совершенно случайно умудрился разбить камнем из рогатки кухонное окно, что стало предметом тайной гордости отца.

После этого Бенджамин каждый день стал нарочно что-нибудь разбивать; но занимался он этим лишь потому, что этого от него ждали,

а по натуре он был очень послушным.

Как только первоначальная дедушкина враждебность угасла, Бенджамин и этот джентльмен стали получать громадное обоюдное удовольствие от общения. Эти двое, столь разные по возрасту и жизненному опыту, могли сидеть вдвоем часами, как старики, монотонно и без устали обсуждая мелочи дня. Бенджамин чувствовал себя гораздо лучше в компании деда, нежели с родителями, – те относились к нему с явным благоговейным страхом и, несмотря на свою безграничную власть над ним, часто обращались к нему на «вы».

Как и все остальные, он был озадачен несомненно взрослым состоянием своего ума и тела при рождении. Он взялся за медицинские журналы, но обнаружил, что такие случаи никогда еще не описывались. По настоянию отца он честно пытался играть с другими детьми и часто принимал участие в спокойных играх, – футбол его чрезмерно утомлял, а еще он опасался, что при переломе его старые кости не срастутся.

Когда ему исполнилось пять лет, его отправили в детский сад, где посвящали в искусство наклеивания зеленых бумажек на оранжевые, плетения цветных орнаментов и производства бесконечных картонных цепочек. Он периодически засыпал прямо посреди занятий, и эта привычка раздражала и одновременно пугала его юную воспитательницу. К его счастью, она пожаловалась родителям, и из детского сада его забрали. Друзьям Баттоны заявили, что, по их мнению, он еще слишком мал.

К тому времени, когда ему исполнилось двенадцать, родители к нему привыкли. Привычка, безусловно, имеет огромную силу: они больше не считали, что он отличается от любого другого ребенка, – этот факт вспоминался лишь тогда, когда о нем напоминала какая-нибудь странная аномалия. Но однажды, спустя несколько недель после двенадцатого дня рождения, Бенджамин взглянул в зеркало и сделал – или подумал, что сделал, – изумительное открытие. Кажется, за дюжину лет – да неужели это правда?! – его крашеные волосы стали отливать сталью, утратив белизну. И морщины на лице стали менее заметными. Да и кожа стала выглядеть моложе и здоровее, и даже появился легкий румянец? Он не был уверен… Но точно знал, что больше не сутулится и чувствует он себя гораздо лучше, чем в первые дни своей жизни.

«Да неужели?» – думал он, точнее, едва осмеливался думать!

Он пошел к отцу.

– Я вырос, – решительно заявил он. – Я буду носить длинные брюки.

Отец колебался.

– Ну, не знаю… – сказал он, подумав. – Длинные брюки обычно надевают в четырнадцать лет, а тебе всего двенадцать.

– Но ты же видишь, что я очень рослый для своего возраста! – возразил Бенджамин.

Отец задумчиво на него посмотрел.

– Вряд ли, – сказал он. – Когда мне было двенадцать, я был таким же.

Это была неправда, но Роджер Баттон был связан молчаливым соглашением с самим собой, обязывавшим его верить в нормальность своего сына.

В результате был достигнут компромисс. Бенджамин должен был и дальше подкрашивать голову. Он должен был стараться больше играть с детьми своего возраста. Он не должен был носить очки и не должен был появляться на улице с тростью. Взамен всех этих уступок ему купили первый костюм с длинными взрослыми брюками.

IV

О том, что происходило в жизни Бенджамина Баттона между двенадцатью и двадцатью одним годом, я рассказывать не буду. Достаточно сказать, что это были годы обычного взросления. В восемнадцать Бенджамин выглядел на пятьдесят: волосы стали гуще, седина – темнее; походка стала уверенной, из голоса ушла надтреснутая дрожь, тембр опустился до здорового баритона. Таким его и отправили в Коннектикут на вступительные экзамены в Йельский

университет. Бенджамин успешно сдал экзамены и поступил на первый курс.

На третий день после зачисления он получил уведомление от секретаря колледжа мистера Гарта, в котором тот приглашал его прибыть к нему в кабинет для составления расписания занятий. Взглянув в зеркало, Бенджамин решил, что нужно немного подкрасить посветлевшие волосы. Он торопливо пошарил в ящике стола, однако пузырька с краской там не нашлось. Он тут же вспомнил, что выбросил его позавчера, когда краска кончилась.

Положение было безвыходным. Через пять минут он должен был предстать перед секретарем. Делать было нечего – пришлось идти как есть.

– Доброе утро! – вежливо поздоровался секретарь. – Вы, наверное, пришли поговорить о вашем сыне?

– Ну, собственно говоря, меня зовут Баттон… – начал было Бенджамин, но мистер Гарт его перебил:

– Очень приятно, мистер Баттон. Я как раз жду вашего сына – он должен подойти с минуты на минуту.

– Да это же я! – выпалил Бенджамин. – Я первокурсник.

– Что?!

– Я первокурсник.

– Вы, вероятно, шутите?

– Вовсе нет.

Секретарь нахмурился и посмотрел на лежавший перед ним формуляр:

– Но у меня здесь указано, что мистеру Бенджамину Баттону восемнадцать лет.

– Да, мне восемнадцать, – подтвердил Бенджамин, слегка покраснев.

Секретарь бросил на него утомленный взгляд:

– Разумеется, мистер Баттон, я никак не могу в это поверить.

Бенджамин устало улыбнулся.

– Мне восемнадцать лет, – повторил он.

Секретарь сурово указал на дверь.

– Убирайтесь! – сказал он. – Убирайтесь из университета и выметайтесь из этого города! Вы явно опасны для общества!

– Мне восемнадцать лет.

Мистер Гарт распахнул дверь.

– Ну и ну! – воскликнул он. – Мужчина в таком возрасте и пытается сойти за первокурсника! Так вам, говорите, восемнадцать? Ну что ж, даю вам восемнадцать минут, чтобы убраться вон из этого города.

Бенджамин Баттон вышел из комнаты с гордо поднятой головой, и полдюжины первокурсников, ждавших своей очереди в холле, с любопытством посмотрели ему вслед. Сделав несколько шагов, он обернулся, посмотрел в глаза разъяренному секретарю, все еще стоявшему в дверях, и твердо повторил:

– Мне восемнадцать лет!

Группа первокурсников захихикала, и Бенджамин удалился.

Но ему не суждено было так просто уйти. Печально побрел он к железнодорожной станции – и вдруг обнаружил, что его преследуют первокурсники: сначала группа была небольшой, затем побольше, и вот уже за ним шла плотная толпа. Все уже слышали, как душевнобольной сдал вступительные экзамены в Йель и попытался прикинуться юношей восемнадцати лет. По колледжу прошла волна лихорадочного волнения. Из аудиторий выбегали студенты без шляп, футбольная команда в полном составе бросила тренировку и смешалась с простыми смертными, профессорские жены в шляпках и турнюрах набекрень бежали, вопя, вслед за процессией, непрерывно извергавшей замечания прямо в самые больные места Бенджамина Баттона.

– Да это же Вечный Жид!

– В его возрасте надо поступать в детский сад!

– Вы только посмотрите на юного гения!

– Он, видно, думал, что тут дом престарелых!

– Поезжай в Гарвард!

Бенджамин шел все быстрее, и вскоре он уже бежал. Ну, он им еще покажет! Он действительно поступит в Гарвард, и тогда они еще пожалеют обо всех своих обидных насмешках!

Очутившись в безопасном купе балтиморского поезда, он высунулся в окно.

– Вы еще пожалеете! – крикнул он.

– Ха-ха-ха! – покатывались со смеху первокурсники. – Ха-ха-ха!

Никогда еще Йельский колледж не допускал столь роковой ошибки…

V

В 1880 году Бенджамину Баттону исполнилось двадцать, и свой день рождения он отметил тем, что поступил на работу в отцовскую торговую фирму «Роджер Баттон и Компания». В тот же год он начал «вращаться в обществе», то есть, по настоянию отца, стал появляться вместе с ним на модных танцевальных вечерах. Роджеру Баттону было пятьдесят, и с сыном он общался все больше и больше, ведь с тех пор, как Бенджамин перестал красить волосы (которые все еще отливали сединой), сын с отцом на вид были почти одного возраста, и их легко можно было принять за братьев.

В один из августовских вечеров, облачившись во фраки и белые галстуки, они уселись в фаэтон и поехали на танцевальный вечер в загородный дом Шевлинов, располагавшийся невдалеке от Балтимора. Вечер выдался чудесный. Залитая светом полной луны дорога отливала матовой платиной, а ночные цветы ранней осени наполняли неподвижный воздух ароматами, похожими на тихий, едва слышный смех. Просторную равнину, устланную пшеничной соломой, словно розгами, было видно, как днем. Простая красота небосклона никого не могла бы оставить равнодушным – почти никого.

– В оптовом бизнесе сейчас очень хорошие перспективы, – произнес Роджер Баттон. Он не был чувствительным человеком – его эстетическое чувство было рудиментарным. – Старички вроде меня уже никогда не смогут придумать ничего нового, – серьезно заметил он. – Это для вас, карапузов, с вашей энергией и жизненной силой, открывается блестящее будущее!

Вдалеке, где кончалась дорога, показались огни загородного дома Шевлинов, и тут же издалека до них стали доноситься ритмичные

звуки, похожие на вздохи, – быть может, то был высокий плач скрипок, а может, серебряный шелест пшеницы под луной.

Перед ними медленно двигался красивый экипаж, пассажиры которого подъехали раньше них и стали высаживаться у дверей. Сначала вышла дама, затем пожилой джентльмен, а затем еще одна юная дама – прекрасная, как грех. Бенджамин вздрогнул; по его телу будто разлилось некое вещество, рассеявшее и тут же собравшее заново все составлявшие его атомы. Он выпрямился; щеки и лоб покраснели от прилива крови, а в ушах застучало. Пришла первая любовь!

Девушка была стройной и хрупкой, ее волосы при свете луны казались пепельными, а на крыльце, в свете шипящих газовых фонарей, оттенок становился медовым. На ее плечи была наброшена легкая желтая, в черных бабочках, испанская мантилья; из-под каймы платья с турнюром блестели пуговички ботинок.

Роджер Баттон придвинулся к сыну поближе.

– Это юная Хильдегарда Монкриф, дочь генерала Монкрифа, – сказал он.

Бенджамин нарочито равнодушно кивнул.

– Весьма мила, – безразлично ответил он. Но когда негритенок сел на козлы, чтобы отогнать экипаж, Бенджамин добавил: – Отец! Пожалуй, ты можешь меня ей представить.

Они приблизились к группе гостей, в центре которой находилась мисс Монкриф. Воспитанная в старинных традициях, в ответ на обращение Бенджамина она сделала глубокий реверанс. Да, он может рассчитывать на танец. Он поблагодарил ее и отошел, – его слегка пошатывало.

Как невыносимо долго тянулось время до того момента, когда должна была наступить его очередь пригласить ее на танец! Бенджамин стоял у стены, не проронив ни слова, абсолютно непроницаемый, убийственным взглядом следя за водоворотом отпрысков лучших семей Балтимора, клубившихся со страстным обожанием во взорах вокруг Хильдегарды Монкриф. Бенджамину они все казались отвратительными; что за невыносимый румянец! Их завитые темные усики вызывали у него чувство, похожее на несварение.

Но когда настал его черед и он поплыл вместе с ней по ставшему вдруг ненадежной опорой полу под музыку последнего парижского вальса, вся ревность и беспокойство вдруг растаяли, словно снежинки на плаще. Ничего не замечая во власти очарования, он почувствовал, что жизнь для него только начинается.

– Вы с братом ехали той же дорогой, что и мы? – спросила Хильдегарда, и ее глаза блеснули, как ярко-голубая эмаль.

Бенджамин замялся. Если она приняла их с отцом за братьев, стоило ли ее разубеждать? Он вспомнил, что с ним случилось в Йеле, и решил этого не делать. Невежливо спорить с дамой; было бы преступлением испортить столь чудесный момент гротескной историей своего происхождения. Может быть, позже. Поэтому он кивнул, заулыбался, внимательно слушал – и был счастлив.

– Мне нравятся мужчины в вашем возрасте, – сказала ему Хильдегарда. – Молодые ребята всегда ведут себя по-идиотски. Они вечно рассказывают, как много шампанского выпили в колледже и как много денег проиграли в карты. А мужчины в вашем возрасте ценят женщин!

Бенджамин почувствовал, что вот-вот сделает предложение – лишь с большим трудом ему удалось подавить этот импульс.

– Ваш возраст – это возраст романтики, – продолжила она. – Пятьдесят лет. В двадцать пять мужчины чрезмерно искушены; в тридцать – бледны от постоянной работы; в сорок наступает время длинных историй, которые рассказывают, закурив сигару, и заканчивают, когда сигара докурена до конца; шестьдесят – ну, это уже почти семьдесят… А пятьдесят – это самый спелый возраст. Мне нравится пятьдесят!

И Бенджамину пятьдесят казались великолепным возрастом. Как бы он хотел, чтобы ему было пятьдесят!

– Я всегда говорила, – продолжала Хильдегарда, – что лучше уж выйти замуж за пятидесятилетнего, чтобы обо мне заботились, чем за тридцатилетнего, чтобы заботиться о нем!

Остаток вечера Бенджамин провел в медовом тумане. Хильдегарда танцевала с ним еще два раза, и они обнаружили, что их мнения по всем вопросам дня удивительным образом совпадают. Она согласилась поехать с ним на прогулку в следующее воскресенье, чтобы более подробно все обсудить.

В фаэтоне на пути домой, когда вот-вот должны были показаться первые лучи солнца и наступил час пробуждения первых пчел, а заходящая луна тускло мерцала в каплях прохладной росы, Бенджамин совсем не слушал рассуждения отца об оптовой торговле.

– И как ты считаешь, чему нам стоит уделить наибольшее внимание, если не считать молотков и гвоздей? – говорил старший Баттон.

– Любви, – рассеяно ответил Бенджамин.

– Кровлям? – воскликнул Роджер Баттон. – Да я же только что все тебе рассказал о кровлях!

Бенджамин посмотрел на него туманным взором, и тут же в небе на востоке показались первые лучи солнца, а в кроне пробуждающегося дерева пронзительно зевнула иволга.

VI

Когда шесть месяцев спустя о помолвке мисс Хильдегарды Монкриф и Бенджамина Баттона стало известно (именно «стало известно», поскольку генерал Монкриф объявил, что лучше пронзит свое сердце собственной шпагой, нежели объявит о ней), событие чрезвычайно взбудоражило балтиморское общество. Почти забытая история рождения Бенджамина была снова извлечена на свет Божий и разлетелась на крыльях скандала, приобретая по пути самые невероятные и плутовские формы. Говорили, что на самом деле Бенджамин был отцом Роджера Баттона, что он был его братом, отсидевшим сорок лет в тюрьме, что он был не кто иной, как сам Джон Уилкс Бут в бегах, и наконец, что у него на голове есть пара небольших остреньких рожек.

Воскресные приложения нью-йоркских газет откликнулись на происшествие очаровательными карикатурами, на которых лицо Бенджамина Баттона было приставлено к туловищу рыбы, змеи и,

наконец, медного идола. Среди журналистов он стал известен под именем «Таинственный человек из Мэриленда». Несмотря на все это, правдой – как это обычно и бывает – практически никто не интересовался.

Тем не менее все соглашались с генералом Монкрифом в том, что прекрасная девушка, которая могла бы выйти за любого балтиморского холостяка, «совершила преступление», отдав свое сердце мужчине под пятьдесят. Тщетно старался мистер Роджер Баттон, публикуя свидетельство о рождении своего сына аршинными буквами в балтиморской газете «Блейз». Никто не поверил. Ведь достаточно было просто взглянуть на Бенджамина – и все становилось ясно!

Но никаких колебаний не было у тех двоих, которых эта история касалась непосредственно. О ее женихе распространялось так много лживых слухов, что Хильдегарда упрямо отказывалась верить даже в правду. Тщетно генерал Монкриф обращал ее особое внимание на высокую смертность среди пятидесятилетних мужчин – или же мужчин, лишь выглядевших на пятьдесят; тщетно пытался он убедить ее в нестабильности оптовой торговли. Хильдегарда решила выйти замуж за «спелые» пятьдесят – и она вышла замуж!

VII

По крайней мере в одном друзья Хильдегарды Монкриф точно ошибались. Оптовая торговля процветала самым изумительным образом. За пятнадцать лет, прошедших между женитьбой Бенджамина Баттона в 1880-м и уходом на пенсию его отца в 1895 году, семейное состояние удвоилось, и основная в том заслуга принадлежала младшему владельцу предприятия.

Не стоит и говорить, что пара со временем была принята в круг балтиморского общества. Даже старый генерал Монкриф примирился с зятем после того, как Бенджамин вручил ему деньги на издание его

двадцатитомной «Истории Гражданской войны», которую до того отклонили девять крупных издательств.

Сам Бенджамин за пятнадцать лет сильно изменился. Теперь он чувствовал, что кровь в его венах стала двигаться гораздо быстрее. Он с радостью вставал по утрам, с радостью шел пружинящим шагом по залитой солнцем оживленной улице на работу, где без устали занимался поставками партий молотков и гвоздей. В 1890-м он придумал сделавший его знаменитым в деловом мире ход: в договоры поставок было включено положение о том, что «все гвозди, использованные для упаковочных ящиков, в которых поставляется партия товара, являются собственностью грузополучателя»; положение было одобрено и узаконено председателем Верховного суда Динозауросом, что обеспечило оптовой торговой фирме «Роджер Баттон и Компания» ежегодную экономию в размере шести сотен гвоздей!

Кроме того, Бенджамин обнаружил, что его все больше влекла к себе веселая сторона жизни. Погоня за удовольствиями набирала темп, – в пример можно привести тот факт, что он был первым в Балтиморе, кто купил и научился водить автомобиль. Встречаясь с ним на улице, сверстники всегда с завистью смотрели на него: здоровье и сила прямо-таки бросались в глаза.

«Кажется, он молодеет с каждым годом», – говорили все. И если поначалу Роджер Баттон, которому теперь было шестьдесят пять, не оказал своему сыну достойного приема, то теперь он загладил свою вину, ударившись в самое настоящее низкопоклонство.

И вот тут-то мы и подошли вплотную к неприятной теме, которую лучше было бы побыстрее миновать. Бенджамина Баттона беспокоило лишь одно: он перестал чувствовать влечение к жене.

К тому времени Хильдегарде исполнилось тридцать пять; у нее был четырнадцатилетний сын Роско. Сразу после свадьбы Бенджамин ее боготворил. Годы шли, медовый оттенок волос утратил яркость и стал обычным темным, ярко-голубая эмаль глаз поблекла и стала походить на дешевый фаянс, но главным было не это, а то, что в ее характере проявились степенность, спокойствие, она стала ровной и равнодушной ко всему, отличаясь трезвостью вкусов. В первые годы после свадьбы именно она таскала Банджамина по балам и обедам, а теперь все стало наоборот. Она, конечно, наносила визиты, но уже без

всякого энтузиазма, отдавшись во власть бесконечной инерции, которая в один прекрасный день появляется в жизни любого из нас и остается с нами уже до самого конца.

Недовольство Бенджамина росло. К 1898 году, когда разразилась война с Испанией, его семейная жизнь стала для него настолько пустой, что он решил послужить в армии. Используя свои деловые связи, он выхлопотал себе звание капитана и вскоре показал себя столь способным на новом поприще, что его повысили сначала до майора, а затем и до подполковника, – и в этом звании он принял участие в знаменитой битве за Сан-Хуан. Он был легко ранен и награжден медалью.

Бенджамин так сильно привязался к бодрой и нервной жизни армейского лагеря, что очень жалел, когда ему пришлось уволиться в запас и вернуться домой, – увы, бизнес требовал внимания. На станции его встретили с духовым оркестром и с почетом препроводили до дому.

VIII

Хильдегарда, размахивая большим шелковым флагом, встречала его на крыльце, – едва поцеловав ее, он уже с замиранием сердца осознал, что прошедшие три года взяли-таки свое. Перед ним стояла женщина под сорок, с легкой сединой в волосах. Он приуныл.

Поднявшись в комнату, он случайно взглянул в старое знакомое зеркало – и в беспокойстве подошел поближе, чтобы рассмотреть себя получше и сравнить с собственной фотографией в форме, сделанной прямо перед войной.

– Господи помилуй! – громко воскликнул он. Процесс продолжался. Не было никаких сомнений: теперь он выглядел на тридцать лет.

Он не обрадовался, а почувствовал беспокойство, – он молодел. До сих пор он надеялся, что, как только видимый облик его тела и настоящий возраст сравняются, гротескный феномен, отметивший его рождение, исчезнет сам по себе. Он поежился. Судьба его была ужасна и невероятна.

Внизу его ждала Хильдегарда. Вид у нее был разгневанный, и он подумал о том, что она наконец-то поняла, что что-то было неладно. С трудом ему удалось ослабить возникшее между ними напряжение, и за обедом он как можно деликатнее приступил к обсуждению дела.

– Н-да, – как бы между прочим произнес он, – все говорят, что я стал выглядеть моложе.

Хильдегарда презрительно на него посмотрела и фыркнула:

– Думаешь, есть чем гордиться?

– Да я не горжусь… – поспешно ответил он.

Она опять фыркнула.

– Подумать только! – произнесла она, и затем: – Мне всегда казалось, что тебе должно хватить приличия, чтобы это прекратить!

– Да при чем тут я? – спросил он.

– Я не собираюсь с тобой спорить, – заметила она. – Но все можно делать либо как положено, либо неправильно. Уж если тебе взбрело в голову отличаться ото всех остальных людей, не думаю, что у меня получится тебя остановить, но и разумным я это считать не могу ни в коем случае!

– Но, Хильдегарда… Ведь я ничего не могу поделать.

– Можешь! Ты просто упрямый. Ты вбил себе в голову, что не хочешь быть, как все. Ты всегда был таким, таким ты и останешься. Но задумайся, на что был бы похож мир, если бы все вокруг вели себя так же, как и ты, а?

Поскольку спор был напрасным и спорить было не о чем, Бенджамин промолчал, и с этих пор между ними пролегла глубочайшая бездна. Он думал, как же это ей удалось когда-то его приворожить?

Бездна расширялась, – он обнаружил, что чем ближе был конец века, тем сильнее бурлила в нем жажда развлечений. Ни одна вечеринка в Балтиморе не проходила без него: он танцевал с самыми красивыми и молоденькими чужими женами, обменивался любезностями с самыми популярными дебютантками и находил их

всех очаровательными, а его жена, подобно мрачной вдовствующей королеве, восседала среди матрон, то выражая собою надменный гнев, то следя за ним презрительным, изумленным и укоризненным взором.

– Вы только посмотрите! – говорили люди. – Какая жалость! Молодой парень, в таком возрасте – и связался с женщиной сорока пяти лет. Он же, наверное, лет на двадцать моложе ее!

Они, конечно, забыли – как это свойственно людям, – что об этой же, столь не подходящей друг другу паре, их мамы и папы судачили еще в 1880 году.

Несчастье в семейной жизни Бенджамина компенсировалось пробуждением все новых и новых интересов. Он увлекся гольфом и добился в нем больших успехов. Он увлекался танцами: в 1906-м он был мастером по «бостону», в 1908-м – в совершенстве овладел «матчишем», а в 1909-м все юноши города мечтали научиться танцевать «кастл-уолк», как он.

Его общественная активность до некоторой степени мешала деловой, но он и так уже честно отдал двадцать пять лет оптовой торговле, так что теперь мог с чистой совестью передать дело в руки сына Роско, который недавно окончил Гарвард.

Их с сыном теперь часто принимали друг за друга. И это нравилось Бенджамину, – он стал самым наивным образом любить себя и быстро забыл незаметно подкравшийся страх, овладевший им после возвращения с испанской войны. В бочке меда была лишь одна ложка дегтя: он терпеть не мог появляться в обществе с женой. Хильдегарде было почти пятьдесят, и рядом с ней он чувствовал себя нелепо.

IX

В сентябре 1910 года – спустя несколько лет после того, как оптовая торговая фирма «Роджер Баттон и Компания» перешла в руки молодого Роско Баттона, – мужчина, на вид лет двадцати, приехал

поступать на первый курс Гарвардского университета в Кембридж. Он не совершил ошибку, объявляя, что ему уже никогда опять не исполнится пятьдесят; не стал он и упоминать о том, что его собственный сын окончил этот же университет десять лет назад.

Его приняли, и практически сразу же он смог занять особое положение в классе – отчасти благодаря тому, что выглядел немного старше остальных первокурсников, которым было в среднем по восемнадцать лет.

Но главной составляющей его успеха было то, что в футбольной игре против команды Йеля он сыграл просто фантастически, с таким натиском и такой хладнокровной, беспощадной яростью, что Гарварду было засчитано семь тачдаунов и четырнадцать голов в поле, а одиннадцать игроков команды Йеля в разные моменты игры было унесено с поля в бессознательном состоянии. Он прославился на весь колледж.

Как ни странно, но на предпоследнем курсе он едва-едва попал в команду. Тренеры говорили, что он сбросил в весе, а самые наблюдательные из них заметили, что и ростом он стал пониже. Тачдауны у него больше не получались, да и в команде его оставили лишь в расчете на то, что его потрясающая репутация посеет ужас и панику в команде Йеля.

На последнем курсе в команду он уже не прошел. Он стал столь изящным и хрупким с виду, что какие-то второкурсники однажды приняли его за первокурсника, что ужасно его унизило. Для всех он был чем-то вроде вундеркинда: старшекурсник, которому никак не больше шестнадцати лет. Его же самого все чаще стало изумлять полное отсутствие духовных интересов у его одноклассников. Учиться становилось все тяжелее – предметы казались слишком сложными. Он слышал разговоры одноклассников о знаменитой подготовительной школе Святого Мидаса, где многие учились до колледжа, так что после окончания университета он решил поступать к Святому Мидасу, где можно будет вести уединенную жизнь среди подобных ему мальчишек.

По окончании университета в 1914 году он отправился домой, в Балтимор, с гарвардским дипломом в кармане. Хильдегарда жила теперь в Италии, поэтому Бенджамин жил со своим сыном Роско. Но, несмотря на хорошие, в общем и целом, отношения, со стороны Роско в адрес отца явно не хватало сердечности; сын даже демонстрировал

тенденцию, позволявшую считать, что отцовские бесцельные блуждания по дому в юношеской тоске чем-то сыну мешали. Роско был уже женат и занимал подобающее положение в балтиморском обществе, поэтому даже намек на скандал, связанный с его семьей, был для него немыслим.

Бенджамин, более не принимаемый в обществе дебютанток и студентов, все чаще проводил время в одиночестве; иногда компанию ему составляли трое-четверо четырнадцатилетних соседских мальчишек. Он все чаще задумывался о школе Святого Мидаса.

– Послушай, – сказал он однажды Роско, – я тебе уже не раз говорил, что хочу в подготовительную школу.

– Ладно, поезжай, – коротко ответил Роско. Этот разговор был ему неприятен, ему вовсе не хотелось разговаривать на эту тему.

– Но я же не могу поехать сам! – беспомощно сказал Бенджамин. – Ты должен записать меня туда и отвезти.

– У меня нет на это времени! – грубо оборвал его Роско. Он прищурился и смущенно посмотрел на отца. – Я считаю, – добавил он, – что хватит тебе уже и дальше продолжать в том же духе. Остановись, и побыстрее! Лучше уж… – он запнулся и покраснел, подыскивая слова, – лучше уж разворачивайся обратно и начинай двигаться в другую сторону. Шутка чрезмерно затянулась, это уже не смешно! Веди… Веди себя прилично, наконец!

Бенджамин смотрел на него, чуть не плача.

– И вот еще что, – продолжал Роско. – Когда у нас в доме гости, я хочу, чтобы ты звал меня дядей – не «Роско», а «дядя», понятно? Смешно смотрится, когда пятнадцатилетний мальчишка зовет меня по имени! Можешь даже называть меня «дядя» всегда, так ты быстрее привыкнешь.

Сурово посмотрев на отца, Роско развернулся и ушел.

X

По окончании этого разговора Бенджамин печально побрел наверх и остановился у зеркала. Он не брился уже три месяца, но на лице у него не появилось ничего, кроме легкого белого пушка, с которым не стоило и бороться. Когда он вернулся домой из Гарварда, Роско сразу же предложил ему начать носить очки, накладные усы и бакенбарды, так что показалось, что вот-вот повторится фарс первых лет его жизни. Но под усами чесалось, из-за этого он почувствовал себя униженным, расплакался, и Роско неохотно отступил.

Бенджамин взял книгу рассказов для мальчиков «Юные скауты в Бимини-бэй» и стал читать. Но в голове у него почему-то была одна война. Месяц назад Америка присоединилась к Альянсу союзников, и Бенджамин хотел было отправиться служить – но, увы, в армию брали только с шестнадцати, а он выглядел гораздо младше. Да и его настоящий возраст, пятьдесят семь лет, тоже не позволил бы ему отправиться на войну.

Раздался стук в дверь, после чего появился дворецкий с письмом; оно было адресовано мистеру Бенджамину Баттону, а в углу конверта стоял жирный официальный штамп. Бенджамин в нетерпении разорвал конверт и с чувством глубокого удовлетворения прочитал письмо. В нем было сказано, что многих офицеров запаса, принимавших участие в испанской войне, страна опять призывает на службу – с повышением в чине, – поэтому к письму прилагается официальный приказ о назначении его бригадным генералом армии Соединенных Штатов с указанием явиться немедленно в расположение части.

Бенджамин вскочил, слегка дрожа от переполнявших его чувств. Именно то, чего он хотел! Он схватил кепку и десять минут спустя уже входил в большое ателье на Чарлз-стрит, где ломающимся дискантом осведомился, когда можно будет снять мерку на форму.

– Хочешь поиграть в войну, сынок? – рассеянно спросил портной.

Бенджамин вспыхнул.

– Эй, ты! Не лезь не в свое дело! – в гневе ответил он. – Меня зовут Баттон, я живу на Маунт-Вермон – так что знай, что я имею на это право!

– Да-да, конечно, – смущенно согласился портной. – Не ты, так твой отец – так что все в порядке…

С Бенджамина сняли мерку, и через неделю его форма была готова. Небольшие трудности возникли при приобретении генеральских знаков различия, поскольку торговец упорно настаивал на том, что красивый значок Общества молодых христиан будет выглядеть ничуть не хуже, а играть с ним будет гораздо веселей.

Ничего не сказав Роско, Бенджамин ушел из дому вечером и на поезде добрался до военного лагеря «Мосби» в Южной Каролине, где ему предстояло принять командование пехотной бригадой. Знойным апрельским днем он подъехал ко входу в лагерь, расплатился с таксистом, доставившим его с железнодорожной станции, и повернулся лицом к часовому.

– Вызови кого-нибудь донести мой багаж! – бодро скомандовал он.

Часовой посмотрел на него с укоризной.

– Вот это да! – произнес он. – Ай да генеральчик! И куда же ты собрался, сынок?

Бенджамин, ветеран испанской войны, чуть не испепелил его взглядом, но, увы, с ломким дискантом поделать было ничего нельзя.

– Сми-и-и-рна! – попытался было он оглушить его; умолк, набирая воздуху, – тут часовой неожиданно щелкнул каблуками и отсалютовал винтовкой.

Бенджамин, пряча удовлетворенную улыбку, отвернулся, и тут же улыбка сползла с его лица. Команда была выполнена лишь потому, что к посту приближался внушительный артиллерийский полковник на лошади.

– Полковник! – пронзительно выкрикнул Бенджамин.

Полковник подъехал поближе, опустил поводья и внимательно, с искоркой в глазах, посмотрел на него.

– И чей же тут у нас малыш, а? – ласково спросил он.

– Я, черт тебя дери, сейчас покажу тебе, кто тут у нас малыш! – свирепо возопил Бенджамин. – А ну, слезай с лошади!

Полковник громко расхохотался:

– Желаете коня, генерал?

– Вот! – в отчаянии выкрикнул Бенджамин. – Читай! – И он протянул приказ полковнику.

Полковник прочитал приказ и от удивления вытаращил глаза.

– Где ты это взял? – спросил он, сунув документ себе в карман.

– Получил от правительства, и ты скоро об этом узнаешь!

– Следуй за мной, – сказал полковник и посмотрел на него с недоумением. – Поговорим в штабе. За мной!

Полковник развернулся и направил лошадь шагом к штабу. Делать было нечего – пришлось Бенджамину пойти за ним, сохраняя по возможности достоинство и строя планы суровой мести.

Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Взамен через два дня из Балтимора материализовался его сын Роско, сердитый и злой из-за непредвиденной поездки, и препроводил хнычущего генерала – уже без формы – обратно домой.

XI

В 1920 году у Роско Баттона родился первый ребенок. Во время полагающихся по такому случаю торжеств никто, однако, не счел подобающим даже упомянуть, что неряшливый мальчишка лет десяти, игравший где-то в доме в оловянных солдатиков и миниатюрный цирк, приходился новорожденному родным дедушкой.

Никто не относился плохо к румяному и веселому мальчику, пусть его лицо иногда слегка омрачалось печалью, но для Роско Баттона само его присутствие в доме стало пыткой. Используя расхожее выражение его поколения, Роско не считал все это дело стоящим. Он думал, что отец, отказываясь выглядеть на свои шестьдесят, вел себя не так, как это было положено «настоящему мужику» – так любил говорить Роско, – а странно и превратно. Задуматься об этом деле хотя бы на полчаса означало для него подойти вплотную к грани безумия. Роско соглашался, что те, у кого «еще есть порох в пороховницах», могут выглядеть молодо, однако столь буквальное выполнение этого правила, как бы это сказать… «не стоило того». И на этом мысль Роско иссякала.

Через пять лет сын Роско подрос и уже мог играть вместе с маленьким Бенджамином под присмотром той же няни. Роско в один и

тот же день отвел обоих детей в детский сад, и Бенджамин обнаружил, что игра с маленькими полосками цветной бумаги, из которой можно создавать орнаменты и цепочки, а также забавные и красивые аппликации, – самая чудесная игра в мире! Однажды он расшалился, его поставили в угол, и он расплакался, но в основном время проходило весело, в светлой комнате, в окна которой светило солнышко, а еще добрая мисс Бэйли часто гладила его по взъерошенной голове.

Сын Роско через год перешел в первый класс, а Бенджамин остался в детском саду. Ему там было очень хорошо. Иногда, когда другие малыши говорили о том, кем они станут, когда вырастут, его детское личико чуть мрачнело, будто в его детских неясных мыслях появлялось четкое понимание того, что для него все это было уже невозможно.

Дни текли сплошным монотонным потоком. Он третий год подряд ходил в детский сад, но теперь он был слишком мал для того, чтобы понять, зачем нужны яркие блестящие полоски бумаги. Он плакал, потому что другие мальчишки были больше его и он их боялся. Воспитательница что-то говорила ему, но он совершенно ничего не понимал, хотя и очень старался.

Его забрали из детского сада. Няня – он звал ее «Нана» – в накрахмаленном полосатом платье стала центром его маленького мира. В солнечные дни они гуляли в парке; Нана показала на огромное серое чудовище и сказала «слон», а Бенджамин повторил за ней, и вечером, ложась спать, он несколько раз повторил: «Слон, слон, слон!» Иногда Нана разрешала ему попрыгать на кровати, и это было весело, потому что, если приземлиться и сесть прямо, кровать спружинит и подбросит тебя вверх, а если говорить «А-а-а!», когда прыгаешь, то получается очень смешной звук.

Ему очень нравилась большая трость из прихожей – с ней можно было бегать, воюя с ножками стульев и столов, крича: «На тебе! На тебе!» Иногда вокруг были люди, и старушки всегда начинали сюсюкать, что было интересно, а девушки всегда пытались его поцеловать, что было неинтересно, но он не сопротивлялся. А когда в пять часов вечера долгий день подходил к концу, он поднимался наверх вместе с няней, где его с ложечки кормили геркулесовой кашей и вкусным протертым пюре.

В его детских снах не было никаких мучительных воспоминаний; ничто не напоминало ему об атлетических успехах в колледже или о том блестящем времени, когда он волновал девичьи сердца. Для него существовали лишь белые и надежные стенки кроватки, Нана и какой-то человек, приходивший на него иногда посмотреть, и еще огромный далекий оранжевый шар, на который Нана показывала пальцем, когда наступала пора спать, и который она называла «солнышко». Когда солнышко закатывалось, его глазки уже сами собой закрывались – и не было никаких снов, никаких беспокойных снов…

Прошлое – смелая атака у Сан-Хуана во главе подразделения; первые годы после свадьбы, когда он летними вечерами засиживался допоздна на работе ради юной Хильдегарды, которую любил; время до свадьбы, когда, покуривая трубку, он вместе с дедом сидел ночи напролет на крылечке старого мрачного дома Баттонов на Монро-стрит, – все это исчезло из его сознания, точно пустые грезы, как будто этого всего никогда и не было. Он не помнил!

Он не помнил, было ли молочко, которым его поили, теплым или прохладным, не помнил, как проходили дни, – для него существовала лишь кроватка и рядом с ней его няня. А затем он не помнил уже ничего. Когда ему хотелось есть, он плакал – вот и все. Днем и ночью он дышал, а над ним раздавались негромкие звуки и бормотание, которые он едва слышал, еще были едва различимые запахи, а еще свет и темнота.

А затем осталась только темнота: белая кроватка, и размытые лица над ним, и теплый сладковатый аромат молока – все исчезло из его сознания.

Тарквиний из Чипсайда

I

Шум бегущих шагов: темп задают мягкие подошвы легких туфель из дорогой цейлонской кожи; за ними, на расстоянии броска камня, следуют высокие ботинки на прочной толстой подошве, две пары, темно-синие, с забрызганной грязью позолотой, отражающей неясными отблесками лунный свет.

Легкие туфли молнией проскочили залитый лунным светом открытый участок и устремились в темный лабиринт аллей, оставляя за собой все более удаляющийся неясный шум шагов, исчезнувший где-то в кромешной тьме впереди. Появляются высокие ботинки с криво накинутыми плюмажами, над ними – обнаженные короткие клинки; слышно, как на бегу они чертыхаются и проклинают лондонские закоулки.

Легкие туфли подбегают к утонувшим в темноте воротам и продираются сквозь живую изгородь. Высокие ботинки тоже подбегают к воротам и продираются сквозь живую изгородь, – впереди вдруг неожиданно возникает ночной дозор: двое солдат с пиками, свирепые с виду, как и положено ветеранам голландских и испанских походов.

Но никто не зовет на помощь. Преследуемый, задыхаясь, не падает ниц пред стражами, судорожно хватаясь за кошель; преследователи тоже не поднимают шум, не кричат: «Держи! Хватай!» Легкие туфли, как порыв ветра, проносятся дальше. Стражники чертыхаются, останавливаются и недоуменно глядят вслед беглецу, затем зловеще скрещивают пики над дорогой, поджидая высокие ботинки. Как огромная рука, тьма скрывает луну.

Когда снова выходит луна, в бледном свете вновь проявляются карнизы, окна – и стражники, израненные и валяющиеся в придорожной пыли. Высокие ботинки бегут дальше, вдоль по дороге;

один из них оставляет за собой цепочку темных пятен и неуклюже, на бегу, перевязывает рану дорогим кружевом, сорванным с шеи.

Стражникам сегодня не повезло: сегодня был день Сатаны, и, кажется, тот, кто был еле виден впереди, тот, кто перескочил через забор у калитки, и был самим чертом. Больше того, противник явно чувствовал себя как дома в этой части Лондона, которая, казалось, специально создавалась для его низких целей, поскольку дорога, как на картинке, все более сужалась, а дома становились все ниже и ниже, устраивая идеальные закоулки для засад, убийств и их театральных сестер – внезапных смертей.

Все дальше по длинным извилистым тропинкам продвигалась жертва и гончие, то исчезая, то появляясь в лунном свете, как фигуры на бесконечной неровной шахматной доске. Преследуемый беглец, уже потерявший по дороге свою короткую кожаную куртку и почти ослепленный падающими со лба каплями пота, стал в отчаянии осматриваться вокруг. И тотчас же он внезапно замедлил бег, пробежал немного назад и нырнул в боковую аллею, такую темную, что, казалось, и луна, и солнце не заглядывали туда с тех самых пор, как с этого места со скрежетом сполз последний ледник. Через пару сотен ярдов он остановился и втиснулся в нишу в стене, съежившись и затаив дыхание, как гротескное изваяние, бесплотное и незаметное в темноте.

Высокие ботинки, две пары, приблизились, поравнялись с ним, пробежали мимо, а через двадцать ярдов остановились; их обладатели шепотом обменялись глухими фразами:

– Я все время слышал его: он остановился.

– Шагов двадцать назад.

– Он спрятался!

– Будем держаться вместе, и мы его прирежем.

Голоса смолкли; слышался только шорох шагов, но обладатель легких туфель не стал ждать продолжения беседы – в три прыжка он пересек аллею, подпрыгнул, на мгновение задержавшись на вершине стены, как огромная птица, и исчез, будто проглоченный в одно мгновение голодной ночью.

II

Читал в постели, за обедом,
Читал везде – живых не ведал
И жил, лишь мертвецов любя.
До смерти зачитал себя!

Любой посетитель старинного кладбища, заложенного во времена Якова Первого и расположенного недалеко от Пэт-Хилл, повторит вам наизусть эти вирши с гробницы Уизела Кэстера, являющиеся, без сомнения, одной из худших эпитафий, начертанных во времена королевы Елизаветы.

Историк поведает, что человек этот скончался тридцати семи лет от роду, однако наш рассказ начался с совершенно определенного момента, а именно с ночной погони, так что мы обнаружим его в добром здравии, погруженным в чтение. Он был близорук, с явственно выделявшимся брюшком, плохо сложен и – прости, Господи! – с виду ленив. Но эпоха есть эпоха, и во времена правления Елизаветы, милостью Лютера и королевы Английской, никто не мог не воспламениться от искры читательского энтузиазма. Ведь каждый приход Чипсайда издавал собственный Magnum Folium (или какой-нибудь журнал), наполненный новейшими белыми стихами; содружество актеров Чипсайда без всяких раздумий ставило что угодно, лишь бы пьеса отличалась «от этих реакционных мираклей», а новый перевод Библии выдержал уже семь «массовых» изданий за последние семь месяцев.

И вот Уизел Кэстер (который в юности ходил в море) теперь стал неутомимым читателем, не пропускавшим ни единого слова, начертанного на бумаге и попавшего в его руки: он читал манускрипты о священном огне дружбы; за обедом просматривал молодых поэтов; он шатался у лавок, публиковавших и продававших Magna Folia, и

внимательно слушал диспуты молодых драматургов, нередко переходившие в брань, с язвительными и злобными обвинениями друг друга – нередко за глаза – в плагиате и вообще во всех смертных грехах.

Сегодня перед ним была книга – или, лучше сказать, работа, – в которой, как он предполагал, несмотря на некоторую необычность стиха, можно было обнаружить замечательную в своем роде политическую сатиру. В дрожащем свете свечи перед ним лежала «Королева фей» Эдмунда Спенсера. Продравшись сквозь первую песнь, он принялся за следующую:

Легенда о Бритомарте, или О целомудрии

Мне не хватает слов, чтобы воспеть
Великую из многих добродетель,
Что «целомудрием» зовется в мире…

Внезапно на лестнице послышался шорох шагов, со скрипом растворилась настежь хлипкая дверь, и в комнату ввалился человек – тяжело и судорожно дышащий мужчина без куртки, в полуобморочном состоянии.

– Уизел, – речь давалась ему с трудом, – спрячь меня где-нибудь, во имя Девы!

Кэстер встал, аккуратно закрыл книгу и со скептическим выражением запер дверь на засов.

– Меня ищут! – воскликнул обладатель легких туфель. – Клянусь, двое полоумных с клинками пытались превратить меня в фарш, и это им едва не удалось! Они видели, как я перепрыгнул через стену во двор.

– Для того чтобы надежно оградить тебя от возмездия человечества, потребуется несколько батальонов, вооруженных мушкетонами, а также две или три армады, – произнес Уизел, с любопытством глядя на него.

Обладатель легких туфель удовлетворенно улыбнулся. Его судорожные вдохи постепенно сменились обычным учащенным дыханием; испуг нагоняемой жертвы уступил место смятенной иронии.

– Я несколько удивлен… – продолжил Уизел.

– Две такие ужасные гориллы…

– Выходит, всего их было три!

– Только две, если ты меня им не выдашь. Давай, давай скорее! Уже через мгновение они будут на лестнице!

Уизел вытянул из кучи хлама в углу старое копье без наконечника, приставил его к высокому потолку и открыл им крышку люка, ведущего на чердак.

– Лестницы нет.

Он придвинул скамейку прямо под люк, на нее вскочили легкие туфли, их обладатель присел, замешкавшись, затем опять присел и ловко прыгнул вверх. Он схватился за край люка, на мгновение повис, раскачиваясь, чтобы схватиться за край поудобнее; затем подтянулся и исчез во тьме наверху. Послышался шорох разбегавшихся крыс, крышка люка была водворена на место, все стихло…

Уизел вернулся к своему столу, снова открыл «Легенду о Бритомарте, или о Целомудрии» и замер в ожидании.

Через минуту послышался скрип ступеней и громкий стук в дверь. Уизел вздохнул и, взяв в руки свечу, встал:

– Кто там?

– Открывай!

– Кто там?!

От резкого удара хрупкое дерево даже расщепилось у края. Уизел чуть приоткрыл дверь – дюйма на три – и высоко поднял свечу. Он собирался надеть маску робкого респектабельного гражданина, которого совершенно беспардонным образом побеспокоили в неурочный час.

– Едва лишь смог заснуть! Всего один час отдыха! Неужели и это слишком много?! Неужели каждый ночной пьянчуга и…

– Молчи, болтун! Он пробежал сюда?

На ступенях узкой лестницы покачивались огромные тени двух кавалеров; в свете свечи Уизел смог рассмотреть их внимательно. Это были настоящие джентльмены в богатой одежде, явно одевавшиеся второпях; один был серьезно ранен в руку; оба излучали ярость и ужас. Отмахнувшись от недоумевающего Уизела, они вломились в комнату и стали методично тыкать клинками во все подозрительные темные углы гостиной, а затем продолжили поиски в спальне Уизела.

– Где он спрятался? – в ярости воскликнул раненый.

– Кто «он»?

– Тот человек, не ты.

– Насколько мне известно, здесь, кроме меня, находятся еще только двое.

В следующую секунду Уизел пожалел, что открыл рот, поскольку кавалеры, как видно, потеряли чувство юмора и, кажется, собирались проткнуть его насквозь.

– Я слышал, как кто-то шел по лестнице, – поспешил добавить он, – минут пять назад, а то и больше. Верней всего, он передумал идти наверх.

Он хотел было продолжить и объяснить им, что был полностью поглощен «Королевой фей», но – по крайней мере в этот час – его гости, подобно ангелам, были совершенно равнодушны к культуре.

– Что произошло? – осведомился Уизел.

– Насилие! – ответил человек с раной на руке. Уизел отметил, что он выглядел обезумевшим. – Моя сестра. Господи, только отдай в наши руки этого человека!

Уизел заморгал:

– Кто преступник?

– Клянусь Богом! Мы не знаем даже этого. А что это за люк наверху? – неожиданно спросил он.

– Он заколочен. Его не открывали уже несколько лет. – Он подумал о стоявшем в углу шесте, и сердце его ушло в пятки, но отчаяние притупило сообразительность визитеров.

– Тут нужна лестница, если ты не акробат, – вяло произнес раненый.

Его товарищ истерически рассмеялся:

– Акробат. Да, акробат! Ох…

Уизел удивленно смотрел на них.

– Как это ни горько, – воскликнул человек, – но именно что никто – да, никто! – кроме акробата, не смог бы уйти от нас!

Кавалер с раной на руке в нетерпении щелкнул пальцами здоровой руки:

– Нужно сходить в соседнюю квартиру – во все квартиры.

И, потеряв надежду, они ушли, хмурые, словно грозовые тучи.

Уизел закрыл и запер на задвижку дверь, затем немного постоял около нее, почувствовав укол жалости.

Приглушенное «Эй!» заставило его поднять голову. Обладатель легких туфель уже приподнял крышку люка и оглядывал комнату сверху. Лицом он напоминал веселого эльфа – полубрезгливого-полуразозленного.

– А головы они, наверное, на ночь снимают вместе со шлемами, – шепотом заметил он. – Но что касается нас с тобой, Уизел, так мы свои всегда носим на плечах.

– Да будь ты проклят, – яростно воскликнул Уизел. – Я знаю, что ты подлец, но даже половины того, что я услышал здесь, хватит, чтобы понять, что ты такая дрянь, что у меня руки чешутся проломить твой череп.

Обладатель легких туфель уставился на него, удивленно мигая.

– Во всяком случае, – сказал он спустя некоторое время, – я нахожу, что в таком положении разговор о моем звании невозможен.

С этими словами он стал опускаться вниз: на мгновение повис, держась за край люка, и спрыгнул на пол, пролетев добрых семь футов.

– Один крысеныш там, наверху, долго рассматривал мое ухо с видом гурмана, – продолжил он, отряхивая руки о бриджи. – Пришлось объяснить ему на понятном всем крысам языке, что я смертельно ядовит, после чего он счел разумным удалиться.

– Ну что ж, я хотел бы послушать рассказ о сегодняшнем ночном разврате, – сердито произнес Уизел.

Обладатель легких туфель приставил большой палец к носу и насмешливо помахал Уизелу остальными пальцами.

– Шут гороховый! – пробормотал Уизел.

– У тебя есть бумага? – неожиданно спросил обладатель легких туфель и тут же резко добавил: – Да, а писать-то ты умеешь?

– А почему я должен давать тебе бумагу?

– Ты хотел рассказ о ночных увеселениях. И ты его получишь, если дашь мне перо, чернила, пачку бумаги и комнату, где я смогу писать в одиночестве.

Уизел колебался.

– Уходи! – наконец сказал он.

– Как пожелаешь. Однако ты упускаешь довольно любопытную историю.

Уизел дрогнул – его сердце было мягким, как воск, – и сдался. Обладатель легких туфель прошел в соседнюю комнату со скудным запасом письменных принадлежностей и аккуратно закрыл за собой дверь. Уизел тяжело вздохнул и вернулся к «Королеве фей»; в доме снова воцарилась тишина.

III

Промчался четвертый час ночи. Пропитанная холодом и влагой тьма снаружи померкла, а комната потускнела, и Уизел, подперев руками голову, низко склонился над столом, напряженно вглядываясь в кружево рыцарей, фей и злоключений множества девиц. На узкой улице снаружи слышалось громкое фырканье драконов; когда заспанный подмастерье оружейника приступил к работе в половине пятого утра, эхо превратило громкий звон наколенников и кольчуги в шум марширующей кавалькады.

С первым лучом солнца появился туман, и когда Уизел в шесть утра на цыпочках подошел к своей скромной опочивальне и открыл дверь, комната была залита серо-желтым светом. Его гость обратил к нему пергаментно-бледное лицо, на котором, как две заглавные алые буквы, горели безумные глаза. В качестве письменного стола он воспользовался молитвенной скамейкой Уизела, придвинув к ней стул; на ней уже громоздилась внушительная стопка густо исписанных

страниц. С глубоким вздохом Уизел удалился обратно к своим сиренам, обозвав себя дураком потому, что не посмел лечь в собственную постель на рассвете.

Шум шагов с улицы, брюзжащие голоса соседских старух и глухой утренний шум подействовали на него расслабляюще, и, засыпая, он тяжело опустился на стул, а его мозг, перегруженный звуками и красками, продолжал переваривать заполнявшие его образы. В этом беспокойном сне он был одним из тысячи стонущих тел, поверженных под палящим солнцем, беспомощной переносицей между открытыми глазами Аполлона. Сон стремился разорвать его, царапая разум, как зазубренный нож. И когда его плеча коснулась горячая рука, он пробудился, едва не закричав, и обнаружил, что в комнате воцарился густой туман, а его гость, серый призрак со смутными очертаниями, стоит рядом с кипой бумаги в руке.

– Думаю, что это один из самых увлекательных рассказов, пусть и не до конца отделанный. Не мог бы ты пока куда-нибудь его спрятать и, во имя Господа, позволить мне лечь спать?

Не дождавшись ответа, он швырнул бумаги Уизелу и, свалившись, как мешок сена, на кушетку в углу, заснул, ровно дыша; во сне у него по-детски забавно дергалась бровь.

Уизел устало зевнул и, глядя на небрежно исписанную неровным почерком первую страницу, начал негромко вслух читать:

Поругание Лукреции

Из лагеря Ардеи осажденной
На черных крыльях похоти хмельной
В Колладиум Тарквиний распаленный…

«О, рыжая ведьма!»

I

Мерлин Грейнджер работал в книжном магазине «Перо Луны»; вы вполне могли там бывать, это прямо за «Ритц-Карлтон», на Сорок седьмой улице. Маленький магазинчик «Перо Луны» обладает – вернее, обладал – весьма романтической атмосферой: в нем всегда царили полумрак и аромат радикализма. Интерьер подсвечивался не то захватывавшими дух ярко-красными и оранжевыми афишами и сиянием корешков специальных изданий, не то качающейся низко висящей лампой под внушительным абажуром из красного сатина, горевшей даже днем. Это был «выдержанный», как хорошее вино, магазин. Слова «Перо Луны», как вышивка, змеились над дверью. Витрины всегда были заполнены тем, что едва-едва прошло сквозь сито литературной цензуры: тома в темно-оранжевых обложках, с красовавшимися на белых прямоугольниках названиями. Все здесь по приказу мудрого и непостижимого мистера Мунлайта Квилла было пропитано ароматом мускуса, что создавало атмосферу не то лавки древностей в Лондоне диккенсовских времен, не то кофейни на теплых берегах Босфора.

С девяти до пяти тридцати Мерлин Грейнджер вопрошал скучающих пожилых дам в черном и юношей с темными кругами под глазами о том, «нравится ли им этот модный, ну-как-его-там…» и не хотели бы они взглянуть на первое издание. А, так вы хотите купить роман с арабом на обложке или сборник новейших сонетов Шекспира, продиктованных им из небытия мисс Саттон из Южной Дакоты… – и он презрительно фыркал. Если говорить честно, его собственные предпочтения склонялись именно в этом направлении, однако служащему «Пера Луны» в рабочее время необходимо было носить маску пресыщенного ценителя.

Закрывая ставней витрину снаружи, попрощавшись с мистером Мунлайтом Квиллом, его помощницей мисс Мак-Крекен и секретаршей мисс Мастерс, каждый вечер в пять тридцать он

отправлялся домой к девушке по имени Каролина. Нет, он не ужинал с Каролиной. Маловероятно, что Каролина согласилась бы вкушать пищу с его комода, на котором в опасной близости от деревенского сыра лежали запонки, а в стакан молока так и норовил попасть конец галстука Мерлина; он никогда не приглашал ее поужинать вместе. Ел он в одиночестве. В кулинарии Брейдждорта на Пятой авеню он покупал коробку крекеров, тюбик рыбного паштета, апельсины или сосиски в маленькой банке, картофельный салат и бутылку безалкогольного напитка, нес все это в свертке в свою комнату на Пятьдесят-какой-то улице и ужинал, глядя на Каролину.

Каролина была яркой молодой особой лет девятнадцати, проживавшей на пару с дамой постарше. Она была похожа на призрак – из-за того, что не существовала вплоть до того момента, когда наступал вечер. Она материализовывалась только тогда, когда около шести в ее квартире зажигался свет, и исчезала не позднее полуночи. Ее уютная квартирка находилась в симпатичном доме, облицованном белым камнем, прямо напротив южной окраины Центрального парка. Ее окна с другой стороны выходили на единственное окно единственной комнаты, занимаемой одним-единственным мистером Грейнджером.

Он звал ее Каролиной, потому что она была похожа на девушку, изображенную на обложке одноименной книги, стоявшей в «Пере Луны».

Так вот, Мерлину Грейнджеру было двадцать пять, он был худ, темноволос, без усов, бороды и всего такого, а Каролина была ослепительно яркой, ее волосы были подобны мерцающей темно-рыжей волне, а черты лица заставляли любого вспомнить о поцелуях – ну, знаете, вам вдруг кажется, что она выглядит точь-в-точь как ваша первая любовь, хотя, взглянув на старое фото, вы тут же убеждаетесь, что это вовсе не так. Обычно она носила розовое или голубое, хотя последнее время стала надевать облегающее черное платье, которым заметно гордилась; надев его, она подолгу стояла и рассматривала что-то на стене, и Мерлин думал, что там, должно быть, располагалось зеркало. Она часто сидела на венском стуле у окна, хотя иногда отдавала дань и шезлонгу под торшером, где выкуривала сигарету, откинувшись назад, – положение ее рук в этот момент Мерлин находил чрезвычайно грациозным.

Иногда она подходила к окну и величественно замирала, глядя на улицу, потому что заблудшая Луна каплями разбрасывала по аллее внизу странный изменчивый блеск, превращая урны и бельевые веревки в живые импрессионистские образы посеребренных бочек и гигантских паучьих сетей. Мерлин, не таясь, сидел у окна, поедая деревенский сыр с сахаром и молоком, и от неожиданности так спешил схватиться за шнур жалюзи, что ронял сыр на колени и проливал молоко, которое оставляло на брюках сахарные пятна, и все-таки у него не было сомнений, что она успевала его заметить.

Иногда в окне показывались и гости: мужчины в смокингах, с перекинутыми через руку пальто и со шляпами в руках, кланявшиеся и говорившие с Каролиной стоя; затем они опять кланялись и исчезали вслед за ней, по всей видимости, сопровождая ее на вечеринку или на бал. Иногда приходили юноши, усаживались, курили сигареты и, кажется, пытались что-то Каролине рассказать, а она либо сидела на венском стуле и внимательно за ними наблюдала, либо возлежала в шезлонге под торшером и выглядела очень загадочной и, само собой, юной.

Мерлину нравилось, когда приходили гости. Некоторых мужчин он вполне одобрял. Иных он лишь вынужденно терпел, а одного или двух даже презирал, особенно наиболее назойливого посетителя, брюнета с черной козлиной бородкой и черной, как смоль, душой, которого он, как ему смутно казалось, где-то видел, но никак не мог вспомнить где.

Жизнь Мерлина не «ограничивалась придуманной им грезой», и это не был «счастливейший час его дней». Он никогда не торопился, чтобы успеть спасти Каролину «из их когтей», и даже не взял ее в жены. Случилось нечто более удивительное и странное – об этом и пойдет наш рассказ. Все началось в один из октябрьских вечеров, когда она неожиданно вошла в выдержанный интерьер «Пера Луны».

Уже темнело, собирался дождь, все было окрашено в те самые серые тона, которые наблюдаются только вечером в Нью-Йорке перед концом света. Завывал ветер, гоняя старые газеты и другой мусор, во всех окнах зажигались огни, на улицах было пустынно, а на душе – тоскливо, и становилось жаль верхушки небоскребов, терявшиеся там, в темно-зеленых и серых облаках; возникало ощущение, что весь этот фарс скоро кончится и тогда все эти здания разлетятся, как карточные домики, а кирпичи, несомненно, свалятся в пыльные кучи, погребя под

собой все те миллионы, которым предназначено было ветром заноситься внутрь и выноситься наружу.

По крайней мере именно такие мысли роились в голове Мерлина Грейнджера, стоявшего у окна и выстраивавшего на витрине дюжину книг после ураганного визита дамы в горностаевом манто. Он смотрел сквозь стекло, думая о печальном: о ранних романах Г. Уэллса, о книге Бытия, о том, как Томас Эдисон заявил, что через тридцать лет на острове не останется ни одного жилого здания, потому что все превратится в один огромный и шумный базар; он выставил последнюю книгу, развернулся, и тут в магазин бесшумно вошла Каролина.

На ней был не строгий, но вполне традиционный прогулочный костюм – так он вспоминал позже. Клетчатая юбка, плиссированная «в гармошку»; мягкий, туго облегающий фигуру жакет; коричневые туфли и гетры. Ансамбль завершала шляпка, небольшая и аккуратная, похожая на верхушку чудесной коробки дорогих конфет.

Мерлин, у которого от удивления перехватило дыхание, в волнении направился к ней.

– Добрый вечер… – произнес он и замолчал.

Ведь он не знал и даже не мог предполагать, что в его жизни вот-вот должно было произойти нечто удивительное и зловещее; что сейчас не требуется ничего, кроме тишины и подобающей случаю толики внимательного ожидания. За минуту до того, как это начало происходить, у него возникло ощущение мгновения тишины, невероятным образом растянувшегося во времени: он увидел сквозь стеклянную перегородку, отделявшую небольшую контору, зловещую коническую голову своего начальника, мистера Мунлайта Квилла, склонившегося над бумагами; он узрел мисс Мак-Крекен и мисс Мастерс в образе двух пятен волос, нависших над документами; над собой он увидал малиновую лампу и с радостью отметил, что она действительно привносит в интерьер книжного магазина приятный романтический колорит.

После этого все и случилось – вернее, начало происходить. Каролина взяла свободно лежавший наверху стопки книг том со стихами, ее изящные белые пальчики быстро перебрали страницы, и вдруг одним ловким движением она подбросила книгу к потолку, и та, застряв, исчезла в малиновом абажуре; сквозь освещенный изнутри

сатин книга выпячивалась темным прямоугольником. Это рассмешило Каролину, и она рассмеялась молодым заразительным смехом, к которому немедленно присоединился Мерлин.

– Она осталась там! – весело воскликнула она. – Она застряла, здорово?

Им обоим это показалось вершиной блестящего абсурда. Они снова рассмеялись на весь магазин, и Мерлину стало хорошо от того, что ее голос оказался глубоким и чарующим.

– Возьмите другую, – неожиданно для себя предложил он, – возьмите ту, красную.

После этого ее смех усилился; ей даже пришлось ухватиться руками за стопку книг, чтобы не упасть.

– «Возьмите другую!» – еле смогла она повторить между приступами веселья. – Черт побери, «возьмите другую»!

– Берите две сразу!

– Да, «берите две сразу»! Господи, сейчас умру от смеха! Ну, поехали…

За словом последовало и дело, она взяла книгу с красной обложкой и отправила ее пологой гиперболой к потолку, где книга погрузилась в абажур рядышком с первой. В течение нескольких минут они только и могли, что раскачиваться взад и вперед в беззвучном смехе; успокоившись, они, ни слова друг другу не говоря, синхронно возобновили спортивные упражнения. Мерлин схватил тяжелый, в дорогом переплете том французской классики и швырнул его по спирали вверх. Аплодируя собственной меткости, в одну руку он взял бестселлер, а в другую – издание об очках и, затаив дыхание, следил, как она совершает бросок. После этого дело пошло как по маслу – еще быстрее и неистовее; иногда они бросали по очереди, и, наблюдая за ней, он поражался, как грациозно было каждое ее движение; иногда кто-нибудь из них делал целую серию бросков, хватая ближайшую книгу и швыряя ее, даже не следя за полетом и сразу хватая следующую. В течение трех минут стол опустел, а малиновый абажур так разбух от находившихся в нем книг, что едва не лопался.

– Глупая игра баскетбол, – с презрением воскликнула она, швырнув книгу. – Годится только для старшеклассниц в отвратительных шароварах!

– Да, идиотизм, – согласился он.

Она остановилась, раздумав бросать книгу, и резко положила ее обратно на стол.

– Ну вот, теперь места достаточно; давайте присядем, – серьезно произнесла она.

Они сели; места хватило обоим. Почувствовав некоторое волнение, Мерлин взглянул через стеклянную перегородку на контору мистера Мунлайта Квилла, но все три головы по-прежнему были склонены над бумагами; они явно не замечали, что происходит в магазине. Поэтому, когда Каролина, опираясь на руки, уселась на стол, Мерлин сделал то же самое, и, сидя рядом, они посмотрели друг другу в глаза.

– Мне очень нужно было с вами увидеться! – начала она, и в ее темных глазах показалась трогательная жалость.

– Понимаю.

– Все потому, что в последний раз, – продолжала она, и ее голос слегка дрожал, хотя она старалась говорить уверенно, – я за вас испугалась. Мне не нравится, что вы обедаете за комодом. Я так боюсь, что вы… Что вы проглотите запонку!

– Да, как-то раз чуть не проглотил, – неохотно признался он, – но это оказалось не так просто, знаете ли. Я хочу сказать, что проглотить плоскую половину нетрудно, и вторую половину тоже – если по отдельности, – но вот чтобы проглотить запонку целиком, нужно иметь совершенно особое горло.

Ему самому было странно, что он так галантно и остроумно отвечает. Впервые в жизни слова прямо-таки слетали с его языка, без всякого усилия собираясь вместе в тщательно организованные взводы и батальоны, будто предоставляемые в его распоряжение педантичными адъютантами в виде готовых параграфов.

– Вот это меня и испугало, – сказала она. – Я знаю, что для этого нужно иметь особое горло, и я знаю – по крайней мере чувствую, – что у вас такого как раз нет.

Он согласно кивнул:

– У меня действительно нет. Оно стоит больших денег – к сожалению, больше, чем есть у меня.

Он не почувствовал никакого стыда, сказав это, – скорее, удовлетворение от того, что признался; он знал, что ничто из того, что он может сказать или сделать, не покажется ей недостойным, и уж

точно не его бедность и объективная невозможность когда-либо с ней расстаться.

Каролина взглянула на свои часики и с тихим возгласом соскочила со стола.

– Уже пять, – воскликнула она. – А я и не заметила! Мне нужно в «Ритц» к пяти тридцати. Надо скорее заканчивать – я заключила пари.

В едином порыве они принялись за работу. Каролина приступила к делу так: ухватила книгу за страницы и, закрутив, отправила ее прямо в стеклянную перегородку, за которой размещалась контора и мистер Мунлайт Квилл. Хозяин бросил быстрый затравленный взгляд, смахнул осколки со стола и как ни в чем не бывало продолжил работать с бумагами. Мисс Мак-Крекен не подала виду, что слышала хоть что-то, а мисс Мастерс вздрогнула и приглушенно вскрикнула, прежде чем снова склониться над бумагами.

Но Мерлин и Каролина не обращали внимания ни на что. В упоительном всплеске энергии они швыряли книгу за книгой; иногда в воздухе оказывалось три или четыре тома одновременно, они бились о полки, расшибали стекла картин на стене, опадали мятыми комками и обрывками страниц на пол. К счастью, ни один покупатель в этот момент не заглянул, поскольку можно сказать с уверенностью, что больше он в этот магазин не зашел бы никогда, – шум был просто ужасным: удары, падения и рвущаяся бумага, изредка еще звон бьющегося стекла, учащенное дыхание пары метателей и периодические взрывы смеха, одолевавшие их обоих время от времени.

В половине шестого Каролина забросила на лампу последнюю книгу, и эта книга стала решающей соломинкой для выросшего в абажуре верблюжьего горба. Ослабевший сатин разорвался и выпустил все свое содержимое в виде одного большого облака белой и цветной бумаги на уже заваленный обрывками пол. После этого со вздохом облегчения Каролина повернулась к Мерлину и протянула ему руку.

– Прощайте, – просто сказала она.

– Вы уходите?

Он уже знал ответ. Его вопрос был просто попыткой отсрочить неизбежный момент расставания, чтобы еще хоть на миг задержать тот ослепительный свет, который он мог видеть лишь в ее присутствии, чтобы хоть чуть-чуть продлить радость, которую он испытывал, глядя

на ее лицо, которое он мечтал поцеловать, потому что оно напоминало ему лицо одной девушки, которую он любил в 1910 году. Еще минуту он ощущал мягкость ее руки, а затем она улыбнулась, убрала руку и, прежде чем он сделал движение, чтобы открыть дверь, открыла ее сама и исчезла в непроницаемых зловещих сумерках, нависших надо всей Сорок седьмой улицей.

Хотелось бы мне рассказать о том, как Мерлин прошел в маленькую контору мистера Мунлайта Квилла, немедленно уволился с этой работы, познав, как красота относится к накопленному годами опыту, и вышел на улицу гораздо более прекрасным, благородным и ироничным человеком. Но правда жизни оказалась гораздо прозаичнее. Мерлин Грейнджер встал и оглядел учиненный в книжном магазине разгром: разорванные книги, сатиновые остатки некогда красивого малинового абажура, кристальный блеск стекла, радужные осколки которого были разбросаны по всему помещению, – а затем пошел в угол, где хранилась метла, и стал подметать, собирая мусор и в меру сил приводя магазин в его прежнее состояние. Он обнаружил, что несмотря на то, что небольшое количество книг осталось неповрежденным, основная часть получила увечья различной степени тяжести. У некоторых были оторваны обложки, из некоторых были вырваны страницы, иные были слегка надорваны, что, как известно любому, даже не слишком аккуратному читателю, автоматически переводит книги в разряд «распродажа».

Тем не менее к шести часам ему удалось ликвидировать большинство разрушений. Он расставил книги по местам, подмел пол и вкрутил новые лампы в патроны. Красный абажур восстановлению не подлежал, и Мерлин с тревогой подумал о том, что деньги на его замену, вероятно, будут удержаны из его жалованья. В шесть вечера, сделав все, что мог, он закрыл ставней витрину. Вернувшись в магазин, он увидел, что мистер Мунлайт Квилл поднялся из-за своего стола, надел пальто, шляпу и вышел из конторы. Он с загадочным видом поклонился Мерлину и направился к двери. Взявшись за ручку, он остановился, повернулся и тоном, в котором ярость мешалась с неуверенностью, сказал:

– Если эта девушка появится здесь снова, скажите ей, чтобы она вела себя прилично.

Ответ Мерлина «Слушаю, сэр» потонул в скрипе открытой им с этими словами двери, и он вышел.

Мерлин на мгновение замер, приказав себе не беспокоиться о том, что в настоящий момент было всего лишь смутно различимым грядущим, а затем прошел в контору и пригласил мисс Мастерс поужинать вместе во французском ресторане Пульпата, в котором, несмотря на все усилия правительства, все еще можно было заказать красное вино. Мисс Мастерс согласилась.

– От вина у меня всегда начинает звенеть в ушах, – сказала она.

Мерлин внутренне расхохотался, сравнив ее с Каролиной – точнее, не сравнив. Не могло быть никакого сравнения!

II

Мистер Мунлайт Квилл, несмотря на всю таинственность, экзотичность и воистину восточный темперамент, был тем не менее решительным человеком, и к проблеме разгромленного магазина он тоже подошел решительно. Ведь без расходов, равных по сумме первоначальной стоимости всего магазина – шаг, на который он по определенным, одному ему известным причинам, идти не хотел, – ему бы не удалось вести книжный бизнес прежним порядком. У него оставалась единственная возможность. Профиль магазина был переориентирован с торговли новинками на букинистику. Поврежденные книги прошли уценку от двадцати пяти до пятидесяти процентов, вывеске над дверью, змеившиеся вязью буквы которой когда-то выглядели такими яркими и блестящими, было дозволено беспрепятственно тускнеть; в целях создания соответствующего антуража владелец даже приобрел две псевдотурецкие тюбетейки из красного войлока, одну для себя, а другую для помощника Мерлина Грейнджера. Более того, своей бородке он позволил отрасти так, что теперь она напоминала оперение антикварной стрелы, и сменил

щеголеватый, всегда с иголочки, деловой костюм на нечто, больше походившее на плащ волшебника из тускло сиявшей ткани альпака.

Фактически через год после катастрофического визита Каролины единственным, что имело в этом магазине хоть какое-то отношение к современности, осталась мисс Мастерс. Мисс Мак-Крекен пошла по стопам мистера Мунлайта Квилла и превратилась в невыносимую неряху.

Мерлин также, то ли из лояльности, то ли из покорности, позволил своему внешнему облику постепенно приобрести черты запущенного сада. Он принял красную фетровую тюбетейку как символ собственного увядания. Он всегда имел репутацию «модника» – с тех пор, как после школы окончил ремесленное училище в Нью-Йорке, где прослыл неисправимым совершенствователем костюмов и причесок, заботящимся не только о зубах, но даже и о бровях, ценителем важности искусства складывать чистые носки пятка к пятке, мысок к мыску в отдельном ящике комода, который приобретал имя «носочного» ящика.

Он знал, что все это и помогло ему завоевать его место среди блеска и великолепия «Пера Луны». Именно благодаря этим качествам он не занимался тем, чему, затаив дыхание, обучался в ремесленном училище: производством «ящиков для хранения вещей» и продажей их всем, кому бы они ни понадобились, а проще говоря, не стал гробовщиком. Тем не менее, когда прогрессивное «Перо Луны» превратилось в антикварное «Перо Луны», он предпочел погружаться вместе с ним, и потому позволил своим костюмам пылиться нетронутыми на открытом воздухе, а носки стал класть, не разбирая, то в «рубашечный», то в «бельевой» ящик, то вообще куда попало. В этом новом беззаботном состоянии ему часто случалось отправлять обратно в стирку совершенно чистые, ни разу не ношенные вещи – обычная эксцентричность обедневших холостяков. И все это свершалось прямо перед обложками его любимых модных журналов, которые в то время были буквально переполнены статьями популярных авторов, направленными против пугающих бесстыдств осуждаемых бедняков, как то: покупка приличных сорочек и съедобного мяса, – а также того факта, что они предпочитали надежные инвестиции в ювелирные украшения солидным вложениям в четырехпроцентные облигации!

Безусловно, время было странное и, более того, все это вызывало сожаление всех достойных богобоязненных людей. Ведь именно тогда впервые в истории Республики любому негру, находившемуся к северу от Джорджии, стали давать сдачу с долларовой банкноты! Но, поскольку в то время цент по покупательной способности быстро приближался к китайскому убо и превращался в призрак, который лишь изредка материализовывался после покупки коробки спичек и мог быть потрачен лишь на одно-единственное взвешивание у врача, когда вам необходимо было выяснить свой точный вес, – это, возможно, и не являлось таким уж необъяснимым феноменом, как казалось на первый взгляд. Тем не менее времена наступили странные, поскольку Мерлин Грейнджер совершил то, что он совершил, а именно рискованный и необдуманный шаг, заключавшийся в предложении «руки и сердца» мисс Мастерс. А что еще более странно – она его приняла!

Предложение прозвучало в один из субботних вечеров у Пульпата, за бутылкой слегка разбавленной vin ordinaire воды стоимостью доллар семьдесят пять.

– От вина у меня всегда начинает звенеть в ушах, а у вас? – весело щебетала мисс Мастерс.

– Да, – не слыша, ответил Мерлин; затем, после долгой взвешенной паузы, сказал: – Мисс Мастерс… Оливия… Послушай, я хочу тебе сказать…

Звон в ушах мисс Мастерс, которая знала, что сейчас последует, усилился настолько, что она чуть не упала в обморок от чрезмерного нервного напряжения. Но ее «Да, Мерлин!» прозвучало безо всякого выдоха или дрожи, вызванных внутренним беспокойством. И Мерлин тоже смог вдохнуть снова появившийся вокруг неведомо откуда воздух.

– Я не обладаю состоянием, – сказал он, как бы делая заявление. – Я не обладаю никаким состоянием.

Их взгляды встретились, задержались, в глазах появились томление, мечта и предвкушение счастья.

– Оливия, – сказал он, – я люблю тебя.

– И я тебя, Мерлин, – произнесла она. – Закажем еще бутылочку вина?

– Да, – воскликнул он, и его сердце учащенно забилось. – Ты хочешь…

– Выпить за нашу помолвку! – продолжила она. – Пусть она будет краткой!

– Нет! – почти что крикнул он, яростно стукнув кулаком по столу. – Пусть она длится вечно!

– Что?

– Я хочу… Ах, да, я понял… Ты права. Пусть она будет краткой. – Он рассмеялся и добавил: – Прости.

Принесли вино, и они стали обсуждать детали.

– Сначала наймем небольшую квартирку, – сказал он. – Да, точно, черт побери! Кажется, я знаю подходящую – в доме, в котором я сейчас живу, есть такая: одна большая комната, небольшая кухня, и можно пользоваться ванной на этом же этаже.

Она захлопала в ладоши от радости, а он подумал, как она все-таки мила – точнее, ее лоб, потому что начиная с переносицы и ниже она выглядела как-то неестественно. Она с энтузиазмом подхватила:

– А как только появится возможность, мы наймем настоящие апартаменты – с лифтом и консьержкой.

– А потом купим домик за городом и машину.

– Ну разве можно желать чего-нибудь еще?!

На мгновение Мерлин замолчал. Он думал о том, что теперь ему придется переехать из его комнаты в торце четвертого этажа. Однако это уже не имело никакого значения. Он ни разу не видел Каролину за прошедшие полтора года – фактически с того самого дня, когда она нанесла визит в «Перо Луны». Спустя неделю после того памятного дня свет в ее окнах перестал зажигаться по вечерам, на аллею выглядывала лишь темнота, которая, казалось, сгущалась перед его замершим в ожидании незанавешенным окном. И вот, наконец, свет снова зажегся, но вместо Каролины и ее гостей там показалась банальная семья – мужчина небольшого роста, с жесткими усами, а также дородная дама, проводившие вечера за меланхоличными пасьянсами. После первых двух вечеров Мерлин безо всякого сожаления закрыл жалюзи.

Нет-нет, Мерлин ни о чем другом и не мечтал, кроме как завоевывать свое место в этом мире на пару с Оливией. У них когда-нибудь будет собственный голубой коттедж в пригороде, лишь чуть-

чуть пониже классом, чем белые оштукатуренные коттеджи под зелеными крышами. В траве у домика будут разбросаны ржавые лопаты, там будут стоять старая скамейка и старая покосившаяся плетеная детская коляска. А всю эту траву, и коляску, и сам домик, и весь его мир будут обнимать руки Оливии, чуть располневшие руки «неооливийского» периода, который наступит, когда при ходьбе ее щеки начнут чуть подрагивать от чересчур усердного массажа лица. Послышался ее голос, совсем рядом:

– Я знаю, что ты собирался сказать об этом вчера, Мерлин. Я видела…

Она видела. Ох, ему стало вдруг интересно, многое ли она была способна заметить? Заметила ли она, что девушка, вошедшая в компании троих мужчин и севшая за соседний столик, была… Каролиной? Да, заметила ли она? Заметила ли она, что у мужчин был с собой ликер – гораздо более сильное средство, чем красные чернила Пульпата, пусть даже и разбавленные в пропорции один к трем?

Мерлин, затаив дыхание, смотрел во все глаза, едва слыша сквозь внезапно окутавшую его стену эфира негромкий успокаивающий монолог Оливии, которая, подобно пчеле, старалась поглотить всю сладость этого незабываемого момента. Мерлин слушал звон кусочков льда и веселый смех, которым четверка отозвалась на какую-то шутку, и смех Каролины, который он так хорошо помнил, взволновал его, заставил его воспарить и приказал его сердцу приземлиться за ее столиком, чему оно послушно и подчинилось. Он мог отлично ее рассмотреть, и ему показалось, что за последние полтора года она слегка изменилась. Возможно, причиной тому был падавший свет – или все же ее щеки слегка впали, а взгляд был уже не так свеж, как раньше, а слегка водянист? Но рыжие волосы все так же отсвечивали темным золотом, губы все так же молили о поцелуе, как и профиль, который иногда возникал прямо перед его глазами, когда он смотрел на ряды книг в сумерках магазина, не освещаемого более лампой в малиновом абажуре.

И она пила! Тройной румянец на ее щеках был порожден молодостью, вином и косметикой – это он мог сказать совершенно точно. Она старалась рассмешить молодого человека, сидевшего слева от нее, и дородного мужчину, сидевшего справа, и даже пожилого господина напротив – последний время от времени издавал резкие

сконфуженные смешки старшего поколения. Мерлин расслышал слова песни, которую она с перерывами напевала:

Коль любишь, пальцами схвати,
На мост бездумно не лети…

Дородный мужчина наполнил ее стакан прохладной амброзией. Официант, совершив несколько кругов вокруг стола и бросив множество растерянных взглядов на Каролину, развлекавшуюся бессмысленным допросом, касающимся сочности того или иного блюда, наконец смог получить некое подобие заказа и поторопился удалиться.

Оливия разговаривала с Мерлином.

– Так когда? – спросила она, и в ее голосе послышалось легкое разочарование.

До него наконец дошло, что он только что ответил «нет» на какой-то вопрос.

– Ну… со временем…

– Тебе что, все равно?

Патетическая резкость вопроса заставила его перевести взгляд на нее.

– Как можно скорее, дорогая, – ответил он неожиданно нежно. – Через два месяца – в июне.

– Так скоро? – От радостного волнения у нее схватило дыхание.

– Ну да. Думаю, нам подойдет июнь. Зачем ждать?

Оливия начала притворяться, что два месяца для нее – слишком короткий срок, она не успеет как следует приготовиться. Какой невоспитанный мальчишка! Не слишком ли ты торопишься, а? Ну что ж, она докажет, что никогда не стоит торопиться, если дело касается нее. Все произошло так неожиданно, что она даже засомневалась, стоит ли ей вообще выходить за него замуж.

– В июне, – с нажимом повторил он.

Оливия вздохнула, улыбнулась и, оттопырив мизинчик, как это полагалось по новой моде, взяла чашку с кофе. У Мерлина тут же

возникло желание приобрести пяток колец и устроить игру в серсо.

– Черт побери! – сказал он вслух. Ведь совсем скоро он действительно наденет кольцо на один из этих пальцев.

Он бросил взгляд вправо. Компания из четырех человек буянила так, что метрдотелю пришлось подойти и сделать им замечание. Каролина разговаривала с метрдотелем на повышенных тонах, ее юный голос был так красив, что, казалось, к разговору прислушивается весь ресторан – весь ресторан, за исключением Оливии Мастерс, полностью поглощенной своим новым секретом.

– Привет, как дела? – говорила Каролина. – Надо же, какой симпатичный метрдотель в неволе. Слишком шумно? Какая жалость. Необходимо что-то предпринять. Жеральд, – она обратилась к мужчине по правую руку, – метрдотель говорит, что здесь слишком шумно. Обращается к нам с просьбой это прекратить. Что ему ответить?

– Тсс! – со смехом ответил Жеральд. – Тсс! – И Мерлин услышал, как он добавил потише: – Сейчас проснется вся буржуазия. Сюда же продавцы ходят «подучить французский»!

Каролина выпрямилась, будто ее ударило током.

– Продавцы? – воскликнула она. – Покажите мне продавца!

Это, по всей видимости, развеселило всю компанию, потому что все, включая Каролину, снова разразились хохотом. Метрдотель, безо всякого успеха честно попытавшись их урезонить еще раз, лишь пожал плечами и удалился, как настоящий галл.

Общеизвестно, что главным достоинством «Пульпата» является табльдот. И это место нельзя назвать веселым в общепринятом смысле этого слова. Вы приходите, усаживаетесь в зале с низким темным потолком, выпиваете немного красного вина, разговариваете чуть больше и громче обычного, а после этого направляетесь домой. Заведение закрывается в девять тридцать, ни минутой позже; полицейский получает заработанное, ему выдается бутылка вина «для миссис», гардеробщица передает вырученные чаевые в общую кассу, и тьма окутывает небольшие круглые столики. Но в этот вечер в «Пульпате» происходило что-то необычайное, радикально отличавшееся от привычного распорядка. Девушка с отсвечивавшими темным золотом рыжими волосами вскочила на стол и начала танцевать прямо на нем.

– Sacre nom de Dieu! Слезайте немедленно! – крикнул метрдотель. – Остановите музыку!

Но музыканты играли так громко, что имели полное право притвориться, будто не услышали его; вспомнив молодость, они стали играть еще громче и еще веселее, а Каролина продолжила свой грациозный быстрый танец на столе; ее тонкое розовое платье обвивалось вокруг тела, а проворные руки энергично двигались в сигарном дыму.

Французы за соседним столиком разразились криками одобрения, к которым присоединились и остальные присутствовавшие, – через мгновение весь зал наполнился аплодисментами и криками; половина ужинавших вскочила и образовала толпу, оттеснившую вызванного в спешном порядке владельца ресторана, неясными выкриками выражавшего свое желание положить всему этому конец как можно скорее.

– Мерлин! – кричала Оливия, опомнившаяся от грез. – Только посмотри – что за порочное создание! Пойдем отсюда – сейчас же!

Зачарованный Мерлин возразил, что они еще не заплатили по счету.

– Ничего страшного. Оставь пять долларов на столе. Я презираю эту девицу! Я не могу ее видеть! – Она уже встала и тянула его за руку.

Покорно, безропотно, но явно против своей воли, Мерлин встал и последовал за Оливией, прокладывавшей себе дорогу сквозь обезумевшую толпу, шум в которой достиг своего апогея и грозил перерасти в настоящие беспорядки. Он покорно принял свое пальто и, спотыкаясь, сделал дюжину шагов, выйдя под апрельский дождь. В ушах все еще слышался топот легких ножек, танцевавших на столе, и звуки смеха, полностью заполнившего весь маленький мирок кафе. Молча они направились к автобусной остановке на Пятой авеню.

Лишь через день она снова заговорила о свадьбе, – она решила поменять дату: лучше всего обвенчаться пораньше – первого мая.

III

И они поженились, и это произошло довольно прозаически, под канделябром в той самой квартире, где Оливия жила со своей мамой. Сразу после свадьбы они витали в облаках, но постепенно все прошло – и наступила скука. На Мерлина свалилась ответственность: теперь он был обязан приносить домой свои тридцать долларов в неделю, которых вместе с ее двадцатью едва хватало, чтобы накапливать на их телах почтенный жирок и скрывать его с помощью приличной одежды.

После нескольких недель, не увенчавшихся успехом экспериментов с близлежащими ресторанами, было решено, что они присоединятся к великой армии потребителей полуфабрикатов, поэтому для него все вернулось на круги своя, и каждый вечер он снова заходил в кулинарию Брейдждорта и покупал картофельный салат, нарезанную ветчину, а иногда, в приступе экстравагантности, даже фаршированные томаты.

Затем он шагал домой, входил в темный холл и поднимался на третий этаж по скрипящей лестнице, покрытой старым, давно утратившим рисунок, ковром. В холле пахло чем-то древним: то ли овощами урожая 1880 года, то ли мебельной политурой, бывшей в моде тогда, когда Брайан по прозвищу «Адам-с-Евой» выступал против Уильяма Мак-Кинли; портьеры здесь весили на унцию больше за счет пыли, собранной ими со стоптанных ботинок и оборок платьев, давным-давно превратившихся в материал для стеганых одеял. Запах преследовал его по всей лестнице, становясь еще более заметным на каждом пролете, где его подчеркивал неистребимый аромат приготовляемой пищи, сменявшийся на следующем пролете давно знакомым духом ушедших поколений.

В конце концов перед ним оказывалась дверь его комнаты, бесшумно распахивавшаяся с почти неприличной готовностью и закрывавшаяся с презрительным фырканьем после его «Дорогая, это я! Приготовься к пиру!».

Оливия, всегда возвращавшаяся домой на верхней площадке автобуса – чтобы «подышать воздухом», – стелила постель и развешивала одежду. Услышав приветствие, она выходила, небрежно целовала его, даже не закрывая глаз, а он неуклюже, как лестницу,

обнимал ее, схватив за руки, будто она должна была вот-вот потерять равновесие и, как только он чуть ослабит хватку, свалиться прямо на пол. Так целуются лишь на втором году брака, когда пару уже не назовешь молодоженами, которые – как говорят те, кто понимают толк в этих вещах, – целуются, словно актеры на сцене.

Они ужинали, а после выходили прогуляться в Центральный парк, располагавшийся в двух кварталах от их дома. Иногда ходили в кино, которое терпеливо растолковывало им, что все в жизни существует именно для них, что впереди у них обязательно что-то великое, выдающееся и прекрасное, нужно лишь быть послушными и покорными своей судьбе и не желать лишнего.

Так они прожили три года. После этого в их жизни наступила перемена: Оливия родила ребенка, ставшего для Мерлина новым потребителем материальных ресурсов. На третьей неделе после родов, прорепетировав целый час, нервничая, он вошел в контору к мистеру Мунлайту Квиллу и потребовал огромную прибавку жалованья.

– Я здесь работаю вот уже десять лет! – заявил он. – С девятнадцати лет! Я всегда прилагал все усилия для процветания бизнеса.

Мистер Мунлайт Квилл ответил, что ему нужно все обдумать. На следующее утро, к великой радости Мерлина, он заявил, что готов предпринять давно обдуманный шаг, – он собирался полностью удалиться от дел, лишь изредка нанося визиты в магазин, а ведение дел он поручит Мерлину, назначив его управляющим с жалованьем пятьдесят долларов в неделю и одной десятой долей прибыли. Когда старик закончил говорить, щеки Мерлина окрасились румянцем, а на глазах выступили слезы. Он схватил руку хозяина и, крепко ее сжимая, забормотал:

– Вы так добры, сэр. Вы чрезвычайно *добры*… Не знаю, как вас благодарить…

Вот так после десяти лет преданной службы ему наконец повезло. При взгляде назад это восхождение к вершине карьеры стало казаться ему вовсе не серым, жалким и суетным десятилетием остывающего энтузиазма и расставания с грезами; это уже не были годы, заставившие потускнеть лунный свет на улице и навсегда унесшие юность из облика Оливии, – нет, теперь ему представлялось, что это было торжественное и славное восхождение вопреки всем

неблагоприятным обстоятельствам, которые он сознательно преодолевал благодаря несокрушимой силе воли. Самообман оптимизма, хранивший его от страданий, нарядился теперь в позолоченные одежды самодовольства. Несколько раз он хотел оставить мистера Мунлайта Квилла и продолжить свой полет, но из чистого сострадания так никуда и не ушел. Как ни странно, теперь он считал, что лишь благодаря собственному упорству он тогда «решил остаться – и победил»!

Тем не менее давайте сейчас не будем пенять Мерлину – пусть он рассматривает себя в новом привлекательном свете. Он ведь все же добился успеха: к тридцати годам он получил хорошую должность. В тот вечер он, сияя, покинул магазин и потратил все свои деньги на лучшие деликатесы из имевшихся у Брейдждорта и шагал домой с великой вестью и четырьмя огромными бумажными пакетами. Не имело никакого значения и то, что Оливия плохо себя чувствовала и не могла есть, и то, что неравная борьба с четырьмя фаршированными томатами увенчалась легкой тошнотой, и даже то, что большинство яств испортилось на следующий день в разморозившемся леднике. Впервые – не считая единственной недели сразу после свадьбы – Мерлин Грейнджер считал, что «у природы нет плохой погоды».

Новорожденного мальчика нарекли Артуром, и их жизнь обрела степенную значимость, а по прошествии некоторого времени – и центр притяжения. Мерлин и Оливия в своей собственной вселенной отошли на второй план; но то, что они утратили как личности, было возвращено им в форме некоей первобытной гордости. Загородный коттедж так и не материализовался, его место заняло месячное пребывание в пансионе в Эшбери-парк; каждый год на две недели, когда Мерлин получал отпуск, они отбывали в веселый вояж, и особенно хорошо становилось в те часы, когда дитя засыпало в большой комнате с окнами на море, а Мерлин мог прогуляться в толпе по тротуару под ручку с Оливией, попыхивая сигарой и пытаясь выглядеть «на миллион долларов».

Почти не замечая, как медленнее стали течь дни и быстрее бежать годы, Мерлин проскочил тридцать один и тридцать два, а затем неожиданно наступил тот возраст, когда река времени смывает почти все остатки прекрасной юности: ему исполнилось тридцать пять. И однажды на Пятой авеню он вновь увидел Каролину.

В солнечное, цветущее пасхальное воскресенье улица представляла собой роскошное зрелище: казалось, весь мир состоял сплошь из апрельских лилий, фраков и шикарных шляпок. Пробило полдень, из соборов высыпал народ, – двери открывались широко, и люди, выходившие наружу, встречавшие знакомых, заводившие беседы, махавшие белыми букетами ожидавшим шоферам, сливались в один сплошной смех, который, казалось, исторгался из громадных уст Святого Симона, Святой Хильды и Святых Апостолов.

Перед собором Святых Апостолов выстроились все двенадцать членов приходского управления, исполнявших освященный временем обряд вручения доверху наполненных пудрой пасхальных яиц пришедшим к службе дебютанткам этого года. Вокруг с удовольствием резвились чудесно выглядевшие дети из самых богатых семей, прекрасно одетые и причесанные, похожие на сияющие бриллианты на пальцах своих матерей. Кажется, сентиментальность требует говорить о бедных детях? Да, но ах… дети богачей! Умытые, опрятные, приятно пахнущие, будущее лицо нации – и, кроме того, разговаривающие так негромко и властно!

Маленькому Артуру исполнилось пять, он был ребенком из «среднего класса». Непримечательный, незаметный, с носом, который так навсегда и остался единственной греческой чертой его лица, он крепко держался за теплую и липкую руку матери. С другой стороны шел Мерлин, и они вместе двигались в расходившейся по домам толпе. На Пятьдесят третьей улице, где было сразу две церкви, образовался самый обширный и плотный людской затор. Скорость движения снизилась до такой степени, что маленькому Артуру без всякого труда удавалось успевать идти со всеми в ногу. Именно здесь Мерлин заметил медленно скользнувшее к обочине и там остановившееся открытое ландо темно-красного цвета с блестящими никелированными деталями. В нем сидела Каролина!

На ней было черное облегающее платье, на руках – бледно-розовые, пахнувшие лавандой перчатки, а на талии красовался пояс из орхидей. Мерлин вздрогнул и в ужасе уставился на нее. Впервые за восемь лет, прошедших с его свадьбы, он вновь встретил эту девушку. Но она более не выглядела девушкой! Она была все так же стройна, хотя не совсем так же, поскольку присущая ей раньше мальчишеская развязность и дерзость юности исчезли, как и детский румянец щек.

Но красота осталась: в ее фигуре появились достоинство и очаровательные признаки двадцатидевятилетнего благополучия; она восседала в ландо так непринужденно и уверенно, что все смотрели на нее, затаив дыхание.

Неожиданно она улыбнулась – той самой улыбкой из прошлого, яркой, как этот пасхальный день и окружавшие ее цветы, чуть более мягкой и от того немного потерявшей блеск и бесконечность обещания, которое она излучала в книжном магазине девять лет назад. Улыбка стала суровой, разбивающей иллюзии и от того печальной.

Но и мягкости, и радости в ней было достаточно, чтобы сразу двое молодых людей в нарядных костюмах поспешили приветственно снять шляпы и продемонстрировать всем свои чуть взмокшие набриолиненные головы; волнуясь и кланяясь, они поспешили к ее ландо, чтобы мягко коснуться своими серыми перчатками ее лавандовых. А за этими двумя сейчас же последовал еще один, а затем еще двое, и вокруг ландо стала быстро расти толпа. Мерлин услышал, как какой-то молодой человек рядом с ним поспешно извинился перед своим, видимо, менее «светским», спутником:

– Прошу меня простить, но мне крайне необходимо засвидетельствовать свое почтение перед одним человеком. Не ждите меня, я вас догоню.

Прошло три минуты, и на каждом дюйме пространства около ландо – и спереди, и сзади, и сбоку – уже находился мужчина, пытавшийся сказать что-то настолько умное, чтобы фраза достигла ушей Каролины невзирая на бурный поток общего разговора. К счастью для Мерлина, швы пиджака маленького Артура решили окончательно разъехаться именно в этот момент, и Оливия торопливо остановилась прямо напротив какого-то здания, чтобы заняться импровизированной починкой костюма, поэтому Мерлин получил возможность без помех наблюдать неожиданный уличный салон.

Толпа росла. Сформировался второй ряд, а за ним еще два. В центре, похожая на орхидею в черном обрамлении, на троне своего уже невидимого ландо восседала Каролина, кланяясь и приветствуя знакомых, радостно улыбаясь направо и налево, так, что неожиданно даже солидные джентльмены, оставив своих жен и супруг, спешили к ней.

Толпа, уже напоминавшая кортеж, стала прирастать любопытствующими; мужчины всех возрастов, которые вряд ли были знакомы с Каролиной, начинали проталкиваться ближе, образуя круг, увеличивающийся в диаметре, и леди в лавандовых перчатках оказалась в центре огромной импровизированной аудитории.

Ее окружали лица – чисто выбритые, усатые, старые, молодые, неопределенного возраста; то там, то тут виднелись и женщины. Толпа быстро заняла всю улицу до противоположного тротуара, а когда находившийся за углом Святой Антоний выпустил своих прихожан, люди запрудили и тротуар; самые крайние прижимались к забору располагавшегося на другой стороне улицы поместья какого-то миллионера. Автомобили, двигавшиеся вдоль по авеню, были вынуждены остановиться; за считаные мгновения толпа окружила три, пять, шесть машин; автобусы, эти черепахи автомобильного движения, застревали в пробке, а их пассажиры высыпали на крыши, возбужденно переговариваясь и пытаясь разглядеть центр людской массы, который было уже невозможно увидеть с края толпы.

Столпотворение выглядело ужасным. Ни светская аудитория на матче Йель-Принстон, ни даже взмокшая публика на чемпионате мира по бейсболу не могут идти ни в какое сравнение с этой образовавшейся «свитой», гудевшей, смотревшей по сторонам, смеявшейся и сигналившей клаксонами в честь леди в черном платье и лавандовых перчатках. Это было одновременно и изумительно, и ужасно. Находившийся за четверть мили разъяренный полисмен вызывал участок; рядом до смерти испуганный гражданин разбил стекло пожарного извещателя, вызывая сразу все пожарные команды; в квартире на верхнем этаже близлежащего небоскреба истеричная старая дева по телефону требовала прислать агента государственной безопасности, уверяя, что произошло массовое нарушение введенного запрета на употребление крепких напитков, большевистская революция и побег пациентов из лечебницы «Бельвью».

Шум нарастал. Прибыл первый пожарный расчет, наполнив воскресное утро дымом, клацаньем и отражавшимся от высоких стен эхом металлического призыва «всем сохранять спокойствие». Решив, что город постигло бедствие, два перепуганных дьякона тут же приступили к чтению мессы о спасении и послали звонить в колокола Святой Хильды и Святого Антония; звон был немедленно подхвачен у

Святого Симона и Святого Послания. Шум был слышен даже вдали, на Гудзоне и Ист-ривер; паромы, буксиры и океанские лайнеры включили сирены и свистки, и звуки поплыли меланхолическими волнами, то изменяясь, то повторяясь, по всему городу, от Риверсайд-драйв до серых туманных низин Ист-Сайда.

А в центре стояло ландо, и в нем сидела леди в черном платье и лавандовых перчатках, мило болтая то с одним, то с другим счастливчиком в парадном костюме, первым сумевшим пробиться к ней на расстояние, достаточное для разговора. Спустя некоторое время беседа ей наскучила, и она огляделась.

Зевнув, она попросила стоявшего ближе всех мужчину принести ей стакан воды. Мужчина же несколько смятенно принес свои извинения. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он даже не смог бы дотронуться до собственного уха.

Когда послышался рев первых пароходных сирен, Оливия пристегнула английской булавкой последнюю деталь пиджачка Артура и огляделась. Мерлин увидел, что она вздрогнула, медленно выпрямилась, как бы окаменев, а затем издала презрительно-удивленное восклицание:

– Это она! О господи!

Бросив на Мерлина быстрый взгляд, в котором смешались боль и укор, она без лишних слов одной рукой схватила в охапку маленького Артура, а другой – мужа и почти галопом начала стремительное движение сквозь толпу. По какой-то причине все перед ней расступались; по какой-то причине ей удалось не потерять ни мужа, ни сына; каким-то образом ей удалось миновать два квартала и в слегка растрепанном виде выйти на свободное пространство, где, не замедляя шага, она свернула на боковую улицу. Только тут, когда гомон толпы превратился в неясный и далекий шум, она сбавила шаг и поставила Артура на ноги.

– Даже Пасха не помеха! Ни стыда ни совести!

Вот и все, что она сказала. Ничего больше. Она сказала это Артуру и до конца дня разговаривала только с Артуром. Во время бегства по какой-то непонятной эзотерической причине она так ни разу и не взглянула на мужа.

IV

Годы, проходящие между тридцатью пятью и шестьюдесятью пятью, напоминают пассивному разуму поездку на какой-то бессмысленной карусели. А лошадки на этой карусели спотыкающиеся и обветренные, яркие краски со временем посерели и почернели, и поездка лишь туманит разум, кружит голову и совсем не похожа на карусели детства или отрочества и уж точно не походит на стремительные и головокружительные «американские горки» юности. Для большинства людей эти тридцать лет означают постепенный уход от жизни, отступление сначала с линии фронта со множеством укреплений – мириад развлечений и увлечений юности – на рубежи с их уменьшающимся количеством по мере того, как мы сводим свои амбиции к знаменателю одной-единственной амбиции, свои развлечения – к единственному развлечению, своих друзей – к узкому кругу тех, кого мы еще можем терпеть; все заканчивается в уединенном пустынном укреплении, которое вовсе даже не крепкое: там отвратительно свистят снаряды, но мы их уже едва слышим, потому что, испуганные и усталые, просто сидим и ждем смерти.

Итак, к сорока годам Мерлин почти не отличался от себя тридцатипятилетнего: чуть больший живот, седина на висках, походка чуть менее живая, чем прежде. В сорок пять он изменился еще меньше по сравнению с сорока, лишь слегка оглох на левое ухо. Но к пятидесяти пяти процесс пошел, как необратимая химическая реакция, с нарастающей скоростью. С каждым годом в глазах членов своей семьи он все более превращался в «старика», почти что дряхлого, если сравнивать с женой. К этому времени он стал единственным владельцем книжного магазина. Непостижимый мистер Мунлайт Квилл умер пятью годами ранее, жена пережила его ненадолго, и магазин вместе со складом был завещан ему, – здесь и проводил он свои дни, выучив названия практически всего, что было написано человеком за три тысячи лет. Он стал живым каталогом и авторитетом по части тиснения и переплетов, фолио и первых изданий, точным

перечнем тысяч авторов, которых он никогда не читал и уж точно никогда не смог бы понять.

В шестьдесят пять у него появилась старческая дрожь. Он приобрел меланхолические привычки пожилого человека, так часто изображаемого в стандартном амплуа «второго старика» викторианской комедии. Он тратил огромное количество времени на поиски положенных не на место очков. Он пилил жену, и его пилили в ответ. Он по три или четыре раза в год повторял одни и те же шутки за семейным столом, а также высказывал дикие и нелепые поучения, пытаясь наставить сына на путь истинный. Умственно и физически он настолько отличался от двадцатипятилетнего Мерлина Грейнджера, что казалось совершенно непонятным, как же это он до сих пор еще носит это имя?

Он по-прежнему работал в книжном магазине, взяв молодого помощника, который, конечно же, казался ему сущим бездельником, и новую молоденькую секретаршу, мисс Гэффни. Бухгалтерию по-прежнему вела столь же древняя, как и он сам, мисс Мак-Крекен. Молодой Артур, как и все молодые люди тех лет, торговал облигациями на Уолл-стрит. Все было так, как и должно было быть. Пусть старый Мерлин в меру своих возможностей извлекает из своих книг магию, а молодого короля Артура в книгах интересовали только цифры.

Однажды в четыре часа вечера, когда он в шлепанцах на мягкой подошве бесшумно проскользнул на верхний этаж магазина, собираясь предаться своей новой привычке, которой, честно говоря, немного стыдился, а именно пошпионить за юным клерком, он случайно выглянул в окно и стал близоруко рассматривать улицу. У обочины остановился большой, солидный и впечатляющий лимузин, шофер которого, выйдя и получив какие-то указания от сидевших на заднем сиденье пассажиров, развернулся и с недоумением на лице направился ко входу в «Перо Луны». Отворив дверь, он вошел внутрь, окинул неуверенным взглядом старика в войлочной тюбетейке и обратился к нему низким, пасмурным голосом – слова будто доносились из тумана:

– А вы… вы торгуете заданиями?

Мерлин утвердительно кивнул:

– Учебники стоят вон там.

Шофер снял кепку и почесал коротко стриженную макушку.

– Да не. Мне надо *дитектиф.* – Он махнул рукой по направлению к лимузину. – Она видала в газете. Первое задание.

Мерлин заинтересовался. Кажется, намечалась выгодная сделка.

– Издание? Да, мы давали объявление о первых изданиях, но… детективы… что-то не припомню… А как называлась книга?

– Да не помню. Про уголовников.

– Про преступников? У нас есть… вот, «Преступления семьи Борджио», сафьяновый переплет, Лондон, 1769, отличная сохра…

– Не, – перебил шофер, – там был один преступник. Она видала в газете, что у вас есть в продаже.

С видом знатока он отверг еще несколько предложенных названий.

– Сиплый Баварец, – неожиданно объявил он после недолгой паузы.

– Что? – переспросил Мерлин, подумав, что последовал комментарий по поводу его голоса.

– Сиплый Баварец. Тот парень, который преступник!

– Сиплый Баварец?

– Сиплый Баварец. Немец, наверно.

Мерлин задумчиво погладил седую растительность на подбородке.

– Черт возьми, мистер, – продолжил потенциальный покупатель, – если вы не желаете, чтобы на меня наорали лишний раз, подумайте хорошенько. Старуха звереет, если что-то не получается сразу.

Но у Мерлина не возникло ни одной ассоциации по поводу Сиплого Баварца; не увенчался успехом и тщательный осмотр полок, так что через пять минут удрученный возница был вынужден вернуться к своей госпоже. Сквозь витрину Мерлин мог наблюдать зримые признаки ужасного шума, поднявшегося внутри лимузина. Шофер напрасно умолял, разводил руками и пожимал плечами в знак своей невиновности, поскольку, когда он развернулся и снова занял место у руля, выражение его лица было ничуть не менее удрученным.

После этого открылась задняя дверца лимузина, и появился тощий бледный молодой человек лет двадцати, одетый по последней моде, с невесомой тросточкой в руке. Он вошел в магазин, прошествовал мимо Мерлина, вытащил сигарету и закурил. Мерлин подошел поближе:

– Чем могу служить, сэр?

– Почтенный, – холодно ответил юнец, – вот что мне нужно от вас: во-первых, не мешайте мне здесь курить, пока меня не видит та престарелая леди в лимузине, приходящаяся мне бабушкой. Поступление к ней сведений о том, что я курю до моего совершеннолетия, обойдется мне в пять тысяч долларов. Во-вторых, принесите первое издание «Преступления Сильвестра Бонара», о котором вы давали объявление в субботней «Таймс». Моей бабушке взбрело в голову избавить вас от этой макулатуры.

Детектив! Про преступников! «Сиплый Баварец»! Все стало ясно. С легким извиняющимся смешком, как бы говоря, что он мог бы получить удовольствие от этой истории, жаль только, что по ходу жизни он не приобрел привычку получать удовольствие хоть от чего-то, Мерлин проковылял в заднюю комнату, где хранились его сокровища, включая и последнее капиталовложение, доставшееся ему сравнительно дешево на распродаже крупной коллекции.

Когда он принес книгу, молодой человек с явным удовольствием затягивался сигаретой и выпускал дым изо рта.

– Боже мой, – произнес он, – она не спускает с меня глаз целыми днями, заваливая всякими идиотскими поручениями! Я не курил уже шесть часов! Куда катится этот мир, спрашиваю я вас, если слабая старушонка, которой уже опять пора питаться молочком, может диктовать мужчине условия, касающиеся его личных вредных привычек?! Не чувствую в себе ни малейшего желания повиноваться. Покажите книгу.

Мерлин аккуратно передал ему книгу, и молодой человек, открыв ее так небрежно, что сердце книгопродавца подпрыгнуло, стал мусолить страницы большим пальцем.

– Совсем без картинок, да? – прокомментировал он. – Ну что ж, почтенный, какова ваша цена? Называйте! Мы готовы хорошо заплатить, хотя я и не знаю почему.

– Сто долларов, – нахмурившись, произнес Мерлин.

Молодой человек изумленно присвистнул:

– Чего?! Имейте в виду, я не с ранчо и у меня нет мешка с золотом. Я всю жизнь прожил в городе, да и моя бабушка тоже из городских, хотя, признаю, для того чтобы она была в исправности, требуются особые ассигнования. Даю двадцать пять долларов и позволю себе подчеркнуть, что это щедро. У нас на чердаке куча книг – лежат рядом

с моими игрушками, – которые были написаны тогда, когда старикана, написавшего эту, еще на свете не было!

Суровый и педантичный Мерлин в ужасе замер:

– Ваша бабушка выдала вам двадцать пять долларов на эту покупку?

– Нет. Она выдала мне пятьдесят, но ждет сдачу. Уж я-то ее знаю!

– Передайте ей, – с достоинством сказал Мерлин, – что она упустила выгодное предложение.

– Даю сорок, – настаивал молодой человек. – Ну же, соглашайтесь! Будьте благоразумны и не грабьте нас…

Мерлин развернулся с драгоценным томом под мышкой и собрался было вернуть его в специальный шкаф в конторе, но тут случилось нечто неожиданное. Входная дверь не то чтобы бесшумно открылась, а лучше сказать, растворилась, впустив в темное помещение облаченное в черный шелк и меха царственное видение, быстро направившееся к продавцу. Сигарета выпала из пальцев юного горожанина, он издал невольный возглас «Черт побери!», но явление, как ни странно, произвело куда больший неожиданный эффект на Мерлина, который выпустил из рук свое сокровище, присоединившееся к сигарете на полу. Перед ним стояла Каролина.

Она была старухой – замечательно сохранившейся, необычайно красивой, с прямой спиной, но все же старухой. Волосы были седыми, потерявшими былую густоту. Они были тщательно уложены и украшены драгоценностями; на ее лице, лишь слегка припудренном, как и положено «la grande dame», виднелась сетка морщин, особенно у глаз – две глубокие складки пролегли от носа к уголкам губ. Взгляд был тусклым, болезненным и брюзгливым.

Но это, без сомнений, была Каролина: это были ее черты, хоть и разрушенные временем; это была ее фигура, пусть ставшая хрупкой и малоподвижной; это была ее манера держаться, безошибочно узнаваемая в смеси восхитительной дерзости и завидной самоуверенности; и кроме всего прочего, это был ее голос, пусть надтреснутый и дрожащий, но все еще сохранивший ту нотку, которая могла заставить любого шофера пожалеть, что он не сидит за рулем мусоровоза, и стать причиной падения сигарет из рук взращенных в черте города внуков.

Она остановилась и принюхалась. Ее взгляд упал на валявшуюся на полу сигарету.

– Что это? – воскликнула она. Это был не вопрос – это была литания подозрения, обвинения, доказательства и приговора. Все заняло одно лишь мгновение. – Немедленно выпрямись, – сказала она внуку, – выпрямись и выпусти весь этот никотин из своих легких!

Молодой человек испуганно посмотрел на нее.

– Выдыхай! – скомандовала она.

Он чуть сжал слабые губы и выдохнул.

– Выдыхай! – повторила она тоном, не терпящим возражений.

Он снова выдохнул, беспомощный и нелепый.

– Ты отдаешь себе отчет в том, – резко продолжила она, – что за пять минут потерял пять тысяч долларов?

Мерлин на мгновение подумал, что сейчас молодой человек упадет на колени и станет молить пощадить его, но такова уж человеческая гордость – он так и остался стоять, даже еще раз выдохнул, отчасти от нервов, отчасти – без сомнений – в тщетной надежде вновь снискать расположение родственницы.

– Что за осел! – воскликнула Каролина. – Еще раз, один только раз, – и ты покинешь университет и отправишься работать!

Угроза настолько потрясла молодого человека, что он стал еще более бледным, еще бледнее, чем от природы. Но Каролина еще не закончила:

– Думаешь, я не знаю, что ты, твои братья, да и твой глупый папаша думаете об мне? А я прекрасно знаю. Вы думаете, что я дряхлая развалина! Вы думаете, что меня от ветра шатает? Не дождетесь! – Она стукнула себя в грудь кулаком, как бы демонстрируя крепость мускулатуры. – А что касается мозгов, так у меня их будет больше, даже когда вы меня в гроб положите, чем у вас у всех, вместе взятых!

– Бабушка…

– А ну тихо, ты, тощий юнец! Да если бы не мои деньги, лучшее, что из тебя могло бы выйти, – это цирюльник в Бронксе! Посмотри на свои руки! Тьфу! Руки цирюльника! И ты еще осмелился считать, что умнее меня – меня, за которой когда-то ухаживали три графа, один герцог и еще полдюжины папских наместников, примчавшихся за

мной из Рима в Нью-Йорк. – Она замолчала и, переведя дыхание, добавила: – Выпрямись! Выдыхай!

Молодой человек послушно выдохнул. В этот момент открылась дверь, и в магазин ворвался взволнованный джентльмен среднего возраста. Его пальто и шляпа были отделаны мехом; более того, казалось, что тем же мехом были отделаны его верхняя губа и подбородок. Он бросился к Каролине.

– Вот вы где! – воскликнул он. – Обыскал весь город. Звонил вам домой, секретарь сказал, что вы, кажется, направились в книжный магазин «Перо…

Каролина раздраженно посмотрела на него.

– Я наняла вас, чтобы слушать ваши умозаключения? – оборвала его она. – Вы сыщик или брокер?

– Брокер, – признался меховой человек, слегка опешив. – Прошу прощения. Те акции фонографической компании. Могу продать за сто пять.

– Так продавайте.

– Очень хорошо. Я думал, я лучше…

– Продавайте! Я разговариваю со своим внуком.

– Очень хорошо. Я…

– Всего доброго.

– Всего доброго, мадам. – Меховой человек поклонился и в некотором смятении покинул магазин.

– Что касается тебя, – сказала Каролина, снова посмотрев на внука, – стой, где стоишь, и веди себя тихо.

Она повернулась к Мерлину и окинула его уже не таким суровым взглядом. Затем она улыбнулась – и он понял, что тоже улыбнулся. Сейчас же они оба разразились надтреснутым, но от этого не менее неожиданным, смехом. Она схватила его за руку и увлекла за собой в дальний конец магазина. Там они остановились, посмотрели друг на друга, и случился еще один приступ старческого веселья.

– Только так, – еле смогла со злобным торжеством произнести она. – Единственное, что доставляет удовольствие таким старухам, как я, – это чувство, что я могу заставить всех плясать под свою дудку. Быть старой, богатой и иметь бедных наследников так же здорово, как быть юной, красивой и иметь сестер-дурнушек.

– Да уж, – хихикнул Мерлин. – Знаю. Завидую вам.

Она кивнула, прищурившись.

– Я была здесь последний раз сорок лет назад, – сказала она. – Вы были молодым человеком, и вы были готовы служить по первому знаку!

– Вы правы, – признал он.

– Мой визит, должно быть, вам запомнился.

– На всю жизнь! – воскликнул он. – Я думал… Я думал поначалу, что вы были настоящей – человеком из плоти и крови, я хотел сказать.

Она рассмеялась.

– Многие думали, что во мне нет ничего человеческого.

– А теперь, – с волнением продолжил Мерлин, – я понимаю. Нам, старикам, позволено все понимать, ведь ничего уже не имеет особого смысла. Теперь мне ясно, что тогда, когда я смотрел, как вы танцевали на столе, вы были всего лишь моей романтической грезой о порочной и прекрасной даме.

Казалось, она была где-то далеко, и ее голос прозвучал, как эхо забытого сна.

– О, как я танцевала в тот вечер! Я помню…

– Вы были для меня искушением. Я был уже почти в объятиях Оливии – а вы шептали о том, что я должен быть свободен и сполна насладиться своей юностью и легкомыслием. Но, кажется, чары в последний момент не подействовали. Все произошло слишком поздно.

– Вы очень стары, – с непроницаемым выражением произнесла она. – Я и не думала…

– Я помню, что вы сделали для меня, когда мне было тридцать пять. Вы потрясли меня, перекрыв тогда движение на улице. Это выглядело так величественно. Красота и сила, которые вы излучали! Даже моя жена смогла вас увидеть – и она вас испугалась! Несколько недель после этого мне хотелось ускользнуть из дома в темноту и утопить скуку существования в джазе, коктейлях и женщине, которая вернула бы мне молодость. Но потом… я уже больше не знал, как это сделать…

– А теперь вы так стары…

С благоговейным страхом она отшатнулась от него.

– Да, оставьте меня! – воскликнул он. – Вы тоже постарели! Дух пропадает вместе с упругостью кожи. Вы пришли сюда только за тем, чтобы напомнить мне о том, о чем мне лучше было бы забыть: что

быть старым и бедным хуже, чем старым и богатым, что мой сын имеет право швырнуть мне в лицо, что я старый неудачник?

– Давайте мне мою книгу, – хрипло приказала она. – Поспеши, старик!

Мерлин еще раз взглянул на нее и покорно подчинился. Он поднял книгу и подал ей, покачав головой, когда она протянула ему деньги:

– К чему притворяться, что вы готовы мне заплатить? Когда-то именно здесь вы разрушили всю мою жизнь.

– Да, – гневно промолвила она, – и я рада. Очень может быть, что именно здесь было сделано все, чтобы разрушить мою жизнь!

Она бросила на него взгляд, в котором читалось презрение, но в то же время и плохо скрытая неловкость, и, бросив внуку короткое приказание следовать за собой, пошла к двери.

И она удалилась из его магазина и из его жизни. Скрипнула дверь. Вздохнув, он развернулся и мелкими шажками направился к стеклянной перегородке, за которой хранились пожелтевшие документы и умудренная годами мисс Мак-Крекен.

Мерлин взглянул в ее высохшее, усыпанное морщинами лицо с какой-то непонятной жалостью. Она-то, в любом случае, получила от жизни гораздо меньше, чем он. Никакой бунтарский романтический дух, являющийся лишь избранным, не приносил ей незабываемых впечатлений, не вносил в ее жизнь «изюминку» и восторг.

Мисс Мак-Крекен подняла голову от бумаг и спросила:

– Ну как старушка? Все такая же скандальная?

Мерлин вздрогнул:

– Кто?

– Старая добрая Алисия Дэйр… Ах да, она ведь уже давно миссис Томас Аллердайс – вышла за него лет тридцать назад.

– Что? Я вас не понимаю. – Мерлин с широко раскрытыми от неожиданности глазами рухнул на вращающийся стул.

– Ну как же, мистер Грейнджер, не говорите мне только, что вы ничего о ней не слышали: десять лет она была главной достопримечательностью Нью-Йорка. Ну как же… А когда шел бракоразводный процесс с Трокмортоном, ее появление на Пятой авеню привлекло столько зевак, что там даже остановилось движение. Разве вы не читали об этом в газетах?

– Я никогда не читал газеты. – Его дряхлая голова начала кружиться.

– Хорошо, но как вы могли забыть тот случай, когда она появилась прямо здесь и разнесла магазин? Позвольте заметить, что после этого я почти была готова попросить у мистера Мунлайта Квилла расчет и уволиться!

– Вы хотите сказать… вы ее видели?

– Видела?! Тут стоял такой шум, что ее сложно было не заметить. Видит Бог, мистер Мунлайт Квилл был не в восторге, но, конечно же, он не сказал ни слова. Он просто свихнулся на ней, а она крутила им, как хотела. Как только он отказывался выполнить какой-нибудь ее каприз, она сразу же грозила рассказать обо всем его жене. Поделом же ему было. Только подумать, такой человек упал к ногам смазливой авантюристки! Ну, конечно, у него никогда не было столько денег, сколько было нужно ей, хотя магазин тогда приносил вполне прилично.

– Но, когда я видел ее, – запинаясь, произнес Мерлин, – то есть когда я думал, что видел ее, она жила со своей матерью.

– Матерью… Какая чушь! – с негодованием ответила мисс Мак-Крекен. – С ней была женщина, которую она звала тетушкой и которая была ей такая же родня, как и я. Да, она была порочной, но умной. Сразу же после развода с Трокмортоном она вышла за Томаса Аллердайса и обеспечила себя на всю жизнь.

– Да кто она такая? – воскликнул Мерлин. – Ради бога, скажите мне – она что, ведьма?!

– Ну как сказать… Ее звали Алисия Дэйр; само собой, она была танцовщицей. В те времена ее портрет красовался в каждой газете.

Мерлин замолчал. Умственное напряжение неожиданно прошло, шум утих. Без сомнения, теперь он был стар, так стар, что было невозможно даже представить, что и он когда-то был молодым; так стар, что мир уже потерял романтический ореол, который ушел навсегда даже с лиц детей и ощущения простых радостей жизни – например тепла и комфорта. Ему больше уже не хотелось улыбаться или сидеть у окна весенним вечером, прислушиваясь к крикам ребятишек, постепенно засыпая и во сне слыша, как приятели из детства зовут его на улицу играть, пока совсем не стемнело. Он был слишком стар даже для воспоминаний.

Вечером он ужинал вместе с женой и сыном, пользовавшимися им для каких-то своих неясных целей. Оливия сказала:

– Не сиди как мумия. Скажи хоть что-нибудь.

– Пусть лучше молчит, – взмолился Артур. – Только дай волю, он расскажет нам историю, которую мы слышали уже раз сто.

В девять Мерлин очень тихо поднялся наверх. Оказавшись в своей комнате и плотно закрыв дверь, он замер на мгновение. Его немощное тело задрожало. Он понял, каким дураком был всю свою жизнь.

– О, рыжая ведьма!

Но было слишком поздно. Отвергнув слишком много искушений, он разгневал Провидение. И не осталось больше ничего, кроме небес, где он встретит только себе подобных, впустую потративших жизнь.

Осадок счастья

I

Если бы вы просмотрели подшивки старых журналов начала века, то обязательно обратили бы внимание на втиснувшиеся между рассказами Ричарда Хардинга Дэвиса, Фрэнка Норриса и других давно уже умерших авторов работы некоего Джеффри Картайна: роман-другой и, может быть, три-четыре дюжины рассказов. Вы могли бы – если бы, конечно, захотели – проследить, как они достаточно регулярно появлялись вплоть до начала 1908 года, когда вдруг совсем исчезли из журналов.

Если бы вы прочли эти вещи, то совершенно уверились бы, что это далеко не шедевры – вполне сносные развлекательные рассказы, уже потерявшие свою актуальность, но, без сомнения, все еще годные, чтобы скрасить безрадостные полчаса ожидания у кабинета дантиста. Автор был остроумен, талантлив, в меру развязен и, весьма вероятно,

молод. В образчиках его работ, обнаруженных вами, наверняка не оказалось бы ничего, что могло бы вас глубоко тронуть или вызвать у вас нечто большее, чем просто слабый интерес к причудам жизни; ничто в них не вызвало бы у вас настоящего смеха, «смеха изнутри», и не возникло бы никакого чувства пустоты и тщетности жизни: там не было даже намека на трагедию.

После прочтения вы, скорее всего, зевнули бы и поместили старый журнал обратно в подшивку – а если бы вы сидели в читальном зале, то, быть может, решили бы для разнообразия взглянуть на газеты того времени и узнать, взяли ли таки тогда япошки Порт-Артур. Но если бы по чистой случайности вам попалась именно та газета и если бы она, прошелестев, открылась бы на театральной странице, ваш взгляд задержался бы надолго, и где-нибудь через минуту вы уже начисто забыли бы Порт-Артур и даже Шато-Тьерри. Потому что по счастливой случайности вам довелось бы увидеть портрет по-настоящему красивой женщины.

В те дни в моде были секстеты и «Флородора», талии «с иголочку» и широкие рукава, турнюры и балетные пачки, но на этом портрете, безо всяких сомнений, под маской непривычной сегодня чопорности и в вышедшем из моды костюме была запечатлена красавица из красавиц. Она была воплощенной живостью того времени: легкое вино глаз, песни, волновавшие сердца, тосты и букеты, балы и приемы. Она была Венерой старинных пролеток, юной красавицей в расцвете своей весны. Это была…

…это была, как вы могли обнаружить, посмотрев на напечатанное под портретом имя, некая Роксана Миллбанк, хористка и дублерша в мюзикле «Венок из маргариток».

Вы посмотрели бы на портрет еще раз – и удивились бы! Почему же вы никогда ничего о ней не слышали? Почему ее имя не задержалось в популярных песенках, водевильных шутках, на папиросных коробках и в памяти вашего дядюшки-весельчака вместе с именами Лилиан Расселл, Стэллы Мэйхью и Анны Хельд? Роксана Миллбанк – куда она подевалась? Какой мрачный колодец неожиданно открылся у нее под ногами и поглотил ее навеки? Ее имени – совершенно точно! – не было ни в одном из воскресных приложений, публиковавших списки актрис, вышедших замуж за английских

аристократов. Без сомнения, бедная прекрасная девушка умерла и совершенно забыта…

Но я совершенно напрасно возбудил ваше любопытство, заставив вас *случайно* наткнуться на рассказы Джеффри Картайна и портрет Роксаны Миллбанк, потому что кажется совсем уж невероятным, чтобы вы также *случайно* наткнулись где-нибудь на специальный выпуск газеты, изданный месяцев шесть спустя, единственный номер на бумажном листе размером 2×4 дюйма, который сдержанно проинформировал публику о свадьбе мисс Роксаны Миллбанк, находившейся на гастролях, и мистера Джеффри Картайна, популярного писателя. «Миссис Картайн, – бесстрастно прибавлялось к объявлению, – приняла решение оставить сцену».

Это была женитьба по любви. Он был достаточно избалован для того, чтобы казаться очаровательным; она была достаточно *injenue*, чтобы казаться неотразимой. Как два плывущих по воде кряжа, они встретились, столкнулись, зацепились друг за друга и помчались дальше уже вместе. Но даже если бы Джеффри Картайн продолжал писать по два романа в год, у него вряд ли когда-нибудь родился бы поворот сюжета, хоть отдаленно напоминающий то, что приключилось с ним в его собственной жизни. И если бы Роксана Миллбанк сыграла еще три дюжины ролей и наполнила вещами еще пять тысяч домов, ей вряд ли довелось бы исполнить роль, в которой счастья и отчаяния было бы столько же, сколько было уготовано для нее судьбой.

На протяжении года они жили в отелях, путешествовали по Калифорнии, побывали на Аляске и во Флориде, посетили Мексику, нежно любили и ссорились, наслаждались позолоченными пустяками его остроумия в сочетании с ее красотой – они были юные и пламенно-страстные; они разрушали все и затем возводили все заново, восхищаясь бескорыстием и щедростью друг друга. Она любила его манеру быстро говорить и его неистовую беспричинную ревность. Он любил матовое сияние ее кожи, цвет ее глаз, теплый, блистательный энтузиазм ее улыбки.

– Не правда ли, она вам нравится? – мог спросить он у кого угодно, одновременно и взволнованно, и застенчиво. – Не правда ли, она прекрасна? Видели ли вы когда-нибудь…

– Да! Она просто чудо! – улыбаясь, отвечали вопрошаемые. – Ты счастливчик!

Прошел год. Они устали от отелей. Они купили старый дом и двадцать акров земли недалеко от города Марлоу, в получасе езды от Чикаго; купили недорогой автомобиль и с энтузиазмом первопроходцев устроили шумный переезд.

– Эта комната будет твоей! – кричала Роксана.

И затем:

– А эта – моей!

– А здесь будет детская, когда у нас появятся дети!

– И мы пристроим заднее крыльцо – да, в следующем году!

Они переехали в апреле. В июле близкий друг Джеффри – Гарри Кромвелл – приехал к ним в гости на неделю. Они встретили его на краю длинной лужайки и сразу же повели осматривать дом. Гарри, как и Джеффри, был женат. Шесть месяцев назад у него родился сын, и его жена все еще восстанавливала свое здоровье, живя у матери в Нью-Йорке. Роксана узнала от Джеффри, что жена Гарри была непривлекательна, – когда-то Джеффри был с нею знаком и описывал ее как «ограниченную особу». Но Гарри был женат уже два года и, по всей вероятности, был вполне счастлив, – из этого Джеффри делал вывод о том, что на самом деле она была хороша.

– Я умею готовить бисквиты, – щебетала Роксана. – А ваша жена умеет готовить бисквиты? Я получила свой рецепт от одного шикарного повара. Я думаю, каждая женщина должна уметь готовить бисквиты. Ведь слово «бисквит» звучит совершенно обезоруживающе для любого мужчины. И женщина, не умеющая готовить бисквиты, несомненно, не может…

– Вам с Китти просто необходимо переехать поближе к нам, куда-нибудь в этот район, – сказал Джеффри. – Поищи дом где-нибудь в деревне. Уверен, вы не пожалеете!

– О, ты не знаешь Китти! Она ненавидит деревню. Ей нужно иметь под боком ее любимые театры и водевили.

– А ты привози ее к нам! – сказал Джеффри. – Мы станем колонизаторами, мы устроим здесь очаг цивилизации! Здесь уже собралась отличная компания. Привози ее сюда!

Они находились на ступеньках крыльца, и Роксана оживленно указала на обветшавшее строение справа.

– Гараж! – объявила она. – Кроме того, через месяц там будет находиться кабинет Джеффри. И еще хочу вам объявить – ужин будет в

семь! Но до ужина я могу приготовить вам по коктейлю.

Мужчины поднялись на второй этаж, точнее, они находились еще только на полпути ко второму этажу, когда на первой же лестничной площадке Джеффри в нетерпении уронил чемодан гостя и издал нечто среднее между вопросом и криком:

– Ради бога, скажи мне, Гарри: она тебе понравилась?

– Мы поднимемся наверх, – ответил гость, – закроем двери… Вот тогда и скажу!

Через полчаса, когда они сидели и беседовали в библиотеке, из кухни вошла Роксана, неся перед собой сковороду с бисквитами. Джеффри и Гарри поднялись со стульев.

– Они прекрасны, дорогая, – чуть напряженно сказал муж.

– Превосходны, – пробормотал Гарри.

Роксана засияла:

– Попробуйте! Я не хотела снимать их со сковородки до тех пор, пока вы не увидите их вместе, а теперь я не смогу отнести их обратно на кухню, пока не узнаю, каковы они на вкус!

– Как манна небесная, дорогая!

Одновременно мужчины поднесли бисквиты к губам и откусили по маленькому кусочку. Одновременно они попытались сменить тему разговора. Но Роксана, уже расставшаяся со всеми иллюзиями, поставила сковороду на стол и взяла бисквит. Через секунду с плачевной решительностью прозвучал ее комментарий:

– Полное дерьмо!

– На самом деле…

– Почему же, мне так не каже…

Роксана расплакалась.

– Я бесполезна, – смеялась она сквозь слезы. – Брось меня, Джеффри, я просто паразит, из меня никогда не выйдет хорошей хозяйки…

Джеффри обнял ее:

– Дорогая, я съем все эти бисквиты!

– Но, как бы там ни было, они все равно очень красивые! – оправдывалась Роксана.

– Конечно! Они… они просто-напросто… декоративные! – нашелся Гарри.

Джеффри с воодушевлением ухватился за идею:

– Вот именно! Они просто созданы для украшения; это настоящие шедевры! И мы ими воспользуемся по назначению.

Он убежал на кухню и вернулся, держа в руке молоток и пригоршню гвоздей.

– Клянусь, мы их используем, Роксана! Мы сделаем из них великолепный фриз на стене.

– О, нет! Наш прекрасный дом! – воскликнула Роксана.

– Ничего страшного. Мы же все равно собирались в октябре переклеить здесь обои, неужели ты забыла?

– Ну, тогда…

Бац!

Первый бисквит был прибит к стене; на мгновение он затрепетал на гвозде, как маленькое живое существо.

Бац!..

Когда Роксана вернулась в библиотеку со вторым подносом коктейлей, все двенадцать бисквитов уже выстроились в ряд на стене. Они были похожи на коллекцию доисторических наконечников копий.

– Роксана! – воскликнул Джеффри. – Ты – настоящий художник! Кухарка?! Чепуха! Ты будешь иллюстрировать мои книги!

Во время ужина сумерки нерешительно обратились в закат, а чуть позже за окном наступила звездная ночь, сплошь проникнутая хрупким великолепием белого платья и трепещущим, низким смехом Роксаны. «Она совсем юна, – подумал Гарри. – Не такая брюзга, как Китти».

Он сравнивал их. Китти – нервная, но без всякой чувствительности, норовистая, но без всякого темперамента, женщина, которая может лишь порхать и никогда не взлетит, – и Роксана, которая была свежа, как весенняя ночь, подводившая своим юным смехом итог всему, что бы ни случилось днем.

«Хорошая партия для Джеффри», – подумал он. Почти что дети, они оба были из тех, кто остается ребенком, пока однажды случайно не обнаружит, что он уже седой старик.

Генри думал о них, а между тем ему не давали покоя мысли о Китти. Эти мысли подавляли его. Ему казалось, что она давно уже должна была поправиться, – по крайней мере она могла легко выдержать поездку в Чикаго и могла бы наконец привезти к нему его

малыша! Он рассеянно думал об этом, говоря «Спокойной ночи!» своему другу и его жене, стоявшим внизу лестницы.

– Вы первый настоящий гость в нашем доме! – крикнула Роксана. – Пусть вас переполняет гордость!

Когда он скрылся из виду за поворотом лестницы, она повернулась к Джеффри, стоявшему рядом с ней, облокотившись на перила:

– Ты устал, мое солнышко?

Джеффри тер пальцами свой лоб:

– Немножко. А как ты догадалась?

– А как же я могла не догадаться?

– У меня болит голова, – уныло сказал он. – Просто раскалывается. Я выпью аспирин.

Она протянула руку, щелкнула выключателем, и они вместе поднялись по лестнице, а его рука обнимала ее за талию.

II

Неделя пролетела быстро. Они катались на машине по сонным проселочным дорогам или просто праздно проводили время в веселой суете на озере или на лужайке у дома. Вечерами Роксана, сидя за фортепьяно, играла им что-то нежное и певучее, а в темноте с пылающих кончиков их сигар изредка падал белый пепел. Затем пришла телеграмма от Китти, в которой говорилось, что ей захотелось домой и поэтому Гарри надо ехать на Восток, забирать ее. Роксана и Джеффри остались одни, в милом одиночестве, которое, как им казалось, не надоест им никогда.

Уединение вновь увлекло их. Они бродили по окрестностям, и каждый ощущал близкое и сокровенное присутствие другого; они сидели рядом за обедом, на одной и той же половине большого стола, совсем как молодожены, – они были полностью поглощены друг другом и абсолютно счастливы.

Город Марлоу, хотя и был основан относительно давно, только в последние несколько лет приобрел то, что можно было назвать «обществом». Пять или шесть лет назад, встревоженные все увеличивающимся количеством смога в воздухе Чикаго, две или три недавно поженившиеся пары – обитатели «маленьких бунгало» – неожиданно решили переехать в этот маленький заштатный городок; их друзья последовали за ними. Джеффри Картайн и его жена нашли уже вполне сформировавшееся общество, готовое оказать им прекрасный прием; в городе был танцевальный клуб; тут и там зеленели лужайки для гольфа; устраивались вечеринки, на которых гости играли в бридж, вечеринки, на которых играли в покер, вечеринки, на которых пили пиво, и даже вечеринки, на которых не пили вообще ничего.

Именно на покерной вечеринке появились они неделю спустя после отъезда Гарри. Вечеринка проходила за двумя столами; большинство молодых жен курили и выкрикивали свои ставки по-мужски отважно.

Роксана рано вышла из игры и решила прогуляться по дому; она добрела до буфетной, налила себе стаканчик вина – от пива у нее разболелась голова – и затем ходила от стола к столу, глядя на руки играющих, изредка посматривая на Джеффри и чувствуя себя спокойной и довольной. На кону стояла целая куча покерных фишек разных цветов, и Роксана по глубокой складке на лбу Джеффри поняла, что он был полностью поглощен игрой. Ей нравилось смотреть на него в такие моменты – когда он был так увлечен мелочами!

Она тихо пересекла комнату и присела на подлокотник его кресла.

Так она просидела пять минут, прислушиваясь к отрывистым переговорам мужчин и болтовне женщин, поднимавшимся над столом, словно мягкий дым курений, – и все-таки она едва слышала и то и другое.

Затем она протянула руку, намереваясь положить ее на плечо Джеффри. Как только она дотронулась до него, Джеффри вздрогнул от неожиданности, хмыкнул и – стремительно и яростно бросив свою руку назад – ударил Роксану по локтю.

Последовал общий судорожный вздох. Роксана восстановила равновесие, вскрикнула и тут же встала с подлокотника. Она еще никогда не испытывала такого потрясения. Это… от Джеффри,

средоточия доброты и уважения, эта… инстинктивно-грубая и жестокая реакция…

Вздох перешел в тишину. Дюжина глаз была направлена на Джеффри, выглядевшего так, словно он узрел Роксану в первый раз в своей жизни. На его лице было написано смущение; он был совершено сбит с толку.

– Роксана… – запинаясь, произнес он.

Одновременно у всех, находившихся в комнате, родилось подозрение. В воздухе запахло скандалом. Не скрывалась ли какая-нибудь пикантная антипатия за всеми этими явными проявлениями любви? Иначе откуда взялся этот гром среди такого ясного неба?

– Джеффри! – Голос Роксаны умолял, она была испугана и шокирована, хотя и понимала, что произошло какое-то недоразумение. Ей даже не приходило в голову обижаться или хоть в чем-то его обвинять. Ее голос дрожал, словно умоляя: «Скажи мне что-нибудь, Джеффри! Скажи что-нибудь Роксане, твоей Роксане!»

– Роксана… – начал Джеффри снова. Смущение в его глазах сменилось болью. Он был явно испуган – совсем как она. – Я вовсе не хотел этого делать, – продолжил он, – ты испугала меня. Ты… Мне показалось, что кто-то хочет меня ударить. Я… Как… Зачем… Как по-дурацки все вышло!

– Джеффри! – Снова имя прозвучало молитвой, ладаном – жертвой Господу, который находился там, наверху, надо всей этой неизмеримой, только что опустившейся тьмой.

И вот они оба уже были на ногах, со всеми прощались, запинаясь, объясняясь, извиняясь. Делая вид, что ничего особенного не произошло – об этом не могло быть и речи. Это было бы святотатством. Джеффри сегодня нездоровится, говорили все. Он немного перенервничал. Но где-то на задворках их сознаний поселился необъяснимый ужас этого удара, впервые, пусть на мгновение, проскочила между ними искра вражды – его злоба и ее страх… А сейчас они оба чувствовали скорбь, она была мгновенной, но все же ее нужно было преодолеть сразу же, сейчас же, пока момент еще не был упущен окончательно и бесповоротно. Была ли эта захлестывавшая их ноги вода всего лишь началом, неисповедимым блеском какой-то невыразимой словами бездны, в которую они погружались, или же нет?!

В машине, при ярком свете луны, он отрывисто объяснялся с ней. Он ничего не понимал, говорил он. Он думал только о покере – был поглощен игрой, – и прикосновение к плечу показалось ему атакой. Атака! Он прицепился к этому слову, прикрываясь им, как щитом. В нем проснулась ненависть к тому, что к нему прикоснулось. А когда его рука с этим столкнулась, ненависть исчезла; ушла вся нервозность. Вот и все, что он знал и мог ей рассказать.

Глаза обоих наполнились слезами; они шептали друг другу слова любви – там, в машине, глубокой ночью… А тихие улочки Марлоу проносились мимо них. Когда они легли в постель, они почти совсем успокоились. Джеффри собирался на неделю забросить всю работу, чтобы просто поваляться, поспать, погулять по окрестностям, чтобы эта взвинченность наконец прошла. Когда они вместе решили, что так будет лучше, страх за Джеффри оставил Роксану. Подушки снова стали мягкими и манящими; кровать, на которой они лежали, снова стала казаться широкой и крепкой. Они снова лежали под мягким лунным сиянием, струившимся из окна.

Спустя пять дней, прохладным поздним вечером, Джеффри схватил дубовый стул и выбросил его на улицу, разбив окно собственного дома. Затем он, как дитя, упал на кушетку, жалобно заплакал и принялся молить о смерти. Сгусток крови размером с детский игрушечный шарик разорвался в одном из сосудов его головного мозга.

III

Это похоже на кошмарный сон наяву, который начинается, когда человек не спит ночь или две, – чувство, которое приходит вместе с крайним утомлением и солнцем нового дня, чувство, что жизнь вокруг стала совершенно иной. Это – совершенно отчетливое убеждение, что твое существование стало сродни побегу на ветви жизни и находится в

таком же родстве с этой жизнью, как кинофильм или отражение в зеркале, что люди, и улицы, и дома стали всего-навсего проекциями из тусклого и хаотического прошлого. Именно в таком состоянии находилась Роксана в первые месяцы после начала болезни Джеффри. Она могла заснуть, только совершенно обессилев и вымотавшись от бессонницы, а просыпалась она под тучей. Длинные, произносимые трезвым, сдержанным голосом советы врачей; слабый запах лекарств в холле; звук осторожных шагов на цыпочках внутри дома, бывший эхом прежней веселой беготни; и – самое главное – белое лицо Джеффри среди белоснежных подушек на постели, которую они раньше разделяли, – все это поработило и неизгладимо состарило ее. Доктора поддерживали надежду, но этим все и заканчивалось. Полный покой, говорили они, и тишина. Все заботы свалились на Роксану. Ей приходилось оплачивать счета, вникать в финансовые дела, вести переписку с издателями. Она постоянно находилась на кухне. У медсестры она научилась готовить для него специальную пищу, и после первого месяца болезни приняла на себя все бремя заботы о муже. Ей пришлось отказаться от услуг сиделки из экономии. Одну из двух цветных горничных пришлось уволить. Роксана начала понимать, что они жили «от рассказа до рассказа».

Самым частым гостем в доме стал Гарри Кромвелл. Он был шокирован и подавлен новостями. И хотя он жил в Чикаго с женой, у него находилось время для того, чтобы несколько раз в месяц навещать своего друга. Роксана принимала его сочувствие, – в этом человеке она видела сострадание и врожденную жалость к ближнему. И если он находился рядом, это немного утешало ее. Характер Роксаны неожиданно изменился, – в нем появилась глубина. Иногда она чувствовала, что вместе с Джеффри она потеряла и своих детей – тех детей, в которых она теперь нуждалась более всего и которых она могла бы иметь.

Спустя шесть месяцев после удара кошмар слегка поблек, оставив после себя совершенно иной – серый и холодный – мир. Однажды Роксана поехала по делам в Чикаго. До обратного поезда оставался час, и она решила познакомиться с женой Гарри.

Как только она вошла в дверь, у нее появилось чувство, что квартира исключительно похожа на какое-то место, и почти сразу она припомнила булочную на углу улицы ее детства, булочную с полками,

на которых рядами были выставлены розовые пирожные с розовой глазурью: удушливо-розовые, розовый цвет обжорства, подавляющий, вульгарный и гнусный розовый цвет!

Эта квартира была такой же. Она была розовой. Она смердела розовым!

Миссис Кромвелл, наряженная в розовый с черным халат, отворила дверь сама. Ее высветленные волосы были уложены в высокую прическу. Роксана представила, как каждую неделю эти волосы полощутся в воде с изрядной примесью пероксида. Глаза миссис Кромвелл были восковыми, бледно-голубыми; она была красива, но чересчур подчеркнуто грациозна. Ее радушие было пронзительно глубоко, а враждебность настолько быстро перешла в гостеприимство, что показалось, будто оба этих чувства были присущи лишь ее лицу и голосу и вовсе не затрагивали глубоко спрятанный внутри стержень самовлюбленности – и, в свою очередь, не были затронуты им сами.

Но для Роксаны все это оказалось на втором плане, – она не могла оторвать зачарованный взгляд от жуткого халата. Этот халат был омерзительно, гнусно грязен. Четыре дюйма ткани, начиная от нижней каймы, покрывала голубоватая пыль с пола; следующие три дюйма были серыми – и только затем цвет плавно перетекал в изначальный розовый. И рукава, и воротник были по-настоящему грязны, – а когда женщина повернулась спиной, чтобы вести гостью в гостиную, Роксана уверилась, что и шея хозяйки была не чище халата.

Началась трескотня разговора, и миссис Кромвелл разъяснила абсолютно все о своих вкусах и предпочтениях, о своей голове, своем животе, своих зубах, своей квартире, с оскорбительной педантичностью отклоняя любые попытки Роксаны вмешаться в ее монолог, как бы подразумевая, что получившая от жизни страшный удар Роксана желала лишь одного: чтобы течение жизни осторожно обходило ее стороной и чтобы ничего, достойного упоминания в разговоре, с ней больше не случалось.

Роксана улыбнулась. Вот так халат! А уж шея!

Прошло пять минут, и в гостиную ввалился маленький мальчик – немытый маленький мальчик, одетый в грязные розовые ползунки. Его лицо было испачкано – Роксане захотелось посадить его к себе на колени и вытереть ему нос; другие области вблизи его головы также

нуждались во внимании; носки маленьких ботиночек были совершенно сбиты. Неслыханно!

– Какой прелестный мальчик! – воскликнула Роксана, лучезарно улыбаясь. – Иди ко мне!

Миссис Кромвелл холодно взглянула на сына:

– Он может вас запачкать. Вы только посмотрите на его лицо!

Она повернула его голову и стала критически его рассматривать.

– Не правда ли, он прелестен? – повторила Роксана.

– Вы посмотрите на его штанишки! – нахмурилась миссис Кромвелл. – Ему нужно переодеться, не правда ли, Джордж?

Джордж с любопытством на нее уставился. Для него слово «штанишки» явно означало «чем-то измазанная одежда» – и то, что было на нем, вполне соответствовало этому определению.

– Я с утра пыталась его прилично одеть, – пожаловалась миссис Кромвелл как человек, чье терпение подвергалось тяжелейшим ежедневным испытаниям, – и обнаружила, что у него нет других штанишек, вот почему мне и пришлось одеть его в эти; это все же лучше, чем пустить его бегать вообще без одежды. А его лицо…

– А сколько у него вообще штанишек? – Голос Роксаны выражал веселое любопытство. «И сколько у вас вееров из перьев?» – подумала она.

– Ах…

Миссис Кромвелл задумалась, нахмурив одну из своих изящных бровей.

– Я думаю, штук пять. В общем, достаточно, насколько я знаю.

– Такие штанишки стоят не больше пятьдесят центов за пару!

Во взгляде миссис Кромвелл проскользнуло удивление – и слабое чувство превосходства. Фи – цены на какие-то штанишки!

– Неужели? Я и не знала. У него их в избытке, но за всю неделю у меня не выдалось ни одной свободной минутки, и я не успела послать за прачкой. – А затем, отбросив предмет разговора как несущественный, она сказала: —Я должна вам кое-что показать…

Она пошла наверх; Роксана последовала за ней, миновав открытую дверь ванной комнаты, в которой она мимоходом увидела усыпанный грязной одеждой пол, – и это свидетельствовало, что за прачкой действительно не посылали по крайней мере с неделю. Они вошли в

другую комнату, которая была, так сказать, квинтэссенцией «розовости». Это была спальня миссис Кромвелл.

Хозяйка открыла дверь встроенного в стену шкафа, и глазам Роксаны предстала изумительная коллекция дамского белья. Там находились целые дюжины тонких, как паутинка, чудес из кружева и шелка; все было чистым, отглаженным и, кажется, ни разу не надеванным. На вешалках позади висело три новых вечерних платья.

– У меня много красивых вещей, – сказала миссис Кромвелл, – но не слишком много поводов, чтобы их надевать. Гарри совершенно равнодушен к выходам в свет.

Нотка досады вкралась в ее голос.

– Он вполне доволен, если днем я играю роль няньки и экономки, а вечером – роль любящей жены.

Роксана снова улыбнулась:

– Да, у вас прекрасный гардероб.

– Спасибо. Позвольте мне показать вам…

– Действительно прекрасный, – повторила Роксана, перебив ее, – но мне уже нужно бежать, а то я опоздаю на поезд.

Она почувствовала, что ее руки задрожали. Ей хотелось положить их на плечи этой женщине и встряхнуть ее разок-другой. Ей хотелось запереть ее где-нибудь и приняться за мытье полов в этом доме.

– Прекрасный, – повторила она, – но я заглянула только на минутку.

– Ну что ж… Мне жаль, что Гарри не оказалось дома.

Они подошли к двери.

– Ах да… Забыла вам сказать, – негромко сказала Роксана. Голос ее был все еще мягок, а губы улыбались. – Штанишки можно купить в универмаге «Аргила» – по пятьдесят центов за пару. Прощайте же!

Лишь дойдя до станции и купив билет в Марлоу, Роксана осознала, что впервые за прошедшие полгода Джеффри начисто вылетел у нее из головы!

IV

Через неделю в Марлоу неожиданно появился Гарри. Он прибыл как раз к чаю и, поднявшись по ступенькам на крыльцо, сел на стоявший там плетеный стул. Выглядел он смертельно уставшим и голодным. Роксана также очень устала за день. В половине шестого должны были прибыть доктора, а также знаменитый нью-йоркский невропатолог. Она волновалась и одновременно была совершенно подавлена, но взгляд Гарри заставил ее присесть рядом с ним.

– Что случилось?

– Ничего, Роксана, – ответил он. – Я приехал навестить Джеффа. Не беспокойся обо мне.

– Гарри, – настаивала Роксана, – у тебя что-то случилось!

– Ничего, – повторил он. – Как Джефф?

Тень беспокойства омрачила ее лицо.

– Немного хуже, Гарри. Я пригласила доктора Джеветта из Нью-Йорка. Врачи думают, что он сможет сказать что-нибудь определенное. Он поставит диагноз и попробует определить, был ли тот тромб причиной паралича.

Гарри встал.

– Прошу прощения, – отрывисто сказал он, – я не знал, что сегодня к тебе приедет специалист, – я бы не приехал… Я просто хотел часок покачаться в кресле на твоем крыльце…

– Сядь! – скомандовала она.

Гарри колебался.

– Сядь, Гарри, мальчик мой!

Ее доброта вырвалась наружу и окутала его с головы до ног.

– Я знаю, что у тебя что-то случилось. Ты бел, как простыня. Я сейчас принесу тебе бутылку холодного пива.

Он обмяк в кресле-качалке и закрыл лицо руками.

– Я не могу сделать ее счастливой, – медленно проговорил он. – Я пытался, пытался… Сегодня утром мы поссорились из-за завтрака, – мне захотелось позавтракать в городе, и едва я ушел на работу, как она уехала к матери на Восток, взяв с собою Джорджа и чемодан с кружевным бельем.

– Гарри!

– И я не знаю…

Послышался хруст гравия, шум машины.

Роксана приглушенно вскрикнула:

– Это доктор Джеветт!

– О, я…

– Подожди меня здесь, ладно? – ничего не слушая, перебила она.

Он понял, что его горе уже скрылось в пучине ее собственного несчастья.

Последовали невнятные немногословные приветствия; затем Гарри вошел вместе со всеми внутрь дома и остался внизу, а остальные поднялись по лестнице наверх. Он пошел в библиотеку и уселся на большом диване.

Час он наблюдал за тем, как солнце ползло вверх по узорчатым складкам ситцевых занавесок. В глубокой тишине жужжала попавшая в ловушку между стеклами оса, и это был единственный звук, нарушавший тишину дома. Время от времени со второго этажа доносилось другое жужжание, исходившее, казалось, от нескольких больших ос, попавших в ловушки нескольких огромных окон. Он слышал приглушенные звуки шагов, бряцанье бутылочек с лекарствами, шум кипящей воды.

Что же такого сделали и он, и Роксана? За что жизнь нанесла им столь сокрушительные удары? Там, наверху, пытались достучаться до сознания его друга; он же сидел здесь, в тихой комнате, прислушиваясь к жалобам осы, как будто был мальчишкой, которого строгая тетка заставила целый час сидеть на стуле во искупление какого-то дурного поступка. Но кто посадил его на этот диван? Какая такая свирепая тетка спустилась с небес, чтобы заставить его искупить, – и что искупить?

Он думал о Китти без всякой надежды. Она не умела тратить деньги – и это было неизлечимо. Неожиданно он возненавидел ее. Ему захотелось повалить ее на пол и бить ногами, высказать ей, что она лгунья и пиявка, что она попросту грязнуля! Кроме того, ему нужен был его сын.

Он поднялся с дивана и стал мерить шагами комнату. Он услышал, как кто-то синхронно с ним начал ходить по коридору на втором этаже. Неожиданно ему стало очень интересно, одновременно или нет они оба достигнут своих целей.

Китти уехала к матери. И да поможет ей Бог – что это была за мать! Он попробовал представить эту встречу: оскорбленная жена падает на

грудь любящей матери. Не получилось. То, что у Китти могли обнаружиться хоть какие-то чувства, было совершенно невероятно. Он постепенно привык думать о ней как о чем-то недостижимом и бесчувственном. Конечно, она сможет получить развод и, соответственно, вновь выйти замуж. Он начал думать об этом. За кого она могла выйти? Он горько рассмеялся; в его воображении возникла картина – руки Китти обнимают другого мужчину, лица которого он не мог видеть; губы Китти страстно слились в поцелуе с другими губами. «Господи! – мысленно возопил он. – Господи! Господи! *Господи*!»

Затем видение помутнело и поблекло. Та Китти, которую он видел этим утром, потускнела, замаранный халат куда-то закатился и исчез, надутые губы, ярость и слезы – все куда-то испарилось. Он снова увидел Китти Кэрр – Китти Кэрр с соломенными волосами и огромными детскими глазами. И ведь она любила его, она его любила…

Через некоторое время он заметил, что с ним было что-то не так. Это что-то не имело отношения ни к Китти, ни к Джеффу – что-то совершенно иного рода. Наконец он с изумлением осознал, что он голоден. Ему хотелось есть! И только-то! Он пойдет на кухню и попросит, чтобы кухарка приготовила ему сэндвич. А после этого уедет обратно в город.

Он остановился у стены и заметил на ней что-то круглое. Рассеянно отодрав это пальцами, он положил это себе в рот, чтобы попробовать. Совсем как ребенок, пробующий на вкус яркую игрушку. Его зубы клацнули. Ах!

Она оставила ему этот проклятый халат, тот самый грязный розовый халат! Ей должно было хватить чувства такта, чтобы взять его собой, подумал он. Теперь он так и будет висеть в доме, словно остывший труп их болезненного союза. Он мог бы попробовать его выбросить, но он никогда не смог бы заставить себя к нему прикоснуться. Должно быть, на ощупь он был как Китти – мягким, податливым и непроницаемым. Китти нельзя было потрогать руками. За оболочкой Китти ничего не было. Он понял это – он всегда понимал это.

Он подошел к стене за следующим бисквитом и, приложив некоторые усилия, отодрал его вместе с гвоздем. Аккуратно вытащив гвоздь из центра, он бесстрастно подумал – а не съел ли он первый

бисквит вместе с гвоздем? Как глупо! Он бы почувствовал – гвоздь был огромным. Но он чувствовал лишь пустоту в желудке. Должно быть, он был очень голоден. Он задумался, припомнил – вчера он так и не поужинал. Выдался тяжелый день – Китти с самого утра лежала в постели, поедая шоколадные конфеты. Она сказала, что ей «не хватает воздуха» и что она не сможет вынести его присутствия у своего ложа. Он выкупал Джорджа и уложил его спать, а затем и сам прилег на кушетку, чтобы немного вздремнуть перед одиноким ужином. Но он крепко уснул и проснулся только в одиннадцать вечера и обнаружил, что холодильник пуст, – там не было ничего, кроме остатков салата. Им он и поужинал. Кроме того, ему удалось найти на трюмо Китти несколько шоколадных конфет. А сегодня утром он завтракал в городе, торопясь в контору. Но в полдень, беспокоясь о Китти, решил заехать домой и взять жену с собой на ланч. Приехав, он обнаружил дома только записку на подушке. Исчезла и куча белья из шкафа – и еще она оставила инструкции, куда переслать ее чемодан!

«Еще никогда я не был так зверски голоден», – подумал он.

В пять часов, когда приходящая сиделка на цыпочках спустилась вниз, он сидел на диване и пристально разглядывал ковер.

– Мистер Кромвелл?

– Да?

– Миссис Картайн не сможет увидеться с вами за ужином. Ей нехорошо. Она просила передать вам, что кухарка приготовит вам что-нибудь перекусить… и еще что в доме есть свободная спальня для гостей.

– Ей плохо, вы сказали?

– Она лежит в своей комнате. Консультация только что закончилась.

– Что… Что-нибудь решили?

– Да, – тихо сказала сиделка. – Профессор Джеветт сказал, что надежды нет. Мистер Картайн будет жить, но никогда больше не будет видеть, двигаться или думать. Он будет только дышать.

– Только дышать?!

– Да.

Только сейчас сиделка заметила, что возле письменного стола, где, как ей помнилось, раньше рядком висела дюжина забавных круглых предметов – которые, как она предполагала, были каким-то

экзотическим украшением, – теперь остался всего один кругляшок. А на тех местах, где раньше были остальные, теперь виднелись лишь маленькие дырочки от гвоздей.

Гарри в недоумении проследил за ее взглядом и затем встал с дивана:

– Думаю, что мне не следует оставаться. Кажется, последний поезд еще не отправился?

Она кивнула. Гарри взял шляпу.

– До свидания, – вежливо сказала она.

– До свидания, – ответил он, не глядя на нее. И, повинуясь бессознательному инстинкту, он остановился на пути к двери, и служанка увидела, как он отодрал от стены последний кругляшок и сунул его в карман.

Затем он открыл дверь и, спустившись по ступенькам, исчез.

V

Через некоторое время белый слой краски на доме Джеффри Картайна пошел на компромисс с солнечными лучами многих июлей и, уступив солнцу, превратился в серый. Он облупился, и огромные лепестки хрупкой старой краски ударились в крайность, подобно престарелому господину, решившему заняться нелепой гимнастикой и упавшему на зеленую траву лужайки у дома, найдя там свою скверную смерть. Колонны, украшавшие фасад, стали полосатыми; с левой стороны дверного косяка упал белый шар, зеленые ставни сначала потемнели, а затем утратили все претензии на собственный цвет.

Дом превратился в один из тех домов, которые чересчур впечатлительные люди стараются обходить стороной, – какая-то церковь купила участок напротив под кладбище, и этого, вкупе с фразой «дом, где живет миссис Картайн с живым трупом», было достаточно, чтобы дом у дороги прослыл «домом с привидениями». Но

миссис Картайн не осталась в одиночестве. И мужчины, и женщины приходили к ней в гости, встречались с ней в центре города, куда она ездила за покупками, подвозили ее домой в своих машинах – и даже заходили в дом, чтобы немного поболтать и погреться в лучах ее обаятельной улыбки. Однако незнакомые мужчины на улице больше не бросали на нее восхищенных взоров; словно прозрачная вуаль опустилась на ее красоту, разрушив всю ее яркость, но не принеся ни морщин, ни жира.

В деревне она стала местной достопримечательностью, о ней даже рассказывали истории: как в одну из снежных зим – в такую снежную, что ни автомобили, ни телеги не могли проехать по дорогам, – она сама научилась ходить на лыжах, чтобы быстрее добираться к бакалейщику или аптекарю и не оставлять Джеффри в одиночестве надолго. Рассказывали, что, после того как Джеффри парализовало, она всегда спала на кушетке рядом с его постелью, держа его за руку.

О Джеффри Картайне говорили так, будто он был уже мертв. Прошли годы, и те, кто его когда-то знали, умерли либо переехали, но все же осталась дюжина старых друзей, которые до сих пор пили вместе коктейли, звали жен приятелей по именам и продолжали считать Джеффри одним из остроумнейших и талантливейших парней из всех, когда-либо известных в Марлоу. Но случайный гость воспринимал его лишь как причину, которой миссис Картайн иногда извинялась, чтобы торопливо подняться наверх и таким образом ненадолго лишить гостя удовольствия находиться в своем обществе. Для них он был всего лишь стоном или приглушенным шорохом, что слышался иногда в тишине воскресной гостиной.

Он не мог пошевелиться; он был как крот – немой и слепой. Весь день он лежал в своей кровати; по утрам она перекладывала его в инвалидное кресло и приводила в порядок комнату и постель больного. Паралич медленно подползал к его сердцу. Сначала – в первый год болезни – Роксана иногда чувствовала, держа его за руку, очень слабое ответное пожатие. Затем, однажды вечером это прекратилось и больше никогда не возобновлялось, и две ночи подряд Роксана пролежала с широко открытыми глазами, уставившись в темноту и думая о том, что же ушло. Какая частица его души отлетела, и доносят ли теперь эти вдребезги разбитые нервы хоть слабый отблеск внешнего мира до его сознания?

После этого надежда умерла. Если бы ее заботы о больном не были непрестанны, последняя искорка жизни угасла бы уже давно. Каждое утро она брила и купала его, переносила своими руками из постели в кресло и обратно в постель. Она постоянно находилась в его комнате, носила лекарства, взбивала подушки, разговаривала с ним так, как разговаривают с собакой – без всякой надежды на ответ или понимание, с тусклым убеждением привычки. Это было похоже на молитву без веры.

Многие, и одно из нью-йоркских светил в том числе, ясно давали ей понять, что все ее старания тщетны, что, если бы Джефф был в сознании, он молил бы о смерти, что, если бы его дух витал где-нибудь над домом, он не принял бы таких жертв, он был бы озабочен только тем, как полностью освободиться из тюрьмы парализованного тела.

– Но, видите ли, – отвечала она, тихо покачивая головой, – когда я вышла замуж, это был Джеффри. И я все еще его люблю.

– Но, – возражали все, – вы же не можете любить *вот это*!

– Я могу любить того, кем *вот это* когда-то было. Что же мне остается делать?!

Светило пожало плечами и уехало, чтобы рассказывать всем о том, что «миссис Картайн – замечательная женщина, кроткая, как ангел». «Но, – добавлял профессор, – мне ее ужасно жаль… Наверняка найдется целая дюжина мужчин, которые почтут за счастье взять в свои руки все заботы о ней».

Действительно, так оно и было. То тут, то там кто-нибудь начинал надеяться – и с почтением отступал. В этой женщине не осталось любви, кроме, что достаточно странно, любви к жизни, ко всем людям, начиная от бродяги, которого она пока что могла себе позволить накормить, и заканчивая мясником, который протягивал ей дешевый стейк через прилавок. Вся остальная любовь была запечатана где-то внутри той безмолвной мумии, которая лежала, обратив свое лицо к свету, действуя совершенно механически, как игла компаса, и тупо ждала последней волны, которая должна была наконец накрыть ее сердце.

Через одиннадцать лет, в одну из долгих майских ночей, когда из открытых окон струился запах сирени, а легкий ветерок доносил пронзительное кваканье лягушек и стрекотанье цикад, он умер.

Роксана проснулась около двух часов ночи и с изумлением осознала, что в доме осталась только она.

VI

После этого она много вечеров подряд просидела на своем обветшавшем от множества дождей крыльце, пристально глядя на поля, плавно переходившие в возвышенность, на которой стоял бело-зеленый город. Она думала о том, что же ей теперь делать. Ей было тридцать шесть, она была красивой, сильной и свободной. Годы съели страховку Джеффри; ей пришлось расстаться с землей справа и слева от нее, она даже заложила дом.

Вместе со смертью мужа она ощутила всю тягость нерастраченной энергии. Ей не хватало тех утренних часов, когда она приводила в порядок комнату, ей не хватало тех «бросков» в город и кратких – а следовательно, приятных! – встреч с соседями у бакалейщика или у мясника, ей хотелось снова готовить мягкую, полужидкую пищу для него. Однажды, захваченная неожиданным приливом энергии, она вышла и перекопала весь огород, сделав то, что не делалось уже многие годы.

Ей было одиноко в осиротевшей комнате, стены которой видели и счастье, и горе ее брака. Вспоминая Джеффа, в душе она всегда возвращалась к тому прекрасному году, к тому напряженному, страстному слиянию друг с другом, к тому дружескому поглощению, но никогда не пыталась заглядывать дальше, в наступившее затем будущее, полное проблем; по ночам она часто просыпалась и просто лежала, желая почувствовать присутствие рядом с собой пусть и неодушевленного, но все-таки живого тела – тела Джеффа.

Однажды вечером, спустя шесть месяцев с его смерти, она сидела на крыльце в черном платье, которое скрадывало пока еще слабую склонность ее фигуры к полноте. На дворе стояло бабье лето, и все

вокруг было золотисто-коричневым; тишину нарушали слабые вздохи листьев, а на западе закатное солнце чертило на пылающем небосклоне красные и желтые полосы. Почти все птицы уже улетели, остались лишь воробьи, свившие себе гнездо под карнизом у колонны и продолжавшие изредка чирикать, перемежая это занятие краткими вылазками наружу. Роксана поставила свой стул так, чтобы можно было наблюдать за гнездом, и ее мысли текли сонно, как бы рождаясь прямо из сердца вечера.

Гарри Кромвелл собирался приехать к ней сегодня поужинать. С тех пор, как восемь лет назад он развелся с Китти, он стал частым гостем в этом доме. Они как бы поддерживали установленную ими же традицию: когда он приезжал, они шли смотреть на Джеффа, Гарри садился на край постели и спрашивал:

– Ну, Джефф, старик, как ты себя сегодня чувствуешь?

Роксана, стоя рядом, пристально смотрела на Джеффа, мечтая, чтобы по его лицу пробежал хоть слабый отблеск сознания того, что он узнал своего старого друга, но голова, бледная, будто высеченная из мрамора, медленно передвигалась, реагируя лишь на свет, будто что-то там, внутри, за этими ослепшими глазами на ощупь искало какой-то иной свет, давным-давно угасший.

Эти визиты продолжались все восемь лет – на Пасху, Рождество, День благодарения и просто по воскресеньям Гарри приезжал, навещал Джеффа и затем подолгу беседовал с Роксаной на крыльце. Он жил ею. Он даже не пытался этого скрывать, но и не делал попыток развить их отношения. Она была его лучшим другом, и груда мяса там, на постели, когда-то была его лучшим другом. Она была тихой гаванью, она была отдыхом после трудового дня; она была прошлым. Только она знала о его собственной трагедии.

Он присутствовал на похоронах, но сразу же после этого ему предложили работу с повышением на востоке страны, и в Чикаго он теперь бывал лишь наездами.

Роксана телеграфировала ему, что ждет его в любое время, и после ночи, проведенной в городе, он наконец-то смог сесть на поезд в Марлоу.

Они пожали друг другу руки и он помог ей сдвинуть вместе два кресла-качалки.

– Как Джордж?

– Прекрасно, Роксана. Кажется, ему нравится в школе.

– Да… Это был единственно возможный вариант – отослать его в пансион.

– Конечно…

– Ты сильно скучаешь по нему, Гарри?

– Да, мне очень его не хватает. Он – забавный паренек…

Они долго разговаривали о Джордже. Роксане было интересно – Гарри обещал привезти его в гости на ближайшие каникулы. Она видела его лишь однажды – когда он был ребенком в грязных ползунках…

Она оставила Гарри с газетой, а сама ушла готовить ужин – сегодня у нее было четыре котлеты и немного поздних овощей с собственного огорода. Она накрыла на стол и позвала Гарри. Сев рядом, они продолжили разговор о Джордже.

– Если бы у меня был ребенок… – говорила она.

Позже Гарри в меру своей информированности давал ей советы относительно того, куда сейчас выгоднее вкладывать деньги. Они прогуливались по саду, задерживаясь то тут, то там, чтобы рассмотреть то, что еще сохранилось от каменной скамейки или теннисного корта…

– А ты помнишь…

Их унес поток воспоминаний: они вспоминали день, когда они фотографировались и Джефф сел верхом на теленка; и рисунок Гарри, на котором были изображены Джефф и Роксана, растянувшиеся на травке, – их головы почти касались друг друга. Как они собирались устроить крытый решеткой с плющом переход от дома до кабинета Джеффа в сарае, чтобы Джефф после работы приходил по нему домой в дождливые дни, – постройка была начата, но ничего от нее уже не осталось, за исключением сломанного треугольного куска решетки, который все еще держался за дом и был похож на разрушенный курятник.

– И мятный джулеп!

– А блокнот Джеффа! Помнишь, как мы смеялись, Гарри, когда вытащили его из кармана Джеффа и прочли вслух какой-то черновик! И как он из-за этого бесился!

– Да, он просто озверел! Когда дело касалось его писанины, он становился ревнив и обидчив, как ребенок.

Они оба замолчали на мгновение, и затем Гарри сказал:

– Мы с Китти собирались купить участок где-нибудь рядом с вами. Ты помнишь? Мы собирались выкупить те прилегающие двадцать акров. Какие вечеринки мы бы закатывали!

Снова повисла тишина, нарушенная на этот раз тихим голосом Роксаны:

– Ты что-нибудь слышал о ней, Гарри?

– Да, – ответил он и помолчал. – Она живет в Сиэтле. Вышла замуж за какого-то Хортона – кажется, он один из «лесных» магнатов. И по-моему, он в два раза старше нее.

– И она довольна?

– Кажется, да. Видишь ли, у нее теперь есть все. И никаких забот, за исключением выбора подходящего платья к обеду.

– Понятно.

Без всяких усилий он сменил тему:

– Ты собираешься сохранить дом?

– Хотелось бы, – кивнув, ответила она. – Я прожила здесь слишком долго, Гарри, переезд кажется мне кошмаром. Я подумывала о том, чтобы устроиться сиделкой, но это, конечно же, означает переезд. Я уже, считай, решила стать хозяйкой пансиона.

– И какого же?

– Собственного. Неужели хозяйка пансиона – это плохо? Как бы там ни было, я найму служанку и буду приглашать человек восемь на лето и двух-трех, если получится, на зиму. Конечно же придется перекрасить и отремонтировать дом.

Гарри задумался.

– Роксана, зачем? Конечно же, тебе виднее, что тебе делать, но мне будет больно на это смотреть! Ты ведь приехала сюда невестой…

– Возможно, – сказала она, – именно поэтому я и не против остаться здесь в качестве хозяйки пансиона.

– О, я никогда не забуду ту сковороду с бисквитами!

– Ах, бисквиты! – воскликнула она. – Мне рассказали о том, как ты их прямо-таки сожрал, так что теперь я думаю, что они были не так уж плохи! Мне было очень плохо в тот день, но я все-таки рассмеялась, когда сиделка рассказала мне о твоем «странном», по ее мнению, поведении.

– Кстати, я заметил, что все двенадцать дырочек от гвоздей по-прежнему украшают стену библиотеки!

– Да.

На улице стемнело, и в воздухе появилась бодрящая свежесть; слабые порывы ветра сбрасывали с ветвей последнюю пену листьев. Роксана слегка дрожала от холода.

– Давай пойдем в дом!

Он взглянул на часы:

– Уже поздно. Мне пора. Завтра уезжаю обратно, на Восток.

– Это обязательно?

Они еще на мгновение задержались на веранде, глядя на луну, которая, казалось, полностью состояла из льда, плывшего издалека, со стороны озера Мичиган. Лето ушло, но бабье лето все еще продолжалось. Трава была холодна, но туман и даже роса все еще не появлялись по вечерам. Когда он уедет, она войдет в дом, зажжет свет, закроет ставни, а он спустится по дорожке и затем поднимется в деревню. Для этих двоих жизнь пролетела быстро и уже закончилась, оставив не горечь, но сожаление, не разочарование, но одну только боль. Лунный свет уже вступил в свои права, когда они обменялись рукопожатиями, – и каждый из них увидел в глазах другого накопившуюся за много лет привязанность друг к другу.

Мистер Липкин

Квинтэссенция эксцентрики в одном акте

Сцена представляет собой пространство перед загородным коттеджем в Восточном Исаакшире, в один из безнадежно аркадских августовских вечеров. ***Мистер Липкин****, одетый в эксцентричный*

костюм пейзанина эпохи Елизаветы, дрожа, лодырничает среди крынок и бычков. Он далеко не во цвете лет и давно уж не молод. Отталкиваясь от того факта, что он картавит, а также вовсе не замечает, что надел пальто наизнанку, можно высказать предположение, что он находится либо выше, либо ниже уровня поверхности обычной жизни.

Около него на траве лежит мальчик ***Питер.*** *Конечно же, подбородок* ***Питер*** *подпирает ладонью, как юный сэр Уолтер Рейли на картине. Он очень на него похож, его серые глаза даже глядят так же: серьезно, мрачно, почти траурно; он производит чарующее впечатление существа, не вкушавшего пищи земной. Это впечатление лучше всего производить по окончании плотного обеда. Он зачарованно смотрит на* ***мистера Липкина.***

Тишина. Поют птицы.

Питер. Часто в ночи я сижу у окна и смотрю на звезды. Иногда мне кажется, что это – мои звезды… (*Серьезно.*) Думаю, что когда-нибудь я тоже стану звездой…

Мистер Липкин (*эксцентрично*). Да, да… да…

Питер. Я знаю их всех: Венеру, Марса, Нептуна, Глорию Свенсон.

Мистер Липкин. Я не силен в астрономии… Я думал о Ландоне, малыш. И вспоминал свою дочь, уехавшую туда, чтобы стать машинисткой… (*Вздыхает.*)

Питер. Я любил Ульсу, мистер Липкин, она была такой пухленькой, такой кругленькой, такой веселой!

Мистер Липкин. Малыш, она не стоила и бумаги, которой была набита. (*Спотыкается о кучу крынок и бычков.*)

Питер. Как ваша астма, мистер Липкин?

Мистер Липкин. Ей хуже, слава богу!.. (*Задумчиво.*) Мне сто лет… Я слабею с каждым днем.

Питер. Наверное, жизнь стала более-менее спокойной с тех пор, как вы забросили приворовывать?

Мистер Липкин. Да… да… Видишь ли, Питер, малыш, я переменился, когда мне стукнуло пятьдесят – в тюрьме.

Питер. Опять встали на неверную дорожку?

Мистер Липкин. Гораздо хуже. За неделю до того, как истек мой срок, они насильно пересадили мне железы здорового молодого заключенного, которого казнили.

Питер. И это вас обновило?

Мистер Липкин. Обновило, как же! В меня снова вселился Старый Ник! Этот молодой преступник был, очевидно, взломщиком и клептоманом. Что значит мелкая кража по сравнению с этим!

Питер (*в благоговейном страхе*). Какой ужас! Наука – это вздор.

Мистер Липкин (*вздыхая*). Мне удалось его практически задавить. Не каждому доводится изнашивать два комплекта желез за одну жизнь. Я бы не согласился взять другой комплект, предложи мне даже все запасы бодрости сиротского приюта.

Питер (*задумчиво*). Не думаю, что вы отказались бы от чудесного спокойного комплекта старенького священника.

Мистер Липкин. У священников нет желез – у них души.

(*За сценой слышится приглушенный сигнал звонкого клаксона, извещающий о том, что совсем рядом остановился автомобиль. На сцену выходит молодой человек, облаченный в вечерний костюм и патентованный кожаный цилиндр. Он выглядит чрезвычайно светским. Противоположность одухотворенности двух других персонажей заметна даже с первого ряда балкона. Его зовут Родни Дайвен*.)

Дайвен. Я ищу Ульсу Липкин.

Мистер Липкин поднимается и, трясясь, встает между двух бычков.

Мистер Липкин. Моя дочь в Ландоне!

Дайвен. Она уехала из Лондона. Она едет сюда. Я шел за ней по пятам.

Из маленького отделанного жемчугом кошелька, висящего у него на боку, он достает сигареты, выбирает одну. Чиркнув спичкой, подносит ее к сигарете. Сигарета в тот же миг зажигается.

Дайвен. Я подожду.

Он ждет. Проходит несколько часов. Не раздается ни звука, если не считать редкого кудахтанья или шипения бычков, ссорящихся друг с другом. Здесь можно вставить несколько песенок, или карточные фокусы в исполнении Дайвена, или акробатический номер – как вам будет угодно.

Дайвен. Здесь так тихо.
Мистер Липкин. Да, очень тихо…

Неожиданно появляется кричаще одетая девушка; она выглядит порочной. Это Ульса Липкин. На ней одно из присущих ранне-итальянской живописной школе бесформенных лиц.

Ульса (*хриплым, порочным голосом*). Папочка! Вот и я! Твоя маленькая Ульса!
Мистер Липкин (*трясясь*). Ульса, маленькая Ульса…

Они обнимаются, обхватывая друг друга за бока.

Мистер Липкин (*с надеждой*). Ты приехала, чтобы помочь с пашней?
Ульса (*сердито*). Нет, папочка, пахать так скучно. Не горю желанием.

(*У нее ужасный акцент, зато смысл ее речей мил и ясен.*)

Дайвен (*явно пытаясь ей угодить*). Послушай, Ульса. Давай постараемся достичь понимания.

Он идет к ней широкими, грациозными, спокойными шагами; умение делать такие шаги сделало его капитаном команды бегунов в Кембридже.

Ульса. Ты все еще утверждаешь, что Джек?
Мистер Липкин. О чем она говорит?
Дайвен (*нежно*). Милая моя, конечно же это Джек. Это не может быть Франк.

Мистер Липкин. Какой Франк?

Ульса. Это Франк!

(*Здесь можно вставить пикантную шутку.*)

Мистер Липкин (*экстравагантно*). А вот не подеретесь… А вот не подеретесь…

Дайвен (*протягивая руку чтобы погладить ее по руке тем мощным движением, благодаря которому он стал главным гребцом команды Оксфорда*). Ты выйдешь за меня замуж?

Ульса (с *насмешкой*). Еще чего! Да мне не позволят войти в твой дом даже через черный ход!

Дайвен (*рассерженно*). Пусть только попробуют! Не бойся – ты войдешь в него, как любовница, через форточку.

Ульса. Сэр, вы забываетесь!

Дайвен (*смущенно*). Прошу меня извинить. Но ты поняла, что я хотел сказать?

Мистер Липкин (*от мыслей у него разболелась голова*). Вы хотите взять в жены мою маленькую Ульсу?

Дайвен. Да.

Мистер Липкин. Я вас совсем не знаю.

Дайвен. Отлично. У меня самое прекрасное тело в мире…

Ульса. И самый плохой кодекс чести.

Дайвен. В Итоне я был членом клуба «Пауп»; в Рэгби я состоял в «Полупиве». Моим уделом, поскольку я являлся младшим сыном, была служба в полиции…

Мистер Липкин. Можно не продолжать… Деньги у вас есть?

Дайвен. Куча. Думаю, что Ульсе придется ездить за покупками, раздваиваясь каждое утро – в двух «роллс-ройсах». Я также владею детским автомобилем и списанным танком. У меня абонемент в опере…

Ульса (*мрачно*). *А я* могу спать только в ложе! И я слышала, что вас исключили из клуба.

Мистер Липкин. Какие ключи?

Дайвен (*повесив голову*). Да, меня исключили.

Ульса. За что?

Дайвен (*еле слышно*). Однажды я решил пошутить и спрятал все мячи для поло.

Мистер Липкин. У вас все в порядке с головой?

Дайвен (*с унынием*). Спасибо, все хорошо. В конце концов, что такое светское великолепие? Всего лишь чувство такта, позволяющее вам сеять, пока вас никто не видит, и жать, когда на вас смотрят все.

Мистер Липкин. Поосторожнее… Я не позволю своей дочери выйти замуж за эпиграмму!

Дайвен (*еще более уныло*). Уверяю вас, я настоящая банальность. И часто опускаюсь до уровня подсознательного штампа.

Ульса (*уныло*). Все, что ты говоришь, ничего не значит. Я не могу выйти замуж за человека, который думает, что это будет Джек. Да Франк ведь…

Дайвен (*перебивая*). Чепуха!

Ульса (*четко*). Ты дурак!

Мистер Липкин. Та-та! Не судите… Будь милосердна, девочка моя. Как там говаривал Нерон: «Ни к кому со злобой, с милосердием ко всем»?..

Питер. Это не Нерон. Это Джон Дринкуотер.

Мистер Липкин. Ну да! Кто этот Франк? Кто этот Джек?

Дайвен (*угрюмо*). Готч.

Ульса. Демпси.

Дайвен. Мы поспорили, кто останется в живых, если бы они были смертельными врагами и были заперты наедине. Я говорю, что Джек Демпси одной…

Ульса (*сердито*). Чушь! Он не сможет даже…

Дайвен (*быстро*). Ты выиграла.

Ульса. Тогда я опять тебя люблю!

Мистер Липкин. Итак, я потеряю свою дочурку…

Ульса. У тебя полон дом детей.

Чарлз, брат Ульсы, выходит из коттеджа. Он одет так, как будто собрался в море; с его плеча свисает бухта каната, а на шее болтается якорь.

Чарльз (*не замечая их*). Я ухожу в море! Я ухожу в море!

(*В его голосе слышится ликование.*)

Мистер Липкин (*печально*). Ты давно уже ушел… в поле.

Чарлз. Я читал «Конфрада».

Питер (*мечтательно*). О, «Конрад»! Генри Джеймс, «Два года на палубе».

Чарльз. Что?

Питер. «Робинзон Крузо», версия Уолтера Патера.

Чарльз (*своему папочке*). Я не могу оставаться и гнить тут вместе с вами. Я хочу жить своей жизнью. Я хочу охотиться на угрей!

Мистер Липкин. Я буду здесь… когда ты вернешься…

Чарльз (*презрительно*). Ну что ты – червяки уже облизываются, когда слышат твое имя.

(Вы, *наверное, заметили, что некоторые персонажи уже давно ничего не говорили. Если они исполнят энергичное соло на саксофоне, это послужит только во благо драматической технике.*)

Мистер Липкин (*скорбно*). Эти долины, эти холмы, эти комбайны Мак-Кормика… они ничего не значат в глазах моих детей! Я понимаю.

Чарльз (*нежно*). Тогда не сердись на меня, папочка. Понять – значит простить.

Мистер Липкин. Нет… Нет… Мы никогда не прощаем тех, кого можем понять… Мы прощаем только тех, кто ранит нас безо всякой причины…

Чарльз (*раздраженно*). Меня чертовски тошнит от твоих замечаний о человеческой натуре. И вообще ненавижу каждый лишний час, проведенный здесь.

Еще несколько дюжин детей мистера Липкина отправляются в путь из дома, спотыкаясь о траву, о *крынки и о бычков. Слышно, как они бормочут* «*Мы уходим*» *и* «*Мы тебя покидаем*».

Мистер Липкии (*его сердце разрывается*). Они все оставляют меня. Я был слишком добр. Прятал розги и все испортил. Увы мне! Ну почему во мне нет частички Бисмарка?!

Раздается звук клаксона – вероятно, шофер Дайвена соскучился по своему хозяину.

Мистер Липкии (*в отчаянии*). Они не любят свою землю! Они предают старинные традиции картофелеводов! (Он *в отчаянии хватает горсть земли и посыпает свою лысую голову. Начинают расти волосы.*) О, Вордсворт, Вордсворт, как ты был прав, когда сказал:

Ей в колыбели гробовой
Навеки суждено
С авто, с Нью-Йорком и с Москвой
Вращаться заодно.

Все громко кричат «Жизнь!» и «Джаз!», медленно двигаясь к краям сцены.

Чарлз. Вернись к земле, да! Я уже десять лет пытаюсь от нее отвернуться!

Одно Дитя. Может, фермеры и есть опора страны, да только кто захочет, чтобы на него все опирались?

Другое Дитя. Мне плевать, кто пропалывает овощи, если я могу есть салат!

Все. Жизнь! Психология! Джаз!

Мистер Липкин (*борясь с собой*). Я должен быть старомодным эксцентриком. Это все, что мне осталось. Ценна не жизнь, а та доля оригинальности, которую мы в нее вносим…

Все. Мы хотим на Ривьеру! Дайте нам билеты в цирк на Пикадилли! Жизнь! Джаз!

Мистер Липкин. Погодите. Позвольте почитать вам из Библии. Открываем наугад. Всегда найдется то, что скрасит сложившиеся обстоятельства. (Он *берет Библию, лежавшую на одной из крынок, и начинает читать с первого попавшегося места.*) «Анаф, Ештемо и Аним, Гошен, Холон и Гило: одиннадцать городов с их селами. Арав, Дума и Ешан…»

Чарлз (*безжалостно*). Купи еще десять пулек и попробуй снова.

Мистер Липкин (*пробует снова*). «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы

твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской…» Хм… Не слишком скромный пассаж…

Его дети оскорбительно смеются над ним, выкрикивая «Джаз!» и «Жизнью движут намеки!»

Мистер Липкин (*подавленно*). На этот раз не сработало. (*С надеждой.*) Может, отсырела? (*Ощупывает.*) Да, отсырела… В крынке была вода… Не сработает.

Все. Отсырела! Не сработает! Джаз!

Один из детей. Пошли, надо успеть на шесть тридцать.

(*Можно вставить любую другую реплику.*)

Мистер Липкин. Прощайте…

*Все уходят. **Мистер Липкин** остается в одиночестве. Он вздыхает и идет к крыльцу коттеджа, ложится на ступеньки и закрывает глаза.*

Наступают сумерки – сцена освещена так, как никогда не бывает ни на суше, ни на море. Не слышится ни звука – лишь жена пастушка в отдалении наигрывает на губной гармошке Десятую симфонию Бетховена. Огромные белые и серые мотыльки устремляются вниз на старика и полностью его облепляют. Он не шевелится.

*Занавес поднимается и опускается несколько раз, подчеркивая, что прошло несколько минут. Можно усилить комический эффект, если **Мистер Липкин** зацепится за занавес и будет подниматься и опускаться вместе с ним. Здесь также можно ввести светлячков или фей на ниточках.*

*Затем появляется **Питер** с выражением почти дебильной кротости. Он что-то сжимает в руке, время от времени поглядывая на этот предмет почти в экстазе. Переборов себя, он кладет его на тело старика и тихо удаляется.*

Мотыльки бьются друг о друга, а затем мгновенно разлетаются, чем-то испуганные. Темнота усиливается, но то там, то тут мерцают искры, маленькие, белые и круглые, разнося по Восточному Исаакширу тонкий аромат дара любви Питера: нафталинового шарика.)

(*Пьесу можно заканчивать либо продолжать сколько угодно.*)

Джемина, девушка с гор

Это произведение не претендует на литературные лавры. Это всего лишь сказка для полнокровной публики, которая ценит рассказ, а не простой набор слов «психологического» оттенка, складывающийся в «анализ». Ребята, вам это понравится! Читайте это на бумаге, смотрите это в кино, слушайте это на пластинках, вышивайте это на швейных машинах!

Дикарка

В горах Кентукки царила ночь. Со всех сторон возвышались пустынные холмы. С гор проворно бежали быстрые ручьи.

Джемина Тантрум стояла внизу у ручья, занимаясь перегонкой виски в фамильном аппарате.

Она была типичной девушкой с гор.

Обуви у нее не было. Ее руки, большие и сильные, свисали ниже колен. Лицо демонстрировало разрушительное действие труда. Хотя ей

было лишь шестнадцать, уже дюжину лет она служила опорой своим пожилым Паппи и Мамми, занимаясь перегонкой горного виски.

Время от времени она давала себе передышку и, наполнив ковш чистой, как слеза, животворной влагой, осушала его, а затем продолжала работу с удвоенной энергией.

Она забрасывала рожь в бочку, размолачивала ее ногами – и через двадцать минут продукт был уже готов.

Она как раз приканчивала ковш, когда внезапный возглас заставил ее сделать паузу и бросить взгляд наверх.

– Добрый день, – сказал чей-то голос. Он принадлежал неожиданно появившемуся из леса человеку, облаченному в охотничьи ботинки с голенищами по шею.

– Приветик, – неохотно ответила она.

– Не подскажете ли дорогу к хижине Тантрумов?

– А вы с нижних поселков?

Она неуверенно махнула рукой в направлении подножия холма, где лежал Луисвилль. Там она никогда не бывала; однажды, когда ее еще не было на свете, ее прадед, старый Гор Тантрум, ушел в поселок в компании двух судебных приставов и так никогда и не вернулся. Так Тантрумы, поколение за поколением, научились бояться цивилизации.

Человек развеселился. Он негромко, но звонко рассмеялся – так смеются в Филадельфии. Что-то в этом звуке испугало ее. Она залпом осушила еще ковш виски.

– Где мистер Тантрум, малышка? – спросил он, и голос его зазвучал добрее.

Она подняла ступню и большим пальцем ноги указала на лес:

– Он в хижине – там, за соснами. Старик Тантрум – мой отец.

Человек из поселка поблагодарил ее и ушел. Он излучал молодость и силу характера. На ходу он посвистывал, напевал, делал сальто и блинчики, вдыхая чистый, бодрящий горный воздух.

Ведь воздух у аппарата пьянил, как вино!

Джемина Тантрум смотрела на него как завороженная. Такие ей еще никогда не попадались.

Она села на траву и стала считать пальцы на ногах. Она насчитала одиннадцать. Арифметике она училась в горной школе.

Горная вражда

Десять лет назад леди из поселка открыла школу в горах. У Джемины не было денег, но она вносила плату, принося полное ведро виски каждое утро и оставляя его на столе мисс Лафардж. Мисс Лафардж скончалась от белой горячки через год после начала преподавательской деятельности, поэтому обучение Джемины так и не завершила.

На другом берегу тихого ручья стоял еще один перегоночный аппарат. Он принадлежал Долдрумам. Долдрумы и Тантрумы не ходили друг к другу в гости.

Они ненавидели друг друга.

Пятьдесят лет назад старый Джем Долдрум и старый Джем Тантрум поссорились в хижине Тантрума за игрой в «оладушки». Джем Долдрум швырнул короля червей в лицо Джема Тантрума, и старый Тантрум в ярости свалил с ног старого Долдрума девяткой бубен. Вскорости присоединились остальные Долдрумы и Тантрумы, и маленькая хижина заполнилась летающими картами. Хаструм Долдрум, один из младших Долдрумов, корчился на полу в агонии, туз червей застрял у него в горле. Джем Тантрум, стоя в дверном проеме, метал масть за мастью, его лицо горело адской ненавистью. Старая Мамми Тантрум стояла на столе, поливая Долдрумов горячим виски. Старый Хек Долдрум, у которого кончились козыри, был вытеснен из помещения, несмотря на то что разил направо и налево своим табачным кисетом, собирая вокруг себя остатки своего клана. Затем они оседлали своих волов и яростным галопом ускакали домой.

Старик Долдрум и его сыновья, поклявшись отомстить, вернулись ночью, прицепили трещотки на окна Тантрумов, намертво прибили к двери входной звонок и пробили сигнал к отступлению.

Через неделю Тантрумы залили в перегонный куб Долдрумов рыбьего жира, и так, год за годом, вражда продолжалась, уничтожив сначала один клан, а затем и другой.

Рождение любви

Каждый день малютка Джемина работала с перегонным кубом на своем берегу ручья, а Боско Долдрум работал со своим дистиллятором на противоположном берегу.

Иногда, поддавшись врожденной ненависти, заклятые враги поливали друг друга виски, и Джемина возвращалась домой, благоухая, словно французский табльдот.

Но в данный момент Джемина была слишком погружена в свои мысли, чтобы еще и следить за противоположным берегом.

Как прекрасен был незнакомец и как необычно он был одет! В своей невинности она никогда не верила в существование каких-то цивилизованных селений, для нее все это основывалось на легковерии людей гор.

Она развернулась, чтобы спуститься к хижине, и при развороте что-то ударило ее в шею. Это была мочалка, брошенная Боско Долдрумом, мочалка, пропитанная виски из перегонного аппарата с того берега ручья.

– Это ты, Боско Долдрум? – крикнула она глубоким басом.

– Йо! Джемина Тантрум, черт бы тебя побрал! – ответил он.

Она продолжила свой путь к хижине.

Незнакомец разговаривал с ее отцом. В земле Тантрумов было обнаружено золото, и незнакомец, Эдгар Эдисон, пытался выменять землю на песню. Он размышлял, какую песню стоило предложить.

Она села, подложив руки под себя и стала на него смотреть.

Он был прекрасен. Когда он говорил, его губы двигались!

Она залезла на печку и снова стала смотреть на него.

Неожиданно послышался крик, от которого кровь застывает в жилах. Тантрумы бросились к окнам.

Это были Долдрумы.

Они привязали своих волов к деревьям, а сами спрятались среди зарослей и цветов, и вскоре настоящий ливень из камней и кирпичей застучал в окна, погнув все ставни.

– Отец! Отец! – пронзительно завизжала Джемина.

Ее отец снял со стены рогатку и с любовью погладил ее резиновый ремешок. Он встал к бойнице. Старая Мамми Тантрум заняла позицию в угольном чулане.

Битва в горах

Незнакомец все сразу понял. В неистовстве, спеша на битву с Долдрумами, он попытался покинуть дом через камин. Затем он решил, что дверь может быть скрыта и под кроватью, и Джемине пришлось сказать, что там ее нет. Он искал двери под кроватями и диванами, и Джемине приходилось все время вытаскивать его оттуда и говорить, что там нет никаких дверей. В безумии от ярости он пробился сквозь дверь и возопил к Долдрумам. Они не ответили ему, но продолжили обстреливать окна кирпичами и камнями. Старый Паппи Тантрум знал, что стоит только дверному проему поддаться, как они тут же просочатся внутрь – и исход битвы будет предрешен.

Тем временем старый Хек Долдрум, с пеной у рта, сплевывая направо и налево, пошел в атаку.

Страшная рогатка Паппи Тантрума разила не без толку. Мастерский выстрел вывел из строя одного Долдрума, а другой Долдрум, почти сразу же после этого подстреленный в брюхо, едва подавал признаки жизни.

Все ближе и ближе подходили они к дому.

– Нам нужно бежать! – прокричал незнакомец Джемине. – Я пожертвую собой и унесу вас отсюда.

– Нет, – крикнул Паппи Тантрум, весь в копоти. – Вы останетесь здесь и поможете нам. Я защищаю Джемину. Я защищаю Мамми. Я

защищаю себя!

Человек из поселка, бледный и дрожащий – видимо, от ярости, – повернулся к Хэму Тантруму, который стоял у двери, отбиваясь от наступающих Долдрумов:

– Ты прикроешь отступление?

Хэм сказал, что у него тоже есть Тантрумы, которых нужно спасать, но он останется здесь, чтобы прикрыть отступление и помочь незнакомцу, если только тот придумает, как это сделать.

Вскоре сквозь щели пола и потолка стал просачиваться дым. Шем Долдрум подполз совсем близко и зажег спичку, огонь которой воспламенил спиртовые пары дыхания старого Иафета Тантрума, и тогда загорелось со всех сторон.

Загорелось виски, налитое в ванну! Стены начали рушиться.

Джемина и человек из поселка посмотрели друг на друга.

– Джемина, – прошептал он.

– Незнакомец, – ответила она.

– Мы умрем вместе, – сказал он. – Если бы мы выжили, я отвез бы тебя в город и женился бы на тебе. С твоей способностью переносить спиртное успех в обществе был бы обеспечен!

Она ласково дотронулась до него рукой, шепотом считая свои пальчики. Дым усиливался. Ее левая нога занялась.

Она превратилась в живой спиртовой факел.

Их губы встретились в одном долгом поцелуе, а затем их накрыла падающая стена.

«Одно целое»

Когда Долдрумы прорвались сквозь кольцо пламени, они обнаружили их прямо там, где они упали, и руки их были сплетены вместе.

Старый Джем Долдрум был тронут.

Он снял шляпу.

Он наполнил ее виски и выпил его.

– Они умерли, – медленно произнес он, – но они так страстно любили друг друга! Теперь все кончено. Мы не должны разъединять их.

И они бросили их вместе в ручей, и два всплеска слились в один.

Цент на двоих

Дождь кончился, небо на западе пожелтело, а в воздухе повеяло прохладой. По немощеной, красноватого оттенка улице, очерченной дешевыми бунгало десятых годов постройки, начал свой путь вдоль тротуара мальчик на большом взрослом велосипеде. Монотонное очарование улицы, казалось, соответствовало его планам. Проехав около сотни ярдов, он останавливался, слезал с велосипеда, разворачивал его, прислонял к каменной ступеньке и вновь садился в седло, чтобы не без труда и пота вернуться к исходной точке. На одном конце пути находилась цветная девчонка лет четырнадцати, нянчившая вялое дитя, а на другом – ничейный тощий котенок, испуганно жавшийся к бордюру. Кроме них, на улице не было ни души.

Мальчик успел совершить уже столько поездок туда и обратно, что и печальный котенок – там, и картинно праздная цветная девчонка – здесь совсем перестали его замечать. Но вдруг из-за угла неожиданно показался человек, и мальчик был вынужден совершить опасный поворот, чтобы избежать столкновения, и лишь после мгновения наигранной паники он позволил себе восстановить равновесие.

Хотя мальчику происшествие представлялось серьезным, вновь прибывший едва обратил на него внимание, резко свернул с тротуара и сразу же с явным интересом уставился на стоявший перед ним дом. Дом был самым старым на этой улице, его стены были обиты дранкой, а крыша – обшита гонтом. Это был дом в очищенном от любых наслоений смысле этого слова: именно такой, какой дети рисуют на

классной доске. Дом нес явный отпечаток эпохи, но не в конструкции: его внешний вид определенно служил лишь достойной формой его содержанию. Это был дом распространенного в глубинке типа, лет на тридцать старше оштукатуренных бунгало, которые с некоторых пор воспроизводились в геометрической прогрессии со скоростью, позволявшей предположить, что строительство как-то связано с гигантскими кроликами. На протяжении тридцати лет такие жилища удовлетворяли всем критериям среднего класса: экономическим, поскольку были дешевы, и эстетическим – поскольку отличались уродством. Это был дом, выстроенный племенем, наиболее энергичные представители которого надеялись вскоре либо разбогатеть, либо уехать за лучшей долей, и был он тем примечательнее, что на протяжении столь многих лет смог сохранить в целости как эту свою нестабильность, так и все присущее ей безобразие и дискомфорт.

Мужчина был ровесником дома – ему было лет сорок пять. Но, в отличие от дома, он не выглядел ни уродливо, ни дешево. Его костюм был слишком хорош, чтобы можно было подумать, что он был сшит где-либо за пределами столицы; более того, он был настолько хорош, что нельзя было сказать, в какой именно столице он был сшит. Мужчину звали Аберкромби, и самое важное событие в его жизни произошло в доме, перед которым он сейчас стоял. Он здесь родился.

Этот дом значился на последнем месте в списке всех домов на земле, в которых ему надлежало бы родиться. Сам Аберкромби считал так почти сразу после этого события и продолжал так считать и сейчас – уродливый домишко в третьесортном южном городке, где его отец с кем-то на паях владел бакалейной лавкой. С тех пор Аберкромби успел сыграть в гольф с президентом Соединенных Штатов Америки и отобедать, сидя за столом между двумя герцогинями. Президент ему показался скучен, герцогини также были скучны и ни в малейшей степени его не смутили, – тем не менее оба происшествия оставили приятный осадок в его душе и до сих пор грели его наивное тщеславие. Он испытывал наслаждение от того, что прошел столь длинный путь.

Несколько минут он внимательно рассматривал дом, пока не заметил, что в нем никто не живет. Причиной того, что кое-где не были закрыты ставни, было то, что эти ставни отсутствовали. Из этих пустот

на него незряче выглядывала бесконечная темная гладь покрытых пылью окон. Двор зарос густой и длинной травой, а в широких трещинах между плитами дорожки виднелась похожая на бледно-зеленые усы живая поросль. Однако было ясно, что в доме еще совсем недавно кто-то жил, потому что на крыльце валялось полдюжины газет, свернутых в рулоны для ускорения доставки, и бумага только-только начала покрываться желтизной забвения.

Когда Аберкромби поднялся на крыльцо и уселся на древней скамье, желтизна газет еще не могла сравниться с небом, хотя это небо демонстрировало все оттенки желтого: и желтовато-коричневый, и золотистый, и персиковый. На другой стороне улицы, за пустырем, возвышались сплошной стеной живописные дома из красного кирпича, и Аберкромби нравился этот пейзаж: теплый цвет кирпича на земле и свежее после дождя небо, изменчивое и призрачное, как во сне. Всякий раз, когда ему необходимо было отвлечься, он вызывал у себя в памяти эту картину: дома и чистое, как в этот час, небо. Аберкромби сидел и вспоминал дни своего детства.

Через десять минут из-за угла показался еще один мужчина – совсем другой, отличавшийся как внешне, так и внутренне. Это был рабочий лет сорока шести, его костюм был заношен, он сам – измучен, а его женой была женщина, определенно знававшая в девицах лучшие времена. Последнее, как известно, всегда пишется красным курсивом нищеты.

Его звали Хеммик, Генри В., или Джордж Д., или Джон Ф. – в породившем его племени воображения слишком мало, чтобы тратить его на имена или планы. Он служил клерком на фабрике, которая занималась производством льда, жизненно необходимого долгим южным летом. Его начальником был человек, владевший патентом на упакованный в жестянки лед, которым он, в свою очередь, был обязан только Господу Богу. За всю жизнь Генри В. Хеммик так и не открыл нового способа рекламы льда в жестянках и так никогда и не смог, тщательно скопировав технологию, придумать, как расширить производство и в полной тайне подготовиться к тому, чтобы сделаться партнером. Он не примчался домой к жене, крича: «Нелли, теперь ты сможешь нанять этого повара – меня повысили, я теперь старший управляющий!» Придется вам принять его, как и Аберкромби, таким, каков он есть и каким будет всегда. Рассказ этот – о прошлом.

Когда второй мужчина поравнялся с домом, он свернул на дорожку. Поднимаясь по шатающимся ступеням крыльца, он заметил Аберкромби – незнакомца – и с вымученным удивлением слегка ему поклонился.

– Добрый вечер, – произнес он.

Аберкромби вслух выразил свое согласие с этим мнением.

– Прохладно. – Вновь пришедший обернул платок вокруг указательного пальца и провел забинтованным пальцем по внешней кромке стойки воротника. – Сняли дом? – спросил он.

– Да что вы, нет! Я просто остановился на минутку… Прошу прощения, если побеспокоил. Мне показалось, что в доме никто не живет…

– Ну какое там беспокойство! – поспешно произнес Хеммик. – Кому может прийти в голову беспокоиться о таком сарае! Я отсюда съехал два месяца назад. Кажется, его даже не собираются снова сдавать. У меня дочка, вот такая, – он показал рукой от земли, – и она очень любит свою старую куклу, которую мы потеряли при переезде. Расплакалась, вот и пришлось идти искать.

– Так вы здесь жили? – с интересом отозвался Аберкромби.

– Восемнадцать лет. Въехали сразу после свадьбы, четырех детей в этом доме родили. Да, сэр. Уж я-то знаю этого старика! – Он похлопал ладонью по дверному косяку. – Знаю каждую щель и в этой крыше, и в этом старом полу!

Аберкромби, несмотря на возраст, обладал приятными чертами лица и отлично знал, что если будет сохранять внимательное выражение, то собеседник будет продолжать говорить до бесконечности.

– Вы с севера? – вежливо поинтересовался Хеммик, опершись с привычной точностью на тот участок хлипких деревянных перил, который мог выдержать его вес. – Я так и думал, – продолжил он после кивка Аберкромби. – Янки видно за версту.

– Я из Нью-Йорка.

– Да? – Мужчина с неуместной серьезностью покачал головой. – А я так сам туда и не добрался. Собирался пару раз, до свадьбы, да так и не сложилось. – Он снова повторил движение пальцем в платке, а затем, будто неожиданно набравшись смелости, переложил платок в

один из своих набитых карманов и протянул руку своему собеседнику. – Меня зовут Хеммик.

– Рад познакомиться. – Аберкромби, не вставая, пожал протянутую руку. – А меня зовут Аберкромби.

– Очень рад знакомству, мистер Аберкромби.

Затем оба на мгновение замялись, их лица приобрели на удивление похожие выражения, брови сдвинулись, а взгляды, казалось, подернулись дымкой. Оба старались воскресить какое-то минутное воспоминание, хранимое в дальней ячейке памяти и почти забытое. Оба чуть кашлянули, осмотрелись, затем взглянули друг на друга и рассмеялись. Аберкромби заговорил первым:

– А мы знакомы.

– Точно, – согласился Хеммик, – но как это может быть? Не могу понять. Вы же из Нью-Йорка, говорите?

– Да, но родился и вырос в этом городе. Жил в этом доме, пока не уехал отсюда; мне тогда было семнадцать. Что касается меня, то я вас помню – вы были на пару лет старше.

Хеммик снова задумался.

– Кажется, – начал он неуверенно, – я тоже что-то вспоминаю. Начинаю вспоминать – точно помню ваше имя, и, кажется, до того как мы сняли этот дом, тут жил ваш отец. Но все, что я могу вспомнить о вас, так это что был тут мальчишка по имени Аберкромби, который потом уехал.

Через некоторое время они уже свободно разговаривали. Обоих позабавило то, что они из одного и того же дома; особенно развеселился Аберкромби, потому что обладал тщеславием и в этот вечер погрузился в воспоминания о своей прежней бедности. Несмотря на то что он никогда не говорил под влиянием момента, он счел нужным дать ясно понять в нескольких фразах, что уже пять лет спустя после того, как он покинул этот дом и этот город, он смог перевезти своих родителей жить к себе в Нью-Йорк.

Хеммик слушал с тем подчеркнутым вниманием, с которым люди, не преуспевшие в жизни, всегда слушают истории успеха. Он был готов слушать и дальше, если бы Аберкромби продолжал в том же духе, потому что понемногу стал вспоминать, что какой-то Аберкромби в течение нескольких лет не сходил со страниц газет,

будучи главой торговых компаний и финансовых комитетов. Но Аберкромби сделал паузу и повел разговор на более общие темы:

– Даже не думал, что у вас тут такая жара. За двадцать пять лет многое забывается.

– Что вы, сегодня еще прохладный день, – похвастался Хеммик, – да-да, сегодня, по-нашему, еще прохладно. Я лишь слегка перегрелся от ходьбы, пока дошел сюда.

– Очень жарко, – повторил Аберкромби, беспокойно двинувшись, затем резко добавил: – Мне тут не нравится. Я ничего не чувствую – совсем ничего. Понимаете, мне было интересно, что я почувствую, вот я и приехал сюда. И вот теперь я знаю. Видите ли, – с волнением продолжал он, – до недавних пор на севере страны было много профессиональных южан: как настоящих, по происхождению, так не очень, по душевному складу, – однако все они отличались склонностью к цветистым монологам о красотах старинных фамильных плантаций, а также склонностью вскакивать и подвывать всякий раз, когда оркестр начинал играть «Дикси». Вы меня понимаете? – Он посмотрел на Хеммика. – Это стало чем-то вроде национального помешательства. О, я тоже принимал в этом участие, как и все. Я тоже вскакивал по стойке «смирно», покрывался испариной и аплодировал и раздавал юношам должности лишь потому, что они мне заявляли, будто родились в Южной Каролине или в Вирджинии. – Он снова сделал паузу и неожиданно оборвал: – Но теперь кончено. Я тут всего шесть часов, но с меня хватит.

– Вам так жарко? – спросил Хеммик со снисходительным удивлением.

– Да! Я почувствовал эту жару и увидел этих людей – две-три дюжины бездельников в соломенных шляпах, разглядывающие витрины лавок на Джексон-стрит. – И он добавил, чуть улыбнувшись: – Таких мой сын называет «болваны-руки-в-карманы». Вы поняли, о ком я?

– А, лоботрясы! – понимающе кивнул Хеммик. – Здесь, у нас, их зовут лоботрясами. Никчемные балбесы, это точно. Почти перед каждой лавкой из-за них висит объявление с просьбой не толпиться у витрины.

– Еще бы! – слегка раздраженно согласился Аберкромби. – Теперь символ Юга для меня – тощий темноволосый юнец с пушкой в

кармане, заливший глаза джином или колой, подпирающий витрину аптеки в ожидании следующего линчевания.

Хеммик возразил, но не слишком уверенно:

– Однако, мистер Аберкромби, не забывайте, что экономика здесь после войны…

Аберкромби отмахнулся от этого возражения.

– О, да слышал я все это, – произнес он, – надоело! И о Юге в руинах я тоже слышал, и тоже надоело. Франции и Германии не нужно было полсотни лет, чтобы встать с колен, а ваша война по сравнению с их войной – это бабья склока у песочницы! Но вы здесь ни при чем, и никто тут ни при чем. Все потому, что здесь чертовская жара, в которой белый человек жить не может, и так будет всегда. Можно лишь мечтать, что когда-нибудь эти два-три штата, кишащие черномазыми, кто-нибудь наконец вышвырнет из Соединенных Штатов!

Хеммик кивнул глубокомысленно, но без единой мысли. Он никогда ни о чем не задумывался; уже лет двадцать у него не имелось никаких мнений, за исключением мнений, высказывавшихся местной прессой, либо тех, которые с очевидным энтузиазмом разделялись абсолютным большинством. Процесс мышления был той роскошью, которую он никогда не мог себе позволить. Если какие-либо обстоятельства вынуждали его принимать решения, он либо принимал эти обстоятельства, как есть, если они были доступны его пониманию, либо же устранялся от них совсем, если решение проблемы требовало хоть чуточку концентрации. Но он не был тупицей. Он был просто усталым вечно занятым бедняком, а в его кругах глобальные мысли просто не существовали, даже если бы он и был способен их воспринимать. Сама мысль о том, что он никогда не думает, была бы для него таким же пустым звуком, как и все ей подобные. Он был закрытой книгой, состоявшей наполовину из неясной и бессвязной чепухи.

И его нынешняя реакция на высказанное Аберкромби была чрезвычайно проста. Поскольку суждение исходило из уст человека, родившегося на Юге, человека, который преуспел – более того, человека, уверенного в себе, решительного, умеющего убеждать и учтивого, – он был склонен согласиться с ним без всяких сомнений или негодования. Он взял предложенную Аберкромби сигару, закурил и, сохраняя застывшую на усталом лице маску сурового

глубокомыслия, стал смотреть, как с неба постепенно начинают соскальзывать краски и опускается серый занавес сумерек. Мальчик и велосипед, младенец и нянька, ничейный котенок – все удалились. В оштукатуренных бунгало начали раздаваться вымученные ноты измученных жарой домашних пианино, вдохновившие на соперничество проснувшихся сверчков; недолгие паузы заполняли плаксивым регтаймом скрипучие граммофоны; казалось, что абсолютно все гостиные на улице были раскрыты навстречу тьме.

– Единственное, чего я не понимаю, – нахмурившись, произнес Аберкромби, – так это почему я сразу не понял, какая же дрянь этот городишко! Я уехал отсюда совершенно случайно, и получилось так, что удача поджидала меня уже в поезде. Человек, что сидел рядом со мной, дал мне первый шанс в жизни… – И в его голосе послышалась досада. – А я-то думал, что тут хорошо. Я бы остался здесь, если бы только не подрался в школе – меня исключили, и отец сказал, чтобы я больше не появлялся дома. Почему же я не понял, что тут нет вообще ничего хорошего? Как же я не замечал?

– Вероятно, вы никогда ничего лучше не видели? – мягко предположил Хеммик.

– Это не оправдание, – ответил Аберкромби. – Если бы я был хоть на что-то годен, я бы понял. На самом деле… – И он медленно повторил: – На самом деле, думаю, я из тех, кто мог бы здесь прожить всю жизнь и умереть в счастливом неведении, что есть на свете что-то лучшее. – Он повернулся к Хеммику, и на лице его было написано страдание. – Мне тяжело думать, что моя… что все, что случилось со мной, произошло по воле случая. Но таким уж я, видимо, родился. Я не ушел из дома, как Дик Уиттингтон, – я уехал по чистой случайности.

После этого признания он просто стал смотреть, как опускаются сумерки, но чем он был удручен – Хеммик понять не мог. Он никогда не смог бы понять всю важность этого признания. Услышанное от такого человека, каким был Аберкромби, оно лишь поразило его своей чрезмерной банальностью. Тем не менее он чувствовал, что вежливость требует от него выразить согласие.

– Ну что ж, – произнес он, – кому-то всегда страсть как охота сорваться с места и отправиться на Север, а кому-то – нет. Мне вот хотелось на Север. Но я не поехал. Вот и вся разница между нами.

Аберкромби пристально на него посмотрел.

– Вам хотелось? – спросил он с неожиданным интересом. – Вы хотели отсюда уехать?

– Однажды. – Интерес Аберкромби стал понемногу придавать значение этому предмету и в глазах Хеммика. – Однажды, – повторил он, как будто единичность обстоятельства часто заставляла его задуматься.

– Сколько вам тогда было?

– Ох… Да лет двадцать…

– Как это вам пришло в голову?

– Так, дайте подумать. – Хеммик задумался. – Точно не вспомню, но кажется, когда я учился в университете – два года, да! – кто-то из профессоров сказал мне, что те, кто поумней, должны искать себя на Севере. Он сказал, что бизнес здесь вряд ли может принести много в ближайшие лет пятьдесят. И думаю, он был прав. Как раз тогда скончался отец, а я устроился на работу посыльным в один здешний банк, и ничего я больше не хотел, чем скопить денег на билет на Север. Я бы точно уехал.

– А почему же не уехали? Почему? – удрученно спросил Аберкромби, требуя ответа.

– Ну… – Хеммик замялся. – Ну, я почти уехал, но… тогда не получилось, а потом уже не поехал. Забавно все так вышло. Все из-за такого пустяка… Все вышло из-за цента!

– Цента?

– Да, все из-за одной маленькой монетки. Из-за нее я и не уехал отсюда, хотя уже собрался.

– Расскажите же мне об этом! – воскликнул собеседник. Он торопливо взглянул на часы. – Я хочу послушать вашу историю.

Хеммик выдержал паузу, затянувшись сигарой.

– Ну, тогда для начала позвольте вас спросить, – наконец заговорил он, – помните ли вы одно происшествие, случившееся тут лет двадцать пять тому назад? Некий Хойт, служивший кассиром в Американском хлопковом банке, неожиданно исчез, прихватив с собой тридцать тысяч наличности. Да уж, тогда только и разговоров было, что об этой краже! Весь город был потрясен – думаю, вы можете себе представить, какое волнение поднялось во всех местных банках, а особенно в Хлопковом.

– Да, помню.

– Ну, его поймали, и почти все деньги были возвращены; мало-помалу ажиотаж спал, да только не в том банке, где все случилось. Казалось, что там никогда не смогут забыть об этом инциденте. Мистер Диме, первый заместитель директора, всегда такой доброжелательный и достойный, бесповоротно изменился. Он стал подозревать бухгалтеров, кассиров, уборщиц, сторожей, почти всех управляющих и – могу поклясться – одним глазком всегда приглядывал за самим директором!

– И это была не просто бдительность… нет, он прямо помешался на этой почве! Он подходил и начинал задавать дурацкие вопросы, видя, что вы идете куда-то по делу. Он на цыпочках заходил в кабинку кассира и молча за ним наблюдал. Если в гроссбухе обнаруживалась ошибка – любая, неважно какая, – он не только увольнял бухгалтера, но еще и устраивал такой скандал, что у всех возникало единственное желание – загнать его в несгораемый шкаф и захлопнуть покрепче дверцу. Он тогда практически управлял банком и сильно влиял на управляющих, так что… вы только представьте себе, в какой хаос погружается любое предприятие в такой ситуации! Все были настолько взвинчены, что делали ошибки даже там, где это казалось невозможным. Бухгалтеры просиживали на работе до одиннадцати вечера, если баланс не сходился на цент. А год тогда выдался тяжелый, финансы пошатывало, и так вот, одно за другое, мы все чуть не посходили с ума, а ведь нам надо было еще ухитряться продолжать работать!

Я служил посыльным и все то проклятое лето бегал по этой жаре. Я бегал и бегал, а получал за это так мало, что в конце концов возненавидел и этот банк, и этот город, мечтая лишь об одном – уехать отсюда на Север. Мне платили десять долларов в неделю, и я решил, что, как только смогу накопить пятьдесят, пойду на вокзал и куплю билет в Цинциннати. Там жил мой дядя, он занимался банковским бизнесом и как-то сказал, что даст мне шанс. Но он не собирался платить за мой билет, видимо, считая, что уж если я ему и пригожусь, то смогу добраться к нему за свой счет. Ну что ж, возможно, я бы ему и не подошел, раз добраться так и не смог.

Однажды в самое жаркое утро самого жаркого июля, который я помню – вы понимаете, что это значит здесь, у нас, – я покинул здание

и отправился к господину Харлану, который должен был передать в банк наличный платеж по кредиту. Харлан передал мне деньги, и когда я их пересчитал, то обнаружил, что получил от него, как и полагалось, триста долларов восемьдесят шесть центов, причем мелочь Харлан отсчитал новенькими сияющими монетками, которые получил в другом банке утром. Я спрятал три стодолларовые банкноты в свой кошелек, а мелочь положил в карман жилета, выдал расписку и вышел. Направился я прямо в банк.

Жара на улице была просто ужасной. Было так жарко, что кружилась голова, и вот уже пару дней я чувствовал себя не очень, поэтому, ожидая в теньке трамвая, я мысленно поздравил себя с тем, что уже через месяц или около того я буду не здесь, а где-нибудь, где попрохладнее. И тут мне неожиданно пришло в голову, что, не считая только что полученных денег, к которым, конечно же, нельзя было и прикасаться, у меня в кармане не было ни цента. В банк, находившийся в пятнадцати кварталах отсюда, мне надо было идти пешком. Понимаете, как раз накануне я обнаружил, что накопил целый доллар мелочью, и обменял в соседней лавке монеты на банкноту, которую добавил к другим скатанным в рулончик банкнотам, хранившимся на дне чемодана. Так что помочь тут было уже нечем – я снял пиджак, засунул носовой платок под воротничок и пошел по удушливой жаре в банк.

Пятнадцать кварталов – вы можете себе представить этот путь; к тому же я был тогда нездоров. Я был на Джунипер-стрит – вы помните, где это было? – там теперь больница Мигера, а идти надо было до Джексон-стрит. Миновав шесть кварталов, я стал останавливаться отдохнуть везде, где только был кусочек тени, в котором можно было укрыться; заставить себя продолжить путь я мог только мыслью о большой кружке холодного чая, которую мать всегда ставила для меня на стол за обедом. Но еще немного – и мне стало так плохо, что уже даже и чая не хотелось, а хотелось только избавиться от этих денег, чтобы можно было спокойно лечь и умереть.

Когда до банка оставалась пара кварталов, я засунул руку в карман жилета и вытащил монеты; они позвякивали в моих ладонях; я почему-то решил, что нахожусь уже так близко, что надо приготовить деньги к сдаче в кассу. Я случайно взглянул на монеты – и тут же застыл, засунув руку обратно в карман. Карман был пуст! На дне была

небольшая дырка, а на ладони у меня лежали монеты в полдоллара, четверть доллара и десять центов. Я потерял цент!

Да, сэр, я вряд ли смогу передать вам то смятение, которое меня охватило. Это был всего лишь цент, но подумайте: за неделю до этого одного из посыльных уволили лишь потому, что он пару раз при всех покраснел! Это была простая небрежность, но были бы вы на моем месте! Все находились в постоянном страхе, что завтра их уволят, и каждый считал, что лучше уж уволить кого-нибудь еще до того, как уволят тебя. Так что вы понимаете, что без этого цента я там появиться не мог. Откуда у меня взялись силы для того, чтобы сделать то, что я сделал, до сих пор выше моего разумения. Мне было плохо, я был перегрет и слаб, как котенок, но мне так и не пришло в голову ничего лучше, чем отыскать монету или замену ей, и я немедленно начал думать, как бы это осуществить. Я заглянул в пару лавок, надеясь увидеть кого-нибудь знакомого, но, хотя несколько парней и толпились у входа – точно так, как те, которых вы сегодня видели, – никого, к кому я мог бы подойти и сказать: «Привет! У тебя цента не найдется?» – я не встретил. Я подумал и о нескольких конторах, где я смог бы без труда раздобыть то, что мне нужно, но все они располагались отнюдь не рядом, а голова моя кружилась, и, кроме того, я не мог и подумать отклониться от маршрута с доверенными мне деньгами, поскольку это могло бы вызвать подозрения.

Что же мне оставалось делать, кроме как идти обратно по улице до главных складов, где я в последний раз щупал этот цент у себя в кармане? Монетка была новенькой и блестящей; я подумал, что, может быть, увижу ее там, где обронил. Поэтому я продолжал идти, пристально глядя на тротуар и думая, что же мне теперь делать. Мне стало немного смешно, потому что глупо так переживать из-за цента, но смех почти сразу прошел, когда я понял, что эта глупость может дорого мне обойтись.

Вот так потихоньку я вернулся к главным складам, так и не найдя ни своей монетки, ни способа заполучить другую такую же. От мысли, что придется идти домой, мне становилось не по себе, ведь жил я далеко оттуда; но что же мне оставалось делать? Склад отбрасывал короткую тень, я остановился там, думая то об одном, то о другом и никуда не двигаясь. Одна маленькая монетка, всего одна, ведь мне мог бы дать ее любой, такая найдется в кармане даже у нищего негра-

грузчика… Я простоял там минут пять, наверное. Помню, что передо мной был армейский агитпункт, там выстроилась очередь, человек шесть, и кто-то начал мне кричать: «Записывайся в армию!» Тогда я очнулся и направился дальше, к банку, меня охватило волнение, мысли путались, мне становилось все хуже и хуже, в голове носился миллион способов достать цент, но ни один из них не был ни подходящим, ни праведным. Я преувеличивал важность потери, я преувеличивал трудность ее замещения, но вы уж мне поверьте, что для меня дело выглядело так, будто это была сотня долларов.

А затем я увидел двух мужчин, беседовавших у лавки прохладительных напитков Муди, одного из них я узнал, это был мистер Барлинг, друг отца. Как будто гора с плеч свалилась, честное слово. Не помню, как к нему подошел, помню только, что уже говорю с ним, да так быстро, что он совсем ничего не понимает.

«Слушай, – отвечает он, – ты знаешь, я немного глуховат, и не понимаю, когда говорят так быстро! Тебе что-то нужно, да, Генри? Повтори, пожалуйста, еще разок!»

«У вас есть какая-нибудь мелочь? – спросил я так громко, как только смог. – Мне нужно…» Я резко замолчал; стоявший неподалеку мужчина обернулся и посмотрел на нас. Это был мистер Диме, первый заместитель директора Американского хлопкового банка.

Хеммик сделал паузу; еще не совсем стемнело, и Аберкромби увидел, как он озадаченно покачивает головой взад-вперед. Когда он снова заговорил, в голосе послышалось страдальческое удивление, которое, видимо, не оставляло его вот уже двадцать лет.

Я так и не смог понять, что же такое на меня нашло. Наверное, умом тронулся от жары – только так. Вместо того чтобы просто сказать мистеру Димсу «Здрасьте!» и спокойно попросить у мистера Барлинга пару центов взаймы на табак, так как я забыл кошелек дома, я со скоростью молнии развернулся и практически побежал по улице, чувствуя себя преступником, которого вот-вот схватят. Не пройдя и квартала, я уже пожалел о том, что сделал. Я представил себе разговор, состоявшийся между двумя мужчинами, как будто сам стоял рядом.

«Интересно, что это с молодым человеком? – наверное, сказал мистер Барлинг, не имея в виду ничего плохого. – Подбежал ко мне, весь взбудораженный, стал спрашивать, есть ли у меня деньги, затем увидал вас и бросился от меня как сумасшедший!»

Я тут же представил, как большие глаза мистера Димса превращаются в узенькие щелочки и наполняются подозрением, как он засовывает руки в карманы и быстро направляется туда, куда ушел я. Я был в панике, и не без причины. Неожиданно я заметил, что мимо едет легкая коляска, а на козлах сидит Билл Кеннеди – мой хороший знакомый. Я окрикнул его, но он не услышал. Я крикнул еще раз, но он не обратил внимания, и я бросился бежать за ним, крича ему «Билл!», раскачиваясь из стороны в сторону, как пьяный. Он оглянулся, но не увидел меня; он продолжал ехать и скрылся из виду за углом. Тогда я остановился, потому что был слишком слаб, чтобы пробежать еще хоть немного. Я уже почти сел на обочину отдохнуть, но оглянулся – и тут же заметил мистера Димса, быстро нагонявшего меня. На этот раз картина была не воображаемой – в его взгляде я прочел, что он твердо решил узнать, что же такое со мной происходит!

Вот и все, что я помню до того момента, когда, спустя двадцать минут, очнулся дома, пытаясь открыть свой чемодан дрожащими, словно камертон, пальцами. Я не успел его открыть, когда вошел мистер Диме в сопровождении полисмена. Я сразу начал говорить что-то о том, что я не вор, попытался объяснить, что произошло, но думаю, что это выглядело как истерика, и чем больше я говорил, тем хуже все выходило. Когда мне наконец удалось рассказать свою историю, она показалась безумной даже мне – но это была правда! это была чистая правда, клянусь! каждое слово! – всего лишь цент, который я обронил где-то у вокзала… – Хеммик неожиданно замолк и рассмеялся так нелепо, словно охватившее его к концу истории возбуждение и было той слабостью, которой он устыдился. Затем он продолжил с нарочитой небрежностью: – Не буду останавливаться на том, что случилось дальше, потому что не случилось ничего особенного – по крайней мере для того, кто судит о событиях так, как судят у вас на Севере. Мне все это стоило работы и доброго имени. Пошли сплетни, кто-то немного приврал, и в конце концов у всех создалось впечатление, что я потерял большую сумму банковских денег и попытался скрыть потерю. Работу после этого я искал долго. В конце концов банк даже сделал заявление, отметавшее самые дикие и лживые версии инцидента, но те, кто еще не потеряли к этому делу интерес, говорили, что это лишь потому, что банк не хотел поднимать шум и устраивать скандал; все остальные просто все позабыли, то есть

они позабыли, что случилось, зато запомнили, что была какая-то причина, по которой мне доверять не следовало…

Хеммик умолк и снова невесело рассмеялся: горько, непонимающе и совершенно беспомощно.

– Вот так я и не поехал в Цинциннати, – медленно произнес он, – тогда была жива мама, и для нее все это стало ударом. У нее появилась идея – одна из тех старомодных южных идей, которые напрочь застревают в здешних головах, – что я почему-то должен остаться здесь, в этом городе, и доказать всем, что я честен. Это засело у нее в голове, она и слышать не желала о моем отъезде. Она говорила, что тот день, когда я уеду, станет ее последним днем. Так что я был практически вынужден оставаться здесь до тех пор, пока не восстановил свою репутацию.

– И сколько времени потребовалось? – тихо спросил Аберкромби.

– Лет десять.

– Да…

– Десять лет, – повторил Хеммик, глядя в сгущающийся мрак. – Понимаете, это ведь маленький город: я говорю десять лет, потому что примерно спустя десять лет я слышал об этом в последний раз. Задолго до этого я женился, у меня родился ребенок. К тому времени Цинциннати совсем вылетел у меня из головы.

– Ясно, – согласился Аберкромби.

Они оба немного помолчали, затем Хеммик добавил, словно извиняясь:

– Длинная получилась история, не знаю, было ли вам интересно. Но вы сами попросили…

– Мне было интересно, – вежливо ответил Аберкромби. – Мне было действительно интересно! Мне было гораздо интереснее, чем вы можете себе представить!

Хеммику пришло в голову, что он никогда раньше не думал, какая это была странная и законченная повесть. Он почувствовал, что то, что всегда казалось ему всего лишь отрывком, гротескным эпизодом, на самом деле обладало глубоким значением и цельностью. Это была интересная история, история о том, что стало причиной постигшей его в жизни неудачи. Его мысли прервал голос Аберкромби.

– Понимаете, это так не похоже на мою историю, – говорил Аберкромби. – Вы остались здесь лишь случайно, а я отсюда случайно

уехал. Вы заслуживаете большей… большей чести, если в мире вообще есть честь, за то, что вы хотели бороться с обстоятельствами. Видите ли, когда мне было семнадцать, я направился по более-менее неверной дорожке. Я был тем, кого вы назвали лоботрясом. Все, чего мне хотелось, – прожить свою жизнь без хлопот; однажды мне на глаза попался плакат с надписью: «Специальный тариф до Атланты, всего три доллара сорок два цента». Я вытащил мелочь из кармана и пересчитал, сколько у меня было…

Хеммик кивнул. Все еще находясь под впечатлением от собственной повести, он совсем позабыл о собеседнике.

Но вскоре Аберкромби завладел его вниманием:

– В кармане у меня оказалось три доллара сорок один цент. Вместе с другими парнями я стоял в очереди у центральных складов, собираясь записаться в армию и ни о чем не думать в ближайшие три года. И тут на тротуаре под ногами я увидал монетку в один цент, которой мне и не хватало! Я заметил ее, потому что она была новенькой и блестела на солнце, словно золото.

Наступила ночь, такая, какая бывает только в Алабаме; и когда цвет неба слился с пылью, очертания двух мужчин стали нечеткими, и тому, кто вздумал бы в этот момент пройти по тротуару, было бы нелегко определить, кто из них был избранным, а кто – одним из многих. Исчезли все детали – золотая цепочка часов Аберкромби, его воротничок, который был доставлен ему прямиком из Лондона, достоинство, с которым он сидел на крыльце, – все померкло и слилось с мешковатым костюмом и поношенными ботинками Хеммика, попав во всеобъемлющую глубину ночи, которая, как смерть, все уравнивает, сглаживает и ничего не оставляет. А чуть позже случайный прохожий увидел бы лишь пару огоньков размером с цент, повторявших движения их сигар.

Популярная девушка

I

Каждую субботу около половины одиннадцатого Янси Боуман ускользала от своего кавалера с помощью какой-нибудь милой отговорки, уходила из танцевального зала и направлялась туда, откуда можно было видеть всех в баре загородного клуба. Найдя взглядом отца, она или кивала ему, если видела, что он ее заметил, или посылала официанта, чтобы тот привлек внимание родителя. Если на часах было не больше половины одиннадцатого, то есть если отец провел в силках самодельного джина не больше часа, он вставал со стула и позволял убедить себя пойти в зал.

Танцевальным залом называлось помещение, в котором днем стояла плетеная мебель, – это была та самая комната, которая всегда имелась в виду, когда кто-нибудь произносил: «Пойдем потанцуем!» К ней же всегда относились указания «внутри» или «вниз по лестнице». Это была та самая безымянная комната, в которой происходит все самое важное, что только может произойти в загородном клубе любого городка Америки.

Янси знала: если только ей удастся удержать отца хотя бы час, он будет болтать со знакомыми или смотреть, как она танцует, или же – что случалось редко – потанцует и сам. И тогда по окончании вечера безо всяких проблем ей удастся вывести его из клуба. За время до полуночи, когда заканчивались танцы, он не успел бы найти повод, чтобы серьезно с кем-нибудь поссориться.

Все это подразумевало значительные усилия со стороны Янси; шла она на это не из-за отца, а скорее, из-за самой себя. Прошлым летом случилось несколько довольно неприятных происшествий. В один из вечеров ее задержал страстный, лившийся непрерывным потоком монолог одного юноши из Чикаго – и в результате, слегка покачиваясь, в дверях зала возник отец; его румяное лицо сильно покраснело, а

мутно-голубые глаза были практически полузакрыты, так как он пытался сфокусировать свой взгляд на танцующих, очевидно приготовившись предложить себя в качестве кавалера первой же вдовушке, которая попалась бы ему на глаза. На настойчивое предложение Янси уйти из клуба немедленно он самым забавным образом обиделся.

После этого случая Янси тщательно следила за временем своего фабианского маневра.

Янси и ее отец считались самыми красивыми обитателями маленького городка на Среднем Западе. Том Боуман, несмотря на двадцатилетнее увлечение виски и редкие игры гольф, все еще отличался крепким сложением. У него была контора в центре города, в которой он думал о каких-то смутно представлявшихся ему делах с недвижимостью, фактически же основной его заботой была демонстрация в загородном клубе прекрасного профиля и хороших, непринужденных манер. За этим он и провел большую часть тех десяти лет, что минули с момента смерти его жены.

Янси было двадцать, она всегда держала себя в неопределенно-томной манере, частично обусловленной ее ленивым нравом, а частично усвоенной во время одной поездки к родственникам в один из восточных штатов, в нежном и впечатлительном возрасте. Она была смышленой, ветреной, романтичной при луне и никак не могла решить, выходить ли замуж по любви или по расчету – последняя из этих двух абстракций казалась ей более реальной, так как воплощалась в одном из самых пылких ее обожателей. Кроме того, ей приходилось выступать в роли хозяйки дома, и это ей вполне удавалось; домашнюю жизнь она старалась устроить в гладком и спокойном ритме, чтобы как-то регулировать постоянную тягу отца к алкоголю.

Отца она обожала. Она обожала его из-за его прекрасной внешности и пленительных манер. Он так никогда и не потерял шарма одного из популярнейших людей в йельском братстве «Череп и кости». И этот его шарм и стал тем стандартом, по которому впечатлительная Янси, сама того не сознавая, судила всех знакомых ей мужчин. Тем не менее отец и дочь были далеки от тех сентиментальных семейных отношений, которые являются стержнем любого придуманного сюжета, а в жизни существуют лишь в воображении старшего

поколения. Янси Боуман уже решила, что выйдет замуж и оставит свой дом до конца года. Она смертельно скучала.

Скотт Кимберли, который впервые увидел ее в загородном клубе в тот ноябрьский вечер, согласился с леди, у которой гостил, в том, что Янси была изысканной юной красавицей. Из-за чрезмерной чувствительности, которая была весьма неожиданной чертой у такого молодого человека – а Скотту было всего лишь двадцать пять, – он отказался ей представиться, с тем чтобы инкогнито понаблюдать за ней в течение одного сказочного часа и тем самым растянуть удовольствие – или оттянуть разочарование? – в предвкушении беседы, которой он и намеревался завершить этот вечер.

– Она так и не оправилась от огорчения, когда не смогла познакомиться с проезжавшим мимо нашего города принцем Уэльским, – заметила миссис Оррин Роджерс, проследив за его взглядом. – По крайней мере она сама так говорит… не знаю, серьезно или в шутку. Но я слышала, что стены ее комнаты обклеены его фотографиями!

– Чьими фотографиями? – неожиданно спросил Скотт.

– Ну, его, принца Уэльского.

– А кто обклеил ими ее комнату?

– Ну, Янси Боуман, та девушка, которая тебе так понравилась.

– В каком-то плане все красавицы одинаковы, – рассудительно заявил Скотт.

– Да, я с тобой согласна.

Но в голосе миссис Роджерс прозвучало полнейшее равнодушие. Никогда в жизни она не понимала, что и у других людей бывают какие-то мысли, – до тех пор, пока сама эта мысль вследствие постоянного повторения не стала привычным фоном для ее уха.

– Поговорим о ней? – предложил Скотт.

С насмешливо-укоризненной улыбкой миссис Роджерс позволила вовлечь себя в злословие. Но до конца вечера было еще далеко. Заиграл оркестр, и по комнате с зелеными стенами разлились негромкие звуки музыки, а две пары, представлявшие здесь в этот вечер местную молодежь, закружились в танце, повинуясь струящемуся ритму. Несколько апатичных юношей один за другим собрались у дверей, и невооруженным взглядом было видно, что музыка не принесла в комнату ожидавшегося веселья. Эти девушки и

юноши знали друг друга с детства; хотя на площадке иногда и зарождались новые семьи, это были браки по привычке, от излишней покорности судьбе, а иногда и просто от скуки.

Здешним нарядам не хватало того блеска, который необходим для романов, вспыхивающих короткими летними ночами, когда тебе всего семнадцать лет. В таких местах, как это, думал Скотт, ища глазами Янси, происходит группирование остатков – самых некрасивых, самых глупых, самых бедных членов общества; по всей вероятности, они тоже стремятся к более привлекательной судьбе, пусть не такой блестящей и не такой уж и юной. Тут Скотт почувствовал себя глубоким стариком.

Но среди присутствовавших было одно лицо, к которому эти его обобщения не относились. Когда взгляд Скотта наконец обнаружил среди танцующих Янси Боуман, Скотт сразу почувствовал себя помолодевшим. Она была реинкарнацией всего того, что так и не проявилось в танце: грациозной юности, надменной, томной свежести и красоты, которая была печальной и бренной, подобно воспоминаниям о прекрасном сне. Ее партнер – молодой человек с одним из этих, еще не оформившихся румяных лиц, на которых всегда почему-то проступают белые пятна, словно кто-то в холодный день дал ему пощечину, – казалось, вовсе не вызывал у нее интереса; ее отсутствующий печальный взор блуждал по группам людей, стоявшим у стен, ненадолго задерживаясь то на чьем-нибудь лице, то на чьем-нибудь платье.

– Голубые глаза! – сказал Скотт миссис Роджерс. – Они ни о чем не говорят, но они прекрасны; а этот нос, и губы, и подбородок определенно аристократичны – по крайней мере мне так кажется, – извиняющимся тоном добавил он.

– О да, она – настоящая аристократка! – согласилась миссис Роджерс. – Ее дедушка был сенатором или политиком… в общем, кем-то в одном из южных штатов. А ее отец выглядит, как настоящий аристократ! Да, они настоящие аристократы; это действительно аристократическая семья!

– Но энергии ей, кажется, не хватает.

Скотт смотрел, как желтое платье то исчезало, то появлялось из-за спин танцующих.

– Она не очень-то любит двигаться. Странно, что она так хорошо танцует. Она помолвлена? Кто тот мужчина, который так упорно перехватывает ее в танце, вон тот, который так грубо засовывает свой галстук под воротник и щеголяет в пиджаке с дивными косыми карманами?

Его сердила настойчивость этого молодого человека, и его сарказму явно не хватало объективности.

– А, это… – Миссис Роджерс подалась вперед, и кончик ее языка явственно показался между губ. – Это же О’Рурки-младший! Кажется, он в нее влюблен.

– А мне кажется, – неожиданно заявил Скотт, – что я все-таки попрошу вас представить меня, если она окажется рядом, когда кончится музыка.

Маленькая, нервная, уже начинающая полнеть миссис Роджерс и кузен ее мужа Скотт Кимберли, черноволосый молодой человек чуть ниже среднего, поднялись со стульев и взглядами поискали в толпе танцующих Янси. Скотт был сиротой – сиротой с полумиллионом собственных денег, и в этом городе он оказался по одной простой причине: он опоздал на поезд. Они искали ее еще несколько минут, но тщетно. Янси и ее желтое платье больше не мелькали среди танцоров.

Стрелки часов показывали половину одиннадцатого.

II

– Добрый вечер, – говорил ей в этот момент отец, проглатывая слоги. – Кажется, это уже вошло в привычку?

Они стояли у боковой лестницы, и за его плечом через стеклянную дверь Янси могла видеть с полдюжины мужчин, сидевших вокруг столика в баре со знакомым ей веселым блеском в глазах.

– Может, пойдешь, посмотришь на танцы? – предложила она, улыбаясь и подчеркивая светское равнодушие, которого она совсем не

чувствовала.

– Благодарю, но только не сейчас!

Достоинство, с которым он это произнес, было немного преувеличенным, чтобы вызвать доверие.

– Просто выйди и осмотрись, – настаивала она. – Все сегодня здесь, и я хотела кое о ком с тобой поговорить.

Это было не слишком хорошо придумано, но ничего лучше ей в голову не пришло.

– Я очень сомневаюсь, что там найдется что-нибудь интересное для меня, – выразительно произнес Том Боуман. – Я заметил, что по каким-то надуманым причинам меня все время вытаскивают отсюда, отрывая от жизни не менее чем на полчаса, словно я ребенок, который не может сам за собой уследить.

– Я просто прошу тебя немного там побыть!

– Ты очень заботлива, спасибо! Но как раз сегодня мне крайне интересна происходящая именно здесь беседа!

– Пойдем, папа!

Янси со всем возможным очарованием взяла его под руку, но он тут же освободился, подняв локоть, – и рука Янси свободно упала.

– Боюсь, я вынужден отказаться.

– Прошу тебя, – чуть более настойчиво сказала она, стараясь не показывать, как ее раздражает необычно долгий спор, – ты пойдешь осмотришься и, если тебе там не понравится, просто уйдешь.

Он покачал головой:

– Нет, спасибо.

Затем, не говоря ни слова, он резко развернулся и вернулся в бар. Янси пошла обратно на танцплощадку. Как ни в чем не бывало, она окинула взглядом толпу стоявших молодых людей и после недолгого размышления проворковала оказавшемуся рядом с ней юноше:

– Потанцуем, Карти? Я не знаю, где мой партнер…

– Буду рад, – искренне ответил Карти.

– Ужасно любезно с твоей стороны!

– С моей? Напротив – с твоей!

Она бросила на него равнодушный взгляд. Она очень рассердилась на отца. На следующее утро за завтраком она, конечно же, сможет сколько угодно распространять вокруг себя пламенный холод и недовольство; ну а сегодня вечером ей оставалось лишь ждать и

надеяться, что, случись самое худшее, отец по крайней мере останется в баре до окончания танцев.

Откуда-то из-под ее локтя неожиданно возникла миссис Роджерс, которая жила по соседству с Боуманами. Рядом с ней был какой-то незнакомый молодой человек.

– Янси, – сказала миссис Боуман с вежливой улыбкой, – позволь представить тебе мистера Кимберли. Мистер Кимберли находится у нас в гостях, и мне бы очень хотелось вас познакомить!

– Я так рада! – вежливо и нараспев произнесла Янси.

Мистер Кимберли предложил мисс Боуман потанцевать, на что мисс Боуман равнодушно согласилась. Как и подобало, они взялись за руки и начали танец как раз вовремя, вступив в толпу танцующих вместе со вступлением в музыкальную тему барабанного ритма. И сразу же Скотту показалось, что комната и кружащиеся по ней пары обратились в какой-то серый фон, на котором осталась лишь она. Яркие лампы танцевального зала, ритмы музыки, повторявшиеся парафразы, лица множества девушек, красивые, непримечательные или смешные, слились в некий статичный монолит, словно все они собрались сюда в качестве свиты для томных глаз и движущихся в танце ножек Янси.

– Я все время на вас смотрел, – просто сказал Скотт. – Кажется, вам здесь скучно?

– Неужели? – Ее голубые глаза вдруг с радостным интересом приоткрылись и стали похожи на нежные ирисы. – Какой кошмар! – добавила она.

Скотт рассмеялся. Она воспользовалась такой выразительной фразой и даже не улыбнулась – конечно, она вовсе не хотела придать ей оттенок правдоподобия. Из многих уст он уже слышал самые модные словечки этого сезона: «горячо», «шикарно» и «здорово», примененные кстати и некстати, но еще никогда ему не доводилось слышать слово, полностью лишившееся своего буквального значения. В устах этой чопорной юной красавицы все звучало очаровательно.

Танец окончился. Янси и Скотт направились к стоявшему у стены дивану, но сесть на него им не удалось, – раздался визгливый смех, и жилистая девица, тащившая за собой смущенного кавалера, затормозила прямо перед ними и плюхнулась как раз туда, куда они только что собирались устроиться.

– Как грубо! – заметила Янси.

– Думаю, ей можно найти оправдание.

– Для девушки с такими коленками оправданий быть не может!

И они уселись на двух неудобных жестких стульях.

– Откуда вы приехали? – спросила она у Скотта с вежливым безразличием.

– Из Нью-Йорка.

Услышав это, Янси соблаговолила остановить свой взгляд на молодом человеке по крайней мере на десять секунд – впервые за все время их знакомства.

– А кто был тот джентльмен с невидимым галстуком, – довольно бесцеремонно спросил Скотт, чтобы заставить ее взглянуть на него еще раз, – который буквально вас осаждал? Я никак не мог отвести от него взгляда. Он также занимателен, как и его одежда?

– Не знаю, – протянула она. – Мы с ним всего неделю помолвлены…

– О господи! – воскликнул Скотт; на лбу у него показались капельки пота. – Прошу прощения! Я не…

– Я просто пошутила, – перебила она его, рассмеявшись и вздохнув. – Мне было интересно, что вы на это скажете?

Затем они рассмеялись вместе, и Янси продолжила:

– Я ни с кем не помолвлена. Я ужасно непопулярна! – Ее голос оставался все таким же томным, и это противоречило значению ее слов. – Никто никогда не захочет взять меня в жены!

– Какая жалость!

– Но это правда! – проворковала она. – Ведь мне постоянно нужны комплименты, потому что я не могу без них жить, но никто уже не считает меня даже симпатичной, и как мне теперь жить – я не знаю!

Давно уже Скотту не было так весело.

– Прекрасное дитя, – воскликнул он, – бьюсь об заклад, что с утра и до вечера вы не слышите ничего, кроме комплиментов!

– Нет-нет! – ей явно нравился этот разговор. – Я никогда не слышу комплиментов, если только сама на них не напрашиваюсь.

«Все так же, как и всегда, – размышляла она, оглядывая зал в одном из свойственных ей припадков пессимизма. – Все те же ребята трезвые, и те же пьяные; все те же старухи сидят у стен, только рядом

с ними теперь сидят еще две-три девушки, танцевавшие в прошлом году».

Янси достигла той стадии, когда все эти танцы в клубе казались ей почти что абсолютной глупостью. Раньше все было похоже на волшебный карнавал, на котором изысканные и непорочные девы, напудренные до последней степени розовости, демонстрировали себя очаровательным незнакомцам; теперь же картина поблекла и превратилась в средних размеров зал, в котором с редким бесстыдством демонстрировались ничем не прикрытые порывы явных неудачниц. Как много изменилось за эти несколько лет! Но ведь сами танцы вовсе не изменились, если не считать перемены фасона манжет или новых сальто в оборотах речи.

Янси была готова выйти замуж.

Между тем целая дюжина замечаний и вопросов так и не сорвались с губ Скотта Кимберли, потому что им помешало появление извиняющейся миссис Роджерс.

– Янси, – сказала она, – наш шофер только что позвонил и сказал, что машина сломалась. Не могли бы вы с отцом нас подвезти? Если это не очень удобно, пожалуйста, не стесняйся и скажи…

– Я уверена, что папа будет ужасно рад вам помочь! В машине всем хватит места, потому что я поеду с друзьями.

«Будет ли отец в полночь в состоянии хотя бы выйти отсюда самостоятельно?» – подумала она.

Но ведь он водит машину в любом состоянии – кроме того, людям, просящим подвезти, не очень-то приходится выбирать, с кем ехать.

– Замечательно! Большое вам спасибо, – сказала миссис Роджерс.

Затем миссис Роджерс удалилась со сцены, ведь она только что миновала тот игривый возраст, когда замужние дамы считают, что они все еще молоды и являются *persona grata* для молодежи; она вступила в самое начало возраста, когда собственные дети уже тактично дают понять, что такое убеждение не соответствует действительности. В этот момент заиграла музыка, и неудачливый молодой человек с белыми пятнами на красной физиономии вновь возник перед Янси.

Прямо перед окончанием последнего перед перерывом танца Скотт Кимберли перехватил ее в очередной раз.

– Я вернулся, – начал он, – чтобы сказать вам, что вы прекрасны!

– Не верю, – ответила она. – И кроме того, вы всем это говорите!

Мелодия стремительными порывами неслась к финалу; затем они наконец-то уселись на удобном диване.

– Я уже три года никому этого не говорил, – сказал Скотт.

На самом деле не было никаких причин говорить о трех годах, но каким-то образом это прозвучало убедительно для них обоих. Ее любопытство зашевелилось. Ей стало интересно знать, что собой представляет Скотт? Она стала лениво, как бы нехотя расспрашивать его: начала с его родства с Роджерсами, а закончила – он даже и не заметил, как они до этого дошли, – выслушав от него подробное описание его квартиры в Нью-Йорке.

– Мне хочется жить в Нью-Йорке, – сказала она ему, – на Парк-авеню, в одном из этих красивых белых домов, в которых квартиры по двенадцать комнат и стоят целое состояние!

– Да, и я бы тоже этого захотел, если бы был женат. Я думаю, Парк-авеню – одна из самых красивых улиц на свете, потому что на ней нет никаких чахлых парков, которые всегда стараются насадить в городе, чтобы создать искусственное ощущение природы.

– Да, согласна, – сказала Янси. – Мы с отцом ездим в Нью-Йорк раза три в год. И всегда останавливаемся в «Ритце».

Это было не совсем так. Обыкновенно она раз в год вымаливала у отца – которому вовсе не хотелось что-то менять в своем спокойном существовании – поездку в Нью-Йорк, уверяя его, что просто обязана провести неделю, глазея на витрины магазинов, расположенных по Пятой авеню, распивая чаи с прежними школьными подругами из «Фармовер» и иногда принимая приглашения в театры и на обеды от студентов Йеля или Принстона, случайно оказавшихся в городе. Это было очень приятное время, – каждый час приобретал свой цвет, и жизнь была наполнена ими до самых краев: танцы в «Монмартре», обеды в «Ритце», где кинозвезды или знаменитые дамы из высшего света сидели за соседними столиками, или же просто мечты о том, что бы она купила у Хемпеля, у Уокса или у Трамбла, если бы в доходах ее отца присутствовало еще несколько дополнительных ноликов с правильной стороны. Она восхищалась Нью-Йорком с неутихающей пылкой страстью – восхищалась им так, как могут восхищаться лишь девушки с Юга или со Среднего Запада. На его веселых базарах она чувствовала, что душа ее взмывает ввысь от бурного наслаждения,

потому что для нее в этом городе не было ничего безобразного, ничего низкого, ничего безвкусного.

Она жила в «Ритце» лишь однажды. Гостиница «Манхэттен», где они обычно останавливались, закрылась на ремонт. Она знала, что ей больше никогда не удастся уговорить отца остановиться в «Ритце».

Через мгновение она попросила принести бумагу, карандаш и нацарапала записку мистеру Боуману; она написала, что ему придется отвезти миссис Роджерс и ее гостя домой «по их просьбе», и это она подчеркнула. Она надеялась, что ему удастся «не упасть в грязь лицом». Записку она передала с официантом. И перед началом следующего танца записка была ей возвращена с краткой надписью «О. К.» и инициалами отца.

Остаток вечера пролетел быстро. Скотт Кимберли перехватывал ее во время танцев так часто, как только позволяли приличия, и непрерывно уверял ее в ее вечной и неземной красоте, чего, не без капризного пафоса, она от него и требовала. Кроме того, он еще и слегка подшучивал над ней, но, кажется, ей это не нравилось. Как и все нерешительные и неуверенные люди, она и не подозревала, что была нерешительной и неуверенной. Она не совсем поняла, когда Скотт сказал, что личность ее пребудет на Земле даже тогда, когда она станет так стара, что уже перестанет думать об этом.

Больше всего ей нравилось говорить о Нью-Йорке, и каждый из их кратких разговоров рождал в ее памяти картину метрополиса, о котором она и думала, глядя через плечо Джерри О’Рурка, Карти Брэйдена или еще какого-нибудь щеголя, к которому, как и ко всем остальным, она была совершенно равнодушна. В полночь она послала отцу еще одну записку, в которой написала, что миссис Роджерс и ее гость уже ждут его на крыльце у дороги. Затем, надеясь на лучшее, она вышла из дверей в звездную ночь и уселась в «родстер» Джерри О’Рурка.

III

– Спокойной ночи, Янси!

Вместе со своим провожатым она стояла у бордюра перед небольшим оштукатуренным домом, в котором жила. Мистер О’Рурк пытался придать романтическое значение своим словам, растягивая гласные ее имени. Вот уже несколько недель он пытался развить их отношения, почти насильно стараясь вложить в них чувство; но равнодушие Янси, служившее ей защитой практически от всего, неизменно сводило все его усилия к нулю. Джерри О’Рурк был пройденным этапом. В его семье, конечно, водились деньги, но сам он работал в брокерской конторе, как и все остальные представители нынешнего молодого поколения. Он продавал акции – акции тогда были чем-то новым; в дни бума недвижимость тоже была новинкой; затем новостью стали автомобили. А теперь в моде были акции. Их продавали молодые люди, которые не нашли своим силам никакой другой области применения.

– Пожалуйста, не беспокойся, дальше я дойду сама. – Затем, когда он уже нажал на сцепление: —Увидимся!

Через минуту с залитой лунным светом улицы он свернул в боковой переулок и исчез, но грохот мотора еще долго раздавался в ночи, как бы заявляя, что пара дюжин усталых обитателей этого квартала не занимала в его радужных мечтах абсолютно никакого места.

Задумавшись, Янси присела на ступеньки крыльца. У нее не было ключа, так что надо было ждать отца. Через пять минут на улице показался «родстер» и с преувеличенной осторожностью остановился у большого соседнего дома Роджерсов. Успокоившись, Янси встала и медленно пошла по тротуару. Дверца автомобиля открылась, и Скотт Кимберли помог выйти миссис Роджерс; но, проводив ее до крыльца, Скотт Кимберли, к удивлению Янси, вернулся к машине. Янси была достаточно близко, чтобы заметить, что Скотт сел за руль. Когда автомобиль подъехал к дому Боуманов, Янси заметила, что отец занимает все заднее сиденье и смешно качает головой, борясь с наваливавшейся на него дремотой. Она застонала. Роковой последний час не прошел для него даром, – Том Боуман опять проиграл битву с алкоголем.

– Привет! – воскликнула Янси, подойдя ближе.

– Янси! – пробормотал родитель, неудачно симулируя оживленную приветливость; его губы сложились в обворожительную ухмылку. – Ваш отец не очень хорошо себя чувствует и позволил мне вести машину, – весело объяснил Скотт, выйдя из авто и подойдя к девушке. – Отличная машина. Давно уже у вас?

Янси рассмеялась, но не слишком весело:

– Он может двигаться?

– Кто не может двигаться? – оскорбленно осведомился голос из машины.

Скотт уже стоял у дверцы:

– Позвольте помочь вам выйти, сэр?

– Я м’гу выйти. Я с’м м’гу выйти, – ответствовал мистер Боуман. – Пр’сто пожал’ста, под’иньтесь немн’жко, и я см’гу выйти. Кто-то, должно быть, налил мне несвежий виски.

– Видимо, их было несколько, – холодно и резко парировала Янси.

Мистер Боуман на удивление легко добрался до бордюра, но это был мнимый успех, потому что он тотчас же решил опереться на нечто, видимое лишь ему одному, и от падения его спасла лишь быстро подставленная рука Скотта. Мужчины пошли за Янси; она шла к дому в состоянии исступленной ярости и смущения. А вдруг молодой человек решит, что подобные сцены повторяются здесь каждую ночь? Янси чувствовала себя униженной из-за того, что сама присутствовала при этом. Если бы ее отца каждый вечер доставляла до постели пара дворецких, она бы, вероятно, даже гордилась тем, что он может себе позволить подобные кутежи; но только подумайте: ей самой приходится помогать ему добираться до кровати, на ней лежат все заботы и тревоги! И наконец, она была рассержена тем, что здесь оказался Скотт Кимберли; ее раздражала его готовность помочь.

Дойдя до облицованного кирпичом крыльца, Янси поискала в карманах жилета Тома Боумана ключи и отворила дверь. Через минуту хозяина дома усадили в кресло.

– Благодарю вас, – сказал он, на мгновение протрезвев. – Садитесь. Не хотите выпить? Янси, дорогая, принеси нам немного печенья и сыра, если они у нас есть!

И Янси, и Скотт рассмеялись над бессознательной холодностью этой фразы.

– Тебе пора спать, папа, – сказала она; раздражение боролось в ней с вежливостью.

– Принесите мне гитару, – предложил он, – я вам что-нибудь сыграю!

Если не считать подобных вечеров, гитары он не касался уже лет двадцать. Янси повернулась к Скотту:

– С ним все будет в порядке. Большое спасибо. Через минуту он будет дремать, а когда я поведу его спать, он будет кроток, как ягненок.

– Ну, что ж…

Вместе они подошли к двери.

– Устали? – спросил он.

– Нет, нисколько.

– Тогда, пожалуй, я бы попросил у вас позволения остаться еще на пару минут, пока вы не убедитесь, что с ним все в полном порядке и он действительно уснул. Миссис Роджерс дала мне ключ от дома, так что я не потревожу ее, если вернусь чуть попозже.

– Да нет, все прекрасно! – возразила Янси. – Ничего страшного, он не причинит никаких неудобств. Просто он выпил лишний стаканчик, да и виски здесь, ну, сами понимаете! Нечто подобное уже случалось в прошлом году, – добавила она.

Ее объяснения показались ей самой вполне убедительными.

– Но все же нельзя ли мне остаться еще хоть на минутку?

Они сели рядом на плетеном канапе.

– Я подумываю задержаться в городе еще на пару дней, – сказал Скотт.

– Чудесно! – В ее голосе вновь послышались томные нотки.

– Кузен Пит Роджерс сегодня плохо себя чувствовал, но завтра он собрался на утиную охоту и пригласил меня с собой.

– Как здорово! Мне всегда до смерти хотелось побывать на охоте, отец все время обещает взять меня с собой, но до сих пор так и не взял.

– Мы собираемся охотиться три дня, а затем я, наверное, вернусь сюда и проведу здесь следующие выходные… – Он внезапно умолк, подался вперед и прислушался: – Что там происходит?

Из комнаты, откуда они только что вышли, донеслись отрывистые звуки музыки – то резкие, то еле слышные, аккорды гитары.

– Это отец! – воскликнула Янси.

Наконец до них донесся пьяный и неразборчивый голос, печально тянувший низкие ноты:

Песню городу пою
И сижу на рельсах.
Счастье – это быть свободным,
Выйдя из тюрьмы.

– Какой кошмар! – воскликнула Янси. – Он разбудит весь квартал!

Припев закончился, вновь зазвенела гитара, затем раздался последний предсмертный хрип струн – и все стихло. Через мгновение послышался негромкий, но явственный храп. Мистер Боуман, удовлетворив свои музыкальные потребности, наконец-то уснул.

– Давайте поедем куда-нибудь кататься! – попросила Янси. – Что-то я перенервничала…

Скотт с готовностью встал, и они спустились к машине.

– Куда поедем? – спросила она.

– Мне все равно.

– Можно проехать полквартала вперед к Крест-авеню – это наша центральная улица, – а затем к реке.

IV

Когда они свернули на Крест-авеню, перед ними возник низко посаженный новый собор, похожий на белого бульдога, застывшего на откормленных ляжках, громадный и недостроенный в подражание собору, который случайно остался недостроенным в одном маленьком фламандском городке. Все еще слегка присыпанные белеющим

строительным мусором призраки четырех залитых лунным светом апостолов пустыми глазницами взглянули на них из ниш. Собор венчал Крест-авеню. Вторым по величине объектом на улице было массивное кирпичное здание, принадлежавшее Р. Р. Камфорду, «мучному королю», а за ним на полмили тянулись претенциозные приземистые каменные дома, построенные в мрачных девяностых. Они были украшены чудовищными балюстрадами, по которым когда-то цокали копыта великолепных лошадей; вторые этажи были сплошь усеяны громадными круглыми окнами.

Непрерывный ряд этих мавзолеев разбивал лишь небольшой парк, где в треугольнике травы с руками, связанными за спиной каменной веревкой, стоял десятифутовый Натан Хэйл и спокойно смотрел на высокий обрывистый берег медленной Миссисипи. Крест-авеню бежала мимо этого берега, даже не подозревая о его существовании, потому что фасады всех домов были обращены внутрь города, к улице. После первой полумили улица менялась; появлялись террасы с лужайками, изыски в виде штукатурки и гранита, до некоторой степени имитировавшие мраморные очертания Малого Трианона. Дома этой части улицы промелькнули за несколько минут, затем дорога свернула, и машина направилась прямо на лунный свет, который, казалось, исходил от фары гигантского мотоцикла, несшегося по дороге прямо на них.

Они проехали коринфские очертания «Храма христианской науки», проехали квартал мрачных каркасных ужасов – пустынный ряд строений из грубого красного кирпича, неудачный эксперимент поздних девяностых; затем опять пошли новые дома из ярко-красного кирпича с отделкой из белого камня, с черными железными заборами и живыми изгородями по краям цветущих лужаек. Они быстро исчезли из виду, оставшись позади наслаждаться своим мимолетным великолепием; затем в лунном свете показались обреченные скоро выйти из моды, как и каркасные дома, пригородные особняки, увенчанные куполами, и самые старые дома Крест-авеню, построенные из темного камня.

Внезапно крыши стали ниже, лужайки у домов уменьшились, сами дома съежились и стали походить на бунгало. Они занимали всю последнюю милю улицы, оканчивавшуюся у поворота реки, где пышную авеню завершала статуя Челси Арбутнота. Арбутнот был

первым губернатором – и практически последним жителем города, в чьих жилах текла англосаксонская кровь.

Хотя Янси молчала всю дорогу, полностью отдавшись своему плохому настроению, свежий северный ноябрьский воздух все же подействовал на нее успокаивающе. Завтра нужно будет вытащить из чулана меховое пальто, подумала она.

– Куда мы приехали?

Машина замедлила ход, и Скотт с любопытством оглядел помпезную каменную фигуру, ясно вырисовывавшуюся в лунном свете; одна ее рука покоилась на книге, а указательный палец другой с символической укоризной показывал прямо на остов недостроенного нового дома.

– Здесь кончается Крест-авеню, – сказала Янси, повернувшись к нему. – Это наша главная улица.

– Музей архитектурных неудач!

– Что-что?

– Да нет, ничего! – пробормотал он.

– Я должна была рассказать вам о городе, но я забыла… Если хотите, можно немного пройтись по бульвару вдоль реки, но, может, вы устали?

Скотт уверил ее, что не устал – совсем не устал.

Цементная дорога сужалась под темнеющими деревьями, переходя в бульвар.

– Миссисипи – как мало она значит для вас сегодня! – вдруг сказал Скотт.

– Что? – Янси огляделась вокруг. – Ах, река…

– Думаю, вашим предкам она представлялась самым важным жизненным фактором.

– Но мои предки жили не здесь, – с плохо скрытой гордостью ответила Янси. – Мои предки были из Мэриленда. Отец переехал сюда после того, как окончил Йель.

– Ого! – Скотт из вежливости сделал вид, что прямо-таки поражен.

– Мама была родом отсюда. А отец переехал из Балтимора, потому что здешний климат полезен для его здоровья.

– Ясно.

– Разумеется, я считаю, что теперь наш дом – здесь. – И затем она добавила чуть более снисходительно: – Впрочем, место для меня не

имеет никакого значения.

– Да, конечно…

– Если не считать того, что мне хочется жить на востоке страны и я никак не могу убедить отца туда переехать, – закончила она.

Давно перевалило за полночь, и на бульваре практически никого не было. Иногда впереди, на верхушке холма, появлялась пара желтых дисков и при приближении вырисовывались очертания припозднившегося автомобиля. Не считая этого, они были одни во тьме. Луна скрылась за облаками.

– Когда дорога подойдет к реке, давайте остановимся и посмотрим на воду? – предложил он.

Янси внутренне улыбнулась, почти рассмеялась. Предложение было явно из тех, какие один ее знакомый называл «понятными на всех языках». Смысл его сводился, конечно же, к созданию естественной ситуации, благоприятствующей поцелую. Она задумалась. Мужчина до сих пор не произвел на нее никакого определенного впечатления. Он хорошо выглядел, скорее всего, у него были деньги, он жил в Нью-Йорке. Во время танцев он начал ей нравиться, симпатия росла по мере того, как вечер подходил к концу, но ужасное прибытие отца домой вылило ушат холодной воды на только что зародившееся тепло в отношениях. Стоял ноябрь. Ночь была холодной. Но…

– Хорошо, – кротко согласилась она.

Дорога раздваивалась; они немного покружили и остановили машину на открытом месте, высоко над рекой.

– Ну и? – сказала она в тишине, воцарившейся после того, как двигатель перестал работать.

– Спасибо.

– Тебе здесь нравится?

– Почти. Но не совсем.

– Почему?

– Сейчас скажу, – ответил он. – Почему тебя назвали Янси?

– Это семейная традиция.

– Очень красивое имя.

Он ласково повторил «Янси» несколько раз.

– Янси – в нем слышится вся грация Нэнси, но в нем нет чрезмерной важности.

– А как тебя зовут? – спросила она.

– Скотт.

– Скотт, а дальше?

– Кимберли. А ты не знала?

– Я плохо расслышала. Миссис Роджерс представила тебя чуть невнятно.

Последовала недолгая пауза.

– Янси, – повторил он. – Прекрасная Янси, голубоглазая и томная! Ты знаешь, почему я не совсем доволен поездкой, Янси?

– Почему?

Она незаметно приблизила свое лицо и ждала ответа, слегка раскрыв губы; он знал, что просящей воздастся.

Не спеша, он наклонился к ней и дотронулся губами до ее губ.

Он вздохнул, и оба они почувствовали какое-то облегчение, им больше не нужно было играть в то, чего требовали древние обычаи для дел подобного рода.

– Спасибо, – сказал он так же, как и тогда, когда остановил машину.

– Сейчас ты доволен?

В темноте она, не улыбаясь, смотрела на него своими голубыми глазами.

– Почти, но разве я могу быть уверен?

Он вновь наклонился к ней, но она отвернулась и включила зажигание. Наступила глубокая ночь, и Янси начала уставать. Какой бы ни была цель сегодняшнего эксперимента, она была достигнута. Он получил то, о чем просил. Если ему понравилось, ему захочется еще, и это давало ей определенные преимущества в игре, которая, как она чувствовала, только что началась.

– Я хочу есть, – капризно сказала она. – Давай поедем куда-нибудь и поедим.

– Отлично, – с печалью в голосе согласился он. – Как раз тогда, когда мне стало так хорошо на Миссисипи.

– Как ты думаешь, я красива? – почти что жалобно спросила она, когда они откинулись на спинки сидений.

– Что за нелепый вопрос!

– Ноя люблю, когда люди мне об этом говорят!

– Я как раз и собирался этим заняться, но тут ты завела мотор…

Они приехали в центр и заказали яичницу в пустынном ночном ресторане. Янси была бледна. Ночь стряхнула энергичную лень и

томный колер с ее лица. Она завела разговор о Нью-Йорке и слушала рассказы Скотта до тех пор, пока он не стал начинать каждое предложение с «Ну, ладно, смотри, вот ты…».

После ужина они поехали домой. Скотт помог ей поставить машину в небольшой гараж, и прямо перед входной дверью она позволила ему поцеловать себя еще раз. А затем ушла в дом.

Большая гостиная, занимавшая практически всю ширину маленького дома, освещалась лишь красными отблесками умирающего в камине огня, – уходя из дома, Янси растопила камин, и дрова прогорели. Она взяла полено из ящика и бросила его на тлеющие угли, а затем вздрогнула, услышав голос из полумрака, в который была погружена дальняя часть комнаты:

– Уже дома?

Это был голос отца, не вполне еще трезвый, но уже вполне сознательный и вежливый.

– Да. Ездила кататься, – коротко ответила она, сев на плетеный стул у огня. – И еще поужинали в городе.

– Понятно…

Отец пересел на стул, поближе к огню, уселся поудобнее и вздохнул. Наблюдая за ним краешком глаза – потому что она решила вести себя с подобающей случаю холодностью, Янси заметила, что за прошедшие два часа к отцу полностью вернулось его обычное достоинство. Его седеющие волосы были лишь слегка примяты; на красивом лице вновь появился легкий румянец. И лишь по его все еще красным глазам можно было догадаться о недавнем загуле.

– Хорошо провела время?

– А почему это тебя вдруг стало интересовать? – грубо ответила она.

– А почему это не должно меня интересовать?

– Мне показалось, что в начале вечера тебя это не слишком заботило! Я попросила тебя подвезти людей до дома, а ты не смог повести свою собственную машину!

– Черт возьми, это я-то не смог?! – запротестовал он. – Да я вполне смог бы участвовать хоть в гонках на… *аране*, нет, на *арене*! Это миссис Роджерс настояла на том, чтобы машину вел ее юный обожатель, и что я мог поделать?

– Это вовсе не ее юный обожатель! – резко ответила Янси. Из ее голоса исчезли все признаки томности. – Ей столько же лет, сколько и тебе. Это ее племянница! Я хотела сказать, племянник, конечно!

– Прошу прощения!

– Думаю, тебе еще надо бы извиниться передо мной!

Неожиданно она обнаружила, что больше не держит на него зла.

Более того, ей стало его жаль: ей пришло в голову, что просьба подвезти миссис Роджерс была явным покушением на его личную свободу. Тем не менее дисциплина прежде всего; впереди было еще много субботних вечеров.

– Я слушаю! – продолжила она.

– Прости меня, Янси.

– Очень хорошо. Прощаю, – чопорно ответила девушка.

– Ну что еще мне сделать, чтобы ты меня простила? Скажи же!

Ее голубые глаза сузились. У нее появилась надежда – но она едва осмеливалась себе в этом признаться! – надежда на то, что он поедет с ней в Нью-Йорк.

– Давай подумаем, – сказал он. – Сейчас ноябрь, не так ли? Какое сегодня число?

– Двадцать третье.

– Ну, тогда вот что… – Он задумчиво соединил кончики пальцев. – Я сделаю тебе подарок! Всю осень я говорил, что ты поедешь в Нью-Йорк, но дела у меня шли плохо.

Она с трудом сдержала улыбку – как будто дела имели для него в жизни хоть какое-нибудь значение!

– Но, раз тебе так хочется в Нью-Йорк, я сделаю тебе подарок: ты поедешь! – Он поднялся со стула, пересек комнату и сел за стол. – У меня есть немного денег в одном из нью-йоркских банков, они лежат там уже довольно давно, – говорил он, ища в ящике стола чековую книжку. – Я как раз собрался закрыть этот счет. Так, посмотрим. Здесь как раз… – Его ручка, скребла бумагу. – Где, черт возьми, промокашка?

Он подошел к камину, и розовая продолговатая бумажка приземлилась к ней на колени.

– Папа!

Это был чек на триста долларов.

– Но ты действительно можешь отдать эти деньги мне? – спросила она.

– Не волнуйся, – уверил он ее и кивнул головой. – Это будет еще и рождественским подарком – тебе ведь наверняка понадобится новое платье, или шляпка, или что-нибудь еще?

– Ну… – неуверенно начала она. – Я даже не знаю, могу ли я принять этот подарок! У меня вообще-то тоже есть две сотни, ты же знаешь. А ты уверен…

– Ну конечно! – он помахал рукой с великолепной беззаботностью. – Тебе нужно сменить обстановку. Ты говорила о Нью-Йорке, и я хочу, чтобы ты туда съездила. Напиши своим приятелям из Йеля или еще каких-нибудь университетов, и они наверняка пригласят тебя на бал или куда-нибудь еще.

Он резко сел на стул и издал долгий вздох. Янси сложила чек и спрятала его на груди.

– Ну-у-у, – протянула она, вернувшись к своей обычной манере, – ты ужасно любезный и заботливый, папочка. Постараюсь не вести себя чересчур экстравагантно!

Отец ничего не ответил. Он издал еще один короткий вздох и откинулся на стуле.

– Конечно, мне очень хочется поехать, – продолжила Янси.

Отец продолжал молчать. Она подумала, что он задремал.

– Ты спишь? – спросила она, на этот раз уже весело. Она наклонилась к нему; затем выпрямилась и посмотрела на него. – Папа, – неуверенно произнесла она.

Отец продолжал оставаться все в той же позе; румянец неожиданно исчез с его лица.

– Папа!!!

Она поняла – и от этой мысли у нее пошли мурашки, а железные тиски сдавили ее грудь, – что в комнате, кроме нее, больше никого нет. Прошло безумное, страшно долгое мгновение, и она сказала себе, что ее отец мертв.

V

Янси всегда относилась к себе с мягкостью – примерно так, как относится мать к своему невоспитанному, избалованному ребенку. Она не была глупой, но и звезд с неба тоже не хватала и не имела какой-то осмысленной и обдуманной жизненной философии. Катастрофа, которой являлась для нее смерть отца, могла вызвать у нее лишь одну реакцию – истерическую жалость к самой себе. Первые три дня прошли как кошмар; но присущая цивилизации сентиментальность, вовсе не похожая на жестокость природы по отношению к раненым особям, всегда вдохновляла некую миссис Орал, обществом которой Янси до этого момента гнушалась, на проявление страстного интереса к подобным катастрофам. Миссис Орал и взяла на себя все неизбежные хлопоты и заботы, возникшие в связи с похоронами Тома Боумана. На следующее утро после смерти отца Янси послала телеграмму единственной оставшейся у нее родственнице, жившей в Чикаго, но дама, которая до сих пор вела себя сдержанно и дружелюбно, ответить не соизволила.

Четыре дня Янси безвыходно сидела в своей комнате наверху, слушая стук в дверь и звуки бесконечных шагов, доносившиеся с крыльца; ее нервозность лишь усиливалась оттого, что с двери был снят звонок. По распоряжению миссис Орал! Дверные звонки в таких случаях всегда снимают! После похорон напряжение спало. Янси, одевшись в новое черное платье, рассмотрела свое отражение в зеркале трюмо и расплакалась, – ей показалось, что она выглядит очень печальной, но в то же время прекрасной. Она спустилась вниз и села читать какой-то киножурнал, надеясь, что не останется в доме одна, когда в четыре часа на землю опустится зимняя тьма.

В тот вечер миссис Орал предложила горничной воспользоваться моментом и взять выходной. Янси пошла на кухню посмотреть, ушла она уже или нет, и тут неожиданно зазвонил вновь повешенный дверной звонок. Янси вздрогнула. Миг спустя она успокоилась и подошла к двери. Пришел Скотт Кимберли.

– Ну, как ты? – спросил он.

– Благодарю, уже лучше, – ответила она с тихим достоинством, которое, как ей показалось, более всего приличествовало ее сегодняшнему положению.

Они так и стояли в холле, чувствуя неловкость, припоминая полусмешные-полупечальные обстоятельства их последней встречи. Нельзя и представить более неподобающей прелюдии к разразившейся впоследствии катастрофе! Теперь их беседа не могла протекать спокойно и плавно; неизбежные паузы невозможно было заполнить легкими намеками на прошедшее, и, кроме того, у него не было никаких оснований, чтобы искренне притворяться, что он разделяет ее горе.

– Зайдешь? – сказала она, нервно покусывая губы.

Он последовал за ней в гостиную и сел на кресло рядом с ней. Через минуту – просто потому, что он был здесь, живой и дружелюбный, – она уже плакала у него на плече.

– Ну, ну! – приговаривал он, приобняв ее и по-идиотски похлопывая по плечу. – Ну же, ну! Ну!

Он был достаточно умен для того, чтобы впоследствии не придавать всему этому никакого особенного значения. Просто сказалось нечеловеческое напряжение последних дней, она была переполнена чувствами, горем и одиночеством, с таким же успехом она могла бы расплакаться на любом другом подвернувшемся плече. Хотя между ними и проскользнуло чисто животное напряжение, это произошло бы, даже если бы он был столетним старичком. Через минуту она выпрямилась и села ровно.

– Прости меня, – отрывисто проговорила она. – Просто этот дом кажется мне сегодня таким мра-ачным!

– Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, Янси.

– Я не… Я не… Очень… Замочила твой пиджак?

После того как напряжение спало, они оба истерически расхохотались, и смех на мгновение опять вернул ей подобающее чувство достоинства.

– Даже не знаю, почему я выбрала именно тебя, чтобы разреветься, – вновь всхлипнула она. – Я вовсе не бросаюсь на всех, кто приходит в дом!

– Я приму это в качестве… В качестве комплимента! – трезво оценив ее слова, ответил он. – Могу себе представить, каково тебе сейчас!

Затем, после паузы, он спросил:

– Какие у тебя теперь планы?

Она покачала головой.

– По-почти никаких, – пробормотала она между всхлипами. – Я хо-хотела уехать и немного пожить у своей тетки, в Чикаго.

– Должно быть, это будет самое лучшее… да, так будет лучше всего! – Затем, так как он не мог придумать, что еще можно сказать в такой ситуации, он повторил: —Да, так будет лучше всего.

– А что ты делаешь здесь… Здесь, в городе? – спросила она, судорожно вздыхая и вытирая глаза платком.

– О, я же в гостях – в гостях у Роджерсов. Решил немного задержаться.

– Ездил на охоту?

– Нет, просто жил.

Он не стал говорить ей, что остался в городе из-за нее. Она могла счесть это навязчивостью.

– Понятно, – сказала она, ничего не поняв.

– Я хотел бы знать, Янси, не могу ли я что-нибудь для тебя сделать? Может быть, надо что-то купить в городе или что-нибудь кому-нибудь передать – пожалуйста, скажи мне! Может, ты хочешь прямо сейчас бросить все и поехать куда-нибудь покататься? Или же я мог бы покатать тебя вечером, и тогда никто не увидит тебя на улице.

Он резко оборвал последнее слово, словно его неожиданно поразила неделикатность его предложения. Они с ужасом посмотрели друг на друга.

– О нет, благодарю тебя! – воскликнула она. – Я вовсе не хочу кататься!

К его облегчению, открылась входная дверь, и в дом вошла пожилая дама – миссис Орал. Скотт немедленно поднялся и засобирался:

– Ну, если я действительно не могу тебе ничем помочь…

Янси представила его миссис Орал, затем оставила даму у камина и прошла с ним к двери. Неожиданно ей в голову пришла мысль.

– Подожди-ка минутку!

Она взбежала по лестнице и тут же спустилась вниз, держа в руке полоску розовой бумаги.

– Вот о чем я тебя попрошу, – сказала она. – Не мог бы ты взять в Первом национальном банке деньги по этому чеку? В любое время, когда тебе будет удобно.

Скотт достал свой бумажник и открыл его:

– Думаю, что деньги ты можешь получить прямо сейчас.

– Но это не срочно!

– Тем не менее.

Он вытащил три стодолларовых банкноты и дал их ей.

– Ты ужасно любезен! – сказала Янси.

– Пустяки. Могу ли я зайти навестить тебя в следующий раз, когда приеду на Запад?

– Ну конечно!

– Спасибо, так и сделаю. А сегодня я уезжаю домой.

Дверь выпустила его в снежный закат, и Янси вернулась к миссис Орал. Миссис Орал зашла, чтобы поговорить о ее дальнейших планах.

– Итак, дитя мое, что вы планируете делать дальше? Нам нужно выработать план. Если вы уже надумали что-либо определенное, давайте обсудим это прямо сейчас!

Янси думала. Выходило так, что в этом мире она была совершенно одна.

– Я до сих пор не получила ответа от тетушки. Сегодня утром я послала ей еще одну телеграмму. Она может быть во Флориде.

– И вы собираетесь туда?

– Думаю, да.

– Дом вам не понадобится?

– Думаю, нет.

Миссис Орал, спокойная и практичная, огляделась вокруг. Ей пришло в голову: раз Янси отсюда съедет, может, снять дом для себя?

– А теперь, – продолжала она, – позвольте вас спросить: знаете ли вы о своем финансовом положении?

– Думаю, что все в порядке, – равнодушно ответила Янси; а затем внезапно чуть не расплакалась. – Хватало на д-двоих – должно х-хватить и на одну!

– Я не это имела в виду, – сказала миссис Орал. – Я хотела спросить, знаете ли вы детали?

– Нет.

– Ну что ж, я так и подумала. И еще я подумала, что вы должны знать все, то есть иметь подробный отчет о том, где ваши деньги и сколько их всего. Поэтому я позвонила мистеру Хэджу, который знал вашего отца, и попросила его зайти сегодня сюда и просмотреть

бумаги. Он должен был еще заглянуть в банк и взять там финансовые отчеты по счетам. Думаю, что ваш отец не оставил завещания.

Детали! Детали! Детали!

– Благодарю вас, – сказала Янси. – Я очень вам благодарна.

Миссис Орал энергично кивнула головой раза три-четыре и встала:

– Поскольку Хельму я сегодня отпустила, я, пожалуй, сама приготовлю вам чай. Вы хотите чаю?

– Кажется, да.

– Отлично. Я приготовлю вам прекрасный чай.

Чай! Чай! Чай!

Мистер Хэдж, представитель одного из самых старых шведских семейств города, прибыл в дом Янси к пяти часам. Он, как и подобало, печально, почти похоронно, поприветствовал ее, сказал, что слышал о ее несчастье и сочувствует ей, что он помогал организовывать похороны и сейчас расскажет ей все о ее финансовом положении. Не знает ли она, не оставил ли отец завещание? Нет? Скорее всего, не оставил?

Но завещание было. Он почти сразу же нашел его в столе мистера Боумана, но ему пришлось разбираться с остальными бумагами до одиннадцати вечера, прежде чем он смог сообщить кое-что еще. На следующее утро он прибыл к восьми утра, к десяти съездил в банк, посетил одну брокерскую фирму и вернулся к Янси в полдень. Несмотря на то что с Томом Боуманом он был знаком несколько лет, он был порядочно удивлен, узнав о состоянии, в котором этот красавец волокита оставил свои дела.

Он посоветовался с миссис Орал и вечером со всеми подобающими предосторожностями проинформировал Янси о том, что она осталась практически без гроша. В середине разговора принесли телеграмму из Чикаго, из которой Янси узнала, что тетя на прошлой неделе уплыла в круиз по Индийскому океану и не ожидалась домой ранее следующей весны.

Прекрасная Янси, такая щедрая, такая остроумная, всегда на короткой ноге со всеми прилагательными, не смогла найти в своем словаре слов для описания постигшего ее несчастья. Содрогаясь, как обиженный ребенок, она поднялась наверх и присела у зеркала, причесывая свои роскошные волосы и пытаясь таким образом хоть немного отвлечься. Сто пятьдесят раз провела она по волосам, как

будто таков был ее приговор, и затем еще сто пятьдесят раз, – она была слишком потрясена, чтобы прекратить эти нервные движения. Она водила гребнем по волосам до тех пор, пока у нее не заболела рука; затем она взяла гребень в другую руку и продолжила причесываться.

На следующее утро горничная обнаружила ее спящей прямо на полу среди вытащенного из комода и разбросанного повсюду белья. Воздух в комнате был удушливо-сладок от запаха пролитого парфюма.

VI

Если быть точным и не придавать большого значения профессионально унылому мистеру Хэджу, то можно сказать, что Том Боуман оставил денег более чем достаточно – конечно, более чем достаточно для обеспечения всех своих посмертных потребностей. Кроме того, он оставил мебель, накопленную за двадцать лет, темпераментный «родстер» с астматическими цилиндрами и две тысячедолларовые акции одного из ювелирных магазинов, которые давали около 7,5 процента дохода. К сожалению, эти акции на бирже не котировались.

Когда машина и мебель были проданы, а оштукатуренное бунгало передано владельцу, Янси – не без страха – решилась провести оценку своих ресурсов. У нее оказалось около тысячи долларов. Если их куда-нибудь вложить, то они могли бы дать доход – целых пятнадцать долларов в месяц! И этого, как с улыбкой заметила миссис Орал, как раз хватило бы на комнату в пансионе, которую она для нее подыскала. Янси так обрадовалась этим новостям, что не смогла удержаться и истерично разрыдалась.

И она решила действовать так, как поступила бы в подобной ситуации любая красивая девушка. Она решительно заявила мистеру Хэджу, что желает положить свою тысячу долларов на расходный счет, вышла из его конторы и зашла в парикмахерскую на другой стороне

улицы, чтобы сделать прическу. Это изумительно подняло ей настроение. В тот же день она покинула пансион и поселилась в небольшой комнате лучшего в городе отеля. Если уж придется погрузиться в пучину бедности, то сделать это нужно как можно более шикарно.

В подкладку ее любимой шляпки были зашиты три новенькие сотенные банкноты – последний подарок отца. Чего она ожидала от них, зачем она их спрятала, она и сама не знала. Может быть, она это сделала потому, что они попали к ней при таких обнадеживающих обстоятельствах и благодаря радостной ауре этого покровительства, запечатленной в новеньких хрустящих бумажных лицах, они могли бы купить для нее более веселые вещи, чем одинокие трапезы и узкие пансионные койки? Они олицетворяли надежду и юность, удачу и красоту; они каким-то непостижимым образом понемногу стали всем тем, что она потеряла в ту ноябрьскую ночь, когда Том Боуман, беспечно возглавлявший семейное шествие в пустоту, вдруг нырнул туда сам, оставив ее в одиночестве искать свой путь среди звезд.

В отеле «Гайавата» Янси прожила три месяца; а затем она обнаружила, что друзья, наносившие ей первое время визиты соболезнования, стали находить для себя более веселые способы времяпрепровождения, и уже не в ее компании. Однажды ее навестил Джерри О’Рурк и с отчаянным, исконно кельтским выражением лица потребовал, чтобы она немедленно вышла за него замуж. Она попросила времени все обдумать, он развернулся и удалился в ярости. Потом до нее дошла молва, что он получил место в Чикаго и уехал в ту же ночь.

Она задумалась и почувствовала себя испуганной и неуверенной. Ей доводилось слышать истории о людях, погружавшихся на самое дно жизни и исчезавших из нее навсегда. Однажды ее отец рассказывал о своем однокашнике, который стал рабочим в одном из баров и натирал там до блеска латунные поручни за кружку пива; она и сама знала, что в городе были девушки, с чьими матерями играла в детстве ее собственная мать, а сейчас их семьи так обеднели, что они превратились в обыкновенных прислужниц, работавших в магазинах и породнившихся с пролетариатом. И такая участь должна была постичь и ее – какой абсурд! Ведь она знала всех и вся в этом городе! Ее приглашали в лучшие дома, ее дед был губернатором южного штата!

Она написала своей тетке в Индию, а затем и в Китай, но не получила ответа. Видимо, маршрут путешествия изменился; это подтвердилось – пришла открытка из Гонолулу, в которой не было ни слова соболезнования по поводу смерти отца, но зато объявлялось, что тетя вместе с гостями отбывает на восточное побережье Африки. Это и стало последней каплей. Томная и чувствительная Янси поняла, что осталась одна.

– Почему бы вам не поискать работу? – с некоторым раздражением предложил мистер Хэдж. – Ведь множество симпатичных девушек в наши дни работают, хотя бы потому, что им нужно себя чем-нибудь занять. Например, Эльза Прендергаст ведет колонку светских новостей в «Бюллетин», а дочь Сэмпла…

– Я не могу, – сказала Янси, и в глазах у нее блеснули слезы. – В феврале я уезжаю на Восток.

– На Восток? Наверное, к кому-нибудь в гости?

Она кивнула.

– Да, в гости, – солгала она, – поэтому вряд ли стоит устраиваться работать перед отъездом. – Ей очень хотелось расплакаться, но она справилась и приняла надменный вид. – Пожалуй, я буду посылать кое-какие заметки, просто для развлечения.

– Да, это чрезвычайно весело, – не без иронии согласился мистер Хэдж. – И вообще, наверное, вам пока еще можно никуда не спешить. Ведь у вас наверняка осталось еще много денег?

– Да, достаточно.

Она знала, что у нее осталось всего несколько сотен.

– Ну что ж, тогда хороший отдых и перемена обстановки – именно то, что вам сейчас нужно.

– Да, – ответила Янси. Ее губы дрогнули, она встала, едва удерживая себя в руках: мистер Хэдж показался ей таким равнодушным и холодным. – Именно поэтому я и еду. Мне сейчас необходим хороший отдых.

– Думаю, это мудрое решение.

Что подумал бы мистер Хэдж, увидев целую дюжину написанных в тот вечер вариантов письма, сказать затруднительно. Вот два самых первых черновика. Слова в скобках – возможные варианты текста:

Дорогой Скотт! Мы не виделись с тобой с того дня, когда я была такой дурой и расплакалась у тебя на плече, и я подумала, что тебе будет приятно получить мое письмо и узнать, что я совсем скоро приезжаю на Восток и мне хотелось бы пообедать [поужинать] с тобой. Я живу в комнате [апартаментах] отеля «Тайавата», ожидая приезда тети, у которой я и собираюсь жить [остановиться] и которая приезжает домой из Китая через месяц [этой весной]. Кроме того, я получила множество приглашений с Востока, и теперь думаю ими воспользоваться. И мне хотелось бы увидеться с тобой…

Вариант на этом оборвался и отправился в мусорную корзину. Еще через час получилось следующее:

Дорогой мистер Кимберли! Я часто [иногда] думала о вас после нашей последней встречи. Через месяц я заеду на Восток, по пути к моей тете в Чикаго, поэтому у нас будет возможность повидаться. В последнее время я очень редко появлялась на людях, но мой терапевт посоветовал мне сменить обстановку, и я собираюсь нарушить свое уединение, совершив несколько визитов…

В конце концов с непринужденностью отчаяния она написала совсем простую записку без всяких объяснений или уверток, порвала ее и пошла спать. На следующее утро, решив, что последний вариант был самым лучшим, она разыскала обрывки в мусорной корзине и переписала его набело. Вот что получилось:

Дорогой Скотт!

Хочу тебе сообщить, что я приеду седьмого февраля и остановлюсь дней на десять в отеле «Ритц-Карлтон». Позвони мне как-нибудь дождливым вечером, и я приглашу тебя на чай.

Искренне твоя, Янси Боуман.

VII

Янси решила остановиться в «Ритце» только потому, что говорила Скотту о том, что всегда останавливается именно там. Когда она приехала в Нью-Йорк – в холодный Нью-Йорк, в незнакомый и грозный Нью-Йорк, совсем не похожий на тот веселый город театров и свиданий в гостиничных коридорах, который она знала раньше, – в ее кошельке было ровно двести долларов.

Большую часть своих денег она уже прожила, и ей пришлось начать тратить священные три сотни, чтобы купить новое, красивое и нежное полутраурное платье взамен сурового траурного черного, которое она решила больше не носить.

Войдя в отель как раз в тот момент, когда его изысканно одетые постояльцы собирались на обед, она сочла за благо показаться спокойной и уставшей. Клерки за стойкой наверняка знали о содержимом ее бумажника. Она даже вообразила, что мальчишки-посыльные тайком хихикали над наклейками иностранных отелей, которыми она украсила свой чемодан, отпарив их от старого отцовского чемодана. Эта последняя мысль ужаснула ее. Ведь могло быть и так, что эти отели и пароходы уже давным-давно вышли из моды или попросту не существовали!

Выстукивая пальцами по стойке какой-то ритм, она раздумывала о том, сможет ли она в случае, если наличности не хватит на номер, заставить себя улыбнуться и удалиться с таким хладнокровным видом, чтобы те две богато одетые дамы, что стояли рядом с ней, ничего не

заподозрили? Как немного нужно девушке в двадцать лет, чтобы полностью расстаться с самоуверенностью! Три месяца без надежной опоры в жизни оставили неизгладимый след в душе Янси.

– Двадцать четыре шестьдесят два, – равнодушно сказал клерк.

Ее сердце вновь заняло свое место, и она последовала к лифту в сопровождении мальчишки-посыльного, бросив мимоходом равнодушный взгляд на двух модно одетых дам. Какие на них были юбки – длинные или короткие? Длинные, заметила она.

Она задумалась о том, насколько можно было удлинить юбку ее нового костюма?

За обедом ее настроение улучшилось. Ей поклонился метрдотель. Легкое журчание разговора и приглушенный гул музыки успокоили ее. Она заказала нечто ужасно дорогое из дыни, яйца всмятку и артишоков. Едва взглянув на появившийся у ее тарелки счет, она подписала на нем номер своей комнаты. Поднявшись в номер, она легла на кровать и раскрыла перед собой телефонный справочник, пытаясь вспомнить всех своих прежних городских знакомых. Но когда со страниц книги на нее уставились телефонные номера с гордыми окончаниями «Плаза», «Циркл» и «Райндлэндер», на нее вдруг словно подул холодный ветер, поколебавший ее и без того нестойкую уверенность. Все эти девушки, с которыми она была знакома в школе или познакомилась где-нибудь летом на вечеринке или даже во время какого-нибудь университетского бала, – какой интерес могла она вызвать у них теперь, бедная и одинокая? У них были свои подруги, свои свидания, свое расписание веселых вечеринок на неделю вперед. Ее нескромное напоминание о давнем знакомстве они могли счесть просто невежливым!

Тем не менее она позвонила по четырем номерам. Одной из девушек не было дома, другая уехала в Палм-Бич, третья была в Калифорнии. Та единственная, с которой она смогла поговорить, бодрым голосом заявила Янси, что в данный момент находится в постели и болеет гриппом, но позвонит ей сразу же, как только поправится и сможет выходить из дому. После этого Янси решила девушкам больше не звонить. Иллюзию благополучия она должна была создать другим способом. И эта иллюзия должна была быть создана – она была частью ее плана.

Она посмотрела на часы и увидела, что было три часа дня. Скотт Кимберли должен был уже позвонить или по крайней мере оставить ей записку. Но он, конечно, мог быть занят – мог быть в клубе, неуверенно подумала она, или мог покупать новый галстук… Он наверняка позвонит в четыре!

Янси прекрасно знала, что ей нужно действовать быстро. Она подсчитала, что сто пятьдесят долларов при условии их разумной траты могут обеспечить ее существование в течение двух недель, но не более того. Призрак неудачи, страх, что по окончании этого срока она окажется без друзей и без гроша в кармане, еще не начал беспокоить ее.

Уже не в первый раз она для развлечения, или чтобы получить желанное приглашение, или просто из любопытства обдуманно пленяла мужчину, но впервые вся ее жизнь полностью зависела от исхода этого дела и впервые на нее давили нужда и отчаяние.

Ее самыми сильными козырями всегда были ее происхождение и воспитание; всем своим поклонникам она казалась популярной, желанной и счастливой. Именно такое впечатление она и должна была создать теперь – и практически из ничего. Скотту нужно было каким-то образом дать понять, что добрая половина Нью-Йорка находится у ее ног.

В четыре часа она пошла к Парк-авеню, где светило солнце; февральский день был свеж и пах весной, а улицу, излучая белизну, наполняли высокие дома ее мечты. Здесь она должна жить, имея расписание удовольствий на каждый день. В этих нарядных, «без-приглашения-не-входить», магазинах она должна бывать каждое утро, покупая все больше и больше, беззаботно и без всяких мыслей о дороговизне; в этих ресторанах она должна завтракать в полдень в компании других модно одетых дам, излучая аромат орхидей или же держа миниатюрный померанец в своих ухоженных руках.

Летом… ну, что ж, она будет уезжать в свой безупречный домик в Такседо, стоящий на недосягаемой высоте, откуда она и будет спускаться, чтобы посещать мир приемов и балов, скачек и поло. В перерывах между таймами игроки будут собираться вокруг нее, все в белых шлемах и костюмах, у всех – обожание во взорах, и, когда она в вихре удовольствий будет мчаться к какому-нибудь новому

наслаждению, за ней будет следить множество бессильно ревнивых женских глаз.

Каждые пару лет они будут, разумеется, ездить за границу. Она начала строить планы типичного года: несколько месяцев провести здесь, несколько – там, до тех пор пока она и Скотт Кимберли, скорее всего, не станут слишком хорошо знать все эти места, перемещаясь вместе с малейшими колебаниями барометра моды из деревни в город, от пальм к соснам.

У нее было две недели, не более, чтобы занять место в обществе. В экстазе решительности она высоко подняла голову и посмотрела на самый большой белый небоскреб.

«Это будет восхитительно!» – подумала она.

Практически впервые в жизни слова, выражавшие блеснувшую в ее глазах веру в чудо, не прозвучали преувеличением.

VIII

Около пяти она торопливо вернулась в отель и лихорадочно осведомилась у стойки, не звонил ли ей кто-нибудь по телефону? К ее глубокому разочарованию, для нее сообщений не было… А через минуту в номере зазвонил телефон.

– Это Скотт Кимберли!

В ее сердце громко прозвучал призыв к битве.

– О, привет!

Ее тон подразумевал, что она уже почти забыла, кто это такой. Она говорила не холодно, но преувеличенно вежливо.

Ответив на неизбежный вопрос о том, как она доехала, она внезапно покраснела. Ведь прямо сейчас, из олицетворения всех богачей и вожделенных удовольствий, перед ней, пусть и по телефону, материализовался мужской голос, и ее уверенность в своих силах удвоилась. Голоса мужчин всегда оставались голосами мужчин. Ими

можно было управлять, из них можно было извлекать поющие слоги, которые потом, по здравом рассуждении, не получали никакого логического объяснения у тех, кто эти слоги произносил. Голоса мужчин могли по ее желанию наполняться печалью, нежностью или отчаянием. Она почувствовала надежду. Мягкая глина была готова и ждала лишь прикосновения ее рук.

– Давай поужинаем сегодня вечером? – предложил Скотт.

Ну-у-у, только не сегодня, подумала она, сегодня пусть он лучше о ней помечтает.

– Сегодня я, кажется, не смогу, – ответила она. – Я приглашена на ужин и в театр. Очень жаль. – Но в ее голосе не было сожаления; голос звучал всего лишь вежливо. Затем, как будто ей в голову только что пришла удачная мысль, как она может выкроить из своего плотного графика свиданий немного времени и для него: – Послушай… А не мог бы ты зайти ко мне на чай прямо сейчас?

Да, он сейчас же приедет! Он играет в сквош и приедет сразу же, как только закончит игру. Янси положила трубку и с молчаливой готовностью к бою повернулась к зеркалу – от напряжения она даже не смогла улыбнуться.

Она критично рассмотрела свои блестящие глаза и матовые волосы. Затем она достала из чемодана сиреневое платье и начала одеваться.

Прежде чем она соизволила спуститься, она заставила его прождать в холле отеля целых семь минут, а затем подошла к нему с дружеской, ленивой улыбкой.

– Здравствуй! – промурлыкала она. – Очень рада тебя видеть. Как дела? – И затем, с долгим вздохом: – Я ужасно устала! Ни минуты не провела спокойно с тех пор, как сегодня утром приехала: ходила по магазинам, а затем пришлось почти разорваться между обедом и дневным спектаклем. Купила все, что увидела! Даже не знаю, как я теперь за все это расплачусь?

Она живо припомнила их первую встречу, как она тогда сказала ему, вовсе не рассчитывая на веру, что она не пользуется популярностью. Сейчас она уже не могла позволить себе такую рискованную ремарку, недопустим был даже намек. Он должен думать, что в одиночестве она не проводит ни минуты.

Они сели за столик, им принесли сандвичи с оливками и чай. Он был очень красив и просто чудесно одет! Из под пепельно-белых волос на нее с интересом глядели его серые глаза. Ей стало интересно, как он проводит дни, понравилось ли ему ее платье, о чем он думает в данный момент.

– Надолго ты приехала? – спросил он.

– На пару недель. Я собираюсь в Принстон на февральский бал, а затем на несколько дней в гости в Вестчестер. Тебя не очень шокирует, что я уже сняла траур по отцу? Знаешь, он бы не возражал. Он всегда шел в ногу со временем.

Это замечание она придумала еще в поезде. Ни в какие гости она не собиралась. На бал в Принстон ее никто не приглашал. Тем не менее все это было необходимо для создания иллюзии. У нее ведь не было ничего, кроме иллюзий!

– А еще, – продолжила она, улыбнувшись, – два моих давних поклонника сейчас в городе, так что, думаю, скучать не придется!

Она увидела, как Скотт моргнул, и поняла, что последняя фраза попала в точку.

– А что ты будешь делать этой зимой? – спросил он. – Собираешься обратно, на Запад?

– Нет. Видишь ли, моя тетя возвращается из Индии на этой неделе. Она собирается поселиться в своем доме во Флориде, и я хочу пожить у нее до середины марта. Затем мы поедем в Хот-Спрингс, а потом, скорее всего, в Европу.

Это была самая настоящая выдумка. Ее первое письмо к тете, в котором она без прикрас описала детали смерти Тома Боумана, наконец-то настигло своего адресата. Тетя ответила запиской с приличествовавшими случаю соболезнованиями и приписала, что вернется в Америку где-то года через два, если только не решит остаться жить в Италии.

– Но ты ведь позволишь мне увидеть тебя еще хоть раз, пока ты здесь, да? – взмолился Скотт, выслушав всю эту впечатляющую программу. – Если ты не сможешь поужинать со мной сегодня, то как насчет вечера в среду… послезавтра?

– В среду? Сейчас подумаю. – Янси нахмурилась, имитируя глубокую задумчивость. – Кажется, у меня свидание в среду, но я точно не могу сказать. Не мог бы ты позвонить мне завтра, и я тебе

скажу наверняка, ладно? Мне бы очень хотелось с тобой поужинать, но я, кажется, уже обещала встретиться с кем-то еще!

– Хорошо, я тебе позвоню.

– Часов в десять.

– Постарайся освободиться – в среду или в любое другое время.

– Я скажу тебе завтра – даже если я не смогу поужинать с тобой в среду, я совершенно точно смогу с тобой позавтракать!

– Отлично! – сказал он. – И сходим в театр!

Они немного потанцевали. Ни словом, ни вздохом Янси не показала своего глубокого интереса – вплоть до того момента, когда она протянула ему руку для прощания:

– До свидания, Скотт.

Долю секунды она смотрела ему в глаза – так, что он не мог быть абсолютно уверен, что это произошло, но и этого было достаточно для того, чтобы напомнить ему о той ночи на бульваре у Миссисипи. Затем она быстро отвернулась и ушла.

Обед в маленьком ресторанчике за углом был очень экономным и обошелся ей всего в полтора доллара. Никто сегодня не назначил ей свидания, никакой мужчина не составил ей компанию, если не считать пожилого господина в гетрах, попытавшегося с ней заговорить, когда она выходила из дверей.

IX

Сидя в одиночестве в одном из шикарных кинотеатров – роскошь, которую, как она считала, она могла себе позволить, – Янси наблюдала, как Мо Мюррэй проносится вихрем сквозь потрясающие воображение жизненные перспективы, и одновременно обдумывала результаты первого дня. Кажется, она достигла определенного успеха. Ей удалось создать у него правильное впечатление как о ее материальном благополучии, так и о ее отношении к самому Скотту.

Она решила, что лучше всего теперь будет уклоняться от предложений провести вечер вместе. Пусть вечера он проводит один, подумала она, пусть представляет ее с кем-нибудь другим, пусть даже проведет несколько одиноких вечеров у себя дома, думая о том, как весело бы было, если бы… Пусть время и ее недостижимость поработают на нее!

Заинтересовавшись кинокартиной, она попробовала подсчитать стоимость обстановки, в которой героиня страдала от своих киноошибок. Ее восхитил изящный итальянский столик, занимавший совсем немного места в большой столовой и уравновешенный длинной скамьей, придававшей комнате атмосферу средневековой роскоши. Ей доставляло удовольствие смотреть на прекрасную одежду и меха Мо Мюррэй, на ее великолепные шляпки, на ее шикарные туфли-лодочки. Через мгновение ее мысли вновь вернулись к ее собственной драме; она задумалась о том, что будет делать, если Скотт уже помолвлен, и ее сердце на миг перестало биться от этой мысли. Однако вряд ли это было так… Он слишком быстро позвонил ей, был чересчур щедр, распоряжаясь своим временем, и был слишком внимателен к ней в тот вечер.

После окончания сеанса она вернулась в «Ритц» и впервые за три месяца заснула сразу же, как только легла в постель. Окружающая атмосфера больше не казалась ей пронизывающе холодной. Даже дежурный по этажу восхищенно улыбнулся ей, подавая ключ от номера.

На следующее утро, в десять, позвонил Скотт. Янси, которая проснулась уже несколько часов назад, притворилась сонной после веселья прошедшей ночи.

Нет, у нее не получится поужинать с ним в среду. Ей ужасно жаль, она действительно была уже приглашена, как она и предполагала. Но они могут вместе позавтракать и сходить на дневной спектакль, если только он обещает привезти ее обратно в отель к чаю.

Целый день она прошаталась по улицам. Поднявшись на второй, открытый этаж автобуса и сев подальше от края – ведь ее мог случайно заметить Скотт! – она проплыла по Риверсайд-драйв и обратно по Пятой авеню, пока на землю спускались зимние сумерки; она вдвое сильнее почувствовала великолепие и блеск Нью-Йорка. Здесь она должна жить и быть богатой, ей должны кланяться все полисмены-регулировщики, когда она будет проезжать по улицам в своем

лимузине – с маленькой собачкой на коленях, – по этим улицам она должна ходить каждое воскресенье в модную церковь, вместе с одетым в безупречный цилиндр Скоттом, преданно шагающим рядом с ней.

За завтраком в среду Скотту был дан полный отчет о том, как в своем воображении она провела прошедшие два дня. Она рассказала об автопоездке в Хадсон и высказала свое мнение о двух пьесах, которые посмотрела – само собой разумеется! – в обществе некоего восхищенного джентльмена. Она тщательно изучила утренние газеты на предмет театральных новостей и выбрала две постановки, о которых ей удалось извлечь максимум информации.

– Ах, – смущенно сказал он, – так ты уже видела «Далей»? Я купил билеты, но ты, наверное, не захочешь смотреть то же самое второй раз…

– Нет, нет, ничего страшного, – вполне искренне возразила она. – Видишь ли, мы ведь опоздали к началу, и кроме того, мне очень понравилось!

Но он и слышать не желал о том, чтобы из-за него ей пришлось пересматривать виденную вчера пьесу, а кроме того, он сам уже был на премьере. Янси до смерти хотелось сходить, ведь она уже давно об этом мечтала, но вместо этого ей пришлось смотреть, как он меняет в кассе билеты, причем меняет на самые плохие места, которые только и остаются за пять минут до начала. Иногда игра давалась нелегко!

– Кстати, – сказал он в такси по дороге в отель, – завтра ты едешь на бал в Принстон, правда?

Она вздрогнула. Она и не думала, что этот день наступит так быстро и что он запомнит ее браваду.

– Да, – холодно ответила она. – Я уезжаю завтра днем.

– Наверное, в два двадцать? – спросил Скотт; затем: – А где ты встречаешься с тем парнем, который тебя пригласил, – наверное, в Принстоне?

На мгновение она растерялась.

– Да, он будет встречать меня у поезда.

– Ну, тогда я подвезу тебя до станции, – предложил Скотт. – Ведь там будет огромная толпа, тебе трудно будет найти носильщика.

Ей не пришло в голову ни одного подходящего ответа, ни одной хорошей отговорки. Она очень жалела, что сразу же не сказала, что

поедет на автомобиле, и теперь этот ход уже нельзя было вполне достоверно отыграть.

– Это очень любезно с твоей стороны.

– Когда ты вернешься, ты снова будешь в «Ритце»?

– О да, – ответила она. – Я сохраню за собой свои комнаты.

Она занимала самый маленький и дешевый номер в отеле.

Придется позволить ему посадить ее на поезд в Принстон – выбора у нее не было. На следующий день, когда после завтрака она собирала чемодан, ее воображение так разыгралось, что она наполнила чемодан именно теми вещами, которые взяла бы с собой, если бы ее действительно пригласили. Но она намеревалась выйти на первой же остановке и вернуться обратно в Нью-Йорк.

Скотт позвонил ей из холла отеля в половине второго, они сели в такси и поехали на Пенсильванский вокзал. Там было очень много народу, как он и ожидал, но ему все же удалось найти для нее место в вагоне. Затем он положил ее чемодан на верхнюю багажную полку.

– Я позвоню тебе в пятницу – расскажешь, хорошо ли ты себя вела, – сказал он.

– Хорошо, буду стараться!

Их взгляды встретились, и на мгновение необъяснимый, полубессознательный поток эмоций соединил их в одно целое. Когда Янси вновь овладела собой, ее взгляд, казалось, говорил…

Неожиданно прямо над ухом раздалось:

– Да ведь это Янси!

Янси оглянулась. К своему ужасу, она узнала девушку – это была Элен Харли, одна из тех, кому она звонила, приехав в город.

– Ах, Янси Боуман! Вот уж не ожидала тебя здесь увидеть. Привет!

Янси представила Скотта. Сердце ее учащенно застучало.

– Ты тоже едешь? Как здорово! – восклицала Элен. – Можно, я сяду рядом с тобой? Давно уже хотелось с тобой поболтать. Кто тебя пригласил?

– Ты его не знаешь.

– Может, знаю?

Поток ее слов, острыми когтями царапавший нежную душу Янси, был прерван невнятными выкриками кондуктора. Скотт поклонился Элен, бросил взгляд на Янси и вышел из вагона.

Поезд тронулся. Пока Элен разбиралась со своим багажом и снимала меховое манто, Янси смогла осмотреться. В вагоне было весело; возбужденная болтовня девушек, словно смог, висела в сухом, отдававшем резиной воздухе. То тут, то там сидели гувернантки – как выветренные скалы среди цветов, безмолвно и мрачно напоминая о том, чем в конце концов оканчиваются веселье и юность. Как много раз и сама Янси была частью такой толпы, беззаботной и счастливой, мечтающей о мужчинах, которых она еще встретит, об экипажах, ждущих на станции, о покрытом снегом университетском городке, о больших горящих каминах в студенческих клубах и об оркестрах, бодрой музыкой боровшихся с неизбежно приближавшимся утром.

А сейчас она была здесь чужой, незваной и нежеланной. Как и в день своего прибытия в «Ритц», она чувствовала, что в любое мгновение ее маска может быть сорвана – и она окажется выставленной на обозрение всего вагона в качестве фальшивки.

– Расскажи мне обо всем! – говорила тем временем Элен. – Расскажи, что ты делала все это время? Что-то я не видела тебя ни на одном футбольном матче этой осенью!

Это замечание, кроме всего прочего, предназначалось для того, чтобы Янси поняла, что уж она-то сама не пропустила ни одного.

На другом конце вагона кондуктор прокричал: «Следующая остановка – „Манхэттен Трансфер“!»

Янси покраснела от стыда. Она задумалась о том, что же теперь делать, подумала, не стоит ли признаться, но сразу же отбросила этот вариант, продолжая отвечать на болтовню Элен испуганными междометиями, а затем, услышав зловещий скрип тормозов и заметив, как поезд постепенно уменьшает скорость, подходя к станции, она, повинуясь импульсу отчаяния, вскочила на ноги.

– О, господи! – воскликнула она. – Я забыла свои туфли! Как же я без них! Надо за ними вернуться!!!

Элен отреагировала на это с раздражающей предупредительностью.

– Я позабочусь о твоем чемодане, – быстро сказала она, – а ты его потом заберешь у меня. Найдешь меня через «Чартер-клаб».

– Нет! – Голос Янси сорвался и перешел в визг. – Там же мое платье!

Не обращая внимания на недостаток логики в своем объяснении, она нечеловеческим усилием стащила чемодан с полки и, пошатываясь, пошла к тамбуру, сопровождаемая заинтригованными взглядами попутчиц. Как только поезд остановился, она спрыгнула на платформу и тут же почувствовала слабость и потрясение. Она стояла на жестком цементе нарядной деревенской платформы «Манхэттен Трансфер», и по ее щекам стекали слезы, – она смотрела, как бесчувственные вагоны вместе со своим грузом счастливой молодежи спокойно продолжали свой путь в Принстон.

Через полчаса Янси села на обратный поезд в Нью-Йорк. За тридцать минут ожидания она растеряла всю самоуверенность, которую ей подарила предыдущая неделя. Она вернулась в свою маленькую комнатку и в тишине легла на кровать.

X

К пятнице Янси почти совсем оправилась от холодной тоски. Утром она услышала голос Скотта по телефону, и это подействовало на нее ободряюще. Она с большим энтузиазмом принялась рассказывать ему о наслаждениях Принстона, немилосердно приплетая к выдумкам подробности другого бала, на котором она была два года назад. Ему очень хотелось увидеться с ней, сказал он. Не могла бы она поужинать и, может быть, сходить с ним в театр сегодня вечером? Янси задумалась, оценивая искушение. Ей приходилось экономить на еде, и великолепный ужин в каком-нибудь модном месте с последующим походом в театр, конечно же, подействовал на ее изголодавшееся воображение, но она инстинктивно почувствовала, что время еще не пришло. Пусть подождет. Пусть помечтает еще немного, еще чуть-чуть.

– Я очень устала, Скотт, – сказала она, стараясь говорить как можно более откровенным тоном, – вот в чем все дело. Я встречаюсь с

кем-нибудь каждый вечер с тех пор, как приехала сюда, и я уже полумертвая. Постараюсь отдохнуть в гостях завтра-послезавтра, а после этого пойду с тобой ужинать в любой день, когда захочешь!

Он молчал, а она держала трубку в ожидании ответа. Наконец он сказал:

– Да уж, гости – это лучшее место для отдыха! И кроме всего прочего, до следующей недели надо еще дожить. Я очень хочу видеть тебя прямо сейчас, Янси!

– И я тебя, Скотт!

Она позволила себе произнести его имя со всей возможной нежностью. Повесив трубку, она вновь почувствовала себя счастливой. Если забыть об испытанном в поезде унижении, то можно было сказать, что все ее планы успешно воплощались в жизнь. Созданная ею иллюзия смотрелась все так же убедительно; дело шло к финалу. С помощью трех встреч и дюжины телефонных звонков она умудрилась создать между ними такие отношения, каких можно было добиться лишь с помощью безудержного флирта с открытыми признаниями, неприкрытыми искушениями и непрестанной сменой настроений.

Пришел понедельник, и ей пришлось оплатить первый счет за отель. Его величина вовсе ее не встревожила – она была к этому готова, – но шок от осознания того, как много денег разом уходит у нее из рук, оставляя от подарка отца всего сто двадцать долларов, заставил ее сердце неожиданно ухнуть куда-то вниз, в область пяток. Она решила немедленно призвать на помощь все свое коварство, чтобы помучить Скотта с помощью тщательно продуманной «случайности», а затем, к концу недели, просто и ясно показать ему, что любит его.

В качестве ловушки для Скотта она, не без помощи телефонной книги, избрала некоего Джимми Лонга, красивого мальчика, с которым она часто играла в детстве и который недавно приехал работать в Нью-Йорк. В разговоре Джимми Лонг был ловко принужден пригласить ее в среду на дневной спектакль. Они должны были встретиться в холле отеля в два часа дня.

В среду она завтракала со Скоттом. Его глаза следили за каждым ее движением, и, поняв это, она почувствовала прилив нежности. Возжелав сначала лишь то, что он собою олицетворял, непроизвольно она начала желать и его самого. Тем не менее она не позволила себе расслабиться по этому поводу. У нее было слишком мало времени, а

ставки в игре были чересчур высоки. То, что она начинала в него влюбляться, лишь укрепило ее решимость добиться желаемого.

– Что ты делаешь сегодня днем? – спросил он.

– Иду в театр с одним человеком, который меня раздражает.

– Почему он тебя раздражает?

– Потому что он хочет, чтобы я вышла за него, а я думаю, что мне не хочется!

На слове «думаю» она сделала слабое ударение, намекая, что не очень уверена в своих чувствах – да, вот так, не очень уверена.

– Не выходи за него!

– Скорее всего, не выйду.

– Янси, – неожиданно тихо произнес он, – ты помнишь ту ночь, когда мы были там, на бульваре…

Она сменила тему. Был полдень, и комнату заливал солнечный свет. Место и время были вовсе не подходящими. В таком разговоре она должна была полностью контролировать ситуацию. Он должен был говорить лишь то, что она хотела от него услышать; ничего выходящего за эти рамки она ему позволить не могла.

– Уже без пяти два, – сказала она, взглянув на часы. – Мне нужно идти. Я не хочу опаздывать.

– А тебе хочется идти?

– Нет, – просто ответила она.

Кажется, ответ его вполне удовлетворил; они вышли в холл. Взгляд Янси натолкнулся на мужчину, который уже ее ждал. На вид он был слегка нездоров и одет весьма необычно для отеля «Ритц». Это был, без сомнений, Джимми Лонг, когда-то первый франт в своем заштатном городке на Западе. На нем была зеленая шляпа – да-да, действительно зеленая! Вышедшее из моды несколько сезонов назад пальто было, без сомнений, куплено в широко известном магазине готовой одежды. Носки его длинных узких ботинок слегка загибались вверх. С ног до головы он представлял собой одну большую ошибку – все, что только могло быть неправильным в человеке, было в нем неправильным. Лишь в силу природной скромности он немного смущался, но при этом нисколько не сознавал, насколько нелепо он выглядит и какое зловещее зрелище собой представляет – саму Немезиду, воплощенный ужас!

– Привет, Янси! – воскликнул он и устремился к ней, явно обрадовавшись встрече.

Героическим усилием воли Янси заставила себя обернуться к Скотту, пытаясь отвлечь его взгляд от приближавшегося к ним человека. И тут же отметила безупречный покрой пальто Скотта и как идеально подходил галстук к его рубашке!

– Была очень рада с тобой увидеться, – сказала она, лучезарно улыбнувшись. – До завтра!

Затем она не побежала – а скорее, нырнула, как ныряют в холодную воду, – к Джимми Лонгу, схватила протянутую руку и прямо-таки потащила его к вертящейся двери отеля, бросив на ходу лишь: «Скорее, а то опоздаем!», чтобы предупредить готовившиеся вырваться у него недоуменные возгласы.

Инцидент вызвал у нее легкое беспокойство. Она утешала себя, припоминая, что Скотт не мог хорошенько рассмотреть ее кавалера, так как, скорее всего, смотрел только на нее. Тем не менее дальнейшее было ужасно. Большие сомнения вызывает утверждение, будто Джимми Лонг был доволен свиданием настолько, чтобы забыть о стоимости приобретенных им в лавке Блэка билетов в двадцатый ряд партера.

Но если Джимми в качестве ловушки оказался плачевной неудачей, то случившееся в четверг наполнило ее вполне заслуженной гордостью. Она выдумала приглашение на завтрак и должна была в два часа встретиться со Скоттом, чтобы поехать с ним на ипподром. В качестве места своего одинокого завтрака она весьма неосторожно выбрала бар в «Ритце» и вышла оттуда практически одновременно с хорошо одетым молодым человеком, который завтракал за соседним столиком. Со Скоттом она договорилась встретиться у выхода из отеля, но Скотт почему-то ждал ее внутри.

Повинуясь мгновенному импульсу, она повернулась к шедшему рядом молодому человеку, поклонилась ему и громко сказала:

– Благодарю вас, скоро увидимся!

И прежде чем он успел что-либо сообразить, она отвернулась и направилась к Скотту.

– Кто это такой? – нахмурившись, спросил он.

– Не правда ли, он неплохо выглядит?

– Ну, только если тебе нравятся такие мужчины…

По тону Скотта можно было понять, что джентльмен в его глазах выглядел слабаком с напрочь отсутствовавшим вкусом в одежде. Янси рассмеялась, втайне радуясь искусству, с которым она сыграла эту маленькую сценку.

Готовясь к решающему субботнему вечеру, в четверг она отправилась в магазин на Сорок второй улице, чтобы купить длинные перчатки. Она выбрала пару и протянула клерку пятидесятидолларовую банкноту, ожидая, что сейчас ее ставший совсем невесомым кошелек значительно утяжелится, приняв в себя массу сдачи. Но клерк, к ее удивлению, протянул ей сверток с перчатками и одну монетку в четверть доллара.

– Что-нибудь еще?

– А где моя сдача?

– Но я ее вам только что отдал! Вы дали мне пять долларов. Четыре семьдесят пять за перчатки и сдача двадцать пять центов.

– Я дала вам пятьдесят долларов!

– Простите, вы ошибаетесь.

Янси заглянула в кошелек.

– Нет, я дала вам пятьдесят! – уверенно повторила она.

– Нет, мэм, я же сам принимал у вас деньги!

Они со злостью посмотрели друг на друга. В качестве свидетеля призвали кассиршу, затем позвали управляющего секцией; собралась небольшая толпа.

– Но я абсолютно уверена! – воскликнула Янси, и две слезинки показались у нее в глазах. – Абсолютно!

Управляющему секцией было очень жаль, но юная дама, должно быть, забыла ту купюру дома. В кассе не было ни одной пятидесятидолларовой банкноты. И без того шаткий мир Янси вдруг затрещал и начал рваться по швам.

– Оставьте нам ваш адрес, – сказал заведующий секцией, – и мы сообщим, если что-то выяснится.

– Проклятые мошенники! – крикнула Янси, потеряв контроль над собой. – Я заявлю в полицию!

Всхлипывая, как ребенок, она вышла из магазина. На улице она почувствовала, что помощи ей ждать неоткуда. Разве могла она хоть что-нибудь доказать? Было уже шесть вечера, все магазины закрывались как раз в это время. Кто бы ни взял эту банкноту, он

наверняка уже будет дома, пока приедет полиция… и вообще, с чего это нью-йоркские полицейские должны ей верить?

В отчаянии она вернулась в «Ритц» и безо всякой надежды, чисто механически, обыскала весь номер. Конечно, она не нашла никаких купюр. Она знала, что там и не могло ничего найтись. Она посчитала все оставшиеся у нее деньги и выяснила, что теперь у нее всего пятьдесят один доллар и тридцать центов. Позвонив управляющему отеля, она попросила принести счет немедленно, но рассчитать ее завтра, в полдень, – ей было страшно даже подумать о том, чтобы сию же минуту оставить отель.

Она ждала в своей комнате, не осмеливаясь заказать даже стакан воды. Затем зазвонил телефон, и она услышала бодрый, отдававший металлом, голос клерка:

– Мисс Боуман?

– Да.

– Вы должны нам, включая и сегодняшнюю ночь, ровно пятьдесят один доллар и двадцать центов.

– Пятьдесят один двадцать? – Ее голос дрогнул.

– Да, мэм.

– Благодарю вас.

Не дыша, она в ужасе застыла у телефона, не в силах даже заплакать. У нее осталось всего десять центов!

XI

Пятница. Она почти не спала. Под глазами у нее появились черные круги, и даже горячая ванна вместе с последовавшей за ней холодной не смогли пробудить ее от навалившегося на нее состояния, похожего на летаргический сон. До сих пор она никогда не думала, что такое – оказаться без единого цента в Нью-Йорке; вся ее решительность и воля к борьбе исчезли вместе с последней банкнотой. Теперь уже никто не

мог ей помочь, – она должна была достичь своей цели сегодня или никогда.

Со Скоттом она встречалась за чаем в «Плазе». Она задумалась – а не была ли его вчерашняя дневная холодность лишь плодом ее воображения? Или это и правда была холодность? В первый раз за несколько дней ей не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы удерживать разговор в чисто светских рамках. А вдруг он решил, что все его попытки не приведут ни к чему, что она слишком взбалмошна, слишком легкомысленна? Сотни следовавших из этого выводов терзали ее все то утро – ужасное утро. Единственным проблеском в окутавших ее тучах стало приобретение десятицентовой булочки в кондитерской.

Это была ее первая трапеза за двадцать часов, но она почти бессознательно притворилась, что просто развлекается тем, что покупает всего одну маленькую булочку. Она даже попросила продавца показать ей поближе виноград, но, бросив на него оценивающий – и голодный – взгляд, заявила, что, пожалуй, не станет его покупать. Он недостаточно спелый, сказала она. В лавке было полно хорошо одетых, благополучного вида женщин, которые, соединив большой и указательный пальцы и протянув руки, щупали хлеб, проверяя его на свежесть. Янси очень хотелось попросить кого-нибудь из них купить ей кисточку винограда. Но вместо этого она вернулась в отель и съела булочку.

В четыре часа она обнаружила, что думает исключительно о сандвичах, которые будут подавать к чаю, а вовсе не о том, что во время этого чая должно было случиться. Медленно двинувшись по Пятой авеню к «Плазе», она внезапно почувствовала слабость – и тотчас же заставила себя сделать несколько глубоких вдохов, чтобы не упасть в обморок. В голове у нее завертелась смутная мысль о пунктах раздачи бесплатной еды для бездомных. Именно туда надо идти в таких ситуациях – но где они находятся? Как их отыскать? Она подумала, что в телефонной книге это, наверное, на букву П, а может, на Н: «Нью-йоркский пункт раздачи еды бездомным».

Она вышла к «Плазе». Фигура Скотта, уже ожидавшего ее в переполненном холле, была олицетворением солидности и надежды.

– Пойдем скорее! – воскликнула она, вымученно улыбнувшись. – Я ужасно себя чувствую и хочу чаю!

Она съела сандвич, немного шоколадного мороженого и шесть бисквитов. Она могла бы съесть гораздо больше, но не осмелилась. Печальные последствия ее голода были кое-как ликвидированы, и сейчас она должна была повернуться лицом к тихой гавани и вступить в решительную схватку за жизнь, олицетворением которой для нее являлся красивый молодой человек, сидевший напротив нее и наблюдавший за ней с выражением, значения которого ей никак не удавалось понять.

У нее никак не выходило придать своему голосу то звучание, тот тон – утонченно-коварный, нежный и всепроникающий, – который она обычно использовала в таких случаях.

– Ах, Скотт! – негромко сказала она. – Я так устала!

– Устала от чего? – холодно спросил он.

– От всего…

Повисла тишина.

– Боюсь, – неуверенно сказала она, – боюсь, что не смогу встретиться с тобой завтра. – Сейчас в ее голосе не было никакого притворства. Каждое слово она произносила именно так, как это и было нужно, без всяких усилий и безо всякого напряжения. – Я уезжаю.

– Да? Куда же?

Судя по тону, ему было действительно интересно, но она поежилась, так как, кроме интереса, ничего не почувствовала.

– Моя тетя возвращается. И хочет, чтобы я прямо сейчас ехала к ней во Флориду.

– Довольно неожиданно, не правда ли?

– Да.

– Но ты скоро вернешься? – через мгновение спросил он.

– Вряд ли. Думаю, что мы поедем в Европу прямо из Нового Орлеана.

– Вот как?

Вновь повисла пауза. Она начала затягиваться. В такой момент это было ужасным знаком; она это понимала. Она проиграла… Проиграла? Но она решила держаться до последнего.

– Ты будешь скучать по мне?

– Да.

Одно слово. Она поймала его взгляд, и на мгновение ей показалось, что в нем было нечто большее, чем просто добродушный интерес; затем она опять отвела глаза.

– Мне нравится здесь, в «Плазе».

И тому подобное. Они стали разговаривать о чем-то несущественном. Впоследствии она даже не смогла вспомнить о чем. Они просто разговаривали – о чае, о том, что оттепель заканчивается и скоро наступят холода. Ей было плохо, она чувствовала себя постаревшей.

– Мне нужно бежать, – сказала она, поднявшись из-за стола. – А то я опоздаю на ужин.

Напоследок ей нужно было поддержать иллюзию – это было важно для нее самой. Сохранить свою гордую ложь неразоблаченной – теперь уже осталось совсем недолго… Они пошли к дверям.

– Поймай мне такси, – тихо сказала она. – Я сейчас не могу идти пешком.

Он помог ей сесть в машину. Они пожали друг другу руки.

– До свидания, Скотт, – сказала она.

– До свидания, Янси, – медленно ответил он.

– Ты был ужасно добр ко мне. Я всегда буду помнить, как хорошо мне было с тобой.

– Я тоже. Сказать шоферу, чтобы ехал в «Ритц»?

– Нет. Скажи ему, чтобы просто ехал по Пятой авеню. Скажи, когда постучу в стекло, пусть остановит.

По Пятой авеню! Он будет думать, что она обедает где-то на Пятой авеню. Какое прекрасное окончание всей этой истории! Она думала, произвело ли это на него впечатление? Она не могла хорошо разглядеть выражение его лица, потому что на улице темнело, падал густой снег, а в глазах у нее стояли слезы.

– Прощай, – просто сказал он.

Кажется, он понял, что любое притворное выражение печали по поводу их расставания все равно будет выглядеть фальшиво. Она знала, что ему она была не нужна.

Хлопнула дверца, машина медленно покатила по заснеженной улице.

Янси жалобно забилась в самый дальний угол сиденья. Она старалась изо всех сил, но не могла понять, где она совершила промах

и что именно так фатально на него повлияло. Впервые в жизни она так явно предлагала себя мужчине – и оказалось, что ему она не нужна! Даже шаткость ее теперешнего положения поблекла по сравнению с постигшей ее неудачей.

Она ехала в машине все дальше и дальше – холодный воздух, вот что ей сейчас было нужно. Прошло десять ужасных минут, прежде чем она осознала, что у нее нет ни гроша, чтобы заплатить таксисту.

«Неважно, – подумала она. – Он просто сдаст меня в участок; там по крайней мере можно будет переночевать».

Она начала думать о таксисте.

«Бедняга! Он, наверное, будет в ярости, когда все откроется. Может, он очень беден, а ему самому придется платить за меня штраф». Она так расчувствовалась, что заплакала.

– Бедный таксист, – вполголоса сказала она. – Иногда жить так трудно, так тяжело!

Она постучала по стеклу и, когда машина подъехала к тротуару, вышла. Они остановились в самом конце Пятой авеню; на улице было темно и холодно.

– Зовите полицию! – воскликнула она тихо и печально. – У меня нет денег.

Нахмурившись, таксист посмотрел на нее:

– Зачем же вы тогда садились в машину?

Она не заметила, как метрах в двадцати позади остановилась другая машина. Она услышала только скрип шагов по снегу, а затем рядом с ней раздался голос.

– Все в порядке, – обратился голос к таксисту. – Вот, возьмите!

Банкнота перешла из рук в руки. Янси покачнулась и почти упала, но кто-то ее поддержал – и она узнала пальто Скотта.

Скотт все знал – знал, потому что поехал в Принстон, чтобы сделать ей сюрприз; потому что незнакомец, к которому она обратилась, выходя из ресторана в «Ритце», оказался его лучшим другом; потому что чек ее отца – тот самый, на три сотни долларов, – ему из банка вернули с пометкой «баланс счета отрицательный». Скотт знал – он знал обо всем уже несколько дней.

Но он ничего не говорил; он просто стоял рядом, поддерживая ее за руку и глядя, как уезжает прочь такси.

– Ах, это ты, – слабым голосом произнесла Янси. – Какая удача, что ты как раз ехал мимо! Я, как последняя дура, забыла в «Ритце» кошелек! Я делаю так много глупостей…

Скотту вдруг стало весело, и он рассмеялся. Сверху падали снежинки, и, чтобы Янси не упала в слякоть, он взял ее на руки и понес к своему такси.

– Так много глупостей… – повторила она.

– Сначала в «Ритц», – сказал он шоферу. – Нужно забрать чемодан!

Это – журнал

Группа известных персонажей из мира американской периодической печати

Сцена представляет собой обширное и нудное внутреннее журнальное пространство – не порох и пушки, конечно, а бумага и общедоступность. На занавесе кривится девушка на лошади, напечатанная в пяти цветах. Одной рукой она подносит к своим глянцевым губам чашку чая, другая рука изогнута так, словно она только завершила удар клюшкой для гольфа; одним ярко накрашенным изумленным глазом она следит за изгибами своей чашечки и ее товарки, стоящей на красивом томике стихов, который она держит в другой руке. После поднятия занавеса открывается задник сцены, оформленный в виде коллажа из журнальных обложек. Из мебели на сцене стоит столик, на котором лежит один-единственный журнал, олицетворяющий «Журнал» как таковой; вокруг него на стульях, залепленных рекламами, сидят четверо актеров. Каждый актер держит плакат, на котором написано имя представляемого им персонажа. Например, Рассказ Эдит Уортон держит плакат, на котором написано: «*Автор – Эдит Уортон, в трех частях*».

Рядом с левой ложей (*но не в ней*!) *стоит джентльмен в одном белье, держащий огромный плакат, на котором написано*: «*Это – журнал*».

Поднимается занавес; публика обнаруживает, что Рассказ Эдит Уортон пытается завести разговор «тет-а-тет» со слегка чопорным Британским Романом С Продолжением.

Рассказ Эдит Уортон (*чуть резко*). И не дожидаясь, пока я вставлю хотя бы дерзкую остроту, меня бухнули прямо между мерзкой басней с ломаным еврейским акцентом и этой… этой вот штуковиной рядом!

«*Эта штуковина*» *– весьма вульгарный, пролетарского вида, Бейсбольный Рассказище, с удобством развалившийся на своем стуле.*

Бейсбольный Рассказище. Это вы обо мне, что ли, дамочка?

Со стороны дамы воцаряется ледяная, весьма джеймсовская, тишина. Дама, кстати, выглядит так, словно провела всю свою жизнь в трехкомнатных апартаментах, разрушив свою нервную систему общением с импульсивными мальчишками-лифтерами.

Бейсбольный Рассказище (*брутальный внутренний монолог*). Эх, если бы в этот журнал засунули хоть одного приличного парня, с которым можно было бы побалакать о боксе!

Детективный Рассказ (*напряженным шепотом*). В моем третьем параграфе есть один такой! Только тихо, и постарайтесь не испортить мои остроты!

Бейсбольный Рассказище (*игриво*). И не вставлять ничего от себя, да? Ха-ха-ха!

Британский Роман С **Продолжением** (*Рассказу Эдит Уортон*). Прошу прощения, но что это за история рядом со «Словом редактора»? Мне кажется, я никогда не видел ее раньше, хотя печатают меня уже давно.

Рассказ Эдит Уортон (*говорит тихо*). Милый мой, да это же просто никто! Кажется, у нее и родни никакой нет – ничего нет, кроме прошлого.

Британский Роман С Продолжением. Она обладает определенным шармом, но сюжет ее чертовски вульгарен. (*Зевает.*)

Бейсбольный Рассказище (*грубовато, в сторону, Детективному Рассказу*). Кажись, благородный герцог щас лопнет от собственной важности… Оп-па! Гляди, дедуля задремал на своих рекламах!

Детективный Рассказ. Это же рассказ Роберта Чамберса! Он кончается в этом номере.

Бейсбольный Рассказище. А мне нравится эта штучка рядом с ним. Она тут новенькая, да?

Детективный Рассказ. Новенькая, и испугана.

Бейсбольный Рассказище. Похоже, ее писали мягким карандашиком?

Детективный Рассказ. Никакого вкуса! Ее иллюстрации обошлись дороже, чем она сама!

Несколькими стульями далее коротенький Стишок О Любви нежно льнет прямо через какой-то рассказ к другому Стишку О Любви.

Первый Стишок О Любви. Я в восхищении от вашей формы!

Второй Стишок О Любви. У вас тоже замечательная фигура – в вашей второй строке. Хотя размер у вас выглядит слегка растянутым.

Первый Стишок О Любви. Вы – прямо-таки цезура среди моих строк! Увы! Вас кто-нибудь вырежет и приклеит к зеркалу… Или отправит в письме своей зазнобе с припиской «не правда ли, как мило!» Или наклеит вас на паспарту…

Второй Стишок О Любви (*стыдливо*). Прошу вас, вернитесь теперь обратно на свою страницу!

В этот момент, вздрогнув, просыпается Рассказ Роберта Чамберса и походкой ревматика направляется к Рассказу Эдит Уортон.

Рассказ Роберта Чамберса (*астматично*). Позвольте присесть рядом с вами?

Рассказ Эдит Уортон (*недовольным тоном*). А вы, кажется, получили удовольствие, флиртуя с этой сентиментальной вещицей под прикрытием реклам?

Рассказ Роберта Чамберса. Напротив, она нагнала на меня тоску. В ней все персонажи рождены в законном браке! Но она все же приносит облегчение после всех этих коммерческих новелл.

Британский Роман С Продолжением. Вам следует исполниться благодарности за то, что ваши стопы не оказались между двумя дурно пахнущими рекламами мыла. (*Он указывает на нечто у своих ног, напоминающее скованного параличом гнома.*) Вы только взгляните! Опять мое Краткое Содержание Предыдущих Глав перепутали!

Рассказ Роберта Чамберса. Слава богу, меня опубликовали! Последние восемь месяцев со мной происходили досадные вещи. В одном из номеров рядом со мной разместился рассказ о Пенроде, и он так сильно шумел, что я едва слышал собственные любовные сцены!

Рассказ Эдит Уортон (*бессердечно*). Не стоит внимания. Любая юная продавщица может воспроизвести их даже с закрытыми глазами!

Рассказ Роберта Чамберса (*кисло*). Милая моя, а ваша-то кульминация просто-напросто у кого-то слизана!

Рассказ Эдит Уортон. По крайней мере она у меня есть! А о вас говорят, что вы – тягомотина.

Бейсбольный Рассказище. Ну и ну! Кажись, «шишки» сцепились друг с другом!

Рассказ Эдит Уортон. А вашего мнения никто не спрашивал.

Бейсбольный Рассказище. Давай, давай! Ты вся – сплошные точки!

Рассказ Эдит Уортон. По крайней мере не сплошной оксюморон!

Рассказ Роберта Чамберса. Сомнительное остроумие! Так шутят колумнисты!

Слышится новый голос, весьма ораторский и звучный. Это…

Политическая Статья. Возьмемся за руки! Непримиримости нет места! Нет узлов, завязанных столь туго, что нам не найти выхода из лабиринта!

Маленький Рассказик Без Родни (*робко*). Дорогие друзья, мир – это приятное и уютное местечко! Не нужно отравлять ваши слабые легкие плохими и недобрыми словами.

Британский Роман С Продолжением. О, тени этих портеровских дам!

Маленький Рассказик Без Родни. Вам не понять, что такое оскорбление, пока вас не вернут в конверте со штампом «Запишись в моряки»!

Британский Роман С Продолжением. А вот если бы меня выудили из мусорной корзины, я бы этим хвастаться не стал!

Бейсбольный Рассказище. Оставь ее в покое! Она честная девчонка! Я тебе щас как залеплю в развязку!

Они вскакивают и демонстрируют готовность к драке, бросая друг на друга злобные взгляды. Воцаряется заразительное волнение; Откровение Бэзила Кинга тут же забывает о своих доверчивых принцессах и заливается плачем; Статья О Производительности теряет голову и начинает носиться по всему номеру; даже иллюстрации выпрыгивают из своих рамок, а полутона самым демократическим образом начинают соперничать с типографской сеткой Бен-Дей, стремясь попасть на сцену Волнение перекидывается даже на рекламы. Мистер Мэдисон Уимс из Сиэтла падает в банку кольдкрема «Но-Харио». Появляется Сильный и Здоровый Великан, цепляющийся за телефонную трубку; Курс Молодого Литератора покрывается Крысиным Ядом. Тираж растет.

Честно говоря, с минуту на сцене творится нечто ужасное! И когда уже кажется, что отпущенные этому номеру мгновения сочтены и пронумерованы, как его страницы, от Содержания – энергичного джентльмена с мегафоном, незаметно сидевшего в оркестровой яме – доносится громовой голос: «*По местам! Идет Читатель*!» *Наступает тишина. Все торопливо разбегаются по своим местам, сцена погружается в густую непроницаемую тьму, сквозь которую, словно порождение Чистилища, видны лишь огромные блестящие глаза девушки с обложки, сидящей на коне, в пяти цветах.*

Из темноты доносится голос; среди полнейшей тишины он походит на Глас Божий.

Голос. Интересно, есть тут чего хорошенького почитать? Ух ты, какая королевишна на обложке!

Вставная Шутка (*тихонько смеется*). Хи-хи-хи! (*Гротескное, вгоняющее в ужас старческое хихиканье*).

Включается свет, чтобы показать, что занавес опустился. Перед занавесом сидит в одиночестве читатель – рабочий сцены. На лице у него выражение всепоглощающей и всепобеждающей скуки. Он читает журнал.

Вместо послесловия (1936)

Ранний успех

В этом же месяце, ровно семнадцать лет назад, я уволился с работы – или, как говорят, «отошел от дел». С меня было довольно – пусть «Рекламное агентство городских трамвайных линий» движется себе дальше, но уже без меня. Уволился я, накопив не капитал, а одни лишь обязанности: долги, отчаяние, разорванную помолвку; я подался домой, в Сент-Пол, чтобы там закончить роман.

Этот роман, который я начал в военной академии ближе к концу войны, был моим «тузом в рукаве». Я его забросил, найдя работу в Нью-Йорке, но всю ту несчастную весну он продолжал постоянно напоминать о себе, совсем как дырявая картонная подошва в башмаке. Совсем как лиса, гусь и мешок бобов: бросив работу, чтобы завершить его, я терял невесту.

Вот почему через силу я продолжал заниматься за жалованье делом, которое презирал, и потихоньку из меня испарилась вся уверенность, накопленная за годы учебы в Принстоне и за время моей

вальяжной армейской карьеры, где я добился звания худшего адъютанта во всей армии. Потерянный и всеми забытый, я торопливым шагом покидал и ломбард, где заложил свой полевой бинокль, и состоятельных приятелей, с которыми случайно сталкивался, надев свой еще довоенный костюм, и рестораны, где оставлял на чай последний пятицентовик, и шумные и жизнерадостные конторы, в которых приберегали места для своих парней, возвращавшихся с войны. В руках монетки по пять и десять центов. Может, наберется на доллар? Да, почти, если бы не потратился на пару почтовых марок… А когда у тебя даже доллара нет, все вокруг становится другим, люди становятся другими и даже еда кажется другой на вкус!

И когда в одном журнале приняли к публикации мой первый рассказ, я тоже не слишком-то обрадовался. «Голландец» Маунт и я сидели друг напротив друга в конторе рекламного агентства трамвайных линий, и нам с ним одновременно принесли письма из старого доброго «Смарт Сет» с извещениями о том, что рукописи приняты к публикации.

– Мне прислали чек на тридцать долларов, а тебе?

– На тридцать пять.

Угнетало то, что принятый рассказ был написан в университете два года назад, а дюжина новых не удостоилась даже личных писем с отказами. Для меня это значило, что в свои двадцать два я уже несусь под уклон. Тридцать долларов я потратил на алый веер из перьев, который послал своей невесте в Алабаму.

Те из моих друзей, которые не были влюблены, и те, чьи «благоразумные» невесты готовы были подождать, могли терпеливо, напрягая все свои силы, тянуть свою лямку. Но только не я, – я был влюблен в настоящий ураган, и поймать его можно было, только сплетя у себя в голове огромную сеть ему под стать, а голову мою забивали ускользающие, как песок сквозь пальцы, пятицентовые и десятицентовые монетки, звенящие нескончаемым аккомпанементом в жизни любого бедняка. Так ничего бы не вышло; когда девушка меня бросила, я поехал домой и дописал свой роман. А затем все внезапно изменилось, и эта статья – о том первом, самом сильном, ветре успеха и о той восхитительной дымке, которую он принес с собой. Это замечательное время продолжалось совсем недолго – всегда, когда

через несколько недель или месяцев туман рассеивается, обнаруживаешь, что лучшее уже позади.

Все началось осенью 1919 года, когда я был похож на выжатый лимон. Я так отупел от летнего сочинительства, что нанялся работать в депо «Северной Тихоокеанской», чинить крыши вагонов. Затем в дверь позвонил почтальон, и в тот же день я уволился с работы и побежал на улицу, останавливая автомобили, чтобы рассказать друзьям и знакомым о том, что мой роман «По эту сторону рая» принят издательством и будет опубликован. Всю ту неделю почтальон продолжал носить мне письма, я расплатился с кошмарными мелкими долгами и купил себе новый костюм; каждое утро я просыпался, чувствуя, на каких недостижимых высотах я оказался в этом сулящем бесконечные перспективы мире. Конец этой фазе положил один гость.

В первый свой визит гость оставил лишь визитку с именем, но кто-то мне подсказал, что это имя принадлежало издателю одной крупной газеты из соседнего города. Было вполне естественно, что он уже прослышал о моей грядущей блестящей судьбе и заходил, чтобы попросить меня дать ему в газету в виде персональной колонки немного моих разрозненных мыслей. И вот как-то раз ко мне наверх поднялся отец; на лице у него было выражение, которое он обычно приберегал для тех, кто постоянно оказывался по ту сторону закона.

– Внизу тебя спрашивает мистер А.! – сказал он.

– Отлично! Это владелец одной газеты.

– Гм… – произнес отец, выразив свое сомнение.

Две минуты спустя меня самого посетили сомнения по поводу того, кто же такой этот мистер А.? Передо мной стоял мой первый незнакомый поклонник, который даже не читал моей книги, и был он вовсе не владелец газеты, а просто страх ходячий: его призванием в жизни было внушать ужас всему живому, и отдавался он ему со всей возможной целеустремленностью и концентрацией сил. Он весь напоминал пресмыкающееся – глазами, языком, плавными движениями рук и жеманной поступью. Он щебетал без умолку, робко и с тошнотворным волнением. Он рассказывал, что пишет стихи, и от этого сам факт того, что на свете существует письмо, отчего-то казался внушающим стыд и отвращение. И спустя много лет всегда, когда в мой дом нагрянет поклонник моего таланта, я отчасти ожидаю, что он

окажется именно таким. От этого удара моя не знавшая границ радость несколько умерилась.

Происходила метаморфоза: я превращался из любителя в профессионала; вся моя жизнь отныне складывалась в рисунок, подвластный одной лишь работе, когда конец одного проекта автоматически переходит в начало следующего. Подававшие надежды и сгоревшие за год были просто неспособны подчинить все свои мысли и чувства профессиональному умению мыслить и чувствовать, как художники: сибарит и дипломат, редактор и идеалист, гедонист и всеобщий любимец, остряк и бездельник – все они находят способы избежать этой необходимости и могут подолгу сидеть у своей пишущей машинки, на которой давно уже высохла лента. В июне того года я еще был любителем; а в октябре, гуляя с невестой среди надгробий южного кладбища, я уже был профессионалом, и моя зачарованность ее чувствами и словами отчасти смешивалась со жгучим желанием тут же передать все это в рассказе, – он был впоследствии опубликован под названием «Ледяной дворец». А на рождественской неделе в Сент-Поле я однажды отказался от двух приглашений на балы и целый вечер провел дома, работая над рассказом. За вечер ко мне заглянуло трое знакомых, чтобы поведать, как много я упускаю: один широко известный франт оделся в костюм верблюда и, наняв в качестве задней половины костюма таксиста, умудрился по ошибке попасть на чужую вечеринку. Ужаснувшись тому, что меня там не было, я попытался было собрать воедино все фрагменты этой истории.

– Ну, все, что могу рассказать, было очень смешно, когда все выяснилось!

– Нет, я понятия не имею, где он нашел этого таксиста!

– Если бы ты его хорошо знал, ты бы понял, как же это было смешно!

В отчаянии я сказал:

– Что ж, похоже, я так и не узнаю, что же там на самом деле вышло. Но я напишу об этом так, словно все было в десять раз смешнее, чем вы мне об этом рассказываете!

Просидев за столом двадцать два часа подряд, я написал, и написал смешно – просто потому, что мне с таким жаром рассказали, как это

было смешно. «Половина верблюда» появилась в печати и до сих пор периодически всплывает в разных юмористических сборниках.

Конец зимы ознаменовался очередным периодом приятной опустошенности, и во время недолгого отдыха перед моими глазами начала формироваться свежая картина американской жизни. Вся неуверенность 1919 года кончилась, и не было никаких сомнений, что нас ждет впереди. Америка затевала самый масштабный, самый яркий и шумный кутеж за всю свою историю, и рассказывать о нем можно будет еще долго. Вокруг уже чувствовался золотой гул процветания с его безмерной щедростью, отвратительным развратом и мучительными попытками старой Америки выстоять с помощью Сухого закона. Все приходившие мне в голову сюжеты несли в себе зачатки катастрофы: прекрасные юные создания в моих романах гибли, алмазные горы в моих рассказах взлетали на воздух, мои миллионеры были столь же прекрасными и обреченными, как и крестьяне Томаса Гарди. В жизни подобные вещи еще не начали происходить, но я был абсолютно уверен, что жизнь не терпит опрометчивости и безрассудства, как считало юное поколение, шедшее вслед за нами.

Моим преимуществом было то, что я оказался на грани, отделявшей друг от друга два поколения, – и там я в некотором смущении и пребывал. Когда одна моя вещь впервые вызвала целый поток читательских откликов – после рассказа о том, как девушка сделала себе короткую стрижку, мне пришли сотни и сотни писем, – мне было странно, почему все эти люди пишут именно мне. С другой стороны, я всегда был не уверен в своих силах, и мне было приятно почувствовать себя кем-то, а не только самим собой: на этот раз я стал «Писателем», совсем как раньше – «Лейтенантом». Конечно же, писателем я чувствовал себя ничуть не больше, чем армейским офицером, но никто, кажется, и не пытался заглянуть под мою маску. Прошло всего три дня, а я был уже женат, и типография наштамповала тираж «По эту сторону рая» так же же споро, как в кино готовят к съемке массовку.

Публикация книги вызвала у меня состояние маниакально-депрессивного психоза. Каждый час я впадал то в ярость, то в блаженство. Многие думали, что я морочу себе голову, и, возможно, так оно и было – иные же полагали, что я играю, а вот это было неправдой. Как в тумане, я дал интервью – я рассказал, какой я

великий писатель и как я достиг этих высот. Хейвуд Браун, ходивший за мной по пятам, просто процитировал мои слова с комментарием, что я, должно быть, весьма самонадеянный молодой человек и в течение нескольких дней находиться рядом со мной было воистину невыносимо. Я пригласил его на завтрак и покровительственным тоном ему высказал, как жаль, что жизнь его проходит, а он так пока ничего и не достиг. Ему недавно исполнилось тридцать; примерно в то же время я написал строчку, которую некоторые не забудут никогда: «Это была уже поблекшая, но все еще привлекательная женщина двадцати семи лет».

В издательстве «Скрибнере» я, как в тумане, заявил, что вряд ли им удастся продать больше, чем тысяч двадцать экземпляров моей книги; когда все отсмеялись, мне сказали, что пять тысяч экземпляров – просто отличный результат для первого романа. Продажи перешли двадцатитысячный рубеж, кажется, через неделю после выхода книги в свет; я относился к себе столь серьезно, что не счел это даже забавным. Как в тумане, каждое утро я открывал «Трибьюн», чтобы узнать, не нашел ли Ф. П. А. в книге еще какие-нибудь опечатки? Он начал со списка из тридцати штук, а читатели его колонки тут же прислали ему еще сотню. Боже мой! Неужто они ждали, что я еще и писать должен без ошибок? Раз уж я такая важная персона, неужели о правописании не могли позаботиться корректоры?

Период, когда мои мысли витали в облаках, резко окончился через неделю, когда на мою книгу ополчился Принстонский университет – не студенты, а серая масса преподавательского состава и выпускники. Ректор Хиббен написал мне благожелательное, но укоризненное письмо; на одной из встреч выпускников бывшие однокурсники вдруг единогласно высказали мне свое осуждение. Однажды все, и я в том числе, были навеселе, компания собралась у всех на виду в бледно-голубом автомобиле Харви Файрстоуна, а когда я попытался остановить драку, мне совершенно случайно подбили глаз. Молва превратила этот случай в настоящую оргию, и, несмотря на то что студенческая делегация обращалась даже в попечительский совет университета, меня на пару месяцев исключили из клуба. Мою книгу обругал «Еженедельник выпускников», и лишь у декана Гаусса нашлось для меня доброе слово. Елейность и лицемерие, с которыми все это было совершено, вывели меня из себя, и семь следующих лет я

в Принстоне больше не бывал. Затем в одном из журналов меня попросили написать статью об университете, и когда я начал писать, то понял, что очень люблю это место, а то, что случилось в ту неделю, никак не может перевесить того, что я испытывал там несколько лет. Но в тот день в 1920 году большая часть радости от моего успеха улетучилась.

Но к тому моменту я уже превратился в профессионала; новый мир нельзя построить, не избавившись сначала от старого. Понемногу у тебя начинает появляться жесткость, защищающая тебя и от хвалы, и от хулы. Слишком уж часто то, что ты делаешь, нравится людям совсем не за то, за что ты ценишь это сам, или же то, что ты сделал, нравится тем, чье неодобрение стало бы для тебя самым лучшим комплиментом. Ни одна стоящая карьера не была построена на мнении публики, и ты учишься идти вперед без оглядки на предшественников и без всякого страха. Подводя итоги, я обнаружил, что в 1919 году я заработал писательством 800 долларов, а в 1920 году получил уже 18 000 за рассказы, права на экранизации и роман. Гонорары за мои рассказы выросли с 30 долларов до 1000. По сравнению с гонорарами, которые платили в разгар экономического бума, это немного, но мне не описать, что тогда это все для меня значило!

Мечта рано стала явью, и ее воплощение принесло с собой как радость, так и тяжесть. Преждевременный успех вселяет в тебя почти мистическую веру в то, что все во власти судьбы, которую ты противопоставляешь силе воли; хуже всего, если у тебя проявится мания сродни наполеоновской. Тот, кто всего добивается в молодости, верит, что все подвластно его воле, пока его звезда ему благоволит. Тот, кто проявит себя к тридцати, придаст равное значение вкладам и воли, и случая; а кто добьется успеха к сорока, будет склонен делать упор исключительно на волю. Как оно на самом деле, начинаешь понимать, когда твое ремесло подвергнется испытаниям. Мой отец добился успеха в жизни достаточно поздно, продолжалось все это недолго, и я никогда не слышал, чтобы он винил в своих неудачах что-либо, помимо собственных слабостей, хотя он и мог бы: однажды он попал в ловушку всеобщей паники, однажды пострадал в числе первых от новой тогда тенденции гнать из бизнеса старшее поколение. Напротив, после того как я пережил многолетние неудачи в частной жизни, сравнительно легкий удар на время полностью лишил меня силы духа.

Два года я пребывал в горьком разочаровании и погряз в нем так, что стал об этом всем рассказывать и даже написал об этом безо всякого стеснения, словно мне отрезало ногу колесом паровоза.

Тот, кто расцветает к тридцати годам, расцветает в разгар лета. Но в качестве компенсации достигнутый слишком рано успех приносит с собой убеждение в том, что жизнь полна романтики. Ты навсегда останешься молодым в самом лучшем смысле этого слова. Когда самое насущное – любовь и деньги – принимаешь как должное и шаткий постамент славы уже утратил свою привлекательность, у тебя впереди прекрасное время, которое можно провести, ни о чем не думая, в поисках вечного «Праздника у моря», и я, не покривив душой, не могу сказать, что сожалею об этих годах. Однажды в середине двадцатых я ехал в сумерках по шоссе Гранд-Корниш, а внизу мерцала, отражаясь на морской глади, вся Французская Ривьера. Впереди, насколько хватало взгляда, горели огни Монте-Карло, и хотя сезон уже кончился и в игорных залах не осталось великих князей, а Э. Филлипс Оппенгейм оказался тучным работящим соседом по гостинице, весь день проводящим в халате, само это имя несло в себе столь неотразимое очарование, что я был вынужден остановить машину и, покачивая головой, как китаец, зашептать: «О, боги, боги!» Но сейчас я видел перед собой совсем не Монте-Карло. Я вглядывался в душу того юноши, бродившего по улицам Нью-Йорка в ботинках с дырявыми картонными подошвами. Я стал им опять, – на мгновение мне повезло, и я вновь почувствовал, как он мечтает, хотя мне мечтать было уже не о чем. И до сих пор мне иногда удается тайком подобраться к нему, застать его врасплох осенним утром в Нью-Йорке или весенним вечером в Каролине, когда вокруг такая тишина, что слышно, как лает собака в соседнем округе. Но больше никогда уже не будет так, как в тот весьма недолгий период, когда мы с ним представляли собой единое целое, когда наступившее будущее и полное мечтаний прошедшее слились воедино в один чудесный миг и жизнь буквально превратилась в мечту наяву.

Комментарии

В эту книгу включены рассказы Ф. Скотта Фицджеральда, написанные им до начала работы над романом «Великий Гэтсби» (т. е. приблизительно до конца 1922 г.), включая и рассказы, созданные в период учебы в школе и в университете (до начала профессиональной писательской карьеры).

В соответствии с общепринятой практикой американского книгоиздания начала XX в., вслед за выпуском в свет нового романа популярного автора на книжный рынок спустя некоторое время обычно выпускался и сборник рассказов, что с точки зрения коммерции придавало новый импульс продажам романов. Два первых романа Фицджеральда («По эту сторону рая» и «Прекрасные и обреченные»), ставшие событиями в литературной жизни Америки, сопровождались подготовленными Фицджеральдом сборниками рассказов «Эмансипированные и глубокомысленные» (1920) и «Сказки века джаза» (1922), вошедшими в эту книгу. Оба сборника ярко демонстрируют раннюю манеру писателя, изменившуюся после создания третьего романа («Великий Гэтсби»).

Для перевода использовались тексты изданий: «Flappers and Philosophers» (Scribners, NY, 1920), «Tales of the Jazz Age» (Scribners, NY, 1922). Тексты также сверены по недавно вышедшим изданиям: «Flappers and Philosophers» (Cambridge University Press, Cambridge, 2000), «Tales of the Jazz Age» (Cambridge University Press, Cambridge, 2002).

Для перевода рассказов, не включавшихся Фицджеральдом в авторские сборники, использовались тексты публикаций в периодике (соответствующие периодические издания, ставшие источниками этих текстов, указаны в комментариях к произведениям). Тексты, написанные в период до 1918 г., сверены по изданию «Spires and Gargoyles» (Cambridge University Press, Cambridge, 2010).

В комментариях представлены основные сведения о создании сборников, а также о создании входящих в них рассказов. При этом

использовались письма Ф. Скотта Фицджеральда, цитаты из которых приводятся по изданию: «F. Scott Fitzgerald: A Life in Letters» (Touchstone, NY, 1995), материалы из «Гроссбуха» писателя, цитируемого по изданию: «F. Scott Fitzgerald's Ledger» (A Bruccoli-Clark Edition, Washington, 1972), а также компиляция из альбомов Скотта и Зельды «The Romantic Egoists» (University of South Carolina Press, Columbia, 2003).

В комментариях представлены также наиболее интересные варианты текстов, имеющиеся в рукописях и в журнальных публикациях рассказов. Цитаты с фрагментами текстов из рукописей рассказов приводятся по изданию: «F. Scott Fitzgerald. Manuscripts. VI» (Garland, NY, 1991). Цитаты из опубликованных в периодических изданиях версий текстов приведены по соответствующим, указанным в комментариях к каждому произведению периодическим изданиям. Представлены лишь варианты текстов, значимые для переводного издания, т. е. не попавшие в окончательные тексты отрывки либо редакции; варианты редакторской правки – замены эпитетов, перестановки слов – в этом издании не учитывались.

В комментариях содержатся пояснения относительно упоминаемых американских реалий, личностей, географических объектов. При подготовке фактических комментариев к текстам использовались издания: «F. Scott Fitzgerald A to Z», by Mary Jo Tate (Checkmark Books, NY, 1998), а также «An F. Scott Fitzgerald Encyclopedia», by Robert L. Gale (Greenwood Press, Westport, 1998).

«Вместо предисловия»

Кто есть кто и как так вышло?

(Who's Who – and Why)

Это автобиографическое эссе опубликовано в журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 18 сентября 1920 г.

Текст ярко демонстрирует восторженное настроение Фицджеральда на заре его писательской карьеры, в то же время кратко рассказывая о предшествовавших его успеху событиях – разумеется, это слегка приукрашенная их версия.

«*Квакерша*» – британский мюзикл, поставленный на Бродвее в 1911 г. (сюжет Джеймса Т. Тэннера, музыка Лайнела Монктона, либретто Адриана Росса и Перси Гринбека); эту постановку Фицджеральд смотрел во время учебы в школе Ньюмана; роль главной героини мюзикла – юной англичанки, влюбляющейся в посетившего ее деревеньку американского туриста – исполняла знаменитая в то время актриса Ина Клер (1892–1985).

Гильберт и Салливан – английские авторы, создавшие во второй половине XIX века четырнадцать классических комических опер (например, оперетту «Пейзанские пираты»). Уильям Швенк Гильберт (1836–1911) был драматургом, а Артур Сеймур Салливан (1842–1900) – композитором.

«*Его величество Султан*» – мюзикл, поставленный студенческим клубом «Треугольник» (см. далее) в сезоне 1909/10 учебного года; сюжет мюзикла – попытка лишить султана Мурада VI престола мифической страны Тангокко, чтобы поставить на его место корреспондента немецкой газеты Генриха Шлитца.

«*Треугольник*» – студенческий клуб в Принстонском университете; был основан в 1801 г. и занимался постановкой комедий и мюзиклов, написанных студентами. Представления давались в студенческом городке Принстона, затем на новогодних и пасхальных каникулах следовали гастроли. Все роли, включая женские, исполняли студенты-юноши, что обусловливало основную массу шуток в комедиях (например, почти во всех постановках присутствовал номер с канканом). Во время учебы в Принстонском университете Фицджеральд принимал участие в создании трех постановок этого клуба. Далее Фицджеральд упоминает о том, что ему удалось сыграть женскую роль в одной из них, – это неправда; из-за неуспеваемости к роли он не был допущен, однако в газетах в качестве рекламы

постановки была опубликована фотография писателя в сценическом костюме.

Меня подвело здоровье… – всю жизнь Фицджеральд действительно страдал от туберкулеза, после очередной вспышки заболевания в декабре 1915 г. он взял академический отпуск до конца учебного года; однако есть вероятность, что истинной причиной такого решения было не заболевание, а банальная неуспеваемость.

Суинберн – Алджернон Чарлз Суинберн (1837–1909), английский поэт-декадент, виртуозно владевший словом, ритмом и метром.

Руперт Брук – (1887–1915), английский поэт, высоко ценимый Фицджеральдом в годы юности; его поэзия ставила во главу угла романтический идеализм, которым были пропитаны настроения молодежи накануне Первой мировой войны. Поэт погиб от заражения крови на пути к месту боевых действий и стал иконой для молодых писателей своего поколения, обретя посмертную славу; название первого романа Фицджеральда – это строчка из одного из стихотворений Брука. В России этот поэт практически не переводился.

Форт-Ливенуорт – основанная в 1827 г. в штате Канзас военная база армии США, один из крупнейших центров подготовки командного состава американской армии; Фицджеральд проходил военную подготовку на этой базе с ноября 1917 по февраль 1918 г.

«*Частные задачи сухопутных войск*» – изданный в 1916 г. учебник по тактике ведения боевых действий на суше.

«*Романтический эгоист*» – так назывался первый вариант романа «По эту сторону рая»; текст этой версии частично сохранился.

…мне удалось пристроить один рассказ… – первой профессиональной публикацией Фицджеральда стал рассказ «Младенцы в лесу» (текст был приобретен журналом «Смарт Сет» и напечатан в номере за сентябрь 1919 г.). Этот рассказ практически без изменений включен Фицджеральдом в роман «По эту сторону рая», став одной из глав, поэтому его нельзя рассматривать в качестве самостоятельного произведения; вот почему эта публикация не включена в настоящий сборник.

…продал свой первый рассказ журналу «Сатердей Ивнинг Пост»… – здесь речь идет о рассказе «Голова и плечи» (он входит в сборник «Эмансипированные и глубокомысленные», см. далее); в то время журнал «Сатердей Ивнинг Пост» обладал самым большим

тиражом в Америке и платил самые большие гонорары за художественные произведения – вот почему Фицджеральд особенно заостряет внимание на факте сотрудничества с этим журналом; за двадцать последующих лет своей литературной карьеры Фицджеральд опубликовал в «Сатердей Ивнинг Пост» в общей сложности шестьдесят пять рассказов и статей.

«*Вот и все, и больше ничего*» – шутка; Цезарь тут совершенно ни при чем, это слова американской актрисы Этель Берримор (1879–1959), которые она впервые произнесла экспромтом в 1904 г. под занавес на премьере пьесы Томаса Рейсварда «Воскресенье»; успех этого экспромта был столь велик, что на всем протяжении своей дальнейшей театральной карьеры каждый выход на сцену актриса неизменно заканчивала именно этой фразой.

В этот раздел вошли рассказы, написанные Ф. Скоттом Фицджеральдом в период с 1909 по 1917 г. (до начала профессиональной писательской карьеры) и опубликованные в безгонорарных журналах подготовительной школы Ньюмана и Принстонского университета; сюда не вошли публиковавшиеся в этих же журналах пародийные и юмористические тексты. В отдельный сборник Фицджеральд эти рассказы не объединял, хотя в архиве писателя сохранился альбом, в котором собраны вырезки из журналов с этими публикациями.

Тайна закладной Рэймонда

(The Mystery of the Raymond Mortgage)

Этот детективный рассказ написан юным Скоттом Фицджеральдом в 13 лет; основная ценность этого текста в том, что это первая сохранившаяся публикация писателя (рассказ напечатан в 1909 г. в журнале «Хроника школы Сент-Пола»).

Как проба пера рассказ получился вполне достойным; жаль, автор так и не раскрыл читателям тайны вынесенной в заголовок закладной, увлекшись любовной линией и кровавым убийством.

Рид, на замену!

(Reade, Substitute Right Half)

Рассказ опубликован в журнале «Хроника школы Сент-Пола» в феврале 1910 г. В этом тексте отражены спортивные амбиции Фицджеральда, обуревавшие его вплоть до поступления в Принстонский университет; интерес к американскому футболу сохранился у писателя на всю жизнь. Термины, относящиеся к американскому футболу, поясняются далее.

Даун – калька от английского слова *down*; в игре команда, владеющая мячом, получает четыре попытки продвинуть мяч на 10 ярдов вперед в сторону очковой зоны соперника; каждая такая попытка называется *дауном*.

Фулбек – игрок, находящийся позади линии нападения; в его функции входит блокирование игроков противника, прием коротких пасов.

Такл – полузащитник в линии; в его задачу входят атака квотербека и предотвращение прорывов с мячом посередине линии.

Квотербек – основной игрок нападения («распасовщик»), принимающий мяч в начале игры; принимает тактическое решение о разыгрываемой в данный момент игровой схеме.

Гард – один из двух защитников, стоящих слева и справа от центра в линии.

Снеп – розыгрыш мяча.

Тайт-энд – игрок, стоящий в линии сбоку от таклов; может принимать мяч, в его задачу входит блокировка либо прием пасов.

Фамбл – игровая ситуация, возникающая при потере нападающей командой мяча.

Лайнмен – собирательное название игроков в линии нападения (центр, гарды, таклы и тайт-энды), блокирующих игроков защиты.

Раннер – в американском футболе – игрок, в чью задачу входит пронос мяча в очковую зону соперника.

Долг чести

(A Debt of Honour)

Рассказ опубликован в журнале «Хроника школы Сент-Пола» в марте 1910 г.

В этом тексте, как и в следующем за ним, отразился сохранявшийся на протяжении всей жизни интерес Фицджеральда к истории Гражданской войны в США.

Главнокомандующий Роберт И. Ли (1807–1870) – генерал армии Конфедеративных Штатов Америки, во время американской Гражданской войны командовал армией Северной Вирджинии.

Ченслорсвилль (или «Чанселлорсвилль») – небольшая деревушка, вблизи которой с 1 по 5 мая 1863 г. состоялось сражение между армиями северян и южан; победа досталась армии южан под командованием генерала Ли; в 1934 г. Фицджеральд написал рассказ «Ночь у Ченслорсвилля», который был включен в сборник «Отбой на заре».

Фредериксберг – город в штате Вирджиния; во время Гражданской войны занимал особое стратегическое положение, находясь на одинаковом расстоянии как от Вашингтона, так и от Ричмонда (столиц обоих североамериканских государств). Город был полностью разрушен в результате произошедшего с 11 по 15 декабря 1862 г. сражения.

Генерал Джексон – речь идет о генерале «Стоунуолле» Джексоне (1824–1863); см. комментарий к рассказу «Прибрежный пират».

Комната за зелеными ставнями

(The Room with the Green Blinds)

Рассказ опубликован в журнале «Хроника школы Сент-Пола» в июне 1911 г.; написан, скорее всего, одновременно с предыдущим рассказом «Долг чести».

Сюжет рассказа основан на легенде о том, что в сарае вблизи фермы Ричарда Гаррета был застрелен и сожжен не Джон Уилкс Бут, убийца американского президента Линкольна (как гласила официальная версия), а его двойник; сам же убийца, по этой легенде, сумел скрыться и впоследствии проживал на западе Америки под чужим именем.

Пульмановский вагон – комфортабельный спальный железнодорожный вагон, производившийся американской компанией

Джорджа Пульмана с 1865 г. вплоть до начала XX века; производство изобретенной Пульманом в 1857 г. модели вагона началось только восемь лет спустя, в первый год по окончании Гражданской войны.

Кавалерийский полк Фореста – генерал-лейтенант армии Конфедерации Натан Бедфорд Форест (1821–1877) является одним из наиболее романтизированных героев американской Гражданской войны; по легенде, в одной из битв под ним было убито целых двадцать девять лошадей.

Камберлендская дорога – одна из первых дорог в США, проложенная из Камберленда (штат Мэриленд) до Венделии (штат Иллинойс); служила основной магистралью, соединявшей восток и запад страны, и имела важное стратегическое значение во время Гражданской войны.

Аппоматокс – вблизи этого места 9 апреля 1865 г. произошло сражение, в котором была окончательно разбита армия генерала Ли. В 1934 г. Фицджеральд написал юмореску «Правда о битве Аппоматокса»; она была напечатана в частной типографии в виде газетной заметки для розыгрыша друзей писателя.

Санта-неудачник

(A Luckless Santa Claus)

Рассказ опубликован в 1912 г. в рождественском номере журнала «Новости школы Ньюмана».

«*Армия спасения*» – международная организация протестантов-евангелистов со штаб-квартирой в Лондоне, существует с середины XIX в.; в задачу организации входит помощь нуждающимся; по традиции в США в канун Рождества члены этой организации наряжаются в костюмы Санта-Клауса и собирают пожертвования на благотворительные цели.

Бовери – улица в Манхэттене длиной около мили, от Купер-сквер до Чатхам-сквер; в начале века улица была прибежищем нищих и обездоленных, на ней располагалось множество благотворительных миссий и ночлежек.

Проповедник и боль

(Pain and the Scientist)

Рассказ опубликован в журнале «Новости школы Ньюмана» в 1913 г.

«*Христианская наука*» – псевдорелигиозное учение протестантского толка, основанное Мэри Бейкер Эдди в 1879 г.; основная концепция учения состоит в том, что человек есть сущность духовная, а не материальная; любые ошибки и зло, таким образом, являются фикцией, порожденной мнимым материальным существованием, а практически всего, в том числе и исцелений от болезней, можно добиться посредством молитв, знания и понимания. Наряду с Библией приверженцы этой секты считают священными книги основательницы учения.

По следам герцога

(The Trail of the Duke)

Рассказ опубликован в журнале «Новости школы Ньюмана» в июньском номере за 1913 г.

Мятный джулеп – традиционный коктейль американского Юга, состоящий из бурбона, сахара, колотого льда и свежей мяты.

Вторая библейская заповедь – в римско-католической традиции (деление Аврелия Августина) второй заповедью является заповедь «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно».

…вдоль по Пятой авеню к Бродвею… – ранее упоминалось, что Додсон проживает «в начале Пятой авеню»; в момент создания этого рассказа Фицджеральд, скорее всего, еще не точно знал географию Нью-Йорка, поскольку для того, чтобы добраться вдоль по Пятой авеню до Бродвея, герою рассказа пришлось бы прошагать вплоть до Юнион-сквер либо свернуть с Пятой авеню и направиться на запад, через Центральный парк. Правда, в рассказе не уточняется, где именно, в начале или в конце Бродвея, жила Мирабель.

«*Щерри*» – этот модный и вычурный ресторан располагался не на Бродвее, а на перекрестке Пятой авеню и Сорок пятой улицы, в одном квартале от «Дельмонико».

«*Дельмонико*» – см. примечание к рассказу «Первое мая».

«У *Мартина*» – популярный ресторан того времени, знаменитый блюдами из морепродуктов и росписями залов в стиле ар-нуво; располагался на Двадцать шестой улице.

Венец из призрачного лавра

(Shadow Laurels)

Эта драматическая сценка опубликована в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в апреле 1915 г.

Остров Эллис – остров в бухте Нью-Йорка, до 1954 г. на нем располагался крупный транзитный пункт, в котором оформляли документы для эмиграции в США вновь прибывшим эмигрантам.

Щарлотта Корде (1768–1793) – жирондистка, зарезавшая в ванной Жана-Поля Марата и казненная на гильотине.

Николя Фуке (1615–1680) – суперинтендант финансов Франции во времена правления Людовика XIV; Фуке систематически занимался расхищением государственной казны и привел финансы в полное расстройство.

Людовик IX Святой (1214–1270) – французский король, покровитель искусств; во времена его правления был возведен Реймсский собор.

Мадам Дюбарри – официальная фаворитка Людовика XV, казненная на гильотине из-за подозрений в помощи аристократам во время Французской революции.

Джон Лоу (1671–1729) – швейцарский экономист, предложивший использовать бумажные купюры вместо монет.

Франсуа Вийон (ок. 1431–1463) – французский средневековый поэт, чья биография изобилует уголовными эпизодами.

«*Где ныне прошлогодний снег*?» – рефрен из стихотворения Ф. Вийона «Баллада о дамах былых времен».

Испытание

(The Ordeal)

Рассказ написан в мае 1915 г. и опубликован в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в июне 1915 г.

В 1919 г. этот текст переработан в рассказ «Благословение», опубликованный в журнале «Смарт Сет»; переработанный текст вошел в сборник «Эмансипированные и глубокомысленные» (см. далее).

Первая версия значительно отличается от окончательной: в отличие от версии 1919 г., этот текст – вполне серьезный рассказ о мистическом переживании. Он написан Фицджеральдом под впечатлением от поездки в иезуитскую семинарию, расположенную в Вудстоке (штат Мэриленд), – в годы учебы в университете Фицджеральд находился под влиянием идей католицизма и даже всерьез подумывал о том, чтобы посвятить себя служению Церкви.

Надеюсь, встретимся с тобой на небесах… – слова из протестантского гимна; скорее всего, эту песню Фицджеральд позаимствовал из романа об американской Гражданской войне «Поле брани», написанного в 1902 г. писательницей Элен Глазгоу.

Джон Уиклиф (1330–1384) – английский теолог, философ и реформатор Церкви, предвестник Реформации. Именно он организовал первый перевод Библии на среднеанглийский язык; официальная Церковь того времени считала его еретиком, но умер он своей смертью, хотя через двенадцать лет по приказу тогдашнего папы Римского его останки были эксгумированы и сожжены на костре.

Александр VI – второй Папа Римский из рода Борджиа; до интронизации носил имя Родриго Борджиа (1431–1503); его понтификат официально именуется Католической церковью «несчастьем для церкви». В 2011 г. о семье Борджиа канадским телевидением был выпущен сериал «Борджиа»; роль Александра VI в сериале блестяще сыграл актер Джереми Айронс, ранее сыгравший, по странному совпадению, роль Ф. Скотта Фицджеральда в фильме «Последний шанс» (вышел на экраны в 2002 г.), посвященном последним годам жизни писателя.

Трое великих произнесли, что Бога нет… – здесь идет речь об ученых эпохи Ренессанса Николае Копернике (1473–1543), Джордано

Бруно (1548–1600) и Галилео Галилее (1564–1642).

Гекели – английский зоолог Томас Генри Гекели (или, в другой транслитерации, Хаксли) (1825–1895) был яростным сторонником эволюционной теории Дарвина; также прославился тем, что в 1869 г. впервые употребил термин «агностицизм».

Per omnia saecvla, saeculorum – лат. «во веки веков», строка из католической мессы.

Tantum ergo Sacramentum, Veneremur cetu – лат. «эту тайну Пресвятую, славим в поклонении», начало католического гимна, исполняемого в ходе обряда адорации.

Ego vos absolvo a peccatis tuis in nomine patris, filii, Spiritus sancti – лат. «Прощаю ваши постыдные грехи, во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Так принято

(The Usual Thing, by Robert W. Shameless)

Этот пародийный отрывок опубликован под псевдонимом Роберт Ви Беспардонный в студенческом журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в декабре 1916 г. Разумеется, данное в конце опубликованного в декабре текста обещание продолжить историю в июльском номере журнала было всего лишь шуткой.

В «Гроссбухе» Фицджеральда есть пометка, что этот текст послужил основой для текста одноактной пародийной сценки «Мистер Липкин», включенной впоследствии в сборник «Сказки века джаза» (см. далее).

Роберт Ви Беспардонный – псевдоним ясно дает понять, что стиль текста пародирует неряшливый стиль американского писателя Роберта Чамберса (о нем см. в примечании к сценке «Это – журнал»).

Такседо-Парк – престижный поселок в сорока милях от Нью-Йорка (см. примечание к рассказу «Популярная девушка»).

«*Гречка*!» – это намек на общепринятое мнение того времени, что «деревенщины» обожают гречишные пироги.

Предосторожность – прежде всего!

(Precaution Primarily)

Этот абсурдный бурлеск опубликован в студенческом юмористическом журнале «Принстонский тигр» 3 февраля 1917 г.; по духу эта вещь тесно примыкает к двум включенным в сборник «Сказки века джаза» абсурдным одноактным пьесам; именно поэтому она, как и сценка «Это – журнал» (см. далее), включена в эту книгу.

Текст представляет собой пародию на поставленный в 1916 году клубом «Треугольник» мюзикл «Безопасность превыше всего!», в создании которого принимал участие Фицджеральд, написавший тексты для всех песен мюзикла.

Хэнк О'Дэй – Генри М. О'Дэй (1859–1935), знаменитый бейсбольный арбитр, работавший в Высшей бейсбольной лиге с 1895 по 1927 г.

Хьюги Дженнинги – Хью Амброз Дженнинг (1869–1928), знаменитый бейсбольный игрок, капитан команды Балтимора и один из руководителей Высшей бейсбольной лиги с 1891 по 1925 г.

Страйк – игровая ситуация в бейсболе, когда при подаче выполняющий удар не выполнил удара по мячу, поданному питчером.

«*Казино*» – речь идет о деревянном здании театрального зала, построенном в студенческом городке Принстонского университета в 1895 году; именно в этом здании ставили все мюзиклы «Треугольника»; здание сгорело в 1924 г.

Щпиль и горгулья

(The Spire and Gargoyle)

Рассказ опубликован в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в феврале 1917 г.

Архитектурный комплекс зданий Принстонского университета, который является местом действия рассказа, был выстроен по канонам готической архитектуры.

…*солнечных часов*… – герой рассказа лежит в траве у «Солнечных часов Мэйзера». В настоящее время они располагаются в четырехугольном дворе, образованном зданиями Макош-Холл, Дикинсон-Холл и Принстонской часовней.

…щелчками контрольных часов… – наручные часы еще не вошли в обиход ко времени действия рассказа; экзаменаторы проверяют, сколько времени осталось до окончания экзамена, по карманным часам, обладавшим крышками, которые при открытии и закрытии издавали характерные щелчки.

«*Герои и почитание героев*» – речь идет о сборнике лекций шотландского публициста и философа Томаса Карлейля (1795–1881) «Герои, почитание героев и героическое в истории»; он исповедовал «культ героев» и верил, что лишь исключительные личности, властвующие над человечеством, двигают его вперед; эти взгляды послужили формированию философской концепции «сверхчеловека» Фридриха Ницше.

«*Sartor Resartus*» – беллетризованная автобиография Карлейля (опубликована в 1836 году).

«*Зеркала Щалот*» – здесь Фицджеральд, скорее всего, намекает на то, что преподаватель смотрит на мир опосредованно, сквозь стекла своих очков, подобно «Волшебнице Шалот» из баллады А. Теннисона, смотревшей на мир, как на отражение в своем зеркале.

…широкой лестнице, ведущей в студенческий городок… – в годы учебы Фицджеральда в Принстонском университете железнодорожная станция располагалась у западной границы студенческого городка, у подножия «Арки Блэра» в корпусе «Блэр-Холл». Приезжавшие на поезде попадали на территорию студенческого городка, поднимаясь по широким ступеням и минуя арку Блэр-Холла.

Тарквиний из Чепсайда

(Tarquin ofCheepside)

Рассказ написан в феврале 1917 г. и опубликован в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в апреле 1917 г.

В 1921 г. Фицджеральд переработал этот текст для публикации в журнале «Смарт Сет»; впоследствии переработанный текст под названием «Тарквиний из Чипсайда» был включен Фицджеральдом в сборник «Сказки века джаза».

Чувство и мода на пудру

(Sentiment – and the use of Rouge)

Рассказ опубликован в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в июне 1917 г.

Семнадцатый Сассекский полк – пехотное подразделение времен Первой мировой войны, сформированное во Франции в мае 1918 года.

Паддингтонский вокзал – крупный железнодорожный терминал в Вестминстере; здание было возведено в 1852–1854 гг., в его отделке использовали чугунные арки.

…*налет цеппелинов*… – речь идет о дирижаблях, которые широко использовались немецкой армией во время Первой мировой войны для бомбежек.

«*Крейцерова соната*» – повесть Л. Толстого, впервые опубликована в США в 1890 г.; текст Фицджеральда прямо связан с вопросами, поднимавшимися Львом Толстым (является ли плотский соблазн лживым по своей природе, как относиться к гомосексуализму, может ли искусство заменить плотские страсти).

Дувр – из этого города отправлялись на Западный фронт британские войска; по Английскому каналу от Доувера до французского порта Кале около 20 миль.

Рочестер – крупный город в графстве Кент; во времена Первой мировой войны имел стратегическое значение, поскольку невдалеке от него (в Чатхаме) располагалась база английского военно-морского флота.

Золя утверждал, что окружение – самое главное… – французский романист Эмиль Золя (1840–1902), основоположник натурализма, рассматривал окружение (среду) как главный фактор человеческого поведения.

Брайтон – курорт на южном побережье Англии; популярное место отдыха военнослужащих, ожидавших отправки на фронт.

…*встречу в Вестминстере*… – О’Флоэрти говорит о Вестминстерском соборе в Лондоне – месте погребения монархов и национальных героев Великобритании.

Луиза М. Олкотт – английская писательница; см. комментарий к рассказу «Бернис коротко стрижется»

…*какая-то пьеса, в которой герой родился на станции*… – речь идет о пьесе О. Уайльда «Как важно быть серьезным» (1895);

хитросплетения сюжета разрешаются, когда в концовке выясняется, что героя пьесы в детстве по ошибке оставили в саквояже на английском вокзале «Виктория».

Кастальский ключ и последняя капля

(The Pierian Springs and the Last Straw)

Рассказ опубликован в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в октябре 1917 г.

Кастальский ключ – в античной мифологии родник на горе Парнас, источник вдохновения поэтов и музыкантов.

Хевлок Эллис (1859–1939) – английский врач, занимавшийся изучением человеческой сексуальности и стоявший у истоков сексологии как научной дисциплины; автор «Исследований по психологии пола» в семи томах; опубликованный в 1897 г. первый том эпатировал читающую публику и стал предметом резонансного судебного разбирательства.

Лаура… Петрарка – итальянский поэт Франческо Петрарка (1304–1374) впервые встретился с Лаурой (скорее всего, Лаурой де Нов, женой Хьюго де Сада) в 1327 г.; она стала его музой, ей посвящено большинство его знаменитых сонетов.

Андовер – престижная школа для мальчиков в городе Андовер, штат Массачусетс (основана в 1770 году).

Ассоциация молодых христиан – религиозно-общественная организация молодежи с филиалами во многих студенческих городках американских университетов.

Виллиаме – университет Виллиамса, основанный в 1793 г. в Виллиамстауне, штат Массачусетс, престижный гуманитарный университет свободных искусств, в нем обучались только юноши.

Клеопатра, Мессалина и мадам де Монтеспан – здесь приводятся имена женщин, прославившихся своим распутством и беспринципностью.

Марк Антоний и Де Мюссе – обе упомянутые личности были связаны с роковыми женщинами: римский полководец Марк Антоний (83–30 до н. э.) был любовником египетской царицы Клеопатры (69–30

до н. э.), а писатель Альфред Де Мюссе (1810–1857) был мужем романистки Жорж Санд (1804–1876).

Интерлюдия

А я не послушал этого совета!

(What I Was Advised to Do – and DidrCt)

Эта короткая автобиографическая заметка была опубликована в газете «Филаделфиа Паблик Леджер» 22 апреля 1922 г.

Первый рассказ Фицджеральда принят к публикации в 1919 году (это был текст «Младенцы в лесу», впоследствии вошедший в качестве главы в роман «По эту сторону рая»). Фицджеральд в то время работал в нью-йоркском рекламном агентстве «Баррон Колье»; подробнее об этом периоде см. далее эссе «Ранний успех».

Улыбочки (The Smilers)

Опубликованный в журнале «Смарт Сет» в июне 1920 г. рассказ написан в ноябре 1919 г. Несмотря на то что это одна из первых профессиональных публикаций Фицджеральда, текст наглядно демонстрирует эволюцию писателя от любителя к профессионалу: чуть робкий и одновременно нарочито ироничный текст вполне мог появиться в любом студенческом журнале, не слишком выделяясь среди общей массы подобных дидактических рассказов; в то же время ярко выраженная в этом тексте морализаторская направленность характерна для «раннего» Фицджеральда, что не всегда замечается за яркостью и бесшабашностью стиля его ранней прозы «Века джаза».

…яркая сорочка нефтяного магната… – общепринятый образ «нефтяного короля» начала XX века обязательно включал алую сорочку.

…отсечь и бросить от себя, потому что она постоянно его соблазняла… – парафраз Евангелия от Матфея, 5:30 «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (синодальный перевод).

«*Тиффани*» – знаменитый ювелирный магазин «Тиффани» открылся в 1837 г.; в период действия рассказа он находился на перекрестке Пятой авеню и Тридцать седьмой улицы; фасад здания магазина украшала бронзовая фигура бога Атласа с часами на плечах.

«*Корона*» – торговая марка кубинских сигар; данный термин также относится к типу сигар длиной от пяти до шести дюймов, с закругленной головкой и плоским обрезом с другого конца.

Ларчмонт – пригород Нью-Йорка на Лонг-Айленде; в то время место считалось модным, там селились звезды кино и сцены.

«*Улыбайся, улыбайся, улыбайся*» – вероятно, имеется в виду написанная в 1915 г. Феликсом Пауэллом на слова Джорджа Асафа песня «Сложи свои заботы в старый чемодан и улыбайся, улыбайся, улыбайся», исполнявшаяся в мюзиклах «Ее солдатик» и «Танцуя».

«*Ты улыбаешься, когда ты смотришь на меня*» – скорее всего, речь идет о песне Ли Дж. Робертса на слова Уилла Каллахана «Улыбки», ставшей хитом в 1917 г. после исполнения в бродвейском ревю.

Сквоб – жареное голубиное мясо.

Центральный вокзал – речь идет о Центральном вокзале Нью-Йорка на Манхэттене, на перекрестке Парк-авеню и Восточной Сорок второй улицы, одном из двух крупнейших железнодорожных терминалов в городе.

Уильям-стрит – на Манхэттене, где происходит действие рассказа, такой улицы нет; улица с таким названием пересекает Уолл-стрит, однако маловероятно, что в этом фешенебельном районе могло располагаться описываемое далее кафе.

Рай – небольшой город в округе Вестчестер, вблизи Нью-Йорка; английское слово «гуе» означает «рожь».

Плач (Пушкин, простите!)

A Dirge (Apologies to Wordsworth)

Стихотворение опубликовано в журнале «Джадж» («Судья») 20 декабря 1919 г. Это единственное стихотворение Фицджеральда, опубликованное как отдельное произведение в обычной (не университетской) прессе с момента начала профессиональной писательской карьеры и вплоть до середины 1930-х.

Стихотворение посвящено вводившемуся с 1920 г. в США сухому закону; запрещенный алкоголь подавали в барах под видом чая (в чайниках).

Стихотворение представляет собой пародию на стихотворение У. Вордсворта из цикла «К Люси»[1] (второе стихотворение цикла).

К Люси

Ее никто не знал в лицо,
к груди не прижимал.
Студеный ключ был ей отцом
среди шершавых скал.

Среди гранитных серых скал
запрятанных в лесу,
фиалка нежная пила
небесную росу.

Звезда сияла в небесах, отлита изо льда.
Однажды Люси отцвела совсем и навсегда.
Среди деревьев и камней, лишь ветерок шепнет:
что Люси нет, но есть звезда. Что мир теперь не
тот.

Пушкин, простите! – в оригинальном тексте Фицджеральд упоминает классического английского поэта Уильяма Вордсворта (1770–1850), поэта-романтика, принадлежавшего к так называемой «озерной школе». Упомянутые в первой строке оригинала («It lay among the untrodden ways») «нехоженые тропы» напоминают пушкинские «неведомые дорожки», поэтому при переводе англичанин Вордсворт был заменен на нашего Пушкина.

«Эмансипированные и глубокомысленные»

Еще в январе 1920 г., работая над гранками первого романа «По эту сторону рая», Фицджеральд консультировался с редактором издательства «Скрибнере» Максуэллом Перкинсом о потенциальной возможности выпуска сборника рассказов.

Первые рассказы для популярных журналов Фицджеральд начал писать зимой и весной 1919 г. в Нью-Йорке, осваивая правила игры на

американском литературном рынке. В то время Фицджеральд работал по найму в рекламном агентстве и пытался найти дополнительный источник дохода. Большинство созданных в то время вещей не были приняты редакциями, однако путем проб и ошибок Фицджеральду удалось освоить технологию написания нужных редакторам произведений. Как только осенью 1919 г. первый роман был принят издательством, Фицджеральд принялся немедленно использовать свои свежеобретенные навыки, что позволило ему за несколько месяцев продать в популярные журналы одиннадцать вещей, принесших порядка 3000 долларов – немалую по тем временам сумму. Большая часть этих произведений отличалась «гуляющей» композицией и структурой, строго хронологически развивающимся сюжетом, забавными диалогами и острыми наблюдениями.

Публикация рассказов в журналах позволяла держать имя автора в фокусе общественного внимания, писать рассказы удавалось, в отличие от романов, «приступами», материал не нужно было накапливать долго, а самое главное, рассказы можно было быстро продавать с помощью литературного агента, сразу же получая гонорары.

В конце апреля 1920 г. – не прошло и месяца с момента публикации первого романа – Фицджеральд отправил редактору М. Перкинсу тексты для формирования сборника. Рассказы сопровождало письмо, в котором Фицджеральд предлагал варианты названия книги и пояснял изначальный ее замысел – кроме рассказов в состав сборника он хотел включить и стихи. В то время он рассматривал себя не только в качестве прозаика, но и в качестве поэта, хотя на всем протяжении своей дальнейшей профессиональной карьеры он практически не публиковал стихов. Если бы замысел со стихами был реализован, опубликованная книга могла бы стать чем-то вроде появившегося в 1925 г. первого сборника Эрнеста Хемингуэя «В наше время»; возможно, впоследствии Фицджеральд продолжил бы писать стихотворения – увы, теперь об этом можно лишь догадываться. Каких-либо документов, поясняющих причины отказа от этого замысла, не сохранилось, поскольку весной и летом 1920 г. Фицджеральд жил в Нью-Йорке и общался с Перкинсом лично, а не в переписке.

Для сборника Фицджеральд предлагал следующие названия: «Нас семеро» (имея в виду семь рассказов, которые он сам отобрал для книги), «Слоеный торт», «Табльдот» и «По меню» (в этих «кулинарных» вариантах обыгрывалось разнообразие составляющих сборника «ингредиентов»), «Горько-сладкое» (здесь обыгрывалась смесь эмоций и стилей). Окончательным выбором стало название «Эмансипированные и глубокомысленные», созвучное рекламному слогану, под которым издательство продвигало первый роман («Книга об эмансипированных, написанная для тех, кто мыслит!»). Название хорошо отражает двойственность получившегося сборника, которая, впрочем, наблюдается и во всем дальнейшем творчестве писателя: книга включает рассказы о молодости и любви, есть в ней и серьезные исследования общества и манер; лучшие тексты представляют собой комбинацию этих элементов.

Сборник вышел в сентябре 1920 г. и до ноября 1922 г. выдержал четыре допечатки тиража; в 1920 г. книга также была издана в Великобритании.

Прибрежный пират

(The Offshore Pirate)

Рассказ написан в феврале 1920 г. и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 29 мая 1920 г. Это первый из рассказов Фицджеральда, в основе которых лежит фабула покорения героини путем совершения экстраординарного поступка.

Рабочее название рассказа – «Благородный пират»; в первоначальной концовке рассказа выяснялось, что похищение просто приснилось задремавшей на палубе Ардите. В сопроводительном письме литературному агенту Рейнольдсу Фицджеральд назвал рассказ «очень странным» и добавил: «Если считаете, что конец его портит, можете его просто отрезать». И Рейнольдс именно так и поступил, отрезав ножницами часть предпоследней страницы и вовсе убрав последнюю страницу рукописи. Этот отрывок сохранился в архиве литературного агентства; исходная рукопись рассказа завершалась следующей концовкой:

«…Глаза Ардиты медленно открылись. Вокруг было темно и тихо, и она поняла, что стояла, должно быть, глухая ночь. Книга упала с коленей, но рука все еще сжимала остатки выжатого лимона. Она потянулась, зевнула и прислушалась, – до нее донеслись шаги на трапе и тяжелое дыхание взбиравшегося по нему дядюшки.

– Фелиция, ты купила мне купальный костюм? – крикнула она.

С трапа донесся голос горничной:

– Ах, нет, мадемуазель! В лавке сказали, что у них не бывает модели, которую захотелось мадемуазель!

Показалась голова мистера Фарнэма, затем показался весь мистер Фарнэм, а затем – Фелиция. Мистер Фарнэм холодно кивнул Ардите.

– Тебе не понадобится купальный костюм, – сказал он. – Мы прямо сейчас берем курс на север.

– Ах, закрой рот! – по привычке откликнулась Ардита, а затем повернулась к горничной. – Фелиция! – сказала она. – Это ты мне рассказывала, что видела весной в мюзик-холле чудесный ансамбль под названием “Картис Карлиль и шесть черных малышей”?

– Да! Ах, мадемуазель, они были просто великолепны…

– А скажи-ка мне, – нетерпеливо перебила ее Ардита, – Картис Карлиль – это черноволосый юноша с голубыми глазами? И очень симпатичный?

– Нет-нет, мадемуазель! Нет-нет! Он маленький и страшный, как смертный грех. У него седые волосы, а ноги – кривые.

– Н-да, – задумчиво хмыкнула Ардита. – Чертовски забавная штука жизнь, правда, Фелиция?

– О да! – согласилась Фелиция. – Жизнь – чертовски забавная штука!»

Для журнала Фицджеральд переписал конец рассказа: «*Последнее предложение Лоример* [редактор «Сатердей Ивнинг Пост». – *А. Р.*] *принял всерьез. Одна из лучших моих строчек*». Так в журнальной версии текста появился последний абзац:

«И Ардита, будучи девушкой проницательной, без труда догадалась, когда был второй».

Но в книге и эта концовка была заменена на ироничную шутку.

В феврале 1922 г. рассказ перепечатал в английский журнал «Соверен Мэгэзин». Английские версии текстов Фицджеральда по тогдашней практике готовились в адаптированном для английского читателя виде – американский сленг менялся на английский, могли меняться и другие детали; все это делали редакторы без участия автора.

Сюжет рассказа был куплен у Фицджеральда киностудией «Метро Пикчерс Корпорейшн»; «немой» кинофильм «Прибрежный пират» режиссера Далласа М. Фицджеральда (однофамилец) с Виолой Даной и Джеком Малхоллом в главных ролях вышел в 1921 г.; лента считается утраченной. Когда после выхода фильма в 1921 г. выяснилось, что у героини был реальный прототип – красавица из Сент-Пола по имени Ардита Форд, настоящая Ардита устроила в Сент-Поле прием, «чтобы все посмотрели, какая я в фильме, а какая – на самом деле!».

Скотт Фицджеральд и Зельда Фицджеральд неоднократно признавались, что этот рассказ их самый любимый; в одном из писем Фицджеральд поставил его в своем личном рейтинге даже выше, чем общепризнанный шедевр «Огромный, как „Ритц“, алмаз».

«*Восстание ангелов*» – роман Анатоля Франса, 1914 г.; книга в момент выхода считалась смелой и откровенной.

Статуя «*Пробуждение Франции*» – монумент американского скульптора Фредерика Макмонниса, прославляющий героизм французов во время Первой мировой войны. Работа над статуей была начата в 1917 г., установлена она была лишь в 1932 г.

Сухой закон – действовал в США с 1920 по 1933 г.

Оппозиционер Джексон – знаменитый генерал армии Конфедерации «Стоунуолл» (или «Каменная стена») Джексон (1824–1863); случайно погиб в сражении у Ченслорсвилля, застреленный своим адъютантом; о его пристрастии к лимонам рассказывают мемуаристы.

Синг-Синг – считавшаяся неприступной тюрьма для особо опасных преступников на одноименном острове в штате Нью-Йорк; в настоящее время по прямому назначению не используется и является музеем.

«*Уинтер-Гарден*» *и* «*Миднайт-Фролик*» – театр и кабаре на Бродвее в Нью-Йорке.

Турне «*Сиротки*» – речь идет о сети театров на Среднем Западе и Западном побережье, принадлежавшей реально существовавшему театральному агентству «Орфеум»; эта сеть театров организовывала гастроли различных популярных артистов.

Бермудской плантации – так в оригинале; никаких плантаций на Бермудских островах никогда не существовало.

Платтсбург – тренировочный лагерь для офицеров и добровольцев, располагавшийся в годы Первой мировой войны в Платтсбурге, штат Нью-Йорк. Через этот подготовительный лагерь прошли многие добровольцы из Принстонского университета.

Букер Т. Вашингтон (1856–1915) – чернокожий американский просветитель и оратор.

Бидфорд-Пул – летний курорт в штате Мэн.

Поллианна – героиня детских книг Элеанор Портер (1868–1920); отличается крайним оптимизмом и веселым нравом в любых ситуациях; многие романы Портер о Поллианне переведены на русский, правда, особой известности они не снискали.

Блаженны простые богачи, ибо они наследуют землю… – парафраз Евангелия от Матфея, 5:5.

Ледяной дворец

(The Ice Palace)

Рассказ написан в декабре 1919 г. и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 22 мая 1920 г.; рассказ перепечатывался также в благотворительном сборнике «Trumps: a Collection of Short Stories» (G.P. Putnam’s sons, New York, 1926).

Этот рассказ – первый из целой группы, в которой Фицджеральд описывает культурные и социальные различия между американским Севером и Югом. В отправленном в 1940 г. письме дочери Фицджеральд описал свою концепцию американского Юга: это «гротескная и живописная земля, как я обнаружил много лет назад, а мистер Фолкнер с тех пор изобильно продемонстрировал публике».

Действие рассказа происходит в вымышленном южном городке Тарлтоне. Рассказ об этом городке есть в каждом сборнике рассказов Фицджеральда (кроме одного). Они не составляют единого цикла, а скорее являются «фирменным знаком» и данью южному происхождению Зельды.

В следующем сборнике к рассказу было написано продолжение – рассказ «Лоботряс».

Историю создания «Ледяного дворца» рассказал сам Фицджеральд в автобиографической заметке, опубликованной в журнале «Эдитор»; эта заметка под заголовком «Как работают современные писатели, с их собственных слов – Ф. Скотт Фицджеральд» опубликована во втором июльском номере за 1920 г.:

Идея рассказа «Ледяной дворец» («Сатердей Ивнинг Пост», номер от 22 мая) родилась в разговоре с девушкой, произошедшем в моем родном городе Сент-Поле в штате Миннесота. Ноябрьским вечером мы ехали домой с киносеанса.

– Вот и зима пришла, – сказала она, когда ветер стал рассыпать по дороге снежное конфетти.

Мне тут же вспомнились все зимы, которые я здесь пережил, – унылые, мрачные, казавшиеся бесконечными, – и мы стали разговаривать о жизни в Швеции.

– Вот интересно, – просто чтобы поддержать разговор, сказал я, – а не из-за холода ли шведы такие меланхолики? Не климат ли делает этих людей такими тяжеловесными и черствыми… – И тут я умолк, потому что почуял сюжет для рассказа.

С сюжетом я не расставался две недели, не написав ни строчки. Я думал, что можно написать рассказ о людях (или об одном человеке) родом из Англии, вот уже несколько поколений проживающих в очень холодном климате. У меня даже была одна деталь о климате: первая снежная поземка, которую ветер гонит по улицам, словно призрачный авангард.

Через две недели я поехал в Монтгомери, штат Алабама, и однажды на прогулке мы с девушкой забрели на кладбище. Она сказала, что мне никогда не понять, что она чувствует при виде солдатских могил армии Конфедератов, а я сказал, что понимаю это так хорошо, что могу даже изложить на бумаге. На следующий день,

при возвращении обратно в Сент-Пол, мне пришло в голову, что все это детали одной и той же истории – о контрасте между Алабамой и Миннесотой. Когда я вернулся домой, у меня были:

1) сюжет: этот самый контраст;

2) естественное развитие событий: девушка едет на Север;

3) мысль о том, что в какой-то момент холод подействует на нее угнетающе, вызвав галлюцинации;

4) этот момент наступит, когда она окажется в ледяном дворце, – рассказ о ледяном дворце я собирался написать вот уже несколько месяцев, с тех пор как мама рассказала мне о нем, – его строили в Сент-Поле в восьмидесятых годах;

5) деталь: снег в тамбуре поезда.

Вернувшись в Сент-Пол, я озадачил семью тем, что немедленно заставил рассказать мне все, что они помнили о ледяном дворце. В городской библиотеке я разыскал старую газету, в которой было опубликовано небольшое изображение дворца. Затем я тщательно прошерстил свою записную книжку в поисках какого-нибудь случая или персонажа, который мог бы пригодиться, – я всегда так делаю, когда приступаю к рассказам. На этот раз не попалось ничего особенного, за исключением записи разговора с одной девушкой, когда мы обсуждали, что люди бывают «кошачьи», а бывают «псовые».

И я начал писать. Сначала я сделал воздушный набросок о жизни девушки в Алабаме. Это была первая часть. Я написал сцену на кладбище, использовав ее также для завязки романтической интриги и для того, чтобы обозначить, что героиня не любит холода. Получилась вторая часть. Затем я перешел к третьей части, в которой героиня должна была прибыть в северный город, но эта сцена мне посередине наскучила, и я перескочил к началу сцены в ледяном дворце, – я никак не мог дождаться, когда же придет очередь этой части. Я написал сцену, в которой пара подъезжает к дворцу на санях, и вдруг передо мной неотвязно замаячил образ ледяного лабиринта, так что я бросил описание дворца и немедленно перешел к девушке, потерявшейся в лабиринте. Части первая и вторая заняли два дня. Часть с ледяным дворцом и лабиринтом (пятую) и последнюю сцену (шестую часть), в которой вновь звучит мотив Алабамы, я закончил на третий день. Итак, у меня были начало и конец, которые я писал легко и с удовольствием, а также кульминация, работа с которой была

интересной и воодушевляющей. Написание третьей и четвертой частей заняло у меня три дня, и это наименее удавшиеся фрагменты рассказа. Работая над ними, я чувствовал скуку и неуверенность, постоянно переписывал, добавлял, сокращал и редактировал, – к концу работы эти части не вызывали у меня уже никакого интереса.

Вот и вся история. Она – отнюдь не специально – иллюстрирует мою теорию о том, что то, что написано с удовольствием, всегда читается лучше, чем то, над чем автор долго корпел, не считая жанра натуралистического реализма.

Ледяной дворец – скорее, это была крепость с высокой башней, судя по сохранившимся фотографиям; действительно возводился в Сент-Поле в 1886 г.

Дуй, ветер, дуй – хей-хо! Мы едем далеко! – строчка из припева английской матросской песни «10 000 миль от дома». Из недавних записей – Bellowhead, «10,000 miles away» (2012).

Джон Джей Фишберн – намек на Джеймса Джерома Хилла, железнодорожного магната (1838–1916), самого знаменитого уроженца Сент-Пола во времена детства Фицджеральда.

Сорвиголова Мак-Грю – Персонаж стихотворения Р. Сервиса «Выстрел Мак-Грю»; на русский язык стихотворение переводил Е. Витковский; стихотворение рассказывает о жестокой истории, произошедшей в салуне где-то за Полярным кругом.

…они все потихоньку превращаются в скандинавов… – в оригинале речь идет о шведах; но упоминаемый Генрих Ибсен по национальности был норвежцем.

«*Пер-Гюнт*» – драма Ибсена; здесь она упоминается как пример суровой северной литературы.

…отправной «сараевской» точкой… – в оригинале точка «сербская»; это намек на формальную причину начала Первой мировой войны – убийство в Сараеве (ныне Босния, в то время – Австро-Венгрия) сербским террористом Гаврилой Принципом австрийского эрцгерцога Фердинанда.

«*Дикси*» – популярная американская народная песня, считавшаяся неофициальным гимном южных штатов США (штатов Конфедерации).

Строчки из «Кубла-Хана» – «Кубла-Хан, или Видение во сне» – поэма С. Т. Кольриджа (представляет собой неоконченный фрагмент).

Кольридж признавал, что поэма написана им под воздействием видений, вызванных употреблением опиума. Владельцем дворца был, конечно, монгольский хан Хубилай, однако на русский язык это произведение перевел К. Бальмонт, давший герою именно такое, калькированное, имя.

«*Привет, привет! Ребята все собрались*!» – песня Д. А. Эсроба и Теодора Морзе (1917), написанная по мотивам музыки из комической оперы Гильберта и Салливана «Пейзанские пираты» (1879).

Клуб «*Уэйкута*» – реально существовавший клуб любителей санного спорта в городе Сент-Пол; организован в 1885 г.

Голова и плечи

(Head and Shoulders)

Рассказ написан в ноябре 1919 г. и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 21 февраля 1920 г.

Этот рассказ был первым, который Фицджеральду удалось продать в журнал за значительный гонорар (он составил 400 долларов). Впоследствии Фицджеральд писал своему литературному агенту Гарольду Оберу: «Мне было двадцать два, когда я приехал в Нью-Йорк и узнал, что тебе удалось продать „Голову и плечи“ в „Пост“. Хотелось бы мне вновь испытать такой восторг, как тогда, но, видимо, такое может случиться лишь раз в жизни». Рабочим названием рассказа было «Всё в дом».

Произведения Фицджеральда обладают любопытным даром предвидения: подобно тому как Горацию после женитьбы пришлось оставить науку и начать работать в индустрии развлечений, так и самому автору рассказа пришлось профессионально заняться развлечением читающей публики после женитьбы на Зельде Сэйр в апреле 1920 г.

Сюжет этого рассказа приобретен киностудией «Метро Пикчерс Корпорейшн», а в 1920 г. вышел «немой» фильм Уильяма С. Доулана «Любовь хористки» с Гаретом Хьюзом и Виолой Даной в главных ролях. Пленка с фильмом сохранилась в синематеке Бразилии и периодически демонстрируется на кинофестивале «Mostra» в Сан-Паулу под португальским названием «Dá-me um beijo sim?».

Джордж М. Коуэн сочинял «*Там, на континенте*» – здесь обозначено время действия рассказа, это 1914 г.; песня написана американским актером, драматургом и композитором Коуэном в годы Первой мировой войны.

Битвы у Щато-Тьерри – произошла 6 июня 1918 г. во Франции и увенчалась победой американских войск.

…*новых реалистов*… – течения с таким названием в философской мысли 1920-х годов не было.

«*Домой, Джеймс*!» – мюзикл 1917 г., поставленный студентами Колумбийского университета; этот мюзикл в Нью-Хейвене не обкатывался.

Песенка о «*Неуклюжем увальне*» – здесь Фицджеральд ссылается на придуманную им самим песенку, с которой начинается одноактная пьеса «Фаянсовый и розовый» в первоначальной, опубликованной в январе 1920 г. в журнале редакции. Пьеса была включена в следующий сборник Фицджеральда «Сказки века джаза», но в книге Фицджеральд этот текст изменил (см. далее комментарий к тексту «Фаянсовый и розовый»).

«*Пэлл-Мэлл*» – в то время эти сигареты считались роскошными и стоили по тридцать центов за пачку; другие популярные бренды шли по десять центов за пачку.

Прагматизм – течение американский философской мысли, основанное Уильямом Джеймсом; это теория о природе значения и истины.

Беркли – речь идет о Джордже Беркли (1685–1753), британском философе-идеалисте.

Хьюм – речь идет о Дэвиде Хьюме (1711–1776), шотландском историке и философе-эмпирике.

Омар Хайям – средневековый персидский поэт; на английский поэзию Хайяма впервые перевел Эдвард Фицджеральд (1809–1883) в 1859 г.; эти переводы сами по себе считаются шедеврами английской литературы.

Секстет из «*Флородоры*» – премьера английского мюзикла «Флородора» (музыка Лесли Стюарта) состоялась в 1900 г.; шоу очень долго шло в Нью-Йорке; в кульминационном номере мюзикла участвовали шесть девушек; выступавшие в этом номере актрисы

считались идеалом красоты на рубеже веков; этот мюзикл также упоминается в рассказе «Осадок счастья».

Миссис Сол Смит – упоминается Элизабет Смит, жена популярного в начале XIX века актера Сола Смита; она выступала с ним в паре.

«*Цыганка*» – популярная английская опера Майкла Уильяма Бэлфа и Альфреда Банна (1843).

Хаммерштейн – Оскар Хаммерштейн (1847–1919) американский театральный импресарио; его постановки отличал легкий ненавязчивый юмор.

Бару Тафта – главный отель Нью-Хейвена «Тафт» примыкает к залу Шуберта; в то время этот отель считался самым новым и стильным; в баре в выходные часто отдыхали студенты университета и их гостьи.

«Пале-Рояль» – ночной клуб в Нью-Йорке на перекрестке Бродвея и Сорок восьмой улицы.

«*Полночные шалости*» – или «Миднайт-Фролик» – серия шоу 1915–1928 гг., поставленных знаменитым импресарио Флоренцом Зигфилдом (1869–1932) в ресторане на крыше нью-йоркского театра «Нью-Эмстердем» на Сорок девятой улице.

…*стиль весьма похож на Карлиля*… – т. е. на знаменитый мощный стиль шотландского историка Томаса Карлиля (1795–1881).

Гарлем – в то время этот район Нью-Йорка не считался «черным»; из-за умеренных цен на жилье там жила в основном молодежь.

Герби Спенсер – английский эволюционист и философ Герберт Спенсер (1820–1903).

«*Дневник*» *Пипса* – английский чиновник морского ведомства Сэмюэл Пипс (1633–1703) вел дневник о повседневной жизни в современном ему Лондоне. В 1825 году опубликована расшифровка этого документа; книга снискала шумный успех.

Mens sano in corpore sano (лат.) – «В здоровом теле здоровый дух», крылатая цитата из «Сатир» римского поэта Ювенала (ок. 60—127).

Четвертая теорема Евклида – во всех тринадцати книгах «Начал» древнегреческого ученого Евклида есть четвертая теорема; это объяснение – шутка.

…*quod erat demonstrandum* (лат.) – «что и требовалось доказать».

Сэр Исаак Ньютон – речь идет, конечно же, о законе всемирного тяготения.

«*Ипподром*» – большая арена на Манхэттене, находилась на перекрестке Шестой авеню и Сорок третьей улицы. Оборудование этой арены позволяло ставить любые масштабные шоу – от бейсбольных матчей и автогонок до цирковых ревю с настоящим бассейном и слонами.

Хрустальная чаша

(The Cut-Glass Bowl)

Рассказ написан в октябре 1919 г. и опубликован в журнале «Скрибнере Мэгэзин» в мае 1920 г.

Бэк-Бей – фешенебельный жилой квартал в Бостоне, штат Массачусетс.

…*в уютном моррисовском кресле*… – в кресле с откидывающейся спинкой и снимающимися подушками; эта модель разработана известным дизайнером мебели Уильямом Моррисом (1834–1896).

…*платье* «*а-ля Последняя империя*»… – платье с высокой талией и глубоким декольте; этот фасон появился в начале XIX в. во Франции и был введен в моду императрицей Жозефиной; в данном случае имеется в виду, что платье на мисс Эйхерн совершенно не соответствует случаю.

…*женщины вышли из-за стола*… – по традиции того времени по окончании ужина женщины уходили, а мужчины оставались за столом, курили сигары и пили коньяк или портвейн.

Бернис коротко стрижется

(Bernice Bobs Her Hair)

Рассказ написан в январе 1920 г. и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 1 мая 1920 г.

Основой рассказа стала написанная 19-летним Фицджеральдом для своей младшей сестры Анабель подробная памятка с советами о том,

как стать популярной среди парней. Большое количество наблюдений из этого сохранившегося документа перекочевало прямо в рассказ.

Фицджеральд испытывал некоторые затруднения, доводя рассказ до формы, в которой его желали бы видеть потенциальные покупатели: ему пришлось вырезать около трех тысяч слов и переделать текст так, чтобы в конце была неожиданная развязка.

При перепечатке рассказа в британском журнале «20 рассказов» в мае 1921 года редакторами было изменено очень большое количество деталей (действие британской версии происходит в Лондоне, героиня приезжает из Ноттингема; американский сленг заменен на английский); главное отличие британской версии состоит в том, что редакторы переписали концовку, заставив героиню завоевать любовь Уоррена. Эта подслащенная версия создана без участия Фицджеральда.

Кедди – при игре в гольф игрок не носит клюшки самостоятельно, а также не ищет потерявшиеся мячи; в гольф-клубах эти обязанности обычно выполняют подростки.

«*Щкола Хилла*» – крупная подготовительная школа для мальчиков, основанная в 1851 году в Поттстауне, штат Пенсильвания.

…Принстона, Йеля, Уильямса и Корнелла… – названия престижных американских университетов.

«*Башмак и лодочка*» – ежегодный бал в Йельском университете (этот бал также упоминается в рассказе «Первое мая».

Хайрем Джонсон или Тай Кобб – Джонсон (1866–1945), губернатор штата Калифорния, претендент на должность президента США; Тай Кобб (1886–1961) – легенда бейсбола.

…творений Энни Феллоуз Джонстон… – имеются в виду душещипательный роман «Маленький командир» (1895) и его многочисленные продолжения; в России более известна голливудская экранизация «Маленький полковник» (таков дословный перевод названия романа), в которой главную роль сыграла голливудская актриса Ширли Темпл. Об этой героине Джонстон (1863–1931) написала целую серию из тринадцати романов; два из них включены в списки для чтения Эмори Блейна, героя первого романа Фицджеральда «По эту сторону рая».

…ей самое место в Аризоне… – сухой климат Аризоны в то время считался целебным для больных чахоткой (туберкулезом).

…*не цитируй мне* «*Маленьких женщин*»… – речь идет о романе Луизы Мэй Олкотт (1832–1888); в нем сентиментально описывается жизнь четырех сестер добропорядочного семейства Марч; книга издана в двух частях в 1868–1869 гг.

…*разговаривать о большевиках*… – в оригинале «о России»; речь идет о большевистской революции 1917 г.

…*самый важный левый фланг*… – согласно тогдашним правилам этикета, кавалером дамы за столом считался сидевший слева от нее джентльмен; подразумевалось, что беседа за обедом или ужином должна вестись преимущественно с ним.

…*выудила из Оскара Уайльда*… – цитируется часть реплики лорда Иллингворта из III акта пьесы Уайльда «Женщина, не стоящая внимания» (1893).

Гринвич-Виллидж – в то время этот район Нью-Йорка считался пристанищем богемы.

Благословение

(Benediction)

Рассказ создан в октябре 1919 г. и опубликован в журнале «Смарт Сет» в феврале 1920 г.

Текст был написан на основе раннего произведения 1915 г., называвшегося «Испытание» (см. выше) и опубликованного в студенческом журнале «Насау Литерари Мэгэзин» в июне 1915 г.

Пристальный интерес Фицджеральда к обрядам Католической церкви был вызван его дружбой с преподобным Сайрилом Сигурни Уэбстером Фэем, который послужил прототипом монсеньора Дарси в романе «По эту сторону рая».

Викторианская архитектура с пристройками в стиле Эдуарда VII – массивные, богато украшенные здания времен правления королевы Виктории (1838–1901) с более поздними легкими пристройками времен Эдуарда VII (1901–1910).

…*«вудровильсоновскую»*… – Вудро Вильсон был президентом СИТА с 1913 по 1921 г.

…*толстые тома Фомы Аквинского, Генри Джеймса, кардинала Мерсье, Эммануила Канта*… – включение в этот список философов и

теологов американского писателя Генри Джеймса, возможно, было шуткой, хотя старший брат писателя, Уильям Джеймс (1842–1910), действительно был философом-прагматиком; кардинал Мерсье – бельгийский философ-неотомист Дезире-Джозеф Мерсье (1851–1926).

Трезвомыслящим солдатом… – речь идет об основателе ордена иезуитов св. Игнатии де Лойоле (1491–1556).

Фармингтон – престижная школа-пансион для девочек в штате Коннектикут («Школа мисс Портер»).

Пульмановский вагон – см. примечание к рассказу «Комната за зелеными ставнями».

Матчиш – популярный в конце XIX – начале XX в. бразильский танец, напоминающий танго; самыми известными его исполнителями были Вернон Кастл и Ирен Кастл.

…ее заворожила сияющая дароносица… – далее в тексте описывается католическая служба Адорация (поклонение Святым Дарам, освященным в ходе евхаристии); дароносица – сосуд для выставления Святых Даров, другое название – монстрация; «центральное белое пятно», находящееся в дароносице, Тело Христово. Адорация завершается благословением, когда священник благословляет коленопреклоненных верующих дароносицей.

O Salutaris Hostia – первые слова гимна, сложенного св. Фомой Аквинским и исполняемого в начале Адорации.

Пьета – изображение плача Богоматери над телом Христа.

Дэлиримпл на ложном пути

(Dalyrimple Goes Wrong)

Рассказ написан в сентябре 1919 г. и опубликован в журнале «Смарт Сет» в февральском номере 1920 г.

«*Записные книжки*» *Самуэля Батлера* – эта книга впервые опубликована в 1912 году; Скотт Фицджеральд ее обожал, называя ее «величайшим человеческим документом».

…генералу Першингу и сержанту Йорку… – речь идет о героях Первой мировой войны, главнокомандующем американскими войсками в Европе и герое одной из битв, чей подвиг широко использовался в пропаганде тех лет.

…стихи Роберта Сервиса… – здесь имеется в виду знаменитое стихотворение «Выстрел Мак-Грю», также упоминаемое в рассказе «Ледяной дворец»; Сервис прославился как «северный Киплинг».

«*Луна зашла – а я часов не слышал*!» – цитата из Шекспира: «Макбет» (II, 1, 2); в следующей сцене убивают короля.

Удары судьбы

(The Four Fists)

Рассказ написан в мае 1919 г. и опубликован в журнале «Скрибнере Мэгэзин» в июне 1920 г.

Частной школе Филипса – подготовительная школа-пансион для мальчиков в штате Массачусетс.

Тандем – двухместная коляска, в которую «цепочкой» запрягали двух лошадей.

Хай-болл – коктейль из виски с содовой.

…в Адирон… – Сэмюэль хочет упомянуть горы Адирондак к северо-востоку от Нью-Йорка; это популярное место для отдыха «на природе».

Сан-Фелипе – город, обычно ассоциирующийся у американцев с духом борьбы за Техас; встреча Сэмюэля и Макинтайра происходит именно здесь, подчеркивая содержание следующей сцены.

Майра и его семья

(Myra Meets His Family)

Рассказ опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 20 марта 1920 г.; был написан в декабре 1919 г. В свой первый сборник Фицджеральд этот рассказ не включил; он рассматривал его как неудачный, и в «Гроссбухе» писателя рассказ был помечен как «ободранный и забытый навсегда». Высылая текст своему литературному агенту Г. Оберу, Фицджеральд написал: «Боюсь, что текст – так себе; если вам тоже так покажется, можете мне его вернуть. Может быть, вы сможете мне подсказать, что с ним не так, и тогда я его доработаю». Тем не менее рассказ был принят к публикации, а в

1920 г. киностудия «Фокс» приобрела на него права и в том же году выпустила кинофильм «Ищу мужа» с Эйлин Перси в главной роли (лента не сохранилась).

Отель «*Билтмор*» – отель в Нью-Йорке, на перекрестке улиц Мэдисон и 43-й; служил популярным местом встреч.

Клуб «*Де-Винч*» – клуб в Нью-Йорке на перекрестке Восточной Сорок второй улицы и Пятьдесят восьмой улицы; считался респектабельным заведением, куда ходили танцевать молодые светские дамы.

«*Красную гостиную*» *отеля* «*Плаза*» – зал нью-йоркского отеля «Плаза», использовавшийся в качестве классического ресторанного зала с музыкой.

…*школе* «*Дерби*»… – речь, скорее всего, идет об основанной в 1840 г. школе в городе Дерби, штат Вермонт; в этой школе совместно обучались юноши и девушки.

…*женском колледже Смита*… – женское образовательное учреждение, основанное в 1871 г. в Нортгемптоне, штат Массачусетс; один из престижнейших американских колледжей тех времен.

Келли-Филд – тренировочный лагерь для офицеров авиации армии США, открыт в 1917 г. Находился рядом с Сан-Антонио, штат Техас.

«*Полночные шалости*» – см. комментарий к рассказу «Голова и плечи».

«*Коконат Гроув*» – дорогой открытый ресторан на крыше здания театра «Сенчери», открыт в 1917 г.; прославился блестящими развлекательными программами.

«*Пале-Рояль*» – см. комментарий к рассказу «Голова и плечи».

…*чистый Гувер*… – шофер намекает на скупость хозяина; Герберт Гувер (1874–1974), избранный в 1928 г. президентом США, во времена Первой мировой войны занимал пост руководителя Комитета по продовольствию, проводившего политику экономии – в частности, призывая рестораны и хозяек периодически устраивать «дни без мяса» или «дни без круп».

...*ист-сайдским ворчанием*… – т. е. в типичной манере манхэттенского Ист-Сайда, где проживали иммигранты из рабочего класса.

Эл Джонсон (1886–1950) – американский артист, добившийся успеха на Бродвее; он часто заканчивал свои выступления в характерной позе – на одном или на обоих коленях, простирая руки к публике.

Гейнсборо – Томас Гейнсборо (1727–1788), английский живописец; сразу на нескольких знаменитых портретах его кисти дамы носят широкополые соломенные шляпы, украшенные розами или перьями.

…*Первой пресвитерианской церкви*… – Пресвитерианская церковь – основанное в XVII в. христианское учение протестантского толка; в обрядах этой кальвинистской церкви особое значение придается групповому пению псалмов.

…*экспресса* «*Бродвей Лимитед*»… – роскошный железнодорожный экспресс начала XX в., курсировавший ежедневно по маршруту Чикаго – Филадельфия – Нью-Йорк (длина маршрута составляет около 900 миль); отходил ежедневно от Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке в три часа дня.

…*мраморному своду*… – здесь идет речь о зале ожидания старого здания Пенсильванского вокзала, стены которого были украшены росписью.

Сказки века джаза

После завершения в конце 1921 г. романа «Прекрасные и проклятые» Скотт Фицджеральд приступил к работе над традиционным сборником рассказов. Поскольку написание второго романа заняло у Фицджеральда практически два года (к тому же в октябре 1921 г. в семье Фицджеральдов родилась дочь), на работу для журналов времени практически не было, и выбор новых рассказов для сборника оказался достаточно невелик. Поэтому в новый сборник предполагалось включить лучшие новые рассказы и несколько вещей, написанных гораздо раньше, во время учебы в Принстонском университете.

В конце января 1922 г. Фицджеральд отправил редактору М. Перкинсу письмо с предложением первого варианта названия: «Интермедия». Однако этот вариант Перкинс отверг, поскольку счел, что он подразумевает «нечто вторичное и незначительное». В феврале Фицджеральд отправил письмо с новым заглавием: «Короткометражка», и эта идея Перкинсу понравилась больше, –

название показалось ему «отражающим значение этих рассказов по отношению к романам». В письме содержался и первый вариант состава сборника, в котором рассказы были поделены на несколько групп. Фицджеральд понимал, что в таком сборнике будет хорошо видна непоследовательность (позже он писал: «Не думаю, что за всю историю книгопечатания кто-либо еще пытался втиснуть в одну книгу такое разнообразное содержимое – эти одиннадцать вещей, две пьесы + пародию»), поэтому Фицджеральд решил объединить все в единое целое при помощи новаторского содержания с автокомментарием, которое само по себе являлось еще одним произведением.

В начале апреля 1922 г. Фицджеральд изменил название сборника на «Сказки века джаза». Предложенное Фицджеральдом название сборника вызвало возражение со стороны коммерческого подразделения издательства «Скрибнере», поскольку на тот момент слово «джаз» и все, что с ним было связано, вызывали в американском обществе неоднозначную реакцию. Но Фицджеральд настоял на том, что именно это название – самое подходящее для его сборника: книгу «будет покупать *моя собственная публика*, состоящая из бесконечного множества эмансипе и студентов, для которых я – что-то вроде оракула. Лучше уж пусть будет это название и все, что с ним связано, чем название, намекающее на то, чего никогда не будет. Движение эмансипе вызвало столь глубокий всплеск, что круги расходятся до сих пор» (письмо М. Перкинсу от 11.05.1922).

В окончательный состав сборника не вошел рассказ «Цент на двоих» (о нем см. далее).

В сборник вошли две одноактные пьесы Фицджеральда; конечно, эти произведения не рассматривались автором как драматические и не предназначались для постановки.

Включение этих вещей обращает на себя особое внимание, потому что к драматической форме Фицджеральд тяготел всю жизнь, – чуть ли не первыми его произведениями были именно пьесы, которые он писал, учась в школе Ньюмана. Школьные каникулы он проводил дома, в городе Сент-Пол, где работал детский драматический кружок. Скотт Фицджеральд был не только автором четырех пьес, поставленных в этом кружке, но и одним из актеров. В период учебы в Принстонском университете Фицджеральд входил в студенческий драматический клуб «Треугольник», который ежегодно ставил мюзикл.

Все роли в нем, в том числе и женские, играли студенты (женщины в то время не учились в университетах), и лишь академическая неуспеваемость помешала Фицджеральду сыграть «прелестную дебютантку» в одной из постановок, – в газетах даже заранее была опубликована фотография будущего писателя в сценическом костюме, и хотя на сцене он так и не появился, он (как он сам утверждал) получил от незнакомых обожателей несколько писем с предложением руки и сердца. Несмотря на неуспеваемость по точным наукам, Фицджеральд стал автором стихов к песням из трех имевших большой успех мюзиклов «Треугольника» сезонов 1914, 1915 и 1916 гг.

Увы, все эксперименты Фицджеральда с драматической формой, продолжавшиеся фактически до конца жизни (в Голливуде Фицджеральд работал в том числе и над идеей мюзикла по рассказам о Бэзиле Дьюке Ли, были у него и другие планы подобного рода), окончились неудачами. Его талант не был талантом драматурга – кроме того, жизненные обстоятельства в этом отношении тоже складывались неудачно.

Включение пьес в состав сборника, возможно, обусловлено тем, что именно в период работы над «Сказками века джаза» Фицджеральд одновременно работал и над первым вариантом своей единственной полноценной пьесы «Размазня», которая, как он надеялся, принесет ему состояние (чего не произошло, так как пьеса провалилась).

В июне – начале июля 1922 г. откорректированные рукописи рассказов и пьес были отправлены в издательство; книга вышла 22 сентября 1922 г. В октябре 1922 г. было напечатано еще два дополнительных тиража сборника. В марте 1923 г. книга также была издана в Великобритании.

В сборник вошло сразу два признанных шедевра Фицджеральда: «Первое мая» и «Огромный, как „Ритц“, алмаз».

Содержание

(A Table of Contents)

«Содержание» написано Фицджеральдом в марте 1922 г. специально для этой книги. Его тон, подчеркивающий легкость, с которой пишет Фицджеральд, конечно же, не больше чем поза,

которую он часто демонстрировал в начале карьеры. Известно, что Фицджеральд буквально оттачивал каждое слово, переписывая и редактируя материал, – об этом красноречиво рассказывают рукописи писателя.

Сохранился набранный в демонстрационном макете сборника первый вариант «Содержания», немного отличающийся от окончательного названиями разделов.

Лоботряс

(The Jelly-Bean)

Рассказ написан в мае 1920 г. и опубликован в журнале «Метрополитен Мэгэзин» в октябре 1920 г.

Это продолжение рассказа «Ледяной дворец»; после того как журнал «Сатердей Ивнинг Пост» (в котором был опубликован «Ледяной дворец») отказался опубликовать эту вещь из-за того, что конец рассказа отнюдь не «счастливый», Фицджеральд изменил имена персонажей и продал рассказ в другой журнал, но не стал менять концовку рассказа. При включении рассказа в книгу персонажам были возвращены их исходные имена.

При подготовке текста для сборника Фицджеральд исключил из исходного журнального варианта следующие пояснения:

О дружбе Джима и Кларка (в журнальной версии Кларка звали Питером); после предложения «*Несмотря ни на что, Кларк и Джим сохранили дружеские чувства, пусть и не такие горячие, как раньше, но тем не менее совершенно очевидные*» следовало:

«Джим определенно гордился тем, что знаком с Питером, а у Питера, с его стороны, было такое чувство, что если что, то Джим всегда поможет в драке. Для Джима Питер был словно рука, тянувшая вверх. А для Питера Джим был словно надежная опора, чтобы не отрываться от земли».

Характеристика мистера Тейлора, противника Нэнси; после «*Джим обернулся и заметил остановившегося в дверном проеме человека неопределенного возраста*» следовало:

«Он сразу почувствовал, что этот человек был женат, играл в покер ровно до тех пор, пока не начинал проигрывать, и танцевал лишь

потому, что любил рассказывать грязные анекдоты молоденьким девушкам».

Характеристика Меррита, кавалера Нэнси; после «*Ведь у девушки с таким социальным положением и в таком возрасте едва ли могло быть два банковских счета*» следовало:

«А что такое с Мерритом? Джим видел, что он собирается что-то сказать, но тут откуда ни возьмись появилась еще одна бутылка, и Меррит полностью переключился на выпивку».

Линия Диксона-Мэйсона – условная граница между Пенсильванией и Мэрилендом, проведенная в 1768 г., отделяющая американский Юг (рабовладельческие штаты) от американского Севера (свободные штаты).

«*Домой, в Теннесси*!» – песня, ставшая популярной в 1915 г., музыка Уолтера Дональдсона, слова Уильяма Джерома.

…*приобрел воротничок*… – в то время рубашки шили с отстегивающимися воротничками; таким образом рубашку можно было носить несколько дней, а воротнички – менять ежедневно. Наряду с воротничками, которые можно было стирать, производились и одноразовые воротнички из целлулоида, носить которые в обществе было не принято.

Органди – ткань, кисея жесткой отделки.

Леди Диана Мэннерс – знаменитая английская красавица; настоящее имя Диана Купер (1893–1986). С 1918 по 1923 г. снималась в главных ролях в британских немых фильмах. Славилась остроумием и экстравагантным поведением; послужила прототипом для персонажей в романах Ивлина Во и Арнольда Беннета. В английском издании «Сказок века джаза» Фицджеральд по просьбе издателя, опасавшегося правовых осложнений, изменил ее имя, назвав ее Синтией Манли.

«*Дитя джаза*» – песня, написанная в 1919 г. (музыка М. К. Джерома, слова Б. Меррила).

«*На пассажирском через Арканзас*» – юмористический сборник анекдотов о железной дороге и разного рода шуток Томаса У. Джексона (а не британского юмориста Миллера), изданный в 1903 г.

«*Люсиль*» – «Люсиль, или История сердца» – сентиментальная трехактная драма Уильяма Б. Бернарда (1807–1875), изданная в 1836 г.

«*Глаза Вселенной*» *Гарольда Белла Райта* – популярный сентиментальный роман, изданный в 1914 г.

Половина верблюда

(The Camel's Back)

Рассказ написан в январе 1920 г. и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» 24 апреля 1920 г.; рассказ также включен в сборник: «O.Henry memorial award prize stories of 1920» (Garden City, N.Y. Doubleday, Page & Company, 1921).

Сюжет этого рассказа был приобретен киностудией «Уорнер Бразерс» и использован для вышедшего в 1924 г. немого фильма «Кондуктор 1492» (в главной роли – актер Джонни Хайндс). В сценарий фильма вошла лишь сцена на балу, где герой появляется в костюме верблюда; остальные эпизоды фильма с сюжетом рассказа не связаны. Для включения в книгу текст был значительно переработан, но изменения коснулись лишь стиля и мелких деталей.

«*Братья Бейкер, город Нью-Йорк*» – вымышленное название, намекающее на известную фирму «Братья Брукс».

«*Некий Пер Ламп, соблазнитель известный*» – это стихотворение представляет собой слегка видоизмененный текст самого Фицджеральда, который он написал в 1916 г. к одной из песен студенческого мюзикла «Безопасность прежде всего!».

Воротничок «*а-ля Бастер Браун*» – широкий воротничок, который впервые появился в 1902 г. на персонаже комиксов Бастере Брауне (автор этого комикса – художник Ричард Фелтон Аутколт).

…одной из новых наций, возникших сразу после окончания мировой войны… – по окончании Первой мировой войны на карте Европы появилось сразу несколько новых государств, например Югославия.

…Юлия Бура, колесничего… – здесь Перри смешал имена римского императора Юлия Цезаря и Бен-Гура, героя популярного романа Лью Уоллеса.

Кисмет – понятие, означающее в исламской традиции рок, предопределение, судьбу; Фицджеральд использовал это арабское

слово для создания восточного колорита.

Котильон – бальный танец, объединявший несколько самостоятельных танцев (польку, вальс); ведущая пара, кавалер которой назывался «кондуктор», громко называла оркестру фигуры и обеспечивала согласованность движения остальных пар.

Первое мая

(May Day)

Рассказ написан в марте 1920 г. и опубликован в журнале «Смарт Сет» в июле 1920 г.

Оригинальное название рассказа представляет собой игру слов: оно означает как международный сигнал бедствия (буквосочетание «mayday»), так и конкретную дату – первое мая 1919 г. (День международной солидарности трудящихся), отмечаемый повсюду в мире сторонниками радикальных коммунистических движений; именно в этот день в Нью-Йорке антикоммунистически настроенные солдаты и матросы разгромили редакцию социалистической газеты «The Call» («Призыв»), находившуюся в доме 112 по Четвертой авеню. Один из работников газеты выпрыгнул из окна с высоты около восьми метров над мостовой; одиннадцать сотрудников газеты были ранены.

Для включения в книгу текст журнальной версии был переработан. Кроме стилистической правки из первой сцены встречи Гордона и Филиппа были убраны отдельные фразы Гордона, объяснявшие причину последующей катастрофы пьянством.

Например, после фразы «я *терпеть не могу быть бедным*» в первой версии было следующее исключенное предложение:

«Я выпивал несколько коктейлей, и тогда все мои трудности обретали ореол благородной борьбы».

После «*Легко представить, чем я там у этих экспортеров занимался*» шло:

«Иногда я приходил на работу бледный как смерть, потому что не спал всю ночь.

После замечания Фила, что «*это не значит, что я могу себе позволить ею злоупотреблять*», был исключен ответ Гордона:

«Гордон горько рассмеялся.

– Не знаю, – сказал он. – Может, ты и прав. Но у меня такое ощущение, что все как-то складывается против меня. Я ведь вовсе не хотел все время пить, но мне было так чертовски одиноко, что я и сам не заметил, как стал все время думать – а, была не была, пусть хотя бы этот вечер пройдет в радости».

Вместо предложения «*Ты словно банкрот – и в моральном плане, и в финансовом*» в первой версии Фил произносил: «Вокруг тебя витает какая-то аура… Аура слабости», а Гордон на это отвечал: «Да, я знаю».

В первой версии после слов «*любой бы засомневался*» ближе к концу разговора Фил произносил окончательное: «Пусть меня повесят, если я помогу тебе стать пьющим бездельником». Безусловно, эта фраза была убрана для сохранения неопределенности в вопросе получения денег, поскольку это имеет значение для композиции рассказа в целом.

Также для создания неопределенности был убран параграф о ближайших планах Гордона, касавшихся Эдит и Джевел (в первой версии ее звали Глория). До слов «*Они вышли из магазина в половине шестого…*» было следующее пояснение:

«Да, если ему удастся раздобыть деньги, он сможет купить все необходимое, чтобы пойти на бал и поговорить с ней. Ведь именно это и было его самой насущной потребностью, подумал он: добрая женщина. Но сначала надо заплатить за чистку фрака, надо купить сорочку и новые туфли, выкупить в ломбарде запонки – а прежде всего надо уладить дела с Глорией».

Фицджеральд изменил и конец рассказа, прямо рассказав о самоубийстве героя; первоначальная версия содержала лишь намек; на месте последнего абзаца в журнале был следующий эпизод:

* * *

«В небольшую подсобку магазина „Спортивных товаров и принадлежностей Дж. С. Фоулера“, в которой обычно считали выручку, вошел дежурный приказчик рыболовного отдела и, подойдя к самому Дж. С. Фоулеру, негромко к нему обратился:

– Там только что паренек купил пистолет – а теперь еще хочет взять патроны сорок четвертого калибра?

Дж. С. Фоулер был чем-то занят.

– Ну и что? – ответил он. – Продавайте! Видит бог, дела и так идут не очень!»

«*Дельмонико*» – элегантный ресторан и отель на перекрестке Пятой авеню и Сорок четвертой улицы.

Йельский клуб – частный клуб для выпускников Йельского университета, на перекрестке Сорок четвертой улицы и Вандербильд-авеню (см. также рассказ «Богатый парень»).

Магазин «*Риверз Бразерс*» – еще одно придуманное название, намекающее на известную фирму «Братья Брукс»; магазин «Братьев Брукс» располагался на перекрестке Сорок четвертой улицы и Мэдисон-авеню, в одном квартале от Йельского клуба.

Научная школа Щеффилда – один из колледжей в системе Йельского университета; сокращенный трехлетний курс обучения не требовал знания латыни или греческого, то есть требования к студентам этого колледжа были снижены, поэтому студенты эти считались в Йеле «низшей кастой».

…*царство сине-фиолетового*… – речь идет об официальных цветах Йельского университета.

«*И знатную леди, и Джуди ОТрэди без платья нам не различить*» – парафраз стихотворения Р. Киплинга «О женщинах» (1895).

«*Трубный глас Нью-Йорка*» – это придуманное название намекает на американскую социалистическую газету «Призыв» («The Call»).

А где вы храните бомбы? – в газетах той поры слово «социалист» было синонимом слова «террорист».

Бошелюбы – в начале XX в. немцев иногда собирательно называли «боши», – это прозвище имеет уничижительный оттенок, впервые оно появилось во Франции и произошло от французского слова «негодяй».

Максфильд Пэрриш (1870–1966) – очень популярный в начале XX в. американский художник; отличительной чертой его стиля был

фирменный оттенок синего цвета, который так и назывался – «пэрришевский синий».

«*Коммодор*» – отель находится на Сорок второй улице, рядом с вокзалом «Гранд сентрал стейшн».

Фаянсовый и розовый

(Porcelain and Pink)

Эта сценка написана в октябре 1919 г. и опубликована в журнале «Смарт Сет» в январе 1920 г. В журнальной публикации имелся подзаголовок: «Одноактная пьеса».

Кроме того, в журнале были совершенно другие версии песенок Жюли, с которых начинается действие (по *журнальной публикации, вместо текста песни*):

Затем я стану… Дум-ди-дум, ди-дум…
Честна, как звезды в небесах…
А буду ли жалеть? Там-там… навеки.
Вот такумрет любви мое-е-ей мечта!

(Ей явно нравится последняя строчка, и она ее повторяет.)

Вот так умрет любви мое-е-ей мечта!

(Следует неразборчивое мычание, которое сменяется новым приступом вдохновения.)

Ах, учись крутиться!
А то тебя забудут,
И никогда никто не поцелует!
Ведь ты ужасный бука,
С тобой помрешь со скуки,
Когда вокруг все будут шимми танцевать.

Ах, учись кружиться!
Трясись – твоя прическа
Рассыплется, как и у всех девчонок здесь!
Дрожи, как негр в Париже!
Представь как можно ближе,
Что ты – желе, а все вокруг танцуют шимми!

Не скупись (*уже поздно*!)
Раз – на ногу (*трясись*!)
И что-нибудь получится само собой!
Подмигивай, старайся, мой неуклюжий увалень!

Именно этот текст упоминается в рассказе «Голова и плечи» в качестве песенки Марсии. Тексты придуманы самим Фицджеральдом в качестве пародии на популярные песенки 1920-х годов.

Пасхальный кролик – в католической традиции на Пасху подарки детям приносит Пасхальный кролик (или Пасхальный заяц).

Нервий – переводчик признает, что такого имени в Древнем Риме не было, и более того, Скотт Фицджеральд его также не придумывал; в оригинале упоминаются *нервии* – реально существовавшее варварское племя, – увы, в размер стихотворения целое племя втиснуть не удалось, и пришлось ограничиться его единственным представителем, поскольку в данном случае важно было сохранить абсурдно-римский дух текста, но не буквальное выражение.

«*Когда встречаются они…*» – этот текст в оригинале составлен из рекламных персонажей и фраз 1920-х гг. «Вагон трассы Санта-Фе» – в рекламе этой железнодорожной трассы рассказывалось, что на трассе используются двигатели, не выделяющие дыма; «воротничок Арроу» – в рекламе этих воротничков использовался знаменитый персонаж «Арроу-мен», созданный художником Д. С. Лейендекером (см. далее в комментарии к «Последней южной красавице»); «Пебеко» – зубная паста, обеспечивавшая сногсшибательную улыбку; «Люсиль» – марка одежды, гарантировавшая дамам легкость и свободу движения.

«*Евангелина*», «*Скелет в доспехах*» – соответственно поэма и стихотворение Генри Уодсворта Лонгфелло (1807–1882).

Вальтер Скотт (1771–1832) – английский романист; исторический роман «Айвенго» действительно написал именно он.

«*Последний из могикан*» – роман американского писателя Д. Ф. Купера (1789–1851).

О. Генри – американский писатель Уильям Сидни Портер (1862–1910), писавший под псевдонимом О. Генри, действительно написал первые популярные рассказы для журналов в тюрьме; в тюрьме была написана и «Баллада Редингской тюрьмы» (в тексте она названа

«Баллада о Ридин Готе»), однако написал эту балладу не О. Генри, а английский поэт Оскар Уайльд (1854–1900).

…как сказала Гэби Дэслис мистеру Бергсону… – здесь Фицджеральд имеет в виду известный анекдот о том, как танцовщица Айседора Дункан предложила драматургу Бернарду Шоу завести общего ребенка, которому досталось бы ее тело и его ум, на что Шоу ответил: «А если он получит ваш ум и мое тело?»; Гэби Дэслис (псевдоним, настоящее имя Мадлен Каир, ум. в 1920 г.) – французская актриса и танцовщица, знаменитая своей коллекцией бриллиантов; Генри Бергсон (1859–1941) – французский философ, лауреат Нобелевской премии 1927 г. по литературе.

Расскажите мне, упоминаются ли в истории ванны? – это шутка «для своих». Пьеса была впервые опубликована в журнале «Смарт Сет», одним из редакторов которого был юморист Г. Л. Менкен, с которым дружил Фицджеральд. Двадцать восьмого декабря 1917 г. в газете «Нью-Йорк Ивнинг Мейл» Менкен опубликовал статью под названием «Забытая годовщина». В статье известный журналист Менкен авторитетно и с привлечением исторических фактов доказывал, что установил точную дату изобретения ванны. Статья была перепечатана в других изданиях и вызвала широкий резонанс, так что розыгрыш вполне удался. В 1927 г. в своем сборнике «Предрассудки: шестая серия» Менкен опубликовал разоблачение под названием «Гимн Правде».

Наш дед-священник на прошлом журфиксе… – в оригинале шутка основана на игре английских слов «shimmies» (шимми) и «chimes» (бой курантов).

Беласко – Дэвид Беласко (1853–1931), театральный импресарио, знаменитый реалистичными декорациями в постановках.

Огромный, как «Ритц», алмаз

(The Diamond As Big As the Ritz)

Рассказ написан в октябре 1921 г. и опубликован в журнале «Смарт Сет» в июне 1922 г.

Название первой – утраченной – версии рассказа было «Алмаз в небесах»; эта версия была значительно длиннее окончательной. Но

даже после того, как Фицджеральд сократил рассказ на четверть, текст был отвергнут «Сатердей Ивнинг Пост» и другими популярными журналами. В результате гонорар за рассказ составил всего 300 долларов вместо 1500, которые обычно платил «Пост» за длинный рассказ. Фицджеральд был разочарован такой реакцией редакторов на рассказ, который он писал «целых три недели, и с огромным энтузиазмом».

Удивительный образ «алмазной горы» превратился в одну из икон американской культуры. Сюжет рассказа послужил даже основой одного из комиксов о Микки Маусе: в номере 47 журнала «Микки Маус Уолта Диснея» (1956 г.) опубликован комикс «Тайна Алмазной горы» художника Пола Мьюрри; комикс следует приключенческой составляющей сюжета и не включает выводов и обобщений Фицджеральда.

Ритц – отели «Ритц-Карлтон» есть во многих городах США; в Нью-Йорке такой отель располагался на Манхэттене, на перекрестке Сорок шестой улицы и Мэдисон-авеню.

Аид – в оригинале употреблено менее известное название мифологического «царства мертвых» – Гадес.

Щколы Новой Англии – в США считается престижным получать образование на востоке страны, в штатах, расположенных на территории бывших английских колоний; именно отсюда началось заселение Америки, и бывшая Новая Англия по праву считается колыбелью американской культуры.

…подготовительной школе имени Святого Мидаса… – здесь имеется в виду престижная школа для детей богатых родителей; святого Мидаса придумал Фицджеральд, взяв имя героя одного из греческих мифов, который попросил у богов наделить его даром превращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся; эта придуманная школа также упоминается в рассказе «Странная история Бенджамина Баттона».

…наш очаг будет гореть всегда… – строчка из популярной в годы Первой мировой войны патриотической песни.

Начертанный над вратами старомодный викторианский девиз – имеется в виду надпись на вратах Ада в «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду, в сяк сюда входящий».

…авто «роллс-пирс» – комбинация названий марок роскошных автомобилей «роллс-ройс» (Великобритания) и «пирс-эрроу» (США).

Монтана – девиз этого штата США: «Ого Y Plata» («Золото и серебро»). Прозвище «штат сокровищ» было дано ему за большое количество полезных ископаемых.

…он произнес несколько слов в переговорную трубку… – в частных лимузинах между передними и задними сиденьями обычно имеется перегородка, поэтому для переговоров с сидящими впереди слугами Перси использует переговорную трубку.

Титания – королева фей из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Гаргантюа – великан, герой книги Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Римская ванна – ванна, сделанная ниже уровня пола, – в нее спускаются по ступенькам.

…но прямой линии от Джорджа Вашингтона… – шутка; у первого президента США Д. Вашингтона не было детей.

Любочка – в оригинале практически не встречающееся имя героини Кисмин образовано от английского «kiss» (поцелуй), что в дальнейшем обыгрывается в тексте, поэтому лучшим вариантом в переводе представляется не транслитерация, а образованное по аналогии русское имя.

…папа слышал, что девушки в пансионе должны ходить парами… – здесь намек на обычай мормонов (мормоны не ходят по одному). В журнальной версии рассказа далее следовал дополнительный текст, удаленный при подготовке рассказа для сборника:

«Он сказал, что не возражал бы, если бы мы ходили колонной, потому что многие хорошие люди – индейцы, ну или те, кому не повезло, – ходили колонной, но никто из его семьи никогда не будет ходить парами!»

…ее представят королю… – женщины из американского высшего общества подтверждают свой социальный статус представлением при английском королевском дворе; в то время Великобританией правил король Георг V (1865–1936).

Эх, кайзера повесим… – слова из песни времен Первой мировой войны.

Инспектор солдатских столовых – во время Первой мировой войны официальные и частные благотворительные организации США развернули много программ помощи и снабжения для армий европейских союзников.

…извлекла из шкатулки на трюмо медный цент… – во времена Фицджеральда можно было устроить короткое замыкание, вложив медную монету в патрон светильника, вкрутив затем туда лампу и включив светильник с монетой внутри.

Прометей Обогащенный – здесь имеется в виду образ греческого героя Прометея в трактовке поэмы П. Б. Шелли «Освобожденный Прометей»; в поэме, перефразируя слова ее переводчика К. Бальмонта, изложено мнение Шелли о неизбежной победе человечества над злом и страданием, не составляющим неизбежной принадлежности мироздания; зло и страдание можно устранить посредством воли. Шелли был одним из любимых поэтов Фицджеральда.

Бог был. создан по образу и подобию человека… – иронично искаженный парафраз книги «Бытие», 1:27.

Странная история Бенджамина Баттона

(The Curious Case of Benjamin Button)

Рассказ написан в феврале 1922 г. и опубликован в еженедельном журнале «Кольере» 27 апреля 1922 г.

Сюжет рассказа Скотт Фицджеральд почерпнул, скорее всего, из прочитанной им в конце 1921 г. биографии Марка Твена, написанной в 1912 г. Альбертом Биджлоу Пейном (10 декабря 1921 г. Фицджеральд писал в письме М. Перкинсу о том, что читал эту книгу).

В 2008 г. этот рассказ экранизирован режиссером Дэвидом Финчером, и на экраны вышел одноименный фильм с Бредом Питтом и Кейт Бланшетт.

Фаэтон – легкий четырехколесный экипаж.

Мафусаил – библейский персонаж, проживший 969 лет («Бытие», 5:27)

Турнюр – подушечка, подкладывавшаяся дамами под платье сзади ниже талии, чтобы фигура казалась более пышной; этот аксессуар был в моде в 1870—1880-х гг.

Вечный Жид – Агасфер, герой апокрифической средневековой легенды, обреченный на вечные скитания за то, что не позволил Христу прислониться к стене своего дома, чтобы отдохнуть по пути на Голгофу.

Джон Уилкс Бут – актер, убийца американского президента А. Линкольна.

Знаменитая битва за Сан-Хуан – произошла на Кубе во время испано-американской войны в 1898 г.; в этой битве отличился будущий американский президент Теодор Рузвельт.

Прошедшие три года – испано-американская война длилась менее года.

Бостон, матчиш, кастл-уолк – популярные танцы конца XIX в.

«*Юные скауты в Бимини-Бэй*» – выдуманное Фицджеральдом название книги.

Общество молодых христиан – в оригинале Фицджеральд поставил аббревиатуру YWCA (Ассоциация молодых христианских женщин) вместо более подходящей по контексту YMCA (Юношеская христианская ассоциация). Рукопись рассказа не сохранилась, и, возможно, это опечатка – но возможно, что и шутка. В годы Первой мировой войны члены общества занимались помощью солдатам армейских частей и носили напоминавшую военную униформу со специальными знаками различия.

Тарквиний из Чипсайда

(Tarquin ofCheapside)

Рассказ написан в феврале 1917 г., переработан в 1920 г. и опубликован в журнале «Смарт Сет» в феврале 1921 г. Первая версия под названием «Тарквиний из Чепсайда» (разница в одной букве) была опубликована в студенческом журнале в 1917 г. (см. ранее). Для включения в книгу Фицджеральд переработал текст версии из «Смарт Сет».

Включение данного рассказа в книгу вызвало возражение редактора М. Перкинса. В августе 1922 г. он отправил Фицджеральду письмо, в котором изложил свое мнение о том, что «многих эта вещь шокирует, но не тем, что здесь описано преступление, а личностью

самого преступника. Преступление само по себе отвратительно, поскольку подразумевает насилие над беспомощным человеком и обычно ассоциируется с неграми. Все это не имело бы значения или имело бы, но крайне малое, если бы рассказ обладал художественным правдоподобием; мне кажется, что этого в нем нет».

Через неделю Фицджеральд ответил следующее:

«Вещь впервые появилась в принстонском журнале „Насау Литерари Мэгэзин“, и Кэтрин Фуллертон Герольд в своей рецензии, опубликованной в „Дейли Принсетониан“, очень ее хвалила, назвав „чудесно написанной“: это была приятная и первая публичная похвала, которую снискали мои писания. Когда Менкен опубликовал ее в „Смарт Сет“, я получил хвалебные письма от поэта Джорджа О’Ниеля и Зои Экинс. У рассказа практически совершенная композиция, и после „Прибрежного пирата“ он нравится мне больше всех моих рассказов.

Если ты настаиваешь, я его уберу, но и я, и Зельда будем считать этот поступок лишенным здравого смысла. Рассказ удостоился даже звездочки в ежегоднике лучших рассказов О’Брайена и упомянут Бланш Коттон Уильямс в предисловии к последнему сборнику в память О. Генри».

Чипсайд – до Великого пожара в Лондоне (1666 г.) – крупнейший торговый квартал в городе.

Лютер – Мартин Лютер (1483–1546), лидер Реформации.

Magnum Folium (*или журнал*) – буквально означает большой том формата «folio» (т. е. самого большого формата, когда типографский лист бумаги включает четыре страницы и складывается вдвое); среди стандартных библиографических терминов это выражение не употребляется; в Лондоне XVI в. журналы не издавались.

Миракли – средневековые спектакли на религиозные сюжеты были распространены с XI по XVI в.

Новый перевод Библии – скорее всего, это анахронизм, так как здесь имеется в виду так называемая «Библия Короля Якова» – перевод Библии на английский язык, изданный в 1611 г., за пять лет до смерти Шекспира.

«*Королева фей*» *Эдмунда Спенсера* – считается одной из величайших аллегорических эпических поэм на английском языке

(издавалась частями в 1590 и 1596 гг.); далее цитируется начало третьей книги поэмы.

«*Поругание Лукреции*» – поэма У. Шекспира, впервые опубликованная в 1594 г.; ее первые строки цитируются в переводе В. Томашевского.

« О, рыжая ведьма !»

(O Russet Witch !)

Рассказ написан в ноябре 1920 г. и опубликован в журнале «Метрополитен Мэгэзин» в феврале 1921 г.

Первая, журнальная, версия имела слегка измененное название «Его рыжая ведьма» и заканчивалась предложением: «Он понял, каким дураком он был всю свою жизнь». Следующие два абзаца, в которых высказана мораль истории, были добавлены Фицджеральдом при подготовке текста для сборника.

В первой версии также содержалась иная характеристика владельца магазина мистера Мунлайта Квилла, пояснявшая слова Каролины в конце рассказа и развенчивавшая «таинственный» образ этого персонажа, из-за чего она и была изменена; первое предложение второй части звучало так:

«Несмотря на то что жена считала мистера Мунлайта Квилла весьма взбалмошным джентльменом, постоянно подверженным то ничем не оправданным приступам щедрости, то безденежья, то подавленности, то восторга, по мнению сотрудников магазина, не отягощенных чрезмерно близким расстоянием наблюдения, это был человек весомый и решительный. Его весомость – оставим в стороне физический аспект этого понятия, сводившийся к ста восемнадцати фунтам, что примерно равно массе какой-нибудь дебютантки, – выражалась в том, что на любую проблему он бросался молниеносно, с чувством ее крайней важности и не жалея сил».

Китайский убо – придуманная Фицджеральдом валюта.

Коль любишь, пальцами схвати… – слова из песни Джорджа Гарта «Бадди» Де Сильвы (1920), основателя известного лейбла «Кэпитол рекорде».

Sacre nom de Dieu – по-французски аналогично «Черт возьми!».

…когда Брайан по прозвищу «Адам-с-Евой» выступал против Уильяма Мак-Кинли… – известный фундаменталист и ярый противник эволюционной теории Дарвина Уильям Дженнинг Браун (1860–1925) проиграл президентские выборы в 1896 г., и президентом США стал республиканец Уильям Мак-Кинли.

Эшбери-Парк – курорт на побережье вблизи Нью-Джерси; имеется в виду, что персонажи отдыхают достаточно скромно, на курорте для среднего класса.

Святого Симона, Святой Хильды и Святых Апостолов – Фицджеральд использует выдуманные названия для фешенебельных соборов в центре Нью-Йорка.

Ландо – легковой автомобиль с открывающимся над задними сиденьями верхом.

Лечебница «Бельвью» – крупная больница в Нью-Йорке с отделениями для душевнобольных и алкоголиков.

«*Преступление Сильвестра Бонара*» – роман Анатоля Франса, опубликованный в 1881 г.

Вышла за него лет тридцать назад… – сбой внутренней хронологии сюжета – маловероятно, что у героини мог быть внук студенческого возраста.

Осадок счастья

(The Lees of Happiness)

Рассказ написан в июле 1920 г. и опубликован в газете «Чикаго Сандей Трибьюн» (раздел «Блу Риббон Фикшн») 12 декабря 1920 г.

Ричард Хардинг Дэвис (1864–1916) – американский журналист и писатель, прославившийся как искатель приключений.

Фрэнк Норрис (1870–1902) – американский писатель, один из родоначальников литературного натурализма.

Щато-Тьерри – у этой французской деревушки американские войска одержали одну из первых побед в Первой мировой войне; об этом успехе шумела американская пресса.

«*Флородора*» – мюзикл начала XX в.; см. комментарий к рассказу «Голова и плечи».

Лилиан Расселл, Стелла Мэйхью, Анна Хельд – красавицы-актрисы; к моменту написания рассказа все они уже закончили свои кинокарьеры и не снимались.

Мятный джулеп – коктейль, ассоциирующийся с американским Югом: высокий стакан, заполненный льдом и резаной мятой, наполняется виски и сахарным сиропом.

Мистер Липкин

(Mister Icky)

Эта сценка написана в ноябре 1919 г. и опубликована в журнале «Смарт Сет» в марте 1920 г.

Имя главного героя («Icky» – англ, «липкий, чрезмерно сентиментальный») этого эксцентричного произведения не является традиционным именем собственным и, очевидно, задумывалось как значащее. Поэтому в русском переводе более целесообразным выглядит отказ от традиционной транслитерации в пользу аналогичного авторскому словообразования от русского корня, т. е. «Липкин» от слова «липкий».

В «Гроссбухе» Фицджеральда отмечено, что эта сценка написана на основе раннего прозаического текста «Так принято» (см. ранее).

Юный сэр Уолтер Рэйли на картине – в 1870 г. английский художник Джон Милле (1829–1896) написал картину, на которой изображен ставший впоследствии известным авантюристом, капером и поэтом мальчик Уолтер Рэйли (1552–1618), завороженно слушающий рассказ старого моряка.

Глория Свенсон (1899–1983) – звезда немого кино.

Итон, Рэгби – английские школы-пансионы для мальчиков.

«*Пауп*» – клуб в Итоне.

«*Полупиво*» – такого клуба в Рэгби нет.

Нерон (37–68) – римский император.

«*…ни к кому со злобой, с милосердием ко всем…*» – из инаугурационной речи, произнесенной в 1865 г. президентом А. Линкольном.

Джон Дринкуотер – английский драматург, написавший в 1918 г. пьесу «Авраам Линкольн».

Готч – спортсмен Френк Готч (1878–1917), первый чемпион мира по вольной борьбе (1904).

Демпси – Джек Демпси (1895–1983) был чемпионом по боксу в тяжелом весе с 1919 до 1926 г.

Конрад – английский писатель Джозеф Конрад (1857–1924) прославился своими приключенческими романами, действие которых происходит на море.

Генри Джеймс, «*Два года на палубе*» – английский романист Генри Джеймс (1843–1916) не писал эту книгу; книгу с таким названием опубликовал в 1840 г. американец Ричард Генри Дана (1815–1882).

«*Робинзон Крузо*», *версия Уолтера Патера* – английский эссеист и искусствовед Уолтер Патер (1834–1894) не писал своей версии романа «Робинзон Крузо».

Комбайны Мак-Кормика – запатентованная в 1834 г. Сайресом МакКормиком (1809–1884) «жатвенная машина» (то есть комбайн) значительно повысила производительность труда на фермах, произведя настоящую аграрную революцию.

Бисмарк – канцлер Отто фон Бисмарк (1815–1898) объединил Германскую империю и был прозван «железным канцлером»; он правил страной до глубокой старости.

«*Ей в колыбели гробовой…*» – цитируется измененное второе четверостишие из стихотворения V («Люси») Вордсворта в переводе С. Маршака.

«*Анаф, Ештемо и Аним…*» – цитата из Ветхого Завета: книга Иисуса Навина, 15:51–52 в синодальном переводе.

«*О, ты прекрасна, возлюбленная моя…*» – цитата из Песни Песней, 4:1 в синодальном переводе.

Десятая симфония Бетховена – шутка; последняя, девятая, симфония была создана Л. в. Бетховеном в 1824 г.

Джемина, девушка с гор

(Jemina, The Mountain Girl)

Этот бурлеск написан в декабре 1916 г. и опубликован в студенческом безгонорарном журнале «Насау Литерари Мэгэзин»;

в январе 1921 г. эта же вещь была опубликована в журнале «Вэнити Фейр».

В «Вэнити Фейр» вместо первого абзаца и заголовка первой главы стояло: «Один из тех самых рассказов о фамильной вражде на Голубом хребте – да простит нас Стивен Ликок», а последняя глава «Одно целое» была исключена редакторами, скорее всего, для того, чтобы разместить весь текст на одной странице журнала. В «Насау Литерари Мэгэзин» подзаголовок был следующий: «Рассказ Джона Флокса-младшего о жизни на Голубом хребте» – и отсутствовали наименования глав. Эти тексты практически не отличаются от подготовленной для сборника версии.

«Джемина» пародирует сразу два произведения: рассказ «Ханна с Холмов, или Владетель Лох-Учертанарогах» канадского юмориста Стивена Ликока (1869–1944) из его сборника 1911 г. «Безумная беллетристика» (другой перевод – «Романы шиворот-навыворот»), представляющего собой сборник пародий, а также роман «Тропинка одинокой сосны» Джона Фокса-младшего, рассказывающий о семейной вражде горных кланов (в России больше известна голливудская экранизация этого произведения).

Цент на двоих

(Two For a Cent)

Рассказ написан в сентябре 1921 г. и опубликован в журнале «Хеарстс Интернейшнл» в мае 1922 г.; также рассказ публиковался в двух сборниках: «Лучшие рассказы 1922 – ежегодник американского рассказа» (Бостон, 1923; под редакцией Эдварда О’Брайена), а также «Рассказы для чтения в школе» (Нью-Йорк, 1925; под редакцией Ральфа Боэса и Барбары Ханн).

Этот рассказ входил в первоначальный состав сборника «Сказки века джаза»; сохранился рекламный муляж книги с первой версией «Содержания», в котором этот рассказ входил в раздел «И так далее» (который был переименован в раздел «Шедевры вне категорий») со следующим комментарием автора:

«Мой третий рассказ о „Городе Лоботрясов“ – о Тарлтоне, что в Джорджии. Второй написанный мною рассказ, в котором полностью

отсутствуют женщины и даже упоминания о них. Он был напечатан в апрельском номере „Метрополитэн“».

Однако в окончательный вариант сборника рассказ не вошел. В написанном агенту Г. Оберу в ноябре 1921 г. письме Фицджеральд писал: «Мне не очень нравится „Цент на двоих“. Это хороший рассказ с концовкой в духе О. Генри, однако он – не „первый сорт“ и не „нравится всем!“, поскольку в нем отсутствует любовная линия. Душа не лежала его писать, так что я знаю: ему не хватает жизни».

…дранка… гонт… – характерные для того времени отделочные материалы: дранка – тонкие дощечки, поверх которых клали штукатурку; гонт – клиновидные дощечки с пазом на конце, использовавшиеся для создания кровли.

…газет, свернутых в рулоны для ускорения доставки… – в американской глубинке перед домами обычно находится лужайка, поэтому разносившие газеты почтальоны обычно сворачивали газеты в рулоны, чтобы их можно было бросить с дороги прямо на крыльцо дома и не тратить время на подъезд непосредственно к дому.

…упакованный в жестянки лед… – во время действия рассказа искусственный лед производился путем заполнения жестяных емкостей дистиллированной водой с последующим охлаждением в соляном растворе; в 1910 г. был запатентован технологический процесс производства искусственного льда из неочищенной воды, позволявший наладить дешевое производство чистого льда, и этот патент приносил большие деньги; в большинство домов представителей среднего класса того времени лед доставляли блоками, – его использовали в тогдашних прообразах холодильников, так называемых ледниках.

Граммофоны – в оригинале упоминается другое, не столь известное название устройства воспроизведения звука – графофон, изобретенный А. Г. Беллом; звуки в графофоне записывались на покрытых воском цилиндрах, а воспроизведение шло через большой рупор.

Дик Уиттингтон – Ричард «Дик» Уиттингтон (ум. 1423), трижды мэр Лондона; по английской легенде, Дик явился в Лондон из родной деревни с намерением преуспеть в жизни; с собой у него был лишь кот, умевший ловить мышей, и по счастливой случайности Дику удалось

очень дорого продать своего кота; с этими деньгами он начал вести дела, разбогател, женился на дочке своего богатого партнера по бизнесу и впоследствии был произведен в рыцарское звание.

Популярная девушка

(The Popular Girl)

Рассказ написан в ноябре 1921 г. и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей Ивнинг Пост» в двух номерах (с продолжением), за 11 и 18 февраля 1922 г.; при жизни Фицджеральда рассказ никогда больше не публиковался. В отправленном литературному агенту Гарольду Оберу 24 января 1922 г. письме Фицджеральд написал: «Ты и сам видишь, что „Популярной девушке“ не хватает жизненной силы моих прежних рассказов, хотя теперь я гораздо лучше освоил технику и технически рассказ выше среднего. Мне кажется, что мне нельзя застаиваться – надо либо двигаться вперед, либо откатываться назад, а в „Популярной девушке“ я просто повторил то, о чем писал и раньше, но вот жизнерадостности, как раньше, мне тут не хватило. И все же я надеюсь, что „Популярную девушку“ купят киношники». Рассказ кинопродюсеров не заинтересовал.

…*самодельного джина*… – действие рассказа происходит во времена американского сухого закона.

…*фабианский*… – прилагательное образовано от имени Квинта Фабия Максия – римского полководца III в. н. э., использовавшего во Второй Пунической войне тактику преследования с уклонением от битв для выматывания противника; слово никак не связано с «фабианским обществом» социалистов.

…*братство* «*Череп и кости*»… – старейшее и самое знаменитое тайное общество студентов Йельского университета; оно было организовано в 1833 г., членами общества могли стать лишь выходцы из американской аристократии; быть избранным в это общество считалось большой честью.

Принц Уэльский – сын короля Великобритании Георга V Эдуард VIII (1894–1972) носил титул принца Уэльского с 1911 до 1936 г.; в двадцатые годы XX в. считался самым желанным холостяком; летом и осенью 1919 г. совершил визит в СИТА и Канаду.

Парк-авеню – идущая с севера на юг магистраль на Манхэттене; на этой улице стоят фешенебельные дома.

«*Фармовер*» – в этом названии вымышленной женской школы Фицджеральд соединил сразу две престижные американские женские школы-пансионы: «Фармингтон» (см. комментарий к рассказу «Благословение») и «Уэстовер».

«*Монмартр*» – клуб на перекрестке Бродвея и Пятидесятой улицы; в этом клубе был лишь танцевальный зал с оркестром, он был открыт в 1916 г.

Гостиница «*Манхэттен*» – эта гостиница, не слишком модная и умеренно дорогая, занимала целый квартал между Сорок второй и Сорок третьей улицами в Нью-Йорке; в 1915 г. гостиница была отремонтирована, однако к моменту действия рассказа (1922 г.) здание гостиницы уже было снесено.

Крест-авеню – хотя Фицджеральд нигде не говорит об этом прямо, по характерным деталям очевидно, что действие рассказа происходит в Сент-Поле. Далее Янси и Скотт едут по главной улице Сент-Пола, Саммит-авеню (в тексте – Крест-авеню), до берега Миссисипи. *Новый собор* – это римско-католический кафедральный собор в Сент-Поле, возводившийся с 1906 по 1915 год; *призраки четырех залитых лунным светом апостолов* – статуи Христа и Двенадцати апостолов находятся над выходящим на Саммит-авеню порталом собора; *массивное кирпичное здание, принадлежавшее Р. Р. Камфорду* – это дом 240, особняк железнодорожного магната Джеймса Дж. Хилла (о нем см. в примечании к рассказу «Ледяной дворец»), построенный в конце 1880-х гг.; *небольшой парк* – это «Сквер Натана Хэйла», треугольный участок земли на перекрестке Саммит-авеню и Портланд-авеню, в двух кварталах к западу от особняка Хилла; описанная Фицджеральдом статуя возведена в 1907 г. в честь этого героя американской Войны за независимость, более всего прославившегося своими последними словами: «Я сожалею лишь о том, что у меня есть всего одна жизнь, чтобы отдать ее за мою страну»; *Храм Христианской Науки*, упоминаемый далее, стоит на северо-восточном углу Гротто-стрит, по фасаду здание украшено колоннами с коринфскими капителями.

Малый Трианон – речь идет об изящном дворце, возведенном в 1768 г. Людовиком XV для фаворитки мадам де Помпадур в

Версальском парке.

Челси Арбутнот – выдуманный персонаж; первым губернатором штата Миннесота был Генри Гастингс Сибли.

«*Плаза*», «*Сиркл*», «*Райндлэндер*» – во время действия рассказа телефонные номера включали префикс телефонной станции; префиксы указывали на географическое местоположение коммутатора – упоминаемые в тексте префиксы соответствовали фешенебельным районам Нью-Йорка.

Такседо – Янси мечтает о Такседо Парк, престижном поселке в сорока милях от Нью-Йорка; большинство жителей этого анклава составляли миллионеры.

Хот-Спрингс – здесь идет речь о Хомстеде, фешенебельном курорте в Хот-Спрингс, в горах Вирджинии; курорт был знаменит своими полями для гольфа и минеральными водами.

Мо Мюррэй (1889–1965) – популярная киноактриса «немого» кино, много снимавшаяся в паре со знаменитым Рудольфом Валентино.

«*Далей*» – комедийный мюзикл Джорджа Кауфмана и Марка Коннели, сезон 1921 г.; в главной роли выступала Линн Фонтейн.

Пенсильванский вокзал – крупный железнодорожный вокзал в Нью-Йорке, выстроенный в 1905–1910 гг.; зал ожидания окружала помпезная колоннада из розового гранита, стилизованная под итальянские термы Каракаллы; этот архитектурный комплекс считался одной из главных достопримечательностей Манхэттена; вокзал был снесен в 1963 г.

«*Манхэттен Трансфер*» – пересадочный железнодорожный узел на берегу Гудзона, со стороны Нью-Джерси; прибывающие в город пересаживались на поезд, шедший под Гудзоном до Пенсильванского вокзала; уезжавшие из города садились на поезда до Джерси-Сити; упомянутая далее «нарядная деревенская платформа» этой станции – разумеется, ироничная шутка Фицджеральда.

«*Чартер-клаб*» – общественная жизнь в Принстоне концентрировалась вокруг студенческих клубов; принадлежность к определенному клубу определяла даже стиль одежды и манеру поведения студентов. «Чартер-клаб» был основан в 1901 г., в 1914 г. для клуба было возведено здание на Проспект-стрит. Во время Первой мировой войны здание было закрыто, поскольку большинство членов клуба служили в армии. Элен не имеет в виду, что она будет жить в

здании клуба, но в клубе будут знать, где ее в студенческом городке можно найти.

«*Плаза*» – один из самых фешенебельных отелей Нью-Йорка, расположен на перекрестке Пятой авеню и Пятьдесят девятой улицы.

Это – журнал

(This is a Magazine)

Эта сатирическая сценка написана в 1920 г. и опубликована в журнале «Вэнити Фейр» в декабре 1920 г.; форма, абсурдность и злободневность содержания тесно связывают этот текст с включенными в книгу «Сказки века джаза» одноактными пьесами; в дальнейшем Скотт Фицджеральд больше никогда не обращался к подобной, характерной для его раннего творчества, форме.

Эдит Уортон (1862–1937) – американская писательница; в 1908 г., после несчастного брака с американским банкиром Уортоном, бежала во Францию, где и прожила всю оставшуюся жизнь; ее самый известный роман «Эпоха невинности» был опубликован как раз в 1920 г.; особое влияние на ее творчество оказал Генри Джеймс.

Весьма джеймсовская – прилагательное образовано от фамилии американского писателя Генри Джеймса (1843–1916), который, как и Эдит Уортон, в 1873 г. переехал жить во Францию и умер на континенте; многие его романы построены на противопоставлении наивности и детскости американцев изощренности и коварству европейцев (например, роман «Дэйзи Миллер»).

Роберт Чамберс (1865–1933) – американский писатель, написавший большое количество довольно слабых, но коммерчески успешных книг; снискавший большой успех сборник рассказов «Король в желтом» (1895) оказал значительное влияние на литературу ужасов.

Рассказ о Пенроде – герой цикла рассказов английского писателя Бута Таркингтона (1869–1946), одиннадцатилетний мальчишка, живущий на Среднем Западе; действие рассказов происходит в период до начала Первой мировой войны, рассказы отчасти напоминают «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. В студенческие годы Фицджеральд опубликовал рецензию на одну из книг о Пенроде.

Портеровских дам – прилагательное образовано от фамилии писательницы Э. Портер, автора серии романов о Поллианне – о ней см. в комментарии к рассказу «Прибрежный пират».

Бэзила Кинга – речь идет о канадском священнике (1859–1928), бросившем служение и ставшим популярным писателем.

…*типографской сеткой Бен-Дей* (или, иначе, метод Бендей) – речь идет о методе печати изображения в виде точек и штрихов, дающих полутоновый эффект; метод назван в честь его изобретателя.

«Вместо послесловия»

Ранний успех (Early Success)

Это эссе, написанное Фицджеральдом в 1936 г., было впервые опубликовано в журнале «Американ Кавалькейд» в номере за октябрь 1937 года. Текст в журнале был опубликован в сокращенном виде, что вызвало негодование Фицджеральда. Двадцать восьмого сентября 1937 г. его литературный агент Г. Обер получил следующую телеграмму:

УЖАСНО ПОТРЯСЕН И УДИВЛЕН УВИДЕВ ЗПТ КАК ТОМ КОСТЕЙН ИЗМЕНИЛ И ОПОЩЛИЛ МОЮ СТАТЬЮ ТЧК ЗА СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ ЗПТ ХОЧУ ПОДАТЬ СУД ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ХОРОЩУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ТЧК ТАК НЕ ОСТАВЛЮ СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

(Том Костейн – главный редактор журнала «Американ Кавалькейд».) В тот же день Обер написал Фицджеральду ответ:

> *Я получил твою телеграмму о статье в «Американ Кавалькейд» и сравнил пословно текст в журнале с текстом рукописи. Действительно, рукопись в нескольких местах сокращена, однако статья от этого не изменилась и не опошлилась. В тексте нет ни одной чужой вставки, и мне не показалось, что изменения каким-либо образом повлияли на смысл или на характеристику героя статьи.*
>
> *Если помнишь, статью ты писал второпях, нуждаясь в деньгах, и мы все обсуждали по телефону. Я помню, что статья была длиннее, чем хотел «Космо», и я говорил тебе, а ты вроде*

бы соглашался, что текст может быть сокращен. Вот первый вырезанный кусок:

«В руках монетки по пять и десять центов. Может, наберется на доллар? Да, почти, если бы не потратился на пару почтовых марок… А когда у тебя даже доллара нет, все вокруг становится другим, люди становятся другими и даже еда кажется другой на вкус!»

Следующий вырезанный кусок – это случай с неизвестным поклонником, который зашел к тебе в гости. Еще они вырезали кусок об опечатках в «По эту сторону рая». Затем еще несколько строк, где ты упоминаешь о том, как твой отец потерпел неудачу в жизни.

Если хочешь, я вышлю тебе копию рукописи с пометками, что именно было вырезано. Кстати, я там нашел одну опечатку которую должны были исправить и не исправили!

Не думаю, что тебе стоит так уж переживать обо всем этом, и не думаю, что у тебя есть основания для каких-либо серьезных претензий. Я перечитал статью, и она показалась мне умной, интересной и не лишенной чувства собственного достоинства, и я не думаю, что кто-либо другой сможет сказать о ней что-нибудь иное.

Сохранилась рукопись этого *эссе*, отличающаяся от окончательного варианта (в том числе и от того, о котором идет речь в письме Обера). Первые два с половиной абзаца текста в исходном варианте звучали так:

Бедные юноши всегда несут на себе какой-то груз; большая его часть – это необходимость скрывать всякие мелочи. Мне довелось побывать как «богатым бедняком» – что означает совершенно безумную ситуацию больших заработков, огромных расходов и еще более огромных долгов, так и «беднее бедного», – а это уже тогда, когда вы точно знаете, на каком из ваших ботинок дырка в картонной подошве, но надеетесь, что этого не знает больше никто.

Это было семнадцать лет назад – теперь мне не кажется, что все было так уж плохо, но тогда все было плохо потому, что я был влюблен. И после учебы в Принстоне и моей вальяжной армейской

карьеры, где я добился звания наихудшего адъютанта во всей армии, я чувствовал себя потерянным и всеми забытым…»

Текст после слов «*…нескончаемым аккомпанементом в жизни любого бедняка*» в исходном варианте звучал так:

В те дни была лишь надежда – надежда на завтрак, на обед, на ужин, да и на поздний ужин в постели тоже. Но в удивительно короткий срок надежда стала реальностью, затем последовал краткий период блуждании в восхитительной дымке, несколько недель, а потом и несколько месяцев, ну а потом все лучшее было уже позади, и кончилось все так же быстро, как и началось…

Восстановленный в основном тексте фрагмент с «одним гостем» в исходном варианте включал еще и эпизод с ковром. После слов «*радость несколько умерилась*» в исходном тексте шло:

«Ковровый финал» случился в Нью-Йорке несколько недель спустя: на вечеринке с шампанским кто-то забыл выключить воду в ванной моего номера отеля «Никербокер», вода в комнате поднялась почти на метр, и сверху плавала одежда. На последние пятьдесят долларов из первого гонорара пришлось купить гостинице новый ковер…

Вместо слов «*Публикация книги вызвала у меня состояние маниакально-депрессивного психоза. Каждый час я впадал то в ярость, то в блаженство*» в исходном варианте было:

Такая шумиха вокруг американского романа не поднималась с тех пор, как вышли «Джунгли»; но не успел кончиться год, как «Главная улица» сумела в этом плане затмить все. Сама публикация не шла ни в какое сравнение с ожиданием публикации…

(«*Джунгли*» *– социологический роман Эптона Синклера, вышел в 1906 г.*; «*Главная улица*» *—роман Синклера Льюиса, вышел в 1920 г.*)

После слов «*не избавившись сначала от старого*» в исходном варианте шел следующий вычеркнутый автором текст:

Для меня не существовало прецедентов и ориентиров – по крайней мере, я так считал. Каждое слово я писал для той, кого я практически всегда, за редкими исключениями, обожал, – для моей жены…

После слов «чье неодобрение стало бы для тебя самым лучшим комплиментом» и вплоть до слов «Мечта рано стала явью…» в исходном варианте следовал следующий вычеркнутый автором абзац:

Прошел целый год с тех пор, как я переживал бедность и отчаяние в Нью-Йорке; все, к чему я пришел, – это понимание того, что я всего лишь невежественный и праздный юноша, обладающий талантом, дурачащим меня точно так же, как и любого другого; я считал себя совсем не тем, кем я был на самом деле. Но на один краткий миг мне удалось узреть современность чуть более отчетливо, чем она виделась другим, и на какое-то время я превратился в наилучшего из имеющихся авторитетов по данному вопросу. Тем не менее стали появляться и другие книги, которые были призваны напомнить мне, что начальное преимущество не будет длиться вечно. Мне следовало измениться – и либо найти себе новый материал, либо перекроить под новым углом старый. Я избрал последнее, что было более интересно, с точки зрения художника, но разделило при этом мою публику на два лагеря: на тех, кому нравились только мои ранние книги, в которых рассказывалось, что это было, и на тех, кому нравились лишь мои новые, в которых рассказывалось, по каким причинам это было именно так…

Вместо предложения «*Ты навсегда останешься молодым в самом лучшем смысле этого слова*» в исходном варианте автором был написан (а затем вычеркнут) следующий текст:

Компенсация за достигнутый слишком рано успех – это убеждение в том, что жизнь полна романтики, к чему тот, кто рассказывает людям сказки, не может относиться свысока. Рассказывать о Золушке, о Принце и о Джеке – победителе великанов, отправиться на волшебном ковре искать пещеру Аладдина может лишь тот, кто верит в них и в то, что есть на свете силы, которые приносят счастье…

…*лиса, гусь и мешок бобов…* – речь идет об английской головоломке. Фермер пошел на рынок и купил лису, гуся и мешок бобов. Чтобы принести покупки домой, ему нужно было переправиться через реку на лодке, а лодка была так мала, что могла выдержать только его и одну покупку. Если бы он взял бобы, лиса бы съела гуся; если бы он взял лису, гусь съел бы бобы; как же он

переправил их всех через реку? Ответ такой: первым фермер переправил гуся, затем вернулся за бобами; конечно, гусь мог бы съесть бобы, пока фермер ездил бы за лисой, но хитрый фермер, оставив бобы на другом берегу, при возвращении за лисой взял гуся обратно с собой.

…приняли к публикации мой первый рассказ… – первой профессиональной публикацией Фицджеральда был рассказ «Младенцы в лесу» (журнал «Смарт Сет», сентябрь 1919). Этот же текст был опубликован в студенческом журнале «Нассау Литерари Мэгэзин» (май 1917). При создании первого романа «По эту сторону рая» Фицджеральд включил текст в первую книгу романа в качестве одной из глав, поэтому самостоятельным текстом этот рассказ уже считать нельзя.

«*Голландец*» *Маунт* – речь идет о друге Фицджеральда Томасе Эрнсте «Голландце» Маунте (1895–1976), выпускнике Принстонского университета 1916 г.; в 1930—40-х гг. Маунт написал несколько романов о Диком Западе под псевдонимами Стоун Коди и Оливер Кинг.

«*Северной Тихоокеанской*» – речь идет о Северной Тихоокеанской железной дороге – трансконтинентальной ветке, соединявшей Миннесоту с побережьем Тихого океана. Ее строительство было завершено в 1883 г.

Томас Гарди (1840–1928) – английский писатель Викторианской эпохи, автор романов «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей» и «Джуд незаметный»; большинство его книг посвящено крестьянам, поскольку писатель считал, что «у представителей низших классов поступок – прямое выражение внутренней жизни; посему характер раскрывается в поведении и может быть зарисован»; судьбы героев его книг чаще всего оканчиваются трагически.

Хейвуд Браун (1888–1939) – американский журналист и авторитетный критик; интервью, о котором идет речь, Скотт Фицджеральд дал сам себе, подготовив его по просьбе Карлтона Р. Дейвиса; рукопись этого материала опубликована не была, однако маркетинговое подразделение издательства «Скрибнере» действительно направило рукопись Брауну, который 7 мая 1920 г. и процитировал отрывки из нее в своей авторской колонке о новых

книгах в газете «Нью-Йорк Трибьюн». Это интервью при жизни Фицджеральда не публиковалось.

Ф. П. А. – американский журналист Франклин Пирс Адамс (1881–1960); с 1913 по 1937 г. он вел собственную колонку в нью-йоркской газете «Геральд Трибьюн», где с присущим ему юмором и эрудицией освещал происходившее в общественной жизни Америки.

«*Еженедельник выпускников*» – «Еженедельник выпускников Принстона», газета выпускников Принстонского университета, в которой было опубликовано в том числе и упомянутое ранее открытое письмо Хиббена, и ответ Фицджеральда на него.

Щоссе Гранд-Корниш – или Большая горная дорога (на картах отмечена номером D2564) – на Лазурном Берегу Франции; она проложена высоко в горах по колее древней римской дороги «Виа Аурелиа», соединявшей Италию и Францию, славится открывающимися с нее пейзажами; Монте-Карло с нее можно увидеть, проезжая через деревню Ля-Турби. То, что описывает далее Фицджеральд в связи со своей поездкой по этой дороге, вкупе с упоминаемым далее автором полузабытых боевиков, имеет прямую аналогию в современной культуре: большинство европейских сцен погони в шпионских фильмах о Джеймсе Бонде снималось именно здесь.

Э. Филлипс Оппенгейм (1866–1946) – популярный английский писатель, прославившийся триллерами о разведчиках и шпионах (например, «Приключение Гаррарда»).